



Мор Йоқан
СЫНОВЬЯ
ЧЕЛОВЕКА
С
КАМЕННЫМ
СЕРДЦЕМ



Annotation

Предлагаемая книга «Сыновья человека с каменным сердцем» – одно из лучших произведений венгерского романиста Мора Йокаи.

Перед читателем – события 1848 года, по-разному сложившиеся судьбы героев; сцена за сценой – картины сражений, интриг, поступков, характеров, но в целом – история национально-освободительной борьбы венгерских повстанцев против австрийского ига.

- [Мор Йокаи](#)
 - [Часть первая](#)
 - [Шестьдесят минут](#)
 - [Надгробная молитва](#)
 - [Зебулон Таллероши](#)
 - [Два друга](#)
 - [Двое других](#)
 - [Разные люди](#)
 - [Bakfisch](#)
 - [Старик антиквар](#)
 - [Женская месть](#)
 - [Подчеркнутые строки](#)
 - [День помолвки](#)
 - [Первая ступенька к ТОЙ вершине](#)
 - [Весенние дни](#)
 - [Оборотная сторона медали](#)
 - [Те, кто любит](#)
 - [Бежать!](#)
 - [Кровавый закат](#)
 - [Третий](#)
 - [Впереди – вода, позади – огонь](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [Национальная армия](#)
 - [Соломенный комиссар](#)
 - [Дорого оплаченный первый урок](#)
 - [Бетяр\[74\]](#)
 - [В королевском лесу](#)
 - [Завещание умирающего врага](#)

- [Солнечное сияние и лунный свет](#)
- [Мрак](#)
- [Адам Минденваро](#)
- [Никто не избежит своей судьбы](#)
- [Одинокий всадник](#)
- [Битва громовержцев за крепость](#)
- [Апогей боя](#)
- [Заброшенное существо](#)
- [Эфиальт\[117\]](#)
- [Перигелий\[134\]](#)
- [Добрые старые друзья](#)
- [Надир\[144\]](#)
- [Письмо, которое не было показано](#)
- [Оказывается, мы не знали этого человека](#)
- [С того света](#)
- [Перед человеком с каменным сердцем](#)
- [Тюремный телеграф](#)
- [Первый удар кинжала](#)
- [В день разыгравшейся мигрени](#)
- [Конец кинжала отломан](#)
- [Человек с каменным сердцем отвечает](#)
- [Жених](#)
- [Comedy of errors\[154\]](#)
- [Ключ к разгадке их страданий](#)
- [Через двадцать лет](#)
- [Эпилог](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)

- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)

- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)

- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)

- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Мор Йокаи

Сыновья человека с каменным сердцем

Часть первая

Шестьдесят минут

Его превосходительство произносил тост... Пенные брызги шампанского струились по пухлым пальцам... Пышная вступительная фраза исчерпала дыхательные возможности оратора... От благородного рвения кровь прилила к его лицу. Блестящее общество замерло, боясь пропустить минуту, когда ракетоподобный спич взорвется заключительным фейерверком; гости почтительно держали в вытянутых руках изящные бокалы, а целая армия слуг-гайдуков спешила наполнить их до краев вином... Капельмейстер оркестра, расположившегося в глубине зала, поднял свою палочку в воздух, готовясь в момент, когда прозвучат заключительные слова, обрушить на гостей торжественный туш, Который должен был слиться со звоном бокалов... Но вдруг в зал бесшумными шагами вошел домашний врач и, приблизившись к сидевшей во главе стола даме, шепнул ей на ухо несколько слов; хозяйка дома немедленно встала и, извинившись, едва заметным кивком, перед сидевшими рядом с ней гостями, удалилась.

А спич тем временем, как выпущенная ракета, стремился к высшей точке своей траектории, невзирая на происходящее.

– ...так пусть же сей достолавный муж, сей Атлас, державший на своих плечах бремя страны, сей образец и пример истинного патриотизма, сей человек, достойный прославления на долгие-долгие лета, первейший предводитель нашего лагеря, идущего ныне к полному триумфу, наш патрон, наш столп, наш сияющий маяк, тот, кто в настоящую минуту отсутствует в этом зале, – так пусть же он, по милости божьей, живет и здравствует многие, многие годы!

Последние слова потонули в звоне хрусталя, в громких криках «ура» и оглушительных раскатах оркестра. Гости с шумом отодвигали стулья, в знак высшего воодушевления разбивали бокалы, обнимались и со слезами лобызали друг друга: казалось в зале бушует ливень, сопровождаемый молнией и раскатами грома.

– Пусть живет! Пусть живет тысячу лет!

Кто же он? К кому относятся все эти пожелания долгой жизни?

То был милостивейший и глубокоуважаемый, благородный и доблестный господин Казимир Барадлаи. почетный и действительный кавалер Золотого ключа, столбовой дворянин, владелец многих земель, сел и городов, властитель сердец и умов, глава «Союза могущественнейших»,

семикратно избиравшийся его предводителем, истинный венгерский далай-лама.

А все эти уважаемые и многоуважаемые, милостивые и всемилостивейшие господа, восседающие за тройным рядом столов в длинном гербовом зале, не что иное, как золотые бабочки, порхающие в лучах его славы. На нынешний торжественный сбор они съехались из самых далеких комитатов страны, чтобы в ходе мудро проведенного совета выработать чистую, как золото, программу, которой предстояло определить на века судьбу венгерской нации, равно как и судьбы грядущих поколений.

Завершением этого успешно проведенного совета «могущественнейших» и было настоящее пиршество, для которого его сиятельство граф Барадлаи любезно предоставил славным и достопочтенным соратникам свой прекрасный замок. Но увы! Главный виновник торжества не мог присутствовать на нем.

На приеме вместо него председательствовала супруга.

В совете же его сиятельство замещал «администратор».

Тот, кто заглянет в немецкий «Conversations-Lexicon» и поищет в нем слово «администратор», найдет объяснение, что это – смиренное духовное лицо, отправляющее церковные требы. Венгерский же «Лексикон» разъясняет, что по своему значению слово «администратор» близко к слову «управитель»; так именуется почти легендарное, наводящее ужас влиятельное лицо, человек, ведающий охраной лесов, помывающий своими подчиненными, отправляющий мужиков дробить камни в наказание за непокорность.

Нашего «администратора» звали Бенце Ридегвари.

В конце тоста, когда гости с поднятыми бокалами повернулись к тому месту, где сидела хозяйка дома, все внезапно заметили, что ее нет за пиршественным столом.

Стоявший за пустым креслом камердинер сообщил господам, что приходил доктор и сказал несколько слов милостивой госпоже, после чего она удалилась. По всей вероятности, его сиятельство вызвал к себе ее сиятельство.

Самые чувствительные из гостей забеспокоились: что случилось с его сиятельством? Тогда господин администратор, занимавший место справа от пустого хозяйского кресла, поспешил успокоить собравшихся – точнее, тех, кто мог расслышать его голос; он пояснил, что достославный Казимир Барадлаи снова подвергся обычному приступу своей болезни.

Гости более осведомленные вполголоса поведали своим менее осведомленным соседям секрет, давно переставший быть секретом: хозяин

дома, Казимир Барадлаи, уже не один десяток лет страдал сердечной болезнью, приступы которой часто причиняли ему жестокие муки, что, надо надеяться, не помешает ему прожить еще много лет, разумеется при нормальном образе жизни.

Господин администратор, кстати, припомнил похожий случай: рассказывали, что некий врач англичанин, страдавший подобным же сердечным недугом, предсказал за много лет вперед день собственной смерти. Когда этот рассказ, переходя из уст в уста, достиг наконец края стола, он уже смешался с историями о Дюри Йожи...^[1]

Нет, у хозяина дома всего лишь обычное недомогание, и господь бог ниспошлет ему еще долгие годы жизни.

А между тем домашний врач прошептал на ухо хозяйке следующие слова:

– Ему осталось жить шестьдесят минут!

Побледнела ли графиня Барадлаи, услышав эти слова? Впрочем, можно ли быть бледнее, чем она была всегда? Переступив порог зала, она схватила руку доктора и спросила:

– Это правда?

Доктор, со строгим выражением лица, лишь кивнул в ответ.

Когда они миновали еще один зал, и за ними закрылась еще одна дверь, она повторила свой вопрос.

– Ему осталось жить всего шестьдесят минут, – снова сказал врач. – Он желает вас видеть. Всех остальных он уже удалил от себя. Прошу вас пройти к нему. Я больше ничем не могу быть полезен.

У третьей двери доктор отошел в сторону и пропустил графиню Барадлаи вперед.

Она очутилась в четвертой комнате; здесь, на стене, в больших золоченых рамах, висели портреты супругов Барадлаи, изображенных в натуральную величину в ту пору, когда они еще были женихом и невестой. Проходя мимо этих портретов, она невольно закрыла свое мраморное лицо руками. Рыдания рвались наружу, но она сдерживала их. Ей нельзя было плакать. Внутренняя борьба похитила почти полминуты! Она знала, что муж упрекнет ее в этом.

Предстояло пройти еще одну пустую и глухую комнату, всю уставленную книжными полками; и только после этого открылась та дверь, которая вела в покой, где ее умирающий муж вступил в последний час своего земного существования.

Там лежал человек, сердце которого превратилось в камень. Да, теперь это был камень и в буквальном, анатомическом, и в переносном,

библейском значении.

Голова его возвышалась на горе высоко взбитых подушек, весь он был как-то подтянут и собран; но на лицо уже легла тень смерти, того великого художника, который придает лицам умирающих иное выражение, не похожее на то, какое было у них при жизни, словно похваляясь при этом: «Гляди, как прекрасен созданный мною лик!»

Жена поспешила к умирающему.

– Я ждал вас, – проговорил он. И в его словах послышался укор.

– Я сразу же пришла, – промолвила она, словно оправдываясь.

– Вы задержались оттого, что плакали, А ведь вам известно, что время мое ограничено.

Она стиснула пальцы, сжала губы.

– Ни минуты слабости, Мария! – проговорил муж еще более холодным тоном, – Смерть – естественный процесс. Через шестьдесят минут я превращусь в ничто. Так сказал врач. Хорошо ли веселятся наши гости?

Она молча кивнула.

– Пусть веселье продолжается. Пусть никто не тревожится, не уезжает. Все, кто приехал на совет, пусть останутся и на тризне. Церемонию похорон я уже давно продумал. Из двух гробов выберете тот, что отделан под черный мрамор. Положите со мной саблю с инкрустациями из платины. Кисти савана пускай несут четыре исправника. Погребальный хор должен состоять из дебrecенских семинаристов. Никаких светских мелодий. Только старинное церковное пение. Надгробную речь в церкви будет произносить епископ, в доме – викарий. Наш местный священник пусть прочтет лишь молитву на кладбище, и ничего более. Вы поняли меня?

Жена глядела прямо перед собой в невидимую точку.

– Послушайте, Мария. То, что я сейчас говорю, я не смогу больше повторить. Будьте же так добры, сядьте за стол у кровати на нем. вы найдете все нужное для письма. Запишите все, что я вам сказал и что скажу.

Она послушно исполнила этот приказ, села за столик и записала распоряжения мужа.

Когда она кончила, умирающий продолжал:

– Вы всегда были верной и покорной женой, Мария. Выполняли каждое мое желание. Еще только час я останусь вашим мужем. Но того, что я прикажу вам за этот час, хватит чтобы заполнить всю вашу дальнейшую жизнь. Таким образом, я и после своей смерти останусь вашим повелителем. Повелителем, мужем, тираном. Ах, меня что-то душит!

Налейте мне шесть капель вон из того флакона.

В маленькой золотой ложке жена подала ему лекарство. Больной опять заговорил:

– Пишите же мое завещание. Пусть никто, кроме вас, никто не увидит и не услышит его. Я воздвиг большое здание, и оно не должно рухнуть, рассыпаться прахом вместе со мной. Я б хотел, чтобы земля не вертелась, а стояла на одном месте. А если даже вся земля вдруг придет в движение, пусть этот край, где мы хозяева, останется неизблемым. Понимают-то меня многие, но как мало таких, что могут, а еще меньше таких, что смеют что-либо предпринять. Записывайте каждое мое слово, Мария.

Она молча писала.

– Ось выпадет из колеса, – продолжал умирающий. – Я уже слышу, как по крышке гроба стучит воронье. Но не желаю этого слушать. Трое наших сыновей заменят меня, когда я превращусь в прах. Пишите, Мария, что должны делать сыновья после моей смерти. Но прежде передайте мне, пожалуйста, одну мускусную пилюлю. Спасибо. Садитесь и продолжайте писать.

Она снова взялась за перо.

– Наши сыновья еще слишком молоды, чтобы заменить меня. Пусть сначала они приобретут жизненный опыт; до тех пор вы не должны их видеть. Не вздыхайте, Мария! Они уже взрослые; вы не должны нянчиться с ними. Старший, Эден, остается при санкт-петербургском дворе. Пока он только секретарь посольства, но со временем добьется большего. Эта служба будет для него хорошей школой. Природа и дурные склонности заронили в его душу немало вздорных мечтаний, которые не делают чести нашему роду, В России его вылечат от них. Да, императорский двор – отличная школа. Там его научат твердо стоять на ногах. Там он поймет, что женщина – ничто в сравнении с мужчиной. Там, бог даст, рассеются его бредни, и когда он вернется, то будет уже зрелым мужем и сможет стать у кормила власти, которое я сейчас выпускаю из рук. Постоянно снабжайте его деньгами в достаточной мере, чтобы он ни в чем не уступал знатной молодежи русского двора. Дайте ему выпить до дна чашу жизненных радостей. Прощайте ему все причуды, даже самые сумасбродные: через это должен пройти тот, кто хочет достичь высот равнодушия.

Больной взглянул на часы: ему надо было торопиться. Минуты бежали, сказать оставалось еще много.

– Ту девушку, – тихо продолжал он, – из-за которой Эдену пришлось покинуть отечество, постарайтесь выдать замуж. Пусть вас не страшат никакие расходы. Ведь подходящего для нее мужа найти нетрудно.

Приданое мы ей обеспечим. Если же она станет упорствовать в своем решении, примите все меры, чтобы перевести ее отца в какой-нибудь приход в Трансильвании. Там у нас много связей. Эдену следует оставаться в России до тех пор, пока они отсюда не уберутся или пока он там не женится. Не страшиться этого. В России только однажды случилось, что благородный взял в жены поповскую дочь. К тому же то был всего-навсего русский царь, а не венгерский дворянин.

При этих словах на щеках умирающего вспыхнули два красных пятна, которые через несколько секунд исчезли.

Женщина продолжала молча писать.

– Второй мой сын, Рихард, не более месяца должен оставаться в королевской гвардии. Ему там не место. Это хорошо для начала. Рихарду надо перевестись в гусарский полк. Пусть послужит там еще год и лишь после этого попытается перейти в генеральный штаб. Ловкость, храбрость и верность – вот три главные качества, которые ему предстоит приобрести, дабы достичь высокого положения. Эти качества проявятся затем в деле. Только там перед человеком открывается свободная сфера действий. Остается лишь ставить ногу на ступени служебной лестницы, чтобы взойти на ней высоко. Не позволяйте ему воспитывать в себе высокомерие: он должен прокладывать путь другим. Как только в Европе начнется брожение, вспыхнет война. До того неподвижные рычаги придут в действие и столкнут друг с другом различные государства. Для Рихарда Барадлаи откроется широкое поле деятельности. Отблеск его военной славы озарит наш род! Рихард никогда не должен жениться. Женщина будет только мешать его карьере. Его задача: прокладывать путь братьям. Это великолепно звучит: брат, павший на поле сражения!.. Мария! Вы не пишете? Уж не плачете ли вы? Прошу вас, возьмите себя в руки, мне осталось всего сорок минут, а надо еще многое сказать. Запишите же то, что я вам только что продиктовал.

Жена, не смея высказать своих душевных мук, молча писала.

– Наш третий, самый младший сын, Енё – мой любимец. Не скрываю, что люблю его больше всех. Но он никогда об этом не узнает. Ведь при жизни я обходился с ним как отчим. Пусть он останется в Вене, служит там в департаменте шаг за шагом утверждает себя в жизни. Эта борьба сделает его гибким, умным, рассудительным. Пусть он учится завоевывать каждый свой успех, рассчитывая лишь на собственный разум и ловкость. Пусть научится действовать в угоду тем, кого впоследствии сможет использовать в интересах своей карьеры. Ни в коем случае не балуйте его, ему надо привыкнуть опираться на чужих людей и определять истинную цену

каждого человека. Надо зажечь в нем чувство тщеславия; вы станете заводите через него и поддерживать знакомства со знатными фамилиями и влиятельными людьми, и это может привести впоследствии к семейным союзам, основанным на высших соображениях, а не на поэтических иллюзиях.

На мгновение лицо умирающего исказила ужасная гримаса, и стало понятно, какие страшные муки испытывал этот человек, пока говорил. Но это длилось лишь мгновенье. Усилием воли он победил страдания.

Человек с каменным сердцем продолжал диктовать свое завещание.

– Таким образом, три мощных столпа поддержат здание, которое я возвел. Дипломат, военный, государственный муж. Зачем не дано мне потрудиться еще, пока они не окрепнут, пока не найдут свое место в жизни. Мария! Жена моя! Графиня Барадлаи! Я прошу, я Требую, я призываю вас действовать именно так, как завещано мною. Каждый мой нерв борется со смертью, но в свой последний час я думаю не о том, что вскоре превращусь в прах. Холодный пот на моем лбу выступил не из-за борьбы со смертью, а от страха, что я трудился напрасно. Пропадут мои усилия четверти века! Праздные мечтатели бросают бриллиант в огонь и не ведают, что он распадется там на лишние ценности элементы и никогда вновь не станет драгоценным камнем. Бриллиант – это мы, дворяне восемнадцатого века. Мы – постоянные целители и постоянная опора нашей нации, заветный талисман бытия. И вот нас хотят принести в жертву, уничтожить! Во имя чего? Во имя бреда, которым чужеродная язва заразила Венгрию в эпоху всеобщего мора. Ах, Мария, если бы вы знали, как страдает мое окаменевшее сердце! Нет. Не лекарства мне нужны. Они бессильны помочь. Я хочу видеть портреты сыновей. Мне станет легче.

Она взяла заключенные в общий футляр миниатюрные портреты и поднесла их к глазам мужа. Человек с каменным сердцем поочередно вглядывался в лица детей, и муки его утихали. В эту минуту он забыл о смерти. Указав высохшим пальцем на портрет старшего сына, он прошептал:

– Пожалуй, этот больше всех похож на меня.

Затем жестом отстранил от себя портреты и продолжал своим обычным холодным тоном:

– Прочь сентиментальность! Времени мало. Через несколько минут я отойду к праотцам и оставлю сыновьям то, что оставили мне предки. Но наш дом пребудет крепостью моих идей. «Немешдомб» останется в истории. Он будет центром, очагом и солнцем наших вечных устремлений. После меня здесь останетесь вы.

Графиня Барадлаи внезапно поднялась и с изумлением посмотрела на умирающего.

Тот заметил ее удивление.

– Вы с недоумением смотрите на меня. Что может сделать одна женщина, вдова, на том поприще, где обессилел мужчина? Я объясню вам. Ровно через шесть недель после моей смерти вы выйдете замуж.

Она выронила перо из рук.

– Я так хочу, – сурово проговорил человек с каменным сердцем. – И я скажу вам, чьей женой вы станете. Вы отдадите свою руку Бенце Ридегвари.

При этих словах графиня Барадлаи окончательно потеряла самообладание. Перестав писать, она кинулась к постели мужа, рухнула перед ним на колени и, припав к его руке, облила ее горячими слезами.

Человек с каменным сердцем закрыл глаза, словно прося совета у властителя тьмы. И, должно быть, услышал его.

– Перестаньте, Мария. Полно! Сейчас не время для слез. Я спешу. Мне предстоит последний путь. Все должно быть так, как я сказал. Вы еще молоды: вам всего сорок лет. Вы еще красивы и всегда будете красивы. Вы сейчас красивы не меньше, чем двадцать пять лет назад, когда я взял вас в жены. У вас были черные как смоль волосы и сверкающие глаза – и сейчас они такие же. Вы были кротки и целомудренны – и теперь вы такая же. Я очень любил вас. Это вам хорошо известно. В первый год нашего брака родился наш старший сын, Эден, во второй год – Рихард, в третий – самый младший, Енё. Тогда, по воле бога, я тяжело захворал и сделался калекой. Доктора приговорили меня к смерти. Один-единственный поцелуй ваших сладостных уст мог бы убить меня. Вот уже более двадцати лет, как я медленно агонизирую на ваших глазах. На ваших глазах увядал цвет моей жизни, и вот уже двадцать лет вы для меня – лишь сестра милосердия. Так я жил, влача бремя своих дней. Ибо великая идея, господствующая над человеческими чувствами, заставляла меня бороться, помогала мне продолжать жизнь, полную страданий и самоотречения. Что это было за существование! Вечный отказ от всего, что приносит радость, счастье, восторг! Я взял на себя этот крест. Отказался от всего, что заставляет сильнее биться человеческое сердце. Отрекся от поэзии юношеских мечтаний, пленяющих душу каждого молодого человека. Я стал черствым, расчетливым, неприступным. Жил лишь будущим, и будущее это я мыслил себе как увековеченное прошлое. В этом же духе я воспитал и сыновей. Этому я посвятил свою жизнь. И потому мое имя сохранится в веках. Оно будет звучать, как проклятие настоящему и как благословение грядущему.

Ради этого имени вы столько страдали, Мария. Вы еще должны быть счастливы.

В ответ послышалось рыдание.

– Я так хочу! – повторил умирающий и отнял свою руку. – Вернитесь к столу и пишите. Это – мое завещание. Моя жеиа через шесть недель после моей смерти отдаст свою руку Бенце Ридегвари, который более всего достоин продолжить начатое мной дело. Только тогда я обрету покой в земле и блаженство на небе. Мария, вы записали все, что я вам сказал?

Из рук женщины выпало перо, она приложила пальцы к вискам и молчала.

– Час на исходе, – с трудом проговорил умирающий, борясь с сомнением. – «Non omnis moriar...»^[2] Мое дело должно быть продолжено и после моей кончины, Мария! Возьмите мою руку и держите, пока не почувствуете, что она похолодела. Только без ненужной чувствительности, без слез – я не хочу, чтобы вы плакали. Мы не будем прощаться. Я вручаю вам свою душу, и она никогда вас не покинет; каждое утро, каждый вечер она станет требовать у вас отчета: как выполняете вы то, что я завещал в свой смертный час. Я буду здесь Я всегда буду здесь.

Женщина дрожала.

А умирающий, сложив руки на груди, продолжал надломленным голосом:

– Час на исходе... врач был прав... Я уже не чувствую боли... все вокруг темно... вижу только портреты сыновей... Кто это приближается ко мне из мрака? Стой там! Не подходи, о мрачный образ!.. Мне еще надо сказать...

Но образ, возникший из мрака небытия, неотвратимо приближался; его нельзя было остановить ни окриком, ни приказом, и он не ждал, пока могущественный человек с каменным сердцем выскажет все, что ему еще хотелось сказать на этом свете; этот образ наложил на его чело свою невидимую длань.

И когда могущественный человек с каменным сердцем почувствовал, что должен повиноваться чьей-то еще более могущественной воле, он покорно закрыл глаза, сжал губы, не дожидаясь, как прочие смертные, что ему облегчат переход в потусторонний мир, и вручил свою несломленную душу великому властителю тьмы; он отдал ее гордо, беспрекословно, как и подобает благородному мужу.

А женщина, заметив, что земной путь ее супруга окончен, упала на колени и, положив на исписанный лист бумаги скрещенные руки, обратилась с мольбой к небу:

– Услышь меня, господи, и прости его бедную душу! Прояви к нему милость свою на том свете... А я, я клянусь тебе, что отрину все дурное, что он завещал мне в свой смертный час! Помоги мне в этом, о всемогущий боже!..

...Ужасающий нечеловеческий вопль раздался в это мгновение в тиши комнаты.

Женщина со страхом и содроганием взглянула на лежащего в постели мертвеца.

Прежде сомкнутые уста его зияли теперь раскрытой ямой, смежившиеся было очи вновь широко раскрылись, правая рука, спокойно лежавшая до того на груди, была занесена над головою.

Быть может, это душа его, возносясь на небо, столкнулась о посланной во след ей молитвой и, докинув небесные пределы, своротив со звездного пути, возвратилась в свое земное вместилище, чтобы посмертным криком заявить о последнем негодующем протесте человека с каменным сердцем.

Надгробная молитва

Похороны человека с каменным сердцем состоялись лишь неделю спустя. Все это время покойник, набальзамированный, лежал в зале, словно какой-нибудь великий князь. Нужно было немало времени, чтобы его многочисленные знатные друзья смогли отдать ему последние почести, чтобы милостивые и всемилостивые господа успели написать надгробные речи, ковровщики и гербописцы – изготовить украшения, а капельмейстеры высшей семинарии – отрепетировать и выучить новые траурные мелодии в честь усопшего вельможи.

На своем веку я повидал немало похорон. В школьные годы я обладал довольно приличным дискантом; ученики первых трех классов гимназии обычно провожали своим пением всех покойников прихода – богатых и бедных. Вот почему я видел много пышных и скромных похорон – с проповедью и отходной, с гражданской панихидой и простой молитвой; но ни одни из похорон я не мог бы описать. Повсюду я наблюдал одно и то же: скорбные фигуры людей брели за гробом; иногда их вели под руки, иногда – предоставляли самим себе; зрелище похорон везде одинаково. Скорбь богатого так же мрачна, как скорбь бедняка, по крайней мере мне никогда не удавалось уловить разницу...

Помню только, что надгробное слово епископа было очень длинным. Оно и до сего дня валяется где-нибудь в архивах, напечатанное на блестящем черном папирусе серебряными буквами; помню еще, что пока продолжалось прощание с покойником, сиятельная вдова плакала так же, как плачет любая вдова бедного землепашца.

– Наконец-то выплачется бедняжка, – шепнул своему соседу один из высокопоставленных господ, сидевший на первой скамье в церкви. – Ведь прежде она не смела даже плакать.

– Покойник воистину был человек с каменным сердцем, – отвечал тот. – Он не разрешал жене пролить ни единой слезинки, даже когда ей бывало очень тяжело.

– А немало, видно, было у нее горя за двадцать лет.

– Кто-кто, а я-то уж это знаю, – сказал Ридегвари.

– Уважаемый господин администратор был близким другом семьи.

– Таким же близким, как близки между собой душа и тело, – отозвался тот, пропустив за этим разговором один из самых витиеватых периодов преамбулы епископской речи, где в весьма утешительной форме

раскрывалась перед слушателями связь, существующая между душой и телом.

Сиятельная вдова отняла на мгновение увлажненный слезами платок от глаз и попыталась придать лицу выражение спокойствия.

– Она и сейчас еще красавица, – прошептал один из господ на ухо другому.

– Двадцать лет сохранялась, как на льду.

– Полагаю, она вряд ли пробудет вдовой долее положенного срока.

При этих многозначительных словах господин администратор лишь слегка подкрутил кончики своих усов и проговорил:

– Послушаем господина епископа, он красиво говорит.

И действительно епископ говорил красиво. В умении произносить проповеди он не имел соперников.

Однако чиновных господ гораздо больше епископской проповеди интересовал вопрос о том, какие ордена и отличия изображены на геральдическом полотнище, окаймленном траурной лентой. Господин администратор дал на сей счет исчерпывающее объяснение рядом сидящим господам: когда, от кого и за какие заслуги получил усопший тот или иной орден. Теперь их предстояло вернуть обратно. Да, их, безусловно, вернут.

Надгробное слово тем временем подошло к концу, оставив присутствующих в убеждении, что более блестящей похоронной речи уже давно не произносили и вряд ли скоро произнесут над прахом кого-либо из смертных.

Затем послышалась печальная музыка. В сельской церкви был свой орган; усопший приобрел его на собственные средства. Хор певчих превосходно исполнил одну из лучших траурных мелодий, известную нам по опере «Навуходоносор», разумеется с новым, сочиненным специально для данного случая текстом.

– Если бы покойник услышал, что над его гробом распевают хоры из опер!.. Он бы восстал из гроба, чтобы крикнуть капельмейстеру: «Осел!»

Эти слова произнес господин Ридегвари, повернувшись к соседу.

– А что, он не любил оперных арий?

– Он выходил из себя, когда церковное пение украшали театральными выкрутасами. В завещании он ясно и определенно потребовал, чтобы на его похоронах не исполняли никаких светских мелодий.

– А вы знакомы с завещанием усопшего?

Администратор лишь самодовольно кивнул, опустив веки; при этом кончики его подкрученных усов дрогнули: это, мол, секрет, но, разумеется, не от него.

Траурным пением похоронная церемония не закончилась.

На скамье возле церковной кафедры сидели рядом три священника; они сидели тут неспроста.

После второго хора на кафедру поднялся его высокопреподобие.

– Неужели еще будет говорить и третий? – заерзав на лавке, спросил один чиновный господин у другого.

– Третий – приходский священник; он произнесет лишь краткую молитву над усыпальницей.

– А-а, тот самый? – И беседующие так близко наклонились друг к другу, что ни одно слово из их тихой беседы не было услышано сидевшими сзади.

– Быть может, «она», тоже здесь? – проговорил один из господ.

– Я и сам давно ищу ее в толпе, но никак не разгляжу.

Наконец господин администратор все же разыскал глазами ту, кого искал.

– Вон она, смотрите. Стоит в углу, за кафедрой, прислонившись к стене. И держит платок двумя руками у рта. Не видите? Обождите, вот гайдук с факелом переступит с правой ноги на левую, тогда увидите. Она как раз за его спиной.

– А-а, вижу, вижу; не то в сером, не то в коричневом платье?

– Вот-вот.

– Ну, доложу я вам, она и впрямь прекрасна. Не удивляюсь, что...

И они снова перешли на шепот. А, ей-богу, жаль было не послушать это столь помпезное прощальное слово, с блеском произнесенное его высокопреподобием, ибо, если первая надгробная речь была чудом риторики и просодии,^[3] то вторая казалась венцом поэзии: ее оснащали захватывающие образы и сравнения, душещипательные тропы и поэтические цитаты из произведений древних и новых авторов. После этого пышного вступления последовало поименное прощание с усопшим, покоившимся в сиянии факелов; именно здесь проявилась глубокая мудрость его высокопреподобия: он с такой необычной корректностью и в таком стройном Порядке простился с усопшим – сначала от имени их высокопревосходительств, затем – просто превосходительств, потом от имени высокоблагородий, благородий и милостивых государей, многоуважаемых, глубокоуважаемых и просто уважаемых господ, а также от имени достойных и ученых господ, равно, как и от имени всех милостивых государынь, просто государынь, и, наконец, От имени их отпрысков мужского и женского пола, – что не допустил при этом перечислении ни одного более или менее серьезного промаха, который мог

бы повлечь за собой тяжкие последствия; более того, он с такой находчивостью и точностью умел подобрать слова и выражения, в которых прощался с покойным сначала от имени каждого из присутствующих в отдельности, а затем, особо, от искусно соединенных мелких и более крупных сословных групп, что честолюбие всех, даже наиболее щепетильных в вопросах чинопочитания господ, было полностью удовлетворено.

Когда его высокопреподобие среди перечисляемых лиц, провожавших в последний путь усопшего, назвал имя того, «кто ныне скитается по заснеженным полям далекой северной державы, в сотнях и сотнях миль от породившей его отчизны, того, кто при холодном северном сиянии ныне помянет своего любящего отца и благодетеля, взирающего оттуда, сверху, на него...», оба чиновных господина, сидевших в первом ряду, одновременно заметили, что красавица в коричневом платье, скрывавшаяся в уголке, подняла свой белый платок до самых глаз.

– Бедняжка... – в один голос сказали господа. – Его ты уж, конечно, больше не увидишь!

Но вот надгробная речь была закончена.

Пришел конец всему: пению, проповеди, прощальному слову. Двенадцать гайдуков, одетых в полную парадную форму, подняли на плечи богатый гроб; ближайшие друзья семьи взяли за тяжелые кисти траурного покрывала, администратор подал руку вдове покойного, и процессия тронулась из церкви к семейному склепу.

Предстоял еще один недолгий обряд.

Когда гроб устанавливают на место вечного покоя, над ним произносят последнюю молитву; по традиции, ее читает местный священник.

Многим было любопытно хотя бы мельком взглянуть на «старого куруца»,^[4] как привыкли называть в округе его преподобие отца Берталана Ланги за горячий нрав.

В своей приходской церкви старик произносил проповеди не хуже, чем Абрахам Санта-Клара,^[5] а на комитатских собраниях голос его гремел подобно голосу Леринца – Большой палки.^[6]

Хорошо еще, что ему поручили прочесть лишь корсткую молитву: ведь если бы он читал отходную по покойнику, живые долго бы еще помнили сельского священника.

Певчие умолкли, и место напротив входа в усыпальницу уступили священнику. Обнажив голову, он встал посреди окруженной людьми площадки.

Крупный лысый череп священника обрамляли редкие, совершенно седые, вьющиеся волосы; густые, резко очерченные брови над сверкавшими черными глазами придавали его гладко выбритому по церковному обычаю лицу решительное выражение.

Соединив ладони, он начал молитву:

– Справедливый судия всех живущих и умерших, господь бог наш!

Услышь нас в сей час и приклони слух свой к молитвам нашим...

Возри! Вот с великою земною славою приближается прах одного из рабов твоих к мраморному прибежищу, Меж тем как душа его, нагая и трепещущая, робко стоит на границе звездного царства и взывает к небу о Милости и всепрощении...

Кто же мы такие, что с таким блеском и пышностью покидаем мир сей? Ведь и черви – братья наши, а ком земли – наша матерь...

Память об одном-единственном добром поступке оставляет большой свет после нас, чем пылание тысяч светильников; и немое благословение соотечественников лучше украшает гроб наш, чем все гербы и медали.

О господи, будь милосерд к тому, кто в жизни своей никогда ни к кому не проявлял милосердия.

Не вопрошай у дрожащей пред ликом твоим души граба твоего со сверхмерной строгостью: «Кто ты был? Кто привел тебя сюда? Что молвят вслед тебе люди с земли?»

Не допусти, всемогущий, чтобы пар земной поднялся выше облаков; пусть прозвучит проклятие твое или прощение твое. Ведь ты, господи боже наш, стоишь над всеми и превыше всего.

Ибо ничто, кроме бесконечной милости твоей, не защитит сильного мира сего, когда, отрешившись от земной своей славы, предстанет он нагим пред очи твои и будет отвечать на твои грозные вопросы:

«Помогал ли ты беднякам?»

«Нет!»

«Поднимал ли поверженных?»

«Нет!»

«Защищал ли притесненных?»

«Нет!»

«Внимал ли мольбам уязвленных?»

«Нет!»

«Вытирал ли слезы страждущих?»

«Нет!»

«Прощал ли побежденных?»

«Нет!»

«Платил ли любовью за любовь?»

«Нет! Нет! И нет!»

И если спросишь ты сильного мира сего, что безоружно стоит ныне пред тобою: «На что же употреблял ты власть свою, которую я вручил тебе? Осчастливил ли ты ею миллионы душ людских, что были тебе вверены? Даровал ли ты что-либо потомкам твоим, которые продолжают тебя в грядущем? Истинно ли служил ты отечеству своему, или ползал в пыли пред чужеземным идолом? Жил ли ты ради народа своего, или же продал алтарь его, на котором дымились жертвы во славу мою?» Что он ответит тогда? К кому обратится? Каким гербом, какой регалией закроет беззащитную грудь свою? Кого призовет на заступничество, на опеку свою? Какой король, какой император оборонит его там, где золото есть грязь и зола, из которых лепят короны?...

Лицо священника вспыхнуло ярким пламенем, он выпрямился, и редкие волосы его при каждом движении головы развевались, словно желая улететь; мурашки пробежали по спинам всех достопочтенных господ, стоявших вокруг.

– ...Господи боже наш, – продолжал между тем священник, – яви милосердие свое вместо справедливого гнева. Не взыщи за то, чем был сей смертный муж при жизни своей, а зачти ему, что жил он во тьме, не видя тебя.

Не заставь его отвечать за ошибки и проступки свои; но зачти ему, что он верил в то, будто творит добро, когда грешил против тебя.

Прости ему, боже, на небесах так же, как прощают ему здесь те, против кого он грешил на земле.

Сотри память о делах его, дабы не вспоминали о них здесь, на земле.

А если уж должен понести возмездие грешник сей, о господи боже наш, ежели захочешь ты явить непримиримость к дурным делам его законченной жизни, ежели не простишь заблудшую душу его, обремененную тяжкими грехами, то дай ему, господи, искупить вину свою; пусть душа его, ныне очистившаяся и переставшая быть зеркалом его, вернется снова на землю и вселится в сыновей его, дабы могли они искупить все преступления отца своего; и да пребудет в сыновьях его одна лишь добродетель и слава; дай, господи, чтобы земля, бывшая под ним могильной плитой, пока он жил, превратилась бы в мягкую колыбель ныне, когда он пал в нее мертвым!

Услышь, господи, молитву раба твоего. Аминь...

Скрежет железной двери фамильного склепа заключил церемонию. Трудно сказать, поняла ли публика грозный смысл слов последней молитвы, но она была полностью удовлетворена всем виденным и слышанным» Траурная процессия возвратилась в замок; в разных залах для господского сословия, семинаристов и челяди были накрыты столы. Каждый спешил после выполнения последнего долга отдать дань потребностям собственной натуры.

Когда все бросились к замку, старый священник оказался позади; опершись о руку девушки в коричневом платье, он побрел по маленькой улочке в противоположную сторону.

Напрасно в главном зале замка ждали его к столу.

Зебулон Таллероши

Поминки во всем походят на любое другое пиршество с той лишь разницей, что на них не произносят тостов.

Овдовевшая хозяйка дома удалилась во внутренние покои, а гости, собравшиеся, чтобы отдать последние почести, вновь уселись за тройной ряд столов все в том же гербовом зале; гостей, вероятно, было не меньше полутора. Повар, как всегда, оказался на высоте положения и создал истинные шедевры; виночерпий, как всегда, приносил все новые и новые вина в различных по форме бутылках, а господа гости, как всегда, налегали на еду, словно то были не поминки, а пир по случаю избрания нового губернатора.

Обед уже заканчивался, уже подавали мороженое в чашечках из северского фарфора, когда с великим шумом прибыл еще один гость.

Опоздавший принадлежал к тому разряду людей, при виде которых с уст каждого, кому они знакомы, непременно слетает веселый взглас; даже разносившие блюда лакеи встретили его не скрывая улыбок. А между тем вновь прибывший отнюдь не казался воплощением добродушия и веселья, скорее напротив: вид у него был самый что ни на есть угрюмый и мрачный.

– Глядите-ка! Зебулон! – слышалось со всех сторон.

Да, это был действительно Зебулон Таллероши, но исполненный злости и отчаяния: края высокой шапки-скуфьи оставили на его лысине широкий красный лед, напоминавший нимб великомученика; одежда его была покрыта клочьями спутанной и мокрой шерсти, борода и усы заиндевели и превратились в обсахаренные изморозью сосульки; каждый мускул лица, казалось, стремился собрать вокруг носа как можно больше морщин, которые выразили бы крайний гнев и негодование, – однако это производило противоположный эффект.

Да и как могло быть иначе, когда все благоволили к нему и никто его не боялся!

– Не получил подставы на последней станции!

Эти слова Зебулон произнес таким тоном, словно его преследовал злой рок.

Гости помоложе, привстав, предлагали ему свое место, более пожилые и степенные еще издали приветствовали его; старые слуги спешили принять у него шапку, зимние рукавицы и енотовую бекешу, но бекешу-то он не отдавал, потому что под ней не было другого платья; бывало,

расстегнет ее Зебулон – и готов его вечерний туалет, застегнет на все пуговицы – готово уличное платье, а если вычистит он свою бекешу, то сна сойдет и за парадный мундир. Кстати, это не худо бы было сделать и сейчас, ибо суконная шуба, которую он надевал в дорогу, сильно линяла; но теперь уже было поздно!

– Сюда, сюда! На мое место, Зебулон! – кричали отовсюду уже насытившиеся гости. Но тот их словно не слышал; он сразу же заприметил, что господин администратор пригласил его занять пустовавший рядом о ним стул, и, прокладывая себе дорогу через ряды гостей, Зебулон торопливо пробирался к нему, приберегая для господина администратора сомнительную честь – в дружеском лобызании растопить изморозь на бороде и усах.

Лишь совершив этот обряд, Зебулон вспомнил, при каком торжественно-скорбном событии он присутствует; он тяжело вздохнул и, захватив в свои огромные лапищи руки администратора, произнес сиплым и необычайно растроганным голосом:

– Вот, значит, как довелось встретиться! Кто б мог подумать?

Часа три назад эта скорбная реплика пришла бы весьма ко времени, но сейчас, между менешским^[7] и бордо, она не встретила большого сочувствия.

– Садись-ка, Зебулон. Вот здесь свободное место.

Однако Зебулон не хотел, как видно, лишать остальных гостей удовольствия вкушать его инистые поцелуи и лобызался до тех пор, пока его с превеликим трудом не усадили в пустое кресло.

– А чье это место я ненароком занял?

– Не беспокойся, – проговорил Ридегвари, – садись и все. Это место попа.

– Попа! – воскликнул Зебулон и, собираясь вскочить, оперся обеими руками о край стола, ибо затекшие ноги не могли служить ему достаточной опорой. – На поповское место ни в жизнь не сяду! Не сяду я на священническое место. Не желаю его занимать!

Зебулона взяли за руки и вновь усадили.

– Сиди, сиди, – внушал ему администратор. – Вскоре и другие места освободятся.

Кто-то из соседей вполголоса осведомил Зебулона, что за священник должен был воссесть на этом стуле.

– А-а! Тогда другое дело, – пробормотал успокоенный Зебулон и сразу же устроился поудобнее; с полным знанием дела он привычно засунул один из углов развернутой салфетки за воротник.

Лакеи отлично знали свои обязанности и со всех сторон проворно бросились к нему с подносами, уставленными различными блюдами: один тащил судака в маринаде, другой – фазана, третий – соус, четвертый – салат, пятый – пудинг. Зебулон разрешал себя потчевать всем подряд, с аппетитом уписывая одно кушанье за другим, – сбитые сливки с жарким, соус из мадеры с блинчиками. Какая разница? Все в желудке будет. За едой он поведал почтенному обществу скорбящих христиан о приключившейся с ним неслыханной оказии, которую злая судьба уготовляет лишь заранее намеченным ею жертвам.

– Выехал я, значит, нимало не медля, из своей усадьбы уже три дня назад. И ехал с полной удачей до самой последней станции, до Суньоглаки. Зову старосту, приказываю дать подставу. А он в ответ мнетя. Так где ж она, чертов лиходея? Всех лошадей, говорит, как есть, еще вчера разогнали на похороны в Немешдомб. Рассердился я, кричу, объясняю, кто я такой, – ничего не помогает. В конце концов подрядил за большие деньги одного молодца, чтобы он помог мне как-нибудь, любой ценой добраться до места. И вот этот пройдоха впрягает в мой собственный господский фаэтон четырех бугаев и тащит меня на них сюда.

Таллероши с таким трагическим выражением лица рассказывал об этом прискорбном случае, о том, как он прикатил к парадному подъезду немешдомбского замка в запряженной четырьмя бугаями коляске, что растрогал даже тех слушателей, которые умудрились сохранить равнодушие при виде того, с каким рвением Зебулон заедает горчицей итальянский слоеный пирог.

– Добро бы он меня еще довез, – продолжал рассказывать Зебулон свою грустную одиссею, – но в том-то и беда', что на дворе градусник показывает ноль, а бугаям, сами знаете, при такой температуре жарко становится. Есть за здешними камышами большое болото, лишь слегка затянутое ледком. Как увидели его бугаи, – гоп! – прямо в него, а за ними – коляска; вот и увязли мы там. Лишь часа через два коляску удалось вытянуть из грязи, когда бугаи закончили свои грязевые ванны. А я тем временем проворонил всю церемонию. Опоздал и на панихиду, и на проповедь, и на прощальное слово, даже молитвы надгробной и той не слышал.

– Ну об этом, друг мой милый, жалеть тебе никак не приходится, – заметил администратор.

Эти слова насторожили Зебулона.

Священническое место пусто; молитва не понравилась. Должно быть, этот поп нанес какую-то обиду.

Зебулон сперва, как добрый сотрапезник, нагнал своих вырвавшихся далеко вперед соседей по столу, – это совпало с тем моментом, когда подали черный кофе, – и тогда уже с чистой совестью осведомился у своего друга-администратора, что за история связана с пустым поповским стулом, и почему вскоре появятся и другие пустые места, и, наконец, что это за молитва, которую лучше было не слышать.

Узнав о случившемся, он ужаснулся.

Редкие волосы взъерошились вокруг его лысого лба: встать дыбом они все равно не могли бы.

– Да ведь это же настоящее святотатство!

Конечно, святотатство! Из всей блестящей компании не нашлось ни одного, кто выступил бы в защиту строптивного попа; более того, каждый старался наполнить голову Зебулона Галлероши ядом угроз по адресу священника с тем же усердием, с каким наполняли стаканы благородного дворянина винами различных марок и сортов. И Зебулон разрешал потчевать себя тем и другим до тех пор, пока наконец перестал отдавать себе отчет, что больше разогрело и разъярило его – рассказы о пресловутой молитве или вино.

Прихлебывая черный кофе, он напряженно молчал. Это угрюмое молчание выдавало борьбу с самим собой. О, что бы он сделал с этим попом, попадись тот ему сейчас в руки! После каждого глотка Зебулон ронял сквозь усы угрозы:

– Я б его к позорному столбу!..

– Я б его в консисторию!..

– Розгами бы его, да как следует!..

И при каждой новой фразе он, как бы апеллируя к высокому собранию, бросал вопрошающий взгляд на соседей: при первой фразе – на господина администратора, при второй – на его высокопреподобие, при третьей – на губернского исправника. Встречаясь каждый раз с одобрительной улыбкой того, другого и третьего, он окончательно уверовал в то, что играет на верной струне.

– Боюсь, как бы этого патера не постигла беда похлеще, – заметил Ридегвари.

Зебулон, втянув в себя с громким чмоканьем последний кусок сахару из кофейной чашки, изумленно уставился на влиятельного барина: что еще пришло тому в голову?

Ридегвари только процедил сквозь зубы:

– Не миновать ему «ad auctorem verbum». ^[8]

– Так ему и надо! – вскричал Зебулон, словно то была его собственная

мысль, которую у него украли буквально с кончика языка в ту самую минуту, когда он собирался ее высказать. – Бунт! Оскорбление его величества! В Куфштейн^[9] его! Лет на десять! В кандалы! Обезглавить!

Господин Ридегвари, видя, что тризна слишком уж затянулась, а на дворе смеркается – зимний день ведь короток – и сочтя, что пора угомонить Зебулона, поднялся с места и подал знак слугам убирать со столов.

Гости должны были отправиться восвояси еще засветло. В доме покойника после похорон ночевать не принято.

Благовоспитанные господа избрали из своей среды депутацию в составе десяти человек, чтобы она от имени всех присутствующих еще раз торжественно выразила глубокое соболезнование хозяйке дома; тем временем уездному исправнику предстояло позаботиться о лошадях для экипажей, в том числе и о бугаях для колымаги Зебулона.

О том, что господин Зебулон Таллероши вошел в почетную делегацию, говорить не приходится – это само собой понятно. Послунявив ладонь и проведя ею несколько раз по бортам бекеша, – это должно было означать, что теперь она вычищена, – достойный патриот присоединился к депутации, которая проследовала в покои вдовы.

Графиня Барадлаи была готова к приходу депутации и не заставила себя ожидать.

Она стояла, опершись о письменный стол, в затененном синими гардинами зале, и напоминала изваяние; в ее белом, как алебастр, лице, казалось, не было ни одной живой черты.

Первым выступил вперед его преосвященство. В нескольких, весьма подходивших к данному случаю фразах из библии он пролил бальзам на страждущее сердце вдовы. За ним последовал его высокопреподобие, который в не менее удачных и вполне уместных выражениях, заимствованных из творений наших видных поэтов, как бы подвел итог утешительным речам. Затем к графине Барадлаи подошел господин администратор: дружески взяв ее руку, он проникновенно сказал, что, если ее страдания станут невыносимыми, пусть вспомнит она о том, что здесь, в доме, находится ее верный друг, готовый разделить с ней все горести.

На этом депутация могла бы счесть свою миссию законченной и удалиться.

Но не тут-то было! Если бы даже внезапно рухнули стены замка, то и это не помешало бы Зебулону, пробравшись в брешь, вылезти вперед и высказать все, что терзало его сердце и о чем другие позабыли сказать.

– Сударыня! Я тысячу раз сожалею, что не имел счастья присутствовать на похоронах.

– Какое уж тут счастье, Зебулон! – прошипел ему на ухо попечитель богоугодных заведений.

Но тот, не обратив внимания на эти слова, уверенно продолжал:

– Я застрял в дороге. Очень сожалею, что не мог оросить слезами грудь столь достойного мужа. Кабы я был здесь, милостивая государыня, когда этот треклятый поп творил свою анафемскую молитву, я бы вцепился ему в горло и... задушил бы его.

Попечитель снова с силой дернул за полу бекеша Зебулона, и достойный патриот, подумав, что он согрешил против правил грамматики, поправился:

– ...задушил бы ему.

Благородный гнев переполнял его сердце, и Зебулон уже не мог сдержать себя.

– Но вы не сомневайтесь, сударыня. Найдется на него управа, на этого попа, этого негодника. Мы в два счета лишим его церковного звания, он у нас пойдет бродить по свету расстригой. Мало этого – вытащим его на высший суд, и его присудят к заточению до конца жизни. Уж там-то он научится молиться, коли до сих пор не выучился. Мы с господином администратором покажем ему, где раки зимуют! Не извольте беспокоиться.

Прекрасная, бледная как смерть графиня при этих словах подняла свои большие выразительные глаза и взглянула, но только не на Зебулона, а на Ридегвари; она смотрела на него так долго и пристально, что тот не выдержал и потупился.

К счастью, попечитель с такой силой вновь дернул за полу Зебулоновой бекеша, что петлицы воротника стянули горло доблестного патриота, и дальнейшие слова застряли у него в глотке. Хозяйка дома поклонилась и ушла в свои покои; на этом аудиенция закончилась.

Зебулон победоносно оглядел сотоварищей по депутатии, гордясь сознанием того, что львиная доля заключительной церемонии досталась именно ему.

– Здорово ты успокоил графиню, Зебулон! – сказал попечитель, похлопывая его по плечу.

– Замечательные слова соизволили вы произнести и на этот раз, ваше преосвященство, – обратился Ридегвари к главному духовному пастырю.

– Назидательные речи вашей милости послужат наилучшим утешением для этой женщины, – ответил комплиментом на комплимент епископ.

– Так красиво изъясняться в стихах не сумеет никто, кроме его

высокопреподобия, – счел нужным заметить Зебулон Таллероши, обернувшись к декану.

Когда же все вышли за дверь и стали спускаться по лестнице, попечитель тихо сказал администратору:

– Ну и осел же этот Зебулон!

Господин Ридегвари шепнул в ответ:

– В жизни не видел более скучного болтуна, чем этот старый поп.

Его преосвященство сказал его высокопреподобию:

– Этот администратор уже считает, что ему осталось лишь поделить имущество с богатой вдовой.

А Зебулон пробормотал человеку, оказавшемуся рядом с ним:

– И зачем только преподобный отец стихоплетствует по каждому поводу! В такую грустную минуту это уж и вовсе ни к чему.

Полчаса спустя коляски одна за другой уже вздымали брызги грязи по дорогам, тянувшимся от немещдомбского замка в разные концы страны; и вскоре все экипажи скрыл спустившийся на землю тяжелый серый зимний туман.

Два друга

Огромный зал сплошь из малахита. Стены подобны окаменевшему зеленому бархату. Изящные зеленые пилоны, вырубленные из цельного пласта драгоценного минерала и похожие на очищенные от ветвей зеленые пальмы, поддерживают высокий потолок. В нишах между колоннами – кусты восточных растений; среди них цветущая агава поднимает ввысь букет своих цветов, распускающихся раз в столетие, а в противоположной стороне зала протягивает свои пальцевидные листья ее царственная соотечественница – пальма саго, каждый лист которой простирается до середины потолка.

Сверху, будто из расщелин сталактитовой пещеры, свисают причудливо сгруппированные стеклянные призмочки, и свет заключенных в них свечей струится, переливаясь всеми цветами радуги.

Посреди зала высится громадный аквариум в две сажени шириной; он сделан из сплошного стекла. Здесь, в зеленой морской воде, снуют невиданные и устрашающие обитатели морских глубин, самых причудливых и странных форм: рыбы, похожие на пилу, на головку молота, на веер, на флягу, на змею; а у прозрачных стен аквариума во всей своей живой красе расположились на ветвях благородных кораллов улитки южных морей, которые обычно можно увидеть только в музеях, да и то лишь в их мертвой скорлупе. В центре бассейна возвышался алебастровый Тритон, дувший в рог, из которого фонтаном били тяжелые светло-зеленые струи. То была не вода, а благовония, дорогие духи; падая на покатую стеклянную крышу бассейна и стекая с нее, они создавали полное впечатление, будто все эти морские чудища купаются в благоухающем потоке.

Весь бассейн пронизывал идущий снизу матовый поток света, придававший фантастическую окраску всему залу, где то появлялись, то исчезали белогрудые феи, напоминавшие сказочных морских богинь – обительниц сверкающих чертогов на дне прозрачных вод.

Поистине, это были феи: они искали встреч, раскланивались, шептались, молча обменивались взглядами, как это делают настоящие феи, но их понимал и слышал лишь тот, чья душа была открыта для невысказанных, но обращенных к нему слов.

Стоя под сводами этого волшебного зала, можно было видеть следующий зал, а за ним – еще пять, шесть, десять и много других – целую

анфиладу покоев, каждый из которых сиял ослепительным блеском. Их было столько, сколько существует цветов мрамора, и все они были украшены золотом, серебром, шелком и бархатом; взад и вперед двигались статные дамы, сверкавшие драгоценными камнями и ослеплявшие своей красотой. Какой-нибудь простой смертный, взглянув на них и восхитившись царем всех камней – бриллиант том, переливавшимся на женской груди, этом лучшем из тронов, пожалуй решил бы, что трон в данном случае стоит дороже, чем царь!

Но тише! Не вздумайте высказывать вслух свои мысли! Ведь этот сказочный дворец с подводными гротами, волшебными феями, наполненный дыханием древних бразильских лесов и ароматом южных вечеров, – не что иное, как Санкт-Петербургский Зимний дворец, за окнами которого лютует двадцатидвухградусная стужа.

Среди блестящих нарядов дам можно было видеть золотые мундиры военных и вышитые сутажом костюмы дипломатов, украшенные орденами и медалями всех стран света, а также роскошную национальную одежду независимых дворян. И если то там, то здесь среди этой толпы встречалась мрачная фигура в простом черном фраке, белом жилете и галстуке, то каждый понимал, что это какой-нибудь посольский секретарь.

Однако случается, что на обладателя такого простого черного фрака дамы засматриваются чаще, чем на иного офицера с орденами и крестами во всю грудь!

Среди приглашенных как раз находился один из таких молодых дипломатов.

Красивое, полное достоинства лицо его дышало юностью; каждая черта говорила о нравственной чистоте и простодушии. Большие голубые глаза, оттененные длинными черными ресницами, были способны покорить любую женщину; в то же время благородный профиль, резко очерченный рот выдавали в юноше уже сложившегося мужчину. Стройный и худощавый, он был крепким и гибким.

Простой черный фрак не помешал красивому юноше быть замеченным на балу.

Какой-то пожилой блестящий военный, увешанный бриллиантовыми орденами, с шелковой лентой через плечо, окликнул юношу, пожал ему руку и взял под локоть.

Важный вельможа хорошо знал отца молодого иностранца: в свое время он часто встречался с ним в Вене, при императорском дворе. Об отце он сохранил воспоминание как о замечательном и достойном человеке. И его сыну он теперь предсказывал еще более блестящую карьеру. В

заключение вельможа сообщил юноше, чтобы тот был готов предстать перед великой княгиней.

С этими словами он повел его за собой.

Какая ответственная минута!

Юноше, который еще ничего собой не представляет, не носит даже военного мундира, предстать – в присутствии многочисленной свиты блестящих и влиятельнейших вельмож чужой державы – перед лицом одной из самых прекрасных дам огромного государства! Ему придется отвечать на ее вопросы, не зная наперед, каковы они, а возможно и самому, с должной находчивостью и благоговением, вести разговор, следуя мысли, выраженной в царственных словах.

Молодой человек выдержал это испытание. А вслед за тем и много других. Начались танцы. Знатные дамы, эти очаровательные феи, попеременно танцевали с ним: и каждая из них служила образцом многоликой красоты. Прелестная княжна Александра, единственная дочь важного московского барина, казалось, являла собой само совершенство; ее завитые локоны походили на солнечные лучи, на румянном лице сияли томные голубые глаза. Она уже дважды прокружилась о юношей по залу и, когда в третий раз дошла до своего места, тайным пожатием руки подала ему знак: «Еще!» И они снова помчались вокруг огромного зала: это было нелегко и обычно делалось лишь изредка – из молодечества или любви...

Юноша поклонился своей даме и отошел. Он не казался ни усталым, ни взволнованным.

Особое очарование лежало на челе молодого иностранца. Это очарование подчеркивал его бесстрастный взгляд.

Было заметно, что его ничто не может тронуть. Его не поразила царская роскошь, не опьянила высочайшая милость, проявленная к нему; ему не вскружили голову прекрасные девичьи глаза, не обольстили ласковые слова и тайные рукопожатия.

Каждая черточка лица, казалось, говорила, что все происходящее вокруг его нисколько не занимает. И это придавало неотразимое обаяние его мужественному лицу.

Когда после полуночи все оркестры заиграли гимн в знак того, что великая княгиня удаляется в свои покои, молодой человек в черном фраке поспешил в малахитовый зал.

Лакей в красной ливрее поднес ему на большом серебряном подносе какой-то прохладительный напиток, и юноша взял стакан. В эту минуту кто-то сжал его локоть и произнес:

– Нет, этого пить не стоит!

Юноша обернулся, и на лице его впервые за все время бала проступила улыбка.

– А, это ты, Леонид?

Тот, кого называли Леонидом, был стройный гвардейский офицер в плотно облегавшем мундире; это был цветущий круглолицый молодой человек с залихватски закрученными кверху светлыми усиками, с пышными бакенбардами и густыми бровями, которым очень соответствовало решительное выражение живых серых глаз. – Я уж думал, ты сегодня так и не покинешь танцевальный зал! – сказал он с дружеским упреком.

– Я танцевал с твоей невестой. Не видел? Она – прелестная девушка.

– Прелестная, прелестная. Но что мне до того, если я не могу на ней жениться, пока не достигну совершеннолетия и не получу очередного повышения по службе. А ждать этого ровно два года. Не может же человек все это время довольствоваться одними смотринами. Пошли отсюда.

Иностранец колебался.

– Не знаю, удобно ли так рано?

– Не слышишь – уже звучит гимн! Мы улизнем через боковой выход, там ждут мои сани. Уж не ангажировал ли ты какую-нибудь куклу на танцы?

– Да, княжну Ф... Меня представил ей гофмейстер. Я и впрямь должен ей одну кадриль.

– Бога ради, подальше от нее! Она превратит тебя в шута, как и других. Вся эта комедия ничего не стоит. Здесь выставляют напоказ свои красивые плечи, а затем требуют: коли взглянул на девицу, будь любезен – женись, а загляделся на замужнюю – становись ее шутком. Ах, эти алебастровые шеи и плечи, эти льнущие к тебе сильфиды, эти смеющиеся очи! О дьявольское наваждение, исходящее от ангелов. Тут все недоступно. Поедем туда, где доступно все.

– Куда ты хочешь меня везти?

– Куда? В ад! Боишься попасть туда?

– Нет, не боюсь!

– А в рай?

– И туда не прочь.

– А если я повезу тебя на Каменный остров, в грязную, вонючую корчму, где пируют матросы? И туда пойдешь со мной?

– Пожалуй.

– Вот, брат, за это я и люблю тебя!

Леонид обнял чужеземца, облобызал его и увлек за собой через

знакомый ему боковой выход, вниз по лестницам, вон из мраморного дворца. В легкой бальной одежде они добежали до набережной Невы, где их ожидали сани; там они закутались в заранее приготовленные теплые шубы, и через минуту два добрых рысака, позванивая сбруей, понесли их вскачь по невавскому льду.

Один из друзей был Леонид Рамиров, молодой русский дворянин, другой – старший сын Барадлаи, Эден.

Когда сани промчались мимо освещенных лунным сиянием дворцов, Эден спросил у приятеля:

- Послушай, мне кажется. Каменный остров не в той стороне.
- А мы вовсе не туда едем, – спокойно отвечал Леонид.
- Но ведь ты сам сказал!
- Да, сказал, чтобы ввести в заблуждение любопытных, которые прислушивались к нашей беседе в малахитовом зале.
- Куда ж мы все-таки едем?
- Сейчас мы катим по Петровскому проспекту. Прямой дорогой на Петровский остров.
- Но там ведь нет ничего, кроме пеньковых и сахарных заводов.
- Ты прав. Вот одну из таких сахароварен мы и посетим.
- Ладно, будь по-твоему, – ответил Эден и, плотнее закутавшись в шубу, откинулся на спинку сидения. Казалось, он задремал.

Прошло полчаса, прежде чем сани вновь пересекли лед Невы и остановились перед красным особняком, замыкавшим собою длинный парк.

Леонид потряс друга за плечи:

– Приехали.

Все окна особняка были освещены: вошедших с мороза гостей в вестибюле встретил необычный запах, несомненно присущий сахарному производству, но имевший мало общего с запахом сладостей. Молодые люди вошли в маленькую дверцу под сводами, и навстречу им двинулся какой-то полный господин с гладко выбритым лицом. Он спросил по-французски: «Чего желают господа?»

- Осмотреть сахарный завод, – ответил Леонид.
- Только завод или еще и рафинерию? – спросил француз.
- Только рафинерию, – шепнул Леонид и вложил ему в руку ассигнацию, которую тот не спеша расправил и внимательно разглядел. Это была сторублевая кредитка, и человек, пробормотав «bien»,^[10] сунул ее в карман.

– Этот господин с вами? – спросил он, указав на Эдена.

– Разумеется, – отвечал Леонид. – Дай ему сотню, Эден. Это – входная плата. Не пожалеешь.

Эден, ни слова не говоря, вручил деньги французу.

Тот повел их вдоль коридора. Кое-где двери были открыты, из них струился свет, доносился шум и грохот машин, свист пара и удушающий смрад. Молодые люди не зашли в цехи, а направились дальше; наконец они достигли низкой железной двери. Провожатый распахнул эту дверь и пропустил гостей в полуосвещенный коридор, предоставив им дальше идти одним.

– Все время прямо, а уж там увидите куда, – пробормотал он.

Леонид взял Эдена под руку и повел его за собой с видом завсегдатая. Они дошли до винтовой лестницы, и, по мере того как спускались по ней все ниже, Эдену казалось, что машинный шум и свист пара все явственнее сменялись иными звуками, похожими на приглушенные звуки тромбонов и флейт.

У подножья винтовой лестницы за небольшим столиком сидела какая-то пожилая дама в модном платье.

Леонид положил перед нею один империал.

– Моя ложа открыта? – спросил он.

Дама сделала книксен и улыбнулась.

Пройдя мимо ряда задрапированных коврами дверей, Леонид нашел свою и открыл ее. Затем он растворил вторую дверь, и друзья очутились в ложе, обнесенной спереди тонкой бронзовой решеткой.

Теперь они уже явственно слышали музыку.

– Да ведь это театр или цирк! – воскликнул Эден, обернувшись к Леониду. Затем, взглянув через решетку, он добавил: – Или баня.

Леонид рассмеялся:

– Как тебе угодно. – С этими словами, бросившись на кушетку, он взял со столика отпечатанный листок. Это была обычная театральная программка. Вместе с Эденом они стали читать вслух.

– Первый номер: «Don Juan au Serail».^[11] Это действительно забавная штука. Жаль, что мы уже пропустили. «Tableaux vivants».^[12] Довольно скучная история «Les bayadères du khan Almollah».^[13] Веселая вещица: один раз я уже видел. «La lutte des amazones»,^[14] «La réke d' Ariane».^[15] Это, должно быть, превосходно, если только Персида сегодня в ударе.

В дверях ложи появилась склонившаяся в почтительном поклоне фигура: то был официант.

– Стол накроешь здесь, – приказал Леонид.

- На сколько персон?
- На три.
- Кто ж третий? – удивился Эден.
- Увидишь.

На столе мгновенно появилась закуска, сладкое и бутылки шампанского в серебряном ведерке со льдом. Затем слуга оставил гостей одних. Леонид запер за ним дверь ложи.

– Послушай, Леонид! В какую странную рафинерию ты меня привез! – воскликнул Эден, бросив взгляд сквозь бронзовую решетку.

Леонид в ответ засмеялся.

– Ты, значит, думал, что мы, русские, только псалмы поем?

– Нет! Но здесь, в здании, принадлежащем казне, и вдруг такое заведение!

Леонид, улыбнувшись, только махнул рукой: стоит ли говорить об этом?

– А что будет, если нас здесь обнаружат?

– Сошлют в Сибирь.

– А музыканты не выдадут?

– Они никого не видят. Весь оркестр состоит из слепых музыкантов. Да ты не смотри туда. Это – развлечение для старцев. Нас ждет другое.

Леонид стукнул два раза в стенку соседней ложи, оттуда послышался ответный стук, через мгновение драпировка раздвинулась, и появилась женщина.

Она походила на одну из очаровательных героинь сказок «Тысячи и одной ночи». На ней был длинный, до щиколоток, персидский кафтан, туго обтягивавший ее фигурку, с золотым пояском на тонкой талии; длинные нити жемчуга свисали на грудь, разрезанные рукава, спадавшие с дивных округлых плеч, открывали изумительно красивые руки, о которых только мог мечтать скульптор. Ее овальное кавказское лицо говорило о благородном происхождении: у нее был изящный, тонкий нос, свежие губы, длинные загнутые ресницы и иссиня-черные горящие глаза; голову ее ничто не украшало, если не считать двух царственных, доходивших до пят кос.

Она недоуменно застыла в проходе.

– Ты не один?

– Иди сюда, Йеза, – позвал Леонид. – Юноша, которого ты видишь, – половина моей души; другая половина – ты.

При этих словах он неожиданно встал и обнял обоих: Эдена и черкешенку. Затем, хохоча, усадил их на софу, а сам устроился напротив.

– Ну, как Эден? Не правда ли, это нечто иное, чем холодные изваяния там, наверху? Разве здесь, в преисподней, не лучше?

Иеза со сдержанным интересом рассматривала Эдена, а он равнодушно взирал на ее красу.

– Видал ли ты где-либо такие глаза? А этот очаровательный ротик, который то дуется, то улыбается, манит, смеется, просит, издевается? И каждый раз он иной.

– Ты хочешь меня продать? – спросила черкешенка.

– Упаси бог того, кто захочет тебя отнять! Но если ты самалюбишь того, кто мне друг и даже брат, я отдам тебя даром.

Иеза придвинулась к тому краю софы, где сидел Эден, и, зажмурив глаза, положила обе руки ему на колени.

– Из тебя вышел бы превосходный укротитель диких зверей, Эден, – сказал Леонид, сжав в руках маленькую ножку черкешенки в красной туфле. – Эта девушка обычно дичится¹ упорствует и капризничает, но стоило тебе взглянуть на псе своим победоносным взором, как она стала смиренной, словно послушницы в Смоленском монастыре, – спаси, господи, их грешные души. Ты пропала, Иеза! Самые красивые дикарки, имя которым – женщины, немеют, едва на них бросит взгляд этот укротитель львов.

Черкешенка подняла голову и в упор посмотрела на Эдена. Щеки ее пылали. Она покраснела, пожалуй впервые после того, как екатериноградский купец продал ее, сдернув одежду с плеч девушки.

– Наполним бокалы, друзья! – воскликнул Леонид, ловко открывая бутылку с шампанским.

Он налил вино в три бокала, два из них протянул Эдену и Иезе. Те отпили лишь наполовину. Леонид заставил их поменяться бокалами и снова подлил вина.

– Пейте до дна! Вы пьете теперь любовь друг друга.

Вино возымело свое действие, и Иеза развеселилась. За перегородкой, в зале, звучала музыка; черкешенка подпевала ей. В знак симпатии к Иезе Эден повернулся спиной к залу и не сводил глаз с девушки; он не обращал ни малейшего внимания на то, что происходило на сцене; между тем Леонид при каждом новом номере выглядывал из ложи и отпускал шуточные замечания по поводу исполнявшихся номеров.

Иеза много пила, и вскоре голова ее отяжелела. Она прилегла на софу, положив голову на колени Эдена, а ножки в красных туфельках – на колени Леонида.

Эден гладил ее шелковистую головку, как обычно гладят голову

любимой собачки.

– А ты сегодня не выступаешь? – вдруг спросил Леонид у Иезы.

– Нет. Сегодня я свободна.

– Жаль. Могла бы показать что-нибудь моему другу.

Иеза вскочила.

– А сам он этого желает? – И она вопросительно взглянула на Эдена.

– О чем вы? – спросил Эден.

– А! Ты же еще ничего не знаешь. Ведь Иеза наездница. Она прекрасная танцовщица на лошади. Обычно ее выступление включает программу. Выбери что-нибудь из ее коронных номеров.

– Но я ведь не знаю репертуара Иезы.

– Варвар! Он не знаком с ее репертуаром! А уже полгода живет в цивилизованной стране! Ладно, я перечислю тебе ее роли: «La reine Amalagunthe», «La diablesse», «Etoile, qui file», «La bayadère», «La nymphe triomphante», «Diana qui chasse Actéon», «Mazeppe».^[16]

При последнем названии черкешенка воскликнула:

– Только не это! В программе этого нет.

Леонид рассмеялся.

– Эден! Не робей. Выбирай последнее...

Иеза вскочила на ноги и закрыла рукой рот Леонида, не давая ему говорить.

Леонид шутливо боролся с ней, освобождая рот от этого прелестного замка.

Конец поединку положил Эден, сделавший свой выбор:

– «Мазепа».

Тогда Иеза строптиво отвернулась от них и прислонилась плечом к стене ложи.

Леонид торжествовал.

– Мне ты никогда не хотела показать этот номер. Говорил я тебе, что придет день, когда я его увижу.

Черкешенка бросила пламенный взгляд на Эдена и запальчиво произнесла:

– Хорошо. Будь по-вашему.

И она, словно видение, исчезла в проходе между ложами; драпировка тут же задвинулась.

Музыка в зале смолкла, видно, окончился очередной номер.

Только теперь Эден сквозь решетку стал внимательно разглядывать сцену. Она представляла собой раковину со сводами, размером не менее тридцати сажень по окружности. Сразу от рампы амфитеатром

поднимались ряды лож, обнесенных золоченой решеткой. Публику нельзя было видеть, и только сигарный дымок, струившийся из лож, свидетельствовал о том, что там находятся люди. Сцена была задрапирована занавесом с рисунками на мифологические сюжеты. По краям сцены находились боковые двери.

Этот подвал первоначально предназначался под склад для сырья. Но какой-то хитроумный француз преобразил его в своеобразный Элизиум, где незаконно, без разрешения властей, выступали служители «свободного искусства». Сюда стекалась «золотая молодежь» столицы, бывали здесь и почтенного возраста богатые отцы семейств, которые, платя сто рублей за вход, развлекались целый вечер.

Не исключено, что об этом заведении была осведомлена полиция. Однако, вероятно, ловкий импрессарио знал секрет той волшебной мази, с помощью которой удастся замазывать глаза недремлющему Аргусу. А может быть, власти просто опасались, что в тот час, когда полиция решит устроить осмотр всего помещения, на пресловутом сахарном заводе вдруг вспыхнет пожар, который дотла уничтожит все, вплоть до «рафинерии». В конце концов там ведь не печатали фальшивых денег и не занимались политикой, – стоило ли поднимать на ноги полицию? Пусть себе веселятся... «Tout comme chez nous».^[17]

Спустя несколько минут после того, как Иеза оставила ложу молодых друзей, сцена опустела. Лишь две девушки-сарацинки в турецких шароварах разравнивали сцену: очевидно предстоял номер на лошадях.

Кто-то постучал в дверь ложи, и Леонид открыл ее.

Это был слуга с конвертом на серебряном подносе.

– Что это?

– Письмо для того господина.

– Как оно сюда попало?

– Привез гонец par expresse,^[18] имевший поручение найти этого господина, где бы он ни был.

– Дай ему пол-империала, Эден, и пусть убирается.

Леонид взял письмо и повертел его в руках: женский почерк, черная печать.

– Вот увидишь: billet doux,^[19] – сказал он, протягивая письмо Эдену. – Княжна Н. сообщает, что, коль скоро ты не пригласил ее на кадрили, она примет мышьяк.

Затем он повернулся к сцене и вынул лорнет, чтобы не пропустить ничего из номера, в котором должна была выступить Иеза. В таком

положении он и продолжал говорить с Эденом.

– Видишь, вопреки моей конспирации, им все-таки удалось напасть на наш след. Агенты женщин поистине стоглазы. Но что нам в самом деле до них!

Началась увертюра. Слепые музыканты по сигналу колокольчика заиграли галоп из «Мазепы». За кулисами послышался лай собак, изображавших волков, которые преследовали привязанного к лошади Мазепу; затем донеслись резкие удары хлыста, подгонявшие и без того горячих коней. Леонид весь превратился во внимание.

Раздался топот коней, дикий гул, лошадиное ржанье, а вслед за тем – крики «браво» из зарешеченных лож.

– Чертовски здорово! – воскликнул Леонид. – Смотри, смотри, Эден! Видишь?

Закрыв правой рукой глаза, Эден плакал. В другой руке он держал развернутое письмо.

– Что с тобой? – испугался Леонид.

Эден молча протянул ему письмо. Леонид прочел написанные по-французски строки:

«Умер отец. Приезжай немедленно. Твоя любящая мать Мария».

В первую минуту Леонид ощутил негодование.

– Тотчас же прибью глупого курьера, который доставил это письмо. Не мог, негодяй, подождать до утра?

Однако Эден молча встал и покинул ложу.

Леонид последовал за ним.

– Бедняга! – проговорил он, сжимая руку друга. – Как *mal á propos*^[20] пришло это письмо!

– Прости, – сказал Эден. – Я еду домой.

– Я с тобой. Теперь уж пусть кто хочет смотрит этого «Мазепу». Мы ведь поклялись всегда быть вместе – в аду ли, в раю ли – все равно. Я отправлюсь с тобой.

– Но я еду домой, в Венгрию.

– В Венгрию?

– Так желает матушка, – коротко промолвил Эден с грустью в голосе.

– Когда?

– Сейчас же.

Леонид протестующе покачал головой.

– Безумие! Ты замерзнешь в дороге. В городе двадцать два градуса мороза, а в степи по меньшей мере двадцать пять. Дороги от Москвы до Смоленска занесло: выпало много снега. Зимой в России никто не

путешествует, кроме почты да купцов.

– Все равно. Я еду.

– Ты поедешь, но лишь тогда, когда будет возможно. Твоя матушка вряд ли хотела заставить тебя совершить невыполнимое. У вас там и не представляют себе, что такое поездка от Санкт-Петербурга до Карпат в крещенские морозы. Поедешь, когда спадет мороз.

– Нет, Леонид, – упрямо сказал Эден, – каждый час, который я проведу здесь после получения этого письма, станет для меня укором. Ты не можешь меня понять.

– Ну, хорошо, хорошо. Едем!

Двое молодых людей тем же потайным ходом, которым они пришли сюда, вышли во двор и разыскали свои сани. Кучер был изрядно пьян, но все же довез их до дома.

Как только Эден добрался до своей квартиры, он тут же приказал полусонному слуге уложить чемоданы и оплатить счета. Он так торопился, что сам принялся разводить огонь в камине.

Леонид бросился в широкое кресло и молча наблюдал за приготовлениями Эдена.

– Значит, ты всерьез решил ехать?

– Безусловно.

– Ты совершаешь ошибку. Это поспешное решение самым пагубным образом повлияет на твою карьеру. Ты так хорошо начал. Тебя признали. От тебя многого ожидали.

– Все это пустяки.

– Я точно знаю, что в следующую пятницу тебя собирались представить царю. Его величество благосклонно согласился на это.

– Но матушка приказала мне возвратиться.

Эти несколько слов были произнесены Эденом столь непреклонным тоном, что Леонид понял всю бесполезность дальнейших уговоров. Более того, он заметил, что его попытки отговорить друга от принятого решения только раздражают того. И Леонид переменял тон.

– Ладно, коли решил ехать, – поезжай. Я помогу тебе собираться. Что мне упаковывать?

– Если уж хочешь помочь мне, сделай одолжение, съезди в полицию и достань подорожную. Тебе, возможно, удастся это, несмотря на ночной час.

– О, полиция всегда бодрствует. Спешу. Как закончу, сразу приеду сюда.

Не прошло и полутора часов, как Леонид вернулся.

– Вот твоя подорожная и документы.

Эден молча стиснул руку друга.

– Стало быть, ты всерьез задумал ехать?

– Я уже сказал.

– И не останешься здесь ни ради нашей дружбы, ни ради милостей царя?

– Высоко ценю и то и другое, но желание матери для меня превыше всего.

– Хорошо, но это еще не все, Я тебе открою одну тайну: моя невеста, Александра, страстно влюблена в тебя. Она единственная дочь знатного вельможи. Он в тысячу раз богаче тебя. К тому же она красива. И хорошая девушка. Меня она не любит, потому что обожает тебя, Она заявила мне это прямо в глаза. Всякого другого я бы убил. Но тебя я люблю больше, чем брата, и сильнее, чем невесту. Бери ее в жены и оставайся у нас.

Эден грустно покачал головой.

– Я еду домой, к матери.

Русский офицер ударил себя ладонью по лбу и расхохотался.

Но то был деланный смех!

Потом он подошел к Эдену и взял его руки в свои.

– Стало быть, ты окончательно решил ехать в Венгрию?

– Да.

– Тогда, черт побери, я еду с тобой, И да поможет нам бог. Одного я тебя не пущу.

Друзья обнялись и долго держали друг друга в объятиях, сердце к сердцу. Они и впрямь были настоящими друзьями.

Леонид поспешил сделать все необходимые распоряжения к отъезду. Он послал вперед гонцов, чтобы те приготовили на станциях сменных лошадей, осмотрел сани, в которых обычно ездил охотиться, уложил в них провиант, упаковав копчености, рыбу, водку, галеты и черную икру в большой, утепленный изнутри и сверху, обитый железом ящик, раздобыл где-то две белые медвежьи шубы, теплые мешки для ног, высокие шапки из куньего меха для себя и своего друга. Кроме того, он приготовил два добрых ружья, пару нарезных пистолетов, а также два коротких и обоюдоострых греческих кинжала – в дороге все пригодится. Он засунул в ранец даже две пары коньков, на случай, если придется ехать по реке: тогда можно будет размять затекшие ноги, пустившись по льду наперегонки с санями. Передок саней он набил сигарами, которых хватило бы и на двадцать дней пути. Леонид еще затемно подкатил в возке с бубенцами к дому Эдена, вполне готовый к путешествию, и тут же принялся с головы до ног переодевать своего друга: Леонид хорошо знал, как следует

снаряжаться в зимнюю дорогу по бескрайним российским полям.

Видит бог, Леонид так позаботился о своем друге, что даже родная мать не смогла бы сделать лучше!

Возок, в котором они должны были совершить путешествие, уже стоял наготове; он представлял собою крытые воловьей кожей сани на хорошо подбитых стальных полозьях, с юфтовым картузом спереди и запятками позади; тройка лошадей была уже запряжена, у коренного бубенцы висели под самым лучком крутой дуги, а у пристяжных – на оглобле; ямщик с длинным кнутом на короткой рукояти расхаживал перед лошадьми, удерживая их и дожидаясь, пока молодые господа выйдут из дому. Прежде чем забраться внутрь крытого возка, Леонид еще раз спросил Эдена:

– Стало быть, взаправду едешь?

– Да.

– Тогда прими от меня этот амулет. Мне вручила его матушка перед смертью. И сказала, что он убережет меня от всех опасностей.

То был небольшой перламутровый медальон в золотой оправе; он изображал битву святого Георгия с драконом.

Эден отказался от фамильной реликвии.

– Благодарю тебя, друг, но я не верю в амулеты. Единственно во что я верю, – это в звезды. Мои звезды – любящие женские глаза.

Леонид пожал руку друга.

– Тогда признайся в одном. Сколько звезд у тебя – две или четыре?

Лишь одно мгновенье колебался Эден, а потом ответил:

– Четыре!

– Хорошо! – воскликнул Леонид и помог Эдену забраться в возок.

Кучер по очереди пригнул к себе лошадиные морды; схватив коней за холки, он чмокнул их в шершавые теплые губы, перекрестился, затем удобно устроился на облучке, взял вожжи, и через минуту сани полетели по заснеженным улицам русской столицы. Было уже утро, время приближалось к восьми часам, но звезды еще мерцали в небе, и окна в домах повсюду были закрыты ставнями.

На севере светает поздно.

До самого Смоленска дорога не баловала наших путешественников разнообразием. Погода стояла морозная, но ясная. На почтовых станциях им быстро и без проволочки меняли лошадей, и повсюду они находили ночлег со всеми удобствами, которые в любой стране можно получить за деньги.

Но вот по приезде в Смоленск почтмейстер предупредил их, что на завтра ожидается дурная погода, ибо к вечеру в город отовсюду

слетались вороны стаи; купола почернели от великого множества птиц.

– Что нам вороны. Много ли они понимают в погоде? – ответили почтмейстеру путники и спозаранку пустились в дорогу.

Леонид сказал ямщику, что до Орши проще всего добираться по льду замерзшего Днепра. Но тот так настойчиво убеждал барина в том, что это приведет к неизбежной потере времени и ссылался на отсутствие придорожных трактиров, где можно передохнуть и пропустить стопку горячительного, что Леонид махнул рукой и согласился ехать по почтовому большаку. То ли лошадей жалел кучер, зная, что ледяной покров портит им ноги, то ли была у него в одном из придорожных шинков знакомая шинкарочка...

Когда они ранним утром выезжали из Смоленска, стоял такой густой и плотный туман, что путники едва сумели выбраться из города. Ямщик приладил бубенцы, чтобы не столкнуться с какой-либо встречной подводой. Друзья, сидевшие в возке, не могли разглядеть в этом тумане ничего, кроме кончика курившихся сигар, которые потрескивали в тяжелом, густом воздухе так, словно были начинены селитрой. Туман был столь удушлив, что казалось, будто сама больная земля, выделяя пар, издает чумное зловоние.

Только к полудню немного прояснилось. Серый туман вдруг начал сверкать; мириады мельчайших кристалликов повисли в воздухе, образовав плотную серебристую вуаль, сквозь которую едва виднелось холодное и неяркое белесое блюдечко: то было солнце.

Затем неожиданно туман исчез, и край ожил. Открылось окрашенное во все белое зрелище – гигантская сахарная голова на серебряном блюде. Все вокруг побелело: запорошенные деревья по обочинам тракта, далекие еловые леса, укутанные хлопьями снега, и сосульки на лошадиных боках, на которых каждая шерстинка покрылась инеем.

Короткое время солнце так сильно пригревало, что путникам захотелось сбросить шубы.

Вскоре пришло и объяснение этому странному явлению. На севере стремительно поднималось кверху некое темное чудовище; сначала оно казалось фиолетовым, но затем стало приобретать бурую, свинцовую окраску; оно было бесформенным, с рваными краями и плотной черной сердцевиной. Это чудовище несло по гладкой равнине навстречу солнцу, и, наблюдая страшную скорость, с какой оно поднималось ввысь, можно было представить себе, что произойдет в следующее мгновение, когда оно закроет собою солнце: весь край сразу станет пепельно-серым.

Леонид выглянул из кибитки и тихо проговорил:

- Ну, друг, беда: буран!..
- Что такое «буран»?
- Сейчас узнаешь.

Все небо превратилось в сплошную тучу, которая закружилась в бешеном вихре. Равнина мгновенно сделалась свинцовой. Между черным небом и свинцовой землей, кружась и танцуя, возникло косматое белое привидение, детище снежных полей, настоящий снеговой вулкан, чьи стопы упирались в землю, а глава уходила в облака! Эта северная колдунья с диким воем воздвигала не из песка, а из снега громадную пирамиду и радовалась тому, что кружащийся в безумной пляске колосс отчаянно несет по равнине, разрушая и сметая все на своем пути – леса, дома, людей, животных, Вот что такое буран.

– Ну, Эден, коли он нас захватит, мы и в самом деле вместе отправимся в ад или в рай.

Тройка без понукания брела шагом, как могла. В стороне виднелся чистый кусок неба, и ямщик старался добраться туда, пока их еще не настигла буря. Он ласково обращался к лошадям, называя их то братушками, то кормильцами, поминал святого Михаила и святого Георгия.

Внезапно полыхнула молния.

Молния и гром в разгаре зимы, при двадцатидвухградусном морозе! За первым блеском молнии последовали другие, гром не затихал ни на минуту, казалось, будто снеговой вулкан извергает из себя огнедышащих драконов, чьи гигантские туловища при каждом сверкании молнии походили на чудищ апокалипсиса; они отливали холодным, жутким белым светом, господствуя над всем окружающим миром.

Ветер выл, гудел и свистел. Лошади скоро стали; тщетно ямщик призывал всех святых и чертей; не помогал и кнут – коней ничем нельзя было больше сдвинуть с места.

Через несколько секунд все вокруг погрузилось во мрак и вихрь. Путники не различали даже друг друга.

Буран настиг их, и с этого мгновения все окутала тьма; лишь голубое сверкание молний на какую-то долю секунды разрывало перед ними «ту ночь средь бела дня».

Неистовый, яростный ветер загонял во все щели и вмятины кибитки острый, колючий снег, похожий на растолченную стеклянную пыль. По кожаному верху, казалось, били гигантской плетью; в какой-то миг путникам почудилось, будто возок трещит по всем швам, разваливается на части; сани содрогались, словно детская игрушка, которую трясут мужские руки. Леонид наклонился к Эдену и посмотрел ему в глаза.

– Ну как, – видишь еще свои звезды?

– Вижу.

Друзьям оставалось лишь одно: сжаться в клубок и вверить свое тело и душу милости божьей.

Молнии сверкали теперь прямо над их головою; ураган засыпал их сани сугробами снега.

Вой ветра постепенно стихал. Леонид шепнул;

– Сейчас снег похоронит нас заживо.

На что Эден хладнокровно ответил:

– Неплохо попасть живым на облака.

Удары грома слышались теперь все глуше и глуше. И хотя ветер все еще продолжал завывать, погребая под снегом своих пленников, но буран уже удалялся: их коснулся лишь шлейф царицы ветров.

Но вот ветер утих настолько, что ямщик выкарабкался из-под лошадей, куда он раньше предусмотрительно забрался, и начал высвобождать из-под снега занесенную по гривы тройку. Вместе с лошадьми появились из снежной могилы и сани; молодые люди на минуту вылезли из возка, чтобы стряхнуть снег с шуб. В небе начал распадаться огромный шатер, сотканный из туч: бешеный призрак, вызванный бурей, исчез так же стремительно, как появился, и только где-то вдали, на востоке, едва виднелась белоснежная шапка великана, освещаемая яркими блесками молний.

По край, по которому пронесся буран, сохранил на себе ужасные следы этой «пляски смерти».

От соснового бора, куда путники спешили, но, по счастью, не успели добраться, не осталось и следа. Лишь несколько голых со сломанными макушками сосен и елей виднелось на снежной равнине; остальные деревья, перемолотые и поваленные бураном, лежали, погребенные в снегу.

Куда ни глянь – никаких признаков проходившего здесь почтового тракта. Ни верстовых столбов, ни сторожевых будок, ни деревьев по обочинам большака. Там, где раньше пролегали придорожные канавы, буран нагромоздил сугробы снега, словно волны бесконечного студеного моря.

– Ну, отец, а теперь куда? – спросил Леонид ямщика.

– Один святой Прокоп ведает, – ответил ямщик, почесав за ухом.

Святой Прокоп был действительно покровителем путников, но сейчас и он был так глубоко похоронен в снегу где-нибудь на обочине тракта, что не очень-то легко было спросить его, где дорога.

– Поезжай все равно куда, лишь бы ехать. Здесь, во всяком случае, нам

делать нечего. Может, встретим кого по дороге. Хорошо бы сейчас до Днепра добраться! Верно, отец?

– Так-то так, барин. Я не прочь, чтоб ты огрел меня по спине кнутом, лишь бы сказал, как добраться до этого самого Днепра. Я ни на Оршу, ни обратно, на Смоленск, дороги не вижу.

– Перекрестись, и с богом!

Теперь лошади трусили не с той охотой, что прежде. Они, видно, чувствовали, что их хозяин не знает, куда ехать. Временами путешественникам казалось, что они набрели на дорогу, но затем они убеждались, что лишь еще глубже забрались в степь. А навстречу – ни конного, ни пешего; ни повозки, ни человеческого жилья вокруг.

После метели мороз увеличился еще на несколько градусов.

Вдруг, после долгих бесплодных блужданий по степи, ямщик закричал:

– Смотрите, впереди казак.

Леонид выглянул из кибитки и в самом деле увидел вдали черную фигуру. Правда, ему показалось, что она как-то уж слишком неподвижна.

– Гони туда!

Вскоре сани достигли казака.

Это был рядовой казак, верхом на коне. Однако лошадь его находилась в каком-то необычном положении: она словно прислонилась к краю огромного сугроба, утонув чуть не по колено в снегу, и, опустив голову, будто искала что-то под копытами.

Сам казак сидел в седле, держа обеими руками длинную пику, воткнутую острием в снег. В такой позе он, не шевелясь, глядел на подъехавшие сани.

Ямщик приветливо окликнул казака. Но тот не ответил ни слова.

– Гей, добрый молодец! – закричал тогда Леонид. – Откуда едешь и куда путь держишь?

Казак молчал.

Леонид решил научить вежливости дерзкого парня и, выпрыгнув из возка, скинул с себя шубу, полагая, что при виде офицерских погон казак опомнится.

Но всадник по-прежнему не двигался и каким-то странным взглядом смотрел на барина с погонами на плечах.

– Эй, парень, ты что, язык проглотил? – взревел Леонид и, подступив к казаку, дернул его за руку.

Только тут он понял в чем дело.

Конь и казак превратились в льдину!

Можно было подумать, что это – скульптура всадника на краю большака.

– Если бы он и мог указать нам дорогу, то разве лишь на тот свет, – сказал Леонид своему другу, вернувшись к саням.

– Эх, бедный солдатик, погубил его буран, заоченел он вместе с лошадьёю. Такое у нас бывает, – вздохнул ямщик, посмотрев, нет ли в казачьем ранце какого-либо запечатанного пакета: к утру все равно и замерзшего казака, и его коня раздерут на куски волки.

– Куда ж теперь ехать? – с нетерпением спрашивал Леонид. – Полдень уже позади, скоро смеркаться начнет. Да и погода опять портится. Надо к ночи добраться до какого ни на есть жилья.

– Я тоже так думаю, – подхватил ямщик. – Не желал бы я ночевать в степи между Смоленском и Оршей. Приказывай, барин, куда путь держать.

– А я почему знаю! Был бы хоть компас с собой, чтобы определить, где север, где юг. Постой, Эден! Ты ведь всегда носил его на цепочке от часов.

Эден расстегнул одежду настолько, чтобы добраться до заветной цепочки, и отцепил от нее футляр с намагниченной иглой. Затем из походной сумки они достали карту и, определив стороны света, начали, подобно морякам, ориентироваться на безбрежной снеговой равнине.

У каждого было свое мнение. Один утверждал, что ближайшие леса – не иначе, как витебские. Другой доказывал, что, двигаясь вниз по равнине, они попадут в могилевские степи, до которых трое суток пути.

Эден предлагал двигаться дальше в направлении, противоположном тому, куда ехал замерзший казак: тот, по всей вероятности, выехал из какого-либо ближайшего жилья.

Пока они спорили, куда ехать, появилось нечто, красноречиво показавшее им, куда ехать не следует!

Со стороны леса донеслось протяжное завывание; в ответ лошади стали беспокойно перебирать ногами и пятиться, шерсть на их спинах встала дыбом. То выли волки.

За первым завыванием последовал целый хор – ужасающий призывный крик лесных зверей. Кто хотя бы раз в жизни слышал этот вой, всегда будет вспоминать о нем с ужасом.

Ямщик одним махом вскочил на облучок и взял в руки вожжи.

– Спасаться надо, барин! – закричал он с искаженным от страха лицом, указав кнутовищем в противоположную от волков сторону. В следующую минуту он уже повернул сани и щелкнул бичом.

Но кнут теперь не нужен был лошадям. Услышав волчий вой, ретивая тройка и так поняла, что остается одно: либо мчаться изо всех сил, либо

погибнуть. Снег взметнулся из-под копыт. Кони понеслись, не разбирая дороги, через ямы и сугробы.

Двое друзей приготовились бесстрашно встретить опасность.

Эден, казалось, не был склонен ее преувеличивать.

– У нас два ружья и вдоволь патронов. Если они приблизятся, мы их расстреляем в упор. Вообразим, что мы на охоте.

Но Леонид молчал. Он-то знал, чем грозит такая «охота». Зарядив ружье и засунув за пояс пистолет и кинжал, он приготовился к встрече. Лицо его выражало скорее отчаянную решимость перед смертельной схваткой, чем азарт охотника.

Когда сани выехали в чистое поле, Леонид выглянул в оконце и бросил Эдену:

– Взгляни назад.

Эден приподнял клапан второго окошка в кибитке и оглянулся.

По бугру, с которого они только что съехали, за ними гнались волки. Не дюжина, не две, а целые сотни волков преследовали возок. И кто знает, сколько их еще бежало вслед за этими. Гигантская стая!

Эден ощутил, как мурашки побежали по его спине. Да, это не охота. Это – бедствие. Ужасное, неотвратимое, грозящее гибелью бедствие. Бороться против такого множества зверей! И каждый из них вызывает омерзение!

Лошади мчались во всю прыть; однако волчья стая неслась еще быстрее.

Расстояние между преследователями и преследуемыми все сокращалось; вожаки стаи уже приблизились на ружейный выстрел, но Леонид не открывал огня: надо было подпустить их поближе.

Неожиданно лошади галопом влетели в запорошенные снегом густые заросли ивняка. Преследователи получили преимущество. Пока сани делали зигзаги и лавировали между кустами ивняка и сосновой порослью, стая волков мчалась напролом через кустарник и охватывала кибитку с боков.

Пора уже было защищаться!

Справа и слева ружья ударили по выскочившим из кустарника хищникам; четыре выстрела отбили первую атаку; дело было не в том, что преследователи испугались, увидев трупы своих вожаков; просто они остановились, чтобы их сожрать; после этого они возобновят погоню. Ведь волки пожирают своих сородичей!

Как бы то ни было, путешественники все же выиграли немного времени и успели перезарядить ружья; они вновь уложили наповал

хищников, выскочивших из-за кустов навстречу лошадям.

– Только бы выбраться из этого проклятого кустарника, – проворчал Леонид.

Кони тоже чувствовали смертельную опасность. Их глаза горели, гривы развевались по ветру, из широко раздутых ноздрей бил горячий пар. Бедняги в минуту опасности почуяли то, чего не мог еще постичь человеческий разум. Люди еще не успели сообразить, а коням уже подсказал их инстинкт, что, если они пересекут опасное место, то на той стороне их ждет спасенье. Никто не мог знать, откуда придет избавление, но кони предчувствовали его. Вот почему они не позволяли сбить себя с прямой дороги, не обращали внимания даже на вынырнувших им навстречу волков. Лихая тройка коней, казалось, знала, что освободить им дорогу от волков обязаны люди, чья жизнь связана сейчас с их жизнью. И лошади неотступно рвались вперед, только по прямой, туда, где кончался кустарник.

Лесная поросль и впрямь начинала редеть; еще немного, и перед ними открылся широкий ландшафт с далекими куполами деревенских церквей на горизонте. Отрадное зрелище! Несколько новых удачных выстрелов по преследователям вызвали спасительный страх у волков. Им пришлось не по вкусу, что три или четыре их сородича замертво рухнули наземь. Это мгновенное замешательство позволило лошадям достичь кромки зарослей, за которой простиралось чистое поле, сулившее спасение.

Но едва сани миновали кустарник, ямщик стремительно вскочил со своего места и испуганно уставился прямо перед собой. Затем, не промолвив ни слова седокам, он с криком: «Помоги, святой Павел!» – выпрыгнул из саней, бросив вожжи под ноги коням.

Путешественники с изумлением глядели на него. Неподалеку росла высокая ель со сломанной бураном верхушкой; ямщик побежал к дереву и, прежде чем волки успели перехватить его, взобрался на обвисшие ветви. А тройка продолжала мчаться вперед, никем не управляемая.

Почему ямщик бросил сани?

Ответ на этот вопрос пришел в следующее мгновение: послышалось отчаянное конское ржание, затем раздался треск, грохот; возок полетел куда-то вниз, и свет померк в глазах молодых людей.

Когда они очнулись в полной мгле, то в первую минуту не могли понять, где находятся.

– Ты жив? – спросил Леонид своего друга.

– Как будто. А у тебя руки и ноги целы?

– Мы куда-то провалились. Только бы знать куда!

– Попробуем узнать.

Сани были перевернуты вверх дном, и им пришлось вылезать куда-то вбок на четвереньках. Только тогда они поняли, что вместе с лошадьми и санями попали в глубокий сугроб. Но передка кибитки нигде не было видно, он куда-то исчез. От него остался только след па снегу.

Они наконец выбрались на свет божий и узрели своими глазами, куда занесла их судьба.

Путешественники оказались там, куда так страстно стремились, – на Днепре.

Беда заключалась в том, что берег в этом месте достигал семи-восьми сажень высоты, и люди вместе с конями и кибиткой рухнули словно в пропасть.

К счастью, буран намел на льду такие сугробы снега, что путники не разбились при падении, однако сани разломались пополам.

Кони в упряжи уже трусили рысцой по противоположному берегу реки. А волчья стая?

Достигнув обрыва, волки остановились: пример коней не вдохновил их на головокружительное сальто-мортале. Стая двинулась вдоль берега в поисках более отлогого спуска к реке, и через несколько минут можно было уже видеть, как волки, скользя по крутому откосу вниз, продолжают преследовать злополучную тройку.

– Им не догнать лошадей, – сказал Леонид. – Кони получили большое преимущество во времени, к тому же они теперь бегут налегке. Надо подготовиться к тому, что через час волки, голодные и злые, возвратятся сюда.

– Ну теперь-то мы в настоящей крепости и можем защищаться хоть до утра, – ответил Эден, указывая на перевернутый возок, засыпанный снегом и образовавший хорошее укрытие.

– Это было бы невеселым занятием, друг. Можно придумать нечто иное. Мы сейчас находимся на прямой дороге – под нами Днепр, покрытый льдом. Так не лучше ли надеть коньки и, не мешкая, пуститься в дорогу. Часа через два-три мы наверняка встретим какую-нибудь казачью заставу, а прокатиться по Днепру на коньках – одно удовольствие.

– Чудесно! – воскликнул Эден, схватил руку друга и засмеялся.

– А все-таки хорошая штука – жизнь!

Метель очистила Днепр от снега, и ледяной покров реки сверкал точно зеркало. Как славно мчаться по льду! Друзья встали на коньки; они захватили с собой пистолеты, кинжалы и фляги с водкой, а весь лишний груз бросили в сани. Затем с гиканьем и криками «ура» они пустились

наперегонки по ровной, как рельсы, дороге.

Но торжествовать было рано.

Волчья стая не вся бросилась за конями; она оставила над обрывом сторожевой пост.

Четыре волка уселись под той самой елью со сломанной бурей верхушкой, на которую забрался ямщик. Видно, звери решили, что к утру человек неминуемо замерзнет и тогда свалится вниз; его хватит как раз на четверых. Самый старый из хищников стоял на краю обрыва и, глядя оттуда на волков, преследовавших лошадей, страшно зевал во всю свою огромную пасть: он был голоден и видел, что добыча от него ускользает.

Вдруг он заметил двух мчавшихся по льду людей.

Он коротко взвыл, подавая знак своим более молодым сородичам, которые оставили ямщика и подбежали к обрыву. Увидев скользящие по льду две человеческие фигуры, они стремглав бросились за ними вдоль берега и, достигнув первого же отлогого спуска, выскочили на лед.

Матерый разбойник подождал, пока гнавшиеся за лошадьми волки слышали его сигналы; несколько бежавших позади хищников повернуло обратно к одинокой ели, и только тогда он устремился в погоню за людьми. Старый вожак знал, что волку бежать по гладкому льду не так-то легко, и поэтому не сходил с береговой кромки, внимательно следя за молодыми волками, преследовавшими конькобежцев.

Меж тем двое друзей, разгоряченные быстрым бегом, находили даже удовольствие в том, что у них оказались попутчики. Хищников было только четверо, и на каждый кинжал, таким образом, приходилось всего лишь по два зверя.

Молодые люди были опытные конькобежцы – тренированные и полные сил. Уйти от волков для них ничего не стоило. Три серых хищника яростно ускоряли бег по зеркальному льду, скользя и барахтаясь на нем, временами с размаху кувыркаясь, огрызаясь и скаля зубы, словно виня один другого за неловкость и неумение. Старый же волк по-прежнему бежал берегом или прибрежным камышом, возглавляя погоню лишь в тех местах, где река изгибалась. Матерый зверь был превеликим геометром – он прекрасно разбирался в том, что такое диагональ. Пока конькобежцы огибали по льду колена реки, старый волк вел своих сородичей прямо по берегу, и когда люди уже предполагали, что их преследователи остались далеко позади, те вдруг оказывались совсем рядом, чуть ли не наступали на пятки. И снова приходилось напрягать все силы, чтобы уйти от волков.

Внезапно, применив очередную хитрость, волки бросились людям наперерез. «Ну, сейчас мы их схватим» – решили, должно быть, хищники.

Тогда друзья неожиданно сделали резкий рывок вправо, затем влево, и одураченные волки проскочили мимо, не сумев остановиться на льду. Сила инерции пронесла волков, против их воли, дальше, несмотря на то, что выпущенные когти оставили на льду глубокие следы. Конькобежцы со смехом заскользили вперед, между тем как старый волк остервенело хватал за бока своих опростоволосившихся помощников. В результате этого не слишком дружелюбного внушения волки потеряли еще сотню метров.

Взявшись за руки, Леонид и Эден летели по льду реки, как по катку; юношеский румянец горел на их лицах. Какое острое ощущение – играть со смертью!

Но вот в одном месте высокий левый берег вдруг сравнялся с рекой, и друзья, обернувшись назад, с ужасом обнаружили, что четверо волков, которые их преследовали, были всего лишь авангардом волчьего войска, а в нескольких тысячах шагов за ними бежала вся грозная стая.

– Теперь, друг, держись, не отставай! – отпустив руку Эдена, крикнул Леонид и, выбросив корпус вперед, заложив руки за спину, весь отдался бегу.

– Я вижу дым вдалеке, – проговорил Эден, с трудом поспевая за ним.

– Это, верно, сторожевой пост или какое-нибудь селенье. Туда пол часа ходу.

Но эти пол часа требовали от них крайнего и напряжения сил.

Двое друзей скользили по льду легче птиц. Возросшая опасность удесятряла их силы: пот струился у них со лба, пар вырывался изо рта: дело теперь шло о жизни и смерти.

Люди побеждали.

Волчьей стае не удавалось выиграть ни одного метра. Расстояние оставалось неизменным. Только четверо наиболее яростных преследователей во главе с матерым зверем гнались за людьми с удивительным упорством и злобой.

Леонид бежал впереди, Эден – в нескольких саженьях за ним.

Вдруг Леонид остановился.

– Я пропал! – воскликнул он, бледнея.

Эден, пронесшийся было сгоряча мимо своего товарища, сделал поворот и вернулся к другу.

– Что случилось?

– Мне конец. Оборвался ремень на коньке у самой пряжки. А ты беги дальше, спасайся.

– Спокойно! – проговорил Эден. – Возьми нож и просверли новую дырку на ремне. Я тем временем займусь волками.

– Благодарю! – просиял Леонид и пожал руку друга – На, возьми мои пистолеты.

Эден быстро сунул за пояс полученное оружие и двинулся вперед навстречу мчавшимся во весь опор волкам. Тем временем Леонид заковылял к ледяному торосу, опустил на колено и принялся исправлять пришедший в негодность конек. В футляре его кинжала хранился также маленький перочинный нож, и Леонид старался просверлить им новое отверстие в ремне; вынутый из ножен кинжал он положил рядом с собой на лед: это сейчас было его единственное оборонительное оружие.

Эден замедлил скольжение и, заметив выскочивших из-за маленького ивнякового островка четырех хищников, затормозил, стараясь остановиться. Затем вытащил из-за пояса пистолеты.

Ни одного лишнего выстрела разрешить себе было нельзя. Каждая пуля должна была попасть в цель и попасть так точно, чтобы разъяренный хищник упал замертво, не успев свалить с ног стрелявшего.

Три молодых волка бежали впереди на расстоянии сажени друг от друга; они мчались прямо на своего противника, их косматые хвосты развевались по ветру, а глаза горели красным огнем; они косились друга на друга и радостно подвывали. Матерый же разбойник, поджав под себя длинное полено, бежал последним; свесив набок голову, он смотрел на человека недоверчивым, испытующим взглядом, злобно и свирепо оскалив пасть.

Спокойствие!

Первого зверя пуля настигла с десяти шагов; она пробила ему грудь и заставила рухнуть наземь; из его горла на лед хлынула кровь.

Второму хищнику выстрелом перебило переднюю лапу, и он, визжа и потрясая ею в воздухе, поскакал прочь на трех ногах.

Третий волк был поражен с четырех шагов и так удачно, что дважды перекувыркнувшись через голову, растянулся с пробитым черепом у самых ног Эдена и испустил дух.

Старый волк, приблизившись к Эдену, вдруг замер на месте и опустил голову. Навострив уши, он исподлобья глядел на человека, словно разрешая тому спокойно целиться в себя.

Но в тот самый миг, когда Эден нажал курок, старый хитрец с неожиданным проворством отскочил в сторону, и пуля, пройдя мимо мишени, цокнулась о лед и рикошетом понеслась дальше.

Эден отбросил в сторону разряженный пистолет и выхватил кинжал.

Но коварный зверь не кинулся на человека: огромными прыжками он направился к прибрежным камышам и исчез в них. Эден решил уже, что

хищник отказался от схватки, которая, как видно, пришлась ему не по нраву, и предпочел спастись бегством.

Эден смотрел ему вслед до тех пор, пока спина волка не скрылась из виду.

Затем он обернулся к Леониду.

– Ты готов?

– Берегись? – закричал тот.

Эден оглянулся и с ужасом увидел, что бежавший с поля боя зверь обошел его сквозь прибрежные заросли сбоку и, приглядев себе новую добычу в лице человека, беспомощно возившегося с коньками, решил наброситься на него; теперь он мчался на Леонида из камышовой чащи.

Эден стрелой полетел на выручку товарища.

Они бежали почти рядом: человек и волк.

Леонид следил глазами за обоими и продолжал спокойно сверлить отверстие в ремне. Если Эден спасет его – хорошо, а если нет, то, он, Леонид, стоя на льду, на одном коньке, все равно не сумеет защититься. Главное сейчас было – наладить ремень и встать на второй конек. Остальное – дело Эдена.

Эден яростно закричал, когда увидел, что матерый волк нападает на его друга. Юноша напряг все мускулы ног, чтобы успеть перерезать старому хищнику дорогу. А тот, выдвинув вперед мощную лобастую голову, несся по направлению к своей жертве.

Еще один скачок волка, еще один рывок конькобежца, и в нескольких шагах от Леонида на льду завязалась отчаянная схватка: человек и зверь сплелись в клубок: здесь – нога, там – косматый хвост, тут – рука в перчатке, а рядом – лязгающая пасть в крови; борьба шла не на жизнь, а на смерть, противники пускали в ход что попало – нож, зубы, когти.

Наконец победитель встал. То был Эден с окровавленным по рукоять кинжалом, в разорванной бекеше. Волк лежал, вытянувшись во весь рост на льду, с пронзенной грудью и сжатым в последней, мертвой, схватке клыками.

– Ну, с этим покончено! – воскликнул Эден, поднимаясь на ноги.

– С этим тоже! – весело отозвался Леонид, подвязывая конек. – Спасибо, друг.

Затем они опять взялись за руки и плавно покатали по льду в направлении кутившегося вдалеке дымка.

Через некоторое время Эден оглянулся.

– Гляди, стая прекратила погоню.

Посмотрел назад и Леонид.

– Верно.

Большая волчья стая в нерешительности стояла на пригорке, словно раздумывая – не вернуться ли восвояси.

– Как видно, опомнились, – предположил Эден.

– Не совсем так, – ответил Леонид. – Чувствуешь горьковатый запах дыма? В костер, видно, положили кусок волчьей шкуры. Волки не переносят этого запаха, от того-то они и отстали. Теперь мы спокойно можем двигаться дальше. Там, на берегу, сторожевая застава.

С этой минуты два друга без помех продолжали свой бег на коньках по замерзшей реке. Дикие родичи собак провожали их голодным воем, но преследовать дальше не решались. Леонид и Эден, посмеиваясь, говорили друг другу:

– Да, веселый выдался денек!

Вскоре перед ними возникло казацкое жильё – деревянный сарай для почтовых саней, установленный прямо на льду. На берегу виднелись конюшни для лошадей и небольшие, наскоро построенные жилища рыбаков, которые в это время года ловят подо льдом осетра и белугу.

На берегу был разложен большой костер, дым от которого наполнял острым, щекочущим запахом всю окрестность. Вокруг огня на корточках сидели люди.

Эден бежал теперь на коньках в нескольких саженях впереди Леонида и, стремясь поскорее добраться до жилья, двигался напрямик к огню.

То ли он не слышал, то ли не понял, что ему кричали люди с берега, – так или иначе Эден, не сбавляя скорости, продолжал нестись по льду прямо к ним. А между тем люди у костра, размахивая руками, во все горло кричали ему, чтобы он остановился или взял в сторону.

Леонид догадался в чем дело и в ужасе окликнул друга:

– Стой!

Но было уже поздно.

В следующую минуту Эден исчез, будто сквозь землю провалился.

На том самом месте, куда свернули друзья, рыбаки пробили во льду большие отверстия, сквозь которые по старинному русскому способу ловили рыбу на блесну. Обычно под вечер эти проруби и полыньи замерзают, покрываясь тонким, как стекло, ледком. В одну из таких запорошенных снежком прорубей и влетел с ходу Эден: он проломил сверкающую пленку и провалился под лед.

Вопль ужаса разнесся над рекой.

Только Леонид не издал ни звука. Резко затормозив, он остановился у самой проруби.

– Не покину тебя и там, – произнес он сквозь сжатые зубы и, сбросив с ног сапоги вместе с коньками, скинув бекешу, не раздумывая, прыгнул под лед, вслед за своим исчезнувшим другом.

Леонид был опытным пловцом. С открытыми глазами погрузился он в воду, напряженно вглядываясь в глубокий полумрак подводного мира.

Какие-то огромные черные силуэты появлялись то слева, то справа, обманывая его до предела напряженное зрение: это были обитатели большой реки – со спинами в виде пилы, с вытаращенными неподвижными глазами, с огромными крыльями-поплавками и бронированным панцирем-чешуей, – настоящие химеры речных глубин. Они косяками скоплялись у самой проруби, жадно вдыхая свежий воздух; тысячи мелких рыбешек сновали тут же, взбираясь друг на друга, увертываясь от стозубых хищных чудовищ, этих речных волков.

Но среди них Леонид не увидел друга.

Он опустился еще глубже. От напряжения заболели глаза. Сюда, на глубину в несколько саженей, сквозь лунку в толще льда едва пробивался свет.

Леонид продолжал поиски.

Он достиг дна, нога его уперлась в песок. Он всматривался вдаль, по течению реки. Воскликнул про себя:

«Эден! Эден! Где ты?»

В голове его молниеносно мелькнула догадка, и он сделал несколько шагов против течения. И тут увидел прямо перед собой фигуру стоящего на дне человека.

Это был тот, кого искал Леонид.

Эден стоял перед ним на речном песке таким, каким он увидел его в последнюю минуту перед погружением – с закинутыми назад руками, с вытянутой вперед головой и обращенным кверху взором. Тяжелые коньки поддерживали его в вертикальном положении, а сила инерции, с которой он скользил по льду, увлекла его под водой в противоположную речному течению сторону.

Леонид быстро схватил друга за волосы и, оттолкнувшись ногами ото дна, стал подниматься вверх.

Вверх, но куда?

Над ним нависал сплошной ледяной свод с одной-единственной узкой щелью-прорубью, сквозь которую можно было выбраться наружу. Это он понял только тогда, когда коснулся головой двухметровой ледяной толщи, сковавшей реку от одного берега до другого.

Где сейчас это заветное окно в белый свет?

Разыскивая под водой друга, Леонид» потерял верное направление и теперь не видел над своей головой ничего, кроме тяжелого зеленоватого льда, этого небосвода смерти.

Внезапно он принял решение и что было силы оттолкнулся от ледяного покрова: нельзя было допустить, чтобы лед присосал к себе все его тело – тогда конец. Леонид вновь ушел в глубину.

Там он выпустил из легких немного воздуха. Пузыри, думал он, будут притянуты к проруби и укажут ему нужное направление. И они действительно, как стеклянные шарики, стали подниматься, но ни один из них не вырвался на поверхность, все разбились о ледяной покров.

Леонид погрузился еще глубже и снова выпустил из себя немного воздуха. Один из дугообразных пузырьков взлетел вверх и, как белая путеводная звезда, исчез прямо над его головой.

Пузырек нашел выход на волю.

Тогда Леонид, весь собравшись в комок, из последних сил рванулся вслед за своей спасительной звездой. В самую пору! Еще выдох, и пузырьки из его груди вылетели бы уже вместе с покинувшей тело душой!

Тонкий ледок в проруби затрещал. Подбежавшие к полынье рыболовы и казаки увидели чью-то всплывшую над водой голову. Крюками и баграми они быстро подцепили за одежду барахтавшихся в проруби людей.

Прежде чем самому вылезти на лед, Леонид приподнял вверх тело своего товарища.

– Его... спасите!

С этими словами он впервые перевел дух.

Рыбаки вытащили обоих путешественников.

Эден лежал недвижимо, с закрытыми глазами, плотно сжав синие губы.

– Десять тысяч рублей тому, кто достанет лекаря! – прохрипел Леонид, обомлев от ужаса при виде своего друга.

Седой рыбак, обхватив голову Эдена, сказал:

– Я и без десяти тысяч приведу его в чувство: раздеть его надо и уложить в снег. Но скажу тебе, барин, вот что: не скоро сыщешь на свете другого такого человека, который сделал бы для друга то, что сделал ты.

Леонид подхватил на руки Эдена и побежал с ним к берегу, туда, где пышной пеленой лежал свежесвыпавший снег. Он уложил юношу в белую, холодную постель, и того начали откачивать. Добрые мужики настаивали, чтобы и сам Леонид пошел в казацкое жильё надеть сухую одежду, но он ответил:

– Пока не увижу, что он открыл глаза, – не уйду.

Платье на нем превратилось в ледяной панцирь.

Двое других

Ну, а сейчас оставим старшего из сыновей Барадлаи на бескрайней русской равнине; он лежит голый в снегу под открытым небом, а чужие бедные и добрые люди разминают его онемевшие члены, между тем как его единственный друг жадно впивается взглядом в посиневшие губы несчастного и его мертвенно-неподвижные веки, ожидая момента, когда можно будет спросить: «Ну, Эден, видишь ли ты по-прежнему свои звезды?»»

Гостиница «Венгерский король» была по тем временам одной из самых комфортабельных во всей Вене; особенно охотно в ней останавливались венгерские помещики и офицеры.

Вот молодой гусарский капитан поднимается по парадной лестнице на первый этаж гостиницы. Он красив, этот статный офицер, его широкие плечи и осанистую фигуру плотно стягивает голубой доломан; к полному румянному лицу удивительно идут франтовато закрученные острые усики, бывшие в ту пору исключительной привилегией офицеров гусарских полков; кивер молодежато тут почти на самые брови.

Голову он держит так гордо, будто на всем свете нет другого офицера-гусара.

Поднимаясь на второй этаж, он на минуту был привлечен странной сценой в коридоре, ведущем в комнаты.

Какой-то седовласый человек с гладко выбритым лицом и в длинном походном плаще гневно кричал на трех швейцаров и на горничную.

Те с величайшей предусмотрительностью и готовностью услужить пытались помочь ему войти в одну из комнат, но старый господин пришел от этого лишь в еще большую ярость и нещадно бранил обступивших его слуг то по-венгерски, то по-латыни.

Заметив гусарского офицера, привлеченного необычным шумом, он громогласно обратился к нему по-венгерски, не сомневаясь, что гусаром может быть только венгерец.

– Послушайте, добрейший господин офицер, будьте столь любезны подойти сюда и помочь мне объясниться с этими глухими тетерьями, которые не понимают человеческого языка.

Гусар подошел. Взглянув на приезжего, он сразу признал в нем священнослужителя.

– Что случилось, святой отец?

– В мою подорожную исправник вписал, разумеется по-латыни, что я – «verbi divini minister», а это, как известно, означает, что я есмь слуга господа. И вот, представьте, предъявляю на таможне свой паспорт, и чиновники начинают титуловать меня «герр министр». Больше того, все носильщики, кучера, лакеи величают меня не иначе, как «ваше высокопревосходительство», и в таком качестве передают из рук в руки. Передо мной рассыпаются в комплиментах и поклонах, готовы нос разбить об пол – и все из-за моего воображаемого высокого титула! Да это еще куда ни шло, а вот с номерами в гостинице просто беда: мне отводят самые пышные покои. Но мне это ни к чему. Я бедный священник и приехал в Вену не веселиться, а по крайней надобности. Да, да, прошу вас, объясните все это им. Я не знаю немецкого языка, в наших краях простые люди, вроде меня, на нем не говорят, А эти не понимают никакой другой речи.

Офицер улыбнулся.

– А какие языки вы знаете, отец мой?

– Латынь, греческий, древнееврейский, ну и в достаточной мере арабский.

– Да, с этими здесь вы далеко не уедете, – сказал гусар с улыбкой.

Он вполголоса что-то сказал одному из слуг, который в ответ лишь утвердительно кивнул головой, многозначительно указав глазами на верхний этаж.

– Пройдите пока в эту комнату, отец мой. Через четверть часа я вернусь и все улажу. А сейчас я спешу, меня ждут.

– Но мое дело еще более срочное, – проговорил священник, удерживая офицера за темляк сабли, чтобы тот не убежал. – Стоит мне переступить порог этой комнаты, как придется выложить пять форинтов.

– И все-таки мое дело более срочное, поверьте мне, – сказал офицер. – Меня ждут наверху господа, и один из них желает со мной драться. Его-то уж, во всяком случае, нельзя заставлять ждать.

Святой отец был так потрясен этим сообщением, что немедленно выпустил офицерский темляк.

– Как, сын мой? Вы спешите на дуэль? Это уж совсем нелепо!

Снисходительно улыбнувшись, гусар пожал руку священника.

– Будьте покойны, святой отец, и подождите меня здесь. Я скоро вернусь.

– Смотрите, чтобы вас не прокололи шпагой! – крикнул ему вслед священник.

– Постараюсь! – шутливо отозвался гусар, легко взбега по лестнице.

Старый священник согласился наконец пройти в отведенную ему

комнату на первом этаже, причем вся свита лакеев наперебой продолжала титуловать его «ваше превосходительство».

«Какое великолепие! – подумал про себя священник, оглядывая свою новую опочивальню, кровать под шелковым балдахином, изразцовый камин. – Это обойдется по крайней мере в пять, если не в шесть форинтов за день.

К тому же еще все эти шалопаи! Один лакей только носит багаж, другой – подает таз для умывания, третий – рогульку для сапог. И каждый ждет от знатного постояльца на чай. Даже этот разноцветный паркет они не натрут даром».

Пока старый священник терзал себя этими мыслями и подсчитывал в уме, во что обходится господам один день в Вене, он вдруг услышал над головой шаги, звон шпаг.

Дуэль происходила как раз над его комнатой.

Вот кто-то топнул ногой в одном углу; в ответ – топот в другом; удар оружием; снова лязг. Выпад – отход, опять выпад и опять отход.

Там, наверху, шел поединок не на шутку.

Схватка длилась минут пять-шесть. Бедный священник все это время пребывал в полной растерянности. Ему хотелось броситься к окну и взывать о помощи, но от этого его удерживала мысль, что его могут арестовать за нарушение спокойствия в городе. Священник подумал, что лучше всего, пожалуй, кинуться наверх, встать между сражающимися и прочесть им пятьдесят второй стих из главы двадцать шестой евангелия от Матфея: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Но в это мгновение лязг оружия над его головой утих. Через несколько минут он услышал шаги по коридору и звон шпор у самых дверей. Дверь распахнулась, и, к своей великой радости и утешенью, священник увидел давешнего гусарского офицера целым и невредимым.

Старик кинулся к нему и оцупал его руки, грудь: не ранен ли?

– Вас не проткнули?

– Да что вы, отец мой!

– Что же произошло? Может быть, вы закололи своего противника?

– Он получил свое – царапину на щеке.

Священник в ужасе уставился на офицера.

– Ему не очень больно?

– Помилуйте, святой отец. Он радуется этому, как шут своему колпаку.

Однако старик не счел эту остроту уместной.

– Ай-яй-яй, и как это господа могут развлекаться столь варварским способом! Что за причина побудила вас к дуэли?

– Вы, святой отец, наверное слышали анекдот о том, как два офицера повздорили из-за того, что один утверждал, будто в Италии он самолично срывал с дерева сардины, а другой никак не желал в это поверить. Тогда оба спорщика схватились за шпаги. Один из них был ранен в голову, и в этот миг он вспомнил, что то действительно были не сардины, а плоды. Что вы на это скажете?

– Надеюсь, не из-за таких пустяков вы повздорили, сударь?

– Примерно. Я недавно прибыл в полк, и меня сразу произвели в капитаны. Поэтому мне предстоит теперь сразиться на дуэли с целой группой офицеров, они либо приколуют меня, либо смирятся с моим назначением. Таков здешний обычай. Но поговорим о вашем деле. Вы прежде сказали, что приехали сюда не для развлечения, а в силу необходимости. Что за нужда, какой злой ветер пригнал вас сюда?

– Ах, сын мой, если вы пожелаете, я с превеликой охотой поведаю вам свою историю, и буду лишь благодарен, если вы ее выслушаете. Я – чужак в этом городе. У меня нет ни одной знакомой души, с кем можно было бы посоветоваться. А между тем я вызван на высочайший суд «ad audiendum verbum».

– О святой отец! Это серьезное дело. Кому вы досадили и чем?

– Я расскажу вам все, как есть, сударь. У вас такое честное и благородное лицо, что невольно проникаешься к вам полным доверием. Я – пастор в одном селении на Алфельде, где у меня произошло столкновение с помещиком. Этот помещик был великим тираном, а я по натуре немного куруц. А к тому же, как на грех, между нами произошли и семейные разногласия. У того помещика есть сын – кавалер, а у меня – красавица дочка. Я считаю про себя, что дочери моей – цены нет, а помещик решил, что она для его сына недостаточно хороша; потому он взял да и отправил сына в Московию. На это я не в обиде. Но вот случилось так, что его милость покинул сию юдоль печали и прах его по христианскому обычаю предали земле. После проповеди и панихиды я прочел над ним последнюю молитву. Не спорю, та молитва была суровой, но все, что в ней говорилось, я обращал к богу, а не к людям. И вот сейчас за эту самую молитву и преследуют меня власти предержажие. Призвали они меня в консисторию и в комитатский суд как святотатца и мятежника. Лишили меня прихода, но и этого им показалось мало. Теперь вот вызвали в Вену, сам не знаю куда и к кому, дабы держать ответ за оскорбление его величества. Взгляните, сударь, и будьте мне судьей. Вот она, моя молитва, прочтите ее: найдется ли в ней хоть одно слово, которое выдавало бы во мне изменника или оскорбителя его величества?

У старика от волнения дрожали губы, и его горящие глаза наполнились слезами.

Офицер взял у него из рук бумагу и прочел ее. Священник неотрывно следил за выражением его лица.

– Ну, сударь! Что скажете? Можно ли осудить меня за это?

Молодой человек вчетверо сложил лист с текстом молитвы и, протянув его старику, тихо сказал:

– Я бы не осудил вас.

– Благослови вас за это бог. Жаль, что мои судьи думают иначе.

Между тем перед священником в эту минуту сидел его настоящий «судья»: ведь гусарский офицер был не кто иной, как сын человека, над телом которого старец прочел последнюю молитву.

– И все же позволю себе, милостивый государь, дать вам добрый совет, – проговорил молодой человек. – Прежде всего никуда не ходите, пока вас не вызовут. Никуда не ходите и никому не жалуйтесь на учиненную несправедливость. За то, в чем вас обвиняют, вас не постигнет кара, но если вы вздумаете доказывать свою правоту, дело может обернуться худо и вас накажут втройне.

– Так что ж мне делать?

– Ровным счетом ничего. Сидеть и ждать. Если за вами пришлют, ступайте куда прикажут. Велят остановиться, стойте. Будут что-нибудь говорить, – слушайте молча. А как только заметите, что говорить перестали, – постарайтесь тихонько уйти: спиной отыщите дверь и прямехонько домой. А людям, что встретятся вам по дороге и станут о чем-нибудь спрашивать, – ничего не отвечайте.

– Но ведь тогда они сочтут меня круглым болваном!

– Поверьте мне, отче, с таким титулом можно объездить полмира.

– Добро, сын мой, принимаю совет. Лишь бы это не затянулось надолго. Жить в Вене накладно.

– Об этом не тужите, святой отец. Раз уж вас вызвали сюда вопреки вашей воле, то, несомненно, найдется кто-нибудь, кто заплатит за все издержки.

Старый священник выразил неподдельное удивление. Хотел бы он знать, кто этот «кто-нибудь»!

– Однако мне пора по своим делам. Дай вам бог удачи, отец.

Священник хотел задержать молодого офицера еще на минуту, чтобы отблагодарить за все, но гусар спешил; он пожал старику руку и удалился.

Вскоре после его ухода появился слуга с чашкой черного кофе для «его высокопревосходительства».

Тщетно священник объяснял ему, что не хочет завтракать, ибо это не в его привычках; австриец покинул его, пятясь к дверям и непрестанно кланяясь.

Старик только покачал головой. Удастся ли ему проделать то же самое, если нужно будет ретироваться из кабинета сановника, расточая по пути уверения в своей преданности?

Но поскольку кофе остался, наш путешественник, чтобы он не пропадал даром (все равно ведь придется платить!), выпил его. Надо признаться, что кофе пришелся ему по вкусу.

Только бы поскорее пришел этот слуга и забрал порожнюю посуду, ибо если разобьется хоть одна чашка из дорогого сервиза, то это влетит в копеечку.

Не успел старик высказать вслух свое желание, как и в самом деле в дверях бесшумно вырос слуга, явившийся за посудой. Наш уважаемый путешественник уже успел к тому времени выучить одно слово по-немецки и не замедлил пустить его в ход.

– Bezahlen!^[21] – произнес он, доставая из глубокого кармана полученный им когда-то ко дню именин длинный вязаный кошель, где позвякивали сбереженные за многие годы крайцары. Старик приготовился расплатиться. Во-первых, он не желал ни часу оставаться в долгу. Во-вторых, – это главное, – он хотел по первому счету определить размер предстоящих ему расходов и сумму дневных затрат. Каково же было его удивление, когда слуга с широкой и подобострастной улыбкой, сопровождавшейся выразительной мимикой, отклонил протянутый кошелек и сказал священнику: «Schön bezahlt».^[22]

«Стало быть, этот офицер был действительно прав! – подумал старик. – Он, видно, глубоко порядочный человек. Жаль, что я так и не спросил, как его зовут. Но кто все-таки оплачивает мои расходы?»

Разумеется, это был не кто иной, как Рихард Барадлаи! Уходя из гостиницы, он вручил обер-кельнеру два золотых и просил оказывать всяческое внимание старому господину; что касается расходов, добавил офицер, то он берет их на себя.

После этого молодой гусар направился в полковой манеж, где провел час, тренируясь в вольтижировке с саблей и пикой; он вдоволь поразмялся и заставил потрудиться своих противников, сломал древко пики и вконец утомил коня; когда же ему наскучил манеж, он решил прогуляться по улицам; так он фланировал, заглядывая под шляпки хорошеньких женщин, а когда настал полдень, отправился к себе на квартиру.

Рихард жил высоко, на третьем этаже большого дома; он снимал превосходную квартиру с двумя выходами, гостиной и спальней; напротив, через коридор, помещались лакейская с небольшой кухонькой. Прислуживал ему старый гусар, которого он звал не иначе, как «господин Пал». И в этом он был отчасти прав, ибо на деле скорее «господин Пал» командовал своим хозяином, чем тот слугой.

Старому слуге было уже за шестьдесят, а он по-прежнему оставался рядовым гусаром и холостяком. На своем веку он пережил четыре войны и носил бронзовую медаль ветеранов войны против Наполеона. Его лихо закрученные усы походили на два огромных штопора и служили предметом гордости их обладателя. Его густые черные волосы сохранились в целости и были даже не тронуты сединой. А по кривым ногам старого гусара, составлявшим его особую примету, можно было распознать человека, который верхом на коне проделывал путь от Вены до Парижа, Неаполя и Москвы.

– Итак, господин Пал, что у нас сегодня на обед? – спросил с порога капитан, отстегивая саблю и вешая ее на стену гостиной, где красовалась коллекция различного оружия вплоть до великолепных античных мечей и щитов.

Нетрудно догадаться, что господин Пал выполнял одновременно обязанности слуги и повара.

– На обед сегодня – «четки», – с невозмутимым спокойствием ответил старик.

– Недурно, – отозвался капитан. – С чем же?

– С «ангельскими крылышками».

– Превосходная еда! Можно подавать, господин Пал!

При этих словах господин Пал взглядом смерил хозяина с головы до пят.

– Опять, значит, дома обедаем?

– Обедаем, если найдется что-нибудь.

– Найдется, – проворчал Пал и принялся накрывать стол. Он перевернул наизнанку красную с синими цветами скатерть, которая мгновенно превратилась в сине-красную, поставил перед хозяином фаянсовую тарелку, положил на стол нож, вилку с рукоятью из оленьего рога и серебряную ложку, предусмотрительно обтерев их краем скатерти. Затем дополнил сервировку небольшой бутылкой из-под шампанского, наполненной свежей артезианской водой.

Капитан придвинул к столу свой стул и удобно устроился на нем, широко расставив ноги в сапогах со шпорами.

Тем временем господин Пал, заложив руки за спину, продолжал ворчать:

– Опять, значит, у нас за душой ни гроша?

– Твоя правда, – ответил Рихард, отстукивая ножом и вилкой по краю тарелки новый военный марш.

– А два золотых, что утром я видел у вас в кармане?

Рихард, смеясь, махнул рукой: «Поминай как звали!»

– Хороши, нечего сказать! – пробурчал старый служака.

С этими словами он взял со стола пустую бутылку и вышел из комнаты. Неизвестно, где он раздобыл вина, по, вернувшись, снова поставил бутылку на стол перед Рихардом, продолжая читать ему нотацию.

– Истратили небось на букет для какой-нибудь красавицы? Или прокутили с друзьями? Хороши, нечего сказать!

Ворча, он достал из 'буфета тарелку с резными краями и совсем уже философским тоном заметил.

– Я тоже был таким... в молодости.

Вскоре он появился с дымящейся тарелкой в руках. В ней была фасоль с подливкой – в качестве гарнира к «ангельским крылышкам», оказавшимися на деле свиной ножкой.

Старый гусар приготовил это лакомое блюдо для себя, но в таком количестве, что сейчас без всякого ущерба мог разделить его с хозяином.

Рихард набросился на солдатскую еду с завидным аппетитом. Он поглощал обед с такой быстротой, словно никогда в жизни не пробовал более вкусного кушанья.

Господин Пал стоял за креслом своего хозяина, хотя не предвиделось никакой нужды менять тарелки, ибо на второе ничего не было.

– Спрашивал меня кто-нибудь? – быстро работая челюстями, осведомился Рихард.

– Гм... Как не спрашивать? Вестимо, спрашивали.

– Кто же?

– Служанка той самой... вашей актрисы, это раз. Нет, не блондинки, а другой – маленькой. Принесла букет с письмом. Букет – на окне в кухне, письмо – в камине.

– Как? Почему? Какого черта ты разжигал им камин?

– А потому, что она просила денег у господина капитана.

– Откуда это вам известно, достопочтеннейший господин Пал? Быть может, вы научились читать?

– Чую по запаху.

Рихард не удержался от смеха.

– Кто еще приходил?

– Торговец лошадьми, Хониглендер. Приводил коня за две тысячи, того самого, на котором ваша честь мечтали прогарцевать перед императорским двором.

– Ну, и что?

– Эхма! Не для нас он! Нешто это конь! Сел я на него, слегка сжал коленями, а он и брякнулся наземь, на все четыре ноги. Разве это лошадь: на нее только смотреть – тогда она и впрямь красива, а в дело не годится. Прогнал я его вместе с лошадью со двора. Она и четырехсот форинтов не стоит.

– Вот это ты зря сделал. Конь мне позарез нужен, а четырехсот форинтов у меня нет.

– Это мы знаем, – проговорил Пал, подкручивая с хитрой усмешкой ус, – потому-то я купца и прогнал со двора, но прогнал так, чтобы он обратно вернулся.

При этих словах Рихард снова рассмеялся.

– Ну, а еще кто заходил?

– Барич.

Так господин Пал называл лишь одного человека.

– Брат? А ему что надо?

Пял углубился в серьезную работу: огромным кривым ножом он стругал из щепы зубочистку для хозяина. Наконец он кончил свое дело:

– Пожалуйста зубочистку.

– Так что же говорил брат?

Старый слуга поскреб за ухом, потом – в бороде.

– Он вам и сам скажет, – ответил он с хитрецей и стал собирать со стола посуду.

В эту минуту, будто он только и ждал, пока о нем заговорят, в комнату вошел «барич».

Третий, самый младший из сыновей Барадлаи, был стройный, худощавый и узкоплечий юноша. У него было чистое, по-детски наивное лицо, которое выражало подчеркнутую учтивость; он высоко закидывал голову, но не из гордости, а потому что его очки в тонкой золотой оправе постоянно сползали на нос. Когда он поздоровался за руку со своим братом, тот невольно вспомнил, что в определенных кругах высшего чиновничества существует особый ритуал, согласно которому с различными людьми следует здороваться по-разному, в зависимости от занимаемого положения.

– Здравствуй, Енё, какие новости принес?

Всем своим видом Енё старался подчеркнуть конфиденциальный характер предстоявшего разговора.

– На этот раз ты угадал. Я действительно принес тебе новости. Не отошлешь ли ты господина Пала?

– Пал, можешь идти обедать!

Однако господин Пал не желал поступаться своими правами старого слуги и спокойно отвечал:

– Вот приберу со стола, тогда и пойду!

Братьям пришлось смириться.

– Закуривай, старик, – угощал брата Рихард.

– Благодарствую. Твой табак слишком крепок.

– Верно, боишься, как бы твой начальник не заметил, что ты курил контрабандный табачок, – съязвил Рихард. – Ну, этот старый ворчун наконец убрался. Можешь говорить.

– Пришел сообщить тебе, что получил письмо от мамы.

– Я – тоже.

– Она пишет, что, начиная с текущего месяца, будет высылать мне вдвое больше денег на расходы. А чтобы я мог уже сейчас снять квартиру и жить соответственно своему положению, она прислала мне тысячу форинтов.

– А мне наша драгоценная матушка пишет, что, если я по-прежнему буду таким транжирой, то промотаю все свое наследство. И если не стану экономнее, то она не будет больше ни высылать денег, ни платить моих долгов.

– Просто не знаю, как быть. Стоит мне начать роскошествовать, как начальство сразу заметит это. Ты даже не представляешь, какую дурную репутацию приобретает у нас тот, кто ведет жизнь щеголя. Моя карьера будет обеспечена лишь в том случае, если я останусь в полной зависимости от своих начальников. Попробуй кто-нибудь из нас, чиновников, прослать денди, снять квартиру лучше той, что позволяет его положение, и вообще зажить богаче, чем живет его начальник, – тут ему и конец... За ним закрепится слава дилетанта, и он будет лишен всякого доверия. Я в отчаянии. Ума не приложу, что делать!

– А вот я знаю, что мне делать. Я не могу экономить, когда я на людях. Экономиию наводить я могу лишь дома.

– Не понимаю тебя.

– Очень просто. Вот, скажем, я обедаю. Видит меня кто-нибудь? Нет. Если я усядусь перед окном с зубочисткой во рту, кто определит, ел ли я сегодня обед из шикарного ресторана, или уплетал фасоль, которую

господин Пал приготовил в качестве гарнира к «ангельским крылышкам»?

– Знаешь что, Рихард? Я пришел с тем, чтобы предложить тебе половину денег, которые мне прислала матушка.

При этих словах Енё даже снял очки, чтобы брат лучше мог увидеть его глаза.

Но предложение Енё не произвело никакого впечатления на Рихарда. Продолжая возиться с зубочисткой, он спросил:

– Под проценты?

Енё снова надел очки и сморщил нос.

– Что за глупая шутка?

– Стало быть, ты даешь мне деньги для того, чтобы я помог тебе промотать их? Ради тебя готов и на это.

– Просто я полагаю, что ты истратишь их с большей пользой, чем я, – ответил Енё.

Он достал из кармана приготовленные деньги и поспешно передал их брату, тепло пожав ему при этом руку.

Рихард не счел нужным даже сказать спасибо» Пусть Енё благодарит его за то, что он соблаговолил принять деньги.

– У меня есть еще один сюрприз для тебя, – проговорил Енё с плохо разыгранным равнодушием. – Пригласительный билет на завтрашний бал к дамам Планкенхорст.

Подперев подбородок кулаками, Рихард с саркастической улыбкой уставился на брата.

– С каких это пор ты стал их посланцем?

Втянув голову в плечи, Енё смущенно ответил:

– Меня очень просили передать тебе лично приглашение от их имени.

Рихард расхохотался.

– Так вот, значит, каковы твои проценты, ростовщик несчастный.

– Что за проценты? Почему ростовщик? – вскричал Енё, вскочив от возмущения с места.

– Тебе хочется поухаживать за Альфонсиной, а для этого надо убрать с дороги ее мамашу: ведь она считает тебя еще слишком незначительным человеком, чтобы стать женихом ее дочери. Все понятно. Что касается мамаша, мадам Антуанетты, спору нет, она еще пользуется успехом. Ведь ей не больше тридцати шести, и если у нее не накладные волосы, ее еще можно признать красивой. Когда я служил в гвардии, мне часто приходилось танцевать с ней на костюмированных балах, и я без труда узнавал ее в «домино», да она и сама нередко меня окликала. Ты все это прекрасно знаешь и потому-то решил избрать меня своего рода троянским

конем. Хорошо, любезный братец, я согласен. Не пугайся, я не отдам тебе обратно пятьсот форинтов. Хотя ты и великий ростовщик, но я беру на себя роль троянского коня. Садись ко мне на спину: пока ты будешь обхаживать дочку, я займусь мамашей.

– Помилуй! Прошу тебя! – воскликнул Енё с нескрываемым волнением. – У меня самые честные намерения. Уверяю тебя.

Рихард провел пальцем по носу и пожал плечами.

– Черт с тобой!.. Уступаю тебе обеих!

– Значит, ты придешь?

– Друг мой, ну как мне не прийти? Вестрис был первоклассным танцором, но и он – смею тебя заверить – не получал больше пятисот форинтов за вечер.

– Перестань смеяться надо мной, прошу! А то я в самом деле рассержусь и никогда больше сюда не приду. Я поделился с тобой деньгами как с братом. Уверен, что и ты поступил бы так же в сходных обстоятельствах. А прийти завтра на бал я прошу тебя, как доброго друга, вот и все.

– Ладно, старина! Не сердись. Я пойду с тобой всюду, куда захочешь. Но если мое присутствие на балу для тебя так важно, то и я, в свою очередь, прибавлю одно условие к нашему договору. Слушай же.

– Слушаю.

– Если ты хочешь, чтобы я завтра пошел с тобой на бал, то должен оказать мне услугу и уговорить своего уважаемого шефа отпустить восвояси одного бедного священника, которого вызвали в Вену «ad audiendum verbum». Тебе известно, о ком идет речь: о нашем священнике из Немешдомба, которого преследуют за молитву, прочитанную им над могилой нашего отца.

– Откуда ты это знаешь? – удивленно спросил Енё.

– Да вот так, узнал. Он добрый, честный человек. Пусть его отпустят с богом домой.

Лицо Енё сразу стало официальным.

– Но, насколько мне известно, господин канцлер очень резко настроен против него.

– Что мне до господина канцлера! Не стращай ты меня великими мира сего. Я, слава богу, немало повидал на своем веку великих людей разного рода – masculini et feminini generis^[23] – при этом всех видов и рангов! Мне отлично известно, что они так же едят и пьют, зевают и храпят, как и все прочие люди. Меня ты ими не запугаешь. Твой начальник нахмурит лоб, ярвкнет во все горло на невинную жертву, а когда старик выйдет из его

кабинета, посмеется над тем, как напугал несчастного. Вот и все. А между тем этот священник – честный малый. Правда немного болтливый. Но на то он и пол, слуга господен. Отпустите вы его с миром домой, пусть продолжает пасти свою паству!

– Хорошо, замолвлю за него словечко перед его превосходительством.

– Вот за это спасибо. Ну, а теперь садись и выпьем по рюмочке за наш священный союз. Господин Пал!

Старый служака вырос словно из-под земли.

– Вот тебе десять форинтов. Принеси две бутылки шампанского. Одну нам, другую – себе.

Направляясь к дверям, Пал качал головой и бормотал про себя: «И я был таким же... в молодости».

Разные люди

Балы во дворце Планкенхорст издавна пользовались славой в столице.

Имя Планкенхорст было широко известно, хотя перед ним не стояло баронского титула. Однако это не мешало людям величать молодую вдову, хозяйку дома, баронессой, ибо она и в самом деле была ею по рождению. Доброжелатели семьи, особенно поклонники дочери баронессы, не упускали случая называть баронессой и юную Альфонсину. Что касается меня, то я не могу с достаточной уверенностью сказать, в каком именно дочернем колене прекратилась в этой семье родословная ветвь баронов.

Дамы Планкенхорст жили в собственном доме, в центре города, что для Вены имеет важное значение. Однако дом этот казался уже несколько старомодным, ибо был выстроен еще в стиле эпохи Марии Терезии, с лавками и магазинами в первом этаже.

Баронесса жила на широкую ногу, она и в летние месяцы не выезжала в свое деревенское поместье, предпочитая проводить в Вене даже «мертвый сезон». Вдова и дочь бывали и при дворе, там их видели, правда, большей частью в мужском обществе. Бароны (как известно, человек становится человеком, лишь достигнув этого титула) и князя (то есть люди истинно благородные) нередко предлагали руку очаровательной Антуанетте, когда ей хотелось пройти в буфет, а ее дочь, прелестную Альфонсину, наперебой приглашали на тур вальса. Когда князя устраивали маскарады, на них непременно приглашали мать и дочь Планкенхорст. И тем не менее в столице никогда не говорили о том, чтобы какой-нибудь барон или князь стремился вступить в более тесный союз с этим семейством.

На вечерах у Планкенхорст было всегда многолюдно; постоянно здесь плелись политические и любовные интриги. Бросалось, однако, в глаза весьма странное обстоятельство: на этих вечерах бывали совсем не те люди, которых обычно посещали сами хозяйки дома. Здесь нельзя было увидеть ни Шедлницких, ни Инзаги, ни Аппони, но зато всегда можно было встретить их советников и секретарей. Тут никогда не появлялись ни князь Виндишгрец, ни Коллоредо, зато в залах дворца постоянно толпились красивые офицеры» в золотых эполетах и при орденах; по преимуществу то были совсем еще юные жизнерадостные люди – гусары и гвардейцы. Дамы, украшавшие это общество, принадлежали к знатным фамилиям австрийской столицы, они могли гордиться как своей родословной, так и

положением в свете.

Что касается атмосферы, царившей в часы приемов в доме Планкенхорст, то она была безупречна даже с точки зрения самых строгих светских правил. И еще одно обстоятельство содействовало популярности этих вечеров: там можно было повеселиться и чувствовать себя совершенно непринужденно, хотя общество было самое изысканное; такие вечера – явление редкое; обычно, если гости непринужденно развлекаются, то сама компания оставляет желать много лучшего, если же компания собирается изысканная, то все смертельно скучают.

На вечерах же в доме Планкенхорст счастливо сочеталось одно с другим.

Когда Енё в новом вечернем костюме, надушенный и радостный, заехал в девять часов вечера за Рихардом, чтобы вместе с ним отправиться на бал, он застал брата в полном неглиже. Рихард, лежа на тахте, читал какой-то роман.

– Ты еще, сказывается, не готов? Ведь пора ехать на бал.

– Что за бал?

– У Планкенхорст.

– Гм... Совсем из головы вылетело, – ответил Рихард, вскакивая на ноги. – Эй, Пал!

– Скажи правду, Рихард, почему ты всегда так неохотно едешь туда? Они ведь так учтивы и предупредительны по отношению к нам. Да и вообще там можно отлично повеселиться.

– Ну, что еще? – проворчал показавшийся в дверях господин Пал.

– Побрей меня, да поживее, – приказал Рихард старому слуге, который исполнял обязанности не только повара, но и брадобрея.

– Вот ведь! Давно спрашивал, чего мешкаете? – проворчал старик. – Все-то я должен помнить, иначе половину дел пропустили бы. Горячая вода готова, Садитесь.

Рихард покорно уселся на стул и позволил повязать себя полотенцем.

– Почему ты не отвечаешь на мой вопрос? – не отступал Енё, пока господин Пал взбивал мыльную пену. – Почему ты чураешься дам Планкенхорст?

– Шут их знает! – досадливо поморщился Рихард. – Больно уж они спесивы.

Енё снисходительно улыбнулся.

– Я этого за ними не замечал.

– Выше подбородок! – рявкнул господин Пал, намазывая щеки своего господина.

Когда, наконец, мыльная пена облепила подбородок и щеки Рихарда, а господин Пал отвлекся на минуту, чтобы направить бритву, молодой офицер принялся рассказывать брату притчу:

– Знаешь, Енё, однажды, путешествуя вблизи Венеции, познакомился я на берегу моря с одним бездельником, у которого была длинная проволока с крючком на конце. Спрашиваю его, что делает он здесь. «Жду обеда», – отвечает бездельник. Был отлив, и в прибрежном песке, отчетливо виднелись небольшие круглые ямки. Мой бездельник достал из банки щепотку соли и бросил в ямку. Из нее тут же высунулась улитка, которую итальянцы зовут «*resce capella*», а по-нашему «морской фрукт». Незнакомец молниеносно подцепил улитку крючком и вытащил бедняжку из ее раковины. Это был крохотный червячок, не больше мизинца. «Ну, друг, скромный же у тебя обед», – сказал я итальянцу. Он только улыбнулся, привязал к другому концу проволоки длинный шпагат, направился к ближайшей скале, где море было уже глубже, забросил в воду крючок с извивавшейся на нем улиткой и некоторое время спустя вытащил своей самодельной удочкой большую глупую рыбину.

– Почему ты вдруг об этом вспомнил? – удивился Енё и пожал плечами.

– Сам не знаю.

– Лучше бы помолчали, а то порежу! – недовольно проворчал Пал. – Поехали бы вы, барич, вперед, а я уж как-нибудь сам доставлю господина капитана, когда он будет готов. Найдем дорогу и без вас. Знаем, небось, что к Планкенхорстам через двери входят, а не взбираются в окно по веревочной лестнице.

Енё счел этот совет вполне разумным и, взяв с Рихарда честное слово прийти как можно скорее, оставил брата во власти цирюльника, так и не дождавшись объяснений насчет того, почему так глупо вел себя «морской! фрукт», неосторожно высунувший щупальцы из своего надежного укрытия под действием одной лишь щепотки соли.

Спустя полчаса оба брата уже встретились в залах дома Планкенхорст. Енё поспешил было представить Рихарда хозяйке дома и ее дочери, но они с улыбкой ответили, что уже имели удовольствие встретиться с ним раньше. Баронесса прибавила, что очень рада видеть господина капитана у себя.

Капитан сказал хозяйке дома несколько комплиментов и уступил место вновь прибывшему гостю.

– Хочешь, я познакомлю тебя кое с кем из гостей? – спросил Енё.

– Ради бога, не опекай меня. Думается, я не хуже тебя знаю здешнюю

публику. Вон тот свирепого вида высокий военный, что громко разглагольствует о том, будто командовал бригадой, не кто иной, как высокопоставленный интендант: всю свою жизнь он только тем и занимался, что отпускал хлеб солдатам да сено лошадям. Как стреляют пушки, он слышал лишь в день тезоименитства императора. Этот юный вельможа в очках, который так милостиво улыбается окружающим, – секретарь полицей-директора, влиятельнейший человек. А вот и достопочтенный банкир, способный поддерживать разговор на любую тему.

Енё кисло улыбался, слушая брата. Ему казалось, что Рихард был нелестного мнения о собравшемся здесь обществе.

– Вся эта компания не стоит одной служанки, с которой я сейчас столкнулся на лестнице. Эх, до чего хороша красotka! Интересно, у кого она служит? Только ради нее я готов посещать эти вечера. Когда она пробегала мимо, я успел потрепать ее по щечке. А она с такой силой хлопнула меня по руке, что рука до сих пор горит. Енё почти не расслышал последних слов Рихарда: в их сторону направлялся какой-то важный господин, которого полагалось еще издали приветствовать почтительной улыбкой.

То был вельможа, полный и рослый, с угловатой фигурой и плоским, невыразительным лицом, с поднятыми вверх бровями, горбоносый, с отвисшей нижней челюстью, с пышными стреловидными усами над верхней губой и маленькой остроконечной испанской бородкой под нижней.

Рихард силился вспомнить, кто этот человек.

«Должно быть, этот вельможа, которого Енё еще издали встречает любезной улыбкой, – испанский посол».

Но его догадка на сей раз не подтвердилась.

Вельможа с квадратным лицом, небрежно кивнул головой в знак приветствия улыбававшемуся Енё, подошел прямо к Рихарду, взял обе его руки в свои, дружески потряс их и на чистейшем венгерском языке заговорил с ним, как со старинным и близким другом:

– Сервус, ^[24] Рихард, сервус.

Рихард холодно ответил на приветствие.

– Сервус.

У пожилого господина шевельнулись усы, как бы давая понять, что столь холодный ответ пришелся ему не по вкусу; между тем Енё, услышав, каким тоном Рихард разговаривает с важным сановником, в замешательстве прикусил нижнюю губу.

Что касается Рихарда, то он решил, что человек, обратившийся к нему на «ты», – кто-либо из тех, что пили с ним на брудершафт на одном из придворных балов; теперь этому чудаку вздумалось напомнить ему о том, что он, Рихард, давно уже предал забвению. Таких приятелей у каждого немало!

– Ну, как живешь? – продолжал вельможа все так же фамильярно.

– Превосходно! – ответил Рихард. – Вижу, ты тоже.

Рослому господину опять не понравился ответ. Он подергал пальцами свою козлиную бородку.

– Завтра еду домой. Что передать твоей матери?

– Ты из наших краев?

При этом вопросе обе стрелки усов у вельможи приподнялись к носу; Енё делал брату отчаянные знаки, стараясь объяснить ему, что он попал впросак.

– Так что все же передать твоей матушке? – повторил вельможа.

– Передай, что я целую ей руки.

Плоское лицо неизвестного господина еще больше расплылось, что служило, видимо, признаком благодушия.

– Отлично. Исполню в точности, – проговорил вельможа, тряся обеими руками правую руку Рихарда. – Можешь быть спокоен, милый Рихард, я с величайшим удовольствием и благоговением исполню твою просьбу и самолично поцелую за тебя руку твоей дорогой и любимой матери.

– Зачем же? Вовсе необязательно с такой точностью выполнять мое поручение. Ведь я тебя прошу передать это на словах, а не *in natura*.^[25]

– Гм... – промычал странный господин, так закусив нижнюю губу, что его козлиная бородка подскочила, чуть не до усов.

Продолжение этого разговора таило в себе множество во опасностей. На невысказанный вопрос, готовый сорваться с уст вельможи: «Ты что не знаешь, с кем говорить?» – того и гляди мог последовать ответ: «Вот именно не знаю», – что выставило бы означенного вельможу в невыгодном свете; вот почему надо было каким-либо иным путем объяснить этому неотесанному юнцу, с кем он имеет дело.

– Ты не собираешься навестить родные края?

– Быть может, если наш полк отправится на маневры в Пешт.

– Мог бы испросить отпуск, если пожелал бы побывать дома.

– А что мне там делать?

– Там тоже идут грандиозные маневры. Правда, это не боевые маневры и не лихие гусарские подвиги, но ты мог бы узреть, как видные государственные мужи страны соперничают и состязаются в доблести друг

с другом. Ты понял бы, что бои идут не только на полях сражений. И в этих мирных битвах испытывается истинная вечность и преданность нашему делу.

– Вот как? Сражаетесь, значит, палками с оловянными набалдашниками? Снова за старое?

– Нет, милый мой. Мы сражаемся оружием духа и правды, тем самым оружием, которым твой покойный отец доблестно боролся за торжество истинно великой цели. И продолжать эту борьбу призваны вы, его сыновья.

– Для этого у меня ни денег нет, ни ума.

– Бог даст, сыщется и то и другое. А до тех пор, пока вы, славные наследники своего благородного отца, сможете занять то почетное место, которое в столь бурное время осталось свободным после его смерти, до тех пор я заменю вас в этой священной битве. И хотя руки мои не столь сильны, как у вас, молодых, зато я обладаю железной волей, которая поможет мне выдержать все испытания. Adieu, ^[26] милый Рихард. Я уезжаю нынче ночью. Я передам твоей матушке, что ты вполне здоров. То будет первое слово, которое, я скажу ей по приезду в Немешдомб, даже если я прибуду туда в полночь. И я уверен, что она непременно призовет тебя к себе. Она тебя очень любит. Adieu, милый Рихард.

Вельможа еще раз потряс руку Рихарда и, улыбаясь, отошел от него с таким довольным видом, словно все это время вел с офицером любезную дружескую беседу.

В самом начале разговора Рихарда с вельможей, Енё скромно отошел в сторону, чтобы не быть свидетелем их натянутой беседы. Он сделал вид, будто занят светской болтовней с одной из барышень – любительницей секретов. Когда же краешком глаза он заметил, что угловатый господин удалился, Енё поспешил к брату.

– Нечего сказать, хорошую штуку выкинул ты с этим господином!

– Какую еще штуку? – с недоумением спросил Рихард.

– Прежде всего стал говорить ему «ты».

– Но он первый обратился ко мне на «ты»!

– Неужели ты его не знаешь? Это же Ридегвари.

– Что мне до того? Ридегвари, Мелегвари – не все ли равно!..

– Это – ближайший друг нашего дома, ты не раз видел его у нас.

– Разве могу я помнить все физиономии, которые видел в нашем доме будучи ребенком? Ведь меня восьми лет отдали в военную школу!.. Я не рисовальщик, у меня нет альбомов, где можно запечатлеть разных Берегвари, или как их там зовут... Впрочем, лицо этого человека не трудно зафиксировать на бумаге с помощью простой линейки.

Енё увлек брата в укромный уголок: он не хотел, чтобы их разговор мог кто-нибудь услышать.

– Но, помилуй, – горячо зашептал он ему на ухо, – ведь это очень известный человек.

– Возможно. Но мне-то что?

– Он – главный администратор нашего комитата. – Это уж забота комитата.

– И еще одно... Он наш будущий отчим.

– А это уж решит мать.

Бросив последнюю реплику, Рихард резко повернулся спиной к брату.

Енё хотел сказать еще что-то, но Рихард замотал головой.

– Оставь меня в покое со своим господином Чертоввари, Не для этого мы пришли сюда. Ступай, поухаживай за Альфонсиной. Возле нее сейчас как раз никого нет, если не считать унылого статс-секретаря. Ну, его-то ты сможешь спровадить. Но помни историю о «resce canella» и большой рыбине.

Енё шутливо толкнул брата в бок.

– Перестань, несносный! Кто же из нас «resce canella» и кто рыбина?

– В данную минуту «resce canella» – это господин статс-секретарь, а большая рыбина – ты. Однако стоит появиться более крупной рыбе, и ты сразу же превратишься в «resce canella».

Покачав головой, Енё отошел от брата, не на шутку обидевшись на него.

Целый час проскучал Рихард, танцуя в залах дворца Планкенхорст. В довершение всего, карт в этом доме не признавали. Рихард был вне себя. Правда, на балу собралось много молодых женщин, а за гусарским офицером утвердилась слава великого сердцеда, но при виде всех этих дам Рихарду становилось еще скучнее, ибо он не любил ничего, что легко давалось. Все особы прекрасного пола на один манер!

Рихард был совершенно уверен в том, что по нему сходят с ума все женщины Вены: красивые и дурнушки, молодые и те, что постарше. Стоит ему только пожелать, и ему ответят взаимностью!

Девушка-служанка, которая ударила его по руке, когда он пытался потрепать ее розовую щечку, показалась ему редким исключением, ранее неизвестным в его практике.

До сих пор ему не приходилось встречать в жизни мужчину, который одержал бы над ним верх в поединке, и женщину, которая отказала бы ему в любви.

В разгаре бала он вновь неожиданно столкнулся лицом к лицу с Енё.

– Не хочешь ли пройти со мной в буфет выпить чашку чая? – спросил тот.

– Ничего не имею против.

Лицо Енё сияло от счастья. За это время он значительно преуспел в своем ухаживании за Альфонсиной.

– Смотри, – воскликнул Рихард, едва переступив порог буфетной комнаты, – вон моя кошечка! Она разливает ром и лимонад гостям.

– Несчастный! – зашипел Енё» – Ты совершаешь одну глупость за другой. Это не служанка, это мадемуазель Эдит, родственница хозяйки дома.

Потрясенный таким открытием, Рихард застыл от изумления.

– Как? Она родственница госпожи Планкенхорст? И ее оставляют одну на лестнице, да еще требуют, чтобы она обслуживала гостей в буфете?

Енё пожал плечами.

– Она очень бедна, и ее держат здесь из милости, И потом она еще совсем дитя. Ей лет четырнадцать – пятнадцать, нельзя же считаться с ней всерьез.

Рихард смерил брата суровым взглядом.

– Ну, знаешь, видно, твоя баронесса ничего общего не имеет с аристократией.

– А как прикажешь поступать с бедной родственницей? Все равно баронессы из нее не сделать.

– Тогда незачем брать на воспитание. А то, что ж получается? Дворянин не возьмет ее в жены, потому что она на положении служанки, а бедняк не посмеет и думать о ней, потому что она благородного происхождения.

– Все это правда, дорогой Рихард, но, поверь, меня лично эта история нисколько не занимает.

Рихард оставил брата и направился к буфетной стойке, где барышня Эдит предлагала гостям конфеты и апельсины.

Эдит и в самом деле была совсем еще девочка: круглолицая, румяная, живая и подвижная, с горящими, как уголь, глазами и смеющимся коралловым ртом. Она носила высокую прическу, и в ее густых, блестящих черных волосах не было никаких украшений. Черные тонкие брови, изящный, словно точеный, носик, смелый открытый взгляд – все это придавало ее лицу более серьезное выражение, чем она, быть может, сама того желала.

В той роли, которую на нее возложили, она чувствовала себя превосходно. Ей нравился беспечный, веселый и непринужденный тон, с

каким гости обращались к ней, ей правилось, что на нее смотрят как на ребенка, или, если угодно, как на хорошенького котеночка. Она могла по крайней мере вволю царапаться.

Когда Рихард приблизился к девушке, она и не подумала отворачиваться от него, хотя имела на это полное право после их первой случайной встречи. Напротив, она с дерзкой улыбкой насмешливо взглянула на него сверкающими глазенками и сказала:

– Ну что? Теперь вы меня, верно, боитесь?

Она была недалеко от истины. Рихард и в самом деле испытывал что-то вроде страха.

– Мадемуазель Эдит! Я приношу тысячу извинений. Но как вы решаетесь одна расхаживать по лестнице, где можно бог знает с кем столкнуться?

– Ведь меня тут все знают. А потом я шла по делу. Вы меня приняли за горничную, не так ли?

– В свое оправдание я действительно собирался привести этот довод.

– А разве со служанками можно так обращаться?

Этот вопрос поставил Рихарда в тупик, и он промолчал.

– Ну, а сейчас скажите, что вам подать, и ступайте в зал: там вас ждут.

– Мне не нужны эти яства, мадемуазель. Но я прошу дать мне мизинец вашей руки в знак прощения.

– Ступайте, ступайте, я ничего вам не дам, потому что вы даете волю рукам.

– Если вы так непреклонны, я завтра же схвачусь с кем-нибудь на дуэли и нарочно дам отрубить себе руку по плечо. Скажите лишь слово, и завтра у меня не будет руки, которая так обидела вас. Молчите? Все равно завтра вы увидите меня одноруким.

– Перестаньте! Не говорите глупостей. Уж лучше я не буду на вас сердиться, – сказала девушка и протянула Рихарду белую, теплую, трепетную ручку.

Вблизи не было никого, кто мог бы их заметить.

И тогда Рихард сказал:

– Клянусь, что больше никогда не обижу вас даже взглядом.

Он, видно, твердо решил сдержать свое слово, ибо, отпустив руку девушки, он потупил глаза и распрощался с нею.

Уже далеко за полночь братья сели в карету и направились восвояси. Енё заметил, что Рихард целиком погружен в свои думы и не обращает на него ни малейшего внимания.

Bakfisch

После памятного бала Рихарда больше не приходилось упрашивать наносить визиты дамам Планкенхорст. Он зачастил к ним.

Ухаживал он в этом доме буквально за всеми: за баронессой, за ее дочерью и даже за их постоянными гостями. Он полагал, что таким образом сумеет скрыть свои истинные намерения.

Енё необыкновенно радовало такое поведение брата: сам он был безумно влюблен в Альфонсину.

Она и впрямь была очень красива: вдохновенное лицо, прекрасная фигура. Тонкие, правильные черты, томный взгляд; все ее движения и жесты были полны очарования.

Но какая черная душа обитала в этом ангельском теле!

Эти сверкавшие, словно синее небо, глаза были теми звездами, при взгляде на которые астролог предсказал бы: «Пропадешь, если они станут светить тебе в пути».

Однажды, после бала, Альфонсина с помощью камеристки снимала свое вечернее платье. У нее была отдельная от матери спальня.

Камеристку звали мадемуазель Бетти.

Когда они остались одни, Альфонсина спросила:

– Что поделывает Bakfisch?

«Bakfisch» в это время уже крепко спала. Те, кто желают придать этому немецкому слову ласковый оттенок, обычно понимают под ним едва оперившуюся девушку-подростка, уже не ребенка, но в то же время еще не барышню; это невинное и наивное создание уже способно что-то чувствовать, но еще не понимает, что именно; сердце щебечет, но еще не знает о чем; шутку она подчас расценивает всерьез, а серьезные доводы принимает за шутку; впервые сказанный ей комплимент она готова принять за чистую монету. Вот что такое Bakfisch!

– Bakfisch учится плавать, – с ужимкой отвечала камеристка.

– Все еще держась за веревочку? Не отпустила ее?

– Подождите, скоро отпустит, – отвечала Бетти, расчесывая волосы Альфонсины с тем, чтобы уложить их на ночь. – Прошлый раз, причесываясь, она вдруг спросила меня: «Чьи волосы красивее: мои или Альфонсины?»

– Ха-ха-ха! Вот как!

– Я ей ответила: ваши, конечно, красивее.

При этих словах и барышня и камеристка громко рассмеялись.

– Значит, она уже знает, что красива?

– В этом я всячески стараюсь ее убедить, но каждый раз добиваюсь обратного результата. Однажды я стала вдалбливать нашей девице, будто ей очень идет улыбка: у нее, мол, прекрасные зубы. С тех пор, улыбаясь, она упорно сжимает губы. Когда же я сказала, что у нее необыкновенно красивый, высокий лоб, придающий ее лицу и взгляду особое обаяние, она взяла за привычку напускать на лоб волосы с тем, чтобы он казался как можно уже.

– Кривляка! Я ведь знаю, что она говорит себе: я так красива, что могу позволить себе скрывать свою красоту. Скажите, она любит мечтать?

– Да, но мечты у нее странные. Как-то она надела на голову платок баронессы, подошла к зеркалу и рассмеялась: «Какая, говорит, я буду прелестная и хорошая жена!» С тех пор она частенько представляет себя в этой роли. «Своему мужу, говорит, я буду готовить то-то и то-то. Вечерами стану ждать его у камелька. Когда он придет домой, мы сядем рядком и станем читать вместе одну книгу, затем перейдем к столу и будем есть из одной тарелки, пить из одного бокала и звать друг друга не иначе, как «сердечко мое». А если поедem на бал, то будем танцевать только друг с другом».

– Стало быть, она уже мечтает о замужестве? – спросила Альфонсина, кидая косой взгляд на Бетти.

– Я ей часто твержу о том, как ей несладко здесь живется, как дурно с ней обращаются обе баронессы: бранят и презирают ее, словно горничную, считают приживалкой, помыкают будто служанкой. Горькая, мол, у нее судьба!

– Это ты правильно делаешь.

– Но она отвечает мне совсем не так, как можно было ожидать. Говорит, что так оно и должно быть. Правда, ночью, когда она думает, что все спят, «она плачет и ворочается в постели.

– Говорит ли она о ком-нибудь?

– Болтает без умолку о всех мужчинах, что бывают в доме. Что на уме, то и на языке: этот – красив, тот – несравненен, этот – остроумен, тот – скучен. Только об одном упорно молчит.

– Знаю.

– А стоит мне произнести его имя, как мгновенно вспыхивает, точно алый цветок. Что бы я о нем ни говорила – хорошее ли, дурное, – ничего не помогает: из нее и слова не вытянешь!

– А он? Как он держит себя с ней?

– Уж будьте покойны, я глаз с него не спускаю. Удивительно осторожен. Стоит ему встретиться где-нибудь с Эдит, как лицо его тут же каменеет, он не смотрит ей даже в глаза и здоровается только кивком. Двумя словами не перекинется с ней. Это я замечала не раз.

– Бедная *Vakfisch*! Надо доставить ей какую-нибудь радость, Бетти! Завтра же она получит новое платье! Портной испортил мне вечерний туалет. Для нее он сойдет.

Мадемуазель Бетти засмеялась.

– Розовое, гипюровое? Но ведь это же бальное платье?

– И прекрасно. Оно ей будет впору. Вот обрадуется, бедняжка! Скажи ей что-нибудь в таком роде: до сих пор, мол, ее игнорировали потому, что считали ребенком. Но теперь она уже выросла и стала барышней. Мы научим ее танцевать, играть на фортепьяно, петь.

– Вы это серьезно?

– Ты ей так именно и скажи. Мы, мол, введем ее в общество и представим всем как члена нашей семьи.

– Если я ей вечером это сообщу, она до самого утра не даст мне спать: всю ночь будет болтать. Особенно ей хочется научиться петь.

– Бедная *Vakfisch*! Право же, доставим ей эту радость.

...О жестокосердная Иезавель!

Несколько дней спустя Рихард получил приглашение во дворец Планкенхорст. Устраивался узкий семейный вечер: состоится партия в вист, будет чай, Альфонсина что-нибудь споет.

Рихард с радостью принимал теперь любое приглашение в этот дом, какая бы скука ни ожидала его там.

Он уже больше не бравировал опозданием на вечера к дамам Планкенхорст, а скорее предпочел бы передвинуть вперед стрелки своих часов, чтобы оправдать перед хозяйками дома свой слишком ранний приход.

Так было и на этот раз.

В прихожей лакей принял из его рук отстегнутую саблю и шинель; на вешалке не висело еще ни одного пальто.

– Выходит, я раньше всех? – спросил офицер.

– Так точно, – с улыбкой ответил старый слуга и раскрыл перед ним двери в зал.

Первая, кого Рихард увидел, была мадемуазель Бетти, – Я, кажется, слишком рано?

Она сделала ему реверанс и улыбнулась.

– Баронессы нет дома, но она скоро должна вернуться. Барышня –

там; – и Бетти указала на соседнюю комнату.

Для Рихарда это не было новостью. Он часто заставлял Альфонсину одну (разумеется, в обществе компаньонки) и привык с ней мило и непринужденно болтать. Рихард был превосходный собеседник. К тому же он сносно играл на фортепьяно и пел.

Из внутренних покоев до него доносилось чье-то пение. Рихарду показалось, что голос был более сильный и звучный, чем голос Альфонсины, чье пение ему не раз приходилось слышать. «Видно, – думал он, – люди поют лучше, когда они одни и полагают, что их никто не слышит».

Рихард заглянул в комнату, откуда доносилось пение, и на миг замер от неожиданности.

За фортепьяно сидела не Альфонсина!

В первую минуту Рихард не поверил своим глазам!

То была Эдит в необычном для нее бальном наряде, с дорогими украшениями в волосах. Она была одета в розовое вечернее платье с большим вырезом, который открывал ее красивую шею и нежную линию плеч. Она пела какой-то народный романс, пела безыскусно, но необыкновенно душевно и звучно, нажимая одним пальцем на клавиши фортепьяно, как это обычно делают новички. В комнате она была одна.

Рихард долго смотрел на бегавшую по слоновой кости инструмента очаровательную ручку, но внезапно Эдит отвела взор от фортепьяно и взглянула на вошедшего.

В первую минуту она инстинктивным движением прикрыла рукой грудь: девушка еще не успела привыкнуть к своему новому наряду. Но уже в следующее мгновение Эдит подумала о том, что этого не следовало делать, и убрав руку, встала и шагнула навстречу склонившемуся в поклоне Рихарду.

Лицо ее горело, сердце сильно колотилось, голос едва повиновался, когда она пролепетала, обращаясь к молодому офицеру:

– Баронесс нет дома.

Рихарду стало жаль ее.

– Вашей кухни тоже нет? – спросил он.

– Они ушли вместе, Их неожиданно пригласили во дворец. Они вернутся очень поздно.

– Мой брат здесь не появлялся?

– Он был, но давно ушел.

– Разве баронесса не говорила, что ждет гостей?

– Она приказала лакею оповестить всех приглашенных о том, что

назначенный прием откладывается на Завтра.

– Странно, почему он мне этого не сказал, когда я раздевался. Простите, мадемуазель Эдит, что я вас беспокоил. Прошу вас передать мой привет баронессе и вашей кухне.

Он учтиво поклонился и с невозмутимым видом вышел из зала.

Рихард собирался сделать выговор лакею за недопустимую забывчивость, но в прихожей никого не было.

Главная дверь, выходящая в парадный подъезд, оказалась закрытой, и даже ключ был вынут из замочной скважины.

Рихард вынужден был снова пересечь зал, чтобы выйти через черный ход. Но и эту дверь он нашел запертой.

Он знал о существовании еще одной двери в доме, которая вела из столовой в кухню. Попробовал было открыть ее, но и она была на замке.

В столовой он увидел звонок для вызова слуг. Молодой офицер с силой дернул несколько раз подряд за шнурок и внимательно прислушался, до него не донеслось ни малейшего шума.

Он снова возвратился в прихожую, но там по-прежнему никого не было. Дом казался пустым.

Сердце Рихарда громко стучало в груди; в его душу закралось подозрение.

Кто-то задумал сыграть над ним коварную шутку, цель которой была ему пока не понятна.

Рихард вновь отстегнул палаш, сбросил шинель и вернулся в ту комнату, где прежде сидела Эдит.

Заслышав звук шагов, девушка поднялась ему навстречу. Теперь ее лицо уже не пылало. Напротив, она казалась бледной. Глаза спокойно смотрели на Рихарда. От бывшего смущения и замешательства не осталось и следа.

– Простите, мадемуазель Эдит, – проговорил Рихард, – все двери я нашел на запоре, и во всем доме нет Никого, кто мог бы меня выпустить.

На стене комнаты в огромной золоченой раме висел портрет Альфонсины в натуральную величину. И Рихарду внезапно почудилось будто на ее красивом, как у сирены, лице появилась злая усмешка.

Между тем Эдит, сохраняя полное самообладание, отвечала:

– Слуги, вероятно, ушли со двора. Но это не беда. Здесь есть второй ключ от парадной двери, я вас сейчас выпущу.

В углу висела изящная, в античном стиле, решетчатая полочка для ключей. Чтобы подойти к ней, Эдит должна была пройти мимо Рихарда. Когда девушка попыталась это сделать, он преградил ей дорогу.

– Одно слово, Эдит! Знаете, о чем я сейчас думаю?

И снова ему почудилось, будто ангельски красивое лицо на портрете, висевшем на стене, заглядывает в его душу и ведет роковой разговор с его громко стучащим сердцем. Рихарду показалось, будто все вокруг озарилось пламенем.

А девушка, которой он преградил путь, оставалась совершенно спокойна и с величайшим присутствием духа ответила ему:

– Вы сейчас думаете вот о чем: «Я однажды дал клятву этой девушке, что никогда не обижу ее даже взглядом и не посмею поднять глаза выше ее руки.

И Эдит сложила руки на груди.

– Да, – прошептал Рихард, и ему сразу стало легко, будто он освободился от какого-то адского груза. – Сейчас я прошу вас лишь об одном. Мне спешно надо написать письмо баронессе. Не дадите ли мне письменные принадлежности?

Эдит достала из секретера замысловатой формы перо и бумагу и, протянув их гостю, сказала:

– Пожалуйста.

Рихард сел за стол и принялся писать. Для этого ему не потребовалось много времени, ибо то, что ему надо было сказать, можно было выразить в нескольких словах. Вложив листок бумаги в конверт, он запечатал его сургучом.

Пока он был занят этим, Эдит молча стояла по другую сторону стола, скрестив руки на груди.

Запечатав письмо, Рихард встал и подошел к девушке. У него было одухотворенное выражение лица и твердый, ясный взгляд. Их взоры встретились, и Рихарду почудилось, что нежная душа Эдит раскрылась перед ним.

– Если вы, мадемуазель Эдит, сумели прочитать в моем сердце то, что я сейчас думаю, то вы можете догадаться и о том, что я здесь написал.

С этими словами он указал на запечатанный конверт.

– Вы догадываетесь?

Эдит медленно поднесла сцепленные пальцы рук к лицу, затем, не разнимая их, прижала руки ко лбу, вовсе не думая о том, что дает возможность стоявшему против нее человеку заглянуть ей прямо в глаза и увидеть в них драгоценные слезинки муки, восторга, боли и счастья.

– Да, в письме написано именно это: «Милостивая государыня, я прошу у вас руки Эдит; ровно через год, достигнув совершеннолетия, я явлюсь за ней. До тех пор прошу обращаться с ней как с моей невестой».

Сказав это, Рихард протянул девушке письмо.

Эдит благоговейно прижала к губам сургучную печать и вернула письмо молодому человеку.

Рихард также молча прикоснулся губами к этой печати, еще сохранявшей, казалось, тепло от уст любимой. Так они впервые обменялись поцелуем, поцелуем! обручения.

– Вы передадите это письмо баронесса?

Эдит безмолвно кивнула и спрятала письмо на груди.

– А теперь ровно год нам предстоит молчать о том, о чем мы все время будем думать. Да хранит вас бог! – произнес Рихард. – Не провожайте меня. Пусть никто не видит этих слез. Они принадлежат мне. Покажите мне ключ от парадной двери. Я возьму его с собой, а завтра пришлю обратно со слугою.

Взяв ключ, Рихард вышел из комнаты. Нигде по-прежнему не видно было ни души. Он отпер дверь и закрыл ее снаружи, так и не встретив никого из челяди.

Между тем Эдит, едва стихли вдали шаги капитана, бросилась на колени в том месте, где стоял Рихард, и принялась целовать следы ног своего любимого.

Баронесса с дочерью возвратились домой очень поздно.

Эдит была уже в своей комнате, то есть в той комнате, которую она делила с мадемуазель Бетти.

– Пришлите сюда Вакфисх, – приказала Альфонсина.

Эдит явилась на зов.

– Ты еще не спала, Эдит? – спросила ее госпожа Антуанетта.

– Нет, тетушка.

Баронесса устремила на девушку пристальный взгляд, словно пытаясь проникнуть в самую глубину ее существа. Но она не нашла того, что искала. Напротив, она даже обнаружила в глазах Эдит некоторую уверенность, которая раньше не была свойственна девушке.

– Никто нас не спрашивал? – осведомилась баронесса.

– Спрашивал капитан Барадлаи.

Обе женщины взяли под перекрестный огонь своих глаз Эдит. Тщетно! Ни один мускул не дрогнул на ее лице при этом имени. Она даже не покраснела. Отныне все, что было связано с Рихардом, надежно хранилось в тайниках ее души и помогало девушке сохранять самообладание.

– И долго нас ждал капитан? – продолжала допрос баронесса.

– Лишь столько времени, сколько ему понадобилось, чтобы написать вот это письмо для вас, тетушка, – спокойно ответила Эдит, вручая конверт.

Теперь пришла очередь покраснеть баронессе: она прочла короткое послание Рихарда.

– Вам известно, что здесь написано? – спросила она, бросив испепеляющий взгляд на девушку.

– Да, известно, – ответила Эдит, и в ее ответном взоре было столько отваги и благородной гордости, что баронесса едва не задохнулась от злобы.

– Можете идти к себе в комнату и ложиться спать.

Эдит ушла.

Антуанетта гневно швырнула дочери записку Рихарда.

– Гляди. Это дело твоих рук, безумная!

Альфонсина смертельно побледнела и, в свою очередь, задрожала от ярости, когда прочла эти несколько строк. Некоторое время она не могла вымолвить ни слова.

Лицо ее матери исказилось от гнева.

– Ты, верно, думала, – проговорила она, скрежеща зубами, – что все мужчины такие, как Отто Палвиц!

При этом имени Альфонсина ответила матери взглядом, который трудно передать словами, – столько в нем было жгучей ненависти, мстительной злобы и крайней жестокости.

– Свою глупую игру ты окончательно проиграла, – сказала Антуанетта, разрывая письмо в мелкие клочья. – Сейчас в борьбу вступаю я.

Старик антиквар

Направляясь к дому, Рихард чувствовал себя так, будто он оседлал крылатого коня.

Только теперь он впервые обрел самого себя.

Куда девались привычные для Рихарда сибаритство и леность, которыми до сих пор были отмечены его дни? Внезапно он ощутил, как им овладевает какой-то необыкновенно благородный порыв – сочувствие к отверженным и оскорбленным.

Он был беспредельно счастлив и удовлетворен прошедшим днем.

Ему удалось преодолеть дьявольское искушение и соблазн, и теперь он наслаждался радостным сознанием победы над самим собой.

С этой минуты Рихард ощущал себя совершенно другим человеком. Придя домой, он уже в передней заметил, что многое отныне стало ему здесь чуждо и неприятно. Каждый предмет в доме говорил ему о ком-нибудь, кого он теперь хотел навсегда забыть. Ковер, пуф, ночные туфли, футляр для часов на стене – все это были сувениры, напоминавшие о тех интимных отношениях, которые отныне стали далеким прошлым.

– Господин Пал! – кликнул он старого слугу.

– Что угодно?

– Разведи огонь в камине.

Пал счел это желание вполне естественным. Но вот беда: проклятые дрова были сырые и никак не хотели разгораться.

Рихард достал из ящика письменного стола кипу писем, тонкий аромат и цветные конверты которых недвусмысленно говорили об их содержании.

– Вот тебе на растопку, – сказал он.

Господин Пал подчинился с превеликим удовольствием.

Легкие бумажные листки весело запылали.

– Пал! – крикнул Рихард. – Завтра отправляемся в полк.

Старый гусар простодушно обрадовался.

– Не можем же мы тащить с собой в лагерь всю эту дребедень и безделушки. Возьми на себя, господин Пал, сбыт всей этой обстановки, а что касается мелочей и сувениров – в огонь их, в огонь.

– Слушаюсь, ваше благородие, – ответил Пал.

В алькове, над кроватью Рихарда, висела в большой золоченой раме написанная масляными красками, по его заказу, картина, изображавшая красивую женщину в позе знаменитой рембрандтовской Данаи.

– От этого полотна тоже избавь меня, господин Пал, – 'распорядился Рихард.

– Будет сделано, – с готовностью отвечал старый служака.

Затем Рихард обшарил все ящички стола, выбросил из них засушенные цветы, отрезанные «на память» локоны, разноцветные ленты и бантики. «Все в огонь!» – повторил он. Окончательно убедившись, что в доме не осталось никаких сувениров, напоминавших о прошлом, он еще раз строго-настрого приказал господину Палу сбывать с рук все громоздкие реликвии и с легким сердцем отправился ужинать.

На этот раз Рихард недолго просидел с друзьями за ужином. Необычно рано вернувшись домой, он сразу улегся в постель и, уже раздеваясь, с удовольствием отметил про себя, что соблазнительная Даная больше не бросает на него со стены своих взглядов.

В комнате стало тепло от сожженных в камине сувениров.

На следующий день рано утром к нему вошел Пал с начищенными до блеска сапогами в руках и спросил:

– Ну, как почивали?

– Замечательно, Пал. Спасибо. Вижу, ты немало вчера потрудился. Куда, кстати, ты дел раму от картины? Не сжег ли случайно и ее?

– Раму? – переспросил господин Пал с непередаваемым выражением в голосе. – Уж не думает ли господин капитан, что я сжег картину?

– А что же ты с ней сделал?

– Как что? Что я, нехристь какой, чтобы бросать в огонь такую красоту?

– Куда ж ты ее дел?

– Уж будьте покойны. Был и я в свое время молод. Была и у меня красотка, она презентовала мне в день рождения кiset, вышитый бисером. Потом она меня обманула; не стал же я, однако, бросать этот кiset в огонь!

– Куда ты дел раму, я спрашиваю?

Старый гусар ухмыльнулся и скривил либо, словно от зубной боли.

– Отнес еврею, а деньги пропил!

Рихард резким движением сбросил с себя одеяло.

– Ты что? Может быть и картину продал ему?

Господин Пал только пожал плечами. Потом сказал:

– Чудно, ей-богу: сами же распорядились избавить вас от нее.

– Но ведь я хотел, чтоб ты бросил ее в огонь.

– А я так понял, что ее надо отнести Соломону и получить то, что она стоит.

– И отнес?

– И отнес.

Рихард был вне себя от ярости.

– Немедленно ступай к нему и принеси обратно картину! – заорал капитан.

Но не так-то легко было запугать господина Пала.

Старый гусар с величайшим хладнокровием поставил к кровати хозяина сапоги и флегматично ответил:

– Ну знаете, что Соломон взял, того он обратно не отдаст.

– Принеси картину, слышишь?

Господин Пал расправил сложенные на стуле рейтузы и, подавая их хозяину, сказал:

– Соломон просил передать, что хочет лично поговорить с господином капитаном по поводу картины.

Рихард не помнил себя от гнева.

– Дурак! – рявкнул он.

– Так точно, ваше благородие, – ответил старый гусар. – Этим-то и ценен.

Рихард предложил господину Палу убираться в преисподнюю и притом как можно глубже.

Что касается господина Пала, то он не был столь жесток и не стал посылать хозяина в такую даль, – он лишь сообщил ему, что лавка Соломона находится на улице Порцеллан, в доме номер три.

Проклиная в душе Пала, Рихард быстро оделся и поспешил на розыски Соломона с улицы Порцеллан прежде, чем тот успеет выставить на всеобщее обозрение портрет женщины, лицо которой было слишком хорошо известно в столице.

Он быстро нашел лавку антиквара. То была низкая лачуга; чтобы войти в нее с улицы, надо было спуститься по нескольким ступенькам вниз. Свет проникал в помещение сквозь единственную дверь, которая поэтому постоянно оставалась полуоткрытой. По обе стороны входа стояла ветхая мебель: полуразвалившиеся мягкие кресла, покосившиеся комоды и буфеты, на которых сверху громоздились скамеечки для ног; по углам – китайские этажерки, уставленные щербатыми керамическими блюдами и тарелками; на полу груды пухлых фолиантов; зато конская сбруя, густо смазанная маслом, была вознесена на почетное место, к потолку, где она соседствовала с позолоченной люстрой; чучела попугаев, белок и комнатных собачек глядели с полок на вошедшего своими стеклянными глазами, образуя своеобразный натюрморт; рядом высились поврежденные статуи: Геркулес с одной рукой, Минерва, с отбитым носом, Венера,

склеенная кое-как из отдельных кусков; на стенах красовались разные полотна в пышных рамах, по преимуществу без стекол: «Похищение Европы», а также «Азия», «Африка», «Америка» и даже портрет Иосифа, чей плащ остался в руках супруги Потифара.^[27] В открытых шкафах хранились всевозможные инструменты, какие только мог придумать изобретательный человеческий ум; они были изготовлены из стекла, железа, меди, цинка и олова. И над всем этим витал запах древности.

Но наибольшей древностью этой лавки казался сам ее хозяин, который сидел у дверей за конторкой, закутавшись в просторный, подбитый мехом, кафтан. На его ногах были теплые боты, а меховая шапка съехала до самой горбинки огромного носа. Господин Соломон имел обыкновение бриться раз в четыре дня; разумеется, при этом он пользовался не бритвенным лезвием, а бог знает чем! Сегодня шел как раз третий день его бороде. Он неподвижно сидел на своем месте весь день и поднимался из-за конторки только тогда, когда, какой-нибудь покупатель входил в лавку. Лишь тут он расставался со своим широченным креслом, на сиденье которого была подложена для мягкости кипа промокательной бумаги, и кожа на кресле истерлась от долгого употребления.

Свою лавчонку он открывал обычно на рассвете и усаживался на посту у дверей, ибо кто мог заранее знать, когда удача занесет к нему доброго покупателя.

Было около восьми утра, когда высокий и стройный гусарский офицер, с красивым, исполненным достоинства лицом переступил порог лавки и звучным голосом спросил:

– Это антикварная лавка Соломона?

Старик в широченном кафтане опустил со скамеечки ноги, обутые в громадные боты, и выпрямился, насколько мог, перед ранним посетителем; он сдвинул меховую шапку на затылок, и гость увидел его физиономию, расплывшуюся в почтительной улыбке.

Старик с готовностью ответил:

– Ваш покорный слуга, господин капитан. Это и есть антикварная лавка Соломона, а я – тот, кому она принадлежит. Чем могу служить, господин капитан Рихард Барадлаи?

Рихард был изумлен.

– Откуда вы знаете меня?

С подобострастной улыбкой старый антиквар ответил:

– Ну, кто ж не знает господина капитана? Я очень хорошо вас знаю. Господин капитан – золотой человек.

Рихард так и не понял, откуда антиквар знает его. Вполне вероятно,

подумал он, что старый Соломон видел его на военном параде или на каком-нибудь приеме при дворе. Во всяком случае, денег в кредит он у старика ни разу не брал – это он хорошо помнил.

– Значит вам известно и то, что я пришел сюда из-за картины, которую мой слуга по недоразумению принес вам вчера для продажи. Я не собираюсь ее продавать.

– О, это я отлично знаю, – отвечал господин Соломон. – Потому-то я и осмелился передать через вашего бравого денщика покорную просьбу, чтобы высокочтимый господин капитан оказал мне честь посетить мой скромный дом и лично переговорить об этой картине.

Рихард с раздражением оборвал его:

– Нам не о чем говорить. Картину я не продаю. Я намерен ее сжечь.

Антиквар произнес с улыбкой:

– Зачем же сердиться, господин капитан? Надо беречь здоровье. Ведь силой я не удержу вашу картину. Я затем и пригласил вас сюда, чтобы попытаться убедить. Но вы поступите так, как пожелаете. Что поделаешь, такому человеку, как я, не так просто завести знакомство с блестящим офицером. Кто знает, может что из этого получится? Окажите честь, господин капитан, пройдите в мою комнату. Картина у меня там, наверху. Не считите за труд. Кто знает, кто знает, что может выйти...

Рихард не особенно противился этому неожиданному приглашению.

– Хорошо. Пойдемте!

– Я только запру лавку. Я один, помощников у меня нет. Пока мы будем там наверху, сюда никто не войдет. Проходите вперед, господин капитан, проходите, пожалуйста. Вот сюда, по винтовой лестнице; моя квартира наверху. Уделите мне несколько минут.

Рихард повиновался и направился к скрипучей деревянной лестнице, которая вела в бельэтаж, в жилые апартаменты Соломона.

Войдя туда, он с изумлением огляделся. Его взору открылся истинно княжеский музей.

Расположенные анфиладой три большие комнаты были уставлены редкостными и прекрасными предметами.

Вдоль стен стояли самые разнообразные шкафы и горки из сандалового дерева, инкрустированные мрамором всевозможных оттенков, китайским перламутром всех цветов радуги, украшенные богатой позолотой либо резьбой по слоновой кости, – подлинные шедевры минувших веков. Рядом выстроились столы и столики всех форм и размеров, выложенные мозаикой и самоцветами. Глаза буквально разбегались при виде японских, китайских и этрусских ваз, чудесной

посуды из северского и нанкинского фарфора, бронзовых статуэток, гипсовых и мраморных статуй, античных подсвечников, художественных изделий из чеканного серебра, блюд, подносов, шкатулок, ларцов, сверкающих золотом чаш и кубков, усыпанных драгоценными камнями, резных каминов из цветного мрамора, коллекций часов, редких минералов. И все это стояло, лежало, висело в образцовом порядке, в какой-то определенной, раз и навсегда установленной системе; на каждой вещи висела табличка с номером. Стен в комнатах совсем не было видно, от потолка до пола они были увешаны замечательными полотнами великих мастеров прошлого.

Все, что увидел здесь Рихард, являло собой полную противоположность тому, что назойливо лезло в глаза в лавке антиквара.

– Ну, как вам нравится здесь? – спросил его старик, поднявшийся вслед за Рихардом по винтовой лестнице. – Стоит на все это посмотреть?

– Да-а... – вырвалось у Рихарда. – Я поражен. Где вы раздобыли столько прекрасных вещей?

– Гм! У старого Соломона большие связи. Вся Вена и даже заграница знает мою антикварную лавку. Кому нужен дешевенький шкафчик – тот идет ко мне. Кто ищет серебряный ларец работы самого Бенвенуто Челлини, тот тоже идет ко мне. Что бы ни продавал человек – разбитую чашку или шедевр Микеланджело, – он хорошо знает, что старый Соломон предложит настоящую цену: кому – грош, а кому – тысячу золотых.

Рихард углубился в осмотр редкостного музея.

А старый антиквар, не переставая улыбаться, доверительно шептал ему на ухо:

– А еще господам известно, что старый Соломон умеет молчать, как рыба. Он хорошо знает, еще как знает, кто был хозяином каждой вещи: вот это попало ко мне от графа, это – от князя. Но от меня никто никогда не услышит ни словечка. Целые гарнитуры мебели странствуют от одного хозяина к другому. Отчего? Почему? Что за каждой вещью кроется? Соломон все это знает, но ничего не скажет. Ему ведомы секреты господ, но он не выдает их никому.

– Весьма похвальное качество! Но где все же моя картина? – спохватился Рихард.

– Зачем так спешить? Что я, сбегу отсюда? Никуда я не убегу, никуда. Что ж это? Господин офицер не желает и посмотреть немного? Ай, ай, нехорошо. Может, мы и договоримся насчет той картины? А? Почему бы нам не договориться?

– Нет, любезнейший, – сказал Рихард с улыбкой. – Это – не просто

картина, а портрет одной особы. И хотя я больше не хочу и вспоминать о ней, но выставлять ее на посмешище тоже не позволю!

– Портрет, портрет! – проворчал старый антиквар. – Будто нет у меня портретов. Пройдите-ка лучше в соседнюю комнату.

С этими словами он увлек Рихарда в смежную комнату, где глазам изумленного капитана открылась целая галерея портретов, которыми были сплошь увешаны стены.

Здесь висели разной величины портреты мужчин и женщин, преимущественно молодых; написаны они были маслом и пастелью, акварелью и тушью; были тут и беглые наброски, и эскизы. А в углу комнаты высилась груда холстов без рам.

– Господи, как сюда попало все это? – невольно спросил Рихард.

– Очень просто, ваше благородие, как нельзя более просто. Люди есть люди: сначала любят, потом охладевают; первое время еще хранят портреты друга или подружки над своим изголовьем, затем вкусы меняются, и господа и дамы стремятся поскорее забыть о прошлом. Молодые кавалеры собираясь жениться, почему-то не желают, чтобы новая хозяйка дома застала портрет старой. Вот и все.

– И что же? Неужели они продают портреты?

Соломон развел руками, скорчив уморительную мину.

– Как видите, господин капитан, как видите.

– Право, я больше удивляюсь не тем, кто продает, а тем, кто покупает портреты, подаренные на память. Да и что с ними делать? Перепродавать?

Снисходительно усмехнувшись, Соломон молча покачал головой, касаясь подбородком своего широкого воротника.

– Ох, до чего это выгодное дельце ваше, благородие, прямо и сказать нельзя до чего выгодное! Кому надоел портрет, тот спускает его за бесценок, почти что даром! Тогда нашему брату остается только узнать, с кого он нарисован. Лавку на улице Порцеллан, дом номер три, знают многие господа: заходят сюда и их сиятельства, и знатные дамы. Им очень нравится смотреть мою коллекцию. Кое-кто находит то, что ищет. Тогда они даже не спрашивают: «Продаешь ли, Соломон?» Щедро платят и забирают себе портрет. А что дальше с ним делают, меня не касается.

– Да, ничего не скажешь, выгодное дельце, господин Соломон!

Старый антиквар доверительно коснулся дрожащими пальцами рукава Рихарда и, прищурившись, зашептали:

– А мне ведь хорошо знаком, ваше благородие, оригинал портрета. Эта дама частенько сюда заглядывает. Ай-ай, если б только она увидела себя здесь! За такой «костюм» щедро платят!

– Так низко я не поступлю, любезный Соломон! Как бы я ни относился к той, с которой писан портрет, я никогда не дам ей права презирать меня за столь подлый поступок.

– Вы – золотой человек, господин капитан! Верно, задумали жениться? Ай-ай! Ведь правда же? Угадал старый Соломон? Должно быть, уже другой портрет висит на месте прежнего? А?

– Верно, господин Соломон, я женюсь. Но другого: портрета у меня нет.

– А я смог бы его для вас достать. О, я все могу. Что? Не верите? Ай-ай-ай. Есть у меня один художник, достаточно ему сказать: ступай, мол, туда или туда, разгляди как следует того или другого, а потом возвращайся к себе и рисуй... И уж, будьте уверены, он по памяти нарисует любого человека как живого, только что говорить не будет. Хотите? Зачем изволите качать головой? Думаете, вашу невесту нельзя увидеть? Неужто она столь знатная особа? Или, наоборот, заточена в подземелье? Может, в монастыре? Молчите? Так-так. Пока, значит, тайна? Никому нельзя знать. Может быть, это бедная девушка? Хорошо, хорошо, господин капитан, я не буду выпытывать. Старый Соломон никогда ни о чем не спрашивает! Оставим это. Словом, сколько хотите за эту вашу Данаю?...

Рихард резко повернулся, загремев саблей.

– Я сказал, что не продаю. Верните портрет.

– Ай-ай-ай, зачем же саблей-то бряцать, ваше благородие? Ведь я не сказал, что дам вам за него десять или там двадцать форинтов. Сам понимаю, какую сумму можно предложить такому господину, как Рихард Барадлаи! Одно имя чего стоит! А может, взамен что-нибудь возьмете? Другую картину? Хотите полотно на религиозный сюжет? У меня их пропасть!

Рихард засмеялся.

– Нет, Соломон, сделка у нас не получится. Не надо мне за мою Данаю никакой картины, даже самой распрекрасной и даже на религиозный сюжет. Зря стараетесь: все равно не отдам портрета!

– Ну, ну. Зачем же зарекаться? А что, если мы найдем для вас что-нибудь подходящее? Давайте поищем получше. Ведь это денег не стоит.

И старик почти силой подвел Рихарда к груде писанных маслом холстов без рам, сложенных в углу комнаты, и стал быстро перебирать их.

При виде одного из портретов Рихард невольно воскликнул:

– Черт побери!

– Ага! – торжествующе поблескивая глазами, проговорил антиквар. – Нашлось, значит, нечто, что стоит повернуть к свету? – И Соломон вытянул

из кипы холстов таинственный портрет, вызвавший изумление гостя, смахнул с него рукавом кафтана пыль и поднес к окну – так, чтобы Рихард мог лучше его разглядеть.

– Тысяча чертей! Ведь это ж мой портрет!

– Ваша правда, господин капитан! Валяется он у меня вот уже с полгода. Как видите, ваша Даная не столь щепетильна, как вы. Давненько уж продан этот холст в лавку на улице Порцеллан, три. Помню, я сам отсчитал ей восемь тысяч форинтов серебром.

– А за сколько вы уступите его мне?

– Ваш портрет? Я уже сказал: хочу обменять его на тот.

– Хорошо!

– Ай-ай-ай, господин капитан. Не умеете вы торговаться! Вас легко обмануть. Того и гляди вы еще согласитесь приплатить мне.

– К дьяволу всю эту торговлю! Зуб за зуб. Пришлите мой портрет ко мне на квартиру, а там я не возражаю, – вытягивайте из этой Данаи за ее портрет хоть миллион.

– Вытягивать? Ах, господин капитан! Плохо вы, видно, знаете Соломона. Он никогда не делает ничего недостойного. Каждый человек сам знает, чего он стоит. Во сколько он оценивает себя, тем Соломон и удовлетворяется. Чтобы я стал деньги вытягивать? Нет, я не мошенник. Я человек справедливый. И в доказательство этого напому вам о раме. Холсты идут в обмен, а рама?

– Какая еще рама?

– Вы ведь прислали сюда картину в раме, а ваша Даная – один холст. В раму она тут же вставила другой портрет. Уж это мне доподлинно известно. Значит, рама идет отдельно.

Великодушие антиквара начало раздражать Рихарда.

– Оставьте себе эту раму. Не брать же мне за нее несчастные пять форинтов.

– Ай-ай, вот вы уже снова сердитесь? «Несчастные пять форинтов»! Разве я их предлагаю вам, господин капитан? Мы и тут можем поменяться. У меня есть много вещей, которые придутся по вкусу господину капитану. Пойдемте поищем. Ведь это денег не стоит. Есть у меня прекрасное оружие, кинжалы, палаши.

– Благодарю. У меня дома и так целый арсенал.

– А вдруг здесь найдется что-нибудь такое, чего у вас дома нет? Трудно ли посмотреть, ваше благородие? Даст бог и сладим дело. Хорошо, хорошо, о раме не говорю. За нее мы сочтемся. А то, что понравится господину капитану, можно ведь продать и за деньги. Сделайте мне

одолжение – купите что-нибудь. А? Видите ли, есть такая примета: первая на дно сделка не будет счастливой, если хоть несколько монет не перепадет к нам в карман. Весь день тогда не будет удачи. Вот почему хорошо быть первым покупателем. Уж мы его с пустыми руками не выпустим, продешевим, а заставим что-нибудь купить, чтобы получить от него денежки.

Рихард и впрямь почувствовал, что старик не выпустит его, если он не оставит в лавке хоть несколько форинтов. Поняв это, он позволил хозяину увлечь себя в третью комнату, в которой взору гусарского офицера предстала богатейшая коллекция оружия из всех стран света.

В одной из витрин было собрано египетское, персидское и индийское оружие: кривые сабли и прямые, как стрела, палаши с замысловатыми рукоятками, веерообразные боевые штандарты, необычные дротики для метания, латы и панцири, островерхие шлемы и этрусские рожки из древесной коры. В другой витрине лежало древнегреческое оружие, фиванские щиты, копья – с круглым щитком на одном конце и острым наконечником на другом; рядом находились самнитский стальной нагрудник, короткие римские мечи и сверкающие щиты, тяжелые рыцарские доспехи и легкие сарматские кольчуги. Следующую витрину заполняли галльские и тевтонские дротики, кованые палицы с обрывками цепей на концах, рогатые шлемы, британские бердыши; рядом – прислоненные к стене – стояли средневековые копья с особым оперением для метания в цель, чешское оружие, немецкие стальные «чушки», саксонские алебарды, носившие прозвище «партизан», кривые кинжалы и кортики, оружие крестоносцев, мавританские и сарацинские мечи и копья, индейские томагавки и венгерские палаши, а также молотки с длинными рукоятками, зубчатые булавы, палицы – все это было собрано и расположено в определенном порядке. Наконец, четвертая стена была отведена под современное оружие различных стран; здесь было все – от коротких кинжалов до ружей, от бесценных сабель, украшенных драгоценными камнями, до позолоченных пик.

– Видите, ваше благородие, и у меня есть свой маленький арсенал, – проговорил Соломон, довольно потирая руки. – Он заслуживает того, чтоб его посмотреть. Когда готовится какой-нибудь большой праздник, в антикварной лавке на улице Порцеллан большое оживление. Здесь все можно достать. А после праздника все экспонаты возвращаются на свое место.

Рихард чувствовал себя в этой комнате как в родной стихии. Взглядом знатока он окидывал стальное царство. Его взор задержался на тусклом

клинке с простой рукоятью, лежавшем без ножен на одном из столов. Рихард взял его в руки.

– Ага-а! – снова торжествующе воскликнул довольный антиквар. – Отыскали-таки настоящее оружие. Я не сомневался, что знаток не пройдет мимо него. Это подлинная гривеллийская сталь. За этот клинок мне предлагали десять золотых, но я не отдам его меньше, чем за пятнадцать. Настоящий Гривелли, не подделка.

Рихард поднес клинок к свету и сказал:

– Это не Гривелли.

Соломон был явно уязвлен.

– Ай-ай, господин капитан. Я никогда не лгу. Это настоящая гривеллийская сталь, взгляните получше.

Он взял дрожащими руками клинок, легко согнул его и в доказательство гибкости этой чудесной стали опоясал им, словно ремнем, талию гусарского офицера.

– Видите, острие клинка свободно достает до эфеса.

– Хорошо, – сказал Рихард, беря тесак из рук старика. – Теперь я вам покажу кое-что. Есть у вас здесь какой-нибудь старый мушкет, которого вам не жаль?

– Выбирайте любой, – указал Соломон на груды сваленного в кучу устаревшего огнестрельного оружия.

Рихард выбрал мушкет с самым толстым стволом и, прислонив его к стене, дулом вверх, попросил хозяина:

– Отойдите-ка немного в сторону!

Старик, сделав шаг к двери, ожидал, что произойдет дальше.

Между тем Рихард, сжав рукоять клинка, взмахнул им в воздухе и ударил по ружейному стволу. Дуло мушкета было перерублено пополам.

Гусарский офицер провел пальцем по лезвию клинка и, протянув его Соломону, сказал:

– Видите, даже зазубрины не осталось.

Антиквар стоял ошеломленный.

Сначала он с изумлением посмотрел на клинок, затем на разрубленное железное дуло мушкета, потом подошел к Рихарду и пощупал его руку выше локтя.

– Боже всемогущий! Вот это удар! Я даже апельсин и то в три приема ножом режу. Вы – золотой человек, господин капитан! Нет, не золотой, а стальной! Вот так удар! Ай-ай-ай! Такой толстый ствол разрубить одним махом, словно папиросную гильзу!

– Так вот, любезный Соломон, – этот клинок не из гривеллийской

стали, – сказал Рихард, протягивая старику тесак, – а из настоящей дамасской. Имя ему – Аль-Богацен, а стоит он не меньше ста золотых.

– Упаси бог! – протестующе замахал на него руками еврей. – Я сказал господину капитану, что ему цена пятнадцать золотых. Ни меньше, ни больше. Так оценил его я. И если ваше благородие согласится отдать за него ту самую раму с картиной, да один золотой в придачу, то клинок ваш! Берите его, пожалуйста! В одном доме с этой штукой я не могу спокойно спать.

Рихард улыбнулся.

– Но ведь мы уже поменяли Данаю на мой портрет.

– Нет, нет, господин капитан, ваш портрет я не отдам ни за какие деньги, он теперь мой. Впервые в жизни встречаю человека, который говорит: «Соломон, ты предлагаешь мне вещь за пятнадцать золотых, а цена ей – сто, ибо это не Гривелли, а Аль-Богацен, настоящий дамасский клинок!» И чтобы я расстался с портретом такого человека! Да ни за что на свете! Это же Rarität,^[28] Уникум! Инкунабула! Ничего подобного нет в мире! Другого такого не найти! Нет, нет! Портрет такого человека старый Соломон не выпустит из своих рук. Он останется здесь, а вы возьмете этот клинок! Доплатите один золотой, и мы – квиты.

Рихард задумался, но Соломон как бы читал его мысли.

– Господин капитан опасается, что его портрет кто-нибудь увидит. Нет, нет, я повешу его в своей спальне, я там один, туда никто не заходит. Ведь против этого вы не станете возражать?

Смеясь причуде старика, Рихард вложил свою руку в протянутые к нему с мольбою ладони антиквара.

Старик попробовал на зуб полученный золотой и только затем опустил его в глубокий карман кафтана.

– Я упакую в бумагу этот клинок, и мой слуга отнесет его на квартиру капитана. Как я рад, что вы заглянули ко мне. Большая честь! Надеюсь это не в последний раз. Если господин капитан надумает жениться, пусть он располагает мною, я достану ему такие чудесные вещи, которыми будут восхищаться прекрасные глаза его жены.

– Благодарю, мне это не потребуется. Та, кого я выбрал в жены, не стремится к роскоши.

– Значит, вы берете бедную девушку? Ведь так? Я догадался?

Рихард не пожелал продолжать этот разговор.

– Прощайте!

– Хорошо, хорошо, господин капитан. Да поможет вам бог. Я ни о чем не спрашиваю. Старый Соломон многое знает. Люди даже не

догадываются, как много ему известно. Но он никому ничего не говорит. Вы – золотой человек, господин капитан, вы – стальной человек. Нет, я плохо выразился, вы – человек из дамасской стали! Вы знаете, из чего готовятся дамасские сабли? Их куют из сплава золота и стали. Я не вмешиваюсь в ваши дела, господин капитан, но вы хоть изредка вспоминайте старого антиквара с улицы Порцеллан, три. Скажу вам чистосердечно: тот, кто остается честным человеком, делает самое выгодное дело! Запомните мои слова! В жизни вам еще придется встретиться с антикваром с улицы Порцеллан, хотите вы этого или нет. И тогда вы поймете мои слова: выгоднее всего – быть честным человеком! Да хранит вас бог!

Офицеру не терпелось покинуть жилище разговорчивого старика. Капитан велел мальчику из лавки отнести на квартиру купленный клинок. Сам он не желал показываться домой. Рихарду сейчас не хотелось видеть господина Пала: он побаивался, что старый служака встретит его словами: «Ну, что я вам говорил?»

Женская месть

– Ах, душа моя, Аранка, напрасно ждете вы батюшку своего домой; не возвратится он больше в ваш приход, вот вам крест, не возвратится. Получил нынче мой муж письмо из Пешта. Сами знаете, у нотариуса везде большие знакомства – и в округе, и в столице. И пишут ему, что дела вашего батюшки плохи, ох, как плохи. Консистерия лишила его права вещать с амвона, а Вена подтвердила это решение. Осудят его не меньше, чем на десять лет, и упекут в Куфштейн. Видит бог, так и будет, душа моя. Зачем, однако ж, так убиваться, зачем слезы-то лить ручьем? Зачем гневить бога своей печалью? Господь милосерд, он помогает нести крест всем обездоленным и покинутым. Да благословит вас бог, душа моя, Аранка!

Такими словами тетушка Салмаш, жена местного нотариуса, встретила утром дочку сельского священника, которая теперь каждый день спозаранку выбегала к калитке дома и смотрела в ту сторону, куда месяц назад солдаты увели ее отца. Но тщетно напрягала Аранка зрение, – отец все не возвращался.

Постояв несколько минут у ворот, девушка обычно возвращалась в дом и целый день больше не показывалась во дворе.

Она садилась к рабочему столику, брала свое шитье и трудилась до тех пор, пока иголка и ткань не начинали валиться у нее из рук; а мысли ее между тем неотступно следовали за дорогим и любимым ею человеком с беспокойной душой, который уехал в далекую северную державу и затерялся среди бескрайних голых степей и незнакомых городов; мысленно она шла за ним по нехоженным тропам и неведомым путям, ища среди миллиона чужих лиц одно, с милыми чертами, и ей уже чудились привычные шаги и родной голос...

Так и в тот день она предавалась своим призрачным мечтам, пока ее не вывел из забытья стук проезжавшей по дороге кареты.

Аранка была и в самом деле прекрасна. У нее было чудесное, тонкое, несколько удлиненное лицо, словно у музы трагедии; большие выразительные глаза, классический профиль и губы, напоминавшие покрытый росой алый цветок. Густые каштановые волосы были строго собраны на затылке и заплетены в роскошную косу. Какая-то необыкновенная простота и безыскусственность всего облика девушки придавали ее прелестной скульптурной головке удивительно благородное выражение.

Потупленные очи, с нежными полукружьями век, опущенных длинными ресницами, медленно поднимались по мере того, как стук кареты на улице приближался. Девушка вздрогнула. Но уже в следующее мгновение она приложила руки к груди, как бы успокаивая себя и убеждая, что это едет не тот, кого она не перестает ждать. Она глубоко вздохнула и продолжала заниматься рукоделием.

Между тем стук колес смолк как раз перед домом священника.

Карета остановилась у ворот.

Девушка вскочила и радостно бросилась к двери. Может быть, отец?

Дверь распахнулась, и Аранка, застыв на месте, оказалась лицом к лицу с вошедшей дамой.

То была вдовствующая графиня Барадлаи.

Госпожа Барадлаи приехала в черном бархатном платье с вышитой черной пелериной и муфтой; черный траурный головной убор еще больше подчеркивал ее мраморно-белое лицо.

Аранка поклонилась; графиня протянула руку, и девушка почтительно поцеловала ее.

– Доброе утро, дитя мое, – проговорила графиня милостиво, но сдержанно. – Я приехала побеседовать а тобой о некоторых вещах, которые нам надо вместе решить.

Аранка пригласила гостью присесть на оттоманку; графиня сделала ей знак поместиться напротив.

– Я должна сообщить тебе, дитя мое, грустные вести; к великому моему сожалению, твоего отца постигли большие неприятности из-за той молитвы, которую он произнес на похоронах моего супруга. Зачем он только это сделал! Но сейчас уже ничего не изменишь. Он, должно быть, потеряет приход; но это еще полбеды.

«Значит, правду говорят!» – вздохнула про себя девушка.

– Свобода под его угрозой, – продолжала гостья. – Возможно, его на продолжительный срок заточат в тюрьму, и ты долго не сможешь его увидеть.

Госпожа Барадлаи удивилась, что при этих словах на лице девушки не отразилось никакого смятения.

– Тебе придется остаться одной.

Аранка молча кивнула.

– Что ж ты будешь тогда делать?

– Я ко всему готова, – спокойно отвечала девушка.

– Дитя мое, ты всегда можешь рассчитывать на мое доброе отношение. Для тебя я сделаю все. Человек, по которому моя семья носит сейчас траур,

причинил тебе много зла даже после своей смерти. Я хочу, насколько возможно, смягчить обрушившиеся на тебя удары судьбы. Доверься мне, скажи: куда ты хочешь уехать? Что думаешь делать? Я помогу тебе всем, что только в моих силах.

– Я хочу остаться здесь, госпожа, – произнесла Аранка с достоинством, подняв голову и спокойно посмотрев в глаза графине.

– Здесь ты не можешь оставаться, дитя мое, ведь дом этот перейдет к новому священнику.

– У отца в деревне есть маленький домик, я переберусь туда.

– А чем станешь жить?

– Буду работать.

– Шитьем много не зарабатываешь.

– Я умею довольствоваться малым.

– Ну, а если твоего отца переведут в какой-нибудь другой приход, ты разве не захочешь быть рядом с ним? Можешь рассчитывать на меня. Я обеспечу тебе безбедное существование.

– Благодарю, госпожа. Если уж мне суждено быть одной, то я хочу жить здесь, пусть даже вдали от отца. Какая разница, в трех ли он шагах, или в тридцати милях от меня, если мне нельзя его видеть.

– Но здесь ты заживо похоронишь себя, а где-нибудь в другом месте тебя ждет, быть может, новая жизнь. Я хочу снять со своей души тяжкий грех: я тоже отчасти повинна в твоих горестях. Я дам тебе денег, и ты сможешь устроить свою судьбу. Ты разделяешь со мною, мое горе и я хочу поделиться с тобою своим богатством. Верь мне, это не пустые слова.

Но Аранка лишь молча качала головой: «Нет. Нет».

– Подумай о том, что в горе и несчастье человека оставляют даже друзья. Несчастных никто не жалеет, все ищут предлога быть подальше от них. Сейчас ты красива и молода, но скорбь быстро старит. Ты погибнешь, если останешься здесь. В такой деревне, как эта, где все знают друг друга, беззащитного человека скоро начинают просто ненавидеть. Люди высмеивают то, из-за чего он глубоко страдает. Они радуются, если видят униженным того, кому прежде завидовали. Чем ты красивее и лучше, тем хуже ты им будешь казаться. Злые люди будут считать тебя своим врагом. А где-нибудь в другом месте ты найдешь себе новых друзей. Здесь тебе будет причинять боль и горе каждый знакомый предмет, каждый косой взгляд. А среди чужих, незнакомых тебе людей, ты сможешь устроить свою жизнь как хочешь. Я куплю у тебя отцовский дом, виноградник, сад, землю за такую цену, за какую можно приобрести целое поместье. Я буду твоей покровительницей и твоим другом всю жизнь. Я распахну перед тобой все

двери, я помогу тебе проникнуть к высоким сановникам, от которых зависит освобождение твоего отца, Я готова искупить все страдания, которые из-за нас обрушились на твою семью. И буду от души радоваться, когда увижу тебя счастливой.

При этих словах Аранка поднялась с места.

– Спасибо за милость, госпожа. Но я остаюсь здесь. И не уйду отсюда даже в том случае, если мне придется ради хлеба насущного наняться в батрачки. Вы знаете, госпожа, историю этого кольца? – спросила девушка, показывая баронессе колечко на левой руке. – Вот, что привязывает меня к этим местам, да так, что никакими силами не оторвать. Тот, кто надел мне его на палец, сказал: «Я ухажу, буду скитаться, бродить по свету: меня вынуждают это сделать. Но куда бы ни закинула меня судьба, мысленно я буду кружить возле этого дома, как звезда вокруг солнца. Оставайся здесь, я возвращусь к тебе. Чем бы тебе ни угрожали, как бы ни гнали отсюда, – жди здесь, и я вернусь к тебе. Если даже сама богородица скажет тебе: «Уходи», – все равно оставайся, ибо я непременно вернусь». Теперь, госпожа, вы поймете, почему я здесь остаюсь. Нет в мире таких богатств, нет таких мук и пыток, которые вынудили бы меня уйти отсюда. Я буду страдать, терпеть, лишения, нищенствовать! Пусть я стану беднее последнего бедняка, но я не покину этих мест. Да, может быть, я здесь состарюсь, сойду с ума, но я никуда не уйду отсюда.

Теперь пришла очередь встать графине. Она взяла руку девушки, на которой было надето кольцо.

– Значит, ты любишь моего сына? А знаешь ли ты, что я тоже люблю его? Кто-то из нас должен отказаться от него ради другой. Кто же отречется от своей любви к нему?

На лице Аранки выразилось отчаяние, она попыталась высвободить свою руку из рук госпожи Барадлаи, но та крепко держала ее и не отпускала.

– О госпожа, как можете вы задавать мне такой вопрос? Только смерть может заставить меня отказаться от него! Вы хотите, чтобы я наложила на себя руки?

Графиня наконец отпустила девушку. Она взглянула на нее с необыкновенно доброй, излучавшей радость улыбкой.

– Нет. Я хочу, чтобы он принадлежал нам обеим. Ты станешь мне дочерью. Пусть у меня будут сын и дочь. Ты сейчас поедешь в наш дом, и пусть он станет твоим домом, пока не вернется мой сын, и тогда вы сможете любить друг друга. Я же удовольствуюсь той малой толикой любви, что останется на мою долю.

Аранка не верила своим ушам:

– О госпожа, то что вы говорите, слишком хорошо, словно чудесный сон. Я не могу поверить, что из праха можно так вот сразу вознестись в рай.

– Ты права, – со вздохом сказала графиня. – Мое лицо кажется тебе холодным, я говорила ужасные слова. Как можешь ты поверить, что я хочу сделать тебя счастливой? Кто вообще может поверить, что я, которую все считают бездушной, как статуя, способна питать к кому-либо теплые чувства? Да, ты права. Но я попробую разубедить тебя и успокоюсь лишь тогда, когда ты признаешь себя побежденной. Сядь рядом.

Графиня почти насильно усадила рядом с собой на тахту девушку и достала из-за лифа письмо.

– Смотри. Сегодня я получила это письмо из России, от сына, которого я вызвала домой. Письмо пришло с дороги. У меня достало воли не вскрывать его, а принести, тебе, чтобы ты сама разрешила конверт и прочла, что он пишет. Надо ли говорить, что я пережила за эти часы?

Аранка наклонила голову и прижалась губами к руке графини.

– Ну же, скорее бери письмо и прочти его мне. Ты узнаешь его почерк?

Графиня показала адрес на запечатанном конверте. Аранка взяла письмо в руки, и вдруг благодарная, радостная улыбка сошла с ее лица. Робко подняв голову, она удивленно уставилась расширенными глазами на госпожу Барадлаи.

– Что с тобой?

– Это не его почерк, – пролепетала девушка.

– Как так не его! Покажи. Уж я-то знаю почерк своего сына. Вот это «а» точно его! Он всегда пишет с нажимом: сразу виден мужской характер. Это...

– Искусная подделка... – прошептала девушка.

– Читай, читай: «A ma très adorable mere».^[29] Так может писать только сын. Вот почтовый штемпель – «Орша». Это в центре России. Ты понимаешь по-французски?

– Да.

– Кто тебя учил?

– Сама выучилась.

– Вскрой же скорей письмо, и ты убедишься, что это писал он. Вот печатка на сургуче с его гербом, видишь?

– Разрешите? – молвила девушка, и ее пальцы слегка дрожали, когда маленькими ножницами она осторожно, чтобы не испортить печати, разрешила конверт по краям и вынула наконец письмо.

Лучом радости озарилось ее лицо, едва она увидела первую строку.

– Вот это действительно его почерк! «Дорогая мамочка!»

– Ну, вот видишь?

Но через секунду лицо девушки стало еще тревожнее и серьезнее, чем раньше. Радость сменилась печалью на ее лице так же стремительно, как меняется весной вид местности, когда северный ветер нагоняет снежные тучи».

– Что? Да говори же!

– Только эти два слова и написаны его рукой остальное писал кто-то другой и к тому же по-французски.

– Другой? Умоляю, читай скорее!

Листок дрожал в пальцах Аранки.

– «Сударыня! Простите за то, что я ввел Вас в обман, подделав руку Вашего сына на конверте. Я совершил это, чтобы не испугать Вас, и меня сошлют на галеры, если Вы меня выдадите. Мой друг Эден хотел сам написать письмо, но после первых же слов перо выпало из его рук: он потерял сознание.

Не пугайтесь: Эден был в опасности, но теперь все уже позади. Через две-три недели он настолько поправится, что сможет продолжать путь».

– Он был в опасности? – воскликнула графиня. – О, читай дальше, молю!

Несмотря на ужасное беспокойство, овладевшее госпожой Барадлаи, от ее внимания не укрылось волнение девушки. Бедняжке пришлось собрать все свои душевные силы, чтобы продолжать чтение.

– «Опишу Вам по порядку, без утайки, как все произошло. Едва Эден получил Ваше письмо, в котором Вы звали его домой, он все бросил – и царский двор, и ожидаемую награду, и развлечения. Тщетно уговаривал я его остаться. Он отвечал мне одно: «Меня зовет мать, я еду».

Прочитав эти строки, Аранка украдкой бросила на графиню взгляд, полный признательности и глубокого чувства.

– «Когда я увидел, что не в силах удержать его, я решил ехать с ним; проводить его до границы. Лучше бы я этого не делал!

Быть может, тогда, под Смоленском, Эдена не отпустили бы в пургу, и ему не пришлось бы спастись от волков, не понадобилось бы два часа бежать на коньках по днепровскому льду.

Я хочу Вам сказать, сударыня, что Эден – чудесный малый. Когда мы спасались от волков, у меня соскочил с ноги конек, и я оказался совершенно беспомощным; он один вступил в бой с нашими преследователями и защищал меня от хищников пистолетом и кинжалом: он убил четырех волков; я обязан ему жизнью».

От этих похвал на лице матери зажегся горделивый румянец. Но от ее взгляда не ускользнула перемена на лице Аранки, которая, чем дальше читала письмо, тем больше проявляла волнения. Ее губы посинели. Как видно, любовь девушки была иной, чем любовь матери. Арапку приводило в ужас геройство любимого в то время, как спартанка-мать испытывала восхищение и гордость за сына.

– «Затем мы снова продолжали наш бег, это было нелегко. За нами гналась стая не меньше, чем в двести волков!»

– О небо! – испуганно вскричала мать. Теперь и она потеряла самообладание.

Аранка читала быстро, почти скороговоркой, но перед глазами у нее стоял туман, а голос то и дело прерывался.

– «Спасение было уже близко, вдали показался сторожевой казачий пост, как вдруг, скользя по льду Днепра, мы наткнулись на проруби, сделанные рыбаками для лова рыбы. Мы не заметили одной из них, покрытой тонкой коркой свежего льда, и в мгновение ока провалились в нее, погрузились под ледяной покров»,

– Боже милосердный! – ужаснулась госпожа Барадлаи.

Аранка молчала; она запрокинула голову, глаза ее померкли. Лицо покрылось мертвенной бледностью. Руки судорожно сжимали листок. Она дрожала как в лихорадке. Боль застыла во взгляде.

Обняв бедную девушку, графиня гладила ее по лицу.

– Приди в себя, милая. Гляди, ты оказывается, слабее меня. Ведь я

мать, и тревожусь не меньше тебя.

Слезы показались на глазах Аранки. Они растопили страх, сковавший ее сердце. Госпожа Барадлаи прижала девушку к своей груди.

– Не плачь. Дай письмо, теперь я буду читать. Видишь, я ведь не плачу. Долго я училась тому, как надо сдерживать слезы, когда тебе больно, и в совершенстве постигла это искусство. Послушаем, что он пишет дальше.

С этими словами она крепко обняла девушку и, держа письмо таким образом, чтобы его можно было видеть сразу обеим, сказала:

– Давай читать вместе:

«Меня хранил амулет, полученный от матери. Перед нашим отправлением в дорогу я предлагал его Эдену, Это – чудесный амулет, он оберегает от пуль, от волков, от воды, от дурного глаза и болезней. Но мой друг отказался. Он сказал мне, что его хранят от всех бед звезды, и эти звезды не что иное, как любящие женские очи! Когда рыбаки вытащили нас на берег, я не мог удержаться и спросил: «Светят ли еще тебе твои звезды?» Улыбнувшись, он ответил: «Все четыре!» (При этих словах обе женщины одновременно почувствовали, как ток пробежал по их телам: в их душах согласно зазвучали одни и те же струны.) Вскоре у Эдена началась горячка, которая, по счастью, сейчас уже прошла. Я не отхожу от него ни ночью, ни днем. Над его головой по-прежнему ярко сияют спасительные звезды. Сегодня он пытался собраться с силами, чтобы написать Вам письмо, ко, как видите, это ему не удалось. Пришлось продолжать мне. Но пусть это Вас не волнует, милостивая государыня, ибо опасность уже миновала. Недели через две мы продолжим свой путь. До той поры я лишь прошу, чтобы звезды Эдена не слишком много проливали по нему слез, ибо звездные слезы превращаются здесь, в России, в снег, которого на нашем пути и без того достаточно.

Леонид Рамиров»

Две пары звезд скрестились. И в лучах, струившихся из очей обеих женщин, уже не было слез: они сияли небесной радостью.

Госпожа Барадлаи притянула к себе голову Аранки и, поцеловав ее в лоб, нежно прошептала:

– Дочь моя!

Девушка упала к ее ногам, обняла колени, положила на них пылающее лицо свое, но не вымолвила ни слова. Однако это немое признание было

полно глубокого, тайного смысла для всякого, кто способен читать в сердцах людей.

Рука графини покоилась на голове девушки...

Час спустя, к великому удивлению всех жителей деревни, дочь сельского священника, усевшись в фамильную карету Барадлаи рядом с графиней, покидала свое скромное жилище. Обе женщины светло улыбались и оживленно беседовали – ведь у них теперь было немало общих тем.

При виде этого необъяснимого зрелища жена сельского нотариуса немедленно надавала подзатыльников двум своим шалопаям-сыновьям, наказав одному: «Беги за каретой, узнай, куда едут!» – а другому: «Разузнай, что делается в доме священника!» Вскоре мальчишки примчались обратно: первый сообщил, что карета въехала в господский двор, и госпожа Барадлаи обняла барышню, когда они слезли у парадного входа, да так и не снимала руки с ее плеча, пока они поднимались по ступенькам; второй, задыхаясь, выпалил, что церковный служка и сторож говорят, будто дом священника поручено охранять теперь им, так как барышня, мол, отныне будет постоянно жить в замке.

При этих словах тетушка Салмаш выронила из рук корзину, в которой сидела клуша, и, всплеснув руками, воскликнула:

– Вот бы видел это покойный хозяин!

Подчеркнутые строки

С тех пор не проходило дня, чтобы тетушка Салмаш спозаранку не слетала бы в замок – разузнать последние новости.

Был у нее там добрый знакомый – старик дворецкий, который рассказывал ей обычно обо всем, что творилось в господском доме.

Почтенный Мартон Бако и в самом деле никогда не оставлял без ответа ни один вопрос тетушки Салмаш; но вместе с тем он присвоил себе исключительное право говорить нечто прямо противоположное тому, что происходило в действительности. Его сведения весьма существенно отклонялись от истины, больше того, – они зачастую были далеки даже от сколько-нибудь правдоподобного поэтического вымысла; однако почтенный Мартон Бако втолковывал их тетушке Салмаш с такой невозмутимой, серьезностью, что ей даже в голову не приходило усомниться в услышанном.

– Как поживает наша душенька барышня Арапка? – спрашивала, к примеру, жена нотариуса.

– Не знаю. Ночью ее увезли в Вену, – отвечал почтенный Бако.

– В Вену? Зачем же это повезли ее туда?

– На ней женится важный барин.

– Какой такой барин?

– Какой-то секретарь, агент или референт!

– Ах, боже правый! Молодой?

– Лет шестидесяти шести, что ли.

– Да, ничего не скажешь – в годах. И зачем только выходит бедняжка за такого старика?

– А затем, чтобы освободить с помощью этого барина своего отца.

– Стало быть, его преподобие и в самом деле осужден?

– На галеры!

– Святая Мария! Что ж там с ним будет?

– А вот начнут переправлять галеры из Европы в Америку, так он станет канат тянуть.

– Вот уж впрямь страшное наказание!

– Что и говорить!

Почтенный Мартон Бако, как мы уже заметили, преподносил все эти новости с серьезным выражением лица, и тетушка Салмаш готова была поклясться, что каждое его слово – святая правда.

Однажды утром она нагрязнула к доброму кастеляну с вопросом:

– Правда, что вы гостей ждете?

– Ждем. Вам-то откуда известно?

– Сегодня утром я по привычке гляжу на замок и вдруг вижу – в правом крыле все трубы дымят: топят, значит, в тех комнатах, где прежде не топили. Видать, ждут кого-то. Кого же, а?

На сей раз дворецкий сказал чистую правду:

– Молодой барин сегодня приезжает.

– Какой же? Ведь их у вас трое.

У дворецкого и на это был готов ответ:

– Гвардеец.

– Гвардеец? Нешто ему позволено оставлять короля?

– Король на это время другого к себе берет.

– Стало быть, это гвардеец приедет? Интересно, каким образом он сюда явится?

– Натурально, верхом.

– Верхом? А какая у него лошадь?

– Белая, как снег.

– А одет он во что?

– Мундир сплошь кармазиновый, с золотыми позументами, соболья шапка с пером и плащ из леопардовой шкуры.

– Из леопардовой? Господи боже! В жизни не видала еще леопарда.

Выслушав эту новость, тетушка Салмаш пустилась бегом по деревне.

В тот день в замке действительно ждали гостя.

От Эдена прибыло письмо, написанное им теперь уже собственноручно и отправленное из Лемберга.^[30] В письме, доставленном посланным вперед гонцом, он уведомлял мать о дне своего приезда.

После обеда госпожа Барадлаи велела запрячь дорожную карету и поехала встречать сына на последнем перегоне.

Она отправилась одна, не взяв с собой никого из домашних.

В Суньогоше, на станции, она дождалась сына. Эден прибыл точно в назначенный час, когда едва начало смеркаться.

Встреча была нежной и трогательной.

– Если бы ты только знал, как меня напугали твои дорожные злоключения!

– Все уже позади, мама. Наконец-то мы свиделись, – ответил юноша, целуя мать.

Они не стали терять времени; Эден пересел в карету матери, и лошади быстро помчали их в Немешдомб.

Еще засветло они достигли деревни.

Над садами возвышался крутой холм, с которого была видна вся алфельдская равнина; у подножья холма росли сосны, сквозь их темную зелень проглядывало серое здание из мрамора, построенное в египетском стиле? в лучах заходящего солнца стены его отливали золотом.

Эден остановил карету.

– Мама, давайте сойдем.

Госпожа Барадлаи поняла сына. Они вышли из кареты.

Эден подал матери руку и молча повел ее к сосняку на холме.

У подножья его, в стороне от мраморного портала, приютилась маленькая хижина. То было жилище сторожа, охранявшего семейный склеп Барадлаи. Эден позвал старика.

Сторож появился со связкой ключей, отпер одну за другой две двери, одна из которых была из массивного железа, а другая – из чугунного ажурного литья; он зажег фонарь и проводил мать и сына по ступенькам внутрь склепа.

В полутьме подземелья сторож показал им недавно замурованную нишу, возле которой на мраморной доске сияли выгравированные золотом ордена, расположенные в ряд под дворянским гербом. Тут почивал человек с каменным сердцем, набальзамированное тело которого даже после его смерти не превратилось в прах.

Мать и сын, держась за руки, стояли в склепе, испытывая одни и те же чувства: можно было подумать, что каждая капля крови сына, прежде чем совершить свой круговорот, невидимо проходит через сердце матери. Оба они думали об усопшем и мысленно обращали к нему одни и те же слова. Затем они обняли друг друга и возвратились в мир живых.

В замке Эдена встретили знакомые лица. Старые слуги, старый дворецкий, как всегда, отвешивали поклоны, только, пожалуй, еще более низкие. Ведь отныне молодой барин уже вступал в права главы семьи.

В лице матери Эден не нашел никаких изменений. Она казалась такой же холодной и печальной, как тогда, когда он видел ее в последний раз. Для нее траур начался уже давным-давно, лишь черное платье она надела недавно.

Госпожа Барадлаи и теперь разговаривала с сыном все тем же холодным, бесстрастным тоном, казалось, за стеной все еще находился безжалостный судья, взвешивавший каждое ее слово и выносивший строгий приговор за проявление малейшей чувствительности.

Когда Эден, сменив дорожное платье, снова спустился в зал, мать повела его на отцовскую половину дома.

– Отныне эти комнаты – в твоём распоряжении. Ты должен принимать людей, которые будут приезжать с визитами. Ведь тебе известно, что наш дом посещает много гостей. Узнав о твоём прибытии, они непременно поспешат сюда. Теперь ты здесь хозяин.

– Как тебе угодно, мама.

– Мы богаты, и наши дела должен вести мужчина. Хозяйство у нас большое и разнообразное; тебе надо будет привести его в порядок.

– Постараюсь, мама.

– Как старший сын и законный наследник, ты, разумеется, станешь опекуном своих братьев. Тебе следует умерять свои страсти и выказывать мудрое благоразумие. Твои братья – разные люди, они не похожи друг на друга, и ни один из них не походит на тебя: тебе следует изучить каждого из них.

– С вниманием и любовью примусь за это.

– Наш род пользуется немалой славой в комитате. Надо решить, какую должность ты займешь. Кого привлечешь к себе в помощники. Какую партию возглавишь.

– Я буду просить у тебя совета, мама.

– Ты здесь новый человек, все станут заискивать перед тобой, все будут пытаться проникнуть к тебе в душу. Ты должен думать, прежде чем говорить. Говорить, что чувствуешь, а если нельзя, то и промолчать. И ты должен решить, до каких пор молчать. И всегда ли молчать. Искать ли ответа на вопросы, которые возникнут в твоей душе, или не искать их. Возглавить людей или следовать за ними.

– Время научит меня этому, мама.

– Но времени у тебя мало. Через несколько дней сюда съедутся гости. Твой отец назначил собрание. Ни ты, ни я не знаем, какова его цель.

– Ты, верно, знаешь, мама.

– Почему ты так думаешь?

– Догадываюсь по тому, что ты спешно вызвала меня домой.

– А тебе самому не хотелось вернуться сюда?

– Получив твоё письмо, я в тот же час стал готовиться к отъезду.

– А ты не подумал о том, что как старший в роду Барадлаи, ты вправе занять наследственное кресло губернатора?

– Мне известно, что в этом кресле сидит сейчас господин администратор.

– Он занимает этот пост лишь потому, что старый губернатор был болен и не мог председательствовать. Но ты здоров, и стоит только захотеть, как этот пост перейдет к тебе.

Эден пристально взглянул в глаза матери.

– Мама, ты вызвала меня не ради этого.

– Да, сын мой. Была и другая причина. Ты сейчас узнаешь ее. В завещании твой отец пожелал, чтобы через шесть недель после его смерти я отдала свою руку господину администратору. На празднике, когда соберутся многочисленные гости, должно быть объявлено о помолвке.

– Преклоняюсь перед волей отца, – проговорил Эден, низко опустив голову.

– Твой отец хотел, чтобы у нашего дома была надежная опора – человек, способный выдержать то бремя, которое некогда нес он сам. Тебе известно, что бремя это – забота о стране.

– Да, матушка, это тяжелое бремя.

– И ты согласишься, чтобы мои рамена сломились под этой тяжестью, когда я возьму на себя это бремя?

– Если такова последняя воля отца... И, разумеется, если ты сама этого желаешь...

– Разве моя воля для тебя – закон?

– Ты хорошо знаешь, мама, что твоё желание для меня свято.

– Хорошо, я скажу тебе, какова моя воля. Дому Барадлаи нужны хозяин и хозяйка! Хозяин, который способен повелевать, и хозяйка, которая способна привлекать сердца.

– Да, мама, – согласился Эден, склонив голову.

– Этим хозяином будешь ты!

От изумления Эден вздрогнул.

– Да, ты будешь хозяином в этом доме, а твоя жена – хозяйкой в нем.

Эден тяжело вздохнул.

– Мама, ты знаешь, что это невозможно.

– Ты не намерен жениться?

– Никогда!

– Не говори так! Тебе всего двадцать четыре года. Кто знает, сколько тебе еще предстоит прожить? И все это время в твоём сердце будет звучать этот Леденящий возглас: «Никогда»?

– Мама, тебе хорошо известна причина моего отказа, – тихо произнес Эден. – Я научился страдать молча: это я унаследовал от отца и от тебя, мама. Я не жалею, Я молчу. Ты то знаешь, что такое молчать! Молчать долгие годы! Я не могу никого любить, за исключением моей доброй матери. Я готов страдать и дальше. Так мы и состаримся вдвоем. Вдова и её сын-отшельник.

Госпожа Барадлаи рассмеялась, выслушав эту грустную тираду.

– Какой же ты фантазер, Эден. Из тебя не получится картезианский монах. Мир полон красавиц, достойных любви. И ты найдешь себе девушку по душе.

– Ты же знаешь, что нет!

– А если я сама уже нашла ее для тебя?

– Напрасно, мама.

– Не спеши, – отвечала вдова, нежно прижимая к себе сына. – Кто решится вынести приговор, не видя ответчика? Берешься быть судьей, даже не выслушав обвиняемого!

– Мама, я сам обвиняемый, приговоренный к вечной муке.

– А между тем та, кого я для тебя выбрала, писаная красавица, умница и любит тебя!

– Да если бы она была даже наделена красотой феи и добротой ангела, если бы у нее было такое же бесценное сердце, как у тебя, – далее тогда я отказался бы от нее.

– О, не давай таких страшных зарок! Право же, пожалеешь! Вот увидишь, еще возьмешь свои слова обратно! По крайней мере взгляни хоть на ее портрет. Он у меня в той комнате.

– Он меня не интересуется.

– Это мы сейчас увидим.

Взяв сына под руку, мать повела его в соседнюю комнату и, распахнув перед ним дверь, пропустила вперед.

И там Эден увидел Аранку, трепетавшую от счастья: она слышала весь их разговор.

Существовала ли в мире сила, способная помешать' двум этим любящим сердцам соединиться? Могли ли влюбленные сдержать слезы радости? Могли ли их уста не слиться в горячем поцелуе?

– О моя любимая!..

– О мой единственный!..

Госпожа Барадлаи взяла обоих за руки и шепнула Эдену:

– Ну, теперь-то ты веришь, что в доме будет хозяин и хозяйка?

И счастливый Эден также шепотом ответил ей:

– Верю!

Влюбленные осыпали поцелуями лицо, руки и плечи своей матери.

А госпожа Барадлаи, молча и пристально глядела на портрет в массивной позолоченной раме, висевший рядом с ее девичьим портретом. Обращаясь к человеку, надменно взиравшему на нее со стены, она едва слышно проговорила:

– Ты видишь, как они счастливы? Неужели твое окаменевшее сердце

не забилося бы при виде этой дивной картины? Разве я неправильно сделала, поступив наперекор твоим словам? Придешь ты в первую брачную ночь благословить молодых или проклясть их? Ответ же, непреклонный человек с каменным сердцем!

Но человек с каменным сердцем продолжал все так же надменно взирать на них из золоченой рамы.

Влюбленные не замечали этого.

Печальная вдова, неслышно ступая, вышла из комнаты, оставив их наедине; им о многом надо было поговорить друг с другом.

Придя к себе, госпожа Барадлаи достала из кожаной папки завещание, которое, умирая, продиктовал ей супруг, и красным карандашом подчеркнула строки, касавшиеся событий этого дня.

Пока все шло хорошо!..

День помолвки

Ни для кого не было тайной, что в семье Барадлаи ровно через шесть недель после похорон должна была состояться помолвка. Все говорили о новом хозяине, чье имя будет отныне носить этот дом.

В тот день из ближних и дальних мест съезжались гости, приглашенные от имени сиятельной вдовы, разумеется, просто на семейный праздник.

Уже с утра во двор замка одна за другой прибывали кареты и коляски, парадные выезды и простые упряжки; на сей раз они доставляли сюда не только представителей сильного пола, нет – господа приезжали с женами и даже с дочерьми.

Право же, барышень понаехало пропасть!

Весть о том, что молодой Барадлаи вернулся домой из-за границы без кольца на руке, быстро разнослась далеко окрест. Ничего не скажешь, – благородный зверь! На него стоило устроить облаву.

Среди прочих господ прибыл на праздник и господин Зебулон Таллероши. Но на этот раз он явился перед светом с помпой, приличествующей его положению.

Его старая карста была обтянута свежей кожей, и на дверцах красовался фамильный герб Таллероши. Экипаж был запряжен четверкой лошадей, правда одну пристяжную взяли из выбракованных солдатских коней, а вторая немного прихрамывала, в то время как подседельная семенила, а при взгляде на коренную ясно было видно, что она прежде ходила в пристяжке; и тем не менее этот выезд выглядел вполне парадно, и четверка коней Зебулона так же звенела бубенцами, как любой другой господский выезд.

Рядом с кучером восседал гайдук. Правда, ливреи на том и другом были разные, но обе щедро расшиты шнурами. На гайдуке сверкала красная гусарская шапка, весьма поднимавшая хозяйский престиж. Жаль только, что кучеру не удалось наклеить такие же усы, как у других господских кучеров; они бы как нельзя лучше подошли к его украшенной длинными лентами шляпе.

Зебулон приехал не один. Он привез с собой одну из своих дочерей: довольно пригожую, хотя несколько долговязую девицу. К тому же она слишком сильно затягивалась в корсет и беспрестанно грызла сырые кофейные зерна, чтобы согнать румянец с лица.

Достопочтенный господин Таллероши вышел нынче из экипажа не в шубе, а в новом сюртуке из тонкого касторового сукна; высоко поднятый воротник этого сюртука мог создать славу любому деревенскому портному. Барышня была в шелковой накидке и в ярко-зеленой шляпке.

– Эй, Янош, слышите, Янош, – обратился Зебулон к гайдуку, которому дома все говорили «ты», – осторожно снимите все с кареты: не уроните сундучок, слышите? В нем шелковая одежда. И смотрите у меня, Янош, ничего не поломайте, а то в морду получишь... то бишь получите. Эй, Карика, где у тебя торба, или, как его... ридикюль. Гляди, не потеряй: там драгоценности.

Вдруг послышался громкий стук копыт и звон упряжи: это ехал он, герой торжества, Ридегвари. Ехал в новой, словно только что изготовленной карете, запряженной пятью чистокровными рысаками. Ведь денег у него хватало! Сколько хотел, столько и тратил на «представительство»! На козлах с кучером восседал настоящий гусар, он спрыгнул, чтобы распахнуть дверцы кареты, подставил плечо его высокопревосходительству, чтобы тот с должной торжественностью мог ступить с подножки на землю.

Читатель не поверил бы нам, если бы мы вздумали утверждать, что не Зебулон первым приветствовал его высокопревосходительство, как только тот вышел из кареты.

– Добро пожаловать, твое высокопревосходительство! Да здравствует, виват и прочее! Мы вот тоже только что прибыли: вон выпрягают четверку моих лошадей. Я даже с дочкой прикатил на праздник. Радость-то какая! Где ты, Карика? Это – моя старшая дочь. Как видишь, еще не старушка. Ей и двадцати нет, вот-те крест. «Quod est autheniicum»,^[31] как говорят французы. Ах ты, черт, забыл, как ее полное имя! Странно зовут моих дочерей, никак не могу запомнить. В их именах заключен что называется, «historicum datum»: ^[32] сразу легко вспомнить когда что происходило. Моя жена весьма просвещенная особа. Страсть как начитана! У нее в руках вечно торчит газета. В ту пору, когда родилась наша старшая дочка, па весь мир гремела греческая амазонка: изволишь знать, дочь капитана Спатара, по имени Кариклея. Большая знаменитость! Та самая, что на своем утлом суденышке продырявила турецкие корабли. В ее-то честь жена моя и нарекла нашу первую дочь Кариклеей.

Вторую дочь окрестили Каролиной Пиа: если помните, в ту пору его величество вступил в брак, и мы, значит, в честь его супруги и назвали дочь. Третья дочь – Адалгиса: тогда впервые ставили «Норму»^[33] в

пештском театре; моя жена присутствовала на спектакле, в ложе сидела. Когда четвертая дочь родилась, весь мир с ума сходил по тому Палацкому, [34] изволишь помнить? Ну, и до нас доходили о нем кое-какие слухи; вот мы и прозвали четвертую дочь Либушей. Потом я об этом немало жалел, но что поделаешь, назад не воротишь. А чтобы доказать свой искренний патриотизм, последнюю дочь мы назвали настоящим венгерским именем: Бендегузелла, в память известного предводителя древних мадьяр. [35]

– Выходит – пять дочерей, дядюшка Зебулон? – с улыбкой спросил господин администратор.

– Нет, вроде бы шесть. Или пять? Я уж и сам не знаю. Сколько вас всех дома, Карика? Всего пять? А как расщумитесь, мне сдается, что вас целых семь!

Барышня Кариклея во время рассказа своего батюшки старалась держаться в сторонке. Зебулон, поднимаясь по лестнице, успел пожаловаться господину администратору, на то, что, дескать, дочери доставляют ему уйму забот, особенно потому, что трех из них уже пора вывозить на балы и выдавать замуж; к тому же его почтенная супруга не может выезжать с ними, так как страдает мигренью, и отцу самому приходится бывать повсюду, где только можно показывать взрослых дочерей.

В вестибюле они расстались. Ключник и камердинер указали каждому отведенное для него помещение.

Господин администратор обычно занимал в доме Барадлаи три комнаты. В передней его уже ожидали посетители.

Первым он пригласил к себе Михая Салмаша, пользовавшегося особой привилегией – развлекать его в высокопревосходительство свежими сплетнями, пока тот переодевался в своей спальне.

– Ну-с, каковы последние новости, Салмаш? – весело спросил важный господин у своего верного осведомителя.

– Самое достопримечательное событие, ваше высокопревосходительство, это возвращение молодого барина Эдена из России.

– Это я уже знаю. Его вызвали или он приехал сам?

– Кто-то известил его, что старый господин умер, и теперь, мол, «можно миловаться»!

– Да, это наверняка сделала девчонка. Что известно о ней?

– Она уже не девчонка, она уже просватана.

– Что ты болтаешь?

– Она обручена, – таинственно прошептал Салмаш. – Знаю из вторых рук, но сведения вполне надежные. Графине Барадлаи удалось уговорить девицу. Опасность, угрожавшая священнику, тронула дочернее сердце, а госпожа к тому же щедро ее вознаградила. В конце концов барышня решила выйти замуж за венского референта, который сумеет замять дело по обвинению ее отца в оскорблении высочайших особ. Референт получит много денег, а дочь добудет свободу для отца. Дело уже слажено. Барышню отправили в Вену, а старый священник, как мне доподлинно известно, – ибо я видел это своими глазами, – прошлой ночью вернулся домой. Все это я узнал из верных источников.

– А как молодой барии? Злится?

– Этого пока не могу сказать: с тех пор как господин Эден вернулся домой, он не покидает своей комнаты. Никого из слуг к себе не допускает, всех, кто осмеливается спросить о чем-нибудь, выпроваживает без всяких церемоний.

– Занемог, видно, с горя. Ну, да ничего, мы его вылечим. А вдова как?

– Кажется довольной и веселой.

– Что ж! Я ее понимаю.

Беседуя таким образом, господин Ридегвари сменил свое пыльное дорожное платье на черную парадную пару. Он был совершенно уверен в счастливом исходе дела и прошел поэтому прямо в гербовый зал в сопровождении свиты льстецов и угодников, среди которых немаловажную роль играл почтенный Михай Салмаш.

В дверях гербового зала его превосходительство снова столкнулся с Зебулоном Таллероши, который с крайним изумлением сказал:

– Дорогой друг, твое превосходительство, что-то здесь уж очень много незнакомых образин.

– Это вполне возможно, – ответил господин администратор.

– Вернее, не столько незнакомых, сколько чересчур знакомых и притом весьма противных.

– Не понимаю тебя, Зебулон! – засмеялся Ридегвари.

– Что там понимать! – рассердился Зебулон. – Оглянись лучше по сторонам. Повсюду наталкиваешься на враждебные физиономии. Что сюда привело этих чужаков?

Его превосходительство нашел, что это замечание Таллероши действительно заслуживает внимания. Тем не менее он сказал:

– В этом нет ничего необычного. Представители всех партий комитата стремятся выразить свое почтение молодому наследнику губернаторского кресла. Этому требует долг приличия. Пусть себе выказывают почтение. И

тут совершенно нечему изумляться.

Правда, господин администратор предпочел бы не встречаться в этом доме со своим заклятым врагом по зеленому столу,^[36] куриальным судьей Торманди; но что поделаешь, – губернаторская резиденция открыта для каждого дворянина, и каждый имеет право являться сюда в дни приемов. В конце концов большинство везде остается большинством.

– Что ж, мы и на этот раз их не испугаемся, дружище Зебулон!

Зебулон расправил плечи и выпятил грудь, густо усеянную фальшивыми гранатовыми пуговицами.

– Верно сказано! Пусть только Торманди попробует!.. Кулаки и у меня есть! Как дам...

По не успел он сказать, что именно собирается «дать», как слова застряли у него в горле, будто какое-то привидение внезапно схватило его за язык...

– Ах... погляди!.. – простонал он при виде человека, входившего в зал с другого конца.

То был опальный священник, отец Аранки.

Зебулон Таллероши готов был поверить в то, что сейчас появится и сам воскресший Фелициан Зач^[37] с саблей в руке и потребует свою похищенную дочь, сокрушая каждого, кто попадетс я ему на пути.

Ему казалось, что непокорный поп движется прямо на него.

Зебулон чувствовал тяжесть своей вины. Ему вспомнилось, что все те муки и страдания, которым подвергся этот поп, зародились сначала в его, Зебулона, голове. Ведь это он накликал на него злую беду! Теперь, когда они оказались друг против друга, какая-то неведомая сила вдруг заставила Таллероши подобострастно улыбнуться и схватить руку этого ужасного человека.

– Покорнейший слуга вашего преподобия! Как ваше драгоценное здоровье?

И священник не выхватил из-за пояса спрятанный кинжал, не вырвал свою руку из рук Зебулона, а напротив, ответил на рукопожатие и произнес:

– Благодарствую за заботу, милостивый государь. Как видите, здравствую по-прежнему.

Разумеется, Зебулон не преминул выразить свою радость. Но он не доверял священнику, который оглядывал зал своим орлиным взором. Верно, высматривает очередную жертву, выискивает, кого бы прикончить! Иначе бы он не нагрянул сюда в этот праздничный день, когда собралось столь блестящее общество. Не мешало бы учредить за ним строгий надзор

и не давать ему воли.

– Что так долго отсутствовали, ваше преподобие? Слышал, будто вы и в Вене побывали.

– Побывал.

– Неприятности какие?

– Почему неприятности? Напротив, я там недурно провел время.

Зебулона передернуло. Священник явно притворился, и это не предвещало ничего хорошего.

– Вас там никто не обижал?

– Напротив, скорее уж были слишком вежливы.

«Гм... подозрительная кротость!» – решил Зебулон.

– А как барышня Аранка? Правда ли, что она уже невеста и скоро выходит замуж?

От такого вопроса старику уж не отвертеться!

– Правда, – невозмутимо ответил священник, к величайшему изумлению Зебулона и других, прислушивавшихся к разговору гостей.

– И вы довольны женихом, ваше преподобие?

– Весьма и весьма доволен.

Зебулон затряс головой. Он все еще пожимал руку священнику и, как видно, не думал выпускать ее, но тух старик на прощанье так стиснул ладонь своего уважаемого собеседника, что тот, с шумом вобрав в себя воздух, подскочил на месте.

– Благослови вас бог, сударь, – сказал священник.

«А тебя пусть сам черт благословит!» – проворчал ему вслед Зебулон, дую на слипшиеся пальцы. Спасибо, еще кровь не выступила из-под ногтей!

– Ну, о чем рассказывал поп? – поинтересовался Ридегвари, когда Зебулон подошел к нему.

– Этого простофилю, видно, научили уму-разуму. Он теперь стал что-то уж слишком умен.

В углах рта господина Ридегвари змеилась хитрая улыбка; он многозначительно заметил:

– Оттуда, где он побывал, люди обычно возвращаются поумневшими.

– Все это так, но он, видно, доволен судьбой своей дочери!

– Деньги делают свое дело. Пойдем, нас ждут шафера.

– Кто сват с твоей стороны, дружище?

– Его сиятельство граф Пал Галфалви.

– Ого, я его очень хорошо знаю. Отменный сочинитель. Поздравляю от души. Вон он, гляди!

Ридегвари и Зебулон двинулись через весь заполненный гостями зал к

человеку в парадном мундире.

Гости по-разному вели себя при виде Ридегвари: одни глубоким поклоном приветствовали его, другие, – отворачивались в сторону, либо смотрели поверх его головы, когда он проходил мимо. Ридегвари недоумевал, зачем его недоброжелателям понадобилось приезжать сегодня сюда. Зато Зебулона повсюду встречали улыбающиеся Физиономии. Он мог воочию убедиться, как его жалуют!

– Я нигде не вижу свою дочь, Карику. Ей давно уже пора было переодеться! – забеспокоился Зебулон.

– Разве ты не замечаешь, что в зале вообще нет дам. Они все – на половине хозяйки, и будут сопровождать ее во время торжества.

– Стало быть, ожидается целая церемония?

– Как принято. Сват жениха обратится к свату невесты, сват невесты ответит ему. После утвердительного ответа распахнутся створчатые двери главного зала, и невеста в сопровождении дам выйдет к гостям, Затем начнется пиршество.

– Да, это, конечно, будет весьма торжественно.

Наконец почтенные господа приблизились к графу Галфалви, свату со стороны жениха, обменялись рукопожатиями; все трое стали отпускать колкости по адресу комитатских куруцов, прибывшие сюда сегодня в таком количестве, словно специально для того, чтобы сыграть роль жертвенных животных на триумфе своего главного противника. Предвкушая близкую победу, господа комитатские заправила не слишком обращали внимание на главу оппозиции Торманди, который о чем-то горячо и с увлечением беседовал с его преподобием, достопочтенным Берталаном Ланги; их куда больше занимало то, почему не видно Эдена.

А между тем молодой хозяин дома в противоположном конце зала вел весьма конфиденциальную беседу с такими же, как и он, молодыми людьми. Но он, несомненно, подойдет сюда, к своему будущему отчиму, как только увидит его. Знает же он в конце концов, кому из них надлежит первым приветствовать другого.

Но знатных господ ожидал сюрприз: внезапно раздался хорошо всем знакомый звучный голос Торманди, который просил у «почтенного собрания» тишины.

– Что бы это могло означать?

– Господа, – прогремел густой бас комитатского оратора. – Всем нам хорошо известно, на какой радостный праздник мы собрались сюда. Этот дом вскоре засияет новым светом по милости избранного самим провидением нового главы семьи, – да ниспошлют ему небеса долгую

жизнь на благо нашей отчизны!

– А ведь он льстит! Покаялся, видно! – шепнул граф Галфалви на ухо администратору.

Господин Ридегвари нашел поведение Торманди вполне естественным.

– На него, видно, подействовал наш последний откровенный разговор! – ответил также шепотом администратор.

А оратор продолжал!

– Жених, которого провидение во цвете лет ставит во главе семьи...

«Это уж он хватил через край!» – подумал про себя господин Ридегвари.

– ...поручил мне быть его сватом...

– Что такое? – воскликнули в один голос трое наших господ и недоуменно переглянулись.

– ... и обратиться к почтенному свату невесты с вопросом: желает ли он скрепить предлагаемый союз и отдать руку невесты жениху?

Теперь и впрямь было чему изумляться.

Если Торманди выступает как сват жениха, то какая же роль остается на долю графа Галфалви?

И кто ответит свату жениха? Где сват невесты? Им должен был быть его преосвященство господин епископ, но он ведь еще не прибыл. Что за конфуз!

Но еще больше запуталось дело, когда в ответ на вопрос Торманди вперед выступил отец Берталан Ланги и торжественно провозгласил:

– То, что соединило небо, разъединит лишь могила. Да соединятся любящие сердца!

– Гляди-ка! Поп явно спятил! – вырвалось у оторопевшего Зебулона.

По в это мгновение последовала разгадка: двустворчатая дверь зала распахнулась, и показалась процессия дам. Впереди шла графиня Барадлаи, ведя за руку невесту. Торжественному собранию гостей предстала Аранка Ланги.

Волшебную картину являли собой эти две прекрасные женщины: мать жениха и невеста.

На графине было черное платье, вышитое сверкающим бисером, с длинным кружевным шлейфом; на ее голове переливалась огнями гранатовая диадема. На лице ее появилось нечто новое, светлое, чего никто еще никогда не видал, – улыбка.

И только теперь все постигли, как дивно хороша эта женщина с сияющим, точно солнце, лучистым взглядом; то была настоящая королева!

Невеста, которую она вела за руку, была в ниспадавшем до пят белом

платье, украшенном белыми гиацинтами; едва заметное смущение виднелось на ее нежном лице с прекрасными, полными любви глазами, оттененными длинными, как стрелы, ресницами. В каждом ее движении была очаровательная девичья грация. Обе женщины были ослепительно красивы, но каждая по-своему.

Гул изумления встретил вошедших, Все невольно устремились им навстречу.

У входа в зал стоял прелестный стол, украшенный мозаикой, на него был поставлен маленький золотой поднос, покрытый кружевным платком, К столу приблизились оба свата. К ним госпожа Барадлаи и подвела невесту, вложив руку Аранки в руку ее отца.

Эден стал рядом с Торманди.

Отец Бергалан снял кружевной платок с подноса. На нем лежали два простых обручальных кольца, уже не новые. Затем он надел одно кольцо на палец Эдена, другое – на палец Аранки и соединил их руки.

При этом не было произнесено ни единого слова: вся церемония была необыкновенно простой, но в этой безыскусственной простоте заключалось нечто столь возвышенное, что все присутствующие, не в силах сдержать свои чувства, словно по уговору разразились громкими криками «ура».

В атмосфере общего восторга и восхищения никто не обратил внимания, что мать жениха прошептала несколько слов на ухо своей будущей невестке, прижав ее при этом к груди и поцеловав в лоб. Никто не услышал и того, что отец Бергалан, обнимая своего будущего зятя, произнес:

– Владыка небесный да услышит молитвы, которые не по душе владыкам земным!

Далее Зебулон и тот поймал себя на том, что во все горло кричит вместе со всеми «Виват!»; он только тогда заметил свою оплошность, когда его взгляд встретился с разъяренным взглядом господина администратора. Зебулон перепугался. Ведь ему-то, во всяком случае, не следовало радоваться. Поняв свою оплошность, Зебулон поспешил исправить дело: он надумал прикинуться простачком.

– Стало быть, нынче будут две помолвки, – с простодушным видом проговорил он, обращаясь к Ридегвари.

Его высокопревосходительство вместо ответа повернулся к Зебулону спиной.

– Ведь это просто позор! – прошипел господин администратор, обращаясь к своему незадачливому свату.

– Нам немедленно следует покинуть этот дом, – высказал свое мнение

Галфалви.

– Этого ни в коем случае нельзя делать. Мы только все тем же холодным, бесстрастным тоном, казалось, за здесь и посмотреть, чем кончится вся эта... комедия.

Оба знатных господина протиснулись вперед, и Ридегвари одним из первых принес свои поздравления Эдену. Его неправильное лицо расплылось в любезной улыбке. Он изо всех сил делал вид, будто ничего не произошло, и старался, чтобы никто из присутствующих не заметил его негодования и досады и не вздумал бы смеяться над ним.

Однако смеялись над ним буквально все. А Торманди, приветствовавший администратора низким поклоном, даже сказал ему не без иронии:

– Посмотрите, ваше превосходительство, как прекрасна нынче вдова.

Его превосходительство лишь странно хмыкнул в ответ, а верный себе Зебулон не преминул пробормотать за его спиной:

– Воистину как невеста! Ой!

– Пардон! – отозвался Ридегвари.

– Он уже в третий раз наступает мне на мозоль, – пожаловался Зебулон некоторое время спустя Торманди.

– А ты отойди от него подальше, когда говоришь, – ответил тот.

За помолвкой последовал традиционный обед в столовой замка. Уже одно то, как были рассажены гости, говорило о многом. Во главе стола восседали рядом жених и невеста. По правую руку от Эдена занял место Берталан Ланги, рядом с Аранкой поместилась госпожа Барадлаи. Возле отца Берталана сидел его преосвященство, слева от графини Барадлаи – граф Галфалви; следующие места занимали администратор и Зебулон, затем – другие знакомые и незнакомые нам дамы и господа, каждый из которых хорошо усвоил разницу между воображаемым и подлинным рангом и положением.

Когда Зебулон увидел за столом свою дочь Кариклею, он только пробормотал: «Гляди-ка, и она здесь!» При этом Таллероши только теперь понял весь смысл свершившегося: зачем было его дочке навешивать на себя все свои побрякушки, коль скоро молодой Эден обручился с дочерью отца Берталана? Но потом он и это обстоятельство обратил себе в утешение: ведь у госпожи Барадлаи есть еще два сына, и для них послужит полезным примером поступок старшего брата, показавшего, что настоящему кавалеру не подобает смотреть на приданое невесты и на ее происхождение. Да, события того дня заронили в сердца многих тайно

вздыхавших девиц новую надежду!

Пир был в разгаре, когда начался своеобразный поединок-состязание в тостах, составляющий неотъемлемую и, пожалуй, самую характерную часть венгерского гостеприимства.

Это нелегкий вид борьбы. Нередко ее именуют «турниром тостов».

Соперники, которые сидят за одним столом и пьют из одних и тех же бутылок, должны превзойти друг друга в красноречии. Тост может относиться и к присутствующим и к отсутствующим лицам, но в ткань его непременно вплетаются самые острые и злободневные мотивы; тот, кто произносит такие тосты, прибегает к пафосу, каламбурам, библейским речениям и тому подобным красотам стиля. Вино развязывает языки и заставляет даже самых молчаливых упражняться в «риторике»; юношей оно делает смелыми, стариков – пылкими; в мгновение ока создаются два противоположных лагеря – «правый» и «левый», – которые стремятся побить друг друга меткими словечками, остроумными речами; за столом в таких случаях возникает атмосфера незлобивой вражды: лукавые фразы, шуточные замечания кончаются обычно дружным – звоном бокалов. И горе тому, кто вздумает обидеться!

Один Эден хранил молчание. Он помнил совет матери: «Думать, прежде чем говорить; говорить, что чувствуешь, а если нельзя, то и промолчать».

Вдруг в веселые тосты, звучавшие в зале, ворвались донесшиеся со двора ликующие клики.

Чем же иным, как не ликованием, молено назвать веселый шум, который создают несколько сот глоток, одновременно ревущих «ура»!

Должно быть, это приветствовали Эдена и его невесту селяне и дворовый люд.

Когда шум во дворе усилился, госпожа Барадлаи шепнула сыну:

– Это вам кричат. Выйди на балкон с невестой и скажи им несколько слов.

Эден тут же встал со своего места и подал руку Аранке.

А между тем громкое «ура» предназначалось вовсе не им.

То ликовали не деревенские жители и не приверженцы Барадлаи, а «солдаты личной гвардии» господина администратора.

Что же это была за гвардия?

Ее составляли двести отъявленных кутил – заблудшие сынки окрестных дворян, прощелыги, побывавшие в тюрьмах за поджоги, драки, конокрадство и другие «подвиги», хриплоголосые пьяницы, постоянно пребывающие во хмелю, любители выпить на даровщину, сутяги, некогда

промотавшие в пух и прах свои поместья и мечтавшие возвратить их; непутевые отпрыски порядочных родителей, о которых отцы и матери говорили не иначе, как с краской стыда на лице, тупоголовые «вечные студенты», различные проходимцы; заправилами этого спесивого сброда были сельский казуист и бывший церковный учитель, первый лодырь в округе. Вот из кого состояла так называемая «мобильная гвардия» господина администратора, которую он кружным путем возил на подводах по комитатским городам, запугивая малодушных, устраивая обструкции, заставляя голосовать вновь и вновь за удобные ему решения; иногда доходило даже до избиения отдельных непокорных депутатов сословного дворянского собрания. Обычно Ридегвари направлял свою «гвардию» вперед в качестве почетного эскорта, либо – толпы «местных жителей», якобы с восторгом встречавших своего повелителя. Однажды он даже отважился повезти их в Пешт и устроить там факельное шествие с музыкой в свою честь.

В тот день «гвардии» было приказано явиться на торжество в замок Барадлаи в вечерний час, с факелами для того, чтобы приветствовать знатного жениха и его сиятельную невесту.

Каждый «гвардеец» ежедневно получал за свою «работу» два форинта, не считая кормежки за счет хозяина.

На этот раз главный приспешник Ридегвари, почтенный господин Салмаш, распустил слух, что жених будет бросать деньги народу, а тут уж, как говорится, «кто проворен, тот и доволен».

Господин Ридегвари, потерпев полное фиаско, вспомнил правда с некоторым запозданием, что в программе торжества значилось еще и выступление его «гвардии». Однако он успокоил себя тем, что появление ее назначено на вечерний час, и у Салмаша, когда он узнает о случившемся, достанет, надо думать, ума, чтобы известить «гвардейцев» об отмене факельного шествия.

Но почтенный господин Салмаш на сей раз явно опростоволосился. Сельский нотариус, который в господском обществе чувствовал себя как-то неловко, проводив его превосходительство до дверей гербового зала, незаметно улизнул из замка и поспешил к славной компании своих собутельников, где он всегда был в «своей тарелке». Тем временем наемные гвардейцы господина Ридегвари завернули на хорошо знакомый им хутор управляющего именем, отделенный от замка небольшим парком. Управляющий привык к подобным визитам и не дожидаясь особых указаний. Ему были известны законы венгерского гостеприимства, и он открыл перед гостями двери огромного сарая, составил столы, вынес

скамейки, зарезал телку и овцу, открыл бочку вина, достал тарелки, подносы, ножи, вилки, ложки, не утруждая себя заботой считать количество поставленных и собранных приборов.

Ридегварские молодцы только и ждали почтенного господина Салмаша, чтобы приняться за пирушку. Зная, что его ждут друзья, господин Салмаш, ничтоже сумняшеся, улизнул из господского замка и ретировался на хутор, словно рак, который пятится в свой домик из ила. Там по крайней мере не надо будет ежиться под взглядами дам.

Итак, славная компания пребывала в превосходном расположении духа; тут тоже не ощущалось недостатка в пылких речах, с той лишь разницей, что приправой к ним был не пафос и не каламбуры, как у господ, а отборная ругань и проклятия. Главным предметом атак пирующих были опекуны юных девиц и чернильные души. Наконец, когда веселье забило через край, бывший певчий – учитель Матяш Коппанч достал из кармана специально сочиненную им к нынешним торжествам оду в честь высокочтимых жениха и невесты и громогласно прочел ее своим сотрапезникам, приведя их в полный восторг плоскими шутками, скабрзными выражениями и недвусмысленными намеками.

Сочинение это всем пришлось по вкусу, и тогда первый забияка и буян Герге Бокша, закатав рукава рубашки на испещренных шрамами руках, с силой ударил по столу и сказал:

– Слышишь, Салмаш, какой дурак выдумал, чтобы мы шли смотреть невесту при факелах. Такого не слышал даже мой прадед. Баб смотрят на свету. Не возражаю – с факелами так с факелами, – но пошли сейчас, пока светло, пока глаза еще видят. Что за радость пировать в этом сарае!

Все сборище единодушно завопило:

– Верно! Пошли сейчас, пока светло!

Тщетно доказывал Салмаш, что свою приветственную речь он написал в расчете на ночное время, что она полным-полна неподвижных звезд и стремительных комет, безмолвных ночей и вечернего звона. Ему велели тут же все переделать. А коли нужна копоть, так и быть, они зажгут факелы!

По счастью, среди них нашелся рассудительный человек, резонно заметивший, что несподручно идти к замку с зажженными факелами, ибо если станут бросать деньги, то, упаси бог, можно выжечь друг другу глаза.

Мысль эта показалась тем более разумной, что она служила лишним доводом в пользу того, чтобы отправиться к замку немедля, засветло. В самом деле, как в темноте разглядеть рассыпанные монеты!

Решение не мешкая идти к замку было встречено гулом одобрения. Пытавшегося что-то возразить Салмаша толпа, по древнему обычаю

мадьяр, подхватила на ноги и подняла на плечи. В числе тех, кто нес старика, был и Герге Бокша. Поднятый над головами, почтенный Салмаш мог теперь сколько угодно приводить доводы в пользу ночного, а не дневного шествия. Это мало кого трогало.

Салмаша пронесли на руках до самого замка, где веселая компания наконец остановилась, огласив окрестности громовым «ура». «Гвардейцы» просто кричали «ура», не называя имени виновника торжества. Для них и так все было ясно. Остальное должен был сказать за них Салмаш.

Салмаш приготовил длинную речь: если бы он вздумал размотать пергамент, на котором она была запечатлена, то свиток растянулся бы до сельской околицы. Но когда он увидел, что на ликующие крики подвыпившем братии вместо ожидаемого их покровителя вышел Эден под руку с одетой в белое платье дочерью местного священника, которая, по сведениям Салмаша, находилась в Вене и уже давно была обручена с каким-то подагрическим чинушей, – вся заученная речь разом выскочила у него из головы.

Он понял, что случилось непредвиденное: все пошло шиворот-навыворот. Самое умное, что ему оставалось сделать при создавшемся положении, – это поскорее убраться восвояси; но он по-прежнему продолжал восседать на плечах своих добровольных носильщиков, которые крепко держали его за ноги и не давали сбежать. Пьяной компании было теперь уже совершенно безразлично, кому кричать «ура». Более того, если вместо их шефа с квадратной рожей и матроны из замка им нужно приветствовать красивую молодую чету, – го дважды «виват!». И они вопили с еще большим рвением, чем прежде.

Когда наконец гул приветствий затих, пришло время Салмашу выразить в заготовленной им пышной речи обуревавшие толпу чувства.

Между тем в голове почтенного Салмаша царил полный кавардак; он не мог вспомнить ни одной из припасенных фраз. Ведь его речь предназначалась не для этой молодой пары, а изменить речь на ходу не представлялось никакой возможности. Наконец Салмаш вспомнил одну-единственную, вертевшуюся у него на языке начальную фразу. Ее-то он и выпалил, когда молчать дальше стало уже просто неприлично:

– Глубокоуважаемая, сиятельнейшая чета! Вы лицезрите перед собою дворян...

Тут Салмаш запнулся. Пришлось начать сызнава:

– ...вы лицезрите перед собою наше славное дворянство.

Новая заминка. Вобрав всей грудью воздух, Салмаш попытался продолжить речь:

– Здесь, пред вашими светлыми очами, вы зрите собравшуюся для поздравлений славную когорту благородных дворян.

Когда Салмаш снова остановился, один из тех, на чьих плечах он восседал, – Герге Бокша – не выдержал и прорычал:

– Послушай, Салмаш! Говори, а то сброшу...

Эта угроза окончательно лишила Салмаша дара речи.

Тогда в дело вмешался Эден, и, чтобы спасти положение, заговорил сам:

– Любезные соотечественники! Благодарю вас за поздравления от своего имени и от имени моей невесты. В людях я превыше всего ценю душевное благородство. Я – не оратор, мне больше по нраву те, кто действует. В ознаменование нынешнего счастливого дня я дарю вам пятьдесят тысяч форинтов...

Оглушительное «ура» встретило эти слова Эдена. Каждый машинально стал прикидывать в уме, сколько денег выпадает на его долю.

После того как буря восторга стихла, Эден продолжал:

– ...дарю вам пятьдесят тысяч форинтов на поддержание и развитие народных школ нашего комитата.

Гробовое молчание было ему ответом.

– Да будет благословение божье над нашей родиной и нацией!

После этих слов юная чета удалилась с балкона.

Даже слабое «виват» не послышалось им вслед.

– Гм! – недовольно хмыкнул Герге Бокша. – Вот, значит, как нынче ценят дворянство?

– Однако, – проворчал про себя почтенный Конпанч, – если станут развивать школы, то меня выставят за дверь.

– Кто же теперь заплатит нам дневное жалованье?

Только этот вопрос и волновал теперь каждого из присутствующих. Ответ на него должен был бы дать Михай Салмаш, но сельский нотариус исчез: и сколько его ни искали, найти так и не смогли. Попадись он теперь на глаза честной компании, ему бы несдобровать! Однако Салмаша и след простыл.

Тогда славная рать Ридегвари, вдребезги перебив всю посуду в доме управляющего, где она перед тем пиновала, и излив таким образом свой благородный гнев, с бранью уселась в повозки и укатила восвояси.

Некоторые из гостей также не пожелали оставаться в замке Барадлаи на ночь. Сторонники Ридегвари спешили покинуть поле проигранного сражения.

Их признанный вождь, господин администратор, перед тем как уехать,

простился с госпожой Барадлаи в следующих выражениях:

– Милостивая государыня! Сегодня я имел честь в последний раз быть гостем в доме Барадлаи. Еще утром я же поверил бы этому, даже если бы мне подсказал сие какой-нибудь ясновидец. Но знайте – во мне тоже живет дух ясновидения. Вы, милостивая государыня, вместе со своим сыном сошли с того пути, следовать которому вам завещал мой покойный друг и великий муж, о чем он сообщил мне перед своей кончиной еще до разговора с вами. Вы избрали противоположный путь. И вы еще вспомните, сударыня, мои слова. Избранный вами путь приведет вас к вершине, но называется эта вершина «эшафот».

Первая ступенька к ТОЙ вершине

– Легко вам, сударь, либералом-то быть, у вас три тысячи хольдов земли, а у меня всего три деревеньки там. (Возглас: «Где это там? На тех хольдах?») Не на тех хольдах, а в комитатах Шарош и Земплен; вот и все мое богатство. Дальше: коли освободим мы крепостных мужиков, что же, в таком разе, прикажете мне самому с пятью дочками землю пахать? Родись я мужиком, вовек бы не пожелал быть никем иным. Крестьянская жизнь – истинное удовольствие! Зачем же нам лишать мужиков этого удовольствия? Кто барин – тот барин, а кто не барин – тот и не барин. Разве кто виноват, что не все барями родились? К примеру, я вот не родился графом. Так я же не требую, чтобы каждый человек графом стал! Хотя сие для меня не меньшая обида, чем для мужика, то, что он – не дворянин. Подумаем лучше, к чему эта затея приведет? Вот скажем, для того, чтобы назначить чиновников или выбрать депутатов в дворянское собрание, какая уйма денег тратится на угощение людей благородного звания! Л что будет, если мы еще всем крестьянам дадим право голоса: да столько вина па всем свете не сыщешь! (Оживление среди «левых» и среди «правых».) Подумать только, что будет, если мужики получат право занимать чиновничьи места. Нас и сейчас по десять человек на одну должность приходится. А ведь по закону молодые люди не имеют права даже жениться, пока какой-либо должности не займут. У выступавшего передо мной оратора нет ни сыновей, ни дочерей, нет даже жены. А у меня их целых пять... нет, не жен, конечно, а дочерей. (Общее оживление в зале.) Вам, сударь, этого не понять! Эх! На вашем месте и я бы либералом мог заделаться! А потом, – это... как его... народное образование! Да на кой черт оно нам сдалось? Народ сам по себе вырастет и без вашего воспитания. Свет стоял уже и тогда, когда никто еще не умел ни писать, ни читать, окромя монахов. Сам государев наместник и тот вместо имени ставил на сургуче, скреплявшем указы, отпечаток рукояти своего меча. А вы нынче и мужика хотите учить грамоте. Да он ведь тогда в бога верить перестанет. Мы этим только все дело испортим: ведь для того и писали законы по-латыни, чтобы каждый плебей не совал в них носа; а теперь что ж, всякая баба, батрак и еврей смогут читать их, судить да рядить?! Увидите еще, господа сословные дворяне, что из всей этой затеи получится! Коли мы хотим, чтобы у народа была свобода, мы ее не должны ему давать. Почему? Да потому, что до тех пор пока мы эту самую свободу не даем мужику, она остается в целости и

сохранности, а как только дадим, он ее обязательно тут же пропьет либо потеряет. Давайте придерживаться многовековой конституции наших дедов и прадедов: раз мы прожили с ней тысячу лет, значит и еще долгие годы проживем! (Возгласы одобрения – справа, смех – слева.)

Читатель уже, конечно, догадался, что эта речь принадлежит нашему знакомому – Зебулону Таллероши, который выступил на собрании комитатских дворян, состоявшемся три дня спустя после памятной помолвки молодого Барадлаи в Немешдомбе. Собрание это проходило под председательством администратора господина Ридегвари в губернском городе.

То было историческое собрание. Странники диаметрально противоположных мнений и взглядов сошлись там, как рыцари на турнире.

Представители различных партий, прибывшие на это собрание в качестве гостей из самых отдаленных областей страны, члены судебной курии, присяжные заседатели комитатского «зеленого стола» расположились: одни – с правой, другие – с левой стороны зала вместе с многочисленным дворянским сословием. Большинство гостей на это собрание доставил вице-губернатор за счет средств комитата; другие же прибыли на почтовых, а то и просто пришли пешком, питаясь в дороге хлебом и салом.

Уже с утра в день заседания, несмотря на дурную погоду, перед зданием ратуши выстроилась целая армия людей в шляпах с белым или с черным пером. Белые перья означали принадлежность к прогрессивной партии, черные – к партии консервативной. Собравшиеся требовали допустить их в зал заседаний. Едва забрезжил рассвет хмурого зимнего дня, как все скамьи – и справа, и слева, и в глубине зала – были до отказа заполнены людьми, прибывшими из ближних и дальних мест, и лишь кресла за огромным зеленым столом оставались свободными: они предназначались для видных деятелей комитата.

Но не только белые и черные перья, украшавшие головные уборы присутствующих, свидетельствовали об их воинственных намерениях: от взора внимательного наблюдателя не укрылось бы, что под шубами и длинными бурками многих участников собрания были спрятаны палки с оловянными набалдашниками и молотки с короткой рукоятью – своеобразные аргументы «pro» и «contra».^[38]

Партия «белых перьев» вынесла из предыдущих дворянских собраний урок: когда к концу прений у ее противников иссякают все доводы, они пускают в ход и «ultimo ratio»,^[39] а именно – палки с оловянными

набалдашниками, и тогда уж, как говорится, «кто смел, тот и съел». Наученные горьким опытом сторонники «белых перьев» тоже припасли контраргументы, и были готовы, если дело дойдет и на этот раз до рукопашной, вступить в драку, вооружившись молотками.

Со всей ответственностью можно утверждать, что обе стороны отнюдь не соблюдали с аскетической строгостью наступивший пост. К тому же и погода на дворе стояла отвратительная: стужа и дождь. Кто поэтому решился бы упрекнуть верующих за то, что перед тем как прийти сюда, они пропустили по стаканчику?

Ровно в девять часов под председательством Ридегвари началась общая дискуссия.

Партия «белых перьев» пыталась всеми силами провести резолюцию, решительно осуждающую существующую реакционную систему управления. Для того чтобы убедить сословное дворянство и чиновничество в необходимости этой радикальной меры, прогрессивная партия выставила своих самых блестящих ораторов.

В противовес этому партия «черных перьев» прибегла к другой тактике: она собрала со всех шестнадцати округов самых скучных, нудных и бездарных ораторов, чьи утомительные, длинные и витиеватые речи способны были парализовать и свести на нет воодушевляющее и воспламеняющее действие речей прогрессистов; тайная цель реакционеров заключалась в том, чтобы отвлечь собравшихся от главных вопросов, поставленных на обсуждение, затянуть принятие резолюции до обеденного часа, когда участники собрания начнут испытывать муки голода, принудить к бегству нетерпеливую публику, – одним словом, выиграть время.

Но из этого ничего не вышло: «белые перья» стойко держались, не отступая ни на шаг. Каждый боец твердо решил не покидать зал заседаний и голодать хоть до следующего дня, но дожждаться исхода прений.

Сторонники прогресса знали, что председательствующий только и ждет момента, когда «черные перья» окажутся в большинстве, чтобы на полуслове прервать очередного оратора, объявить дискуссии законченной и поставить вопрос на голосование. А там пусть себе протестует кто хочет!

«Белые перья» не покидали своих мест.

Наконец слово было предоставлено их вождю, куриальному судье Торманди.

Когда он начал свою речь, «черные перья» подняли невероятный шум: каждое слово оратора они встречали гулом протеста, прерывали его возгласами и свистом. Но Торманди не так-то просто было смутить: чем громче вопили его противники, тем сильнее он повышал голос, и его

могучий бас покрывал шум и выкрики сотен людей. Его невозможно было заставить замолчать.

Однако случилось так, что давая отпор очередной буре враждебных возгласов, он, в пылу полемики, употребил в своей речи такие крепкие выражения, какие принято именовать, мягко говоря, «непарламентарными».

Обычно такой неумеренный ораторский пафос дает председательствующему право, после вторичного предупреждения, лишить оратора слова и заставить его покинуть трибуну. Но в нашем комитате имело хождение другое правило. Как только с уст Торманди сорвалось грубое выражение по адресу председательствующего, Таллероши и его единомышленники повскакали с мест и набросились на говорившего, словно гончие псы на зверя, выкрикивая хором одно слово: «Акция! Акция!»

И дворянское собрание немедленно вынесло решение о применении «фискальной акции» против нарушителя парламентской процедуры.

Однако это «интермеццо» не выбило Торманди из колеи и не нарушило даже конструкции начатого им риторического периода. С полнейшим хладнокровием он достал из бокового кармана портмоне, вынул оттуда сорок форинтов (таков был установленный размер штрафа за подобный проступок), выложил их перед комитатским казначеем и продолжал свои филиппики. При новом слишком сильном выражении, допущенном Торманди, опять раздался голос Зебулона: «Акция! Акция!»

На сей раз Торманди даже не прервал своей речи: он уже держал наготове сорок форинтов, бросил их фискалу и продолжал говорить. Голос оратора гремел и сотрясал своды зала до тех пор, пока его кошелек окончательно не опустел; при последнем залпе крепких выражений оратор снял с пальца серебряное кольцо с гербовой дворянской печаткой и, кинув его в залог казначею, заткнул тому рот, получив таким образом возможность закончить свою грозную речь.

Это действительно была страшная по своей силе речь, и ее итогом явилось ясно выраженное предложение принять сатмарские двенадцать пунктов. [\[40\]](#)

Что это за сатмарские двенадцать пунктов? То были двенадцать звезд, внезапно вспыхнувших на небе нашей политической жизни и озаривших своим сиянием величавую силу, чье имя «его величество народ»!

Еще и сейчас сияют эти звезды.

А в те далекие времена они вдохновляли великую борьбу, охватывавшую одну за другой все комитаты страны.

Всюду, где раздавались эти волшебные слова – «сатмарские двенадцать пунктов», – они звучали сигналом к буре.

Последние слова Торманди утонули в шуме голосов. Справа и слева непрерывно гремело «ура» и «долой», так что казалось, что стены ратуши вот-вот рухнут.

Эти два столь противоположные по смыслу восклицания словно уравновешивали друг друга.

Ридегвари, невозмутимый, как мумия, восседал на своем председательском кресле с высокой спинкой и резными массивными подлокотниками. Он воспринимал весь этот «ансамбль», как дирижер в опере, который заранее по раскрытой перед ним партитуре знает, когда наступит черед «скерцо» или «аллегро», когда должен вступить в поединок с тромбонем большой барабан; и лишь в крайнем случае дирижер проявляет свое возмущение. Если в кульминационный момент, называемый па языке музыкантов «тинтамаре», большой барабан и тромбон не выполняют с должным рвением его указаний.

Публика, правда, была вполне удовлетворена мощным звучанием оркестра, но, по мнению маэстро, чего-то еще не хватало...

Кажется, Ридегвари искал кого-то глазами. Нашел наконец.

– Ну что, Салмаш? – спросил он через плечо у подкравшегося к его креслу человека в темном.

– Беда, ваше превосходительство.

– В чем дело?

– «Белые перья» новый маневр применили. Раньше они рассаживали в зале самых мирных людей, чтобы те удерживали наших от драки. А нынче наоборот. Приставили к нашим людям вербовщиков из Беледа.

– Ну и что?

– Ну, наши в один голос и вопят: ради общества, мол, мы с удовольствием чью-нибудь голову проломим, но собственную разбивать не желаем. И никак их не уговоришь действовать.

– Трусливый сброд! – выругался Ридегвари и потянулся к колокольчику.

Итак, все пущенные в ход средства не помогли.

Во-первых, в зале «белых перьев» было больше, чем «черных».

Во-вторых, «белым перьям» не надоело с раннего утра и до четырех часов пополудни жариться в этом пекле, в котором свободно могло свариться вкрутую страусовое яйцо, не подействовали на них ни голод, ни длинные речи «черноперых» ораторов, не говоря уже о том, что разглагольствования Таллероши доставили им немало удовольствия и

изрядно их позабавили.

В-третьих, ораторы прогрессистов не боялись штрафов: они спокойно платили деньги и продолжали говорить.

В-четвертых, «гвардейские молодчики» из благородного сословия не пожелали устроить небольшую бучу, которая в подобных случаях заканчивалась обычно бегством «белых перьев» через окна и двери.

Пришел черед пятой, последней, мере: роспуску собрания.

Ридегвари тихо потряс колокольчиком и, не повышая голоса, начал объяснять сидевшим возле него людям, что из-за шума и чрезмерного волнения в зале нормальная атмосфера, необходимая для работы сессии, не может быть создана, а посему дальнейшая... Едва председательствующий дошел до середины своей фразы, он с недоумением заметил, что вдруг, словно по мановению волшебной палочки, всякий шум прекратился, и в зале воцарилась такая тишина, что можно было бы услышать комариный писк.

В этой гробовой тишине председателю и пришлось закончить начатую фразу, смысл которой сводился к тому, что, по его мнению, в таком ужасном шуме и гаме заседание не может быть продолжено.

Это замечание прозвучало в ту минуту просто смехотворно.

– О каком шуме вы говорите? – улыбаясь, спросил Торманди.

Ридегвари понял, что, кроме него, в зале был и другой дирижер.

Конечно, был. «Белым перьям» заранее был отдан приказ: как только они услышат колокольчик председателя, тут же прекратить всякий шум, словно им перерезали глотку. В свою очередь, и «черные перья» умолкли, как только умолкли их противники, тем более что их собственный предводитель собирался произнести какую-то речь.

Таким образом, в зале воцарилась долгая и неожиданная пауза.

Этот ловкий маневр окончательно вывел из терпения господина Ридегвари. Ему нужно было, чтобы в ту минуту в зале как можно сильнее надрывали глотки и его противники и друзья. Вместо этого все уставились на него, ожидая, что он скажет.

Он попытался навязать собранию свой план.

– В данную минуту шума нет, – заявил он с желчью. – ко стоит нам продолжить дискуссию, как он снова возникнет. Страсти слишком разгорелись. Пользуясь правом председательствующего, я распускаю собрание.

Но Ридегвари в тот день решительно не везло. Он рассчитывал, что эти вызывающие слова вновь поднимут в зале утихшую было бурю, но его противники подготовились, как видно, и к такому маневру: они хорошо

изучили все приемы неприятельской тактики. В полной тишине, встретившей это заявление, прозвучал спокойный голос Торманди, обращенный к председательствующему:

– Можете уходить, если желаете. Мы изберем нового председателя и продолжим совет.

Сотни голосов поддержали это предложение.

– Продолжим совет! Можете уходить, если желаете! Пусть председательствует вице-губернатор.

В зале поднялся невообразимый шум, замелькали руки, на разгоряченных лицах сверкали глаза: «Можете уходить, если желаете!»

Но председатель этого не желал.

Свирепо нахмурившись, он ударил кулаком по столу; и хрипло прокричал:

– Это прямое сопротивление власти! Беззаконие!

– Бунт! – заорал Зебулон.

– Наш долг и обязанность положить конец этой крамоле. Если господа дворяне будут противиться роспуску собрания, я заставлю их разойтись силой.

«Надо поскорей отсюда выбраться», – подумал Зебулон, завидуя тем, кто следил за развернувшимся сражением с балкона.

– Ну что ж, – применяйте силу! – прогремел в ответ Торманди и, скрестив на груди руки, откинулся в кресле, пристально глядя в глаза Ридегвари. Тот не заставил себя долго просить. Он был готов к такому повороту дела.

Двустворчатые двери за председательским креслом вели в кабинет губернатора. В соседних комнатах еще с утра расположились собранные со всех концов комитата гайдуки, жандармы, отставные офицеры и исправники, вооруженные до зубов. Поистине этот день был праздником для проходимцев со всей округи.

Итак, вооруженный отряд, обнажив сабли и примкнув штыки, ждал только сигнала. Во дворе казармы, неподалеку от ратуши стоял в полной готовности, приставив ружья к ноге, батальон солдат на случай, если карательного отряда Ридегвари оказалось бы недостаточно.

– Пусть будет так, как вы хотите! – воскликнул Ридегвари и обернулся назад. – Господин главный исправник, исполняйте свой долг!

Главный исправник и окружавшие его городские исправники были для Ридегвари своими людьми, отличавшимися собачьей преданностью и слепым рвением.

Едва прозвучал приказ Ридегвари, главный исправник распахнул двери

и скомандовал стоявшему наготове отряду:

– Жандармы, за мной!

С этими словами, точно следуя приказу председательствующего, он выхватил из ножен саблю и вместе со своими помощниками набросился на сидевших вокруг зеленого стола людей.

В первую минуту все подумали, что это, наверно, шутка. Со времен Онодского веча^[41] не было примеров, чтобы соотечественники-депутаты обнажали друг против друга мечи, тем более в зале дворянского собрания. Но удивление присутствующих сменилось ужасом, когда на их глазах всеми уважаемые депутаты, мирные и почтенные люди, восседавшие за зеленым столом, седовласые старцы один за другим падали с кресел или бежали, спасаясь от мелькающих над их головами окровавленных сабель.

Но уже в следующую минуту события приняли несколько иной оборот. Оказалось, что многие из тех, кто сидел за зеленым столом, тоже имели при себе оружие; молодые правоведы поспешили на помощь седым судьям. В зале послышался яростный рев и лязг сабель, поднялась всеобщая свалка, какой никто не видывал и во сне.

Резня началась с одобрения его превосходительства господина администратора и происходила перед его светлейшим и милостивейшим взором. Но то, что случилось затем, не получило ни одобрения, ни санкции господина администратора: после короткой схватки рассвирепевшая молодежь с белыми перьями на шляпах загнала главного исправника и его приспешников в угол, выбила у них сабли из рук и кратчайшим путем – через окно – выбросила их вон из зала, на улицу. Что с ними случилось потом – неизвестно.

Но где запропастился жандармский отряд?

Он все еще не появлялся.

Тщетно его превосходительство бросал взгляды на дверь за своей спиной: куда девались его люди. Смотрели на дверь и многие из присутствовавших в зале: через полуоткрытые створки видно было сверканье штыков, но солдаты не показывались. До них не мог не доноситься звон сабель, шум свалки и крики, и все-таки они не двигались с места.

Может быть, их кто-нибудь околдовал?

Вот именно.

За дверями зала разыгралась одна из тех недоступных человеческому воображению удивительных сцен, про которые, если они происходят не на глазах свидетелей, скептики неизменно говорят: «*Coup de théâtre*».^[42]

В то самое мгновение, когда главный исправник, кинувшись с обнаженной саблей на депутатов, крикнул жандармам: «За мной!» – дверь губернаторского кабинета распахнулась, и на пороге появился высокий и статный молодой человек.

Это был Эден Барадлаи.

Он был облачен в полную парадную форму, которая вместе с тем говорила о трауре по близким: черный бархатный доломан, темно-гранатовый ментик с выпушкой из голубого песка, такая же шапка на голове с черным журавлиным пером, пряжки, аграфы и цепь на ментике из черненого серебра; в правой руке он держал широкую саблю в ножнах: он спешил и не успел даже прикрепить ее к перевязи.

Прежде чем комитатские жандармы успели выполнить приказ главного исправника, Эден преградил им путь в зал своей саблей в ножнах.

– Назад! Ни с места! – властно приказал он.

Солдаты на миг остолбенели; затем несколько штыков угрожающе придвинулись к его груди. Кто это? По какому праву стал он на их пути?

– Сабли – в ножны! – сурово произнес молодой человек, ударив по палашу их командира. – Ступайте в коридор!

Командир шепнул что-то жандармам. Среди них тоже было много старых солдат, которые узнали стоявшего перед ними человека: ведь это же сын их покойного губернатора, законный наследник губернаторского кресла, который завтра или послезавтра займет его; нынешний губернатор – лишь временщик, настоящий же их хозяин – вот этот! Ружья взлетели на плечо.

– Покинуть зал, – приказал Эден, – и ждать моего приказа! Если позову – придете.

Старые служаки подчинились. Им пришелся по душе этот приказ. Они даже были довольны, что дело приняло такой оборот.

Эден поспешил в зал заседаний, где продолжалось кровопролитие.

В ту минуту, когда главного исправника и его прихвостней выбросили в окно, когда возбужденная толпа зрителей с тревогой и ужасом взирала на полуоткрытую заднюю дверь, через которую вот-вот должен был ворваться карательный отряд, когда председательствующий метал громы и молнии, яростным взглядом торопя замешкавшуюся и уже бесполезную для главного исправника подмогу, – в эту самую минуту в дверях показался всего лишь один человек – Эден Барадлаи.

Он был прекрасен. Горящее от гнева лицо, сверкающие благородным возмущением черные глаза!

Отдавал ли он себе отчет в собственных поступках, или действовал

под влиянием порыва? Эден вошел в зал, не снимая меховой шапки, и направился прямо к председательскому креслу.

Ридегвари, неловко повернувшись всем телом, растерянно глядел на него, судорожно сжимая правой рукой спинку кресла. Он походил в ту минуту на шакала, неожиданно встретившего в индийских джунглях королевского тигра.

Зрелище, представшее глазам Эдена, потрясло его душу.

Зеленый стол президиума комитатского собрания был залит лужами крови, в беспорядке разбросанные документы и протоколы тоже были окроплены кровью; мужчины, разорвав носовые платки, перевязывали друг другу раны; куда ни глянь – сверкающие возбуждением глаза, негодующие лица; на столе – кем-то брошенный переломанный пополам окровавленный палаш.

– Кто все это сделал? – звенящим от напряжения голосом спросил молодой Барадлаи, остановившись перед председательским креслом. – Кто все это сделал? – вторично произнес он, в упор глядя на администратора.

Ридегвари оторопело смотрел на него и молчал.

– Я обвиняю вас в этом позорном деянии, следы которого не смыть из нашей истории никакими слезами!

– Меня? – с трудом выдавил Ридегвари, выразив одним этим словом и беспредельную ярость, и спесь, и страх, и изумление.

Молодой Барадлаи переложил саблю из правой руки в левую.

– Да, вас!

С этими словами он взялся правой рукой за резную дубовую спинку старинного кресла и в неудержимом порыве резко дернул его на себя.

– А сейчас – оставьте это место. Это кресло моих предков. Вы расположились в нем только из-за болезни губернатора. Ныне губернатор выздоровел!

Эти слова были встречены ликованием всего зала. Да, именно *всего* зала.

Те, кто знаком со своеобразным характером венгерских собраний, вспомнят множество примеров, когда в разгар полемики какой-нибудь располагающий к себе человек, поднявшись на трибуну, мгновенно покорял всех присутствующих, сблизал и объединял противников, разбивал все приведенные до него доводы и рассуждения, рассеивал неприязнь, повергал в прах корысть и увлекал за собой сплоченную воедино массу людей, которые даже не спрашивали, куда их ведут.

Подобный переворот произошел и в тот день в зале ратуши.

По лицам своих бывших единомышленников, прихвостней и

приспешников. Ридегвари мог безошибочно прочесть, что его господству пришел конец. Ему следовало убираться восвояси.

Бледный от гнева и стыда, поднялся он с председательского кресла, бросил в зал ненавидящий всех и вся взгляд и, обратившись к Эдену Барадлаи, процедил изуверским, исполненным лютой злобы, мстительным голосом:

– Извольте... это ваша первая ступенька к *той* вершине.

Эден смерил его презрительным взглядом; он уже знал от матери, что за «вершину» сулил ему Ридегвари.

И даже не удостоил его ответом.

Могущественный администратор покинул зал, и председательское кресло занял наследственный губернатор под громкие ликующие возгласы всех дворян. Только тогда Эден снял с головы песцовую шапку.

Поступок его, правда, не был безупречен, ибо Эдена официально еще не утвердили в правах губернатора, а до тех пор он не мог претендовать на пост председателя дворянского собрания. Но восторженные приветствия, которые неслись к нему со всех сторон, выражали неподдельные, искренние чувства. Они как бы санкционировали совершенный им акт.

Его поступок был очень смелым, более того, имел решающее значение для его личной судьбы, равно как и для будущего всего комитата, всей страны, а в некотором отношении – даже для своей эпохи. Важно было то, что Эдену удалось претворить свое решение в жизнь.

Да, это ему полностью удалось.

Час, когда Эден занял председательское кресло, можно назвать поворотным пунктом в истории его родины. Этот акт стал начальным моментом будущих великих событий. Нужно было иметь мужественное сердце, чтобы отважиться на такой смелый поступок.

О том, что произошло на комитетском собрании дальше, поведают местная хроника.

Нам важно другое – этот день был днем великого триумфа Эдена Барадлаи,

Весенние дни

Естествоиспытатели древних эпох рассказывали о чудовище, имя которому «крак».

Норвежский ученый Понтоппидаи оставил потомкам даже подробное описание его.

Крак – это гигантское морское животное, обитающее на дне океанов и лишь изредка всплывающее на поверхность вод.

Когда огромная, необъятная спина этого чудовища показывается над гладью морей или океанов, покрытая илом и тиной, поросшая морской травой, усеянная ракушками, подводными тюльпанами и кораллами, глупые пингвины и чайки думают, что появился какой-то новый остров; и они поселяются на нем, выют там гнезда, следуя естественным инстинктам; крак спокойно это сносит.

С течением времени спина крака покрывается травой и деревьями; мимо проплывают мореплаватели и думают: «Какой прекрасный зеленый островок!» Причаливают к нему, объявляют его своим владением, строят на нем дома; крак терпит и это.

Затем люди начинают пахать почву, сеять рожь; крак позволяет им пахать и бороновать; а когда они разводят огонь, самое большое, что может позволить себе крак, это – подумать про себя: «Как неудобно, что я не могу даже почесать себе спину».

Поселенцы все лучше и лучше чувствуют себя на новом острове, они роют колодцы и радуются, когда вместо воды из скважин бьет жир. Крак даже разрешает откачивать свой жир насосом – ведь жира у него достаточно.

Люди возводят на богатом острове скалы, устанавливают таможенные пошлины, создают полицию, а порою даже учреждают акционерные компании. И вот они уже терзают живое мясо крака; тогда он внезапно соображает, что дело тут нешуточное, и стремительно погружается на дно океана. А с ним вместе – и птица, и человек, и корабль, и склад, и акционерная кампания...

Так и поступил крак в середине марта 1848 года.

Наступило тринадцатое марта – день народного восстания в Вене.

...Не закрывай книгу, мой нетерпеливый читатель! Я не поведу тебя на улицу, не буду показывать развороченную мостовую, построенные наспех

баррикады, не заставлю тебя сопровождать по переулкам первого раненого, этого первого мученика свободы, окровавленного и бледного как полотно, которого товарищи несут на плечах через город, чтобы его видел весь народ; пет, мы станем наблюдать за происходящим из тихого и безопасного места, и пас не настигнет никакая беда.

Дом Планкенхорст в эти дни был полон обычных гостей; только вместо звуков рояля и французской речи в комнатах слышались доносившиеся с улицы крики толпы и далекая ружейная пальба.

Бледны были лица господ, а их тревожно бегающий взгляд как бы вопрошал: «Что там происходит?»

Народ почуял аромат свободы!

Случилось то, что спящий гигант лишь слегка поднял свои вежды, и мир со всеми его «великими» людишками содрогнулся. Что за наваждение!

Вот почему надменные господа явились сегодня в дом Планкенхорст без орденов, а их сиятельные супруги – без драгоценностей, вот почему гости то и дело вставали, снова садились, нервно расхаживали по комнатам, с тревогой поглядывали на окна, прислушивались к уличному шуму и вполголоса спрашивали друг друга: «Чем кончится этот день?»

Близился вечер; комнаты и залы постепенно окутывал полумрак, но никому из собравшихся даже в голову не приходило зажечь лампу; от гула орудийной стрельбы дрожали стекла. Каждый новый гость, прибывавший во дворец, приносил все более панические вести.

Высокий и статный интендант, прежде державшийся в обществе так, словно он был по меньшей мере генералом, теперь разговаривал робким шепотом и даже сбрил свои роскошные бакенбарды, чтобы меньше походить на военного; толстый советник медицины забился в угол и, сидя па краешке стула, неподвижно глядел перед собой, вздрагивая при каждом стуке в дверь. Наконец он отважился спуститься в вестибюль, чтобы узнать новости, по через минуту возвратился, заявив, что там, мол, очень опасно.

Но вот в зале появилось новое лицо: это пришел личный секретарь полицей-директора. Сама одежда его свидетельствовала о том, что дела в городе идут неважно. Вместо парадного платья на нем болталась драная блуза, какую обычно носят рабочие, лицо его было белее мела.

Узнав его даже в такой необычной одежде, гости со всех сторон обступили пришедшего.

– Ну, что? Разогнали их? – торопливо спросил толстый советник медицины.

– Никак не справятся – ответил дрожащим голосом чиновник. – Я к вам – прямо из главной канцелярии полицейского управления.

Простолюдины ворвались в здание сбросили с фронтона статую Минервы, сломали решетки на окнах, раскидали архивы цензуры. Я спасся только благодаря вот этой блузе.

– И дома грабят? – донесся из угла вопль толстого медика, которого терзала мысль об оставленных дома деньгах.

– Бог ты мой! Но почему не пошлют против них побольше солдат? – еле слышно пролепетал какой-то сиятельный обладатель баса.

– Солдат там много, – ответил полицейский секретарь, – но император не хочет кровопролития. Ему жаль людей.

– Ах ты господи! Да зачем же спрашивать об этом у императора? Раз уж у него такое доброе сердце, поручите все солдатам!

– А вы бы сами попробовали! – огрызнулся секретарь. – Солдаты стреляют так, что ни одна пуля не попадает в цель. Я видел своими глазами, как на площади Михаила артиллеристы бросали в грязь горящие запальники, чтобы только не стрелять в народ.

– О господи! Что ж с нами будет?

– Для того, господа, я и спешил сюда, чтобы осведомить вас о том, что происходит. Мне стало ясно, что озлобленный народ намерен свести счеты с некоторыми аристократическими домами; признаюсь, я далее за все сокровища Ротшильда не соглашусь провести в таком доме эту ночь!

– Вы полагаете, что наш дом тоже принадлежит к их числу? – спросила баронесса Планкенхорст.

Секретарь лишь неопределенно пожал плечами.

– Прошу прощения, я спешу по делам.

И он удалился.

Это послужило примером для остальных гостей.

Интендант настойчиво интересовался, нельзя ли раздобыть в этом доме штатское платье. Но, кроме лакейской ливреи, ему ничего не могли предложить. Между тем каждый понимал, что ливрея дома Планкенхорст вряд ли послужила бы надежным паспортом для прогулки в тот день.

Вскоре прибыл новый гость. Вернее, не прибыл, а ввалился. В нем с трудом можно было узнать некогда изысканного, с талейрановскими манерами референта государственного канцлера. Куда девалась его обычная невозмутимая осанка! Шляпа на нем была измята и сидела блином, одна пола шинели – разорвана, на спине – явные следы грязных ладоней, нос и лицо – в кровоподтеках: все это свидетельствовало о грозных передрягах, в которых он побывал по дороге. Он тяжело отдувался.

– Что с вами? – спросила его хозяйка дома с сочувствием в голосе.

Государственный муж с талейрановскими манерами еще не окончательно потерял чувство юмора.

– О, пустяки! Меня легонько помяли. Кто-то из толпы, увидев меня, закричал: «Это шпион!» В ту же минуту моя шляпа превратилась в лепешку. К счастью, какие-то студенты освободили меня, и я спасся через проходной двор.

– Скажите, пожалуйста, еще не начали грабить? – снова поинтересовался советник медицины.

– Какое там «грабить»! Скорее, наоборот, – раздают. А вы бы сами попробовали выйти на улицу. Дорогая баронесса, прошу вас, дайте мне английский пластырь, я хоть заклею ссадину на носу. И вообще пластырь сейчас очень кстати: по крайней мере не так легко узнают на улице.

– Как? Вы опять собираетесь выходить? – удивилась госпожа Антуанетта, провожая незадачливого деятеля в свой будуар, чтобы прилепить пластырь к пострадавшему носу.

– Я должен торопиться! – доверительно прошептал ей, привстав на цыпочки, низкорослый чиновник. – Мне еще надо подготовить экипаж и подставы для его высокопревосходительства господина канцлера.

– Неужели дело зашло так далеко?

– Все возможно!

– Вы также уедете с ним?

– Разумеется, не оставаться же мне здесь. И вам советую... пока не поздно... подбру-поздорову.

– Посмотрим, – спокойно ответила госпожа Антуанетта, благосклонно отпуская низенького человечка с черным пластырем на носу, спешившего по делам службы.

Господин военный интендант попытался было его удержать:

– Не выходите, вас убьют!

– Выкручусь. Буду громко кричать: «Долой Меттерниха! Да здравствует «Аула!»».^[43]

Между тем шум на улице все усиливался, в комнатах дворца становилось все темнее; интендант умолял ради всех святых не зажигать свечей: пусть толпа думает, что во дворце никого нет.

На самом же деле здесь собрался пышный букет великосветской флоры. Дом Планкенхорст стал штабом побитого войска.

Что делать? Этот вопрос обсуждался в полумраке дворца.

Бежать или оставаться? Были робкие, стоявшие за бегство, и еще более трусливые, не решавшиеся даже на это. Ведь на улицах бушевало море! Народное море!

Неожиданно в зале появился новый гость.

Несмотря на вечерние сумерки, все сразу узнали этого человека. Квадратное лицо, надменная неподвижная голова могли принадлежать только Ридегвари.

Его приход несколько ободрил перепуганное общество и придал многим какую-то надежду. Этот хладнокровный человек импонировал всем, у кого были робкие сердца.

– Какие новости, мой друг? – поспешила ему навстречу хозяйка дома.

– Новостей достаточно, – сухо ответил Ридегвари. – Первая и самая достоверная: Меттерних подал в отставку.

– Тсс!

– Через час это будет известно всем. Я прямо от него. Отставка принята, и этот великий человек в данный момент ломает себе голову лишь над тем, в какое платье переодеться, в каком экипаже и по какой дороге бежать за границу.

– В чужом платье! – повторял высокий интендант; его губы долго еще продолжали беззвучно шевелиться.

Возможно, он думал про себя, какое счастье иметь теперь самый захудалый сюртук.

– Еще не грабят? – вздохнул в своем углу богатый советник медицины.

– Нет. Но вооружаются. Они захватили арсенал.

– Не могли даже арсенал защитить! – пробурчал толстяк.

– Сдан по приказу императора.

– Уму непостижимо!

– У меня в кармане указ, в котором объявляется, что для поддержания порядка в столице студенты и горожане должны получить оружие из городского арсенала.

И Ридегвари показал печатный листок, на который все накинулись, пытаясь разобрать его в сгустившейся темноте.

– Тысяч двенадцать студентов и мастеровых уже вооружились, – невозмутимо продолжал Ридегвари. – Ночью можно ждать уличных и баррикадных боев.

– Ну, уж этого я дожидаться не буду, – раздался голос интенданта. – Я ухожу.

Стали подниматься и остальные.

– Дамы и господа! *Sauve qui peut.* ^[44]

Все поспешили проститься с хозяйкой. Сейчас на улице гроза, но того и гляди с неба посыпятся камни! Каждый называл какую-нибудь местность и выражал надежду встретиться там.

– Ну, а вы куда собираетесь? – спросила Антуанетта у господина с квадратным лицом.

– Я? Никуда. Остаюсь в Вене. Я за себя не боюсь. – И, пожав руку хозяйке, он последним покинул ее дом.

Слова Ридегвари вовсе не означали, что он первым же не побежит из Вены; возможно, он просто не хотел говорить, куда именно направит свой путь.

Интендант все же нашел у швейцара старое, все в заплатках пальто и какой-то извозничий плащ. Приобретя этот костюм за большие деньги, он закутался до подбородка и вышел в таком виде на улицу. Кто знает, куда понес его людской поток? Что касается толстобрюхого медицинского советника, то у него не было никакой охоты пускаться в столь опасную экспедицию. Бегать он не мог, и, если бы его где-нибудь случайно прижали к стене, он тут же испустил бы дух. Ему занимавшему на земле в три раза больше места, чем прочие смертные, лучше было не показываться на людях в такое время, когда все даже самые тощие, боролись за место под солнцем.

– Дорогой друг, – обратился он к привратнику, поглаживая его одной рукой по щеке, а другой всовывая в ладонь крупную ассигнацию, – не сдастся ли в этом доме какая-нибудь полуподвальная комната? Спрячьте, пожалуйста, меня там. Если сюда заявятся эти дикари и устроят обыск, то скажите им, что в той комнате проживает бедный портной... А для вящей убедительности нарисуйте мелом на дверях большие ножницы. Заверьте их, мой друг, что здесь, мол, живет бедный бродяга портной, у которого жена заболела черной оспой. Тогда они не войдут. Вы сделаете это, не правда ли, милейший господин домовый инспектор?

Привратник предложил ему лучший план.

– Кто знает, сколько продлятся эти беспорядки, – сказал он. – Вряд ли вам будет приятно торчать в холодном закутке. Я бы этого не стал делать. Хотите, я спрячу вас так, что никто вас даже пальцем не тронет? Вы, сударь, только доверьтесь мне.

– Как вам угодно, только спасите меня. Однако я все-таки желал бы знать, какой у вас план. Потому что, видите ли, бегать я не могу. Ноги меня не держат. А извозчика сейчас и за миллион не достать.

– Что верно то верно – не достать. Но есть другое средство.

– Говорите же! Какое? Где оно? Заплачу, сколько попросите!

– В соседнем трактире сидят двое могильщиков. А их носилки – у дверей.

– Могильщики?

– Ну да. Власти, заботясь о ближних своих, приказали выделить

санитарные посты на наиболее шумных улицах, на случай, если кого пристрелят, чтобы тут же подбирали и отправляли в морг. Хорошее дело. А так как на нашей улице еще никого не подстрелили...

– Вы, значит, хотите, чтобы я лег на носилки для мертвецов?

– Вот-вот. Они крытые, никто и не узнает, кого в них несут. Дадите ребятам на выпивку, они и доставят ваше превосходительство до госпиталя, там устроят на катафалк, который довезет вас до ближайшего парома, А уж оттуда вы сможете ехать на все четыре стороны, куда душе угодно.

При одной мысли о путешествии в катафалке мурашки забегали по спине толстяка.

Но для размышлений не оставалось времени. С дальнего конца улицы катилась новая людская волна, возвещая о своем приближении все нарастающим гулом ликования, покрывавшим обычный уличный шум. Надо было спасаться.

Предложение было принято. Как ни ужасно очутиться в носилках могильщика, но лучше уж лежать в них живым, чем мертвым.

Когда медицинский советник тронулся в путь, привратника обуял такой приступ хохота, что ему пришлось схватиться за живот, чтобы не лопнуть со смеха.

Но разве там, в особняке, не слышали приближавшегося гула толпы, сопровождаемого каким-то странным звоном и грохотом?

Услыхав шум, Альфонсина в отчаянии выбежала из своей комнаты и ворвалась в будуар матери. Она не бросилась к ней в объятия – две эти женщины были лишены сентиментальности.

– Все нас покинули!

– Труссы! Глупцы! – с презрением бросила баронесса.

– А как же мы? Где мы будем спасаться? – дрожащим голосом спросила красавица.

– Мы? Мы останемся тут.

– Как? Посреди этой бури?

– Мы обратим ее себе на пользу.

Альфонсина удивленно взглянула на мать. Неужели та сошла с ума? Впрочем, в этом не было бы ничего удивительного!

Между тем баронесса отдала распоряжение слугам зажечь в доме все лампы и выставить свечи в открытых окнах. Затем она сняла с балдахина над своим ложем белые атласные занавеси вместе с позолоченными древками и велела прикрепить их с двух сторон к балкону особняка, как два белых флага.

После этого госпожа Антуанетта смастерила из белых лент два

пышных банта; один из них она приколола к своему платью, другой – прикрепила к плечу Альфонсины, и когда бурное ликование толпы на улице достигло своего апогея, она силой увлекла полуживую от страха дочь на балкон и прокричала резким, звенящим голосом:

– Да здравствует свобода!

Грозная толпа встретила эти слова тысячеустым «ура». В воздух взлетели шапки, косынки, чепчики; люди приветствовали белое знамя. Сколько ни проходило народу мимо ярко освещенного дома Планкенхорст, все восторженно кричали «виват», тогда как стекла соседних особняков на противоположной стороне улицы со звоном вылетали из разбитых рам. Может быть, их хозяева сражались в тот час на баррикадах и потому не могли подойти со свечами к окну. Но тем хуже для них, А обитателям дворца Планкенхорст – «виват»!

Весь этот день Енё Барадлаи провел дома. У него, были слабые нервы.

Еще с детства он отличался кротким нравом, а с возрастом превратился в беспомощного и неуверенного человека: этому способствовал образ жизни юноши, его постоянная зависимость от других. Он привык подчинять свою волю сначала воле родителей, потом – воле своих начальников, и, наконец, – воле любимой женщины.

И теперь, когда все устои, на которые он привык опираться, внезапно были сметены грозной бурей, когда все столпы общества, чьи портреты и скульптурные изображения служили ему *lares et pénates*,^[45] были повержены во прах и разлетелись, как отсевики мякины, Енё почувствовал себя совершенно разбитым, потерявшим равновесие.

Весь день он был в лихорадочном состоянии; запершись у себя в кабинете, он беспокойно расхаживал взад и вперед. Он даже срезал шнур от входного колокольчика, чтобы никто не помешал ему неожиданным приходом.

Шум на улице, оружейная перестрелка держали его нервы в непрерывном напряжении; голова разламывалась, он не в состоянии был думать и не отдавал себе отчета в том, что происходит.

Великие лозунги свободы, девизы новой эпохи не находили в нем ни отклика, ни сочувствия. «Эти лозунги никогда не смогут одержать победу», – думал Енё.

Среди тех, с кем он привык общаться, он никогда не встречал ни одного приверженца этих идей. В народ же Енё не верил.

Шум уличного боя говорил ему о том, что народ чего-то добивается, но чего именно – он не знал. А может, просто буйствует? Или мстит? Возможно, народ и победит. Но что ж дальше, что он будет делать после

своей победы? Этого Енё себе не представлял.

Весь этот бурный день он не переставал думать об Альфонсине.

Что с ней? Успела ли она бежать? Или нашла себе защиту? А если нет?

У нее влиятельные друзья. Но какое это имеет значение теперь, когда самые могущественные люди не могут защитить даже самих себя?

Не один раз он решал выйти из дому и отправиться к Планкенхорстам. Но всякий раз ужасался одной этой мысли. Улицы поливают картечью, из камней возводят баррикады: куда он пойдет со своими больными нервами и сердцем, с трясущимися руками? И чем он ей поможет? Ведь он никогда не держал в руках пистолета, не умел обнажить саблю. Его даже не брали на охоту, как старших братьев. Он учился лишь рисовать, играть на фортепиано да красиво писать.

Кого он способен защитить?

Чем больше темнело, тем шумнее становилось на улицах и тем ужаснее были картины, которые рисовало воображение Енё, тревожившегося за судьбу Альфонсины.

В девять часов вечера он почувствовал, что дольше не в силах сносить свои терзания. Он твердо решил выйти на улицу и добраться до дворца Планкенхорст.

Если он и не сумеет защитить Альфонсину, то по крайней мере погибнет вместе с нею.

О смельчаки, люди с отважным сердцем и крепкими нервами, вам не понять, какой титанический героизм надо проявить робкому человеку, чтобы добровольно ринуться в пучину опасности, которая для вас, бесстрашных духом, подчас даже не замечающих ее, быть может и кажется смешной, но для слабых натур, для людей робких чревата адскими муками! Не смельчакам, а людям, боязливым от природы, принадлежит пальма первенства в героизме, когда они, дрожа и шарахаясь в сторону от свиста пуль, все же идут вперед – во имя чести, во имя любви, во имя родины, во имя женщины!

Именно любовь толкала Енё навстречу опасности, перед которой он трепетал.

Он вышел на улицу совсем безоружный; он не думал о том, что будет делать там, внизу.

Возле порога дома его подхватил людской поток и понес с собою.

Он совершенно иным представлял себе этот поток, когда сидел взаперти в своей комнате.

Это была не свирепая, жаждущая крови людская река, а бурлящее радостью море.

Старые и молодые, имущие и неимущие, рыночные торговки и нарядные дамы, студенты и солдаты – все перемешались здесь, все обнимались, целовались, плакали, восторгались, размахивали руками, неистовствовали, до хрипоты выкрикивали одно и то же: «Свобода! Победа! Победа!» Листовки переходили из рук в руки, ораторов поднимали на плечи, заставляли их читать вслух последний императорский указ. а затем бросались обнимать и целовать чтеца; и так бурлила, звенела улица-поток, пока не приходили новые вести, не раздавались новые речи, не взрывался новый заряд радости и торжества. Люди кидались на шею солдатам, которые еще час назад стреляли в них из ружей, целовали умолкнувшие стволы пушек, кричали «ура» тому, кого недавно ненавидели и кем теперь восторгались только потому, что тот нацепил на шляпу белую кокарду, писали огромными буквами на стенах домов: «Собственность – свята!»

Енё и сам был захвачен этим радостным вихрем. Нет названия тому чувству, которое владеет в такие минуты толпой. Оно подобно электрическому току, и понять это может лишь тот, кто хоть однажды испытал его волшебную силу; хмель ликующего торжества проникнет в грудь даже того, кто ничего не смыслит в происходящем. Енё слушал, как люди со слезами радости на глазах восторженно говорили о падении государственных мужей, которые, казалось, навеки вошли в мировую историю. И Енё тоже проникся тем таинственным магнетизмом, которому трудно найти название, когда он услышал, что этих великих деятелей, словно строки, написанные мелом на доске, стер одним взмахом руки со страниц истории величайший из всех великих мира сего – народ.

Как объяснить то теплое, затопившее в ту минуту его юное сердце чувство, бороться с которым Енё не мог? Еще час назад все эти могущественные люди были его кумирами, и все же теперь, когда он услышал об их падении, кровь быстрее заструилась по его жилам.

Он поймал себя на том, что прислушивается к именам, которые многотысячная толпа встречает проклятьями и криками: «Pereat!».^[46] Он каждый миг со страхом ожидал услышать имя Планкенхорст.

Он-то хорошо знал, как тесно было связано это имя с именами тех, остальных...

Может быть, до них еще не дошла очередь?

Впереди и сзади обсуждали события минувшего дня, восторгались тем, как народ штурмом брал дворцы ненавистных аристократов, как разорвали и развеяли по ветру проклятые протоколы и долговые бумаги. Но об Планкенхорст – никто ни слова.

Поток увлекал его все дальше. Окна некоторых домов были освещены лампами, а в темные окна летели с мостовой камни.

Прошло несколько часов, прежде чем он достиг той улицы, где стоял дом Планкенхорст.

Сердце его тревожно колотилось: что, если он найдет и этот дом пострадавшим, как пострадали многие другие здания?

Каково же было изумление Енё, когда, повернув за угол, он увидел прямо перед собой дворец Планкенхорст, залитый морем огней! На балконе, между двух белых шелковых полотнищ, между двух знамен, стоял какой-то студент, обращавшийся с пламенной речью к толпе.

Енё ничего не понимал.

Теперь его вело вперед одно лишь сердце. Голова кружилась.

Впрочем, он, собственно, не шел, его несли. Толпа вынесла его к ступеням дворца Планкенхорст; тут мужчины с сияющими лицами, потрясая в воздухе фуражками, украшенными белой кокардой, прославляли героических женщин, сторонниц свободы.

Енё втокнули в хорошо знакомый ему зал.

Что ж он увидел?

Две дамы стояли «перед столом: их лица расплылись в такой широкой улыбке, что он с трудом узнал Антуанетту и Альфонсину.

Чем были заняты обе женщины?

Госпожа Антуанетта делала бантики из белого шелка, а Альфонсина прикрепляла их к фуражкам народных героев, прикалывала к мундирам, надевала белые повязки на рукава. И те, для кого она это делала, становились еще радостнее, еще счастливее, целовали ей руку, прикладывались губами к нарукавным лентам и даже к ножницам, которые она держала. Лица обеих дам сняли.

Но вот Енё вытолкнули вперед.

Как только Альфонсина увидела его, она, не раздумывая, бросилась к нему с радостным возгласом, раскрыла свои объятия, прижала юношу к себе, обвила руками его шею и, рыдая, пролепетала:

– О, какой счастливый день, друг мой!

И снова принялась целовать его на глазах толпы. Баронесса одобрительно улыбалась, глядя на молодых людей, а народ восторженно кричал «ура», и все находили такую встречу вполне естественной.

Мурашки пробежали по телу Енё от ликующего народного «ура», но поцелуй Альфонсины пришелся ему по вкусу.

Никого не удивляло, что люди в такой день целуются друг с другом. Ведь столько поводов было для поцелуев благодарности, поцелуев любви;

ведь столько поцелуев со дня на день откладывалось, столько их было обещано, их с таким трепетом ждали, мечтали о них. – и вот к закату этого памятного дня все обещанные поцелуи были розданы, все «долги» были выплачены с процентами; поцелуи наступавшей счастливой жизни и поцелуи вечного расставания расточались в тот час, час завоеванной народом свободы. Но среди всех этих сладостных, горячих, хмельных поцелуев был один иудин поцелуй – его запечатлели на устах Енё Барадлаи медово-алые губы красавицы Альфонсины.

Юноше почудилось, будто земля вдруг изменила свой обычный путь, благодаря какому-то могучему толчку переместилась на пятнадцать миллионов миль ближе к солнцу, на ту орбиту, по которой, должно быть, вращается Венера, и счастливые обитатели пашей планеты радуются этой близости к источнику тепла.

Тепло, свет и радость затопили мир. Все сердца исполнились благодати.

В мире творились чудеса, и каждый человек воспринимал их так, словно чудеса эти были обычным, повседневным явлением, словно так и положено.

Енё Барадлаи теперь запросто, без предупреждения, являлся каждый день в дом Планкенхорст, в любой час – рано утром и поздно вечером, и считал это совершенно естественным. Он уже не удивлялся, неизменно встречая здесь студентов, демократов, ораторов в невероятно грязных и замызганных сапогах, в промокшей одежде, с длинными бряцающими саблями на боку и с еще более длинными перьями на шляпах; он и сам старался походить на них, вполне естественным считал он теперь и то, что Альфонсина весь день ходит в утреннем пеньюаре и принимает его с распушенными, непричесанными волосами, что она в присутствии знакомых и незнакомых людей опирается на его руку, а когда они на минуту остаются одни, садится к нему на колени и горячо обнимает его. В то время все считалось дозволенным! Ведь земля приближалась к солнцу.

Каждый человек высказывал то, что косил в сердце, – свои самые сокровенные думы. Кто ненавидел великих мира сего, кричал об этом на площадях; кто втайне любил кого-нибудь, целовал возлюбленную средь бела дня на улице.

Земля все еще стремилась к солнцу.

Настало пятнадцатое марта. День провозглашения конституции. День свободы печати.

Сто новых газет вышло сразу в тот день; у них были громкие названия и гордые девизы; уличные мальчишки, продававшие газеты гражданам столицы, и окрыленная надеждами молодежь выкрикивали повсюду их

заголовки. Миллион листовок ходил по рукам, их читали группами на каждом перекрестке.

На высокой, видной издали башне собора св. Стефана ветер шевелил огромное знамя с национальными немецкими цветами: золотым, красным и черным.^[47] Если кто-либо с удивлением спрашивал: «Что это значит?» – ему отвечали: «На воротах императорского дворца развевается точно такой же флаг».

Шумные празднества следовали одно за другим. Каждый час отмечался новым помпезным событием. Рано утром под звуки фанфар по улицам проскакали гонцы, возвещая о даровании конституции. Ликующие клики народа заглушили звуки труб.

Затем последовала торжественная церемония. Император и императрица вышли к народу; их не сопровождали ни личная гвардия, ни военизированная охрана, им сопутствовала и их охраняла безмерная народная любовь. Царская карета не катилась, а плыла по мостовой среди народного моря, и не кони, а руки народные влекли ее вперед.

После полудня скорбная церемония сменила утреннее ликование. Хоронили жертв боев тринадцатого марта. Украшенные венками гробы плыли по тем же улицам среди людского моря, но вместо радостных кликов теперь звучал траурный марш, и скорбную тишину, нарушали глухие рыдания. Похоронной процессии, казалось, не будет конца.

А затем – опять радостное событие.

Снова веселый гул, сильнее боевого клича атакующих звучит победное «ура». Они сливаются воедино! Из Пожоня^[48] прибыла венгерская делегация от сейма.

Какая это была радость! Какое воодушевление! Приветствия, братские поцелуи! Все улицы запружены мужчинами, в каждом окне – женская улыбка. Гвардейцы, вооруженные студенты стоят шпалерами вдоль тротуаров; целый дождь цветов, поток венков, перевитых трехцветными лентами, падают под ноги прибывших. Два любящих сердца встретили друг друга, ведь сердце народа – это молодежь.

Быть может, нам все это только приснилось?

Быть может, это только грезы?

Нет, мы сами были там, мы все это видели, все это происходило на наших глазах: мы чувствовали на щеках поцелуи, поцелуи добрых друзей и молодых дам; это было так хорошо, что и сейчас еще наше сердце хранит сладость тех встреч. И все же это действительно был сон! Поверь, юный читатель, поэту, который рассказывает тебе о своих грезах.

Енё и Альфонсина бывали всюду.

Когда на улице прозвучал сигнал фанфар, юная красавица, не меняя наряда, все в том же скромном платье, какое она носила дома, лишь накинув на плечи косынку, надев на развившиеся локоны чепчик, схватила Енё за руку и устремилась вниз по лестнице. Если ее мать найдет себе попутчика, на руку которого сможет опереться (обычно она такового находила), тем лучше: она их догонит; если же нет – тоже неплохо: ведь людской поток все равно разъединил бы их, и они свиделись бы снова лишь по возвращении домой. Да и кому придет сейчас в голову заботиться о светских приличиях?

Все это время Енё пребывал в постоянном напряжении. Оно походило на радостный страх. Он благословлял эти необыкновенные дни, когда женщина, о которой он прежде лишь мечтал, кинулась ему на грудь и без смущения, без колебаний, без ложного стыда отдала ему и тело и душу. Она отдавалась ему вся целиком, всем существом, вверяясь ему и все разрешая. Как же было Енё не чувствовать себя счастливым в те дни всеобщей радости и счастья!

И когда в поздний вечерний час на город внезапно хлынули лучи света от тысячи тысяч факелов, зажженных на улицах, от свечей, выставленных в окнах, от иллюминированных гирляндами лампочек карнизов домов, от сверкающих фасадов дворцов, от украшенных транспарантами арок; когда посреди этого сияния зазвучала мелодия марша Ракоци, способная поднять из могил даже мертвых, когда после звуков этого благодатного священного гимна на сверкающем балконе одного из самых роскошных венских дворцов показали славнейшие из славных сынов и руководителей венгерского народа и обратились с речью к венцам, – тогда и на улицах не осталось ни одного человека, который не чувствовал бы себя счастливым!

Да, это был прекрасный сон!

Енё наблюдал за происходящим, стоя в тысячеголовой, радостно возбужденной, кипящей толпе. Рука сжимала руку Альфонсины, которая сладким и тайным пожатием признавалась ему в любви; на его плече покоилась горящая головка юной красавицы, а на щеке он ощущал ее теплое дыхание. Как радостно было тогда у него на душе!

Внезапно среди освещенных лучами людей, которые, сменяя друг друга, обращались с балкона к народу, он увидел своего брата Эдена!

Он здесь! Он тоже в числе тех знаменитых ораторов венгерского сейма, которые выступают сейчас перед жителями Вены, приветствуя праздник народной свободы!

Речь Эдена воспламеняла толпу. Сердце каждого, кто его слушал,

начинало биться сильнее. Альфонсина помахала ему платком.

Но Енё содрогнулся, на него повеяло могильным холодом. Он затрясся всем телом, когда увидел брата на балконе.

Что вызвало этот ужас? Какое предчувствие зародилось в его сердце? Что омрачило его счастье? Почему ему вдруг почудилось, что за триумф нынешнего дня придется впоследствии дорого поплатиться?

Неужели он угадал, что представлял собою балкон, с которого выступал Эден?

Это была вторая ступенька к *той* обещанной вершине.

Усталой возвратилась домой после событий напряженного дня чета влюбленных. У подножия лестницы Енё наградили еще одним тайным поцелуем, но даже это его не успокоило, и он всю ночь метался в постели не в силах заснуть.

Альфонсина же, оставшись наедине с матерью, с желчной усмешкой и раздражением швырнула в угол свой чепчик, украшенный трехцветной лентой, и устало опустилась на софу.

– О, как мне все это опостылело!

Оборотная сторона медали

Всю ночь напролет перед закрытыми глазами Енё маячила зловещая картина, нарисованная языками огня на черных листах мрака. Уже давно умолк на улицах всякий шум. но в его ушах все еще стоял торжествующий шторм, бушевало огромное море, и стоило ему на минуту-другую впасть в забытье, как он тут же просыпался, ибо снова слышался ему голос Эдена. Брат бросал ему в лицо пылкие, непонятные и от этого еще более страшные слова.

Енё боялся его, а быть может, за него? Он страшился встречи с Эденом.

Он боялся, что брат уговорит его, что этот грозный человек увлечет его за собой!

Едва рассвело. Енё ушел из дома, сказав слуге, что до вечера не вернется.

Он решил спозаранку пойти во дворец Планкенхорст. чтобы не встретиться с Эденом.

В доме Планкенхорст уже с восьми часов утра были настежь распахнуты двери. Входили и выходили вожди молодежи.

Студенты теперь всему задавали тон.

Люди в темно-синих мундирах с трехцветными аксельбантами и в калабрийских шапочках заполняли залы этого дворца и говорили о необыкновенных событиях».

Что у кого лежало на сердце, то было и на языке.

Кто мог заподозрить в чем-либо дурном дам Планкенхорст?

Ведь если бы они были врагами, то давно убежали бы из города, как это сделали другие аристократы.

Енё думал укрыться от брата здесь, в штабе революционной молодежи.

Но он выбрал для себя опасное укрытие.

Оказалось, что жизнь в этом доме не замирает даже ночью. В залах и комнатах его непрерывно заседал революционный комитет. Хозяйка дома тоже принимала участие в этих заседаниях.

– Вас принес сам бог! – приветствовал один из руководителей комитета, Фриц Гольднер, вошедшего Енё Барадлаи. – Мы только что о вас вспоминали.

– Чем могу служить? – спросил Енё, перенявший у студенческой

молодежи эту популярную в ее среде фразу.

– Знай, гражданин, дело свободы в опасности!

Для Енё это не было неожиданностью. Он предчувствовал это с самого начала событий.

– Мы должны быть начеку, – продолжал молодой оратор. – Реакция стремится подорвать победу нашего правого дела, пытаясь спровоцировать незаконные выступления всякого сброда. Она подбивает подонки общества замарать своей ужасной разнузданностью славную зарю народной свободы. Мнимые друзья свободы, замаскированные поборники тьмы, призывают низшие слои народа восстать против фабрикантов и помещиков. Прошлой ночью разрушили железнодорожную линию Мариахильф, грабили, жгли, убивали таможенных служащих. Оттуда толпа двинулась на Зексхаус, Фюнфхаус и Боаунхиршенгрунден, собираясь громить фабрики и грабить дома буржуа, В настоящий момент они приближаются к черте города, с каждым шагом втаптывая а грязь славное знамя свободы. Для нас наступило время активных действий. Нам, свободомыслящей молодежи, надо самоотверженно пойти навстречу обманутым людям и силой убеждения ввести это движение в законное русло. Нельзя терять ни минуты, мы обязаны поспешить и вырвать из их рук поруганное знамя. Ты должен быть счастлив, что на твою долю выпала честь помочь нам в этой тяжелой борьбе. Идем с нами! Мы, как плотина, встанем на пути этого мутного потока и сдержим его своими телами!

Только этого еще не доставало!

Сдерживать собственным телом орду оборванцев, подвергаться атакам разъяренной черни, дать искрошить себя на куски?

Енё не чувствовал к этому ни малейшего стремления.

Сказав Фрицу, что он согласен, но прежде должен зайти домой за саблей и пистолетами, Енё ушел, пообещав догнать их на извозчике.

У него не хватило духу признаться Альфонсине, что ему совершенно безразлично, чем кончится венское восстание.

Поймав по дороге первого попавшегося извозчика, он договорился с ним, что тот будет возить его весь день по городу с одним условием: нигде не останавливаться; пообедать можно будет в каком-нибудь скромном ресторанчике, а поздно вечером вернуться к себе на квартиру.

Енё решительно не хотел ввязываться в эту историю. Он был совершенно равнодушен к происходящим событиям.

Домой он идти не решался, чтобы не встретиться с братом, который наверняка его захочет навестить. В дом к Планкенхорст он тоже не мог возвратиться, ибо какой-нибудь другой фанатичный борец за свободу снова

поташил бы его за собой переубеждать взбунтовавшуюся голь.

А между тем фанатики борцы не ждали, разумеется, его возвращения; разбившись на группы, они направились в пункты, находившиеся под угрозой нападения, торопясь преградить дорогу рассвирепевшему люду, который, грабя и поджигая дома, все уничтожая на своем пути, продвигался от окраин к центру города, где еще торжествовали свою победу славные и сияющие чистотой идеи.

Гранихштедтский спиртной завод представлял собой грудку дымящихся развалин. Машины были разрушены, бочки выкатили на улицу, выбили в них днища, а вылившийся на мостовую спирт подожгли. Улица пылала огнем, словно истинный Флегетон.^[49] Горящая река спасла монастырь св. Бригитты, который возвышался в дальнем конце улицы, ибо пока языки пламени лизали булыжники мостовой, толпа не могла продвинуться вперед.

Но вот, казалось, толпа начала готовиться к новой атаке. По всем противопожарным правилам люди стали прокладывать дорогу среди пламени; с помощью песка, шлака и щебня они вскоре перекинули довольно широкий и вполне пригодный для пользования помост среди огненного моря, по которому те, кто хотел избежать «завидной» смерти в горящем пунше, могли без риска пересечь улицу.

Однако у монастырских ворот еще ранним утром расположился отряд гусар.

Командовал ими не кто иной, как капитан Рихард Барадлаи.

Минул почти год, как Рихард перебрался из своей городской квартиры в таможенную казарму.

Теперь он был занят только военной службой. Почти не бывал в городе, не посещал балы, не волочился за женщинами. Жил среди солдат, делил с ними казарменные будни и вскоре прослыл самым исполнительным офицером.

Столица потеряла для него притягательную силу. Он порвал со старыми приятелями. Лишь изредка Рихард навещал брата, да и то лишь для того, чтобы порасспросить об Эдит, и в ответ неизменно слышал одно и то же: она все еще в институте благородных девиц; на другой же день после того, как Рихард попросил ее руку, баронесса Планкенхорст отправила ее из дому.

На этом Рихард и успокоился.

Куда бы Эдит ни отослали, лишь бы она не оставалась в доме своей тетушки. Придет время, когда Рихард сможет жениться, тогда он разыщет ее хоть на краю света; а до тех пор зачем смущать девичий покой?

Конечно, ему очень хотелось узнать, где именно она находится, но Енё

постоянно забывал справиться об этом у баронессы, а у Рихарда были причины не посвящать брата в свои сокровенные думы.

О событиях последних дней Рихард узнавал лишь из новых газет. Но газеты на все лады превозносили лишь одну сторону медали, а он видел только оборотную ее сторону: журналисты писали о братских поцелуях и венках, перевитых трехцветными лентами, а Рихард и его солдаты за все эти дни слышали лишь ругань пьяных торговков, осыпавших их градом гнилых картофелин.

За последние три дня Рихард получил от разных командиров шесть прямо противоречивших друг другу приказов.

Первый приказ предписывал ему пускать в ход сабли и немедленно разгонять любое скопление народа, где бы оно ни возникало.

Второй – информировал его о том, что автор первого приказа смещен, а народ надо щадить, избегая каких бы то ни было с ним столкновений.

В третьем приказе ему спешно предлагалось выйти со своим отрядом из казармы и соединиться с остальными воинскими частями в районе крепостного вала. Но пока седлали коней, гонец привез четвертое распоряжение, в котором командир полка, во изменение предыдущего приказа, требовал от капитана ни в коем случае не покидать казарму, укрепиться в ней, подготовиться к бою и защищать ее не на живот, а на смерть.

Затем прибыл пятый приказ, подписанный каким-то совершенно незнакомым Рихарду – ни по имени, ни по должности – лицом, взявшим на себя всю полноту власти. Это лицо предлагало капитану действовать по собственному усмотрению и в то же время возлагало на него ответственность за поддержание общественного порядка на улицах и площадях прилегающего к казарме района.

Шестое распоряжение ставило Рихарда в известность, что все лица, отдавшие предыдущие пять приказов, оставили свои посты и махнули на все рукой.

Таким образом, капитан Барадлаи получил полную свободу действий.

Всю ночь он и его гусары провели в седлах, патрулируя улицы, разгоняя скопления людей, действуя в случае надобности саблями, но удары нанося плашмя. Это было утомительное и бесполезное занятие, ибо, пока солдаты наводили порядок в одном квартале, в другом месте собиралась новая толпа, и не успевал Рихард, ориентируясь по красным языкам пожарищ, прискакать со своим отрядом на место происшествия, как бандиты разбегались, оставляя после себя ограбленные и подожженные дома. Если же солдатам удавалось схватить кого-нибудь из мародеров, то

они не знали, что с ним делать.

Властей, которым можно было бы сдать бунтовщиков, не существовало, а держать их в казарме было, обременительно.

Утром отряд Рихарда столкнулся с шайкой грабителей возле монастыря св. Бригитты. Привлеченный пламенем, Рихард привел сюда свой отряд из другого конца района, где, как он полагал, удалось установить относительное спокойствие.

Бравым гусарам порядком надоело возиться со смутьянами.

Всю ночь ездить взад и вперед по улицам, слышать свист и обидные ругательства по своему адресу, увертываться от летящих отовсюду комков грязи, камней и картофелин и к тому же не иметь права применить против толпы сабли, вновь и вновь видеть за своей спиной, казалось, уже разогнанные банды – все это вконец измотало гусар, и без того не отличавшихся терпением.

Счастье еще, что винные склады горели и гусары не успели напиться допьяна.

Рихард понял, что мятежники собираются напасть на монастырь, и поэтому построил свой отряд перед воротами преградив им дорогу.

С лихорадочной поспешностью бунтовщики тушили пламя на мостовой, забрасывая его грязью и песком и не переставая при этом выкрикивать угрозы по адресу солдат.

Рихард спокойно смотрел на толпу.

– Господин Пал, – окликнул он спешившегося гусара, – горит у тебя трубка?

– Извольте! – отозвался старый служака, подавая огонь капитану.

– Закуривай, ребята! – крикнул Рихард. – Поглядим, что будет дальше.

В это время из-за ближайшего угла показался какой-то запыхавшийся человек в мундире и при оружии.

Такой военной формы Рихард до сих пор не видывал.

На неизвестном была черная куртка с желто-красно-черными аксельбантами, такого же цвета петлицы на воротнике, широкий палаш с медной рукоятью, островерхая калабрийская шапочка с большим черным страусовым пером; человек носил острую бородку-эспаньолку и тоненькие усы; он держался бодро, почти весело, но отнюдь не походил на военного.

Приблизившись к отряду, человек с палашом обратился к Рихарду.

– Приветствую тебя, гражданин. Слава порядку, слава конституции!

Рихард промолчал: слава так слава.

Молодой человек протянул ему руку, капитан пожал ее.

– Я Фриц Гольднер, – с места в карьер представился юноша. – Капитан

второго легиона революционной молодежи.

– Вот как? Выходит, мы в одном чине.

– Мы оба – солдаты отечества и престола, не правда ли?

– Полагаю.

– Итак, да здравствует братство!

Они вновь обменялись рукопожатием.

– Что скажешь хорошего, друг? – спросил Рихард.

– Я узнал, что в этом районе введенная в заблуждение толпа совершила поступки, которые бросают тень на знамя свободы, и пришел для того, чтобы утихомирить бурю.

Рихард изумленно покачал головой.

– Один? Я вот уже трое суток с эскадронам в триста сабель пробую утихомирить толпу, а она все бурлит?.

Молодой герой с гордостью откинул назад голову, страусовое перо на его шапочке заколыхалось.

– Да, один! Я верю в силу убеждения, в силу духа. Я это уже проверил, товарищ. Я наблюдал, как народ, увлеченный моими словами, поднимался, словно гигантское чудовище, с земли и бросался навстречу пушкам и штыкам. И я видел, как те же люди, покорные моим призывам радоваться, смеяться, обнимать вчерашних врагов, хранить молчание, – радовались, смеялись, обнимались или умолкали.

– Гм... любопытно.

– Ты сейчас сам увидишь. Одно пламенное слово стоит больше, чем батарея пушек. Поэтому прошу тебя, отведи своих гусар назад и предоставь мне действовать одному.

– Пожалуйста, делай что пожелаешь. Но оставить эту позицию я не могу, потому что занять ее обратно будет трудненько.

– Тогда оставайся здесь, но только простым наблюдателем. Как твое имя?

– Рихард Барадлан.

– А! Рад тебя приветствовать. Мы большие друзья с твоим братом. Познакомились недавно на баррикадах.

– С моим братом? С Енё? На баррикадах?

– Разумеется. Он был с нами всюду, он славный малый, един из руководителей нашего штаба во дворце Планкенхорст.

При этих словах Рихард свесился с седла и пристально посмотрел в глаза говорящему.

– Ваш штаб во дворце Планкенхорст?

– Ах да, мой друг. Ты ведь еще ничего не знаешь. Эти две дамы стали

самыми рьяными сторонницами дела свободы. От них исходят самые прекрасные идеи. Они предупреждают нас о происках и кознях реакции, ведь они прекрасно знают все ее уловки и хитрости. Эти женщины много сделали для нашей победы. Они – настоящие героини.

Рихард спешил. Бросив поводья своему ординарцу, он взял Фрица под руку и прошел с ним к воротам монастыря.

– Значит, обе баронессы Планкенхорст остались в городе? Ты говоришь, они задают теперь тон освободительному движению? Да знаете ли вы, кто они такие?

Фриц самодовольно улыбнулся:

– Положись на нас, товарищ. Мы отлично знаем их прошлое. Но сейчас они, безусловно, с нами. Это не подлежит сомнению. Душа женщины не может устоять перед хмелем свободы. Тем не менее мы всегда держим ухо востро. Каждый их шаг контролируется. Встреться они хотя бы с одним человеком из своего прошлого окружения, напиши они хоть какое-нибудь подозрительное письмо, мы немедленно об этом узнали бы, и они бы погибли. О, у нас все отлично организовано.

– Допустим, И мой брат Енё тоже с вами?

– В первых рядах.

– И он тоже носит калабрийскую шапочку с пером, саблю на перевязи и пистолет за поясом?

– Конечно. Аксельбант к его мундиру прикрепляла сама Альфонсина Планкенхорст. Мы присвоили ему чин почетного младшего лейтенанта.

Рихард с сомнением покачал головой.

– Скоро ты сам его увидишь. Мы все договорились' направиться сегодня на окраины, чтобы объяснить народу благородные цели нашего движения. Мы погасим вулкан своими руками. Енё тоже сейчас придет сюда. Я, должно быть, выбрал самый короткий путь. Остальные несколько запаздывают.

– Ну, друг мой, – проговорил Рихард, похлопывая юношу по плечу, – всему, что ты говорил до сих пор, я верил, но тому, что касается моего брата Енё, – бог свидетель! – я смогу поверить лишь тогда, когда увижу его здесь своими глазами; да и в этом случае у меня еще останутся сомнения.

Пока они разговаривали, людской поток одолел горящую реку, и среди угасающих сине-зеленых языков пламени в серо-оранжевой дымке начали вырисовываться силуэты людей. Увидев их, молодой вождь студентов начал готовиться к выполнению задачи, которую он сам поставил перед собой.

Перед ним была отнюдь не вдохновенная армия борцов за свободу; это

надвигалась скорее дикая орда заклятых ее врагов!

Когда толпе удалось погасить огонь на мостовой и перебросить мостики на тротуар, она разом хлынула на прилегавшую к монастырю площадь.

То был мутный поток, который лишь с содроганием может списать перо, рискуя быть при этом замаранным.

Каждый, увидев этот сброд, прежде всего испытал бы изумление: откуда в цивилизованном мире взялось столько дикарей, столько одетых в лохмотья, оборванных, уродливых существ? Где скрываются они в обычное, мирное время? Где обитают: на земле или в преисподней? Как и чем живут? По их виду незаметно было, что они где-либо трудятся. Это были подонки общества, отбросы большого города, попрошайки, воры, бежавшие из тюрем уголовники, уличные девки, беспробудные пьяницы, мошенники. Они шли не в одиночку, а скопом. Как они попали сюда, кто собрал их в кучу? Кто их вел, кто натравливал на беззащитных горожан? Кто убедил их в том, что бедняки только потому бедняки, что другие богаты? Кто дал им в руки красное полотнище, когда всюду реют белые флаги свободы?

Среди них не видно было людей из трудового народа.

Когда они прорвались сквозь дым и огонь, даже Фриц Гольднер ужаснулся, увидев их.

Это был вовсе не тот народ-титан, которому он говорил: «Поднимись!» – и тот вставал; говорил: «Молчи!» – и тот умолкал.

В толпе выделялся какой-то лохматый верзила. На нем было такое же рубище, как и на других; закопченное дымом лицо, саженная железная палка в руке, которой он взмахивал над головой словно тростинкой. Он первый выскочил на площадь из пламени, и там, где он ступал, поднимались кверху синие язычки огня. Он шел вперед напролом.

Увидев перед собой отряд гусар, великан попятился, остановился, подождал, пока его нагонят товарищи, а затем, указывая поднятым ломом на стены монастыря, заорал диким надтреснутым голосом:

– В огонь монахов!

Толпа ответила бешеным гиканьем и воем.

В этот вой врезался пронзительно тонкий звук гусарского рожка, подававшего сигнал подготовиться к атаке. Это несколько охладило пыл толпы.

– Умоляю, друг, – обратился к Рихарду студент, – не отдавай приказа к атаке. Мы можем избежать кровопролития. Я попробую воззвать к сердцам этих людей.

– Попробуй, – сказал Рихард. – Я буду рядом с тобой.

И, не садясь на коня, не вынимая сабли из ножен, Рихард спокойно закурил сигару и стал ждать.

– Встань ближе ко мне, – предложил Фриц. – Пусть народ почувствует единство граждан и солдат. Здесь, рядом со мною, ты будешь в безопасности.

Рихард поднялся вместе с Фрицем к самому входу в монастырь, куда вели четыре ступеньки, служившие теперь студенту трибуной.

– Братья! – начал студент.

И он заговорил о великих и прекрасных вещах: о свободе, конституции, гражданском долге и о кознях реакции, о родине, об императоре, о славных революционных днях.

Тем не менее место оказалось не таким уж безопасным: нет-нет над их головами пролетали гнилые картофелины или даже обломки кирпича, – этим способом слушатели вносили в речь свои поправки и замечания. В кивер Рихарда угодило несколько таких «замечаний».

Наконец общий хор голосов и вовсе заглушил речь юного оратора; он вынужден был сделать паузу.

– Друг, с меня довольно гнилой картошки, – сказал ему Рихард. – Если можешь, быстрее договаривайся со своими братьями, а то придется мне вступить с ними в беседу. Пожалуй, так будет вернее.

– Положение весьма трудное, – отдувался Фриц, вытирая платком взмокший лоб. – Народ враждебно относится к священникам. Лигурианцев он уже разогнал и теперь хочет разгромить все монастыри, что и говорить, неблагодарное это дело защищать монахов! Но здесь – женский монастырь, а с женщинами и революция должна обращаться деликатно.

– Я и сам вижу, что здесь женщины, – промолвил Рихард, глядя на окна монастыря.

По счастью, окна были закрыты ставнями, которые кое-как защищали кельи от камней.

Из толпы полетели камни и в солдат; кони забеспокоились, зафыркали.

Когда Фриц снова заговорил, то его голос слился с голосом верзилы, который что-то кричал, размахивая ломом; гудящая толпа не могла разобрать ни слова из их речей.

В эту минуту неподалеку от отряда, на тротуаре, появилась фигура человека, при виде которого потное лицо Фрица Гольднера просияло.

– А вот и он! Наконец-то!

Кто он? То была поистине странная и колоритная фигура: необыкновенно долговязый малый с тремя огромными страусовыми

перьями на шляпе, которые качались при каждом движении; на его гладком, худом и красном лице торчал огромный нос. Через плечо этого студента была переброшена трехцветная лента в ладонь шириной, на которой висела почти под мышкой коротенькая, детская на вид, сабля. Длинные космы волос падали на его плечи.

Смешной человек торопливо подошел к стоявшим на импровизированной трибуне у входа в монастырь людям и обратился к ним со следующими словами:

– Бог в помощь, друзья. Я здесь, бояться нечего» Гуго Маусман, ваш покорный слуга! Старший лейтенант второго легиона. Попали в переplet? Представляю! Мой друг Фриц – превосходный оратор. Но он выступает в амплуа трагика. В трагических ролях он на своем месте. Однако следует понимать, какая публика перед тобой. Здесь нужен Ганс Сакс, а не Шиллер. Кто сумеет рассмешить народ, тот и победил. Вот увидите. Стоит мна заговорить стихами, как они раскроют рты и уже не смогут их снова закрыть. Им останется только изумляться, аплодировать и хохотать, после чего мы поведем их туда, куда пожелаем.

– Посмотрим, удастся ли тебе рассмешить эту публику. Начинай, а то вступлю в дело я, – заязил Рихард.

Гуго Маусман поднялся на ступеньку и, протянув свои длинные худющие руки к народу, сделал комический жест, призывая зрителей к тишине.

Потом достал из кармана штанов табакерку с нюхательным табаком, захватил пальцами понюшку и с шумом вдохнул в себя. Это необыкновенное вступление действительно так поразило бушующее людское море, что оно на минуту притихло.

Этой паузы оказалось вполне достаточно, чтобы Гуго Маусман смог начать свой бесконечный раешник, который сам он обычно называл повестью в стихах.

Одна за другой замелькали сочиняемые им на ходу рифмы: «братья» – «объятья»; «свобода» – «народа»; «Меттерних» – «бросил их»; «генерал» – «прочь удрал»; в заключение слова «бравые кавалеристы» Маусман срифмовал с венгерским приветствием «Hozta isten»,^[50] причем для большей наглядности этого братского союза импровизатор в экстазе обнял гусарского капитана.

– Что ж, друг, их и это не смешит, – заметил Рихард.

Офицера во всей этой комедии больше всего поразило то, что студент целуясь с ним, даже не заметил, что его, Рихарда, горящая сигара прижгла ему щеку.

Гуго продолжал сыпать рифмами, но его уже никто не слушал.

– Долой поповских защитников! В огонь монахов! – гремело со всех сторон.

И в молодых людей снова полетели булыжники и комья грязи.

Брошенное из толпы яйцо угодило прямо в переносицу виршеплету и залепило ему глаза и рот.

– Вот теперь изрекай свои стихи, брат!

Эта сцена действительно рассмешила толпу, но громкий хохот скорее напоминал дикое ржание людей, торжествующих победу над противником, чем смех благодарных зрителей. Они смеялись так, как мог бы смеяться безжалостный палач над канатоходцем, сорвавшимся с троса и переломавшим себе ноги.

Торжествующий хохот был последним грозным предупреждением защитникам монастыря со стороны наседавшей толпы. Она готова была разорвать на куски тех, кого осмеивала.

Капитан бросил на землю недокурную сигару и стал спускаться по ступенькам.

Фриц преградил офицеру дорогу, обнял его и горячо заговорил:

– Друг мои! Брат! Не делан этого! Не допусти кровопролития! Меня пугает не только то, что прольется кровь, но и то, что эта схватка породит ненависть. Л этого нельзя допустить. Твой меч не должен пролить народную кровь. Мы молимся у одного алтаря: не станем же приносить на этот алтарь человеческие жертвы! Все можно еще уладить мирным путем.

– Как?

– Ступай к монахиням, поговори с настоятельницей монастыря. Истинные христианки не могут допустить, чтобы из-за них пролилась кровь сотен людей, чтобы эта битва послужила началом военных распрей между венграми и австрийцами. Нет! Мы не требуем, чтобы женщины принесли себя в жертву! Мы хотим лишь одного: чтобы они ушли отсюда! Боковые ворота охраняются твоими гусарами. Через них монашенки свободно могут уйти в город. Ведь особых богатств в монастыре нет, все самое ценное пусть захватят с собой. А когда монастырь опустеет, мы сами войдем туда с делегатами от толпы. Они увидят, что в монастыре никого нет, и некому мстить, и нет никакого добра для поживы. А здание монастыря принадлежит государству. Мы напишем на стенах, напишем на воротах, что это государственное имущество. И они не станут ничего разрушать. Скоро подойдут и другие наши товарищи. Мы смешаемся с толпой и будем просвещать и разьяснять, успокаивать эти заблудшие души. Прошу тебя, ради всего святого, брат, не вынимай свою саблю из ножен!

Поговори с монахинями. Я же останусь здесь, с Маусманом, и сдержу ярость толпы любой ценой. Мы выстоим до тех пор, пока ты не вернешься.

Рихард пожал руку студента.

– Вы храбрые ребята! Молодцы! Хорошо, я послушаюсь твоего совета. Иди говори с братьями, а я отправлюсь к сестрам.

Рихарду начинали нравиться бескорыстная отвага и самопожертвование этих двух славных и достойных уважения парней, без страха бросавшихся в самую пучину бурлящего моря, чтобы вдохновенным словом или шут-коп предотвратить роковое столкновение.

Он решил помочь, чем только сможет, их благородному намерению.

Дряхлый привратник монастыря, наблюдавший через глазок двери за ходом событий, сразу впустил Рихарда, едва тот назвал себя.

Затем он снова задвинул засов и подробно объяснил офицеру, как лучше пройти к настоятельнице.

Поднимаясь по лестнице, Рихард обдумывал, что он ей скажет. Как сообщить об опасности? Как объяснить необходимость пойти на уступки? Почему монахини должны принести эту жертву?

Он чувствовал себя немного неловко от того, что ему, офицеру, придется сказать женщинам, что он не может обнажить меч в их защиту. Сколько раз он это делал за один лишь мимолетный взгляд какой-нибудь красотки! В скольких дуэлях участвовал только потому, что кто-то осмеливался пригласить даму его сердца на контрданс! Единственным успокоением, которое он придумал себе, было то, что монахини – это, собственно говоря, не женщины, а так, существа, не имеющие пола.

Проходя по коридору, Рихард не встретил ни одной живой души.

Все обитательницы монастыря собрались в трапезной.

Окна ее выходили на улицу, но внутренние ставни были закрыты, и довольно большой зал освещался лишь через распахнутую настежь дверь.

Когда Рихард переступил этот запретный для мужчин порог, он оказался свидетелем ужасного зрелища.

Посреди зала корчилась в судорогах какая-то монахиня. Она уже давно страдала припадками, а события последнего дня окончательно доконали бедняжку. Испуг при виде толпы и доносившийся с улицы грозный рев вызвали у нее припадок эпилепсии. Монашенки ухаживали за ней и, столпившись вокруг, пытались ее успокоить.

Вдруг, в полутьме, среди монахинь, стоявших на коленях возле бившейся в судорогах несчастной, Рихард различил знакомое лицо, при виде которого вся кровь прилила к его сердцу.

То была Эдит.

Так вот, значит, в какой «институт» заточили ее тетушка и кузина!

Девушка тоже узнала любимого и бросила на него взгляд, полный невыразимой радости.

Настоятельница – высокая, сухопарая монахиня с гордо поднятой головой и строгим взором – подошла к капитану и спокойным, бесстрастным голосом спросила:

– Что вам угодно?

Все заранее приготовленные слова вылетели в эту минуту из головы Рихарда.

Вместо них он произнес лишь одну фразу:

– Будьте спокойны, мать-игуменья, клянусь именем бога, что я разгоню этот сброд!

В ставни ударил град камней.

Глаза Рихарда снова встретились с испуганным взглядом Эдит. Гнев охватил все его существо: он видел корчившуюся на каменном полу в смертных муках монахиню, видел протянутые к нему руки и отчаянный взгляд любимой, слышал яростный рев толпы за стеной. Все перевернулось в нем, душа возмутилась, разум затуманился.

Не медля ни секунды, не дождавшись ответа игуменьи, он резко повернулся, бросился вниз по лестнице, распахнул ударом ноги монастырскую калитку, отбросил в сторону вставших на его пути обоих студентов, подбежал к своему коню, вскочил в седло, и, пришпорив некому мстить, и нет никакого добра для пожизны. Л здание монастыря принадлежит государству. Мы напишем на стенах, напишем на воротах, что это государственное имущество. И они не станут ничего разрушать. Скоро подойдут и другие наши товарищи. Мы смешаемся с толпой и будем просвещать и разьяснять, успокаивать эти заблудшие души. Прошу тебя, ради всего святого, брат, не вынимай свою саблю из ножен! Поговори с монахинями. Я же останусь здесь, с Маусманом, и сдержу ярость толпы любой ценой. Мы выстоим до тех пор, пока ты не вернешься.

Рихард пожал руку студента.

– Вы храбрые ребята! Молодцы! Хорошо, я послушаюсь твоего совета. Иди говори с братьями, а я отправлюсь к сестрам.

Рихарду начинали нравиться бескорыстная отвага и самопожертвование этих двух славных и достойных уважения парней, без страха бросавшихся в самую пучину бурлящего моря, чтобы вдохновенным словом или шут-коп предотвратить роковое столкновение.

Он решил помочь, чем только сможет, их благородному намерению.

Дряхлый привратник монастыря, наблюдавший через глазок двери за

ходом событий, сразу впустил Рихарда, едва тот назвал себя.

Затем он, снова задвинул засов и подробно объяснил офицеру, как лучше пройти к настоятельнице.

Поднимаясь по лестнице, Рихард обдумывал, что он ей скажет. Как сообщить об опасности? Как объяснить необходимость пойти на уступки? Почему монахини должны принести эту жертву?

Он чувствовал себя немного неловко от того, что ему, офицеру, придется сказать женщинам, что он не может обнажить меч в их защиту. Сколько раз он это делал за один лишь мимолетный взгляд какой-нибудь красотки! В скольких дуэлях участвовал только потому, что кто-то осмеливался пригласить даму его сердца на контрданс! Единственным успокоением, которое он придумал себе, было то, что монахини – это, собственно говоря, не женщины, а так, существа, не имеющие пола.

Проходя по коридору, Рихард не встретил ни одной живой души.

Все обитательницы монастыря собрались в трапезной.

Окна ее выходили на улицу, но внутренние ставни были закрыты, и довольно большой зал освещался лишь через распахнутую настежь дверь.

Когда Рихард переступил этот запретный для мужчин порог, он оказался свидетелем ужасного зрелища.

Посреди зала корчилась в судорогах какая-то монахиня. Она уже давно страдала припадками, а события последнего дня окончательно доконали бедняжку. Испуг при виде толпы и доносившийся с улицы грозный рев вызвали у нее припадок эпилепсии. Монашеники ухаживали за ней и, столпившись вокруг, пытались ее успокоить.

Вдруг, в полутьме, среди монахинь, стоявших на коленях возле бившейся в судорогах несчастной, Рихард различил знакомое лицо, при виде которого вся кровь прилила к его сердцу.

То была Эдит.

Так вот, значит, в какой «институт» заточили ее тетушка и кузина!

Девушка тоже узнала любимого и бросила на него взгляд, полный невыразимой радости.

Настоятельница – высокая, сухопарая монахиня с гордо поднятой головой и строгим взором – подошла к капитану и спокойным, бесстрастным голосом спросила:

– Что вам угодно?

Все заранее приготовленные слова вылетели в эту минуту из головы Рихарда.

Вместо них он произнес лишь одну фразу:

– Будьте спокойны, мать-игуменья, клянусь именем бога, что я

разгону этот сброд!

В ставни ударил град камней.

Глаза Рихарда снова встретились с испуганным взглядом Эдит. Гнев охватил все его существо: он видел корчившуюся на каменном полу в смертных муках монахиню, видел протянутые к нему руки и отчаянный взгляд любимой, слышал яростный рев толпы за стеной. Все перевернулось в нем, душа возмутилась, разум затуманился.

Не медля ни секунды, не дождавшись ответа игуменьи, он резко повернулся, бросился вниз по лестнице, распахнул ударом ноги монастырскую калитку, отбросил в сторону вставших на его пути обоих студентов, подбежал к своему коню, вскочил в седло, и, прищпорив у каждого – обязательно белая лента на левой руке. Это – не давешний сброд.

– Кто вы? – спросил Рихард людей, выезжая вперед на гарцевавшем коне.

– Национальная гвардия, – с достоинством ответил человек, стоявший во главе отряда, по-видимому его командир.

– Что вам угодно? – осведомился капитан гусар.

Вопрос этот застал пришедших врасплох. Заслуженный командир отряда, майор национальной гвардии, в прошлом известный мастер по дублению кож не нашелся сразу что ответить.

Но среди вновь прибывших находились уже знакомые нам Гольднер и Маусман, стоявшие во главе студенческого легиона. В ответ на вопрос капитана они пропели на мотив марсельезы стихи, из которых каждый мог узнать, что это славное войско имеет одну боевую задачу: пронести вперед развернутое знамя свободы и общественного порядка, под угрозой штыков загнать гидру реакции обратно в ее логово, братски сплотить всех граждан страны.

Рихард терпеливо прослушал песню, которую хором пропели Фриц и его друзья.

– Теперь я не прочь услышать от вас в прозе: зачем вы сюда пожаловали?

На этот раз майор решил сам ответить на трудный вопрос:

– Мы пришли восстановить мир и порядок.

– Ну что ж, пожалуйста, – флегматично промолвил Рихард.

Командир национальных гвардейцев растерянно огляделся вокруг. Как надо понимать это приглашение установить мир и порядок, когда по всей ширине улич цы, перекрывая путь, стоит гусарский отряд. Не могут же они перепрыгнуть через конницу! Майор вынужден был посоветоваться со своими офицерами, прежде чем ответить гусарам.

Бедняга взмок от раздумий. Ведь ему никогда еще не приходилось командовать такой массой людей, если не считать того, что он возглавлял процессию прихожан в праздник «тела господня».

– Так вот, стало быть... Видите ли, господин капитан... Вместе будем... как это говорится... взаимодействовать.

– Ах, вон оно что? А есть у вас на этот счет приказ?

Этот вопрос заставил славного майора пожалеть, что он ввязался в военные дела. Гольднер и Маусман поспешили к нему на выручку и подсказали, что ему следует отвечать:

– Конечно есть. От студенческого штаба и командования национальной гвардии.

Что-то не слыхал о таких.

Майор покраснел.

– Ну, знаете, капитан!..

– Прошу вас не гневаться, майор, но в этом вопросе должна быть полная ясность. Если, как вы говорите, нам надо действовать вместе, то либо вы будете командовать мною, либо я – вами. Это должен решить наш общий воинский начальник.

– Что ж нам делать?

– Пошлите кого-нибудь в Генеральный штаб или в военное министерство, пусть он расскажет о создавшемся положении и привезет мне письменный приказ, согласно которому я и буду действовать. До тех пор останемся на своих местах: мы – в седле, вы – в строю.

Это предложение было принято.

Майор послал гонцами двух самых расторопных людей: Маусмана – в Генеральный штаб, Гольднера – в военное министерство; доложив, согласно собственному усмотрению и пониманию, обстановку, они должны были принести соответствующие распоряжения капитану.

Но все дело в том, что «собственное усмотрение и понимание» было совершенно различным у каждого из них, они смотрели на мир сквозь разные очки. Нельзя забывать, что увлекающийся Гольднер был мечтателем и идеалистом, а Маусман – поэтом улицы, получившим в награду от публики за лучшее из своих сочинений тухлое яйцо, что стало для него одним из самых неприятных воспоминаний.

Пока гонцы выполняли задание, оба войска расположились на противоположных сторонах площади.

Рихард ни на минуту не забывал, что он оберегает свою Эдит. Если бы не это обстоятельство, он давно бы уже, не задумываясь, передал национальным гвардейцам честь охраны женского монастыря. Это бы

сняло с него бремя тяжелой ответственности. Какая ему разница, кто будет защищать монахинь и будут ли их защищать вообще! Но здесь была Эдит! Вот почему в ворота монастыря никто не должен войти!

Прошло добрых два часа, прежде чем вернулись гонцы.

Каждый из них привез Рихарду запечатанный пакет. Сначала капитан прочел приказ, который доставил Маусман из Генерального штаба.

До чего же разозлился его высокопревосходительство! Как бранил он Рихарда за мягкотелость и нераспорядительность, проявленные капитаном в тот день. Почему он сразу не вмешался в дело? Почему позволил распространиться бунту? Он обязан был немедленно стрелять, рубить, давить. В будущем ему надлежит лучше выполнять свои обязанности.

«Ну и приказ!» – подумал Рихард.

Что же писало военное министерство?

Во втором приказе Рихард получил выговор за гусарскую браваду и ненужную лихость, с какой он раньше, времени разогнал мародеров и вызвал этим кровопролитие, тогда как можно было вразумить их лишь угрозой применения оружия. За свою поспешность Рихард получил строгое внушение. На будущее ему предлагалось действовать с большим тактом и осторожностью. Кровопролития нельзя допускать ни при каких обстоятельствах!

Капитан сунул за борт мундира оба приказа. Затем он взял свою саблю доброй дамасской стали и, ухватившись одной рукой за конец острия, а другой – за эфес, изогнул клинок в дугу, сказав про себя: «Мой славный меч, не будь ты моим последним и единственным другом, я сейчас сломал бы тебя пополам».

Рихард подъехал к национальным гвардейцам.

– Господин майор! Порядок в районе восстановлен. Вам остается лишь поддерживать его.

И, повернув коня, Рихард дал отряду сигнал к маршу.

– Жаль, – пробормотал себе в усы господин Пал. – Заодно можно было бы разделаться и с этими.

Те, кто любит

Но вот прекрасный сон кончился.

Очнемся, наступил мрак!

Губительный, черный, как сажа, беспросветный мрак Огромный город погружен во тьму, ни одна лампа не горит в полуночный час, ни одно окно не светится в ночи. На улицах не видно ни зги; в лабиринте много, этажных домов так же трудно находить путь, как в дебрях девственного леса. Черное небо кажется крышей этого страшного города-тюрьмы, чьи закрытые ворота ведут не в дом, а в катакомбы и казематы.

Даже шаги не нарушают царящей вокруг тишины. Лишь каждые два часа с высокой башни взлетает краснохвостая ракета, вычерчивающая в небе огненный вопросительный знак: кто знает, кому он служит сигналом?

Нет это не химера больного воображения: этот город – Вена.

Шли последние дни октября. Столицу осаждали с трех сторон.

Часть жителей убежала, другая часть – сражалась на окраинах; в самом городе остались только те, кто скрывался. Газовые фонари разбиты, нечем, да и незачем было освещать улицы. Поистине, зрелище напоминало Ниневию в ночь перед опустошением!

Можно долго идти по улицам, прежде чем кого-нибудь встретишь. Хорошо еще, что в темноте не видно груд стекла и кирпича на мостовой, испещренных картечью стен зданий, разрушенных гранатами крыш и разбитых прямым попаданием снаряда домов.

Где-то, в самом конце длинной улицы, путь преграждает высокая неровная груда камней. Это баррикада.

Два знамени на гребне ее. Ночь окрашивает их сейчас в черный цвет, но на самом деле цвет знамен совсем иной.

Возле баррикады – люди. Костер не горит: здесь тоже темно и тоже тихо.

Кое-кто из мужчин спит, изголовьем для них служит квадрат брусчатки.

Те, кто бодрствует этой зловещей ночью, тихо беседуют друг с другом.

Двое юношей сидят на лафете пушки и коротают время за шутливой беседой.

Один из них без руки: он потерял ее в бою.

– Послушай, Маусман. – говорит однорукий, – мне кажется, скоро отыщется моя отрезанная рука.

Его товарищ не может отказать себе в удовольствии ответить в рифму:

- Если рядом с тобой похоронят другого однорукого шутника.
- Мне что-то шепчет: ты, Фридрих, конченный человек!
- Полиция будет рада не видеть тебя вовек.
- Эх, друг, мне лишь своей любви жаль.
- А мне вот неведома эта печаль.
- Лишь одно ты должен мне обещать.
- Тебе я ни в чем не могу отказать.
- Если здесь я погибну, и нам придется расстаться...
- Что, между прочим, вполне может случиться.
- Передай, что она была моим последним вздохом.
- Мол, «с вашим именем, мамзель, взял да и сдох он».
- Если в сердце мне вонзится вражеский меч...
- Тебе останется лишь в землю лечь...
- Здорово ты рифмуешь! Кто тебя учил?
- Ты ей напиши: «Мамзель, я вас любил!»
- Пошел ты к черту со своими виршами! Я серьезно говорю.
- Ну, это я еще посмотрю.
- Ты отнесешь мою визитную карточку Альфонсине.
- Непременно. И даже надену мундир свой синий.
- Немного бы света, я хочу излить ей душу...
- Граната! Ей-богу! Спасай свою тушу!

И действительно, прилетевшая издалека граната с воем и треском упала у самой баррикады. Шипя и крутясь, она продолжала еще некоторое время извергать пламя, бросая на вскочивших людей алые отблески.

Маусман даже и тут не изменил своей привычке говорить стихами:

- Вот тебе и свет: Пиши скорей: «Мадам, без вас мне жизни нет».

При отсветах шипящей гранаты Гольднер начертал на своей визитной карточке следующие слова: «Я вас люблю, прощайте!»

Едва он успел написать последнее слово, как граната разорвалась, и над головой юношей прожужжали раскаленные осколки. К счастью, они их не задели.

Для студентов подобные сюрпризы уже не были новостью – они лишь махнули рукой.

Гольднер отдал свою визитную карточку Маусману.

Немного помолчав, Маусман произнес:

- А знаешь, Фриц, о чем я сейчас думаю?
- Мне тоже отвечать в рифму?
- Нй надо. Мне кажется, что эти ангелы нас предали.

- Откуда ты это взял?
- По ту сторону баррикады известно все, что мы хранили в тайне.
- У них хорошие шпионы.
- И думается мне, что дамы Планкенхорст лучшие из них.
- Это невозможно. Ты ведь знаешь, что их привратник преданный нам человек. Он доносит нам обо всех, кто днем или ночью является во дворец.

Никто из посторонних к ним не ходит, и сами они никуда не выезжают. Единственно, кто по воскресеньям регулярно их посещает, это сестра Ремигия из монастыря святой Бригитты; монахиня сопровождает барышню Эдит, воспитывающуюся в монастыре, когда та приходит навестить тетку. А монахини, как тебе известно, мало интересуются политикой. Кроме того, они нам многим обязаны: ведь мы неоднократно защищали их от гнева народного.

– Возможно и так, но я хочу тебе сказать, что все-таки зря мы вмешиваем в наши дела женщин.

– Не будь неблагодарной свиньей, Маусман. Вспомни хотя бы о женском демократическом обществе. Сколько оно сделало для нашего дела: кто ухаживал за ранеными, кто собирал для нас деньги, кто вдохновлял в бою наших бойцов. О мой друг, без женщин за свободу нельзя воевать!

- Ты хочешь сказать – флиртовать!
- Опять рифмы плетешь?
- От них никуда не уйдешь.
- Бессовестный! Ты не заслужил того, чтобы красивейшие женщины

Вены целовали твою рожу!

- Ну и что же?
- И ты их еще ругаешь?

– А ты ни черта не понимаешь. Все это было сперва. А теперь, когда нас разобьют, их нежные ручки шеи врагов обовьют. И все сувениры, предназначавшиеся ранее нам, теперь перейдут прямехонько к нашим врагам. Так и будет, дружище, вопрос этот ясен.

– Ну, тут я с тобой не согласен, – ответил Гольднер, невольно попадая в рифму.

Наступил час смены караула. Друзья отправились отдыхать. В стенах полуразрушенного сахарного завода их ждали нары, на которых лежала сырая солома. Надо было набраться сил для завтрашних боев.

Тем временем по темным улицам Вены медленно двигалась карета с двумя фонарями, светившимися в темноте, как два блуждающих светлячка. Эти огоньки еще больше подчеркивали могильный мрак ночи, окутавшей город.

Экипаж остановился у дворца Планкенхорст, кучер слез с козел, сам открыл ворота, и карета въехала во двор.

Из экипажа вышли две женщины: монахиня и совсем юная девушка. Они торопливо поднялись по лестнице, которую освещала сама хозяйка дома, вышедшая им навстречу с двойным подсвечником в руках.

Баронесса обняла монахиню, а девушке протянула руку для поцелуя; капюшон девушки сдвинулся на затылок, и из-под него выглянуло неунывающее личико Эдит.

– Да хранит вас небо, сестра Ремигия, – тихо проговорила баронесса.

– Воистину небо служит мне защитой, сестра моя, если в эту ужасную ночь я благополучно добралась до вас от самого монастыря. Нигде не горит ни один фонарь, все мостовые разрыты.

– Но бог хранит своих избранных и не дает им споткнуться.

– Воистину так, сестра моя. Лишь благодаря чуду мы остались живы. Но куда опять убежала барышня? Ох, сколько с ней хлопот! Слежу за ней, как за дикой козочкой.

– Ничего, она пошла в зал. Спешит услышать новости от Альфонсины. Ну, сестра моя, сегодня я расскажу вам такое, что вы всю жизнь будете помнить.

С этими словами баронесса провела сестру Ремигию в столовую, где их уже ждал накрытый стол: холодные закуски, тонкие вина, ликеры. В серебряном чайнике кипел чай.

– Альфонсина; прошу тебя, загляни в лакейскую и скажи, чтобы сюда никто не заходил.

Эдит хотела опередить кузину:

– Давайте, я пойду.

– Оставайтесь, моя милая. Сегодня вы гостя. Вам надо отдохнуть.

Эдит только передернула плечиками в ответ на подобную заботу и позволила баронессе ухаживать за собой. Хозяйка дома сама повесила ее плащ.

– Пожалуйте к столу.

Госпожа Антуанетта усадила монахиню на диван у круглого столика. Эдит заняла место рядом с нею.

После того как баронесса еще раз самолично убедилась, что в соседних комнатах никого нет, она закрыла за собой двери и, попросив Альфонсину приготовить для всех чай, села почти вплотную к монахине.

– Что просил передать генерал?

– Завтра – решительное наступление. – прошептала сестра Ремигия, озираясь по сторонам, будто сомневаясь, не подслушивают ли их стены,

картины и скульптуры.

– Знает ли он неприятную новость?

– Какую?

– Среди войск, окруживших город, есть отряд, о котором мятежники надеются договориться. Гольднер раскрыл мне их планы. Я выразила беспокойство по поводу того, что с нами будет, если город возьмут штурмом. Подумать только, сказала я, что победитель сделает с теми, кто играл видную роль в революции! И этот наивный мальчик утешил меня, заверив, что нам нечего бояться. В критический момент, когда судьба города окончательно решится, будет, дескать, организована эвакуация тех, кто не должен попасть в руки врага. На дороге между кладбищами Мариахильф и Лерценфельд расположился отряд гусар, участвующих в осаде города. С этим отрядом студенты давно уже свели дружбу и теперь надеются, что в момент смертельной опасности он не только откроет им выход из города, но, присоединившись к ним, защитит их от преследователей. Таким образом, те, кому это нужно, смогут убежать из Вены в Галицию или Венгрию. Выполнению этого плана мятежников препятствует лишь одно обстоятельство – упрямство капитана гусар. Его зовут Рихард Барадлаи.

– А, тот самый, что защищал наш монастырь?

– За это вы должны быть благодарны красивым глазкам моей племянницы Эдит.

– Насколько мне известно, капитан и раньше не очень-то дружелюбно относился к мятежникам.

– Во многом он был не согласен с ними. Они никак не могли привлечь его на свою сторону. Солдаты его отряда поддались на уговоры, но они очень любят своего капитана. Если он прикажет им драться, они пойдут за ним в огонь и в воду. Но вся беда в том, что они скоро получат неожиданную поддержку.

– От кого?

– От женщины.

– От женщины?

– Да, очень опасной и способной на любой отважный поступок, Это – мать братьев Барадлаи.

– Но как она сумела пробраться в осажденный город?

– Чрезвычайно смелым, почти невысказанным способом. Фриц рассказал мне всю историю. Эта аристократка переделалась в старое платье зеленщицы и вместе с торговкой, взвалив мешок лука и картофеля на спицу, прошла через все посты. По дороге они продавали солдатам зелень и

вино и таким образом пробрались в столицу. Они остановились в домике зеленщицы, на улице Зингерштрассе, семнадцать.

– Удивительная смелость! Чего она хочет?

– Увезти своих сыновей в Венгрию.

При этих словах взгляды обеих кузин скрестились, В одном из них сверкала злоба, в другом – гордость...

– Значит, она хочет увезти с собой сыновей? – с удивлением переспросила монахиня.

– Да. Она думает уговорить их отправиться в Венгрию и перейти на службу к тамошнему правительству.^[51]

– И она их уже видела?

– К счастью, еще не успела. Она только сегодня вечером добралась сюда. Но Гольднер с ней уже говорил. Он посоветовал ей не выходить ночью из дому. Таким образом, она отправится к Рихарду лишь на рассвете. Пусть сходит, пусть поговорит. Эту возможность ей следует предоставить. Потом она снова вернется в город. Если она встретится с Рихардом, то наверняка переубедит его. Вы, сестра Ремигия, должны все это передать генералу. Завтра вечером, перед наступлением, генералу надо окружить надежными войсками гусарский отряд. Какая часть стоит там поблизости?

– Кирасирский полк Отто Палвица.

– Очень кстати. Гусар сомнут в два счета, а капитана Рихарда пристрелят на месте.

И все это приходилось выслушивать Эдит!

Зачем нужно было говорить при ней? О том, что все это было подсказано баронессе строго продуманным, хладнокровно рассчитанным планом, читатель узнает и поймет позднее, в конце нашего повествования, а пока будет считать, что эти жестокие слова вырвались у баронессы в присутствии Эдит вследствие слепой и беспощадной ненависти к бедной девушке и ради удовольствия насладиться страданиями своей несчастной жертвы. Черная душа этой женщины желала упиться смертельными муками другой женской души.

Но насладиться этим ей не удалось.

Ни один мускул не дрогнул в лице Эдит. Девушка ничем не обнаружила, что ее хоть в какой-то мере занимает этот разговор.

Она с аппетитом ела.

Когда баронесса предрекала близкую смерть Рихарду, Эдит отправила в рот такой большой кусок ветчины, что лицо ее перекошилось, затем она попросила передать ей уксусу к маринованным грибам, лежавшим у нее на тарелке.

Альфонсина кипела от злости при виде такого безразличия кузины. Наконец она не выдержала и ледяные тоном спросила:

– Как видно, милочка, тебе не очень-то портит аппетит весть о скорой гибели жениха.

Эдит подцепила вилкой маринованный гриб и с кокетливой миной ответила Альфонсине:

– Лучше мертвый жених, чем живой, но сбежавший.

С этими словами она поднесла вилку ко рту.

– Indomptable!^[52] – процедила сквозь зубы баронесса.

А сестра Религия, подняв глаза к потолку и сложив на груди руки, изобразила на своем лице полнейшее осуждение этому испорченному до мозга костей существу. Ничто, мол, не действует на жесткое сердце дерзкого создания!

Эдит словно не замечала стараний трех этих василисков^[53] превратить ее в камень. Она пододвинула свой бокал Альфонсине и как ни в чем не бывало сказала:

– Налей мне ликера, пожалуйста. Раз мне суждено стать монашенкой, я должна к нему привыкать.

Альфонсина передала ей бутылку и смотрела, как Эдит наливает вино.

Нет, руки Эдит не дрожали, когда она разливала тягучее зелье: она до краев наполнила свою рюмку и рюмку сестры Ремигии.

– Выпьем, сестра, ведь и у нас должно быть какое-то утешение, – произнесла девушка с шаловливой улыбкой.

Монахиня для приличия немного поломалась, говоря, что она столько не выпьет, но в конце концов выпила все до дна: ликер был ее слабостью.

– Вы сущий бесенок, моя дорогая!

Между тем баронесса продолжала свои наставления:

– Не забудьте, сестра, адрес зеленщицы, у которой остановилась госпожа Барадлаи: Зингерштрассе, семнадцать, овощная лавка в подвале. Губернаторша непременно вернется туда, ведь ей надо увезти с собой и второго сына. Ее должны взять живьем. Завтра утром обычным способом информируйте обо всем генерала. Мы ни в коем случае не должны сейчас ни во что вмешиваться, чтобы капитан Рихард не пронюхал чего-нибудь. Этот человек должен погибнуть во что бы то ни стало. Сколько бы ангелов-хранителей ни слетелось к нему, он должен умереть.

Как отнеслась к этим словам Эдит?

Ужасная девчонка!

Она спокойно берет кусок сыра бри, пьет ликер и потчует им

монахиню.

Верно, она хочет утопить горе в вине. Право, у нее есть на то причины. Бедняжка!

Сколько героизма потребовалось девушке для того, чтобы есть с таким аппетитом, пить с такой жаждой в ту минуту, когда при ней вели разговор, от которого сердце ее содрогалось и замирало!

Но Эдит должна была выдержать свою роль! Пусть думают, что ей пришлось по вкусу монастырская жизнь, что она помышляет лишь об одном: о райском блаженстве в загробном мире и о лакомых блюдах в мире земном.

Вскоре она сделала вид, что борется со сном, и веки ее смежились будто сами собой. Она запрокинула голову на спинку стула и закрыла глаза. Но сквозь опущенные густые ресницы она продолжала украдкой наблюдать за лицами трех женщин.

Те поверили, что Эдит задремала. Ее родственницы перестали взирать на нее с ехидством и ненавистью. В их взгляде сквозило теперь скорее напряженное внимание и нескрываемая злоба.

– Она всегда такая? – спросила баронесса монахиню.

– Лениость – главная черта ее характера, – отвечала монахиня, устремив осуждающий взор к потолку. – Она способна проспять до обеда, если ее не разбудят, а вечером в это время она уже снова в постели. Ее не занимает ни чтение, ни работа. Безделье – вот ее любимое времяпрепровождение. Бесчувственное создание. Есть да спать – это все, к чему она стремится.

– Не препятствуйте ей в этом. Пусть чувствует себя в монастыре как можно уютнее. Плату за ее содержание мы внесем вперед до самой ее смерти. Пусть девочка отдыхает. Дома ей пришлось бы снова работать.

– Значит, Рихард Барадлаи навеки для нее потерян?

– Да, как бы ни повернулось дело. Так или иначе он должен погибнуть. Если матери удастся с ним свидеться, она наверняка убедит его бежать с отрядом в Венгрию. Одного своего сына она уже вовлекла в борьбу. Он стал правительственным комиссаром и набирает войско. Это ее первенец! Но предположим, Рихард не встретится с матерью. Тогда он не даст своему отряду пропустить мятежников. В этом случае в ход пойдут пистолеты, и в решающую минуту его выстрелом уложат наповал. Фриц сообщил мне, что среди гусар есть два человека, которым поручено убить командира.

– И эта решающая минута уже близка?

– Еще одна успешная атака, и мятежники не продержатся дольше одного дня. Ночью они должны будут прорваться через Лерхенфельдское кладбище, где, по их расчетам, будет стоять отряд Барадлаи. Таким

образом, в их распоряжении лишь сутки. Если капитан встретится с матерью, то завтра вечером он будет уже пойман, а послезавтра утром мертв. Если он не поговорит с нею, то его пристрелят сами гусары. По мне хорошо и то и другое. Я не настаиваю на виселице для него, хотя он вполне заслужил мою ненависть.

– Через два дня все будет кончено.

– И всей комедии конец!

– Да, мы весело посмеемся.

– Ха-ха-ха!

Они уже заранее смеялись.

Весь этот разговор Эдит пришлось выслушать, не выдавая ни одним движением, что она все слышит, понимает и внутренне содрогается! Она притворялась, будто крепко уснула под действием ликера.

Ей пришлось выслушать и всю дальнейшую беседу, когда три женщины заговорили о том, что произойдет в городе через два дня: сотням и тысячам людей они предрекали скорую смерть, тем своим «друзьям», которых они еще накануне встречали улыбками и поцелуя» ми. Они уже предвкушали удовольствие от того, что те самые белые знамена, которые не так давно их белые нежные руки украшали венками и трехцветными лентами, будут втоптаны в грязь. Хладнокровно и цинично они перечисляли имена тех, кого поведут на плаху, схватят и закуют в цепи, хотя только вчера они с подлым двуличием именовали их героями, своими добрыми друзьями и братьями.

Эдит понимала, что она не вправе выдавать свой ужас. Все силы души она употребляла на то, чтобы побороть страх, чтобы подавить лихорадочную дрожь, сотрясавшую все ее существо, чтобы не застучать зубами, как это бывает с детьми, когда им привидится кошмарный сон.

Наконец подошло время отъезда.

Эдит почувствовала, как чья-то холодная, словно змеиное жало, рука тянется к ее лицу. Но она не посмела отшатнуться.

Пусть они ее будят, пусть изо всех сил трясут за плечи, Эдит долго не разомкнет глаз! Потом, зевая и пошатываясь, она склонится на плечо сестры Ремигии, которая, поддерживая девушку, должна будет вести ее по лестнице до самого экипажа.

Госпожа Антуанетта проводила их.

– В доме нет ни одного мужчины, чтобы открыть ворота, – пожаловалась она. – Всех взяли на баррикады, даже привратник ушел. Мы совершенно одни. Если бы кучер не был глух и хром, его бы, наверное, тоже забрали.

Баронесса дошла до самой кареты, чтобы своими глазами убедиться, что монахиня увезла с собой Эдит.

Мало ли что может быть? Осмотрительность никогда не мешает.

Только когда баронесса увидела, что Эдит тяжело опустилась на сиденье и тут же уронила голову на грудь, она окончательно успокоилась и вернулась в свои апартаменты.

Фамильная карета медленно покатила по темным улицам, то и дело натываясь на вывороченные камни мостовой. Кучер клевал носом.

Когда карету обступил мрак, Эдит открыла глаза.

Что она высматривала во тьме? О чем думала?

Лишь об одном.

Бежать!

Бежать во что бы то ни стало! Бежать, если бы даже сонм чертей охранял дверцы кареты, если бы даже призраки всех мертвецов, погибших в тот кровавый день, разгуливали по неосвещенным улицам мрачного города.

Эдит бросила пристальный взгляд на свою спутницу.

Та уже спала.

Не притворялась, как Эдит, а в самом деле спала сном праведницы после сытной трапезы.

Когда карета миновала центр города и выехал на линию бульваров, монахиня захрапела во сне. Выпитый ликер сделал свое дело.

Как только девушка услышала этот храп, она осторожно открыла дверцу кареты и выпрыгнула на мостовую.

Кучера можно было не опасаться: он был глуховат и, вероятно, тоже дремал на козлах.

Со всех ног, насколько ей позволяло дыхание, она бросилась бежать по аллее бульвара к городу.

Лишь достигнув первой темной улицы, Эдит оглянулась и увидела одинокий огонек фонаря, который, словно бродячий светлячок, все уменьшался, по мере того как карета увозила монахиню все дальше и дальше во мрак беззвездной ночи.

Только бы ночная прохлада не разбудила сестру Ремигию раньше времени. Ведь тогда за Эдит устремились бы в погоню.

Девушка торопливо завернула за угол и пошла быстрым шагом по тихой и темной улице.

В глухую полночь, когда не видно ни зги, незащищенная девушка, почти ребенок, бесстрашно шла по неосвещенному, тревожно спящему огромному городу, разыскивая ту улицу, тот дом, где она никогда еще не была, чтобы увидеть женщину, которую она никогда еще не видала.

Лишь безграничная, самозабвенная любовь могла превратить это слабое существо в настоящую героиню, способна была придать ей силы для такого подвига.

Куда идти? Как не заплутаться в этой темноте?

Высокий купол собора св. Стефана служил ей единственным ориентиром.

Улица Зингерштрассе должна быть где-то в той стороне.

Следовательно, надо прежде всего выйти к собору. Авось по дороге встретится добрая душа, которая подскажет ей, куда идти дальше.

Теперь Эдит могла дать выход своему волнению. Пусть громко стучит сердце, пусть дрожит каждый нерв, – теперь ее уже никто не видит.

Трясаясь словно в лихорадке, задыхаясь от бега, Эдит миновала одну улицу, затем другую; она спешила к заветной цели – высокой готической башне собора. Кругом по-прежнему царили мрак и тишина. Ей чудилось, будто она пробирается по глубокому подземелью в каком-то сказочном лабиринте. На узких улицах центра города, среди многоэтажных домов ночь казалась еще темнее. Все окна были завешаны, фонари потушены: нельзя, чтобы осаждающие нащупали хотя бы одну мишень.

Все, кто смел духом, – на окраинах, у городских ворот, на баррикадах; все, кто робок, – в подвалах, в поисках спасения от снарядов. Город вымер. Улицы пустыньны.

Девушка бежит, едва касаясь земли, не слыша звука собственных шагов. Ей очень страшно; она боится темноты, своего одиночества, но гораздо сильнее этого страха чувство любви к Рихарду, которому сейчас грозит смертельная опасность; она обязательно должна его спасти! Подобно горячечному бреду, одолевающему в конце концов тяжелобольного, внезапно родившаяся отчаянная отвага помогла ей превозмочь страх. Эдит походила в тот час на тех больных горячкой людей, которые вскакивают в забытьи с постели, бросаются к окну, чтобы выпрыгнуть из него; они способны бежать босиком по острым камням, кинуться в реку, не умея плавать, напасть на более сильного человека, – и все это от страха, в исступлении.

Эдит остановилась и прислушалась: уже второй раз или часы на городской башне. Значит, она блуждает уже полчаса, а между тем ей было хорошо известно, что за полчаса центральные улицы Вены можно пересечь, идя спокойным шагом. Стало быть, она сбилась с пути. Она обрадовалась, очутившись на небольшой площади, где скрещивалось несколько улиц.

Эдит снова стала искать глазами купол собора св. Стефана. Теперь он высился вправо от нее.

Итак, она все-таки не ошиблась!

Зингерштрассе должна находиться где-то поблизости. Но как разглядеть в этом кромешном мраке табличку с названием улицы и номером дома?

Девушка остановилась на углу какой-то улицы и присела на каменную тумбу. Только теперь она почувствовала усталость.

В третий раз послышался неторопливый, степенный бой городских часов. Они пробили двенадцать ударов.

И лишь только отзвучал последний удар, как с какой-то ближней башни в воздух взвилась красная ракета, озарив тусклым светом соседние дома и прочертив на темном небе все тот же таинственный вопросительный знак. Кто мог бы объяснить, о чем вопрошала она, какого ждала ответа?

Воспользовавшись мгновенным проблеском света, Эдит поспешно взглянула на угол ближайшего дома, ища на нем табличку с названием улицы.

Сердце ее вздрогнуло от радости: прямо над ее головой висела дощечка, на которой узким, готическим шрифтом было выведено: «Зингерштрассе».

Сила и вера наполнили ее сердце. Ее взял под свое покровительство добрый ангел-хранитель, он ведет ее за руку прямо к цели! Эта сладкая вера успокоила девушку. Нет, не слепая случайность привела ее сюда, а само провидение! Раз все началось так хорошо, значит и конец непременно будет счастливым.

Теперь у нее в руках была нить Ариадны. Ракета погасла, и все снова окутала тьма. Но Эдит уже знала, что на углу стоит дом номер один, и, значит, все последующие дома на этой стороне улицы имеют нечетную нумерацию. Ей остается лишь считать ворота, и она попадет в дом номер семнадцать.

Девушка продолжала свои поиски в темноте.

Ей показалось, что после вспышки ракеты ночной мрак еще больше сгустился. Эдит продвигалась на ощупь, как слепая.

Приходилось ощупывать рукой каждый выступ, каждую нишу, чтобы не спутать ворота домов с витринами и дверями магазинов. Так она брела все вперед и вперед, считая про себя дома. Тринадцатый... пятнадцатый... Сейчас должен был быть дом номер семнадцать.

– Кто тут? – в ужасе воскликнула девушка, когда в нише этого дома ее руки наткнулись на какое-то живое существо; она судорожно уцепилась за чью-то одежду.

– Иисус-Мария! Святая Анна! – послышались в ответ чьи-то испуганные причитания. – Какая-то сумасшедшая!

Перед Эдит стояла низенькая старушка.

– Простите, простите! – пролепетала девушка, отпуская платье женщины. – Я просто очень испугалась.

– А я еще больше. Что вам здесь надо, мамзель?

– Я ищу дом номер семнадцать.

– Ага! А зачем он вам?
– Мне непременно его надо найти.
– Кого вы ищете? Ведь на дворе ночь, мамзель.
– Мне нужна одна женщина.
– Что еще за женщина?
– Зеленщица, которая нынче вечером пришла сюда с другой женщиной.

– А зачем они вам? Если скажете, проведу.
– Умоляю, ни о чем не спрашивайте меня, тетушка. Если вы только верите в бога, помогите мне: ведь речь идет о жизни человека, даже – двух... О господи, что я говорю, дело идет о жизни и смерти очень многих людей. Если вы знаете, где этот дом, проведите меня.

– Этот дом здесь, вот он, – проворчала старуха. – Если хотите войти, ступайте за мной, мамзель.

Эдит, не раздумывая, сказала:

– Стучите!

– Ключ при мне, – пробормотала старуха и, открыв узкую дверцу в воротах, пропустила Эдит, а затем снова щелкнула замком.

Только теперь Эдит сообразила, что она сделала. Ведь она вошла ночью в чужой, незнакомый ей дом и доверилась какой-то странной старухе.

В конце узкого длинного коридора виднелся язычок пламени: чадила поставленная на пол лампада.

Грузная, краснолицая старуха подняла лампаду и при отсветах ее скудного пламени внимательно осмотрела с головы до ног девушку. Разглядев ее одежду, она с изумлением прохрипела:

– Святой отец! Да это ж монашенка!

Вся фигура Эдит, ее взволнованное лицо были озарены в эту минуту каким-то особым необъяснимым сиянием, и старая женщина ощутила безотчетное благоговение. Перед нею стояла святая мученица.

– Значит, вы хотите поговорить с зеленщицей?

– Не с ней, а с той женщиной, что гостит у нее.

– А вы что-нибудь знаете о ней?

– Все.

– А известно ли вам, милочка, что за такие слова люди жизнью могут поплатиться?

– Известно.

– Ну, коли так, – идите за иной.

Старуха со светильником в вытянутой руке указывала дорогу. Миновав

узкий коридор, они вошли в еще более тесный подвальный ход; здесь старуха пропустила девушку вперед.

Эдит не колебалась. Она начала спускаться по деревянной лестнице, держась рукой за сырую стену. Девушка невольно подумала, что если ее ангел-хранитель, который помог ей благополучно добраться сюда, покинет ее и не укроет своим чудотворным плащом, то в этом темном, узком и сыром подzemелье, она, чего доброго, падет безымянной жертвой самого ужасного преступления, на которое только способен этот грешный мир. И старуха, ее проводница, и любой другой обитатель этих трущоб, – кто знает, сколько их здесь! – может сделать с ней все что угодно: убить и похоронить тут. И об этом даже никто никогда не узнает.

Эдит осторожно спускалась по ступенькам. Старуха схватила ее за руку костлявой и цепкой ладонью: то ли для того, чтобы указать дорогу, то ли для того, чтобы девушка не споткнулась.

Спустившись по лестнице, они попали в пахнущий сыростью подвал.
– Направо! – прошептала старуха и легонько подтолкнула девушку.

Эдит осторожно пробиралась по извилистым закоулкам подвала; они трижды куда-то сворачивали, пока наконец не подошли к ветхой деревянной двери с висячим замком, через щели которой просачивался мерцающий свет, хотя дверь была на засове.

Старуха щелкнула замком и сняла его.

– Зайдем сюда, барышня.

Но еще прежде чем открылась дверь, Эдит уверилась, что она у цели. Сквозь дверные щели проникал удушливый запах овощей. Эдит облегченно вздохнула. Разве могла она когда-нибудь предположить, что запах гнилой моркови и сельдерея покажется ей приятней любых благовоний?!

То был склад торговли овощами.

– Осторожнее, милочка; здесь еще одна ступенька, – предупредила ее старуха.

Эдит переступила порог, зеленщица закрыла за ней дверь, а сама осталась снаружи. Девушка очутилась в довольно большом помещении с низкими сводами, углы которого были завалены картофелем и брюквой, а вдоль стен выстроились мешки с луком.

Посреди погреба стояли два соломенных кресла. На одном из них мерцала плочка с плавающим в говяжьем жиру фитилем, в другом – сидела женщина в скромной городской одежде, какую обычно носят уличные торговки.

Женщина молча подняла взгляд на Эдит. Лицо ее оставалось бесстрастным, на нем не выразилось даже удивления. Для этого женщине

не пришлось делать усилий – она умела владеть собой.

А Эдит с горячностью бросилась к женщине, упала перед ней на колени, схватила ее руку, и расширившиеся от ужаса глаза девушки, казалось, возвестили об опасности раньше, чем это успели сделать ее уста.

– Госпожа Барадлаи! Вашего сына хотят убить!

Женщина в кресле вздрогнула, но все же сумела подавить вопль, готовый сорваться с ее губ, материнский вопль, шедший из глубины сердца.

– Рихарда? – спросила она, овладев собой.

– Да, да, – воскликнула девушка. – Рихарда! Вашего Рихарда. О госпожа, спасите его!

И она судорожно обняла колени женщины.

Та пристально взглянула в ее лицо:

– Ты – Эдит?

С радостным изумлением девушка подняла глаза:

– Вам знакомо мое имя?

– Я знаю его из писем сына. А по твоему лицу и по твоим словам понимаю, что ты и есть невеста Рихарда.

– О госпожа, я обручена с гробницей и монастырскими стенами. Я знаю, они говорили при мне, мой жених обречен. Он должен умереть страшной смертью, с ней вовеки нельзя будет примириться: он погибнет на виселице или от руки убийцы. Вот почему я здесь. Вы – его мать. Не допустите позорной гибели сына!

– Но откуда ты все это знаешь? И то, что я здесь? И кто я такая? И что Рихарду грозит опасность?

– Я вам все расскажу. Вас предали. Ваши союзники, наивные и легкомысленные юноши из студенческого легиона, раскрыли секрет коварной баронессе, которая разыгрывает из себя их друга и сторонницу свободы. На самом же деле и она, и ее дочь Альфонсина – агенты вражеской стороны. Они рассказали при мне сестре Ремигии, этой шпионке, что завтра собираются схватить и вас, госпожа, и вашего сына. Если вам удастся встретиться с Рихардом и уговорить его отправиться в Венгрию, то его арестуют и повесят как изменника воинские начальники. Если же вы не сможете повидаться с ним, его все равно убьют, они подкупили двух гусар. Почему они все это говорили при мне? Чтобы истерзать мою душу. О, я и сама не знаю, за что они меня мучают, сводят с ума?!

Эдит было зарыдала, но тут же взяла себя в руки, и к ней снова вернулась ее прежняя обворожительная живость.

– Но они обманулись. Они думали, что я раздавлена, уничтожена, уже

мертва. А я выскользнула у них из рук, сбежала, промчалась через весь город. Было темно, и все же я нашла вас, ибо меня хранил сам господь, он был со мной, он привел меня сюда. И дальше он меня тоже не покинет!

Столько неподдельного, высокого чувства было в словах этой юной послушницы, что дама в кресле с немим восхищением обвила руками ее плечи и с любовью заглянула ей в глаза.

Так вот какова невеста ее Рихарда!

– Приди в себя, дитя мое, и поговорим спокойно. Видишь, я совершенно спокойна. Скажи, ты твердо знаешь, что завтра нам готовят западню?

– Твердо.

– В таком случае в нашем распоряжении половина ночи, чтобы предупредить измену.

– Вы пойдете к Рихарду?

– Немедля.

Эдит с мольбою сложила ладони.

– Возьмите меня с собой!

Мать Рихарда на минуту задумалась, как бы вопрошая себя.

– Хорошо. Пойдем.

Эдит всплеснула руками от радости. Ведь она была совсем еще ребенком.

– Понимаешь ли ты, что мы рискуем жизнью?

– О, я этому только рада.

– Тебе тоже надо переодеться в простое платье.

Госпожа Барадлаи позвала стоявшую за дверью торговку:

– Фрау Баби! Нам придется сейчас идти.

– Хорошо, – промолвила старуха.

– Эта девушка тоже пойдет с нами.

– И она? Тогда ей нужна подходящая одежда.

– Есть у вас что-нибудь в запасе?

– Найдется.

Фрау Баби подняла крышку старого сундука и отыскала в грудe тряпья платье для Эдит.

– Ну, а теперь, фрау Баби, сложите свои вещи и спрячьте их подальше. Ваш адрес, оказывается, известен слишком многим.

– Мне и самой так думается.

Фрау Баби надела на Эдит поверх монастырской одежды платье уличной торговки. Вокруг талии она повязала ей клетчатый шерстяной платок, на голову водрузила обычную для торговок широкополую

соломенную шляпу, из-под которой, если смотреть на ее обладательницу в профиль, виднелся лишь кончик носа.

– Вылитая молоденькая торговка. Еще вот только кадушку на плечи – и все. Такой ноши вам еще не приходилось носить, барышня, верно? Ну, не бойтесь, я для вас выберу полегче. Вот эту корзиночку из лозы, подбитую холстом. В нее мы положим булок, чтобы груз был нетяжелым. А мы как-нибудь уж осилим картошку да лук.

Эдит воспринимала все это как забаву. Она легко подхватила корзину с булочками и, продев руки в лямки, приладила ее за спиной.

– Эх, голубушка моя, раз уж мы идем к солдатам, надо всегда брать с собой провиант, иначе, чего доброго, подумают неладное.

С этими словами она помогла своей гостье забросить ношу за спину, а сама подхватила самую тяжелую корзину.

– А теперь, как нас зовут? Для госпожи я – фрау Баби, а для барышни – фрау Мам. Барышня для меня и для госпожи – Лени. Госпожа для барышни – фрау Годл. А для меня госпожа – фрау Миди. Ну, как у нас получается? Проверим.

Каждая произнесла по очереди имя другой. Они даже шутили, разучивая свои роли.

– А теперь от всех нас требуется только одно – держаться повеселее. И не трусить! Тот, кто больше всех боится, должен выглядеть самым смелым. Говорить надо попроще, без всяких выкрутасов. И главное – держаться повеселее, покуражистей. Берите пример с меня. Как я, так и вы. И, черт меня побери, если я не проберусь по капустным полям в Лерхенфельд через вражеские линии в любом месте.

Эдит обещала держаться молодцом. Но стоило им опять выйти на темную улицу, как ее охватил озноб. Фрау Баби, державшая девушку за руку, напрасно развлекала ее венскими шутками, веселыми анекдотами – ничто не помогало.

– Ай-ай, Лени! Если так будешь дрожать, лучше оставайся дома. Ведь ты нас всех подведешь. Возьми себя в руки. Лепи! Гляди веселей, Лени! Эй Лени, Лени!

Девушка давала слово взять себя в руки, но никак не могла приободриться.

Фрау Баби свернула на улицу, которую Эдит узнала даже в темноте. На ней стоял дом Планкенхорст.

Эдит задрожала еще сильнее.

Когда они достигли дворца Планкенхорст, она посмотрела на окна. В двух из них мерцал слабый огонек. Это были спальня и комнаты, где

обычно горели ночники.

– Что ты там увидела, чего так затряслась? – спросила старуха. –
Словно ребенок с перепугу.

– Я сейчас перестану. Фрау Мам, дайте мне две картофелины покрупнее.

– На какой дьявол тебе картошка?

– Сейчас увидите.

С этими словами Эдит схватила картофелины и изо всех сил запустила ими в окна. На тротуар со звоном посыпались стекла.

Эдит опрометью бросилась бежать. За ней были вынуждены пуститься бегом и обе ее спутницы.

– Какого черта ты это сделала, Лени?! – набросилась на нее фрау Мам. – Рехнулась ты, что ли? Окна бить! Да еще заставила бежать меня и фрау Годл! Вот дурочка. Tu narrische Kredl!

Эдит схватила руку госпожи Барадлаи и, часто дыша проговорила:

– В этом доме живут две гадкие женщины – мои родственницы, те, по чьей вине мы вынуждены пробираться ночью по городу. О, они, должно быть, подпрыгнули от страха в постелях! Вот, верно, теперь гадают, кто это пожелал им спокойной ночи! Ха-ха-ха!

Госпожа Барадлаи, вместо того чтобы упрекнуть девушку за ее опрометчивый поступок, лишь пожалала ей руку. Она ее хорошо понимала. Эдит была очаровательна в своей непосредственности.

– Ну, фрау Мам, – весело сказала Эдит, когда они вышли на другую улицу, – я, кажется, пришла в подходящее настроение! Хотите, спою?

И, не дожидаясь ответа, она запела чистым, звонким голосом народную песенку:

И люди вечно в памяти хранят
Отважный подвиг десяти солдат!
Лиа-лиа-лиа-ля!

В заключение она повторила припев по-тирольски, часто меняя высоту звука, и сделала это не хуже какой-нибудь дочери настоящей венской торговли.

Словно для того, чтобы небо потемнело еще больше, начал моросить мелкий дождь.

– Ай-ап, ничего не имела бы против, если б дождь отложили на завтра, – сокрушалась фрау Баби...

– Ничего, не промокнем! – весело утешала ее Эдит. – Этот дождик еще лучше нас укроет, фрау Мам.

– Только не суй повсюду свой нос. Лени. Не надо мне никакого покрывала, чтобы невидимкой сделаться. Лучше давайте прибавим шагу, пока дождь не разошелся.

Они пошли быстрее. Фрау Баби нет-нет да и останавливалась на минуту, чтобы спросить у фрау Годл, не устала ли она. Та не отвечала ни слова и лишь знаком просила продолжать путь. В тот день ей пришлось пройти пешком с тяжелым грузом за спиной по крайней мере четыре мили.

Поражаешься, что может вынести женщина! Особенно, если она мать. Мать, которая любит. Любит сына и любит родину.

У Эднт можно было не спрашивать, устала ли она. Девушка легко шла впереди с корзиной за спиной.

Колокола на городской башне пробили два часа, когда, они достигли Кайзерштрассе.

На баррикаде, закрывавшей вход на проспект Лерхенфельд, не было никого, даже поста.

Осажденные, как видно, сами покинули боевой рубеж. На этом участке против них стояли лишь небольшой отряд кавалерии; главные силы противника были брошены под Швехат: конница была бессильна против баррикады. Зато все дома вокруг были битком набиты стрелками, терпеливо выжидавшими удобного момента для вылазки.

Женщины незаметно проскользнули мимо баррикады и благополучно миновали позиции осажденных.

Гораздо труднее было пройти тайком через линии осаждающих и добраться до кладбища.

Каждый, кто был в те дни в Вене, вспомнит, что между улицами Шмельц и Герналс тогда еще проходил небольшой канал для отвода горной воды в половодье. Ближний к городу участок канала был выложен камнями, а дальше деревянной опалубкой. Местечко, прямо скажем, не из самых приятных, но достаточно глубокое, чтобы пройти незаметно.

В мирное время было небезопасно пробираться ночью по этой канаве, которая обычно служила прибежищем для воров, убийц и бездомных псов.

Но грозное время вымело оттуда всю эту нечисть.

Теперь там не было ни воров, ни бандитов: шла война.

Зеленщица повела своих спутниц по сухому руслу длинной и глубокой канавы, на дне которой пышно разрослась трава; уже несколько месяцев здесь не было дождей.

В одном месте, где берег канала обвалился, зеленщица поднялась

наверх, осторожно огляделась вокруг и шепотом сообщила:

– Пришли.

Она помогла обеим спутницам снять корзины с плеч.

– Оставим их здесь. Хватит одной моей. Тут неподалеку стоят гусары.

В двухстах шагах от того места, где они находились, действительно виднелись фигуры двух солдат, освещенные пламенем костра. Дальше горели еще пять-шесть костров; там и было кладбище, где расположился отряд гусар.

– Мы вышли точно. Уж будьте покойны. Теперь, фрау Миди, ступайте вперед вы. Здесь и без меня обойдетесь.

Госпожа Барадлаи взяла за руку Эдит и направилась прямо к костру.

Часовые заметили женщин издали, но не окликнули. Они подпустили их совсем близко. Только тогда один из всадников, свесившись с седла, произнес тихим, грудным голосом:

– Стой! Кто идет?

– Друг, – ответила госпожа Барадлаи.

– Пароль?!

– «Скачи домой!».

Окликнувший их солдат спрыгнул с лошади, приблизился к госпоже Барадлаи и, склонив перед ней колени, с благоговением поцеловал ей руку, едва коснувшись ее губами.

– Мы вас ждали, госпожа!

– Ты узнал меня, Пал? Здравствуй, старый!

– Слава богу, что вы здесь!

– Где мой сын?

– Я вас туда проведу, А это что за красавица? – кивнул он в сторону Эдит.

– Она со мной.

– Понимаю.

Старый гусар отдал поводья коня товарищу и повел женщин к кладбищу.

Маленький белый домик, служивший когда-то жильем кладбищенского сторожа, теперь стал штаб-квартирой Рихарда. Капитан занимал тесную комнатку, единственное окно которой смотрело в сторону города.

Рихард только что вернулся из ночного обхода. Он отпер дверь своей комнаты, зажег свечу и тут же сердито ударил кулаком по столу:

– Опять они здесь!

Кто «они»?

На столе лежали аккуратно раскрытые свежие пештские газеты. Заголовки некоторых статей были подчеркнуты красным карандашом.

– В огонь их!

Но прежде чем бросить газеты в огонь, он все же решил их мельком пробежать.

А начав читать, тем более не захотел предавать крамольные листки сожжению. Чего доброго, восстанут из пепла!

Он сел за стол, обхватил нахмуренный лоб ладонями, снова и снова перечитывал отмеченные строки, все больше мрачняя.

«Неправда! Все это ложь! Не может быть этого, – кричала его душа, споря сама с собой. – Врут, бессовестно врут! Невозможно вершить подобные дела!»

Кто-то вошел. Второпях он скомкал газету.

То был господин Пал.

Рихард сердито набросился на него:

– Кто опять по-воровски подбросил мне эти проклятые газеты? Кто положил их на стол?

Господин Пал ответил с невозмутимым спокойствием:

– По-воровски украсть – это я понимаю. А вот, что можно по-воровски подбросить, – это для меня новость.

– Я запираю свою комнату на ключ, и каждый день сюда контрабандой протаскивают кипу газет. Чьих это рук дело?

– Знать не знаю, что это за газеты. Ведь я и читать не умею!

– Врешь! Подлый человек! Думаешь, я не знаю, что ты, седая твоя борода, вот уже третий месяц учишься читать? Кто тебя учит?

– Его уже нет. Как раз вчера помер, бедняга. Наш горнист. Он был когда-то студентом. На него смерть давно уже зубы точила. Говорил я ему: не забирай, друг, своей грамоты на тот свет, оставь на этом свете для Меня хоть немного.

– А зачем тебе, старому, грамота? – продолжал допытываться капитан.

Господин Пал расстегнул воротник и жестко сказал:

– Легко мог бы ответить вам на этот вопрос неправду, если бы врать хотел: хочу, мол, заделаться на старости лет сержантом, потому и учусь. Но я этого не скажу. А скажу я вам, сударь, вот что: для того я хочу грамоту уразуметь, чтобы знать, что творится у нас там, дома.

– Значит, ты тоже читаешь эти газеты? Откуда вы их берете?

– Давайте, сударь, отложим этот разговор. Я к вам с рапортом. Две женщины хотят переговорить с господином капитаном.

– Женщины? Как они сюда попали? Откуда пришли?

– Из города.
– В почему их пропустил сторожевой пост?
– Они пароль назвали.
– Снова враки. Я только что назначил новый пароль, и никому в городе он не известен. Его при всем желании не успели бы выдать.

Старый служака с угрюмым упрямством признался:

– Они Другой пароль знают...
– Другой? Какой еще может быть здесь пароль, кроме моего? Да тут целый заговор! Ну, подожди, я расправлюсь с вами. Расстрелять обеих лазутчиц и немедля!

Рихард в ярости швырнул саблю об пол. А господин Пал взглянул на него незлобливо и снисходительно, как добродушный дедушка на своего упрямого и капризного внука, и сказал:

– Одна из женщин – мать господина капитана.

Теперь старый денщик получил полное удовлетворение: он видел, как с разъяренного капитана точно рукой сняло гнев и он окаменел от изумления. Глаза молодого офицера расширились, рот остался полуоткрытым, рука, только что отшвырнувшая саблю застыла в воздухе.

Рихарду чудилось, что он видит сон: старый слуга отворил дверь, и из темноты в комнату вошла высокая женщина со спокойным, внушающим чувство глубокого уважения и даже благоговения лицом, а вслед за ней – другая, в чьем взгляде сияла наивно-чистая детская душа и ангельская любовь. Обе женщины были в простом дорожном платье, забрызганном грязью; они промокли и едва держались на ногах от усталости.

То, о чем несколько минут назад Рихард читал в про« клятых пештских газетах, те рассказы, в которые он не верил, тот невероятный кошмар – все это теперь предстало перед ним в ином свете. Эти две женщины принадлежали к числу тех, кого кровожадные дикие орды с факелами и топорами в руках преследуют темными ночами, на чьих глазах убивают мужей, братьев и сыновей; переодевшись в бедную одежду, эти женщины чудом спасаются от расправы и пешком, по колено в грязи, в дождь и слякоть бегут из своих горящих домов, чтобы, представ в устрашающем и зовущем к мщению виде перед лицом венгерских патриотов, призвать их к смертельной борьбе. До сих пор эти люди были для Рихарда загадкой, он с ними еще не сталкивался.

И вот они стояли сейчас перед ним.

Он молча бросился к матери, обнял ее и принялся целовать лицо, руки. Как промокла ее одежда! Как холодны ее щеки, какие у нее ледяные пальцы! Он ни о чем не спрашивал.

На Эдит Рихард взглянул лишь украдкой. Он словно боялся обмануться и еще не верил, что это и в самом деле она. Может быть, то какая-нибудь другая девушка, только очень похожая на его Эдит? Ведь невероятно и совершенно немыслимо, чтобы его невеста оказалась здесь в эту минуту! Он не решался спросить, кто эта девушка.

Все молчали; лишь тихий, сдавленный стон, похожий на рыданье, прозвучал в глубокой тишине. Этот стон сказал больше, чем можно было бы выразить словами.

Когда Рихард увидел мать и обнял ее, он вдруг почувствовал в сердце невыносимую боль; не в силах совладеть с собою, он отвернул лицо и снова увидел на столе газеты, что будили людей, как набат. Рихард с горечью прошептал:

– Так, значит, все это правда?

Мать взглянула на газеты.

– Тут лишь тысячная доля правды! – сказала она. – Клянусь в том любовью к тебе, которая вечно живет в моем сердце.

– Не клянись, мама! То, что ты здесь, – для меня большее доказательство, чем все клятвы. – И он ударил кулаком по столу. – Больше мной не будет командовать никто – ни бог, ни люди. Одна ты, мама, можешь мне приказывать! Скажи, что я должен делать?

При этих словах госпожа Барадлаи взяла за руку. Эдит и подвела ее к Рихарду.

– Гляди, вот она подсказала мне, что я должна от тебя требовать. Час тому назад я сама не знала этого.

– Эдит! – удивленно прошептал Рихард, беря протянутую к нему маленькую ручку, мокрую от дождя.

Да, то была ее рука, рука Эдит; и лицо тоже было лицом Эдит. Но как это могло быть? Какой еще сюрприз ожидал его? Еще немного, и он сойдет с ума.

– Сын мой, настали времена, когда люди меняются! – проговорила его мать. – Все мы стали другими. Каждый камень чувствует ныне боль. Темные силы хотят уничтожить всех, кто поднял оружие за свободу. Но у леса оцетинившихся штыков есть мать: ее зовут Родина. Однако эта наша общая мать – нема, она не может кричать. И это знают наши враги. Они знают, что ее можно бичевать, истязать, кромсать на части, а она даже не в силах позвать: сын мой, помощи! Но враг не подумал о том, что у каждого воина дома тоже есть мать; и если двести тысяч матерей закричат разом, то этот призыв услышат их дети! И мы закричали! Все – и матери простолудинов, и такие, как я, сын мой! Каждая обратилась к своему сыну.

И сыновья услышали наш голос. Это был могучий зов. Матери звали своих детей вернуться на родину. И они вернулись. Только ты не услышал призыва.

– Я слышу его сейчас, мама. Каждое твое слово слышу.

– Гляди, вот стоит девушка. Она послушница монастыря. Она услышала, что враги решили убить ее возлюбленного. Она проникла в их коварные сатанинские замыслы. Что бы ты ни выбрал, ты осужден ими на гибель. Уже отдан приказ схватить тебя и другой приказ – выстрелить тебе в спину. Эта девушка не раздумывала, что ей делать. Она не стала плакать, отчаиваться. Она поступила так, как нужно: убежала от своих стражей; ночью, темной, страшной ночью промчалась через весь город, разыскала мать любимого ею человека, бросилась к ее ногам и сказала: «Госпожа! Вашему сыну грозит смерть, ужасная, страшная смерть! Спешите! Найдите его! Не допустите его позорной гибели!»

– Эдит! – нежно произнес Рихард, прижимая холодную руку девушки к своему лбу.

– Я приняла решение, сын мой!

– Говори, мама.

– Бывают такие минуты, когда матери сами посылают в бой своих сыновей, и если те погибают, то матери не оплакивают их: хотя они и проливают слезы, но это сладостные, гордые слезы.

– Что я должен делать?

– Спроси у своих солдат. Пароль, который помог нам пройти через твои сторожевые посты, звучит так: «Скачи домой!» Если ты избереешь эти слова своим девизом, то поймешь, куда ты должен направить свой путь. Доскачешь ли ты до цели? Это зависит от твоего меча и от бога!

– Так и будет.

Рихард шагнул к двери, у которой стоял Пал.

– Ступай, – обратился он к нему тихим, решительным голосом, – сообщи взводным новый пароль: «Скачи домой!».

Старый служака, не произнеся ни слова, кинулся исполнять приказание.

– Мой жребий брошен, – сказал Рихард, обернувшись к матери и к невесте. – Но что теперь будет с вами?

– Кто знает? Все мы под богом ходим.

– В город вам возвращаться нельзя. Завтра его начнут штурмовать со всех сторон. Вам повсюду будет грозить опасность. Я уйду с отрядом пока темно: дождь поможет нам незаметно перейти линию фронта. Не лучше ли вам добраться со мной до ближайшей деревни, а там нанять лошадей и

направиться в Венгрию? Мама, ты могла бы взять Эдит с собой.

Но обе женщины отрицательно покачали головой.

– Сын мой, я должна вернуться в Вену.

– Мама! Подумай о том, что завтра город будет полностью окружен и тебя схватят.

– Разве могу я об этом думать? В городе у меня остался еще один сын, и я пойду за ним. Что бы ни случилось, какие бы опасности ни стояли на моем пути, но я вырву своего сына из их рук. Я не отдам им его!

Рихард закрыл лицо руками.

– О мама! Я пигмей в сравнении с тобой.

Затем он с тревогой посмотрел на Эдит, как бы спрашивая, что станет с нею, с этим цветком, подхваченным вихрем. Куда она пойдет? Что будет делать? Что ее ожидает?

Эдит поняла этот немой тревожный вопрос и заговорила, впервые нарушив молчание:

– За меня не беспокойтесь, Рихард. Ваша матушка проводит меня до монастыря. Я возвращусь туда. Не бойтесь, со мной ничего не случится. Накажут, но не убьют. Зато я буду в надежном месте. Я стану вас ждать. Ждать до тех пор, пока вы вернетесь ко мне победителем и навсегда заберете меня оттуда. Я буду терпеливо ждать этого счастливого дня. Ну, а если небо пожелает, чтобы вы нашли себе невесту красивее меня, которую ее избранники зовут «красавица смерть», я по крайней мере буду знать, за кого молиться, склонившись на холодный камень.

Когда девушка закончила свою речь, госпожа Барадлаи с мягкой настойчивостью подтолкнула Эдит к Рихарду; и пока они, слившись в прощальном объятье, молча давали друг другу клятву в святости своей любви, мать, воздев дрожащие от волнения руки к небу, молила бога, если он только взирает с небес, не отринуть эту клятву.

Во дворе застучали копыта: гусары равняли строй.

– Время! Спешу, сын мой, – сказала госпожа Барадлаи.

Рихард вытер ее слезы. Он обнял мать, затем, завязав плащ у подбородка, вышел вместе с ней и Эдит из сторожки.

По-прежнему моросил дождь.

Гусарский отряд выстроился за воротами кладбища.

Рихард вскочил на коня и занял место во главе отряда.

Когда госпожа Барадлаи и Эдит прошли мимо всадников, те вполголоса, но дружно воскликнули: «Эльен!»^[54] в честь этих женщин. И это тихое «Эльен!», вырвавшееся, как единый вздох, из груди сотен солдат, походило на дуновение ветра, на шум лиственного леса.

– Скачи домой! – прозвучал негромкий приказ, и отряд тронулся. Горнист отряда погиб, но в ту ночь гусарам не требовался призывный сигнал рожка. Они исчезли во мгле, словно стоглавое привидение.

Господин Пал проводил женщин до сторожевого поста, где их ожидала зеленщица. Старому служаке и еще одному гусару надлежало дожидаться здесь рассвета, чтобы австрийский патруль раньше времени не обнаружил исчезновение отряда. Утром они должны были догнать отряд. Дождь теперь лил как из ведра.

– Пора подумать о возвращении, – недовольно проворчала фрау Баби. – Такой дождь нам вовсе ни к чему. По прежней дороге не пройти: там теперь вода.

– Прибегнем к тому же способу, который помог нам вчера пробраться в Вену, – успокоила ее госпожа Барадлаи. – Двинемся прямо к солдатскому бивуаку под видом торговки съестным.

– Что верно то верно: коли вчера прошли, то и сегодня, даст бог, проберемся. Только вот что: вчера-то мы были вдвоем. Нам, в наши лета, не хитро пройти через солдатский лагерь. Но сегодня с нами она! – кивнула зеленщица на Эдит. – К нам-то вряд ли кто привяжется, особенно, если зубы оскалим. А вот нашей барышне труднее придется. На ее мордочку много поди найдется охотников. Я это не к тому говорю, что непременно беда с ней приключится, а просто боюсь за нее. Привяжется какой-нибудь хлыщ, начнет разглагольствовать да по щечке трепать, а она девушка нежная, непривыкшая к такому обращению, вот и обнаружится, что она барышня, а не кухаркина дочка. Тогда пиши пропало.

– Не бойтесь за меня, фрау Мам! – успокаивала ее Эдит. – Не такая уж я неженка. Меня тоже с людской воспитывали!

Эдит вспомнила в эту минуту, при каких обстоятельствах она познакомилась с Рихардом.

– Ну, смотри, будь умницей, Лени! Главное – держись веселее! И выражайся попроще!

Каждая закинула свою ношу за спину. По дну канавы идти теперь действительно было невозможно. Правый берег тоже был труднопроходим, ибо он круто поднимался вверх. Им пришлось перейти по пешеходному мостку на другую сторону отводного канала и продолжать путь по левому берегу. Фрау Баби утверждала, что знает, в каком направлении надо идти, ей, мол, хорошо известна дорога, которая ведет к огородам и там есть проход в изгороди.

По-прежнему лил дождь и было темно. Время приближалось, по их подсчетам, к четверем часам утра. Разобраться, где именно они находятся,

было невозможно. Единственным компасом служил лишь непрекращавшийся дождь, который раньше хлестал им в спину, а теперь бил прямо в лицо.

Вдруг неожиданно дождь перестал, облака раздвинулись, и перед путницами предстал один из военных лагерей армии, осаждавшей город.

Справа и слева можно было различить сидевших на конях кирасиров в белых накидках.

Поворачивать вспять было поздно.

Всего лишь шагах в двадцати от них стоял перестроенный под корчму крестьянский дом. В нем, должно быть, помещался штаб бравых кирасиров. Изнутри доносился звук шарманки. Возможно, там танцевали.

Несколько военных стояло у дверей.

Заметив приближающихся женщин, они, подкручивая усы, подошли и окружили их со всех сторон.

– Эй, дурень, дай пройти! Не балуй! – крикнула па одного из солдат Фрау Баби. – Не видишь, что ли, картошку вам принесли, проголодались небось?

Но у солдат, как видно, было веселое настроение, и они, не обращая внимания на разгневанную старуху, стали приставать к ее спутнице. Один из кирасиров приметил красивую девушку.

– Пойдемте в дом, потанцуем!

Госпожа Барадлаи шепнула Эдит:

– Мы пропали.

– Мы-то что! – так же шепотом ответила Эдит. – Надо спасать Рихарда!

Она подумала про себя: кирасирским полком командует Отто Палвиц. Именно ему поручено тайно наблюдать за действием гусар. Дождь перестал, скоро рассвет, и кирасиры обнаружат исчезновение гусарского отряда. Они бросятся в погоню. Господи! Надо что-то сделать!

Внезапно Эдит с силой оттолкнула от себя пристававшего к ней солдата, который взяв ее за рукав, тянул в сторону корчмы, и, сбросив с себя плетеную корзину, повелительным тоном обратилась к сержанту:

– Господин сержант! Доложите о нас полковнику. Где полковник Отто Палвиц? Мы посланы к нему. Передайте: мы пришли от Бригитты.

– Что ты делаешь? – ужаснулась госпожа Барад» лай.

– Положитесь на меня. Или пан, или пропал.

– Narrische Kredl! – пробормотала себе под нос фрау Баби, у которой от страха испарилась вся ее прославленная бодрость духа. – Эта девчонка всех нас погубит.

Сержант в ту же минуту отогнал от женщин солдат и, подзвав патруль, с обнаженной саблей в руке проводил женщин в соседний домик. В прихожей он оставил их на минуту одних, а сам пошел доложить о задержанных полковнику.

Спустя несколько минут сержант снова появился на пороге:

– Пришедшие от Бригитты, входите.

В комнате женщины увидели офицера. Это был высокий, крепкого телосложения мужчина, с решительным лицом, которому необычайно длинный нос придавал мрачное выражение. Глубоко сидящие глаза смотрели на вошедших подозрительно, а уголки губ кривились в усмешке.

Сначала он долго и пристально разглядывал женщин и, лишь закончив этот осмотр, спросил:

– Кого вы ищете?

Эдит поспешила ответить:

– Полковника Палвица.

– Палвиц только подполковник, – заметил, глядя на нее, офицер.

– Вчера вечером вас произвели в полковники.

Эта фраза смягчила суровое выражение лица офицера. Его подозрительность заметно таяла.

– Откуда идете?

– Из Иерихона.

– Кто послал?

– Рагаб.

– К кому?

– К Иисусу Навину.

Офицер одобрительно закивал. Ответы девушки совпадали с тем, которые баронесса Планкенхорст заставила выучить наизусть сестру Ремигию, чтобы ее пропустили в лагерь осаждающих-. Эдит запомнила их тогда, хотя делала вид, будто захмелела и уснула.

– Что вам велено передать?

– Гибеон договорился с Эмореушом.

– Понятно! Войдут или уйдут?

– Войдут.

– Хорошо. Я буду там.

И Отто Палвиц тут же отдал распоряжение находившемуся в соседней комнате адъютанту построить полк. Когда тот вышел, полковник тоже поднялся из-за стола и направился к двери, предварительно пригласив дам присесть и дожидаться его возвращения.

– Что значит весь этот разговор? Что ты ему сказала? – едва слышно

спросила госпожа Барадлаи, когда они остались одни.

– Иерихон – это Вена, Рагаб ~ мать-игуменья, Иисус Навин – генерал, Гибеон и Эмореуш – гусары и студенческий легион.

– Ты выдала их?

– Тсс! Они давно уже следят за ними. Им неизвестно только одно – чего хочет Гибеон: войти в Иерихон либо уйти в Ханаан? Я их известила, что Гибеон хочет войти.

Госпожа Барадлаи все еще не понимала, что произошло. Руки и ноги у нее онемели от ужаса.

Отто Палвиц вернулся. С Эдит разговаривать было уже нельзя.

– Милостивые государыни, мы трогаемся, – объявил он торжественно.

Женщины тоже взяли за свои корзины.

– Какой ответ я должна передать? – спросила Эдит.

– Я приветствую Рагаба. Жду Гибеона у городских ворот.

С этими словами он простился с женщинами и дал им в провожатые двух пеших солдат. Те следовали за ними на почтительном расстоянии; к фрау Баби был приставлен третий солдат, который предупредил ее, что, если она хоть раз оглянется, он поступит с ней так же, как господь бог – с супругой Лота. ^[55]

Наконец трое сопровождающих отстали от них неподалеку от Лерхенфельдских городских ворот.

Когда женщины остановились у покинутой баррикады, чтобы немного передохнуть, и опустили свои ноши на груды камней, госпожа Барадлаи спросила у Эдит:

– Что же теперь будет?

– Теперь кирасиры Палвица станут охранять до утра дорогу, ведущую к Вене, по которой, как они думают, пойдет отряд Рихарда. Когда же они поймут, что их обманули, Рихард уже окажется в четырех часах езды от них, и его нелегко будет догнать.

– Умница! – воскликнула мать Рихарда, обнимая Эдит. – Так же твердо, как я верю в то, что есть бог на небе, так я верю и в то, что наступит время, когда в ео» ротах дома Барадлаи я первая встречу тебя, выходящей из кареты. Но как далек еще этот день!

– Пора идти, госпожа.

– Почему ты не говоришь мне «мама»?

– Нет, нет. Я суеверна. По-моему, тот, кто радуется, когда надо печалиться, совершает такой же грех, как тот, кто смеется в церкви. Пусть не будет мне радости до заветного дня! Кто знает, быть может, в ту минуту, когда я назову вас «мама», вы перестанете быть мне матерью, а я –

невестой вашего сына. Нет, лучше уж я останусь суеверной. Проводите меня, пожалуйста, до монастыря.

Они довели Эдит до монастырских ворот, и фрау Баби засунула ее платье и корзину в свою большую кадучку; когда девушку впустили, обе женщины поспешили в город.

Возвратившуюся Эдит встретили в трапезной криками ужаса и изумления.

Ночью в монастыре никто не сомкнул глаз; когда сестра Ремигия одна вернулась из города и не могла объяснить, куда девалась Эдит и почему открыта вторая дверца кареты, – все были потрясены.

К тому же боязнь огласки не позволяла начать поиски.

Эдит появилась только утром. Монашенки засыпали ее вопросами: где она была, где пропадала?

Вечером расскажу, а теперь – нет.

Неслыханная дерзость!

Когда стало ясно, что ни уговоры, ни угрозы не помогут, пришлось прибегнуть к наказанию. Эдит не сопротивлялась.

Помогая девушке раздеться, монахини с изумлением взирали на ее разорванную и забрызганную грязью одежду: можно было подумать, что Эдит бродила по лесу! Но от нее так и не удалось добиться признания.

Принесли скамью и плетень. Но и это не помогло. До крови врезался ремень в белое девичье тело, но Эдит лишь стискивала зубы и при каждом унижительном ударе повторяла про себя одни и те же слова: «Милый Рихард! Милый Рихард!» Она шептала дорогое имя, пока не потеряла сознание.

Придя в себя, она обнаружила, что лежит в постели. Вся ее спина была залеплена пластырем. Голова горела.

Несмотря на жар, девушка поняла, что день клонится к вечеру. Долго же она пробыла в забытьи!

– Ну, теперь я могу сказать, где пропадала! – обратилась она к стоявшим возле ее кровати монахиням. – Ночью я пробралась к любимому мной человеку, капитану гусарского отряда, и до утра оставалась у него в комнате. Можете рассказать об этом всем.

Игуменья только всплеснула руками. Упаси бог кто-нибудь узнает! Все это надо сохранить в строжайшей тайне! Ведь если слух о похождениях Эдит просочится сквозь стены монастыря, конец его доброй славе!

Только теперь мать-игуменья поняла, почему посланный ею в семь часов утра к полковнику Палвицу гонец вернулся, привезя столь загадочный и не слишком деликатный ответ: полковник желал

настоятельнице монастыря, чтобы гром поразил все ее богоугодное заведение!

А дело происходило так: когда гонец передал полковнику сообщенный ему сестрой Ремигией условный пароль и предупредил его, что к Гибеону должна прийти переодетая торговкой мать, чтобы уговорить сына бросить лагерь и уйти вместе с отрядом в Венгрию, Палвиц в ярости завопил:

– Черт побери! Значит, гусары уже ускакали. Я сам открыл им дорогу да еще велел проводить этих шпионок до города. Только бы мне узнать, кто была эта маленькая бестия в юбке, которая оставила меня с носом.

Но именно этого ему никто и не мог сказать.

Кровавый закат

Солнце клонится к закату, окрашивая в кровавый цвет разорванные тучи.

Будто океан раскаленной лавы катится по небу.

Меж пылающими краями алых туч лишь небольшой клочок чистого неба. Бледно-зеленое пятно.

Кто скажет, зачем здесь это пятно? Кто скажет, почему у разверзшегося небосвода сейчас зеленый цвет? Может быть, и существует этому оптическое объяснение, но возможно и другое: именно в этот час тысячи и тысячи расстающихся с землею душ взлетают к небу и ищут прохода в облаках; бледные души, наверно, и окрашивают этот кусок неба в бледно-зеленый цвет.

Одну лишь тучу солнце бессильно позолотить своими лучами. Эта большая черная туча клубится над землей и бросает мрачную тень на алый небосвод. То – дым и чад горящей церкви.

Грузная, темная масса отвоевывает все большее пространство на небосводе и обволакивает хмурой мглой улицы города, по которым скользят последние отблески заходящего солнца. В тени домов уже совсем темно.

Глубокая, скорбная тишина.

Тишина, которая воцаряется на поле битвы после поражения одних и победы других. Победитель отдыхает, приводит в порядок свои войска, разрабатывает новые тактические планы; побежденный – бежит, ищет спасения.

На улицах повсюду валяется брошенное оружие. Пусть его собирает победитель! Те, кто его носил до сих пор, теперь бегут в открытые ворота домов – к своим родным, знакомым и даже незнакомым, но добрым людям, стремясь скорее сменить платье, смыть с лица и рук кровь и пороховой дым, перевязать раны; и когда заявится жестокосердный, железнорукий враг, побежденные скажут: мы – не те, за кого вы нас принимаете!

Замолк грохот орудийной канонады, не слышен ружейный треск: шум битвы повсюду затих.

Из тени, которую бросает на землю клубящаяся черная туча, выходит, шатаясь, человек. Спотыкаясь, он идет пустынной улицей. Это юный боец из студенческого легиона.

У него лишь одна рука, да и в той нет сабли. Он прижимает плащ к

груди, чтобы скрыть штыковую рану, которая, быть может, еще и не причиняет ему особой боли. Кровь капает на землю при каждом его шаге.

Он спешит спасти свою жизнь, пока не появились преследователи. С какой тревогой смотрит он на кровавый след, который тянется за ним. – Не поможет ли этот след врагам обнаружить его?

Ведь спасение уже близко. Знакомое трехцветное знамя трепещет на балконе дворца Планкенхорст. Только бы добраться туда! Там нежные женские руки перевяжут его раны, укроют, спрячут его от подозрительных вражеских глаз. О, женщины умеют это делать! А если придется умереть, то разве не прекрасно в последнюю минуту увидеть в обожаемых глазах прообраз небесного рая? А может быть, прозрачная слеза выкатится из тех глаз на его щеку? Быть может, он успеет шепнуть ей с предсмертным вздохом: «Я любил вас».

Из всех окон уже исчезли флаги. Лишь на балконе дворца Планкенхорст еще шевелится трехцветное полотнище. О, его возлюбленная до последнего мгновения осталась верна их общему делу. Боже! Как часто приходится останавливаться, чтобы прислониться к стене и собраться с силами.

Каждый раз, отдыхая, он считает капли крови, падающие на мостовую. По ним он отсчитывает время.

С каждой новой остановкой проливается на одну каплю больше.

«Двадцать одна, двадцать две, двадцать три».

Вот он наконец дошел до заветного подъезда.

Но двери заперты.

Непостижимо! Ведь муниципальный совет издал распоряжение все двери и ворота держать открытыми, чтобы раненые могли спастись. Почему же двери дворца Планкенхорст на запоре? Почему?

Однорукий юноша стучится в дверь.

Громкий стук эхом отзывается в пустом вестибюле, но в доме по-прежнему тихо.

– Альфонсина! Альфонсина! – стонет раненый. Ему никто не отвечает.

Только теперь начинает ныть полученная им в бою рана.

Прямо в сердце жалит его смертельное жало. Что-то очень уж больно, так и клонит к земле. Как хочется жить!

В памяти встает его короткая молодость: неразделенная любовь, несбывшиеся мечты.

Как горько!

Обессиленный, он медленно оседает на землю у самого порога.

Снова стучит в закрытый подъезд. Шепчет ее имя.

– Это я, Гольднер! Это я, Фридрих! Однорукий герой.

Нет ему ответа.

Может быть, они убежали отсюда? Может быть, дома никого нет?

Возможно.

Тогда он по крайней мере умрет на этом пороге.

Рана жжет, мозг заволакивает туманом предсмертных видений.

Приподнявшись на локте, он прислоняется к косяку двери.

Он неподвижно глядит перед собой и думает: как хорошо, что трехцветное знамя, свисающее с балкона, тихо колышется на ветру в лучах заходящего солнца; это смягчает муки.

Солнце скрывается за стенами дома, и по мере того, как оно опускается все ниже и ниже, на одной стороне улицы темнее, а на другой начинает светлеть. Черное облако дыма постепенно окрашивается в огненно-красный цвет, и пылающие шары, отрываясь от него, плывут в померкшее небо.

Умиравший видит теперь только одно: трехцветное знамя. Его, верно, забыли снять? Хорошо, что он умирает под его сенью.

Его вздохов и стонов не слышит уже никто. Женщины, которую он боготворил, нет дома. Двери закрыты.

Вдруг он замечает, что трехцветное полотнище начинает медленно ползти вверх. Чья-то невидимая рука оттуда, изнутри, убирает знамя.

Оказывается, в доме кто-то есть.

Значит, только для него закрыты двери!

Смертельная горечь и обида сотрясают его тело. Теперь каждая капля крови, падающая на землю, превращается в страшное проклятье.

Они дома и не открывают ему дверь!

Они слышат его стоны и остаются равнодушными!

До чего же бессердечны эти женщины!

Проходит несколько минут, и умирающий видит, как по шесту с балкона спускается другое знамя – черное знамя, против которого он сражался, то самое знамя, чьи сторонники нанесли ему смертельную рану; это знамя принесло ему гибель, и теперь оно спускается из окна, где живет женщина, которую он любил, спускается для того, чтобы бросить черную тень на лицо борца за свободу.

Увидя это, однорукий юноша отнимает от раны прижатую руку и с горьким воплем, обратив лицо к небу, ударяет окровавленной ладонью о порог дома, чтобы оставить на нем кровавый знак; затем он падает лицом на камни мостовой и умирает.

Тучи закрывают заходящее солнце; лишь пламя горящего собора

освещает улицу.

Многие уже не видят этого заката – все те, кто пал в бою.

Третий

В последнее время Енё Барадлаи дни и ночи проводил в доме Планкенхорст. Он совсем перебрался туда. Старый дворецкий присоединился к восставшим, и в его комнате поселился Енё. Он почти не выходил из дворца.

Необычные времена приводят к необычным поступкам. Когда ночь освещается заревом подожженных снарядами домов, когда рвущиеся во тьме гранаты прогоняют сон, тогда ни у кого не возникает вопроса, позволяет ли этикет неженатому молодому человеку проводить все ночи напролет в обществе одинокой вдовы и ее дочери, утешать представительниц слабого пола, когда они в ужасе и страхе мечутся из угла в угол по комнате, ободрять их, более того – часами держать в своих объятиях дочь хозяйки, прижимая ее голову к своей груди, глядя и успокаивая, и при каждом разрыве снаряда, при каждом испуганном вскрике молодой красавицы крепко стискивать ее плечи.

Енё с полным основанием думал, что его отношения с Альфонсиной теперь уже ни для кого не составляют тайны. Он считал себя ее женихом. При встрече и прощании он обнимал и целовал девушку на глазах у ее матери. В этом случае потворство равнозначно благословиению и согласию. Дело было теперь только за тем, чтобы надлежащим образом оформить эти установившиеся сами собой отношения.

Но для этого следовало дождаться лучших времен. Сейчас страх вздымает со дна души такие огромные волны, что они способны поглотить даже самые высокие маяки.

Будь теперь другое время, какое бы это было блаженство – провести три ночи и три дня рядом вблизи любимой! Иметь право каждую минуту, при любых обстоятельствах входить к ней в комнату! Будить ее, а иногда и самому просыпаться от ее прикосновений. Быть кумиром божества, которому молишься, кого всегда жаждешь видеть, без которого грустишь, чье присутствие приносит счастье. Какую радость приносила Енё привязанность Альфонсины. ее томленье, когда он сжимал ее трепещущее тело в своих объятиях, когда он чувствовал ее слезы на своем лице, когда их взоры встречались! А порой, когда шум сраженья ненадолго смолкал и воцарялась глубокая тишина, утомленная красавица без сил роняла голову на грудь юноши, и он мог часами держать ее в своих объятиях, любуясь ее улыбающимся во сне лицом. А. когда вдали снова раздавалась канонада, он

нежным поцелуем будил ее, чтобы громкий взрыв не напугал спящую.

Какое идиллическое счастье испытывал бы он, если бы ужас, страх и тревога не обуревали все его существо! Подобно тому, как наполненный вином кубок способна отравить одна капля горькой полыни, так и небесное наслаждение может быть отравлено одной мыслью. И мысль эта была: «Что ждет нас завтра?»

Таинственный саисский занавес скрывает тысячу тайн: вопрошающий получает тысячу ответов.^[56]

И все же вполне вероятно, что тысяча первую тайну, от которой зависит судьба человека, занавес не раскроет никому.

Енё напряженно искал ответа на тревожившие его мысли.

Что принесет с собою завтрашний день?

Может быть, победят восставшие?

А если мятеж подавят?

Что, если разгорятся уличные бои? Что, если будут штурмовать каждый дом и люди будут отстреливаться из ворот, с балконов, из окон?

Неужели не пощадят ни женщин, ни безоружных?

Может случиться, его схватят вместе с любимой и разрубят на куски?

А если город капитулирует? Если бунтовщики сложат оружие?

Что будет, когда вернуться люди, стоявшие прежде у кормила власти?

Амнистируют ли они их, или применяют к ним репрессии?

Какая судьба ожидает тогда семью Планкенхорст?

Известно ли власть имущим, какую роль сыграли эти женщины в освободительной борьбе?

Разве это возможно скрыть?

Может быть, удастся объяснить их поведение стечением обстоятельств?

Может быть, военные судьи разбираются в психологии и в психопатологии, возможно они признают, что эти женщины были временно невменяемы?

А что, если львиную долю их деяний переложить на мертвых или бежавших героев?

И разве исключено, что среди множества их бывших друзей найдутся такие, что захотят взять женщин под свою защиту?

А быть может, именно они-то и станут особенно яростно их преследовать?

А вдруг им все же придется предстать перед трибуналом? Что, если их осудят? Бросят в тюрьму? А может быть, даже казнят?

О том, что будет с ним самим, когда падет Вена, юноша не

задумывался.

Он только перенес из осторожности в свою маленькую комнату во дворце Планкенхорст фрак и цилиндр, а калабрийскую шапочку и прочие атрибуты героических дней тщательно запаковал и отдал на хранение привратнику того дома, где он прежде жил.

Уж его-то наверняка не привлекут к ответственности.

Ведь за все это время он ничего не совершил – ни хорошего, ни дурного.

Он просто развлекался при виде зрелища, которое другие, более экзальтированные юноши, принимали всерьез.

А он, он принимал всерьез лишь вздохи прекрасной дамы своего сердца.

И вообще, он готов разделить участь своей любимой. Даже умереть с ней вместе будет для него счастьем.

Правда, эта последняя мысль порой угнетала его, особенно когда он рисовал себе картину их смерти; но в конце концов он примирился и с этим.

В последние месяцы на столе в зале дворца Планкенхорст часто можно было видеть книгу о жирондистах. Енё прочел в ней, что было немало случаев, когда девушка и юноша, невеста и жених, вместе ехали в роковой повозке и, всходя друг за другом на эшафот, кричали перед смертью «Vive la liberté!»^[57]

Даже с этой жестокой участью смирился юноша.

Он твердо решил: если Альфонсину постигнет беда, он покончит с собой.

Если Альфонсину бросят в темницу, он ради спасения любимой разворотит все камни, разрушит тюремные стены, растопит сердца судей. Он будет умолять, апеллировать, взывать к жалости, а если ничто не поможет, – убьет тюремного стража и похитит ее.

Если же случится самое страшное, если прольется драгоценная кровь Альфонсины, тогда прольется и его кровь. Пистолет уже заряжен, и на пуле, в обойме, выцарапано имя Альфонсины, чтобы он умер с ее именем в сердце!

Все это хорошо обдумал Енё в те редкие часы затишья, когда не слышно было орудейной стрельбы, и любимая девушка, положив свою отяжелевшую от бессонницы голову на его грудь, забывалась дремотой.

К вечеру третьего дня бои прекратились.

Основные силы защитников столицы признали себя побежденными. Отдельные небольшие группы еще продолжали отчаянное сопротивление в

различных концах огромного города, а по главным его улицам уже маршировали под звуки фанфар победители.

В зале дворца Планкенхорст находились лишь трое: баронесса, ее дочь и Енё.

Вчерашние посетители этого дома исчезли без следа. И в ту самую минуту, когда под окнами раздалась музыка проходивших по улице войск, Енё услышал шаги на лестнице. Идут. Прямо сюда!

Он был готов ко всему, кроме того, что ему пришлось увидеть.

Старые знакомые, прежние поклонники баронессы, завсегда и на вечерах во дворце Планкенхорст, снова входили один за другим с улыбающимися, торжествующими физиономиями, и всех их, без исключения, баронесса и Альфонсина встречали дружескими рукопожатиями; все громко смеялись, как смеются добрые друзья после долгой разлуки, после пережитых волнений, все чувствовали себя как дома и, перебивая друг друга, весело и радостно перебрасывались шутками, делились впечатлениями; обе женщины с непостижимой легкостью нашли верный тон в общем хоре: могло показаться, что прошедшие восемь месяцев невиданных и грозных событий были всего-навсего кратким сном, отделявшим вчерашний день от сегодняшнего.

Енё никто не замечал.

О нем просто забыли, словно его и не существовало на свете!

Никто из гостей долго не задерживался: ведь все заходили только сказать, что они живы и в хорошем настроении. Одни посетители сменяли других. Все светское общество возвратилось в город вслед за армией. Неожиданно Енё увидел только что прибывшую важную персону, и человек этот соизволил его заметить. Это был господин Ридегвари.

Он шумно вошел в зал, уже с порога приветствовал дам, затем пожал обеими руками протянутые ему ручки и, вполголоса обменявшись несколькими словами с баронессой, нашел глазами Енё, который стоял, прислонившись к стене в оконной нише, и молча наблюдал за разыгравшейся перед ним сценой.

Когда вновь прибывший гость подошел к дамам, Ридегвари тут же направился к Енё и с деланной приветливостью воскликнул:

– Сервус, мой дорогой! Как хорошо, что я тебя встретил. Мне надо серьезно и спешно поговорить с тобою, дело идет о твоей судьбе. Будь добр, ступай домой и жди меня у себя на квартире.

Енё нашел в себе силы возмутиться тем, с какой бесцеремонностью Ридегвари выпроваживал его.

– Я в вашем распоряжении, милостивый государь. Вам не придется

утруждать себя поездкой ко мне. Теперь я живу здесь, в этом доме. Моя комната – на втором этаже, направо от лестницы.

– Вот как! Я этого не знал, – удивленно произнес Ридегвари. – Тогда подожди меня там несколько минут.

Господин Ридегвари снова подошел к дамам, а Енё, нехотя покинув зал, поднялся в ту комнатку, которую привык уже считать своей.

Когда он несколько часов назад покидал эту комнату, ее четыре стены еще заключали в себе и ад и рай, причудливо сливавшиеся друг с другом; любовный восторг перемежался приступами ужаса. Счастье и боязнь смерти, желание обладать любимой и ожидание гибели поочередно владели его воспаленным воображением. Теперь всему разом пришел конец. Нет больше ни ада, ни рая. Есть серая жизнь, повседневная действительность.

О чем, собственно, собирается говорить с ним этот человек с квадратным лицом?

Нет, сколько ни гадай – не угадаешь, бесполезно.

А все-таки любопытно.

Долго же заставляет он себя ждать!

Пока Енё с нетерпением ждал, когда же раздастся наконец звук тяжелых шагов, до него донесся вдруг шорох шелкового платья. Дверь неслышно отворилась, и Енё увидел входящую Альфонсину.

В первую минуту он подумал, что ее привела сюда любовь.

Ведь Альфонсина пришла одна, сбежав от гостей.

В ее взгляде он прочел смятение и тревогу: Альфонсина, видно, с трудом решилась на этот визит. Прямо с порога, без колебаний, она бросилась на грудь Енё, обвила его шею руками и дрожащим от волнения голосом пролепетала:

– Друг мой! Нас хотят разлучить!

– Кто? – вскричал Енё, ошеломленный неожиданным приходом Альфонсины, ее объятиями и словами.

– Они! Они! – выдохнула девушка и принялась рыдать, судорожно сжимая пальцами плечи Енё.

Беспокойство юноши возрастало.

– Ради бога, Альфонсина, будьте осторожны. С минуты на минуту сюда придет Ридегвари. Если он увидит вас здесь!..

Бедный, славный мальчик! Он больше заботился о добром имени своей любимой, чем о самом себе.

– Он не придет! – поспешила сообщить ему Альфонсина. – Они разговаривают с мамой там внизу. Они решили, что вам надо немедленно перебраться на свою квартиру. Больше вы здесь оставаться не можете. О, я

знаю, что это конец. Нас хотят разлучить навеки!

В голове у Енё все помутилось, он потерял самообладание и не мог произнести ни слова.

Между тем Альфонсина говорила все более страстно и пылко:

– Но я не позволю разлучить нас. Я твоя, твоя навеки: в жизни и в смерти. Я твоя жена, твоя любовь, я принадлежу тебе. Я готова молиться за тебя, готова умереть за тебя. Я предназначена тебе.

Эти страстные слова она скрепляла печатью безумных поцелуев: было видно, что она хочет забыть все вокруг и слить свое дыхание с дыханием любимого. Лицо ее пылало, в глазах сверкал адский огонь. Она одновременно плакала и смеялась, и все тело ее судорожно вздрагивало, когда к ней прикасалась рука возлюбленного. Юношу одурманил этот страстный порыв. Енё походил на того заклинателя духов из «Тысячи и одной ночи», которого вызванная им фея, поднимаясь обрат» но к облакам, увлекает за собой.

Он упал К ногам Альфонсины и страстно сжал ее колени. Он совершенно потерял голову.

Тогда Альфонсина внезапно оттолкнула его от себя и с испугом воскликнула:

– Во имя бога, Енё! Сохраните хоть вы рассудок, вы же видите, я совсем потеряла голову! Кто Бк будет защищать меня, если не вы?

И, закрыв лицо руками, она горько зарыдала, между тем как Енё ползал на коленях у ее ног и униженно просил прощения за свою вину; исступленно целуя ей руки, он молил забыть о его порыве.

В ответ на это умиленная Альфонсина подняла его; прижав руки к груди и глубоко вздохнув, она подавила волнение и, воздев к небу полные слез глаза, торжественно произнесла:

– Клянусь тебе, мой любимый, мой друг, моя жизнь, я буду твоей либо умру! Нет такой силы на свете, что могла бы разлучить нас. Ради тебя я готова отречься от родных и даже от веры. Я отрекусь даже от матери, если она встанет на нашем пути! Ради тебя я готова скитаться, стать нищенкой, изгнанницей. Я пойду на все, лишь бы разделить с тобой твою судьбу и в жизни и в смерти!

Эта страстная клятва потрясла Енё, и он лишился остатка разума. Ему тоже захотелось дать клятву.

Но Альфонсина прикрыла ему рот своей нежной маленькой ручкой.

– Молчи! Не клянись! Ведь я – в твоём сердце. Ты – мужчина и должен действовать, а не клясться.

Она снова горячо сжала его руку и выпорхнула из комнаты.

В дверях она обернулась и, показав свое разгоряченное лицо, подарила его невыразимо обворожительной, сияющей улыбкой. Затем, приложив палец к своим пленительным устам, послала воздушный поцелуй.

И исчезла.

Енё долго не мог прийти в себя от изумления. Мысли его путались.

Явь это или наваждение?

Ее поцелуи и сейчас еще горят на его губах, от ее слез еще влажна его грудь, слова еще звучат в ушах, улыбка сияет перед глазами; любовь Альфонсины, ее самозабвение, ее доверие к нему, стремительный взлет – > из адской бездны страсти к холодным звездным высотам целомудрия – что это: явь или наваждение?

Ни то ни другое! Просто – комедия.

Несчастный, доверчивый юноша!

Ты – жалкая игрушка в руках искусных комедиантов! Ставка в страшной, кровавой игре!

Покинув Енё, Альфонсина не спешила возвратиться в зал, где Ридегвари продолжал беседу с баронессой, а направилась в комнату своей камеристки.

Мадемуазель Бетти сообщила, что сестра Ремигия ждет ее в спальне. Она хочет поговорить с барышней, прежде чем пройти к баронессе.

Альфонсина смыла следы слез. Мадемуазель Бетти с помощью косметических средств помогла ей придать бледность лицу, и только тогда Альфонсина вышла к монахине.

Разговор у них был короткий.

– Палвиц здесь? – спросила Альфонсина.

– Сегодня вернулся, – ответила сестра. – Зря только охотился за Барадлаи, все же упустил его.

– Он прислал ответ на мое письмо?

– Да.

И сестра Ремигия, передав письмо, вышла в коридор и направилась в зал к баронессе.

Альфонсина осталась одна в спальне.

Она закрыла дверь, чтобы никто не вошел.

Присев к столу, она вскрыла конверт и прочла:

«Моя госпожа!

Если вы сможете вернуть то, чем пренебрегли, то найдете то, что потеряли.

Отто Палвиц».

Сейчас Альфонсине уже не потребовалась пудра, чтобы выглядеть бледной: ее рука, в которой было зажато письмо, бессильно упала на стол, голова откинулась назад на спинку кресла, листок бумаги дрожал в ее пальцах.

Неподвижным взглядом она смотрела прямо перед собой, заворуженно уставившись на огонь.

Лампа была под фарфоровым абажуром, разрисованным привычным сюжетом: ангел взлетал в небо, прижимая к груди спящего младенца.

Альфонсина пристально, не отрывая глаз, глядела на просвечивающий бледный силуэт ангела с ребенком, словно пытаясь угадать: долетит ли он до неба?...

Дождавшись ухода последнего гостя, Енё поспешил к баронессе.

Она была одна в своем будуаре.

– Баронесса, – обратился он к ней, – за сегодняшний день произошло много изменений. Позвольте мне, однако, верить, что одно осталось неизменным, – я имею в виду отношения, которые сложились на ваших глазах между Альфонсиной и мной. Я смотрю на эти отношения, как на краеугольный камень моей жизни. Прошу вас, баронесса, сообразоволяйте сказать мне, изменилось ли что-нибудь со вчерашнего дня.

Антуанетту отнюдь не рассердило это откровенное заявление Енё; напротив, она была скорее приятно поражена его мужественным поведением.

– Дорогой господин Барадлаи, вам хорошо известно, как мы вас любим. В этом смысле у нас не произошло и не произойдет никаких изменений. Моя дочь искренне к вам привязана и ни о ком другом не помышляет. Что касается меня, то я сочла бы за честь породниться с семьей Барадлаи. Против этого ни у кого нет никаких возражений. Однако поворот событий действительно принес с собой нечто новое, о чем вас следует поставить в известность. Дело заключается в том, мой милый, что вы... Не догадываетесь?

– Не имею представления, что вы хотите сказать?

– Нет?... Гм... Какое вы сейчас занимаете положение?

– Я?... Никакого.

– Именно об этом я и хотела с вами поговорить. С нынешнего дня вы – никто. Весь свет разделился на два лагеря, которые борются между собой. Может быть, победит один, может быть – другой, не исключено, что они примирятся и будут существовать совместно! Но при всех обстоятельствах в проигрыше останется тот, кто не примкнет ни к одному из лагерей. Придворная канцелярия, где вы служили, прекратила свое существование.

Перед вами стоял выбор: либо идти в Буду, на службу к венгерскому правительству, и тем самым избрать путь, по которому пошли ваши братья; в этом случае вы, пожалуй, стали бы государственным советником, секретарем министра, как ваши соотечественники сослуживцы, избравшие эту дорогу; либо присоединиться к вашим старым добрым друзьям и вернуться сейчас вместе с ними. Не скрою от вас: для меня абсолютно безразлично, какой вы избрали бы путь. Мы, женщины, идем в политике туда, куда нас ведут. Наши убеждения – это убеждения любимых нами мужчин. Моя дочь, несомненно, сопровождала бы вас в Пешт, в Буду, если надо – даже на край света, и наверняка прониклась бы теми же убеждениями, что и вы. Но вы проявили нерешительность, вы колебались, сомневались и превратились в одного из тех людей, которых никто теперь не замечает. Простите меня за такую откровенность.

Енё прикусил губу. Он не мог опровергнуть слова этой женщины. Ведь единственным оправданием юноши была безумная любовь, приковавшая его к этому дому и не позволившая ему действовать. Но он чувствовал, что в глазах баронессы это не может служить оправданием.

– Как истинный кавалер, как сын венгерского дворянина, вы, конечно, имеете все основания занять в свете соответствующее привилегированное положение. Однако я с грустью должна раскрыть вам глаза на два печальных обстоятельства. Во-первых, по возрасту вы еще не вступили в права наследования; во-вторых, ваши фамильные владения лежат на территории Венгрии. А о том, что там сейчас происходит, вам известно не хуже, чем мне. Вы читали историю французской эмиграции? Вы, вероятно, помните всех этих маркизов и виконтов, которые буквально заполонили Европу. Сегодня один сражающийся захватывает ваши земли, завтра – другой. Не следует забывать и того, что ваши родственники, на которых вы могли бы опереться, нас ненавидят. Я же не настолько богата, чтобы жить на два дома, и не настолько стара, чтобы ради детей удалиться от света. Я говорю вам все это откровенно и прямо.

– Все это верно.

– Не поймите меня превратно: я не отказываю вам и не вожу вас за нос. Мы любим вас. Мы желаем породниться с вами. Я не ставлю вам никаких сроков. Как только вы займете в свете видное положение, как только Вы снова выделитесь из среды незаметных людей, я первая буду вас приветствовать. Если это случится завтра, тем лучше... Да поможет вам бог.

Енё нечего было возразить баронессе. Пришлось смириться с преподанным уроком и отправиться восвояси.

Вернувшись на свою старую квартиру, он стал раздумывать над превратностями судьбы: в то время как человек в своем воображении строит всевозможные воздушные замки или уже заранее примиряется с мыслью о самой ужасной смерти, насмешница судьба исподволь готовит ему прозаическую, будничную катастрофу; возможность ее все время висела в воздухе, ее следовало ожидать, но он даже и не помышлял об этом в тревоге последних ужасных дней. А между тем то был полный крах! Теперь Енё понял, что значит – быть заживо погребенным!

Да, ему нечего было возразить этой женщине, которая с таким искусством упрятала его в могилу, к тому же по всем правилам обнесла ее зеленым дерном, посадила плакучую иву у изголовья да еще пожелала ему воскреснуть.

Она сказала ему: «Вы – никто».

И он не мог этого опровергнуть.

В довершение он вспомнил, что не получил в прошлом месяце денег от матери и, таким образом, в ближайшие дни ему предстояло бороться еще и с финансовыми трудностями.

Пустой кошелек, подобно камфаре, действует удивительно отрезвляюще.

Енё не смел теперь даже жаловаться на боль в сердце: ведь «никто» не имеет на это права; «никто» должен молчать, не причинять людям беспокойства.

Не успел он оглядеться в своей старой квартире, как слуга доложил, что барина спрашивает его сиятельство господин Ридегвари: может, барин желает сказаться отсутствующим?

И Енё невольно подумалось, что у погребенных под землю тоже есть свои друзья: кроты.

Что ж делать, пусть войдет. От этого человека не скроешься.

Господин Ридегвари приветствовал Енё с церемонной вежливостью:

– Я пришел сам, мой друг, вместо того, чтобы пригласить тебя на свою квартиру. Дело в том, что я остановился в гостинице, а там все слышно сквозь стены. Между тем я должен сообщить тебе нечто чрезвычайно важное и конфиденциальное. Прошу тебя, сядь.

Ридегвари уселся на диван и заставил Енё зажать место по другую сторону круглого столика.

– Прежде всего мне надо передать тебе письмо от матери. Положи пока конверт в карман, там есть и деньги; после прочтешь. Кстати, ты, верно, знаешь, что на протяжении последних двух недель командующий правительственными войсками не пропускал в город никаких почтовых

отправлений, чтобы к осажденным не проникла военная информация. Все письма вскрывали. Эта диктовалась условиями времени, – ничего не поделаешь. На письме, адресованном тебе, я совершенно случайно узнал почерк госпожи Барадлаи и поэтому спас его от цензуры. Мне вручили его под честное слово. Самого письма никто не читал. В нем, вполне возможно, встретятся устаревшие сведения о событиях, которые уже миновали и о которых твоя родительница через несколько часов сама тебе лично расскажет.

– Как? Мама здесь? – испуганно и удивленно воскликнул Енё.

– Разумеется. И то, что она до сих пор не встретила с тобой, объясняется лишь тем, что ты постоянно находился в доме Планкенхорст, где она по многим причинам не хотела появляться. Но она по крайней мере раз двадцать пыталась застать тебя здесь, и, безусловно, попытается застать тебя сегодня.

– Но что она делает в столице?

– К сожалению, занимается предосудительными делами. И хуже всего то, что об этом знают. Она прибыла в Вену специально для того, чтобы убедить Рихарда вернуться со своим отрядом на родину.

– И ей это удалось?

– Да. Вот уже третий день, как Рихарда преследует погоня. Он решил укрыться в Карпатах, но на лошадях там далеко не уедешь. А твоя мать застряла в городе, и есть уже приказ об ее аресте.

– Боже! – воскликнул Енё, вскакивая с места.

– Садись, садись. До завтрашнего утра ей мало что угрожает. Город уже занят войсками, но гражданская власть пока не действует. Полиция, сыск, жандармерия еще не вступили в свои права. Так быстро это не делается. Сегодня в городе еще царит полный хаос: те, кто стремится спастись, еще могут переходить из одного дома в другой, с одной улицы на другую. Но так будет продолжаться лишь двадцать четыре часа. После этого снова будет установлен старый порядок. Но если внутри города сейчас еще можно ходить невозбранно и никто за тобой не будет следить, то за пределы города уже никого не выпускают, все шлагбаумы охраняются. Арестовывают каждого, кто не имеет пропуска от новых властей. Никакая, даже самая удачная, подделка подписи и печати не поможет: на новых пропусках есть некие тайные знаки, отсутствие которых сразу вызывает подозрение. Выйти из города, таким образом, невозможно.

Енё испытал такое ощущение, будто его грудь сдавил могучий Атлас. Это было свыше человеческих сил. Свет померк в его глазах.

– К сожалению, я каждый раз вспоминаю о твоей семье с чувством

горькой обиды, – продолжал Ридегвари. – Тем не менее я не могу оставить в беде вдову твоего отца. Вот, я достал для нее пропуск. Когда она придет, передай ей его, и она безопасно покинет город. Пропуск выдан на имя леди Танкервиль, – ведь твоя мать отлично говорит по-английски. С этим пропуском ее никто не задержит.

По растроганному лицу Енё и его смягчившемуся взору Ридегвари понял, что юноша изумлен и восхищен его благородным поступком.

– Дорогой Енё, ты знаешь, как жестоко обошлись со мной твоя мать и братья. Но я не испытываю к ним ненависти. Наши пути разошлись, но я умею уважать противников. За свои политические убеждения мы можем, если потребуется, пожертвовать жизнью, даже убить друг друга, но... но вне политики мы не должны друг друга ненавидеть. Вот почему я ни при каких обстоятельствах не забуду клятвы, которую дал твоему покойному отцу, обещав ему оберегать и защищать его семью при любых обстоятельствах. Я оставлю тебе этот пропуск и всецело полагаюсь на твой ум. Действуй, как знаешь, но предотврати величайшее несчастье, которое грозит вашей семье.

Дрожь охватила Енё, когда он взял пропуск. В его руках – судьба матери! Сумеет ли он спасти ее?

– А теперь поговорим о тебе, мой друг, – заговорил Ридегвари другим тоном. – Мне кажется, что из всей вашей семьи один только ты можешь еще распоряжаться собственной судьбой. Не пойми меня превратно. Я не вмешиваюсь в твои сердечные дела. Я говорю лишь о самых существенных, жизненно важных вопросах. Ты остался в Вене после мартовских дней и этим достаточно ясно выразил свое отношение к событиям. Это отношение можно охарактеризовать как мудрое равнодушие к ним. Лично я одобряю тебя: умный человек с трезвым взглядом на вещи не должен поддаваться политическим страстям, когда невозможно даже понять, на чьей стороне справедливость и кто одержит верх. Но тем не менее мудрая осторожность не должна вредить карьере выдающейся личности.

Енё был глубоко тронут тем, что человек с таким критическим умом, как Ридегвари, назвал его выдающейся личностью.

– Ты хорошо сделал, что в это смутное время не связал своей судьбы ни с одной из враждующих сторон, но не следует подрезать свои собственные крылья. Счастливый случай позволяет мне оказать решающее влияние на выбор кандидата для замещения одной только что освободившейся и весьма почетной должности. Твои способности, мой друг, дают мне право надеяться, что ты – один из самых подходящих

кандидатов на этот пост. Речь идет о должности первого секретаря посольства в Санкт-Петербурге.

Сердце Енё учащенно забилося.

Он много раз слышал от отца, что эта блестящая должность предназначалась для его старшего брата Эдена.

– Это прекрасное поприще, – продолжал Ридегвари. – Ты будешь далеко от здешнего суматошного мира, где трудно отличить друзей от врагов, где постоянно приходится делать выбор между обязанностями и чувствами. Там ты будешь стоять надо всем этим. Это – единственный в Европе неприступный утес, до вершины которого не достают волны общественных бурь. Кроме всего прочего, этот пост создаст тебе прекрасное материальное положение: твое жалование составит двенадцать тысяч форинтов в год, не считая сумм на представительство. И какое великолепное будущее! Как далеко можно видеть с той высоты! Эта возможность перед тобою открыта, мой друг!

У Енё закружилась голова от такой ослепительной перспективы. Это превосходило все, о чем он когда-либо смел мечтать.

Ридегвари сделал вид, что не заметил волшебного действия своих слов. Он посмотрел на часы и внезапно встал.

– Что-то я слишком засиделся у тебя. Меня ждут дела. Ответ на мое предложение можешь дать завтра утром. Обдумай все как следует. От решения, которое ты примешь, будет зависеть вся твоя дальнейшая судьба. Поэтому взвесь все хорошенько. Советую тебе, если встретишься с матушкой, узнай и ее мнение на этот счет. Возможно у нее будут какие-нибудь веские возражения. В таком случае сопоставь их с моими доводами и сделай выбор. Спокойной ночи, дорогой.

И Ридегвари ушел, оставив Енё наедине со своими мыслями.

О, «его превосходительство» отлично понимал, какое впечатление произведут его слова на слабохарактерного юношу! Разве захочет он сообщить матери об этом заманчивом предложении? Никогда!

Особенно после того, как прочтет ее письмо, переданное Ридегвари.

Вскрыв конверт, Енё отложил в сторону деньги и впился глазами в записку. Он сразу узнал почерк матери.

«Дорогой сын!

Я прочла твое письмо; ты приглашаешь меня разделить твою радость и полюбить девушку, которую ты называешь невестой. Если счастлив ты, то счастлива и я. Счастье я не ставлю в зависимость от богатства, положения и знатности. Выбери ты

девушку из народа, простую работницу, но чистую и честную, я дам вам свое благословение и буду рада за тебя. Будь твоей избранницей модницей и щеголиха, чье имя пользуется дурной славой в свете, я стану молиться богу, чтобы он исправил ее и принес тебе счастье. Я приму в свои объятия и такую женщину. Но если ты возьмешь в жены Альфонсину Планкекхорст, то ваш брак не благословит ни господь бог, ни твоя мать! В этом случае тебе придется навсегда распрощаться со мной...»

Эти слова больно, очень больно ранили сердце Енё. Стало быть, его мать ставит ту, на кого он молится, ниже любой модницы и кокетки, ниже простолюдинки! Она готова признать невестой сына последнюю служанку, но только не Альфонсину!

Что ей сделала Альфонсина? Что Альфонсина вообще сделала дурного? Кому она причинила вред?

Нет, женщины всегда впадают в крайность, когда ими владеют политические страсти.

Можно было бы еще как-то понять враждебное отношение матери к баронессе Планкенхорст. Но ведь Альфонсина-то уж вовсе ни при чем, она не замешана ни в каких политических интригах.

Ему пришли на ум слова Альфонсины:

«Ради тебя я готова отречься от веры, от родных, даже от матери!»

И ему припомнились ее горячие поцелуи, безумные объятия, которые предшествовали этим словам.

Она готова пренебречь мнением своей матери, ее проклятьем, она сказала: «Я готова стать нищенкой, изгнанницей, но я буду твоей».

Так что же? Неужели пойти против воли матери для него страшнее, чем потерять любимую? Не служит ли такая привязанность к матери признаком слабости? И разве не служит признаком мужской воли любовь к женщине?

Ведь он уже не ребенок!

С какой ледяной иронией та, другая мать, сказала ему: «Вы – никто! Вас теперь попросту не замечают. Кто отдаст за вас свою дочь? Займите в свете видное положение и тогда приходите опять. Если это случится завтра, тем лучше».

Как было бы хорошо уже сейчас предстать перед этой надменной и дальновидной женщиной и заявить ей:

«Завтра» уже наступило, и я здесь. Я уже кое-что значу, я поднялся на такую высоту, где меня увидят все».

И, не прибавляя больше ни слова, с достоинством удалиться – далеко-далеко, под чужое небо, где тебя не коснется здешняя суета, где ты будешь наедине со своей счастливой любовью. Оставить этот мир вздорных и злобных противников, в чьих вечных распрях он не желает и не может участвовать, чья борьба приносит людям лишь неприятности, огорчения и тревоги. Бросить здесь все!

Ему захотелось стать влиятельным, уважаемым всеми человеком, стоящим на вершине общественной лестницы, вершащим судьбы людские. Сразу подняться на ту высоту, где действуют незаурядные личности.

Все чувства его души были охвачены этой мыслью, как пламенем. В отблесках этого пламени еще ярче разгоралась его любовь, крепла верность, таял страх.

Решено! Теперь он знает, что ответить утром Ридегвари – своему единственному и величайшему благодетелю!

Никогда он не забудет этой услуги.

Если сейчас явится мать и попробует отвлечь его от принятого решения, он знает заранее, что она ничего не добьется. Честь и хвала сыновней любви, но только до той поры, пока не придет любовь супружеская. Ей принадлежит первое место. «Ты – мужчина, и должен действовать!» – сказала ему Альфонсина. Енё решил, что пришло время показать, что у него есть сила воли и он может действовать!

Позвав слугу, он распорядился: как только придет дама, которая не раз спрашивала его в последние дни, пусть ее тут же проведут к нему.

Но Енё ждал напрасно. Мать так и не пришла.

Он бодрствовал до поздней ночи. Несколько раз посылал слугу узнать у дворника, не спрашивал ли его кто-нибудь. Она не приходила.

Наконец он решился лечь. Спал он плохо: его тревожили дурные сны.

Енё едва дождался рассвета. Поздней осенью утро любит заставлять себя ждать. К тому же наступила пора туманов.

Мать так и не пришла. Либо ее арестовали, либо ей удалось бежать из города.

Он беспокоился о ее судьбе.

Наступило утро, утро в понимании горожан. Был тот час, когда чиновник уже не докучает своему патрону во время утреннего кофе. Енё взял извозчика (это уже было нетрудно сделать, хотя еще накануне извозчики перевозили на своих лошадях орудия) и поспешил к Ридегвари.

Прежде всего Енё спросил:

– Известно ли вам что-нибудь о моей матери? Она ко мне так и не приходила.

– Да, известно. Ей удалось бежать из города. Ночью схватили торговку овощами, у которой она скрывалась. Та показала, что ваша мать, переодевшись в чужое платье, ушла ночью через пригородные сады. Там ее ждала повозка, и теперь она уже в Пожоне.

Словно тяжелый камень свалился с груди Енё при этом известии: значит, мать спасена! Значит, он свободен!

Теперь он мог решиться.

– Подумал ли ты о моем вчерашнем предложении? – спросил Ридегвари.

– Да. Я решился. Я принимаю должность секретаря посольства.

Ридегвари пожал ему руку.

– Я не сомневался в этом. Видишь, я настолько уверен в тебе, настолько доверяю твоему здравому смыслу, что у меня уже готов документ о твоём назначении.

С этими словами человек с квадратным лицом открыл сейф и вручил Енё бумагу. Юноша был покорен этой заботливостью Ридегвари.

Ведь только добрые феи способны на такое внимание к своим избранникам!

– Завтра ты примешь присягу, а затем не спеша сможешь уладить свои дела в Вене: ведь ты отправляешься в далекое и продолжительное путешествие. Порви те отношения, которые тебе нужно порвать, и окончательно закрепи те, которые хочешь сохранить.

Енё понял намек.

– Я ничего не буду предпринимать без вашего ведома.

– Понимаю. Поспеш же туда, куда тебя прежде всего зовет твое сердце.

Дамы Планкенхорст в этот день рано покончили со своим туалетом; вот почему Енё не понадобилось врываться в будуар баронессы, хотя он находился в таком состоянии, что способен был и на такой поступок.

Кто решился бы упрекнуть человека, который из вчерашнего скромного чиновника уже не существующей ныне канцелярии, где он занимал место с окладом в тысячу двести форинтов, вдруг, за одни сутки, поднялся до поста с годовым окладом в двенадцать тысяч форинтов, упрекнуть его в том, что он пытается сегодня широко распахнуть ту дверь, которую мать его возлюбленной только вчера захлопнула перед ним, как перед недостойным внимания женихом.

Баронесса сделала вид, будто очень удивлена его приходом.

Но Енё на это и рассчитывал! Он с достоинством приблизился к сиятельной даме и начал хорошо продуманную речь:

– Милостивая государыня, вы сказали мне: «Если это случится завтра, тем лучше». Это «завтра» наступило, я теперь уже не «никто». – С этими словами он протянул баронессе документ о своем новом назначении.

Антуанетта Планкенхорст с улыбкой приятного удивления прочитала бумагу и весьма любезно протянула руку Енё.

– Очень рада за вас.

Енё почувствовал, что теперь он может гордо держать голову: он уже человек на виду, он уже что-то значит в этом мире.

– Разрешите, баронесса, снова задать вам вчерашний вопрос?

– Я уже ответила на него, – благосклонно произнесла она. – Желаете ли вы, чтобы я поставила обо всем в известность Альфонсину?

– Умоляю вас об этом.

Баронессе достаточно было лишь переступить порог соседней комнаты, чтобы привести оттуда за руку дочь. Альфонсина изобразила крайнее смущение и сделала вид, будто не понимает, чего от нее хотят. Мать подвела ее к Енё и представила молодого человека:

– Его превосходительство секретарь посольства в Санкт-Петербурге.

– Ах! – воскликнула Альфонсина, приветливо улыбаясь, и протянула руку Енё, который с трепетом принял ее.

– Смотрите же, удержите эту руку! – с милостивой улыбкой проговорила баронесса.

В ответ на эту добродушную шутку Альфонсина прильнула к груди матери, и лицо ее, как полагается, покрылось стыдливым румянцем. Енё поспешил поцеловать руку своей будущей тещи, а та поцеловала его в лоб – холодным как лед поцелуем.

Альфонсина, казалось, не смела поднять опущенных ресниц; ведь она стояла перед своим женихом.

– Когда вы желаете сделать официальное предложение? – церемонно осведомилась баронесса. – Хотите, завтра? В полдень? Устраивает это вас?

Енё не находил слов для выражения своей признательности.

– Итак, завтра в двенадцать часов. Вы можете прийти и пораньше. Не так ли, Альфонсина?

Альфонсина снова уткнулась лицом в кружева материнского платья.

– Ну же, отвечай! В конце концов ведь речь идет о тебе.

Едва слышно Альфонсина пролепетала «да». Ведь ее, невинную и скромную девушку, смущала даже сама мысль о том, что просят ее руки! Ах, как ей было страшно!

Слушая робкий шепот любимой, Енё был вне себя от счастья. Уходя, он даже забыл на столе у баронессы бумагу о своем назначении на новую

должность, и хозяйка дома сама вынесла ее вслед за ним.

Он получил возможность еще раз поцеловать руку своей будущей теще, и баронесса чрезвычайно любезно сказала ему, глядя в глаза:

– Я горжусь вами.

Енё со всех ног бросился домой.

У него было такое ощущение, словно он вторично родился на свет.

Вся его прежняя жизнь была лишь прозябанием. Настоящая жизнь начиналась только сейчас; он стал наконец человеком!

То, о чем он даже не смел мечтать, совершилось, как в сказке, в один день. Он стал «его превосходительством и женихом. Его личным и служебным успехам мог теперь позавидовать каждый.

Весь мир вдруг приобрел в его глазах яркие краски, новые очертания.

И все же что-то омрачало его радость.

Эта радость напоминала осенний день. Сияет солнце, но какая-то дымка стелется в вышине, мешая светилу гореть ярко и греть горячо.

Эта тонкая дымка, омрачавшая сияние достигнутого Енё счастья, была не что иное, как угнетающая его мысль о том, что мать ничего не знает о случившемся, что она не хотела этого и не будет этому рада.

Да, к нему пришло счастье, но ведь он даже не попытался переубедить мать, разбить ее доводы, он даже не попробовал поколебать сердце матери своей любовью. Нет, он скрывался от матери, бежал ее. Он трусливо радовался тому, что не встретился с ней. Он втайне ликовал, что ему не пришлось вступить с нею в борьбу.

Какой-то дух беспокойства преследовал его, и сквозь сладостное опьянение гордостью и счастьем какой-то внутренний голос неотступно шептал ему одни и те же обидные слова: «Ты трус!»

Тщетно пытался он избавиться от этого докучного собеседника, говоря себе: «Я рад, что мама избежала смертельной опасности». – «Лжешь! – шептал ему внутренний голос, – ведь ты радуешься тому, что избежал неприятного разговора с матерью!»

С наступлением вечера это тягостное, гнетущее состояние усилилось. Енё не мог оставаться в комнате. Он решил куда-нибудь пойти, хотя в тот день на улицах Вены трудно было рассеяться, да и увеселительные заведения были почти все закрыты.

Енё подошел к зеркалу, чтобы поправить галстук и... остолбенел.

Призрак, который внушал ему ужас и шептал слова: «Ты трус!» – сейчас вдруг облекся в плоть и кровь. Он увидел в зеркале отражение входящей в комнату матери.

– Мама! – вскричал он сдавленным от ужаса голосом.

О, перед ним стояла совсем не прежняя госпожа Барадлаи с гордым, повелевающим взглядом, перед которым он так трепетал. То была сама голгофа, придавленная тяжестью креста, то была женщина с бледным, мученическим лицом, которая уже выплакала все слезы – живое воплощение страданий и боли. Такой предстала Енё его мать.

И он смел радоваться своему счастью! Теперь ему уже не приходило в голову, что мать явилась, чтобы разрушить его честолюбивые планы, развеять его любовные мечты, нет, он думал лишь о том, что жизнь ее в опасности.

Енё обнял ее, словно пытаясь защитить это дорогое ему существо от враждебных глаз.

И он почувствовал на своем лице горячие, жаркие поцелуи. О, они совсем не походили на поцелуи той, другой матери, матери Альфонсины.

– Милая, родная мама, откуда ты?

– Издалека.

– Мне сказали, что ты ушла из города и уже в Пожоне!

– Так оно и было. Три дня я безуспешно искала тебя.

И, не надеясь найти, покинула город. Но в Пожоне я услышала... нечто, и это привело меня обратно.

– Для чего ты вернулась?

– Для того, чтобы поговорить с тобой.

– Зачем ты это сделала? Ведь ты могла дать мне знать, и я бы сам приехал к тебе. Почему ты не приказала мне этого?

– Нет, сын мой, я не приказываю. Не умею. Я приехала просить тебя. О, не бойся! Я не собираюсь нарушать твоих планов. Я не хочу тебя ни от чего отговаривать; поступай так, как ты сам решил. Я приехала молить тебя лишь об одном.

– Мама, прошу тебя, не говори со мной таким тоном!

– Прости. Я не хотела тебя огорчить. Несколько дней назад я еще могла от тебя чего-то требовать; сегодня – уже нет. Я тогда написала тебе письмо, ты его получил? Нехорошее, обидное письмо. Разорви его. И больше не вспоминай. Его написала недобрая женщина. Этой злой, гордой женщины уже нет. Нас смирили удары судьбы, тяжкие удары, которым не видно конца. О, ныне я только скорбная вдова, которая сама вырыла могилу своим сыновьям и теперь молится, даже не зная кому, даже не зная о чем; быть может, о том, чтобы могила эта не поглотила ее детей.

– Мама, милая, но ведь твои сыновья живы!

При этих словах молнии сверкнули в затуманенных слезами глазах матери. Она порывисто сжала руку Енё:

– А ты знаешь, где они? Один пробивается через Карпаты, гонимый, преследуемый врагом; под ним – зияющие пропасти, разлившиеся горные реки, над ним – снежные бури и коршуны. Если его не схватят и он не умрет от голода, не погибнет в пропасти, не утонет в реке, он, возможно, прорвется на поле боя. Там его ждет второй мой сын, командир ополченцев. Знаешь, из кого состоит его войско? Из сыновей, которые покинули своих матерей и отцов, бросили жен и детей. Какой-то безумный порыв гонит их в объятия смерти. Они все там погибнут.

– Но зачем же им погибать?

– Затем, что у них нестерпимо болит сердце и иначе им не унять эту боль.

– Но, может быть, они победят, мама?

– Обязательно победят! Клянусь богом, победят! Но это им не поможет. Они накличат на себя еще большую беду. Они совершат чудеса, заставят весь мир уважать себя, их созвездие будет сверкать над погруженной во мрак Европой. Но тем опаснее это для них! Приговор им уже вынесен и утвержден сильными мира сего. Если они не погибнут сразу, им нанесут второй удар, затем третий, их будут разить до тех пор, пока не уничтожат. Я узнала про это в Пожоне из перехваченных писем. Это и привело меня сюда. Разреши мне присесть. Я проделала долгий путь и все пешком.

– О бедная мамочка!

Енё усадил мать рядом с собой на софу и обнял за плечи.

– Разве я могла не прийти, не повидать тебя в последний раз?

– Не говори так.

– Ты уедешь далеко, а когда вернешься, застанешь нас в страшной беде. Есть люди, которые уже придумали, как отомстить матери, причинившей им столько хлопот.

– Кто они?

– Твои друзья. Твои покровители. Я не порицаю их, не думай. Они готовят тебе лучшую участь, чем я. Я погубила бы тебя, они – спасают. Я готовила тебе мрачную, грозную, безрадостную жизнь; они предлагают тебе счастливую любовь, блестящую карьеру. Они, видно, любят тебя больше, чем я. Я не могу соперничать с ними. О сын мой, они куда разумнее нас. Мы – безумцы, которые ради мечты, ради идеи, ради призрачного сна отдают свою жизнь. Мы сами обрекаем себя на муки. Не старайся понять нас. Будь счастлив! Ступай с теми, кто отправляется сейчас в Россию, к русскому царю, искать поддержки и союза в борьбе против нашей восставшей родины. Туда посылают несколько венгров, и у них, как

и у тебя, должно быть, защемило сердце, когда им придется призывать смерть на головы собственных матерей и братьев. И все-таки они сделают это, ибо их уверили, что матерей и братьев надо поставить на колени. С герба Барадлаи сотрут имена Эдена и Рихарда, Зато твое имя, начертанное золотыми буквами, украсит этот герб. Какой неопровержимый аргумент в глазах Европы: против двух сыновей Барадлаи – изменников и предателей родины – выступил их родной брат, третий сын; он помог подготовить военный союз могущественных монархов против Венгрии.

Енё стал бледен как полотно. Неподвижным взглядом он смотрел перед собой. Об этом ему еще никто не говорил. Но ведь он мог догадаться и сам.

– В исходе борьбы нельзя сомневаться: он предрешен, – торжественно продолжала его мать, пристально глядя на лампу, – мы погибнем. Но ты останешься жить. Против двух великих держав нам не устоять. Будь мы даже из железа, все равно нас погребет под собой лавина. Твои братья падут смертью храбрых. Человеческая жизнь теперь ценится дешево! Но ты будешь жить счастливо и создашь себе новую семью. Ты станешь главой рода Барадлаи. Ты будешь мужем красивой женщины, за особые заслуги ты получишь высокие награды, тебе станут завидовать. Ты превратишься во влиятельного человека, в славу новой эпохи.

Енё казалось, будто тяжелые камни обрушиваются ему на голову.

– К тебе станут обращаться с просьбами и прошениями многие бедняки, у которых будут свои мелкие беды. Ты сможешь делать им много добра. И ты будешь это делать, я знаю, ибо у тебя доброе, мягкое сердце. Когда к тебе, могущественному человеку, станут приходить люди с просьбами о покровительстве, не забудь, сын мой, и моей просьбы. Видишь, я первая спешу к тебе с прошением.

Каким униженным почувствовал себя в эту минуту юноша! Если бы то, что говорила ему мать, было лишь иронией! Но нет, она была серьезна! Она говорила правду!

– Я молю не за себя и не за твоих братьев. Мы готовы без страха принять свою участь. Поверь мне, мы даже сами пойдем ей навстречу. Твой брат Рихард – не женат, и после него детей не останется. Но у Эдена есть уже два чудесных мальчугана. Младший родился всего лишь месяц назад. Нет сомнения, что за свои заслуги ты будешь щедро вознагражден. Имущество твоих братьев власти наверняка конфискуют, и тогда все родовое поместье достанется тебе.

Енё вскочил с места; он испытывал ужас, подобный тому, какой испытал, должно быть, Саул, когда эндорская прорицательница вызвала дух

пророка.

Мать продолжала:

– И вот когда ты станешь богатым и могучим, когда ты один будешь владеть тем, чем мы владеем сейчас все вместе, когда ты будешь купаться в лучах славы и счастья, сын мой, вспомни этот час и мою мольбу: не допусти, чтобы дети твоего брата пошли по миру!

– Мама! – закричал страшным голосом Енё и, выхватив из ящика стола заветный документ, разорвал его в клочья и швырнул на пол.

Он зарыдал и бросился к ней на грудь.

– Я не пойду, не пойду по такому пути!

Невозможно передать словами, какую радость доставил Енё своей матери! Как обнимала, как целовала она свое дитя, своего младшего сына, своего любимца!

В порыве чувств она даже призналась, что любит его сильнее, чем братьев.

– Правда, что ты пойдешь со мной, Енё?

– Да, мама, я пойду с тобой.

– Тебя я не пущу воевать, ты не покинешь дома. Ты будешь нашим утешителем. Я хочу, чтобы ты остался в живых. Я хочу, чтобы ты был счастлив. Ведь правда, я могу надеяться, что ты будешь счастлив?

Енё перевел дыхание. В его мозгу промелькнуло недавнее прошлое. Еще не замутилась водная гладь омута, куда кануло его призрачное счастье, но оно уже погребено навеки.

Он ничего не сказал и только поцеловал мать. Он не хотел покупать себе счастье такой ценой, иного пути к счастью для него не было.

– Пойдем отсюда скорей, как можно скорей.

Енё вспомнил о пропуске.

– Мама, здесь ждет тебя пропуск на выход из города. Он ждет тебя еще со вчерашнего дня. Но сегодня он тоже действителен.

– Кто его тебе дал?

Енё задумался: как ответить, не произнося имени того человека?

– Старый знакомый нашей семьи, тот, кто раздобыл назначение для меня.

– И ты думаешь, я приму что-нибудь из его рук?

Госпожа Барадлаи бросила разорванный пополам пропуск в кучу бумажного мусора. Там ему и место!

– Что ты наделала? Как же теперь быть? Все входы и выходы из города охраняются.

Она гордо подняла голову:

– Будто уж мы не можем что-нибудь придумать сами! Бери пальто, Енё. Я проведу тебя так, что ни один человеческий глаз нас не увидит.

Напрасно ждал на следующий день «его превосходительство» нового секретаря посольства, чтобы сопровождать его на церемонию обручения. Напрасно ждали жениха и невеста, и ее мать, и многочисленные гости, приглашенные на торжество: он не явился.

По всей вероятности, и третьего сына сумела увлечь за собой эта ужасная женщина – его мать!

Куда она исчезла? Как прошла через сторожевое кольцо? Этого никто не знал. Ведь все пути были перекрыты!

И никому не пришло в голову, что в ту пору река Дунай тоже была неплохой дорогой для тех, кто достаточно отважен, чтобы темной ночью, в густом тумане, вверить свою жизнь утлону челну, послушному веслам двух смелых рыбаков.

Впереди – вода, позади – огонь

Куда направить путь?

Решался вопрос о жизни или смерти уходящего от погони гусарского отряда.

Сзади и с флангов стояли отряды неприятельских войск; от них-то и уходили гусары под своим венгерским знаменем; впереди дорогу преграждали две реки – Дунай и Морава, а дальше за ними синели горные кручи Карпат. Все магистрали были перерезаны, все населенные пункты вокруг Вены обложены королевскими солдатами, а в открытом поле не найти ни поселков, ни крова, ни хлеба.

Полтора часа скакал отряд проселочной дорогой, стремясь выйти к Дунаю.

К тому времени ветер разогнал тучи, дождь перестал и появилась возможность ориентироваться на местности.

Справа показался Дунай. Водная гладь его выглядела черной от низко плывших облаков.

На берегу виднелась сожженная пристань, которую пять дней назад штирийские егеря защищали от хорватских повстанцев, а затем сожгли.

Рихард направил туда свой отряд.

Обугленные стены постройки никто не охранял; гусары расположились на просторном дворе.

– Ну, ребята, – обратился Рихард к собравшимся вокруг него солдатам, – сейчас мы вступаем на путь, который приведет нас либо на родину, либо к черту в пекло. Хотя вы это и сами хорошо знаете, но все-таки я еще раз напомню, что нам предстоит испытать все муки человеческие, – и каждую в отдельности, и все разом. Нам придется быть в седле и днем и ночью, переплывать бурные реки, взбираться на горы, сутками не смыкать глаз, голодать, драться. Кто упадет – тот пропал, догонят нас – все пропадем, расстреляют. Поэтому я никому не говорю: «Следуй за мной!». Я пойду вперед сам и не стану оглядываться, не стану подсчитывать, сколько человек из тех двухсот двадцати, что присутствовали вчера на поверке, пошли за мной. Никто еще не давал никакой клятвы. Сейчас темно: кто сомневается или думает иначе, пусть возвращается назад. Но как только взойдет солнце, все, кто останется в отряде, должны будут беспрекословно исполнять любой мой приказ и не жаловаться. Ну, а теперь, кто хочет – вперед. Вот наше первое испытание!

Уже одно это первое испытание могло напугать слабодушных и заставить их повернуть вспять. Капитан распорядился искать брод через Дунай.

По военным маневрам он хорошо знал этот отрезок Дуная со всеми его затонами и отмелями. Для самого капитана и для старых бойцов отряда перейти Дунай вброд ничего не стоило, но вот для молодых... Верно, не один из них задумался, увидев почти одновременно и падающую звезду, и первого коня, окунувшего свои копыта в воду. А впереди лежало широкое, безбрежное, темное зеркало реки, которую предстояло преодолеть, не слезая с седла и не замочив оружия.

Но самое трудное было впереди! Чем шире река, тем медленнее ее течение и тем она мелководнее. Посреди Дуная в этом месте лежали три отмели, которые передний всадник распознавал по блесткам на воде, Отряд мог пройти их вброд. Но между ними были глубокие места, которые предстояло переплывать на лошадях.

Если бы кто-нибудь наблюдал за этой картиной со стороны, он увидел бы на темной глади вод извивавшуюся серебристую спину огромной змеи. Лишь конские головы да торсы людей поднимались над поверхностью реки; всадники двигались попарно, длинной цепочкой.

На другом берегу отряд приняла под свою сень тополевая роща. На поляне Рихард собрал тех, кто последовал за ним.

– Подсчитаем, сколько нас.

Сержанты доложили.

– Двести двадцать.

– Не может быть! – воскликнул Рихард. – Ведь двоих мы оставили в охране.

– Мы уже здесь, капитан, – послышался бас, в котором Рихард узнал луженый голос господина Пала.

– Это ты, Пал? – обрадовался он. – Как ты нашел нас?

– Неужто я не знаю вашего обычая!

– Ну, молодчина. Какие новости в лагере?

– Когда мы уезжали, кирасиры снялись с места и двинулись к городу, словно специально пропуская нас. Я и подумал, что делать нам там больше нечего. Вот мы и поскакали за вами.

– Ничего подозрительного не заметил?

– Все было тихо. Костры потушил дождь.

– А где ротмистр со знаменосцем?

– Не захотели с нами ехать. Мы и заперли их в одном склепе.

– Живыми?

– Живыми. А на дверях написали: «Кому нужно, подберите!»
– Вы что ж и меня бы замуровали, если б я с вами не пошел?
– Да. Только вас-то уж мертвым.
– Мертвым? Почему?
– Из уважения к вашей доблести.
– Ну, спасибо. Придется отблагодарить за это. Теперь, орлы, доверьте свою жизнь мне, а я вверяю вам свою. Бери знамя, старина, назначаю тебя отныне знаменосцем. Отряд, стройся!

Гусары образовали каре, в середине которого оказались Рихард и знаменосец.

В восточной части небосклона появилась бледно-желтая полоска, все больше отделявшая небо от земли. Но еще явственнее свидетельствовали о приближении утра далекие вспышки артиллерийской канонады. Неприятельские пушки начали обстрел венских баррикад. Светало.

При бледном свете утренней зари, в отблеске орудийных залпов двести двадцать гусар, стоя на поляне пожелтевшей тополевой рощи, повторяли за своим командиром слова клятвы: они клялись соблюдать железную дисциплину, драться с отвагой и решимостью.

Когда огненный шар солнца выплыл из-за гор, все увидели, что в руках знаменосца развевается трехцветное полотнище.

Вперед!

– Мы выиграли полдня, – сказал Рихард гусарам. – Первым должен заметить наше исчезновение командир кирасиров Отто Палвиц. Он будет преследовать нас и по следам обнаружит, что именно в этом месте мы переправились через Дунай. Его тяжелая конница не сможет переплыть реку, и ему придется наводить понтонный мост. За это время мы оторвемся от него на целый суточный переход. Если мы до позднего вечера не слезем с седла, то как бы ни старались наши преследователи, они не смогут перерезать нам путь. Такова задача первого дня. А там видно будет.

Рихард роздал солдатам все имевшиеся в наличии деньги; при этом он потребовал от них обязательно расплачиваться за провиант и ни в коем случае не обижать население.

Затем отряд двинулся через лес на поиски дороги.

Ближайший проселок вывел их к одинокому замку.

Он принадлежал какому-то крупному чешскому дворянину.

В замке они застали лишь хозяйку дома.

Ее супруг был сторонником партии чешской короны. [\[58\]](#)

С графиней разговаривал капитан Рихард; вскоре его отряд получил водку, хлеб, копченое сало, а также вязанки сена и по мерке овса для

каждой лошади.

Отдыхали два часа. Графиня дала Рихарду подробную карту местности, на которой были нанесены все проселочные дороги, ведущие к моравско-венгерской границе. Это было очень важно – такая карта нужна была им, как воздух.

Графский егерь довел отряд по тропам до ближайшего лесного массива. Там он вверил венгерцев судьбе, и гусар вскоре поглотил лесной сумрак и сырой туман рано наступившей осени.

Когда отряд поднялся на один из отлогих холмов, господин Пал обратил внимание Рихарда на костры, которые то тут, то там вспыхивали на соседних холмах.

– Это сигналы, – заключил Рихард. – Оповещают о нашем продвижении.

Вскоре они увидели, что сигнальные огни горят не только за их спиной, но один за другим загораются и впереди. Казалось, все окрестные холмы и горы восстают против гусар.

Один из огромных костров на оставшемся позади горном склоне освещал местность, которую отряду предстояло пересечь.

В подозрную трубу Рихард различил при отблесках огня силуэты движущихся всадников.

– Нас нагоняют! И гораздо раньше, чем я думал. Размышлять нечего, время не ждет!

Чтобы запутать следы, он повернул отряд в глубокую лощину. Она была знакома ему по прежним временам: когда-то он охотился в этом заповеднике на волков. В низине протекала горная речка, питавшая большой искусственный водоем; в нем разводили рыб, а вытекавшая из него вода приводила в движение мельницу и по мере надобности орошала окрестные поля.

У Рихарда был тайный план: он переберется через мельничную запруду, затем разрушит ее, и вода зальет прибрежные луга. В этом случае ни один всадник не сможет пересечь низину и догнать отряд, особенно если их преследует тяжелая конница. Палвиц непременно застрянет со своими кирасирами в топи.

Но Рихард не предусмотрел одного: ту западню, которую он готовил Отто Палвицу, кто-то другой уже успел приготовить ему самому.

Когда, проехав извилистую лощину, отряд приблизился к мельнице, к командиру подскакал господин Пал, вернувшийся из головного дозора, и доложил, что плотина уже взорвана и вода залила луга. Мельник сообщил, что всего несколько часов назад сюда приезжал господский егерь, который

и сделал все это Конечно, им готовили ловушку.

Рихард подъехал к мельнице. Вся лощина была уже под водой, и только узкая полоска свайного моста вела через нее. Да и то посередине доски были разобраны примерно сажени на две, и из воды торчали лишь верхушки свай.

Капитан не потерял присутствия духа.

– Ничего. А ну, ребята, быстро снимите ворота мельницы и укрепите их на сваях! Вот мост и будет готов.

Но кони не захотели ступать на этот мост.

– Боятся белых досок, – заметил Пал.

– Забросать щиты грязью! – приказал Рихард.

– Не годится. Не сможем его потом поджечь.

– Ты прав Пал. Мост непременно нужно будет сжечь, чтобы им не воспользовался неприятель. А деготь найдется на мельнице?

Пал раздобыл целую бочку дегтя. Гусары быстро залили им наскоро сооруженный мост.

Но теперь лошади и вовсе не хотели всходить на него. Из-за дегтя подковы скользили, а громкий стук копыт по настилу пугал коней.

Пал ругался последними словами.

– Здесь они нас и прижмут!

– Ничего, не прижмут, – ободрял его Рихард. – Мы с тобой спешимся: один будет вести коня под уздцы, другой подталкивать сзади. Всем остальным оставаться в седле.

Казалось, это была невыполнимая задача: шутка ли, провести больше двухсот упирающихся, испуганных и настороженных коней по узкому и гулкому помосту. Едва заслышав грохот под ногами, лошади храпели, ржали, пятились; всадники раздражались руганью, господин Пал заклинал коней всеми святыми и тянул их за уздечку, капитан, шедший сзади, легонько прикасался к крупу лошади тонким прутом и прищелкивал языком. Так перевели через мост всех лошадей.

Развеется, шум на переправе был слышен далеко вокруг.

Результат не замедлил сказаться: вскоре вспыхнул костер на вершине того холма, откуда гусары впервые заметили сигнальные огни. Погоня приближалась. Шум у мельницы помог преследователям выбрать кратчайшую дорогу.

Рихард и Пал взмокли от пота.

– Ну, господин капитан, я сегодня за один день отслужил половину своего срока, – пошутил старик, когда они переправили на другую сторону почти весь отряд. У мельницы осталось лишь тридцать всадников.

– Слышен горн сзади, – доложил один из гусар. – Придется, видно, бросить этих лошадей и двигаться дальше!

– Прекратить разговоры! Здесь я командую, – резко одернул его Рихард. – Ни одного человека не бросим.

Уйдем все вместе. Отряду – ждать моего приказа!

Наконец переправили и остальных коней.

Звук горна раздавался теперь совсем близко, и уже можно было разглядеть белые плащи скачущих по долине всадников.

Рихард что-то шепнул Палу, и старый служака с двумя солдатами поскакали в сторону запруды.

Затем капитан распорядился забросать мост сухим валежником, облить его остатками дегтя и поджечь.

Когда огонь вспыхнул, оба отряда смогли уже разглядеть друг друга в лицо.

Рихард вскочил в седло и отдал гусарам приказ двигаться шагом по долине.

Сам он остался у переправы.

Кирасиры приближались, нарушив строй. В ходе преследования их ряды расстроились, и всадники растянулись длинной цепью, причем задние отстали от передних на добрый час езды, не говоря уже о том что полк растерял по пути четыре пятых своего состава.

Во главе тех, кто нагнал в заповеднике гусарский отряд, был сам Отто Палвиц. Его чистокровная лошадь с честью выдержала двадцатичасовой переход без отдыха и корма.

С Палвицем было не больше двадцати всадников. Остальные кирасиры отстали.

Палвиц, не раздумывая, подскакал к горящему мосту и попробовал заставить лошадь вступить на него. Но добрый конь не захотел лезть в пламя.

Тогда Палвиц крикнул командиру гусар:

– Капитан Рихард Барадлаи!

– Я здесь, подполковник Отто Палвиц!!

– Сдавайся, пока не поздно!

– Подойди и возьми меня, если можешь.

– Так и сделаю, будь уверен!

– Только не сегодня.

– Ты будешь схвачен именно сегодня. До тех пор я не успокоюсь.

– Ничего, тебя топь успокоит.

– На час, не больше. Заделаю эту дыру и снова нагоню тебя. Все равно

никуда от меня не уйдешь.

– Посмотрим!

В это время со стороны пруда послышался шум, похожий на грохот водопада, и Отто Палвиц заметил, что вода стала быстро прибывать, все больше и больше расширяя брешь в плотине.

– Я разобрал и вторую запруду! – крикнул Рихард. – За час, пожалуй, тебе не управиться.

Командир кирасиров понял, что Рихард был прав.

– Я не могу к тебе добраться, но если ты действительно благородный человек, стой там, где стоишь, и давай сразимся через огонь и воду, как подобает настоящим офицерам.

– Предлагаю пистолеты!

– Согласен.

– Стреляем до тех пор, пока один из нас не слетит с коня.

– Не возражаю. Пусть только солдаты отойдут в сторону; зачем им рисковать головой.

– Верно! Направо марш!

– Налево марш!

Офицеры стояли по обе стороны разлившегося потока, над которым трещало пламя горящего моста: прекрасное освещение для ночной дуэли!

На каждом из них был белый плащ, представлявший собою хорошую мишень. Дважды выстрелили они друг в друга: пуля Палвица пробила кивер Рихарда, а пуля капитана оставила глубокую вмятину в кирасе австрийца.

– Зарядим снова! – крикнул Палвиц.

Но они уже не успели этого, сделать; новый поток воды, хлынувший сквозь разрушенную Палом запруду, сорвал со свай горящий помост, и всё мгновенно погрузилось во тьму; противники вынуждены были отъехать от гремящего потока в разные стороны.

– Завтра продолжим! – крикнул Палвиц.

– К вашим услугам! – ответил Рихард.

Топь, которая минуту назад еще казалась кроваво-красной, как Флегетон, теперь стала черной, как Стикс, ^[59]

Еще полдня было выиграно у преследователей. За это время гусары смогут уйти далеко вперед.

Одно было плохо: против гусар были настроены местные жители. Во всех деревнях, куда они заезжали, крестьяне отказывали им в продовольствии. «Недоброе вы задумали», – говорили они, качая головами, и всадникам приходилось голодными ехать дальше, так как применять силу

они не хотели.

Перед одной горной речкой их встретили люди, вооруженные косами и топорами; они защищали переправу.

– Что, господин капитан, придется их поугатать, как тех, что под венским монастырем?

– Нельзя, – ответил Рихард. – С крестьянами драться не будем.

Правда, местных жителей можно было разогнать одним залпом, но он предпочел сделать двухчасовой крюк, чтобы найти другую переправу через горную речушку.

Он хотел достигнуть своей родины без кровопролитий.

С провиантом было худо. От гусар все прятали.

В полдень отряд подъехал к какой-то корчме, где наконец удалось раздобыть хлеба и водки.

Хлеб разделили на равные порции; сам капитан и роздал бойцам, как на причастии. Глоток водки и хлеб – вот был и весь их обед. Они походили на потерпевших кораблекрушение людей, спасающихся на плоту среди бурного и безбрежного океана.

К вечеру на пути отряда опять встретилась мельница, стоявшая на берегу небольшого ручья; там в это время мололи гречиху.

То было настоящее Эльдorado! Гречишной мамалыги хватит вдоволь на всех! Щедрый, поистине Лукуллов пир! Правда, не было у них ни масла, ни сала, но гречневая каша и без того хороша. Кому не знаком ее вкус! Когда на охоте кончаются все съестные припасы и тропа выводит изголодавшегося охотника к сторожке лесника, каким лакомым кажется это блюдо – гречневая каша на воде!

Гусары расседлали коней. Одни стали их мыть и чистить, другие направились к мельнице; там, под навесом, в огромном котле с большим поварским искусством была уже перемешана с водой продельная гречневая крупа, медленно превращавшаяся на огне в пестро-коричневую плотную массу, которую называют «пулилка», то есть гречневая мамалыга.

Пока готовилось это лакомое кушанье, Рихард позаботился выставить караулы, чтобы предотвратить всякие неожиданности.

Наконец каша сварилась, чугунный котел подняли на шестах с огня и, чтобы варево поскорее остыло, расстелили на земле дюжину гусарских плащей. После этого огромной деревянной ложкой-лопатой густую дымящуюся массу разделили на двенадцать частей. Но даже волчий аппетит гусар еще долго не мог их заставить приняться за обжигающую мамалыгу.

Когда наконец первая партия солдат подошла к расстеленным на земле

белым плащам, которые одновременно служили и скатертью и тарелками, прискакали дозорные с криком: «Кирасиры подходят!»

Гусары быстро оседлали коней и рысью двинулись в путь. Кашу пришлось завернуть в плащи и взять с собой! Эх, так и не удалось отведать ее горячей!

А ведь только что, казалось, даже сам лес благословлял их отдых!

И вот – снова в седле, снова вперед, во весь опор!

Теперь уже Рихард не выбирал дороги или просеки; вырвавшись на широкую равнину, он направил своего коня прямо на закат солнца. Отряд несся по пашням, по лугам, по полям так, что только комья грязи летели из-под конских копыт.

– Пропадем мы здесь! – ворчал Пал за спиной капитана, оглядываясь на растянувшихся беспорядочной цепью гусар.

И действительно, несколько лошадей в отряде уже пало. Спешившись, солдаты снимали с коней уздечки (сбрую надо сохранить!) и бежали вслед за всадниками.

Однако и отряд преследователей был не в лучшем положении.

Хотя кирасиры и нагнали противника, пройдя напрямик тот отрезок пути, где гусарам пришлось сделать большой крюк, но сейчас, по вспаханному полю, они не могли быстро продвигаться.

Рихард тотчас оценил это обстоятельство. Тяжелая кавалерия могла двигаться по мягкой почве лишь шагом, тогда как гусары, хотя им тоже приходилось нелегко, ехали мелкой рысью.

Это давало гусарам преимущество; к тому же кирасиры должны были скорее выдохнуться.

Рихард пропустил свой отряд вперед и ехал сзади, чтобы не потерять ни одного человека. Если с кем случится беда, он придет на помощь.

Так, замыкая свой отряд, он снова увидел Отто Палвица.

Командир кирасирского полка вырвался вперед, намного опередив своих кавалеристов. Он стремился один на один сойтись с Рихардом.

Капитан ехал рысью, изредка оглядываясь на своего противника и подпуская его все ближе и ближе.

Вскоре всадники оказались на таком расстоянии, что могли слышать друг друга.

– Стой! Нам надо поговорить! – крикнул Палвиц.

– Говори, я и отсюда слышу, – отозвался Барадлаи.

– Если ты не трус, остановись!

– Чтобы уйти от погони, тоже требуется храбрость!

– Нет! Это трусость! Я вижу только твою спину!

– Подожди, увидишь и лицо!
– Значит, ты не смеешь драться со мной?
– Не хочу! Пока мы будем драться, твои кирасиры догонят моих ребят.
– Мы и так вас догоним!
– Ты так думаешь?
– Не думаю, а уверен. Вы – глупцы! Видишь вонтам, впереди, ивовую заросль? Это берег Моравы.
– Без тебя знаю.
– Там мы возьмем вас в клещи.
– На Дунае ведь не взяли!
– Дунай – добр, Морава – зла. Она тебе еще незнакома!
– Ничего, познакомимся.
– Предлагаю дуэль – это лучший выход для тебя! Если поймаю, пощады не жди.

– Я ее и не прошу.

Этот обмен любезностями происходил между двумя офицерами, которых отделяло друг от друга расстояние не больше, чем в три лошадиных корпуса. Рихард следил за тем, чтобы не подпустить Палвица слишком близко.

Тем временем гусарский отряд, скакавший во всю прыть по пашне, достиг ивняка на берегу Моравы и стал там как вкопанный.

– Видишь! – закричал Палвиц. – Не решаются твои гусары броситься в воду!

– Сейчас решатся!

– Сумасшедший! Погибнут и люди и кони! Разгоряченных, ты их гонишь в ледяную воду!

– Если пропадем, так все вместе!

С этими словами Рихард дал шпоры коню и галопом понесся вперед.

Палвиц мчался следом.

Они выехали на твердую почву, покрытую дерном, и их благородные скакуны сразу ускорили бег.

Расстояние между офицерами уже сократилось на корпус лошади, когда Рихард доскакал до берега.

Две коротких секунды были у него для принятия решения!

Первая ушла на то, чтобы оценить опасность, перед которой дрогнули его гусары. Морава взбухла от недавнего ливня и, бешено крутясь, несла свои мутно-желтые, илистые воды меж обрывистых берегов. Здесь притаилась смерть!

Вторая секунда потребовалась для того, чтобы крикнуть товарищам:

«За мной!» – и ринуться с высокой кручи в пенистые волны.

Скакавший за Рихардом Палвиц в ужасе натянул поводья.

Прошло еще мгновение, и среди высоко вздымавшихся волн показались лошади и всадники. Рихард, смеясь, крикнул своему противнику:

– Что ж ты медлишь?

Весь отряд гусар с громовым «ура» и лихим свистом устремился в кипящий поток вслед за своим командиром.

Отто Палвиц замер над кручей, дивясь неслыханной отваге гусар. Глядя, как барахтаются и бьются всадники в стремительном течении реки, он, может быть, даже подумал в душе: «Как бы они все не погибли!»

Но отряд уже был на другом берегу.

Гусарам не повредила ледяная ванна! Напротив, они ощутили прилив сил.

Кирасиры не отважились повторить подвиг гусар. Палвиц упустил Рихарда.

– Барадлаи! Мы еще встретимся! – крикнул он.

– Я и сам тебя отыщу! – ответил Рихард.

Мокрые и продрогшие гусары продолжали свой путь.

Они хорошо сделали, что не остановились на отдых, иначе их, промокших до нитки, схватила бы в морозную осеннюю ночь костлявая ледяная рука смерти.

От коней и всадников поднимался пар. Который раз просыхали они в тот день на холодном ветру!

На противоположном берегу реки отряд снова вступил на вязкую равнину. Лошади по щиколотку утопали в грязи. И все-таки надо было продвигаться вперед. Это диктовалось необходимостью сохранить жизнь, и с этим приходилось считаться. И командиру, и любому гусару казалось, что если они и эту ночь останутся под открытым небом, то пропадут все вместе с лошадьми. Ведь уже третьи сутки никто не смыкал глаз. Всем надо было выспаться и хоть раз наесться досыта, чтобы набраться сил для дальнейшего похода.

«Пошли, господи, хотя бы одну деревеньку!» – молился в душе не один молодой гусар. Между тем гусар не должен молиться. Такова была жизненная философия господина Пала. Когда в бою он замечал по выражению лица, что какой-нибудь новобранец мысленно молится богу, старый служака непременно выговаривал ему: «Раз молишься, не миновать тебе пули. Подумает враг, вот, мол, хороший человек, дай-ка я его отмечу». И все же многие в тот день молились про себя: «Хотя бы одну деревеньку!»

И что ж вы думаете? Услышана была, как видно, молитва гусар, и судьба ниспослала им, к великому удивлению, не деревню а целый городок.

Выехав по извилистой дороге на пригорок, отряд увидел перед собой в долине красивый степной городок с шестью сторожевыми башнями в разных концах.

Этого они не просили у судьбы. Город – это уж лишнее. Они мечтали только о маленькой деревушке.

По древнему немецкому обычаю, город был окружен каменной стеной. Входить в него было рискованно.

Правда, можно было обогнуть город кружным путем, но над дорогой, ведущей в обход, господствовал холм, на котором за высоким валом виднелось желтое здание. Опытному глазу ничего не стоило распознать в этом здании кавалерийскую казарму. В городе, по всей вероятности, стоял гарнизон. Возможно, что сейчас, во время военных действий, там и нет солдат. Но не исключено и другое, что именно в силу военного положения в городке сосредоточены воинские части.

Спрашивать не у кого. Здесь нет друзей. Первый же встречный выдаст их неприятелю.

Значит, снова в лес, из которого только что вышли. Надо переждать, пока на землю окончательно опустится ночь. Однако и задерживаться было опасно: без сомнения, Палвиц послал гонца, и тот, переправившись через реку в лодке, уже предупредил, верно, коменданта о продвижении отряда гусар.

С наступлением темноты обстановка прояснилась» В казарме протрубили «отбой».

Привычный звук «тра-дра, тра-дри, тра-дра» заставил насторожиться гусарских копей, и они стали прядать ушами: в обычное время после этого сигнала люди давали им на ночь корм и мягкую подстилку из соломы. Эх, теперь солдатам не до того!

Сигнал отбоя прозвучал четырежды из разных концов крепости. Когда умолкли звуки горна, раздался барабанный бой. Теперь ко сну призывали барабаны, как всегда на один и тот же известный мотив, на который солдаты подобрали слова: «Берите, берите, берите ложки!»

Так, значит, в городе стоит еще и пехота.

Обойти город и крепость стороной совершенно невозможно. Кругом болота и топи, в которых ничего не стоит погибнуть и людям и лошадям.

Но двигаться надо – осенняя ночь беспощадна. Куда ж идти?

Такой вопрос может показаться странным. Как это так: двести двадцать венгерских гусар, этих кентавров нового времени, не знают, куда

им идти, когда в руках у них верные сабли?

Но подумали ли вы о том, что эти гусары три ночи не смыкали глаз, не имели во рту ни росинки, что лошади их покрыты коркой грязи, что солдаты до нитки вымокли в реке и тело витязей сковал осенний пронизывающий холод? Полководцы знают, сколько битв проиграно только из-за того, что солдаты были голодны, сколько славных армий, готовых, казалось, штурмовать небеса, разбил презренный враг только потому, что он-то был сыт.

Рихард отлично понимал, что сейчас вести отряд в бой нельзя. Люди едва не валились с коней от слабости, – где им было выдержать сражение!

Придет еще и на их улицу праздник, лишь бы им выдержать это суровое испытание.

И как вы думаете: что пришло им на помощь? Беспощадная осенняя ночь, которую они только недавно проклинали. Она внезапно окутала землю таким густым и вязким туманом, что в двадцати шагах ничего не было видно. Ночь как бы говорила: «Я вас укурю, друзья».

– А ну, ребята, – повеселев, обратился Рихард к своим гусарам, – давайте, выкинем дерзкий номер. Обернем копыта лошадей чепраками и – вперед!

Солдаты поняли его план. Через полчаса все было готово. Теперь стука копыт совсем не было слышно.

Отряд въехал прямо на городскую дорогу. Вступив на нее, гусары как ни в чем не бывало продолжали свой путь к городу.

Навстречу не попадалось ни души. Добропорядочные бюргеры уже давно спали.

Гусары ничего не видели перед собой. Но они двигались все вперед и вперед. Вдруг они услышали колотушку ночного сторожа – было одиннадцать часов. Затем им встретился какой-то человек с фонарем, но он остановился шагах в пятидесяти, и снова послышалась колотушка сторожа. Если бы он увидел их, то наверняка подумал бы, что это призраки, бесшумно скользящие в тумане.

По обеим сторонам время от времени выступали из тьмы белые домики, в их окнах еще горели свечи. Лишь псы как-то странно выли и тявкали, пока отряд двигался через город: как бы они не всполошили хозяев!

Приближалось самое опасное место. У городской заставы дорогу обычно преграждает шлагбаум. Невдалеке должен был находиться сторожевой пост.

В том, что это действительно так, гусары вскоре сами убедились.

Примерно в двухстах шагах впереди они вдруг услышали протяжную команду: «Ра-аз-во-од гото-овьсь!»

Отлично.

За этой командой всегда следует смена караула.

Так оно и есть. Послышался мерный шум.

– Их тут не меньше эскадрона, – произнес вполголоса господин Пал.

Через несколько минут конский топот послышался ближе.

– Они движутся прямо на нас! – сказал Рихард. – Сабли – к бою!

Иного выхода не было.

Однако неприятельская конница не столкнулась с гусарским отрядом: она мирно свернула в сторону, и цоканье копыт вскоре стихло. Должно быть, австрийцы поехали разводить посты в другом конце города.

Гусары спокойно продолжали свой путь; они миновали поднятый шлагбаум и проехали мимо караульного. В темноте и тумане неприятельский солдат, естественно, принял гусар за свой же собственный разводящий отряд и немного удивился его многочисленности. Но так как о своем удивлении караульный доложил начальнику лишь два часа спустя, а тот только еще через час решился доложить об этом коменданту, отряд Рихарда за это время успел уйти довольно далеко.

– Ну, ребята, теперь можно закурить, – сказал капитан, когда гусары отъехали от города на значительное расстояние. – Снимайте с коней постолы.

Шутка командира развеселила гусар. Повеселели, казалось, и лошади. Они пустились вскачь, словно только что вышли из конюшни. Какой-то молодой гусар нарушил тишину ночи песней: «Шапка красная горит – вешать носа не велит!» Господин Пал негромко подхватил басом: «А на шапке бела роза – не увянет от мороза». И вскоре пел уже весь отряд.

Всю ночь гусары шли с песней.

По наезженной дороге двигаться было легко; после вчерашней непролазной грязи такой путь казался отдыхом. Дорога поднималась все выше и выше в горы.

Когда взошло солнце и туман совсем рассеялся, перед всадниками открылись Карпаты. За ними лежала родина!

Прекрасен осенний пейзаж. Вблизи – слева и справа – прихваченная заморозками желтая и красная листва букового леса, вдали – вечнозеленая хвоя темных сосен, из-за которых поднимаются снежные склоны гор.

Людской океан остался позади! Оглянешься назад и, пока хватает глаз, видишь один лишь волнующийся туман – море тумана, окутавшего землю и похожего своими снежно-белыми высокими волнами на штормовое море.

То здесь, то там попадаются среди этого безбрежного моря маленькие зеленые островки. А на дне его лежит страна, через которую три дня и три ночи подряд пробивались гусары... И так легко стало у них на душе, что они вмиг позабыли все пережитое, словно оставили все свои горести там, в тумане, из которого они только что вырвались. Все страдания будто рукой сняло!

Вдобавок им вскоре встретила дружелюбная горная деревушка; жители здесь не отказали беглецам в помощи и сочувствии, как те, что обитали на дне земного океана. Все – от мала до велика – с радостью приглашали солдат в дома. Перед гусарами открывались ворота, их кони стояли по колено в сене, крестьяне помогали подковывать лошадей, чинить сбрую. На стол ставили еду и питье. Правда, деревня была небогатая, и особенно угощать солдат было нечем, но гусары радовались даже черному хлебу. Для служивых крестьяне резали коз, жарили свежее мясо, варили жирную кашу, доставали из погребов огромные головки козьего сыра, ввинчивали краны в бочки с можжевелькой и делали все это, не спрашивая, кто будет расплачиваться за угощение.

Да, это тебе не вчерашний обед!

И все-таки, будто по воле рока, с обедом получилось то же, что накануне.

Когда все было наполовину подготовлено, изжарено, прискакали дозорные: показался неприятель!

Враг, как видно, стремился взять реванш за вчерашнее поражение, выставившее его на посмешище. Он посадил пехоту на повозки, выслал вперед конный отряд и бросился в погоню за гусарами. Не велико искусство догнать на свежих лошадях измученных и обессиливших беглецов.

Значит, бежать?

Снова бежать?

Солдаты уже не могли сдержать ярость. «Будем драться! – вне себя от гнева кричали они. – Либо мы съедем их вместе с потрохами, либо они нас! Но будем драться!»

Казалось, другого выхода нет.

Неприятельская конница настигала уходящий отряд, а пехотинцы на повозках, обогнув деревню, направились к лесу с явным намерением отрезать гусарам путь к отступлению. По всему было видно, что они смогут достичь леса раньше, чем гусары, которым еще предстояло оседлать коней.

Пока отряд в спешном порядке готовился к новому маршу,

преследователи подтягивали силы и располагали их для предстоящего боя. Рихард использовал это время для того, чтобы произвести рекогносцировку.

Дорогу, ведущую из села к лесу, можно было очистить от пехоты лишь в результате жестокой схватки. Если бы даже гусарам удалось прорвать заслон и двинуться дальше, все равно отряд не ушел бы от неприятельской конницы. В непрерывных арьергардных боях гусарский отряд постепенно растает, и в конце концов ни один человек не доберется до родины, погибнет без пользы, без славы.

Оставался еще один путь. Прямо в горы! Через снеговые вершины, освещенные сиянием ледников.

– Можно ли найти проводника, который укажет дорогу через горы? – спросил Рихард хозяина дома, в котором остановился. То был старый крестьянин, славный человек, имевший небольшое стадо овец.

– Дорогу-то найти можно, господин офицер. И проводник найдется – сам вас поведу, просить никого не надо. И гнаться за вами никто не будет – все это так. Но погибнете вы там – вот ведь что.

– Рискнем!

Гусары уже сидели на конях. Они выстроились в боевом порядке, с саблями наголо. У некоторых на клинок было насажено недожаренное мясо, отрезанное от козьей туши. Теперь уж никто его у солдата не отнимет.

– Сабли в ножны! – скомандовал Рихард. – Направо, марш!

– Куда? – зло закричали гусары. – На стенку, что ли, лезть прикажешь с лошадьми? Лучше уж к черту в пасть!

Решительным жестом Рихард выхватил пистолет из-под луки седла.

– Кто нарушит клятву, прощайся с жизнью!

Недовольный ропот смолк.

– Кто верит мне, – за мной! Я пойду первым!

Лязгнули вложенные в ножны клинки. «Хорошо, пойдём!» – хмуро сказали солдаты.

Но когда отряд проезжал мимо кухни, где уже доваривался знатный обед, многие помянули своего капитана крепким словцом. Кто мог бы их за это осудить!

Впереди шагал проводник в сапогах, подбитых стальными шипами, с длинной альпинистской палкой в руке, за ним ехал Рихард, затем – весь отряд; замыкал колонну старый Пал.

Преследовавший их неприятель уже более часа назад подготовился к бою и старался угадать, где же попытаются прорваться гусары; и вдруг, с

великим изумлением, австрийцы увидели, что гусары, растянувшись цепью, гуськом поднимаются по крутой горной тропе. Тропа эта, пробитая в скале, была так узка, что на ней с трудом могли разойтись два человека. На лошадях здесь вообще никто не пытался пройти. Внизу, на стосаженной глубине, пенился горный поток; у всадников одно стремя свисало над пропастью, другое то и дело царапало скалу. Стоит только сделать неверный шаг – и человек вместе с лошастью полетит в бездну!

Изумление и ужас, охватившие поначалу неприятеля, вскоре сменились приступом гнева. Преследовать гусар в горах никто из врагов не решался. Но нельзя же было сложа руки глядеть, как они уходят из западни! И неприятельские карабинеры открыли огонь из дальнобойных ружей, поражавших цель на тысячу шагов, тем более что гусары были хорошей мишенью. Белая известняковая скала четко оттеняла цепочку гусар в синих мундирах. Пули посыпались на скалу и, ударяясь, отлетали от нее, дважды, таким образом, свистя над головами людей. А ведь гусары и без того ежеминутно рисковали свалиться в пропасть.

Но самым удивительным было то, что в этот страшный час солдаты, вконец разморенные жарким солнцем, бившим прямо в скалу, все, как один, задремали в седле, покачиваясь из стороны в сторону: бодрствовать они уже были не в силах. Лишь Рихард, ехавший впереди отряда, и старый Пал, замыкавший его, еще крепко держались в седле. Они то и дело будили своих товарищей окриками: «Эй, не спи, взбодрись!»

Новый изгиб скалистой тропы скрыл наконец отряд от неприятеля. Теперь-то уж гусар никто не станет преследовать!

Опасную горную дорогу отряд преодолел благополучно. За скалой их встретил сосновый, звенящий на ветру, торжественный, как храм, лес.

Солдаты хотели было расположиться на солнцепеке, чтобы хоть немного передохнуть и поспать, но проводник торопил их. Следовало использовать ясную погоду для движения, ибо в горах путников нередко настигает туман, и тогда времени для отдыха оказывается больше чем достаточно, – ведь все равно ничего не видать.

Итак, только вперед, пока окончательно не обессилят коки и люди!

К вечеру они достигли жилища пастуха. Проводник распрощался с гусарами, дальше отряд должен был вести пастух.

Он дал им стог сена, и гусары обрадовались, что хоть кони по крайней мере наедятся досыта.

– Ну, а для людей не найдется ли здесь еды?

Овцы паслись в долине и пригнать их в тот день было невозможно. Но у пастуха нашелся огромный жбан кислого овечьего молока. Скромный

обед, но зато питательный. Не для господ придумано такое блюдо! Каждому гусару досталось по полстакана.

И еще одно лакомство ждало их: брюква. Ею был набит погреб. Хозяева припасли ее для овец. Жалкая еда. Но сейчас и она показалась вкусной. Брюквой наелись досыта.

Один молодой гусар, устроившись в углу, что-то записывал в красную книжицу.

– Что ты там царапаешь? – спросил его Пал.

– Записываю события, которые с нами за это время приключились – отвечал гусар. – Если доберемся до дома, то не поверят: вот, скажут, бесовский враль, что выдумал!

Сколько еще неправдоподобных историй предстояла ему занести в свой походный дневник!

К вечеру на небе засветил щербатый месяц. Рихард решил воспользоваться этим серебристым задумчивым светом, чтобы идти дальше. Ведь самые тяжелые испытания были еще впереди. Он двинулся вслед за проводником.

Дорога шла круто вверх. Сосковые леса редели. Их место заступил можжевельник; густые заросли его мало-помалу сменились редкими кустарниками, и наконец у самой вершины можжевельник совсем прижался к земле и пополз, как карликовая ежевика, по камням, перемежаясь с черникой.

Наутро они достигли высоты, где росла одна лишь брусника, которую гусары рвали гроздьями. Красные и синие ягоды, только начавшие созревать, послужили солдатам сланным завтраком.

Рассвет в горах был в тот день не так прекрасен, как накануне. Вершины окутал туман, солнце тускло просвечивало сквозь фиолетовую дымку.

Проводник сказал, что близится буран.

Макушка горы постепенно лысела, на ней уже не было зелени. Даже трава не росла на этой высоте, и только коричнево-серый лишайник лепился в расщелинах скал. По этому горному гребню отряд пробирался весь день. Не только человек, но и птица не залетала в зги края: то была поистине страна смерти, покрытая могильными камнями!

Высившиеся перед гусарами вершины гор по мере продвижения отряда грозно вздымали остроконечные пики.

Нигде, насколько хватало глаз, не видно было следов жилья, ни один дымок не поднимался из долины, нигде не позвякивал колокольчик овечьего вожака, не слышно было ни пастушьего рожка, ни выстрела

охотника. Здесь обитали одни лишь облака.

Хозяев нет дома, и это большая удача. Облака сейчас греются на солнце, либо расцвечивают радугой морскую волну, либо мирно спят в какой-нибудь долине. Но они вот-вот вернуться и застанут в своем царстве незваных гостей, дерзких пришельцев! И тогда – горе безумцам! Облака не терпят, когда к ним вторгаются посторонние!

К полудню, когда гусары уже начали спуск с горного кряжа в седловину, отделявшую его от соседней горы, какая-то бесформенная туманная масса, похожая на неуклюжего белого исполина, стала подниматься из бездны, словно собираясь совершить прогулку на горные вершины.

– Если это облако нас накроет, придется долго отдыхать, – сказал проводник Рихарду. – Может, успеем спуститься в долину, там хоть кустарником разживемся для костра.

Белое чудовище разрасталось, ширилось и через несколько минут окутало весь отряд.

Хозяин вернулся в свой дом и грозно спросил у пришельцев: «Что вам нужно в моих владениях?»

И по его приказу все остановились: никто не видел перед собой ни зги.

Проводник сказал, что он попытается пройти вперед, шагов на сто, и если ему это удастся, он крикнет, чтобы следовали за ним.

Отряд остался на месте. Морозное дыхание страшного облака мгновенно покрыло инеем и коней и людей, посеребрило гусарские усы.

Около четверти часа ждали сигнала проводника. Но его и след простыл. Тогда Рихард на собственный страх и риск отправился на поиски проводника, непрерывно окликая его. Ответа не было.

По-видимому, пастух сбежал. Он не хотел погибать вместе с солдатами и предоставил их самим себе.

Гусары были брошены на произвол судьбы в царстве тумана и снегов; их окружал полный мрак, в котором ничего нельзя было различить; их мучил голод и холод, томила жажда.

Но никто не роптал.

– За мной! – скомандовал Рихард и вслепую повел отряд по крутому спуску. Гусары спешили и, ведя коней в поводу, двинулись за ним.

Туман стоял и в седловине. Однако после нескольких часов сопряженного со смертельной опасностью спуска отряд наконец вышел к склону горы, густо поросшему кустарником.

– Здесь и заночуем. Разжечь костры!

Ночь не заставила себя долго ждать. Возможно, в долине солнце еще

не зашло, но в стране облаков уже стемнело.

Хорошо, что можно развести огонь: по крайней мере отряд не замерзнет.

Коней привязали друг к другу; и сегодня придется им обойтись без корма, ведь и хозяева тоже лягут голодными.

Может быть, именно в этот час, далеко-далеко отсюда, говорила госпожа Барадлаи своему младшему сыну памятные слова: «Твой брат пробирается через Карпаты, гонимый, преследуемый врагом; под ним – зияющие пропасти, разлившиеся горные реки, над ним – снежные бури и коршуны. Его может настичь неприятель, он может погибнуть от голода и холода!»

О, если б бедная мать видела сейчас своего сына!

Гусары разожгли костры и расположились вокруг них. Смертельная усталость сковала их тела. Только сон мог спасти их сейчас, один только сон.

Рихард приказал бодрствовать по одному человеку у каждого костра, чтобы поддерживать огонь, не дать ему погаснуть.

Затем он и сам, закутавшись в шинель, прилег у одного из костров.

Молодой гусар, описав в своем дневнике злоключения минувшего дня, вздохнул: «О создатель! Что ожидает нас завтра?»

Затем и он заснул мертвым сном, как и все остальные.

Рихард потребовал невозможного, когда приказал солдатам бодрствовать у костров. Дежурные, подбросив веток в огонь, решили, что они будут гореть и без их помощи, и заснули.

Во сне солдатам привиделась родина, но едва успели они в своих грезах долететь до отчего дома и спросить: «Ну, что нового?» – как грозный рев пробудил всех от сладостных видений. Исступленно ржали испуганные кони.

Взорам солдат предстала ужасная картина.

От пламени оставленных без присмотра костров загорелся лес. Огонь, словно несущаяся по горному склону лава, распространялся все дальше в горы, завывая от порывов ветра и разрезая мрак туманной ночи.

– Все на ледник, за мной! – закричал Рихард, схватив поводья своего коня, и бросился сквозь пламя, которое со свистом и ревом бушевало вокруг.

Освещение было хоть куда! Теперь не составляло большого труда разглядеть дорогу вверх. Проклятая, ненавистная дорога, но только на ней сейчас спасение! Смертельная опасность придала новые силы и людям и лошадям. Местами приходилось пробиваться сквозь самую гущу огня.

Ветер, словно вступив в союз с пожаром, бросал в лицо языки пламени, душил дымом. Оставался один выход – вперед и вверх, на ледники!

Когда, после двухчасового титанического штурма горных вершин, гусары оглянулись на пройденный путь, у них закружились головы. Они сами не понимали, как им удалось так высоко взобраться! Весь склон горы был покрыт огненно-черной мантией, которая все удлинялась по мере того, как пожар находил себе новую пищу.

Взмокшие, все в испарине стояли гусары на вершине горы под ледящим ночным небом.

Остаться здесь долго мог только тот, кто искал смерти. Надо было идти, хотя бы только для того, чтобы не замерзнуть.

Снова взялись за поводья лошадей. Умные животные не нуждались в понукании: они сами шли за своими хозяевами.

Все молчали. И без слов было ясно: надо идти и идти вперед, пока хватит сил. Кто не выдержит, кто остановится, – тот погиб.

Наступил рассвет. Начинался самый тяжелый день их похода. Вокруг – ледяные поля, снежные равнины. Ни тропы, ни ориентира.

Уже вторые сутки у солдат не было во рту и маковой росинки.

Жгучую жажду пытались утолять кусочками льда. Растает во рту льдинка, а пить хочется еще больше.

Но особенно мучительно сжималось сердце гусар при виде того, как гибли кони. То одна, то другая лошадь окончательно выбивалась из сил и падала у дороги. Останавливался солдат над своим конем и плакал. Легче самому навеки лечь на этих безжалостных, холодных камнях, чем расстаться с верным другом!

Старый Пал никому не давал покоя. Он ехал позади, подбадривал, утешал, ругался, клял всех святых, помогал поднимать упавших коней, показывал пример выдержки новобранцам.

– Никому не отставать! Ведь скоро мы будем дома.

«Дома! На небе!» – записывал в свою книжечку молодой гусар.

Отряд растянулся и окончательно потерял походный вид. Передних отделял от задних двухчасовой переход, Рихард с группой гусар ушел далеко вперед, прокладывая дорогу в глубоком снегу, а Пал по-прежнему замыкал шествие.

Казалось невероятным, что гусары еще могут двигаться.

Одежда превратилась в ледяной покров, сабля тянула книзу. Подковы у лошадей отлетели, копыта они разбили в кровь, бока втянулись, подпруги ослабели. И никто не знал, сколько еще предстояло пройти до желанной цели!

Судьба приготовила отряду еще одно испытание. После полудня началась пурга.

Темно-фиолетовые тучи, громоздившиеся на вершинах гор, бросились оттуда на заснеженные скалы. Ветер, завывая, швырял в лицо острые льдинки. Затем густыми, огромными хлопьями посыпал снег, вмиг заметавший следы. Люди поддерживали связь друг с другом только криками.

Кто знает, куда они идут?

Может быть, прямо в пропасть или в непроходимое ущелье? Тогда всем конец.

Со склонов гор с грохотом скатывались снежные обвалы, которым ничего не стоило унести с собой лошадь и всадника.

И все же люди не падали духом. Их согревал внутренний жар, он помогал преодолевать все страхи и опасности.

Снова близились сумерки.

Рихард вдруг заметил, что дорога пошла круто вниз. Показался лесной массив. Сосны были сейчас для отряда желанным укрытием.

Пурга гремела и выла между стволами деревьев, словно гигантский очаг. Но сквозь эту ужасную музыку Рихард внезапно различил один звук, который наполнил его сердце надеждой и радостью, То был стук топора.

Значит, где-то рядом люди!

О, какое счастье увидеть человеческое лицо! Какое блаженство узнать, что царство смерти пройдено!

С двумя солдатами Рихард направился на звук топора и вскоре встретил человека в опорках, очищавшего от сучьев сваленную сосну.

Рихард окликнул его по-словацки.

Человек ответил ему на чистейшем венгерском языке.

– Благослови тебя бог!

Услышав эти слова, гусары чуть не задушили в своих объятиях обутого в опорки из лыка крестьянина.

– Значит, ты венгр? И это – венгерская земля?

И они припали, лицом к мерзлой, заснеженной земле: – Воистину благослови! Во веки веков! Аминь!

Дровосек рассказал им, что их уже ждут в городе, там внизу, совсем близко. Еще утром туда пришел их проводник, спешивший привести людей на помощь гусарам, чтобы спасти солдат от гибели.

Пурга ушла в сторону, и как только снежная завеса приоткрылась, гусары увидели с высоты то, ради чего они проделали весь этот далекий и страшный путь: прекрасный венгерский край!

Ясно ли они его увидели? Пусть об этом скажут их слезы.

У подножья горы лежал маленький городок. Пологая дорога вела прямо к нему. По этой дороге навстречу отряду уже двигалась торжественная процессия с флагами и оркестром, чтобы приветствовать героев. Гусары издали заметили флаги и услышали музыку.

Рихард и шедшие с ним впереди солдаты выстрелами дали знать отставшим, куда держать путь. Капитан ждал подхода всего отряда. Теперь уже некуда было спешить.

Наконец весь отряд оказался в сборе. Гусары построились в колонну и пошли навстречу своим соотечественникам.

Что это была за встреча! Ее невозможно описать, это могут понять только те, кто пережил что-либо подобное!

В городе для героического отряда гусар был устроен торжественный пир. И венгерские солдаты, шесть дней и шесть ночей не смыкавшие глаз, танцевали на этом пиру до утра.

Все описанное – не поэма, не плод вымысла: тот самый молодой гусар, ныне – старик ветеран, сохранил свой дневник до наших дней; воин этот жив еще сейчас и свидетельствует, что все именно так и происходило в действительности.

Часть вторая

Национальная армия

Полно сказки рассказывать» Разве в жизни так бывает?

Как могло случиться, что народ небольшой, изолированной страны, подвергшейся нападению со всех сторон, оказался в состоянии доблестно и победоносно защищать свою родину против вражеского нашествия, опираясь лишь на собственные вооруженные силы? Чем объяснить, что колосс, перед которым он очутился один на один, не одолел его? А когда на эту страну натравили и другого европейского колосса, она померилась силами и с ним! Так что оба исполина затратили немало усилий, пока им удалось одолеть эту маленькую страну.

Откуда у маленького народа взялось столько богатырской, поистине сказочной мощи для этой эпической борьбы, которую можно было бы назвать песней о Нибелунгах нового времени?

Попробую вам рассказать так, как понимаю сам. Всеобщее стенание пронеслось по Венгрии и эхом прокатилось от края ее и до края, от горного склона до горного склона, от вершины до вершины. А когда эхо повторилось, оно было уже не криком боли, а боевой тревогой.

Взвились в воздух национальные знамена, и народ стал собираться вокруг них.

Землепашцы бросали плуги, школяры оставляли училища, отцы покидали счастливые семейные очаги и становились под боевые знамена.

Тринадцати – четырнадцатилетние подростки брали в руки тяжелые ружья, от которых сгибались их еще детские плечи, а белые как лунь семидесятилетние старцы вставали бок о бок с ними.

Никого не приходилось соблазнять высоким жалованьем. Трехцветная национальная кокарда – вот единственное вознаграждение, которого добивался каждый, кто вступал в ряды народного ополчения.

Балованные отпрыски знатных фамилий, земельные магнаты и мелкопоместные дворяне добровольно вставали в строи рядом с крестьянскими парнями, чтобы вместе с ними месить дорожную грязь в грозу и в дождь, спать на соломе, ходить в отрепьях, – словом, делить и мытарства и славу.

Некий присяжный поверенный, бросив свою контору, перепоясался саблей и с трехцветным знаменем з руках, в первой же битве при Швехате, двинулся впереди всех под градом картечи на врага. Позднее он стал полковником, хотя никогда не обучался военным наукам.

А некий молодой помещик, охваченный чувством патриотизма, едва успев отпраздновать свадьбу, на другой же день покинул юную жену и пошел сражаться. Он участвовал в атаке на римские редуты^[60] и, неся знамя, первым взобрался на бруствер, где его и настигла пуля; а ведь поцелуй молодой жены не успел еще остыть на его губах.

Все семинаристы при монастыре цистерцитов, за исключением трех малодушных, ушли в солдаты. Когда они садились на подводы, сам настоятель принес им провизию на дорогу. Возвратившись в трапезную, он увидел «праведников», не пожелавших покинуть монастырь, и крикнул им со слезами в голосе:

– Труссы! Как у вас хватило совести остаться здесь!

На войну уходили адвокаты – никто больше не занимался тяжбами. Уходили судьи – в суд больше не поступало исков.

Инженеры превращались в артиллеристов и саперов. Врачи становились полевыми хирургами – умирать в постели в ту пору было не в моде.

Завязтые кутилы делались прославленными героями. Люди кроткого нрава обращались во львов.

Даже разбойники раскаивались в своих преступлениях. Главарь одной шайки, испросив амнистию для себя и своих головорезов, сколотил целую рать в сто шестьдесят всадников и повел их на поле брани. Защищая родину, почти все они сложили головы, которые, впрочем, уже давно должны были слететь за вред, причиненный ими обществу.

Один вельможа снарядил на собственные средства целый полк гусар, другой гусарский полк в несколько недель выставил исправник Яскунского комитета.

Не было оружия. Что ж, его отнимали у врага! Правда, вырывать приходилось его чуть не голыми руками, пуская в ход колья и косы.

Простой трансильванский хлебопашец научился сам отливать пушки и просверливать в них дула; он обеспечил повстанцев и боевыми ядрами, В каждой чугунолитейной мастерской отливали ядра и пули. Когда пришли к концу запасы ружейных пыжей и не было никакой возможности их достать, в войсках нашлись фармацевты, которые стали изготавливать их из бумаги, и пыжи оказались вполне пригодными в бою.

Церкви жертвовали на орудия свои колокола.

Один только полководец захватил у врага в нескольких боях ста десять пушек!

Крестьяне из окрестностей города Сабадка голыми руками отобрали у противника здоровенное орудие, прозванное «дядей» и бившее на

расстояние полумили.

Едва сформировавшись, каждый новый батальон тут же приступал к учениям, а уже через неделю получал боевое крещение.

Под сенью трехцветного знамени люди становились братьями. Никто не произносил с издевкой: «немчура», «валах», – единое знамя сплотило всех, все считали себя сынами единого отечества.

Офицеры были боевыми Товарищами солдат. Вместе и ели, и мокли под дождем, и спали на общей соломенной подстилке, учили друг друга патриотизму.

Дезертиров не было вовсе. Да и куда могли бы они бежать? Дверь каждого дома немедленно захлопнулась: бы перед трусом.

Если какая-нибудь воинская часть и терпела поражение, она не рассеивалась во все стороны, а, напротив, стремилась заново собрать силы и продолжать борьбу.

Воевали не только те, у кого в руках было оружие, воевала каждая живая душа. Матери воодушевляли сыновей. Знатные дамы перетаскивали землю для укреплений и брались за самые опасные поручения, с которыми лучше всего справляются женщины, и они оказывались наиболее ловкими лазутчиками. После сражения они ухаживали за ранеными. Все барские усадьбы поблизости от поля битвы превращались в лазареты.

Священники прославляли с амвона, как высшую добродетель, воинскую доблесть и геройство. В проповедях не упоминались папские энциклики, не предавались анафеме ереси: борьба за независимость была одинаково священна и для креста и для звезды.^[61]

И пламенный поэт,^[62] метеором сверкнувший на нашем небосводе, воспевал, в своих стихах эту священную войну за независимость родины. Его призыв к освободительной борьбе прозвучал с поднебесных высот, то было последнее его слово перед тем, как на наших глазах закатился он за неведомый горизонт. Быть может, он не упал на землю! Кто знает, не вернет ли его нам новый поворот земного шара и не увидим ли мы его опять над своей головой – искрометным, мечущим громы и молнии!

Так создавалась национальная армия.

Хорошо, скажете вы. Все это – поэтическая сторона дела. Ну, а проза? Откуда брались деньги?

Верно, войну без денег вести нельзя.

И вот как обстояло дело. Каждый, у кого была хотя бы одна серебряная ложка или пара серебряных шпор, отдавал их на нужды родины. Молодые девушки вынимали из ушей серьги, вдовы отдавали в национальную казну

скопленные филлеры.^[63] Сюда же поступали и собранные по грошам сбережения от пенсий. Кто мог помышлять о сбережениях, когда нависла угроза потерять отечество?

Однако всего этого было недостаточно. Тогда решили печатать деньги на простых клочках бумаги: мол, эти клочки и есть «деньги нации». И люди принимали их как настоящее золото. Ни один человек не сомневался в их полноценности: «Нация сама себе владыка. Все, на чем изображен ее герб, – для нас священно».

И денег стало столько, что хоть пруд пруди.

Даже министр финансов не имел приличного пальто; военный министр курил дешевые сигары – на лучшие не оставалось средств, все было отдано родине. Главный военный интендант в обеденный час обходил по очереди своих многочисленных знакомых, чтобы не расходовать на собственное пропитание денежных ресурсов страны.

И когда тому или иному правительственному комиссару вручали какое-либо заветное сокровище – как было, например, с Эденом Барадлаи, – никто не сомневался, что пожертвование будет использовано по назначению: то, что отдано для приобретения хлеба, непременно превратится в хлеб, то что отдано на приобретение оружия, превратится в оружие.

Вот как были найдены материальные средства для содержания национальной армии!

А спустя полгода чудеса героизма, совершенные этой армией, уже вошли в историю.

Недавние мальчуганы становились в те дни увенчанными лаврами героями, молоденькие лейтенанты – генералами, полководцами. Изодранное в боях трехцветное знамя завоевало уважение всего мира!

Воины с честью выдержали все испытания: они бросались в огонь сражений, преодолевали вьюгу, стойко держались в трудные месяцы поражений и тяжелых потерь.

В Комароме они не дрогнули под градом осколков и снарядов противника.

Под Сольноком вооруженные косами рекруты, закрыв глаза, атаковали батарею изрыгавших смертоносный огонь орудий и захватили её.

У Пакозда национальные гвардейцы с косами в руках заставили сдаться десятитысячный отряд пехотинцев, вооруженных ружьями.

Возле Дьёра одиннадцатый пехотный батальон со штыками наперевес ринулся в атаку против вражеской кавалерии и обратил её в бегство. А в Буде гусары, спешившись, пошли на приступ крепости.

В Лошонце отряд бывшего члена апелляционного суда, превратившегося из вице-губернатора в полководца, среди бела дня захватил все пушки и взял в плен штаб противника, в шесть раз превосходившего его по численности.

Около Пишки один-единственный батальон под командой Инцеди в течение целого дня оборонял мост от натиска в двадцать раз более сильного противника и отстоял его.

А как стремительны, как блистательны и внезапны были маневры венгерской национально-освободительной армии! Под Селакной венгры сумели незаметно, будто под землей, просочиться во вражеский тыл. У Браньцко они преодолели крутой горный склон и с боями пробились сквозь порядки неприятельских войск. Под Сольноком, в тылу у врага, конный венгерский отряд вплавь форсировал Тису. Из охваченного огнем Шегешвара люди сумели увезти на телегах снаряды и порох. У Тисафюреда, где суровая зима навела ледяной мост через Тису, венгерское войско встало стеной на замерзшей реке и, преградив путь полчищам неприятеля, решительно заявило:

– Довольно! Ни шагу дальше!

Народ-богатырь собрал всю свою мощь, распрямылся во весь рост и, подняв свои могучие руки – сто тысяч рук, – гордо бросил вызов врагу:

– Подходи! Померимся силами!

И после схватки, в которой хрустели и трещали все его кости, вырвался из рук противника!

Разве это не самые достоверные исторические факты?

Но, говоря о национально-освободительной армии, нельзя забывать о том, кто шел впереди нее и вслед за ней, как Иегова, – днем в тумане, ночью в столбе огня – о народе! О народе, который своим разумом, сметкой, изобретательностью, добротой, патриотическим духом умел отстаивать, ободрять, предостерегать, неустанно вдохновлять и оберегать свою обожаемую армию. Не раз десятки тысяч ополченцев вставали бок о бок с нею, и их рать устрашала врага! В одном месте население настойчиво распространяло ложные Слухи, и главные силы неприятеля снимались с выгодных позиций и уходили на новый участок; в другом – народ терпеливо разгадывал ревностно оберегаемые планы противника. В районе Озора один патриот дважды пешком пробрался сквозь вражеские заслоны и передал подразделениям венгерской национальной армии сведения о перегруппировках неприятельских частей, дислоцированных между ними. Переписка лавочников евреев содержала, на первый взгляд, лишь безобидные коммерческие сведения. А между тем они расшифровывали

письма по заранее установленному коду и черпали из них сведения о перемещениях врага, которые затем сообщали полководцам венгерской армии. Для срочной переброски венгерской пехоты, пушек и боевого снаряжения немедленно предоставлялись сотни и сотни подвод. Но появлялась армия врага – и для нее не находилось ни одной заваливающей колымаги, ни одной клячи:

– Все лошади в табуне, в степи. Разве их разыщешь!

Если национальная армия нуждалась в провианте, ей тут же привозили все необходимое в обмен на простую, куцую расписку. А чужеземные войска ничего не могли раздобыть даже за наличные деньги.

– Сами живем впроголодь. Еле-еле перебиваемся.

Только одного недоставало в ту пору национальной армии: сознания собственной силы! Эту уверенность ей еще предстояло приобрести. И урок обошелся недешево.

Соломенный комиссар

До чего же преуспел в жизни Зебулон Таллероши! Рядом с его именем красуется гордое звание правительственного вице-комиссара и майора национальной гвардии.

Превосходная должность, ничего не скажешь!

Он уж и не думает теперь протестовать, когда его величают «ваше высокоблагородие».

Отбыл он из родных мест всего лишь депутатом, а возвратился правительственным вице-комиссаром и штаб-офицером!

Когда Зебулона посылали в Пешт, многие считали, что он мудрейший муж во всей округе. А по его возвращении стали поговаривать, что он там превратился в величайшего стратега.

Сам Таллероши искренне верил во все это. Ничем иным нельзя объяснить тот факт, что он вдруг преисполнился необычайным честолюбием.

Помню один характерный для той эпохи анекдот. В национальном театре подвизался некий почтенный зритель оперы, который до преклонного возраста никогда не вникал в политику. В тысяча восемьсот сорок восьмом году, когда даже за кулисами утвердился взгляд, что каждый человек должен интересоваться государственными делами, это поветрие захватило и вышеназванного добродетельного мужа. Причем он вскоре обнаружил, что находятся люди, которые охотно выслушивают его разглагольствования. И однажды он с превеликим удовлетворением заявил своим восхищенным слушателям:

– Никогда бы не поверил, что эта самая политика – такое легкое дело!

Подобно этому и Зебулон Таллероши решил про себя, что военное искусство дело куда менее хитрое, чем принято думать.

Нужно только отдавать приказы, а в людях, которые их станут выполнять, недостатка не будет. Ведь новобранцев хоть отбавляй, и все как один – богатыри! А как поют! Ружей у них, правда, нет, но хороших стрелков тьма тьмуцкая. Хватает и опытных вербовщике в, это все люди храбрые и драчливые. Они с полной охотой сколачивают отряды ополченцев, а уж те, разумеется, натворят невиданных чудес. Хлеб тоже, конечно, уродится, надо только вовремя распоряжение отдать. Денег достаточно. Зебулон не ведет им счета – к чему? Ведь он себя знает: не присвоит из казны ни гроша, а раз так, кому нужна лишняя писанина да

каракули!

Зебулон однажды даже возглавил поход! В соседней деревне объявились какие-то реакционные подстрекатели. Выдавая себя за панславистов, они вздумали вербовать свои отряды. Их-то с помощью хитроумных маневров и выкурил с боевых позиций Зебулон. Чуть даже в плен не захватил! Свой подвиг он не замедлил обнародовать в специально выпущенном бюллетене.

Таллероши был весьма доволен собой и не сомневался, что если дело дойдет до настоящей баталии, он и тут окажется на высоте положения. Несложная наука эта стратегия! Что требуется от полководца? Выставить солдат вдвое больше, чем у неприятеля; а как начнется пальба, самому старательно укрыться в надежнейшем месте, чтобы никакая пуля не смогла тебя подстрелить. Остальное придет само собой. Именно так и поступали все великие полководцы – от Александра Македонского до Наполеона.

Целый день снуют теперь люди взад и вперед по усадьбе Зебулона, расположенной на окраине одной из деревень северной Венгрии. Здесь и гонцы – пешие и конные, – и поставщики, и предводители отрядов вольницы, и сельские старосты с новобранцами, и лазутчики.

Зебулон занят с самого утра. Только вечером проводит он час-другой в кругу своей семьи.

Почтенное это семейство все еще в полном составе, и по-прежнему кажется, что барышень, когда они очень уж расшумятся, не пять, а целых семь. Барыня– маменька, как всегда, страдает мигренью и к тому же целый день спит. По этой причине она сильно раздобрела и если уж не лежит, то сидит, а от недостатка движений, понятно, еще больше тучнеет. Просто безвыходное положение!

Когда господина Зебулона спрашивают, почему его супруга всегда сидит сиднем, он говорит, что она запоем читает. Но, по правде говоря, это не совсем так. Достопочтенная госпожа отроду не прочла ни одной книги по той простой причине, что не владела грамотой.

Не каждый, разумеется, знает, что перед тем как сделаться госпожой (ведь госпожой не всякая рождается), барыня эта, всеми уважаемая ныне подруга жизни господина Зебулона, была простой крестьянской девушкой. Скажем прямо: она подвизалась в роли служанки господина Зебулона. А потом он взял ее в жены. Однако все мы – демократы, не будем же слишком придирааться к этому обстоятельству. Супружество господина Зебулона тем не менее оказалось весьма счастливым; он, во всяком случае, обрел в своей половине ту бесспорную добродетель, что она была домоседкой. О том, что происходит в округе, в стране и даже во всей Европе она во всех

подробностях узнавала от посещавших ее гостей. Последние новости доставлялись ей, можно сказать, прямо на дом.

Она и сама отваживалась порой пускаться в рассуждения о герцоге Болинброке^[64] или о лютой жестокости испанского короля Филиппа V, которых она хорошо знала по сцене. Будучи большой любительницей театра, она с видом знатока рассуждала о том, что происходит на театральных подмостках. До чего все-таки умно придумано: сперва заставят суфлера прочитать публике пьесу вслух, а потом еще и актеры разъяснят ее в подробностях! При таком способе всякий поймет, что хотел сказать сочинитель. Не мешало бы и со всеми книгами поступать точно так же.

Дочерей она воспитывала по всем правилам, их даже обучали французскому языку. Сама же почтеннейшая матрона училась деликатному обращению у окрестных дам. В их кругу считалось, что самое главное достоинство – непрерывно на что-нибудь жаловаться. Страдальческое выражение лица особенно подчеркивает аристократизм. Как легко улаживаются самые щепетильные вопросы, если, например, сослаться на мигрень или на расшатанные нервы. Истинная барыня жить не может без нервов!

Надо сказать, что достопочтенная госпожа Таллероши обладала отменным аппетитом. Утром, еще не встав с постели, она плотно завтракала. Вечером, вскоре после сытного обеда, она рано ложилась спать, не будучи в состоянии долго засиживаться из-за мигрени, ко приказывала непременно будить себя к ужину и снова с превеликой жадностью ела за троих.

Господин Зебулон находился под башмаком у жены. Он и сам это признавал, хотя уверял, что так дело обстоит лишь в домашней обстановке. Каждый настоящий мужчина, неизменно добавлял он, должен быть под каблуком. Это как бы дополняет облик человека с непреклонным характером. Вне домашнего очага, на арене политической борьбы – он твердокаменная скала, а в семье – нежно тающее сливочное масло; перед неприятелем – грозный лев, с глазу на глаз с женой – воркующий голубь; для всего мира – его высокоблагородие, а для своей супруги... Лишь ей одной дозволялось фамильярное обращение: «Послушай, Зеби!»

И это – вовсе не слабость. Скорее – добродетель, имеющая к тому же веское основание. Ведь супруга – единственное существо на свете, которое осмеливается говорить его высокоблагородию чистую правду, тогда как прочие смертные на это не отваживаются и предпочитают молчать.

Но супруга Зебулона не просто осмеливалась говорить правду. Она,

можно сказать, только этим и занималась. Больше того, самой главной ее заботой было придумать, какие именно истины должна она выложить своему милостивому супругу и повелителю. В этой области госпожа Анна обладала исключительный искусством. Не умея ни читать, ни писать, она в любой момент была готова преподать Зебулону нужный урок. Уроки эти служили для него чем-то вроде экзамена.

В критических обстоятельствах Зебулон привык обращаться к жене, как к оракулу, испрашивая у нее совета. И слово сидевшей на месте провидицы звучало для него куда более убедительно, чем звучал в былые времена голос сивиллы.

А наиболее критические обстоятельства возникали тогда, когда господин Зебулон доводил до сведения госпожи Анны, что он отважился пригласить в дом гостей.

Среди многочисленных добродетелей супруги Зебулона не последнее место занимала склонность к бережливости. Поэтому к гостям она отнюдь не благоволила. Каждый по ее мнению, должен обедать у себя дома. Бессовестно рассчитывать, что кто-то выкармливает чудеснейших пулярок и каплунов с единственной целью потчевать ими других. А сколько беготни и хлопот, когда нагрянул гости! Правда, сама госпожа Анна все равно не сдвинется с кушетки, на которой возлежит. Но ведь и от девиц мало проку» Каждый раз надо выдавать чистые скатерти и салфетки. Да еще кухарка, как, назло, подает на стол с изрядным опозданием, что окончательно может выбить человека из колеи, а главное, приходится жертвовать послеобеденным сном. Больше того, нужно проводить весь вечер с гостями, вместо того чтобы спокойно лежать в постели, а госпоже Анне стоит большого труда не задремать прямо за столом: веки у нее слипаются, все существо просится на покой!

Все это отлично знакомо господину Зебулону. Поэтому, собираясь осведомить супругу о предстоящем визите гостей, он старается предварительно рассказать ей какую-нибудь приятную, смешную или возбуждающую любопытство новость. С увлечением рассказывая занимательную историю, он незаметно, исподволь сообщает и то, что касается гостей: кто именно придет, сколько человек, до какого часа они засидятся.

Вот и сейчас он врывается в покои госпожи, держа в руках распечатанное письмо.

– Ну и везет мне! Поистине везет! Кто еще может похвастаться такой удачливостью? Она преследует, находит меня всюду, куда бы я ни прятался. На, читай!.. Вот, видишь... Не успело венгерское правительство назначить

меня правительственным вице-комиссаром комитата с окладом в две тысячи пятьсот форинтов, не успел я сделаться «его высокоблагородием», располагающим всей полнотой власти и правом распоряжаться жизнью и смертью людей, как уже прибыло другое письмо – от его высокопревосходительства, моего друга Ридегвари. По поручению венского правительства, он предлагает мне пост верховного комиссара всего северного края с окладом в шесть тысяч форинтов, а именовать меня с окладом «его превосходительство». Вот оно, это письмо! Его привез из Вены сам Салмаш. Он теперь разъезжает повсюду!.. Что ж мне делать? Какое принять предложение?... Пештского правительства? Или венского?

Зебулон полагал, что госпожа Анна с ее практическим умом должна была ответить, что следует ухватиться за предложение, сулящее больше выгод. На этот случай он уже заранее приготовил пространную патриотическую речь. Но не тут-то было! Его постигло сильнейшее разочарование. Госпожа Анна оказалась еще простодушнее чем он предполагал.

– Не нужно мне ни того, ни другого, – ответила она. – Лучше бы ты, Зеби, вовсе не ввязывался в эти дела. В наше беспокойное время умнее держаться в стороне. Покорнейше благодарю за высокую честь величаться ее высокоблагородием и даже ее превосходительством, если нас при этом объедают и разоряют! Ты-то вечно в разъездах и многого не замечаешь. Зато я, сидя дома, вижу все. С той поры как ты заделался его высокоблагородием, не бывало дня чтобы за нашим столом не сидело пять-шесть гостей! Лучше бы ты уж получил такую должность, когда бы не тебе приходилось угощать людей, а тебя бы самого угощали, да еще бы подарки приносили. Взгляни на жену старшего судьи! У нее не жизнь, а масленица. Когда у нас были крепостные, в доме всегда был достаток. А нынче от мужика не дождешься ни яиц, ни масла – все приходится покупать за деньги. Огород полоть – и то не придет ни одна баба: теперь, говорят, свобода. В земле промерзло не меньше десяти мешков картошки – никто не ходит на барщину. Нечего сказать, хороша свобода! Сами скоро с голоду помрем. А ведь за один только прошлый год мужики задолжали нам триста дней барщины. Но они их даже и не собираются отрабатывать. И вдобавок вы забираете в солдаты, в национальную гвардию самых дюжих наших батраков! Не нынче-завтра нам придется самим доить коров, мотыжить землю, чистить лошадей. А в довершение всего, тебе не миновать идти на войну. Дело кончится тем, что тебя пристрелят, и я останусь одна-одинешенька с этакой-то уймой девиц!

Зебулон видел, что госпожа Анна старается всеми силами избавиться

от нашествия гостей.

– Послушай, жена... Ты плохо в этом деле разбираешься. А раз не понимаешь, не рассуждай. Тут – высокая политика.

– Чего это я не понимаю? – вспылила госпожа Анна. – Я во всем разбираюсь не хуже тебя. И в высокой политике тоже толк знаю.

Однако господин Зебулон был твердо убежден, что супруга не имеет о ней никакого представления.

– Если так. скажи, как ты ее понимаешь? – с легким ехидством спросил он.

– Сначала ты скажи! – покраснев, огрызнулась госпожа Анна.

– Что ж, скажу! – воскликнул господин Зебулон. – Суть высокой политики в том, как нам поудачней выдать замуж всех наших дочерей.

Уж о чем о чем, а об этом госпожа Анна готова была говорить и днем и ночью.

– Пожалуйста, не думай, что у меня какое-то глупое пристрастие бродить по горам и долам, заставлять солдат стоять навытяжку, шить им мундиры, выпекать солдатский хлеб, С этим приходится так или иначе мириться. Как тебе известно, Тихамер, который был женихом Каролины Пиа, ушел в венгерскую армию, – там сейчас не требуется вносить никакого залога, – и стал уже капитаном. Лацко, что засматривался на Адалгизу, получил должность в венгерском министерстве и теперь мог бы жениться. Сумасбродный поэт Бени, писавший любовные стишки Либуше, строчит в газету в Пеште и тоже пристроился к делу. Бендегузелла может пока немножко подождать. Но как быть с Кариклеей? Еще когда она была крошкой, мы называли ее принцессой, обучали игре на фортепьяно и мечтали, что она выйдет замуж за знатного дворянина. И наконец такая возможность представилась! И какая партия, истинная находка! Я всегда говорил: благодаря нашим старинным связям Кариклея должна выйти замуж за одного из сыновей Барадлаи. Старый граф был моим закадычным другом, а Ридегвари – единомышленником. Но старик умер, а Ридегвари оказался не у дел. Дом Барадлаи изменился до неузнаваемости, все вдруг превратились в вольнодумцев и патриотов. Что было мне делать в подобных обстоятельствах? Один в поле не воин. Недавно из Вены вернули самого младшего барича Енё. Ее сиятельство госпожа Барадлаи сама ездила за ним. Глупейшая история: барич вздумал жениться на девице дурного поведения. Но семейство этого не допустило. Его водворили домой и прилагают все старания поскорей женить на какой либо благородной, благовоспитанной барышне, чтобы он окончательно выкинул из головы свою бывшую пассию. Когда Кариклея присутствовала на помолвке барича

Эдена, вдова видела ее, и наша дочка ей очень понравилась. И вот нынче мой друг Эден, верховный правительственный комиссар, пожалует сюда, в наш дом!.. Все это ты и растолкуй, пожалуйста, Кариклее, Ну, уразумела теперь что к чему? Видишь, голубушка моя, как обстоит дело?

Зебулону все же удалось овладеть редутом.

Госпожа Анна молча улыбнулась и даже позволила мужу чмокнуть себя в пухлые щеки.

– Так-то, милый мой голубчик! – воскликнул господин Зебулон, нежно потрепав по круглой физиономии свою супругу. – Надеюсь, тебе теперь понятно, в чем суть высокой политики? Не правда ли?

Вместо ответа, звякнув связкой привешенных к поясу ключей, госпожа Анна кликнула по очереди всех дочек и приказала им, не мешкая, поскорее приняться за дела в кладовой, на кухне, в погребе и на птичьем дворе. Кариклее велено было поспешить в гардеробную. Хозяйка была окончательно покорена.

– Это, любушка, ты моя голубушка, и есть высокая политика! – еще раз с победоносным видом повторил господин Зебулон. – Если все женихи моих дочерей служат в мадьярском стане. – один капитаном, другой чиновником, третий журналистом, а четвертый и вовсе доводится младшим братом верховному комиссару, – значит, нужно где-то служить и мне. И уж, конечно, не там, где мне сулят шесть тысяч форинтов жалования; придется удовольствоваться всего лишь двумя с половиной. Мне волей-неволей приходится быть патриотом. Только человек, имеющий пять дочерей, настоящему понимает, что такое высокая политика.

Но госпожа Анна не совсем доверяла этой высоте. Оказывается, она смотрела дальше.

– Все это, конечно, так. А вдруг австрийское правительство прогонит мадьярское? Или Тихамера подстрелят, и он помрет? Что будет, если Лацко посадят за решетку, а Бени выгонят из редакции, и он убежит куда-нибудь в Азию? Или тебя самого схватят за шиворот? Что тогда станется с нашими дочками? И со мной? Да и с тобой тоже?

Этот каверзный вопрос привел господина Зебулона в замешательство; он заходил взад и вперед по комнате. Оставить его без ответа было невозможно.

– Видишь ли, – упавшим голосом обратился он к своей подруге. – Я ведь еще ничего определенного моему другу Ридегвари не сказал. Потолкую с Салмашем.

Забываясь прежде всего о своей собственной особе, господин Зебулон откликнулся на обращение Ридегвари чрезвычайно туманным,

двусмысленным письмом и вручил его господину Салмашу, который где-то – ему лучше знать где – когда-нибудь да встретится снова с его превосходительством. В то же время Зебулон прибег к мудрой предосторожности: проставил под письмом только свои инициалы, на случай, если оно попадет не в те руки.

Велико было удовлетворение господина Зебулона, когда он убедился, что, вняв его увещеваниям, госпожа Анна принялась наводить образцовый порядок в доме. В комнате для гостей меняли постельное белье, на подушки надевали свежие наволочки; валявшиеся где попало предметы туалета барышень спешно убирались – куда угодно, только бы с глаз долой! Служанки сметали висевшую по углам паутину, стирали пыль с карнизов и выступов старинных шкафов и комодов. Кучера и слуги то и дело бегали к еврей-бакалейщику – за горсткой миндаля, за небольшим количеством фитолака, необходимого для приготовления желе к тарту, за сахаром. Кухарка гонялась по птичьему двору за утками, каплунами и пулянками. В комнатах стоял густой запах жареного кофе. Ежеминутно оглушительно хлопали двери, сотрясая дом. И все это происходило потому, что так повелел господин Таллероши!

Что за сладостное чувство видеть, как выполняется твоя воля, да еще при прямом содействии самой супруги. Тут есть что-то *от* ощущения абсолютного монарха, упивающегося своим всемогуществом. Впрочем, это напоминает скорее нечто иное: то чувство умиления и самолюбования, которое испытывает повелитель суверенного народа, исполняя, хотя бы раз в десять лет, законное желание своих подданных.

Теперь, если Эден Барадлаи посетит усадьбу господина Зебулона, он сможет убедиться, что его примут там как подобает высокому рангу хозяина.

Надо сказать, родовой замок Таллероши – барский дом не хуже всякого другого. Со стороны большака он выглядит двухэтажным. Правда, задняя его стена прилепилась к склону холма, и поэтому сторона, обращенная к саду, имеет только один этаж, а первый этаж по фасаду – всего лишь полуподвальное помещение. То, что дом построен из самана, никого не смущает, – таков строительный материал мелкопоместного дворянства. Да и штукатурка надежно хранит эту тайну. Крыша несколько пестра: ее ежегодно приходится латать разноцветной новой черепицей; создается впечатление, будто серые, желтые и коричневые узоры нанесены на черный туф нарочно, по последнему крику моды. По этой же причине у барского дома имеется веранда с полукруглыми выступами, которую барышни именуют ротондой. А внутри здания – и вовсе полный комфорт.

Там есть и гостиная с камином, и курительная комната, и фортепьянный зал. И даже библиотека со старинными книгами, которым дивятся все гости. Эдену Барадлаи хватит здесь развлечений на целую неделю.

Однако, несмотря на все эти пышные приготовления, милейший Зебулон не только обманулся в своих собственных ожиданиях, но и обманул окружающих.

Эден Барадлаи действительно появился точно в одиннадцать часов утра, как он сообщил накануне в своем письме. Но прибыл он в простой крестьянской телеге, без какого-либо намека на мягкое сиденье; на нём была короткая бекеша и охотничьи сапоги с высокими голенищами и шпорами, а на телеге лежала небрежно брошенная расшитая овечья шуба, какие обычно носят чабаны.

Больше всего удивило Зебулона, что на спине пристяжной, поверх упряжи, было прикреплено и седло.

Ах, как обрадовался Зебулон приезду дорогого гостя! С каким рвением отдавал он приказание челяди – куда сносить с подводы багаж его высокоблагородия, где привязать лошадей, какой им задать корм. А сам Эден пытался между тем втолковать ему, что все должно оставаться на месте, ибо им немедля предстоит двигаться дальше.

– Ехать тотчас же? – вопрошал ошеломленный Зебулон. – Куда же?

– Войдём в дом, там расскажу.

Зебулон все еще продолжал тешить себя мыслью, что Эден, по всей вероятности, шутит.

– Ты что ж это, милый друг? Хочешь так, сразу тронуться в путь? – спросил он, когда оба вошли в курительную. (Депутаты Государственного собрания обычно обращаются друг к другу ни «ты».)

– Вот именно. И ты тоже поедешь со мной. Ночью я получил извещение от главнокомандующего: все отряды, располагающие экипировкой и вооружением, должны в спешном порядке двинуться по направлению к Кошице. Провиант для войск нужно направлять по тому же маршруту. Дело не терпит отлагательства, Я еще ночью отдал распоряжение остальным правительственным комиссарам относительно места, где они должны к нам присоединиться. Твой же дом оказался по дороге, вот я к завернул к тебе лично.

– Так ты пожаловал сюда только за этим?

– Только за этим?... Друг мой, Зебулон, у меня еще не бывало более важной причины для поездки! Армию стягивают в один район, и нам следует позаботиться, чтобы в каждом населенном пункте для нее было приготовлено все необходимое. А то ее побьет не противник, а плохое

снабжение. Так что собирайся немедленно. Находящаяся в твоём ведении бригада нынче же вечером должна расположиться лагерем в центре комитата, и нам к тому времени надо уже быть на месте.

– Ведь это же добрых шесть миль!

– Потому-то я и тороплю тебя.

– Да, но пообедай с нами.

– Тогда нам к вечеру не добраться до места.

– Как же так! Жена и дочери так тебя ждали, думали, ты у нас погостишь.

– Надеюсь воспользоваться этой честью в другой раз. А сейчас нельзя терять ни минуты.

– Ах, до чего ты суровый человек, мой милый друг.

– Пойми же наконец, мы ведь отправляемся не на охоту, а выступаем в поход.

Признаться, эта мысль только теперь пришла в голову Зебулону. До сих пор он надеялся, что дальше небольшой военной демонстрации дело не зайдет. И он сможет взирать на все происходящее издали. Лишь сейчас он задумался над тем, к каким неприятным последствиям может привести человека то, что он взял да и нацепил саблю на свою венгерку василькового цвета.

Дело-то и впрямь поворачивается всерьез...

Ему вдруг показалось, что в курительной комнате стало нестерпимо холодно. Даже зубы застучали.

– Ты не печь заставляй топить, – заметил ему Эден, – а быстро собери отчетность. Да захвати с собой кассу. Положи в торбу пару белья, – брать большую поклажу мы не можем. Нацепи саблю, сунь в карман пистолет и возьми добротную овчинную шубу. Может статься, нам не раз придется кочевать прямо в поле, на траве.

Эти речи не показались Зебулону ободряющими и не переполнили его душу восторгом. Он подыскивал различные предлоги, как бы продлить минуты сладостного пребывания дома.

– Раз уж надо отправляться в поход, пойду позабочусь хотя бы о самом скромном запасе провизии. Надо сказать моим девицам...

– Ты же продовольственный комиссар! На тебе лежит ответственность за пропитание четырех тысяч человек. О них-то ты позаботился?

– А как же иначе!

– В таком случае, где будут есть солдаты, там будем есть и мы.

– Так-то оно так. Но им же дадут солдатский хлеб да водку.

– Значит, и у нас будет то же самое. Ведь не можем мы есть белый

хлеб, когда наши люди довольствуются черным!

Однако подобные доводы никак не уместались в голове Зебулона. Да и как быть с женой?

– Вроде не мешало бы попрощаться с семьей?

– Что ж, прощайся. Только побыстрее.

– Легко сказать «прощайся»! А что им сказать? Просто не знаю, что делать.

– Что делать? Скажи родным, что отправляешься на войну и тебя там, чего доброго, застрелят или зарубят. А то и вовсе ничего не говори, поедем, и все тут. Можно выбрать и что-нибудь среднее. Поступай как знаешь, но через пять минут мы должны быть уже в пути!

Зебулон только горестно вздохнул. Ему, видно, вовсе не хотелось идти прощаться. Он все прикидывал в уме и никак не мог решить, что страшнее: попасть в руки неприятеля или предстать пред грозные очи госпожи Анны и объявить ей, что званый обед пропал и надо идти на войну. В конце концов он все-таки предпочел Шлика^[65] и решил без всякого напутствия двинуться в дорогу вместе со своим непреклонным другом – гостем, которого так и не сумел уговорить отведать хотя бы стаканчик сливянки.

Уже ступив одной ногой на подножку подводы, он все же не утерпел и спросил служанку, несшую за ним саквояж, в который он кое-как запихал свои вещи:

– Послушай, Бориш, где сейчас барышни?

– Одна стряпает на кухне. Вторая наряжает третью, А четвертая горячими щипцами завивает пятаю.

– А что делает матушка-барыня?

– Ее затягивают в новомодный корсет.

– Ну, ладно. Скажи ей, чтобы нас не ждали ни к обеду, ни к ужину.

Когда вернусь, тогда и буду дома.

Зебулон так и не рискнул ни разу оглянуться, когда подвода, грохоча, выкатила со двора усадьбы.

Не евши, не пивши, по горам и долам, чуть ли не до самого вечера ехали Зебулон и Эден Барадлаи. Попадавшиеся по пути трактиры были уже начисто опустошены шедшими впереди войсками. Лишь в какой-то корчме удалось раздобыть чашку скверного кофе.

Каждый раз, проезжая какой-нибудь деревней, Зебулон настойчиво уговаривал своего любезного друга наведаться к местному священнику: «У попа наверняка что-либо найдется». Однако Эден считал, что времени у них слишком мало, уклоняться с дороги ради столь «благочестивой» цели не стоит, и приказывал погонять лошадей.

Жестоко пожалел Зебулон, что послушался своего спутника и не захватил с собой сумку с едой. Как гласит поговорка: «Не выходи из дому зимой без хлеба, а летом – без теплой одежды».

Но Эден все же оказался прав. После полудня они наткнулись на целый обоз с хлебом для войсковых частей.

– Можешь теперь запастись едой, – сказал Барадлаи.

Господин правительственный вице-комиссар распорядился, чтобы ему отпустили одну буханку, говоря попросту – обычный солдатский хлеб; но при первой же попытке отрезать от него ломоть, Зебулон сломал лезвие перочинного ножа.

– Что, хорош хлеб? – осведомился Эден, глядя, как его спутник, тяжело вздыхая, тщетно старается разгрызть и разжевать хотя бы кусочек.

Вице-комиссар не отважился даже заикнуться, что хлеб совершенно несъедобен – ведь выпечен-то он был по его собственному наряду. Ему оставалось только одно – проглотить неразжеванный кусок и невнятно пробормотать: да, очень, мол, хорош.

Эден чуть не покатылся со смеху, глядя на незадачливого вице-комиссара.

А Зебулон, в сбою очередь, злился на Эдена, который совершенно не испытывал голода и решил, видно, дотянуть до позднего вечера.

К вечеру им повстречалось даже жаркое. Только оно еще ходило на собственных ногах: мимо гнали гурт крупного рогатого скота для армии.

Эдену показалось, что лицо ехавшего верхом старшего гуртовщика ему знакомо; он где-то уже видел этого человека.

Чем ближе подъезжали путники к комитатскому центру, тем гуще становились толпы сновавших взад и вперед людей и вереницы медленно двигавшихся обозов, груженных сеном» соломой, овсом и обмундированием. Проходили отряды различных родов войск, и сквозь них трудно было пробиться. Эден то и дело вступал в разговор с офицерами, что немало смущало Зебулона. И чего ради он все время задерживается, беседует с каждым встречным и поперечным!

В город они прибыли довольно поздно. Устроились на постой в доме исправника. «Ну, хоть тут-то угостимся, – подумал Зебулон. – Здесь нас, кажется, и к ужину ждут».

Однако его постигло сильное разочарование. Не успели они приехать, как откуда ни возьмись появились каптенармусы прибывших отовсюду частей. Они осаждали Зебулона тысячей вопросов и требований – одни вели себя спокойно, другие – грубо. Тот требовал хлеба, этот – обмундирования, третий – сапог, четвертый – фуража. А Зебулон только

твердил в ответ:

– Дайте срок, все прибудет. Все прибудет!

– Да, но когда? Когда именно прибудет?

Видя, какая гроза нависла над Зебулоном, Эден сжалился над ним.

– Вот что, Bruder^[66]... Возможно, все довольствие уже прибыло, только еще никто об этом не знает. Бери-ка мою верховую лошадь и поезжай, наведи порядок на складах. Отдай распоряжения у застав, а потом представь мне обо всем точное донесение.

Только этого еще недоставало: сесть в такой час на коня! Выдавать наряды на сено и солому! Распределять казенный, хлеб! Ублажать свирепых солдат, браниться с заносчивыми офицерами! Как раз самое подходящее занятие для Зебулона! А он-то воображал, что со всем этим можно управляться, сидя дома в своей барской усадьбе да покуривая трубку с длинным чубуком! Ко. всему прочему еще и конь может оказаться норовистый.

Таллероши возвратился часа через два. За это время ему пришлось пережить нечто ужасное, и он собрался подробно поведать Эдену о своих злоключениях.

– Любезный Bruder, меня чуть не разорвали на тысячу кусков. Удивляюсь, что не сожрали со всеми потрохами.

Но Эден перебил его:

– Ладно, ладно. Теперь пойдем ужинать. А потом подашь письменный рапорт: что уладил и как.

Письменный рапорт! Это слово отравило Зебулону весь ужин.

Он никогда не любил заниматься писаниной. Именно этого он всячески старался избегать. Тем более после ужина. Писать после ужина! Это же противно всем божеским и человеческим законам.

А между тем рапорт необходимо было непременно представить. Эден ждет не дождется, пока уберут со стола, унесут тарелки и стаканы, снимут скатерть. Не успел закончиться ужин, как он гут же приказал расстелить на этом же столе бумагу, принести чернильницу с пером и заставил Зебулона сесть за составление подробного отчета.

А у Зебулона не было даже отдаленного понятия о том, как приступить к такому делу. Он даже не мог догадаться, для какой надобности предназначена линейка, положенная на стол рядом с бумагой.

Пришлось Эдену самому вводить его в курс дела, собственноручно написать заголовок и вступительную часть отчета, а также озаглавить рубрики.

– Тебе остается лишь заполнить эти графы. Сел Зебулон и начал

ломать голову, а какой последовательности это делать. Тем временем весь дом до отказа заполнили люди:

одни приходили, другие уходили. Как работать в таком адском шуме!

Всех посетителей, одного за другим, принимал Эден. Он брал от них донесения, выслушивал жалобы, улаживал конфликты и недоразумения. И делал все это деликатно, благородно, с достоинством, как с изумлением отметил про себя Зебулон.

Составление сводки подвигалось туго. Внезапно среди посетителей появилась знакомая фигура. Из-за нее Зебулону пришлось отложить перо. Пришелец ворвался в комнату с воплем:

– Где тут соломенный комиссар?

Зебулон, естественно, отнес этот вопрос к себе и откликнулся:

– Ну, что там еще?

Облик такого рода людей знаком нам еще со времен былых предвыборных кампаний: вечный заводила, вербовщик голосов избирателей, который так и лезет в драку. Разве мог такой человек оставаться в стороне, когда разгорелась война?... Одет он был, правда, не по-военному: в доломан с красными отворотами и рейтузы с медными пуговицами. Но на боку у него висела сабля с медным эфесом, а за поясом торчали пистолеты. Через плечо был перекинут кнут, в кончик которого вплетен кусок острой проволоки. Вид у этого человека – весьма и весьма воинственный!

– Почему эта немчура развалилась на моей соломе? – завопил до неузнаваемости преображенный вербовщик голосов.

Услыхав такие слова, Зебулон положил на стол перо и широко развел руками: что все-таки нужно этому дуралею?

– Расскажите все по порядку, – спокойно и добродушно сказал Эден. – Кто вы? Военачальник?

– Так точно, воинский начальник. Командир «двухштыкового батальона».

– А, погонщик волов?

– Так точно.

– Ну, и чем вам насолили немцы?

– Здесь, видите ли, околачивается дружина немецких школяров. Из Вены, что ли, сбежали сюда, сучьи дети! На шляпах у них изображен череп, и называют они себя легионом «Мертвая голова».

– В чем же тут беда?

– А вот в чем! Целый день я их в глаза не вижу, но приходит вечер, и они тут как тут. Устраиваются на привал непременно там, где я

располагаюсь со своим стадом. Им отлично известно, что здесь всегда найдется солома, вот они первыми на ней и устраиваются.

– Не вижу в этом пока ничего дурного.

– Так ведь они горланят всю ночь напролет! Голодны ли, жажда ли их мучит – знай себе песни распевают. Другой на их месте чертыхался бы, а они поют. К тому же и солому приминают, а мне ею утром волов кормить.

Эден решил поговорить с этим человеком по душам.

– Видишь ли, друг... К лицу ли нам жалеть солому для этих иноземных парней? Ведь они приехали за тридевять земель, чтобы пролить свою кровь за свободу нашей родины!

– Эх! Ни к чему нам вся эта компания без роду без племени! – все больше распалялся бывший вербовщик. – Со своими противниками и сами справимся. Случалось мне участвовать в потасовках почище нынешней, к примеру, когда переизбирали Папсаса. Следовало бы вам тогда на меня поглядеть! Я один, без чьей-либо помощи, разогнал тысячу супостатов. Они девять дыр пробили в моей башке, до сих пор еще следы остались. Уж я-то сумел бы показать, как нужно разделяться с вражеской конницей. Стоит мне размахнуться вот этой хлопушкой с проволочным' концом, и я выбью им всем подряд глаза. Зачем только затесалась к нам вся эта немчура да поляки? Не поганьте ими, ради бога, наше войско, ваше высокоблагородие, господин верховный комиссар!

Но тут уже не вытерпел вошедший в раж Зебулон:

– Вон отсюда, висельник! Убирайся, пропойца, или я запущу в твою башку чернильницей! Коли ты явился от лица воловьего стада, толковать тебе со мной не о чем. Ишь вздумал тут лясы точить! Марш отсюда!

Столь решительно изгнав посетителя, Зебулон почувствовал, что он не в состоянии снова углубиться в текст донесения. Ох, как он жалел, что и в самом деле не швырнул чернильницу в голову старшего гуртовщика. Тогда хотя бы чернил больше не осталось!

Тем не менее пришлось опять приниматься за сводку – безжалостный верховный комиссар не давал пощады! Зебулон старательно подпирал пальцем бровь, как бы выжимая из лба мысли. Но на самом деле он прибегал к этому для того, чтобы не слипались веки. Он все норовил, приоткрыв один глаз, хоть немного подремать – попытка, к которой нередко прибегают все люди, тщетно борющиеся со сном.

Но что вышло из его стараний? Едва Эден покинул на минуту комнату, как Зебулон в то же мгновение впал в забытие и тут же услышал гнусавый и резкий надтреснутый голос госпожи Анны. «Когда же придет обещанный гость?» – вопрошала она. Очнулся Зебулон, только когда вернулся Эден,

которому понадобились какие-то дополнительные сведения.

Наконец беспощадный повелитель сжалился над вице-комиссаром.

– Послушай, старина, ты же спишь. Ступай ложись. В четыре утра я тебя разбужу, тогда и закончишь.

Как обрадовали Зебулона эти слова! Хорошо, когда человек может уподобиться на старости лег школяру, который с трепетом ожидает от своего наставника дозволения отправиться в постель!

Однако лечь и заснуть – вещи совершенно разные.

Есть древняя, весьма жестокая китайская пытка: два приставленных к осужденному стража встряхивают его всякий раз, когда он начинает засыпать. Зебулону пришлось претерпеть нечто похожее. Только он забудется, как тотчас же кто-нибудь является и требует, чтобы ему позволили немедленно переговорить с его благородием. Бессердечные, нетерпеливые люди докучали ему сотнями всевозможных вопросов, орали их в самое ухо. Вконец рассерженный Зебулон накрепко запер дверь: барабаньте, мол, сколько хотите, мне до вас нет дела!

На стене в комнате тикали большие часы с кукушкой... Птица каждые четверть часа громким кукованьем предупреждала вице-комиссара, что близится утро. Пусть он спешит выспаться.

Когда кукушка после полуночи прокричала второй раз, сладчайший сон Зебулона был внезапно прерван каким-то страшным шумом. Спросонок ему почудилось, будто началось светопреставление.

Между тем это всего-навсего маршировал по улице отряд революционной студенческой молодежи из Вены, и прямо под окном громко гремела Fuchslied:^[67]

Wer kommt dort von der Höh?^[68]

– Ну и ну! Благослови их за это, боже.

Ни о каком сне уже не могло быть и речи.

Прошел еще один отряд, за ним третий. Кто бы мог сказать, сколько их продефилировало под окнами с барабанным боем, от которого звенели все стекла. Затем потянулись тяжело груженные ломовые телеги, сотрясавшие дом. Вот и попробуй поспать!

Зебулон, правда, обольщался смутной надеждой, что сам Эден проспит и не придет в четыре часа утра. Но, увы! Надежды его рухнули. Не успела кукушка на стенных часах прокуковать четыре часа, как послышался стук в дверь и короткий призыв:

– Вставай, друг, отправляемся!

Эден всячески торопил Зебулона. Неприятель продвинулся значительно дальше, чем предполагали.

Выбивая дробь зубами, Зебулон стал поспешно одеваться; он уже горько жалел, что ввязался в эту кутерьму.

Только сейчас бедняге открылась истина: для того чтобы плавать, неминуемо приходится лезть в воду! Как раз об этом-то он и не подумал.

Зебулон все глубже погружался в гуцу военных событий. Окруженный со всех сторон войсками, он чувствовал, что они увлекают его за собой и нет ни малейшей возможности повернуть вспять. Хочешь не хочешь, а придется докатиться до самого поля брани и помимо воли близко познакомиться с грохотом орудий. А этого он желал меньше всего на свете.

Поездка, длившаяся с утра до позднего вечера, была для него сущим мучением. На его обязанности лежало водворять порядок, когда сталкивались встречные обозы. Ему пришлось так много шуметь и кричать, что к исходу дня он почти уверовал в свое умение отлично справляться со служебными обязанностями.

Дом, где они остановились на ночлег, оказался штаб-квартирой армии. Зебулон ужинал в одном зале со старшими офицерами генерального штаба. Он не только слышал, но воочию наблюдал как обсуждают они план военных действия, помечая на карте пункты, где наступает враг, стараясь угадать, в каком направлении намерен он продвинуться, какую высоту следует занять, чтобы преградить ему путь, какие мосты следует разрушить. и в каком месте ожидается решающее сражение.

Сердце Зебулона билось все тревожнее.

Потом старшие офицеры стали подсчитывать, какими силами располагает неприятель, сколько у него пушек и двенадцатифунтовых ядер, не считая батарей для стрельбы зажигательными ракетами.

Известие о батарее больше всего ошарашило Зебулона.

Когда-то ему довелось прочитать в одном старом энциклопедическом словаре, какую опасность таит в себе эта пресловутая ракета. Достаточно одной ее искры, чтобы не только опалить кожу человека, но и прожечь его мясо до костей. От этого ядовитого огня человек не просто погибает, но может еще и в ад угодить. Если такая ракета попадет в толпу из сотни людей, все они обречены на верную смерть!

Чего только ни придумывал Зебулон, призвав на помощь всю свою богатую фантазию, лишь бы как-нибудь отвертеться от дальнейшего участия в таком чересчур рискованном походе. Как завидовал он судьбе молодого человека, которого послали гонцом в Пешт! Под конец он со всей

откровенностью излил душу Эдену:

– Милый мой дружок! Я уже старик, да и прихварываю частенько. Никакой я не солдат, драться я не мастак. У меня пять дочерей, и я себе не принадлежу. Не могу я лезть в такие места, где того и гляди свалится на тебя какая-нибудь непредвиденная беда. Оставьте лучше меня где-либо в тылу, при резервном обозе!

Эден уважил его просьбу.

– Ладно, старина. Так и быть, выбери место, где будешь считать себя в безопасности. Часть провианта мы оставим здесь. Если хочешь, находишься при нем. Но должен предупредить: в военное время трудно заранее предсказать, где всего скорее напорешься на неприятеля.

Зебулон почувствовал, что обязан ему вечной благодарностью. Теперь можно управляться со всеми делами, находясь вдалеке от огня. Пускай себе лезет в пекло сам Эден Барадлаи, благо он еще человек молодой.

Эден так именно и поступил. Они остановились на привал в густонаселенной венгерской деревне. Крестьяне сами вызвались нести вооруженную охрану склада с провиантом.

Эден собирался оставить тут и Гергё Бокшу с его двурогим батальоном, но тот в сильнейшем негодовании воспротивился этому.

– Разве может происходить сражение без меня?

Люди будут драться, а Гергё Бокша – нет? Я хочу захватить у вражеской конницы полдюжины добрых коней. Да не меньше, чем полдюжины!

Эден не стал возражать. Так и быть, пусть Бокша двигается вместе с войсками дальше. Но гнать с собой он должен не больше полсотни быков. Остальных нужно оставить здесь, в тылу.

Поутру венгерские войска снялись с бивуака и двинулись дальше. Передовые части выступили в поход еще раньше, ночью. Зебулон был несказанно рад, что не слышит больше барабанной дроби. Уж и поспал он всласть в тот день после обеда! К вечеру он даже почувствовал себя настолько отдохнувшим, что стащил сапоги и, сунув ноги в шлепанцы, которые он неизменно брал с собой в дорогу, засел за отчет с намерением его кончить.

До самой полуночи он аккуратно заполнял графы и уже собирался бросить на стол перо, как вдруг его вспугнула неожиданная ружейная пальба. Вот те раз! Неприятель нагрязнул и сюда! Именно это и предсказывал ему Эден Барадлаи!

Решив, что дело затевается нешуточное, Зебулон схватил в одну руку сумку с деньгами, в другую – сапоги, выскочил в окно и стремглав кинулся

к лесу. Пока до него доносилась стрельба, он все бежал и бежал в одних чулках, держа сапоги в руке, ни разу даже не оглянувшись. Наконец он домчался до соседней деревни; там он нанял подводу, посулив целое сокровище тому, кто довезет его до родного дома.

Армию он больше так и не видел. Кассу Зебулон сдал старосте, а отчет пропал. Что случилось с вверенным его попечению добром, он ни у кого и не спрашивался. Только спустя много времени, когда он уже находился в чужих краях, ему попался в руки номер вышедшей в Венгрии газеты, и он получил возможность осмыслить события того грозного дня. С превеликим изумлением он прочитал среди сообщений о различных событиях военную сводку, где говорилось, что некий Зебулон Таллероши с помощью крестьян задержал на несколько часов целую вражескую дивизию и успел за это время спасти весь вверенный ему провиант и армейскую казну.

Но до этого времени достопочтенному господину Таллероши пришлось пережить немало испытаний. Речь о них пойдет впереди,

Дорого оплаченный первый урок

Что же произошло?

– Скажу без околичностей: под Кошицей венгерскую армию изрядно поколотили. Ее разгромили войска австрийского императора, совсем так, как была разгромлена несколько позднее армия северян республиканцев в Америке в первом же бою при Бул-Ран.

Не стану ничего приукрашивать.

Командование оказалось не на высоте. Младшие офицеры проявляли нераспорядительность. Артиллеристы еще не научились метко стрелять. Рядовые не выдержали огня. Таким образом враг без особых усилий разбил мадьярское войско. Оказалось, что достаточно было обстрелять двенадцатифунтовыми ядрами большак, и боеспособность венгров была подорвана. Старый, честный, простодушный главнокомандующий и военный министр Венгрии^[69] уселся посреди дороги под огнем вражеских орудий и уговаривал солдат не бояться пушек: «Смотрите, снаряды пролетают над вашей головой!» Тем не менее армия разбежалась. Печальная это была картина! Горе-войска, все до одного, показали спину неприятелю. Когда несколько дней спустя военный министр явился на заседание Государственного собрания, происходившего в зале городской ратуши Дебрецена, он начал свою речь так:

– Мне хотелось бы сейчас выступить в темном подпале, чтобы никто не видел краски стыда на моем лице.

Даже поныне мы еще не забыли об этом позоре, а ведь с тех пор немее было пролито крови, немало совершено подвигов, которые покрыли нашу армию славой!

Но в то время позор казался несмываемым!

В довершение всего командующий австрийской армией приказал ударить по бегущим грозными зажигательными ракетами. Когда эти, доселе никому не ведомые, внушавшие ужас огненные драконы с яростным шипеньем устремились вслед перепуганному венгерскому войску, когда, описав большую дугу, извергая пламя, разбрасывая вокруг снопы искр, ракеты с оглушительным треском начали падать в самую гущу беглецов, – стал полнейшим. Кавалерия, артиллерия, обоз, пехотинцы, новобранцы, национальные гвардейцы, люди, кони – все перемешалось, перестало слушать команду, превратилось в беспорядочный, запутанный клубок. Он катился, все увлекая за собой и, таким образом, преграждая путь к

спасению. Казалось, неприятелю достаточно бросить вдогонку один кавалерийский эскадрон да, выдвинуть вперед ракетные батареи, чтобы захватить все орудия разбежавшейся в замешательстве армии и сотнями брать в плен людей.

Великое счастье сохранить присутствие духа в такую отчаянную минуту!

Эден Барадлаи не был кадровым военным и не отличался полководческим талантом, но зато ему было присуще хладнокровие – дар, без которого нельзя стать выдающимся человеком.

Надо иметь незаурядное мужество, чтобы взглянуть прямо в глаза чудовищу, от которого в панике бегут десятки тысяч солдат, и заставить его отпрянуть назад.

Видя злосчастный исход сражения, Эден вскочил на своего коня и, когда все остальные уже потеряли голову, принялся искать выход, чтобы спасти остатки разбитой армии.

Он был безоружен, в руке он держал только хлыст.

Полки, сплошь сформированные из новобранцев, в панике бежали от изрыгавших пламя ракет, и остановить их было невозможно. А по шоссе уже мчался во весь опор кавалерийский отряд противника, чтобы довершить разгром венгерского войска.

«Надо преградить путь неприятелю!» – решил Эден.

Приметив среди бегущих войск нескольких смелых юношей, он громко крикнул:

– Ребята! Неужели мы позволим врагу захватить наши пушки?

Этот возглас заставил отважных парней остановиться. Все они были простые солдаты.

«Погибнуть ради спасения остальных?... – мелькнуло в их сознании. – Что ж, так тому и быть!»

И они повернули, полные решимости оказать сопротивление вражеской кавалерии.

Неожиданно, откуда ни возьмись к ним подоспела помощь. Из-за тянувшейся вдоль обочины большака живой изгороди акаций в несшийся прямо на смельчаков конный отряд ударил залп такой силы, что ряды кавалеристов дрогнули, смешались, и австрийцы в беспорядке галопом понеслись назад. Вся дорога была усеяна убитыми и ранеными.

Внезапно с криком «ура» из-за изгороди выскочил спрятавшийся там отряд. Это был легион «Мертвая голова». Его предводитель, долговязый Маусман, крикнул Эдену, размахивая шляпой:

– Ура, наш славный покровитель! Вот/это и есть баррикадная тактика!

В знак приветствия Эден крепко пожал руку весельчаку студенту. Маусман всегда величал его покровителем, так как Эден неизменно заботился о том, чтобы революционные студенты-добровольцы из Вены своевременно получали довольствие в армейском интендантстве и чтобы венгерские солдаты дружили с ними.

И студенты-добровольцы были достойны этой дружбы. Все как один закаленные в огне сражений, юноши никогда не унывали и в любую минуту готовы были ринуться в бой. Они не побоялись бы самого дьявола, как не боялись пресловутой вражеской ракеты. А противников своих знали отлично по многочисленным ратным встречам. В грозный час битвы сотня таких ребят – неоценимое сокровище. Вместе с волонтерами, которых сумел образумить и остановить Эден, у него теперь составилась отряд человек в двести. Отряд немногочисленный, что и говорить, зато храбрый.

После того как убийственный залп легионеров-добровольцев обратил в бегство австрийскую кавалерию, враг, видя, что остатки венгерского войска сосредоточиваются на большаке, привел в действие свою ракетную батарею, которая и обстреляла героев.

Но добровольцев не так легко было запутать; они на дрогнули перед смертоносными игрушками.

– Ах, вот оно что?... Это же старые знакомые! – острил по поводу ракет Маусман. – В праздник сбора винограда я вдоволь нагляделся на такие забавные штучки. Каждый филистер норовит запустить подобную хлопушку. Смотрите, как они врезаются в землю! У этой все рыльце песочком забилось, У той – совсем дело не вытанцевалось. А третья, гляньте, куда угодила! Зато у четвертой наверняка выгорит.

Ракета, визжа и шипя, в самом деле шлепнулась о землю вблизи отряда. Маусман подскочил к ней и, невзирая на то, что она зловеще сыпала искрами, схватил ее и отшвырнул в придорожную канаву. А когда ракета с оглушительным треском лопнула, смельчак насмешливо крикнул:

– Тебе тут делать нечего!

Венгерские новобранцы весело смеялись, глядя на это единоборство/

Да, да, именно смеялись!

И с этой минуты они стали героями: они впервые посмеялись над смертью. Впервые поняли, что смерть всего лишь комедиант, актер, который доводит до слез и устрашает своими гримасами и зловещим ликом галерку, но побаивается отважного критика и обходит его стороной.

Враг вскоре убедился, что его ракеты не производят больше никакого впечатления. И снова бросил в атаку против стойко державшегося отряда – конницу. Теперь в авангарде атакующих несли вскачь эскадрон тяжелой

кавалерии.

Маленький отряд перегруппировался и, образовав три цепи, занял всю шоссеиную дорогу, спокойно выжидая приближения всадников.

А Маусман между тем затянул шуточную песню;

Wer kommt dor! von der Höh?
Wer kommt dort von der Höh?
Wer kommt dort von der ledernen Höh —
Sa, sa, ledernen Höh,
Wer kommt dort von der Höh?^[70]

Подпустив неприятеля шагов на двадцать, венгры и студенты с криком «ура» встретили противника дружным залпом. Вражеская кавалерия, оставляя за собой убитых и раненых, в замешательстве, повернула назад и скрылась в клубах пыли.

Тогда, снова зарядив ружья и вскинув их на плечо, маленький отряд неторопливо двинулся по большаку.

Но вот опять послышался нарастающий гул устремившейся за ними в погоню конницы. Обтекая с двух сторон дорогу, преследователи пытались окружить отряд.

Горстка смельчаков стремительно образовала замкнутое кольцо. Посреди круга высился верхом на коне Эден, а штыки окружавших его бойцов топорщились во все стороны, как иглы огромного, оцетинившегося дикобраза. И, словно задорный вызов врагу, прозвучала еще одна строфа шуточной песни:

Es ist der Windischarälz,
Es ist der lederne Windischarälz.
Was bringt des Windlschgrätz?
Was bringt der lederne Windischarälz?
Er bringt us einen Fuchs!
Fr bringt uns einen ledernen Fucbi.^[71]

Встреченная метким огнем неунывающих молодцов атакующая кавалерия вновь была вынуждена отступить. Ведь парни эти не трусили, не ведали ни волнения, ни растерянности, присущих необстрелянным новичкам, ни той дрожи, что охватывает неопытного охотника, когда он

оказывается лицом к лицу со страшным зверем. Они спокойно выжидали подходящего момента, чтобы взять врага на мушку, и стреляли так, что каждая пуля попадала в цель.

Но ведь шуточная песня венских студентов состоит из, множества куплетов, самым подробным образом повествующих о злоключениях незадачливого шутника.

И сколько было исполнено куплетов, столько же бешеных атак вражеской конницы отразил отряд храбрецов. Надо признаться, он выдержал испытание с честью.

Даже когда дело дошло до рукопашной схватки, когда в ход были пущены штыки и приклады, легион «Мертвая голова» бился лихо, с молодецкой отвагой. Получивший легкую рану молча перевязывал ее. Смертельно раненного товарищи клали на ружья и с громким возгласом: «Да здравствует свобода!» – относили в сторонку. И на всем пространстве большака, во всю его длину, каплями крови был отмечен каждый их шаг по венгерской земле, которую они защищали.

А ведь казалось, «что им Гекуба?».^[72]

Отбив последнюю, самую ожесточенную атаку, закончившуюся яростным побоищем, Маусман сказал Эдену:

– Ну, мой дорогой покровитель, мы только что всадили в наши ружья последние патроны. Палить из них больше уж не придется. Тут, позади, есть мост. Мы там укрепимся и будем драться. Через камышовые заросли конница в тыл к нам не проберется. А теперь, ребята, – обратился он к товарищам, – дадим клятву, что наш последний заряд мы по врагу выпускать не станем, Отныне деремся только штыками!

И дерзкие смельчаки, охваченные восторгом, тут же, прямо на шоссе, опустились на колени и, высоко воздев к небу руки, дружным хором пропели строфу общей клятвы из какой-то оперы, возможно из «Беатриче». Она были полны решимости доиграть спектакль до конца, до последнего акта.

Упомянутый мост несколько возвышался над равниной, и, заняв эту позицию, маленький отряд мог обозреть все пространство у себя в тылу.

Вплоть до зарослей камыша у речной поймы, через которую был перекинут мост, не замечалось даже признаков снега. Но дальше все поле лежало под белым покровом. Бушевавшие в последние дни бураны намели много снега, и он образовал высокие сугробы, походившие на песчаные дюны. Сотни ломовых телег, пушки, груженные снарядами подводы, – все это беспомощно барахталось, завязнув в снежных холмах. Одни повозки опрокинулись, другие провалились по самые ступицы. А вокруг суетились

потрепанные части беспорядочно отступавшего войска.

– Нельзя допустить, чтобы противник увидел, что там творится!

– Пока живы, не допустим!

Заняв самую высокую часть моста, маленький отряд снова хором затянул свою клятву-песню. С суровой торжественностью звучала она над равниной.

На фоне мрачного, мглистого небосвода, оттененного серо-лиловой снежной тучей, отряд героев, который стоял на мосту и с воодушевлением пел, казался какой-то сказочной ратью, готовой вознестись в поднебесье. Лучи заходящего солнца ярко освещали фигуры воинов, ослепительно сверкали на высоко поднятых ружьях.

Пока звенел хор храбрецов, готовых стоять насмерть, с дороги опять донесся гул устремившегося в решительную атаку кавалерийского отряда противника. Ракетная батарея обстреливала мост своими смертоносными снарядами. Описывая пламенеющую дугу, они пролетали над головами кавалеристов. А защитники моста стояли под огнем и без тени страха ожидали атаки, распевая песню о' героях, которые поклялись сражаться в предстоящей битве одними штыками.

На какой-то миг Эден Барадлаи мысленно перенесся в родной дом – к молодой супруге, к двум щебечущим малюткам, к охваченной тревогой матери, но тут же взял себя в руки и принялся подбадривать своих новобранцев:

– Не бойтесь, ребята! Из ста осколков снаряда лишь один попадает в цель!

Но в то же мгновение этот единственный осколок разорвавшейся гранаты угодил в молодого волонтера и сразил его насмерть.

Не потеряв присутствия духа, Эден воскликнул:

– А если и попадет, то это самая прекрасная смерть!

– Да здравствует родина! – дружно отозвались солдаты.

В эту минуту вражеская конница замедлила бег.

Но ошеломил ее не громкий возглас молодых героев, а что-то другое.

Внезапно из обледенелой камышовой заросли выскочил и помчался по заснеженному полю отряд венгерских гусар.

Стремительное появление гусар было совершенной неожиданностью. Прежде чем противник успел развернуться к ним фронтом, гусары ударили ему во фланг и в несколько минут рассеяли и оттеснили австрийцев с шоссеиной дороги. Расстроенные кавалерийские эскадроны помчались назад во весь дух, спасаясь от внезапно атаковавших их гусар.

И тогда весь отряд венгерских гусар, будто движимый общей мыслью,

резко свернул в сторону. Позволив улизнуть вражеской коннице, он с ходу обрушился на ракетную батарею.

Только тут во вражеском стане заметили допущенную оплошность. Чрезмерная уверенность в победе побудила австрийцев выдвинуть слишком далеко вперед ракетную батарею, и она оказалась в непосредственной близости от отступавших венгров. Никому не пришло в голову, что разбитое войско может остановиться и обрушиться на своих преследователей.

Теперь, чтобы не допустить захвата ракетной батареи, австрийцам нельзя было мешкать ни минуты. Ведь венгерские гусары – бывалые воины, они не испугаются мечущего искры чудовища! Вот и пришлось недавним победителям задать стрекача вместе со всем обозом, амуницией и боевым запасом. Хорошо еще, если удастся спасти снаряды и укрыть их под защитой пехоты. Самое же ракетную батарею спасти уже было некогда: ее захватили и разбили в щепы венгерские гусары. Покончив с этим, они еще долго преследовали улепетывавших восвояси вражеских артиллеристов.

Совершив свой ратный подвиг, гусары не спеша, мелкой рысцой возвратились к стоявшим на мосту боевым товарищам.

Что и говорить, – этим дерзким налетом на зазнавшегося противника был достойно завершён день битвы! Неприятель уже не пытался больше использовать первоначальный успех. Та и другая стороны забили отбой. Находившиеся в авангарде части оттягивались назад. Разбитое венгерское войско могло теперь беспрепятственно продолжать отступление.

Отряд гусар, насчитывавший свыше двухсот всадников, направился прямо к мосту. Впереди ехал верхом на коне командир – статный, осанистый богатырь с тихо закрученными кверху усами, сверкающим взором и орлиным носом. На лице его играла горделивая улыбка.

Среди стоявших на мосту людей двоим показалось, что они где-то уже видели этого офицера. То были Эден и Маусман. Студент узнал всадника первый – ведь он встречался с ним всего лишь несколько месяцев назад, Эден не видел его лет шесть.

– «Wer kommt dort?...» – начал было боец-студент, по прослезился к не мог продолжать. Подкинув вверх шляпу, он бросился навстречу приближавшемуся всаднику, крепко обнял его и расцеловал, едва не стащив с седла.

– Ура, Барадлаи! Ура, Рихард Барадлаи!

Только тогда Элен узнал брата. Они столько лет не видели друг друга, что могли встретиться на улице и спокойно пройти мимо. К тому же на

поле брани лицо всякого человека приобретает новое, необычное выражение.

Братья обнялись. Эден плакал, Рихард смеялся. И в обоих отрядах одни плакали, другие смеялись. Гусары, пехотинцы, легионеры-добровольцы обнимали, целовали, славили друг друга – каждый на своем родном языке.

– Само небо послало тебя сюда, – обратился Эден к младшему брату.

– И старый «кофиц»^[73] тоже. Во время всеобщего бегства, двигаясь со своим отрядом навстречу отступавшим, я встретился с ним и доложил о своем прибытии. А он и говорит: «Вам надо поспешить. Где-то позади остался ваш брат надо вызволить его из беды».

– Да. Не подоспей ты вовремя, через часок-другой право первородства перешло бы к тебе.

– Боже упаси! Но вот что еще поручил мне старик: если мол повстречаетесь со старшим братом Эденом, крепко его отругайте. Поэтому, держись! Итак, Элси Барадлаи, какого лешего вы околачиваетесь в зоне неприятельского обстрела? Вы – правительственный комиссар. Ваша обязанность – находиться з арьергарде, когда мы продвигаемся вперед, и быть в авангарде, когда мы отступаем. Государственное собрание послало вас сюда не для того, чтобы помогать нам драться. Кроме того, у вас молодая жена и прелестные детки. О них вы даже не подумали, гадкий человек? Вот погодите, уж я расскажу обо всем матушке!

Но при имени матери у него сразу пропала охота шутить.

Растроганный, он пожал руку брату и тихо проговорил:

– Бедная, добрая наша матушка! Будто сердцем чуяла она все это, когда пришла ко мне и сказала: «Иди туда!»

Вспомнив о матери, братья поцеловались. Ведь она была для них истинным провидением и в детские годы, и в пору возмужания. Неусыпное материнское око заботливо оберегало их и в колыбели, и на поле брани.

После разгрома необходимо было снова создать боеспособное войско, которое могло бы через каких-нибудь две недели не только оказать сопротивление врагу, но и перейти в наступление, однако сколотить армию из павшей духом, разбитой, рассеянной массы солдат представлялось невозможным, – такое дело было под силу разве только волшебнику.

Следующую за битвой ночь Эден и Рихард провели в соседней деревушке; до самого утра они перехватывали разрозненные подразделения потерпевшего поражение войска и старались навести хоть какой-то порядок.

– Если бы нам удалось раздобыть мяса, – сказал Рихард, – все сбежали бы на запах жаркого.

Но именно раздобыть жаркое и было труднее всего.

Через деревню уже дважды проходили неприятельские войска, и после них осталось лишь незначительное количество съестных припасов. Еще можно было кое-как разжиться хлебом – удалось спасти обоз с мукой. Но мяса не было совсем, хоть шаром покати.

– Эх, самое бы сейчас время заявиться сюда Гергё Бокше с его волами! – воскликнул Эден и тут же дал указание Рихарду прочесать близлежащие заросли кустарника и выяснить, не укрылся ли там бравый гуртовщик со своим стадом. Времени для этого у Гергё было больше чем достаточно: ведь его оставили в глубоком тылу, и было маловероятно, что доблестный гуртовщик двинул свою двурогую дружину в атаку против неприятеля.

Гусары принялись за поиски Гергё Бокши и его волов. Но до позднего вечера обнаружить их нигде не удалось.

Уже совсем к ночи он объявился сам. Но пришел один, волов при нем не было. Он даже не ехал на коне, а вел его под уздцы: видимо, сошел с лошади специально для того, чтобы все видели, как сильно он хромает. Он шагал, понурившись, опустив голову, и все время кряхтел. Бокша опирался на свой топорик, как на костыль, а саблю нес под мышкой. Было заметно, что он окончательно пал духом.

Бокша так жалостно стонал и охал, в голосе его слышалась такая дрожь, что, казалось, он вот-вот умрет.

– Ну как, Бокша? Что там у тебя стряслось? – спросил Эден

ковылявшего к нему погонщика.

– Ах, сударь! – горестно воскликнул brave гуртовщик. – Великая беда со мной приключилась!.. Пропал я ни за что ни про что. Конец, мне теперь. На веки вечные. Вся поясница разбита... Пушечным ядром в двадцать четыре фунта весом.

Маусман и остальные студенты разразились неистовым хохотом, и Гергё Бокша убедился, что его рассказам никто не верит.

– Волы-то где? – наседали со всех сторон на погонщика.

– Эх, кабы я знал!

– Помилуй, дружище, – сказал Эден. – Я ведь оставил тебя в таком безопасном месте, где стаду не угрожало никакой беды! Как же получилось, что сам ты удрал, а волов угнать не сумел?

– Коли угодно, расскажу вам все как есть, как оно произошло. Вот, значит, только начался бой, вытащил я из-за голенища нож, а из котомки – хлеб да сало и собирался малость перекусить. Вдруг невесть откуда немец как пальнет – я и нож и хлеб с салом чуть из рук не выронил. Думал, тут мне и конец. Ядром меня контузило, а в нем было фунтов двадцать восемь, никак не меньше. Накажи меня бог, ежели я вру! Своими глазами видел! Оно было двойное, на цепи. Два ядра друг к другу цепью прикованы. И на обоих что-то вроде бороды болтается.

– То, что вы удрали, я уже понял. Но куда все-таки подевались волы? Разве остальные погонщики не отогнали стадо в тыл?

– Не могу этого знать, прошу прощенья. Потому, как я убежал, а немец палил мне вдогонку. Так ухал из большущей пушки, что я оглянуться боялся – того и гляди башку снесет.

– С ним надо разговаривать иначе, дорогой Эден! – воскликнул, выступив вперед, Рихард. – Трус ты и шельма, Бокша! Хвастаешь тут, а сам при первом же выстреле дал тягу и оставил врагу доверенное тебе стадо! Эй, капралы! Принести сюда скамью да всыпать ему полсотни горячих!

Услыхав приказ насчет «горячих», Гергё Бокша перестал кривляться и корчиться» Он мгновенно преобразился: высоко задрал голову, ударил себя в грудь кулаком и с вызовом завопил:

– Я этого не позволю! Меня зовут Гергё Бокша! Я – из благородных!

– Тем лучше для тебя, – язвительно заметил Рихард. – По крайней мере ныть от порки будет не твоя собственная шкура, а благородная, собачья.^[75]

– Ставлю в известность господина капитана, – вопил вне себя от негодования Гергё Бокша, тыча своим топориком куда-то вверх, – что всемиловейшее Государственное собрание упразднило телесные

наказания даже для лиц, не принадлежащих к благородному званию!

– Можешь обжаловать мои действия. Но только после того, как получишь все сполна. Здесь *intra dominium*^[76] мы парламента устраивать не будем. Напра-во! убирайся прочь! Уведите его да всыпьте хорошенько.

Увы! С Гергё Бокшей произошло то, чего он до сих пор еще никогда не испытывал. Его высекли на славу, и близкое знакомство с ремнем, прозванным гусарами фарматрингом, повергло его в такое состояние, что он орал благим матом.

А когда завершилась эта тягостная для него процедура, Бокше еще пришлось, по обычаю, явиться к капитану и выразить его высокоблагородию благодарность за полученный урок и полезное назидание.

– Ну, что ты теперь скажешь? Здорово палил немец? – спросил его Рихард.

– Да он, прошу прощения, ни разу не выстрелил даже из пистолета, – виновато оправдывался гуртовщик.

– А теперь – отобрать у него оружие, посадить на лошадь – и скатертью дорога! Солдат, не постыдившийся показать спину врагу, вполне заслужил, чтобы ему всыпали плетьюми по тому самому месту, которое он показал врагу.

У Гергё Бокши отобрали саблю с медным эфесом, топорик и пистолеты, накинули на шею кнут, посадили в седло, хлестнули коня и прогнали из лагеря.

Ко всему еще треклятый немец-студент, стоявший с ружьем в дозоре, с издевкой крикнул ему:

– Эй, дядюшка Гергё! Не давай себя в обиду!

– Ну, погоди же! – скрипя зубами, погрозил кулаком Гергё. – Я этого так не оставлю!.. Отплачу сторицей! – рывкнул он и, огрев плеткой коня, поскакал прочь.

Изгнанный с позором рыцарь нет-нет да и оглядывался назад, злобно при этом бранясь. Он явно вынашивал какую-то мысль. Еще никогда в жизни не подвергался Бокша унижительной порке. Не раз бывало, что и по башке его стукнут, и поколотят до полусмерти. Но ведь все это были молодецкие забавы, удалство! Частенько валялся он где придется, плавая в луже собственной крови. Когда-то в корчме, в разгар кампании по распределению выборных должностей, его до такой степени избили, что никто не думал, что он выживет. Однако все эти воспоминания не были для него позорными. Но насильно уложить его на скамью, его, человека благородного звания, и подвергнуть порке! Да еще на глазах у разинувшей

рот солдатни, на потеху насмешливым немецким школярам! Нет, он этого так не оставит.

По всему было видно, что Гергё задумал какой-то план.

Он достал трубку, вытащил кисет, снял с головы шляпу. Стал разглядывать чубук, заглянул в кисет, затем в шляпу. Немного погодя что-то пробурчал, снова надел шляпу, спрятал кисет, сунул трубку в карман и пустил лошадь рысью.

Он двигался вперед по тон самой дороге, по которой удирал днем, и держал направление прямо к вражескому стану.

На этом заснеженном поле он прекрасно умел ориентироваться даже в кромешной мгле.

Ни одной живой души не встретилось ему по дороге. Пространство между двумя враждующими лагерями было безлюдно.

Гуртовщик пересек камышовые заросли, откуда внезапно атаковал неприятеля Рихард Барадлаи. Въехав на пригорок, он обозрел окрестность. Где-то вдаль, на равнине, горели огни. То были бивачные костры.

Гергё подъехал к ним ближе. Его зоркие, привычные к ночному мраку глаза сразу различили, что за кострами расположен степной хутор.

Гергё стал прислушиваться. То и дело долетавший до него прерывистый звон колокольчика и протяжное мычание голодных быков дали ему понять, что он добрался до того места, куда стремился.

Тогда он спешился и неторопливо пошел вперед, ведя под уздцы лошадь.

– Стой! Кто идет? – раздался в темноте окрик.

Бокша прикинулся, что он не на шутку перепуган.

– Полегче ты! До смерти напугал! Дезертир я, вот кто.

Слово «дезертир» австрийский дозорный понял. Он приказал гуртовщику не трогаться с места, пока не подойдет патруль и не заберет его.

Вскоре подъехал верхом сержант в сопровождении рядового: на хуторе стояла вражеская конница. Гергё Бокша объяснил, что он, мол, лазутчик-перебежчик и желает говорить с самим полковником.

Когда явились с докладом о том, что из неприятельского стана пробрался в расположение австрийских войск перебежчик, который хочет с ним говорить, полковник играл в карты со своими офицерами.

– Ведите его сюда, – приказал полковник.

Господам офицерам вновь прибывший показался весьма забавным. До чего курьезная фигура: одновременно и труслив, и строптив, полон ярости и смирения, жалостно кривит рот, но при этом скрежещет зубами. Каждому

целует руку и тут же клянет всех святых!

– Почему ж ты сбежал из своего лагеря? – задал вопрос полковник.

– Потому что туда прибыл новый начальник и приказал меня выпороть. Меня! Человека, у кого все предки испокон веков были дворянами! Никогда, за всю жизнь, не касалась моего тела плеть. А тут на старости лет надо мной сыграли такую позорную штуку: всыпали полсотни ударов, будто псу какому, будто крепостному мужику или вору! Выпороть человека, который проводил выборы шестнадцати вице-губернаторов! Меня, который никогда не стащил ни единой пуговицы. (Пуговиц Гергё Бокша действительно не таскал!) И вдобавок отняли саблю, оружие, которое ни в коем случае нельзя отымать у дворянина, даже если все его имущество пускают за долги с молотка. А к тому же еще новый начальник приказал прогнать меня из лагеря, словно я проходимец какой! Ну, ладно. Может, где в другом месте найдется для меня пристанище. Гергё Бокша и там сумеет быть полезным!

– В каком же чине ты служил? – спросил полковник.

– Я служил погонщиком волов, – чистосердечно признался Бокша.

– Вот оно что! Стало быть, ты не солдат. Теперь мне понятна твоя молодецкая удаль. Не вояка значит? Ну, что ж... Так тому и быть. Нам как раз нужен человек, умеющий обращаться с волами. Мы отбили у неприятеля целое стадо, будешь при нем гуртовщиком.

При этих словах Гергё Бокша схватил руку полковника и несколько раз чмокнул. Да так звучно, словно кто-то в домашних туфлях прошлепал.

– Ох! Пусть все святые благословят ваше высокоблагородие за милость. Клянусь, вы найдете во мне самого преданного слугу, готового оберегать каждый ваш волос. За такого господина я полезу в огонь и воду. Придет время, и я сумею показать, на что способен. Эти пятьдесят ударов я им не забуду, за каждый удар отплачу с лихвой. Это так же верно, как то, что я – дворянин и зовут меня Гергё Бокша!

Глаза гуртовщика налились кровью. А вспомнив, что его тела, словно тела какого-нибудь холопа, пятьдесят раз коснулась плеть – разве забудешь это унижение! – он даже прослезился. Пусть бы его отхлестали даже тростинкой или шелковым шнурком, все равно самый факт порки – уже вопиющий позор! А ведь он получал удары отнюдь не шуточные. И для наглядности Бокша указал господам офицерам на свои жестоко пострадавшие, исполосованные до дыр рейтузы. Тем ничего не оставалось, как признать достоверность исповеди гуртовщика.

– Как фамилия командира, что приказал тебя выпороть? – осведомился полковник.

– Я его видел в первый раз, ведь он перед этим только что прибыл. Однако правительственного комиссара он называл братом, стало быть его зовут Барадлаи.

– Ах, вот это кто! Беглец...

Имя Барадлаи словно наэлектризовало полковника. Теперь уже сильно заинтересованный, он продолжал расспрашивать Гергё. Чтобы развязать язык перебежчику, он даже приказал принести вина.

Бокша расписал все в самом мрачном свете. Нет, мол, у побитого войска ни крошки хлеба, пехота осталась без оружия, по всей дороге валяются брошенные солдатские ранцы, патронташи и ружья, а на сотню солдат едва приходится по одному офицеру. Все бойцы, без исключения, пали духом и нынешней ночью наверняка зададут стрекача, удерут в тыл. Гергё уверял полковника, что венгерские солдаты до смерти страшатся неприятеля, ропщут на командиров, только лютой строгостью можно удержать их от бунта. Он утверждал, что при первом же удобном случае добровольцы из итальянского легиона начнут толпами переходить на сторону императорской армии, а венский легион венгры сами прогнали, заподозрив его в предательстве.

Рассказывая вещи, которые так приятны каждому победителю, Гергё Бокша снискал благосклонность доблестных господ офицеров.

Полковник пообещал ему свое покровительство. Гуртовщики в армии крайне нужны, ведь солдат не приспособишь стеречь быков. Да и не смыслят они ничего в этом деле. Здесь требуется человек бывалый, хорошо знающий повадки волов. И полковник приказал своему адъютанту отправить Гергё Бокшу к гурту.

Бокша еще раз приложился к руке каждого офицера, еще раз прослезился, допил из бутылки остаток вина и пошел исполнять свои новые служебные обязанности.

Вверенное ему стадо находилось во дворе хутора. Всего в нем насчитывалось голов восемьдесят. Волы были захвачены у венгров, а так как те поступили на манер Гергё – то есть заблаговременно бежали куда глаза глядят, – то погонщика при стаде не оказалось.

Тем не менее охранялось оно довольно надежно. Двор был окружен тростниковой изгородью, высотой в семь футов, а волу ограда всегда кажется краем света. Кроме того, четыре всадника с саблями наголо непрерывно кружили вдоль наружной стороны изгороди, готовые к решительному отпору в случае внутреннего «бунта» или внешнего нападения. А в поле со всех сторон расположились биваком солдаты; их было видимо-невидимо: кони стояли на привязи, люди варили в котелках

картофель с мясом.

А самое главное, быки – животные покорные, смиренные, лежат себе на холодной земле, пережевывают жвачку и помалкивают. То, что еще вчера они находились во владении венгерской национальной армии, а нынче перешли к австрийской императорской – для них совершенно безразлично. Не все ли им равно, кому в конце концов придется отдавать свою шкуру, мясо да кости! На шее самого длиннорогого вола привязан колокольчик, это – вожак стада. И вовсе не потому, что ума у него больше, чем у остальных. Просто рога самые длинные. Здесь никто не прибегал к выборам, его на этот пост назначили, вот и все. И вола признали его своим предводителем. Когда надо трогаться вперед, какой-нибудь вооруженный палкой паренек-подпасок без малейшего труда может взять, да и погнать стадо дальше. А чтобы вола прибавили шагу, довольно хлопнуть разок-другой кнутом, иного приказа не требуется. Если надо переходить через мост, вола сбиваются в кучу, головами вместе. Ни один не хочет идти с краю, этого они не любят. А когда приходит черед какому-нибудь волу отдать свое мясо на жаркое, а кожу на башмаки, для блага человечества, стадо безропотно этому подчиняется. И быки при виде разостланной для просушки шкуры лишь горестно размышляют: «Нынче он, а завтра я...» Время от времени какое-нибудь животное в стаде прерывистым мычанием напоминает миру о своем существовании. Но это не голос тоски по родине и не ропот против властей предержащих, – просто вола одолела жажда и он хочет пить. Рогатый вожак тряхнет при этом разок висящим на его шее надтреснутым колокольчиком, и опять водворяется тишина. Так что управиться с подобным стадом для Бокши было делом немудреным.

Адъютант познакомил гуртовщика с дежурным капралом. Тот устроился на ночь в хлеву. Охваченный необыкновенным рвением, Гергё Бокша испросил разрешения расположиться на ночлег вместе с конем во дворе. Надо, мол, честно отработать хлеб, который тебе дают! Да и овчинный тулуп у него добротный. Самое же главное – во дворе можно покурить трубочку, тогда как в хлеву делать это строго-настрого воспрещается.

Столь усердному к службе славному молодцу было позволено обосноваться там, где ему удобнее.

А Гергё Бокша тем временем старался определить откуда дует ветерок, и норовил расположиться так, чтобы стадо не оказалось с наветренной стороны. Наконец нужное место было найдено, и он устроился там, пожелав доброй ночи и господину адъютанту, и господину капралу, и всем прочим их благородиям, не преминув еще раз с жалобами и стенаниями

поведать, как жестоко обошлись с ним в венгерском лагере. Господа офицеры, хоть и жалели беднягу, но покатывались при этом со смеху.

Не исключено было, что за Гергё со всех сторон усердно присматривали: не мешает все-таки знать, что он делает там, во дворе.

Но он право же не делал ничего особенного. Достал только трубку с кисетом да снял с головы шляпу. Вероятно ему пришло в голову прочитать молитву перед тем, как завалиться на боковую, а чтобы заснуть спокойно, во рту у человека должен торчать чубук.

Итак Гергё Бокша набил трубку табаком, высек из кремня огонь и разжег ее. Потом примял ногтем тлеющий трут, прикрыл чашечку трубки колпачком и, как водится у степенных, людей, лег себе на брюхо и стал покуривать. У него имелись веские причины не ложиться на спину.

Потом, должно быть, со скуки Бокша достал свой простой нож с деревянной ручкой и начал соскабливать с полей шляпы скопившуюся на ней прелую, пропитанную салом и потом грязь, тщательно собирая ее себе в ладонь. Шляпа его, надо сказать, повидала виды. Немало перенесла она бурь и невзгод, вся облезла и от ветхости местами совсем протерлась. Как знать, может, шляпа испытывала истинное удовольствие от того, что хозяин соскребывал с нее грязную коросту.

Наскоблив изрядный ворох наслоившегося мусора, Гергё Бокша приоткрыл крышечку трубки и пересыпал его с ладони на тлевший табак.

В ту же минуту поднялась такая невообразимая вонь, какую вряд ли могла породить вся парфюмерия ада.

Какая связь существует между чадом от горящей просаленной грязи со старой шляпы и физиологическим состоянием волов, – не сумели бы определить ни Окен, ни Кювье.^[77] Зато каждый пастух из венгерских степей отлично знает, что, почуяв этот «аромат», любой вол мгновенно из смиренного домашнего животного превращается в разъяренного дракона. От этого запаха он дичает и разом впадает в первобытное дикое состояние. Вол стервенеет, несется куда глаза глядят, крушит и давит все на своем пути, перестает слушаться человека.

Не успел ветерок подхватить зловонный чад из трубки Гергё, как воловий вожак одним прыжком поднялся с земли, широко расставил ноги, поднял рогатую голову и начал втягивать ноздрями воздух. Почуяв новую волну вонючки – истинное дыхание ада, – он так мотнул головой, что колокольчик на его шее залился неистовым звоном.

Потом вол принялся нетерпеливо хлестать себя по бокам хвостом, испуская короткое, отрывистое, похожее на рев мычание. Затем запрыгал, как козел, на одном месте, яростно вертя головой. И тут вскочило на ноги

все стадо.

Всполошенные, охваченные яростью волы, все, как один, стали отступать в противоположный конец двора, уставившись рогами в ту сторону, откуда ветер доносил до них чад, словно оттуда вот-вот должно было появиться какое-то жуткое чудовище. Неудержимо пятясь, стадо повалило тростниковую ограду. Впрочем, будь этот забор даже из железа, волы все равно сокрушили бы его, чтобы пробиться через пролом и умчаться в степь.

Услыхав поднявшееся во дворе хутора неистовое мычание, туда сбежались офицеры, капралы и денщики; все наперебой спрашивали Гергё, что случилось.

Однако все происходящее они могли видеть и сами: взбесившееся воловье стадо стремительно неслось через поваленный забор на волю. Пришедших в неистовство животных ничем нельзя было унять. Они смяли конную охрану и, сметая все преграды, перескакивали через полевые костры, издавая при этом бешеный рев. И никто не мог взять в толк, почему они так неистовствуют. Что же касается Гергё Бокши, то он, ей-же-ей, до них не дотрагивался. Да и какое он мог иметь касательство к этому невообразимому бунту, если полеживал себе тихо и мирно на тулупе да покуривал в свое удовольствие трубочку?

– Что такое? Что стряслось? – гаркнул подошедший полковник.

Бокша, как и приличествует человеку, говорящему с начальством, учтиво вынул изо рта трубку и, сунув ее в карман, с самым невозмутимым видом изрек:

– Волы увидели чудо.

– Какое еще чудо?

– Эх, ваше высокоблагородие, такая вещь частенько случается. Гуртовщики да мясники-живодеры, а особенно пастухи, хорошо знают, что подчас волам мерещится чудо. Рогатой скотине, как и человеку, порой снятся сны. И тогда она обалдевает, начинает метаться и мечется, пока не выбьется из сил. После этого можно опять собрать разбредшееся стадо воедино, но тут требуются уменье и сноровка. Такое дело уж я попросил бы доверить мне. Это по моей части. Если я раскручу свой кнут да брошу вдогонку стаду своего коня, со звездочкой во лбу, то уж не сомневайтесь, мне удастся поворотить назад всех волов до единого.

– Раз так, не мешкай! Садись на коня, разматывай свой кнут и лети вдогонку за стадом – как бы оно не забрело слишком далеко!

– Ладно. Так тому и быть. Только прошу дать приказ господам солдатам отправиться вместе со мной и помочь мне собрать стадо. Ведь

волы-то разбежались в разные стороны.

– Вот тебе четверо конных часовых» Пусть они и помогут.

Бокша кое-как вскарабкался на коня. Ему это стоило немалых усилий, он вдоволь накричался, пока сел наконец в седло. Но на коне выглядел уже так, будто прирос к нему.

– Ну, господин полковник, извольте малость обождать. Я мигом ворочусь.

Полковник не заметил, что эти слова Гергё Бокша произнес уже каким-то новым вызывающим и ухарским тоном, совершенно не походившим на прежний, плаксивый и жалобный тон, к которому он прибегал, чтобы вызвать к себе сочувствие.

– Мигом ворочусь!..

С этими словами Гергё раскрутил свою длинную плеть и звонко щелкнул ею. Лошадь со звездой во лбу, смешно подпрыгивая, пустилась, как горная серна, вскачь и вынесла седока через пролом в ограде.

Сколько четвероногих было б ошалелом стаде, в стольких направлениях они и разбежались. Гергё Бокша предоставил кавалеристам полную свободу гоняться за рассеявшимся во все стороны гуртом, отлично зная, что при таких обстоятельствах добрый бич стоит куда больше, чем полсотни сабель. Даже трем всадникам не поймать одного вошедшего в раж вола! Это нечто вроде испанского боя быков, только в гигантском масштабе. А вот там, где раздаётся гулкое щелканье плети, успех обеспечен. Гергё Бокша с изумительной ловкостью согнал в кучу полсотни быков. Бич оглушительно щелкал то с одной стороны, то с другой, и волы мало-помалу сгрудились вокруг жоака. Один из конных часовых усердно старался помочь Гергё, скакал за ним по пятам и во все горло орал на одичавшую скотину.

Но вот бегущее стадо сплотилось в сомкнутую массу. Тогда, пробившись в самую гущу животных, Гергё еще разок-другой щелкнул бичом, а потом хлестнул его проволочным заостренным концом жоака. Тот с новой силой пустился вскачь. Солдат смекнул, что гуртовщик задумал что-то недоброе, и счел нужным его предостеречь: пора, мол, поворачивать стадо!

Но его окрик никак не подействовал на Бокшу: гуртовщик словно оглох или вдруг разучился понимать по-немецки.

Однако солдат умел изъясняться и по-мадьярски, главным образом – браниться! А брань, как известно, доходит всего быстрее.

– Не вздумай, сукин сын, угнать волов!

Но Гергё, казалось, окончательно потерял слух и все подхлестывал

отстающих от стада волов.

– Ну, уж это ты наверняка услышишь! – крикнул солдат и, выхватив из кобуры пистолет, выстрелил в Бокшу. Пуля со свистом пролетела у того мимо уха.

Бокша оглянулся на австрийца.

– Гляньте на дурня! Чего доброго, еще подстрелит по недомыслию! А ну, пальника из того, другого! Да торопись!

Солдат разрядил и второй пистолет, но снова промахнулся.

– Теперь саблей достань! – подзадоривал его Гергё, слегка повернувшись в седле и как бы потешаясь над солдатом. Между тем у гуртовщика ведь не было на этот раз при себе ни сабли, ни топорика, ни пистолетов. Зато его сердце было полно благородной решимости.

Конник не собирался шутить. Выхватив из ножен саблю, он на скаку занес ее над бетяром.

Тот огрел его плетью слева, и, хотя всадник отпарировал удар, извивающийся острый проволочный кончик плети успел ужалить австрийца в правую щеку. В то же мгновение Бокша стегнул его плетью справа. Конник выставил вперед саблю но, плеть снова огрела его по лицу, на сей раз уже слева. Чертово оружие: бьет не с той стороны, откуда, казалось бы, нацелен удар! Солдат неистово ругался то по-немецки, то по-мадьярски.

Когда бетяр размахнулся в третий раз, кончик его плети щелкнул по носу уже не всадника, а коня. Тот мгновенно взвился на дыбы, завертелся на месте и сбросил со спины седока.

Гергё Бокша больше уже не заботился о дальнейшей судьбе поверженного противника. Он во весь дух поскакал вслед за мчавшимся стадом, гоня его в нужном направлении. Ночь стояла темная, вся местность была окутана туманом, и Гергё мог гнать волов куда хотел.

А полковник между тем все ждал и ждал его возвращения. Наконец ему наскучило глядеть в ночную тьму, и он вернулся в дом – метать банк.

Братья Барадлаи всю ночь провели на ногах, наводя порядок в расстроенных рядах венгерских воинских частей. А части эти не могли поладить между собой. Гусары не хотели располагаться биваком по соседству с пехотинцами. «Пока, мол, я скребу свою лошадь, пехтура полеживает себе на боку, а возвращусь, усталый, на /ночлег, меня же еще и высмеивают!» Кроме того, бойцы различного рода войск обвиняли друг друга в понесенном поражении. «Прояви вы стойкость, мы тоже дрались бы как надо. Стреляй вы пометче, мы бы не пятились. Вы должны были прийти нам на помощь, тогда мы не потеряли бы свои пушки»; Всю ночь

велись подобные споры, шла перебранка, дело доходило даже до драки. Ежеминутно приходилось вмешиваться и мирить недовольных.

А сверх всего, не было ни куска мяса, чтобы накормить измотанных, удрученных поражением солдат. В селении нашелся только хлеб да еще палинка: крестьяне-беженцы, уходя из деревни, угнали с собой весь скот.

Эдену лишь под утро удалось прилечь на соломенном ложе, а Рихард продолжал бодрствовать. Только голову склонил на стол – он умел спать и в таком положении.

Незадолго до рассвета спящих неожиданно разбудил невообразимый рев волов, сопровождаемый громким хлопаньем бича. Подбежав к окну, Рихард увидел Гергё Бокшу, слезавшего с коня посреди целого стада быков. По бокам животных катилась пена, а из ноздрей валил горячий пар. Им больше не мерещилось «чудо», они вновь сделались ручными, превратились в послушных, покорных верноподданных.

Рихард и Эден поспешили на улицу.

Гергё Бокша отдал им по всей форме честь и лихо оттрапортовал:

– Разрешите доложить, доблестный господин капитан! Быки на месте.

Рихард хлопнул бетяра по плечу.

– Ну, Гергё Бокша, ты парень хоть куда! Молодчина! Неужели здесь все стадо?

– Все полсотни голов.

– Раз так, хвала тебе и честь. Эй, Пал! Дай-ка сюда свою фляжку, пусть гуртовщик хлебнет разок за твое здоровье.

– Прошу прощения, – заговорил Гергё Бокша, с торжественной серьезностью отстраняя предложенную флягу. – Сперва мне надо решить другое, более важное дело.

И он повернулся к капитану.

– Ведь я сказал вчера, что те самые пятьдесят не оставлю даром, непременно расплачусь. Вот и расплатился: полсотни за полсотни! А теперь, господин капитан, вы дайте мне бумагу, что те, вчерашние, в счет не идут!

– Какая же нужна тебе бумага, Бокша?

– Свидетельство. Что, мол, те пятьдесят, которые были мне вчера выданы, теперь недействительны. Это я на тот случай говорю, если кто-нибудь вздумает меня ими попрекать. Тогда я смогу ткнуть его носом в свидетельство: то было не в счет!

– «Ладно, Бокша. Выдам тебе свидетельство, так и быть. Сейчас получишь.

Рихард вошел в комнату, достал из сумки письменные

принадлежности, и Гергё Бокша получил свидетельство, гласившее, что полученные им накануне полсотни ударов объявляются недействительными, аннулируются.

Особенно успокоило Бокшу слово «объявляются». Не остался он равнодушным и к чести, оказанной ему Эденом, который скрепил бумагу своей подписью.

Чрезвычайно довольный, гуртовщик спрятал документ в карман своего доломана. Ему вернули саблю, топорик и пистолеты.

– Ну, теперь дошел черед и до фляжки! Где она?

Господин Пал протянул свою флягу. И Бокша не отрывал от нее рта, пока не вылакал всю палинку до последней капли.

Затем он вытер длинным рукавом рубахи губы, оглядел толпившихся вокруг солдат и сразу нашел того, кого искал.

– Эй, немец, выходи-ка вперед! Это ты крикнул мне давеча вслед: «Не давай себя в обиду, дядя Гергё!» Пойдем-ка поборемся! Мне всыпали полсотни, я всю ночь провел в седле, гнал стадо, а ты успел отдохнуть. Но я все-таки повалю тебя на землю.

Тот, кого он вызвал помериться силами, был худеньким, щуплым пареньком-студентом. У него даже и усы еще не пробились. Выступив вперед, он засмеялся и весело сказал:

– Не повалите, дядюшка Гергё!

А когда они сошлись и Гергё уже обхватил его своими мускулистыми руками, студент расцеловал Бокшу в его рябые щеки справа и слева, и тот, сразу разжав могучие руки, выпустил паренька.

– Да уж вижу, вижу! Порядочный ты плут! Действительно не могу стукнуть тебя о землю. Ну, леший с тобой! Так и быть, давай обнимемся!

– Расскажи, однако, Бокша, – обратился к нему Рихард, – как тебе все же удалось отбить волов?

Бокша пожал плечами, поправил поясной ремень, потом скорчил гримасу, вскинул брови и небрежно процедил:

– Только всего и было, что пошел я к немецкому полковнику да хорошенько попросил его вернуть мне волов. Немец оказался человеком покладистым и без всяких разговоров отдал их всех до единого. Даже парочку-другую в придачу дал. Очень уж он уважает господина капитана.

Так и не удалось вытянуть из него каких-либо подробностей этого происшествия.

Кичливый горлопан, который мог, бывало, с утра до вечера бахвалиться своими выдуманными невероятными похождениями, теперь, когда он и впрямь совершил свой самый дерзновенный, истинно геройский

подвиг, скромно о нем молчал и хранил его в тайне.

Никто, ни разу в жизни, так и не услышал из его уст, где побывал он в ту ночь и что совершил,

В королевском лесу

Произошло это уже давно: двадцать раз покрывали палые листья осени землю после незабываемых событий тех дней. Вряд ли хоть один человек из тысячи знает теперь, что такое Королевский лес!

Лес, каждое дерево которого как бы повествует о прошлом. Лес, полный торжественного шороха, где листья словно одарены живой душой, а любая травинка помнит о минувшем, где под валежником, между молодыми побегами, струится алая кровь героев, где зеленый мох видит сны, а шумящая листва рассказывает о них.

В этом лесу произошла Ишасегская битва, которая длилась двенадцать часов, от полудня до полуночи.

Здесь, в тени этого куста шиповника, под небольшим круглым курганом, осененным бело-красными цветами, погребены в общей могиле четырнадцать павших воинов.

Большие валуны навалены над ними, чтобы дикие звери не растащили их кости.

Два огромных нароста на стволе вон того векового бука – это след от попавших в него пушечных ядер. Дерево нарастило новую кору, и она затянула вмятины.

Видите раскиданные по лугу камни? Это – остатки печи для обжига извести. Когда у гонведов кончились патроны, они разобрали печь и стали забрасывать врага камнями. Поросший ежевикой перелесок с торчащими, закопченными и обгорелыми стволами деревьев – то самое место, где Елачич^[78] приказал поджечь у себя в тылу лес, чтобы задержать наступление преследователей.

Этот срубленный пенёк послужил столом для венгерского главнокомандующего, когда он писал свой короткий приказ:

«Сегодня мы должны либо победить, либо отойти за Тису!»

А виднеющиеся на левом берегу пятна темной зелени! Они не блекнут даже в самое засушливое лето и обильно рожают цветы колокольчиков, чей неслышимый звон как бы заменяет зауспокойный гул колоколов по усопшим.

А на той широкой круглой площадке, посреди обширной лужайки, трава не растет. Тут бились между собой две вражеские кавалерийские бригады и так вытоптали землю, что она и по сей день остается лысой.

Не битва, не сражение происходило здесь, а поединок, где с каждой стороны встали друг против друга не менее десяти тысяч бойцов, где

бились верхом и в пешем строю, пулей и штыком, саблей и прикладом, камнями и голыми руками. То был невиданный поединок! Под каждым деревом воин, один на один, сходилась со своим противником. Любой древесный ствол становился крепостью, любой куст – окопом, который оборонял, отстаивал, терял и вновь брал с бою один солдат у другого. Вот кончились патроны у обоих противников – огневой бой длится уже пять часов! Остается только пустить в ход штыки. Но они тоже затупились, ими можно лишь колотить, а не колоть. Стуком топоров отдается в лесу эхо от ударов прикладами. Сломалась винтовка, ее владелец хватается за оружие неприятеля, силясь вырвать его из вражеских рук. Команды никто уже не слушает, каждый дерется как может. Багровые брызги крови пятнают стволы деревьев. В этом грозном одиночном бою участвуют все: и полководцы и рядовые солдаты. Пушечные ядра с треском и грохотом прокладывают себе путь сквозь кроны деревьев и гущу кустарников, с воем разрываются в таинственной глубине леса. Артиллерия бьет с обеих сторон; слева австрийцев обстреливают вспомогательные войска Аулича, [\[79\]](#) справа их осыпает картечью бригада Монтенуово, приняв своих товарищей по оружию за неприятеля. Сражение ведется под перекрестным орудийным огнем. Но никто уже не обращает на это никакого внимания.

Каждый воин твердит себе:

– Мы должны здесь нынче либо умереть, либо победить!

Королевский лес простирается к югу, на расстоянии в три тысячи шагов от заповедника Гёдёллэ, вдоль левого берега реки Ракош. Но возле Ишасега деревья, растущие на опушке леса, вплотную подходят к Ракошу, склоняясь над с мой водой. Через этот лес проходят три проселочных дороги. Все они сходятся в Ишасеге и сливаются там в один тракт. Это – ворота, ведущие в Пешт.

А венгерская армия стремилась в Пешт.

Именно потому и сражались тут венгерские солдаты. Разве это непонятно?

Королевский лес в самом широком месте насчитывает три тысячи шагов, в самом узком – тысячу двести. Протяженность его – одна миля. За этот самый лес и шло ожесточенное сражение.

Лес во всю свою длину окаймлен рекою Ракош, которая в летнюю пору представляет собой всего лишь ручей, но весной превращается в настоящее болото. Во время битвы быстрый ручей – хозяин положения, переправиться через него можно только там, где он позволяет. Одна такая переправа имеется под Ишасегом, вторая – чуть подальше к северу, возле мельницы.

Обе эти переправы находились в руках неприятеля, который выставил против венгерских войск сорок две тысячи воинов, двести тридцать две пушки, три батареи мортир и пятьдесят шесть кавалерийских эскадронов.

Господствующие над полем боя холмы тоже были заняты австрийцами.

Кроме того, вражеские войска в ходе сражения подожгли Ишасег, его улицы пылали, и пробиться сквозь них вместе с артиллерией не было никакой возможности.

Сражение в Королевском лесу, длившееся с полудня до самого вечера, шло с переменным успехом.

Сначала венгерские войска выбили австрийцев из южной части леса. Тогда австрийцы подожгли его. Затем, подтянув новые силы, они вернулись назад, оттеснили венгров, но тут путь им преградил горящий лес.

Тем временем другая венгерская часть захватила северную окраину леса и предприняла наступление на мост возле мельницы. Она уже продвинулась было вперед и добилась успеха, но отступление первого отряда вынудило и ее сдать занятую позицию.

И снова пришлось начинать все сначала.

В борьбе за лес войска противников беспорядочно перемещались. Двигаясь от дерева к дереву, враги с боем отвоевывали друг у друга каждую пядь земли, вновь и вновь посылая на битву свои потрепанные части.

Уже никто не обращался в бегство, как это было три месяца назад. Тот, кому приходилось отступать перед превосходящими силами неприятеля, только немного отступал, а едва появлялась помощь, вновь поворачивался и опять нападал на врага.

Свист ядер и пуль был теперь хорошо знаком солдатам. Привычная песня! Грохот пушек больше не приводил в содрогание сердца, а полученная рана не заставляла бледнеть. Ее даже порою не сразу замечали.

Уже шесть долгих часов шло сражение, но ни одна из сторон не могла пока похвалиться, что она отвоевала у другой хотя бы небольшое пространство. Даже ту территорию, куда градом падали снаряды, противники не желали оставлять.

Но вот враги решили сделать последнее усилие. Офицеры поднимали с земли свалившихся от усталости солдат; санитары спешно перевязывали раненых и приговаривали: «Разве это рана? Так, пустяковая царапина»; командиры подбадривали малодушных, подтягивали резервы; и вот войска вновь устремились на поле боя, навстречу друг другу.

Лес загудел от яростных криков. Военачальники сами шли впереди

своих войск со знаменем в руках.

Австрийские части приготовились нанести решительный удар по центру венгерской армии.

Шестнадцать эскадронов драгун и уланов, два полка кирасир и шесть эскадронов вольноопределяющихся плотной массой в сопровождении восьми пушечных и двух ракетных батарей двинулись на север от Ишасега, через переправу на реке Ракош, и лавиной ринулись в самую середину венгерских войск.

На круглой площадке, там, где и поныне не растет трава, сомкнутым строем стояли венгерские гусары.

Три тысячи гусар, собранных воедино!

Противник установил свои орудия прямо против них, на флангах собственной кавалерии, и открыл уничтожающий огонь.

Отступать гусарам было некуда. Оставался только один выход, и они им воспользовались.

Надо было, не раздумывая, атаковать с фронта кавалерию противника и, врезавшись в ее боевые порядки, так перемешаться с нею, чтобы неприятель потерял возможность разобраться, где его собственные войска, а где – чужие, и был лишен возможности вести оружейный огонь.

Сказано – сделано!

По всему фронту затрубили горны, призывая с налета ринуться на врага. Земля дрожала от неистового галопа, лес гудел от крика, а вскоре к этому шуму присоединился звон тысяч стальных клинков, тысяч скрестившихся сабель.

Клубы пыли окутали поле битвы. А когда внезапно налетевший порыв ветра подхватил ее и отнес в сторону, это поле предстало глазам очевидцев как живое олицетворение героического эпоса о древних витязях.

По меньшей мере шесть или семь тысяч всадников перемешались друг с другом! Неистово вставали на дыбы кони. Сверкали сабли и клинки, красные кивера, стальные шлемы, четырехугольные шапки... На поле боя 368 сошлись три основных воинских группы, образовав почти замкнутый круг. Они то откатывались назад, то устремлялись вперед. Казалось, движется челнок какой-то чудо-машины. В одном конце поля виднелось трехцветное венгерское знамя, в другом – австрийское императорское, двухцветное. Самые яростные схватки закипали вокруг этих знамен. Самые отважные воины стремились захватить вражеское знамя и, истекая кровью, защищая ли свое.

Венгерские и австрийские кавалеристы сгучились в такую плотную, хотя и беспорядочную массу, что напоминали собою огромный

муравейник, внутри которого все кишело, перемещаясь взад и вперед.

Эх! Случись тут, при подобных обстоятельствах, царский полководец, он бы уж знал, что ему надо делать! Навел бы все свои шестьдесят девять орудий и смел напроочь и тех и других.

А между тем солнце зашло за синие будайские горы, рассыпая оттуда по апрельскому весеннему небу золотистые снопы лучей.

Закат позолотил распустившиеся почки деревьев, между которыми скользили солнечные лучи, и только что зацветшие кизил и явор. Золотистым туманом казалась поднятая всадниками пыль, золотыми изваяниями – по» крытые потом лица героев.

А воины все продолжали биться. И дрались они с таким ожесточением, будто считали, что солнце не смеет закатиться до тех пор, пока не станет ясно, кто же вышел победителем.

Каждая рука напрягалась до предела, каждый удар наносился с такой силой, словно именно от него зависели судьбы страны и эпохи, торжество идей. То была смертельная схватка двух великанов, и каждая капля крови, казалось, дышала, творила чудеса храбрости.

Страшные свидетельства ожесточенной битвы были разбросаны на поле боя. Каски, рассеченные пополам, стальные панцири, пробитые насквозь одним ударом. А главное, люди – истекавшие кровью, покрытые десятками ран, герои, которых еще не успела покинуть жизнь.

Висевшая в воздухе пыль раскалилась от ярости сражавшихся. Среди этой залитой солнцем пыли, в светящемся тумане, рожденном гневным людским дыханием, два офицера, два врага, приметили друг друга. Каждый на голову возвышался над окружающими. Один был Рихард Барадлаи, другой – Отто Палвиц.

И сразу одна мысль пронзила обоих. Не мысль даже, а молния, рожденная от столкновения двух грозowych туч.

Прорываясь сквозь ряды бойцов, они устремились друг к другу. И воины расступались перед ними с такой готовностью, словно считали: «Это – суд божий! Мечам двух витязей суждено решить, кому должна принадлежать победа. Пусть они и решат это, один на один!»

Те, что стояли вблизи, отходили в сторону, освобождая дорогу, чтобы всадники могли съехаться друг с другом.

И наконец они встретились!

В их жилах пламенело все, что придает жар мужскому сердцу: жажда славы, гордость дворянина, неистребимая память об оскорблениях, жгучая ненависть к врагу и пылкая любовь к родине. Чувства эти все возрастали в буре сражения, в опьянении боя, в экстазе кровопролития и достигли

исполинской силы.

Их сабли скрестились.

Ни один не думал о том, как отразить удар, каждый думал лишь о том, как поразить врага!

Ударили они одновременно, в полную мощь руки, со всей силой гнева.

Поднявшись в стремях, высоко вскинув клинок, каждый обрушил его на противника.

Оба целили прямо в голову. Две сабли сверкнули, как две скрестившиеся молнии, и оба всадника разом свалились с седла.

Удар, нанесенный Рихарду Барадлаи, был так сокрушителен, что не видать бы ему больше восхода солнца, если бы тело его не было столь неуязвимым, как тела тех героев «Илиады» и «Нибелунгов»,^[80] которых матери купали в волшебных источниках.

Но, быть может, и наш, не знающий мифов век, тоже имеет свои волшебные средства, при помощи которых матери делают неуязвимыми тела своих сыновей! Быть может, неустанная материнская мольба за сына парализует палаш, способный разрубить железо и сталь, делает его бессильным!

Сабля Отто Палвица рассекла стальной обруч кивера Барадлаи. Но, как это нередко случается, клинок ударил по голове Рихарда не острием, а плашмя.

Страшный удар, правда, оглушил гусара; он пошатнулся и вылетел из седла; но ранен не был.

Зато удар, который он сам обрушил на противника, можно уподобить упавшей с неба молнии. Сабля разрубила шлем Палвица и глубоко рассекла череп до самого виска.

Когда доблестные офицеры одновременно свалились с коней, вокруг них завязалась ожесточенная схватка. Солдаты пытались спасти своих павших предводителей.

Пал, отважный ординарец Рихарда, всюду неотступно следовавший за ним, мгновенно прыгнул с коня и прикрыл собой тело своего командира. Кони тут же затоптали старика насмерть. Зато он спас своего любимого господина. Бедняга был так прост! Он был не более примечателен, чем тот полковой горнист, на память о котором осталась лишь его труба. Но у него было верное и доброе сердце – и он пожертвовал им ради спасения своего любимца. Он умер вместо него.

В эту минуту грохнули орудия со стороны леса. Что же произошло?... Королевский лес содрогнулся от громких криков: «Да здравствует родина!»

Это подошел резервный корпус венгерской армии и развернул свои

части к бою.

Его батареи открыли огонь, батальоны гонведов вы били противника из Королевского леса. Судьба сражения была решена.

Горнисты в австрийском стане затрубили отбой. Строй бившихся кавалеристов разомкнулся. Подбирать с поля боя убитых и раненых пришлось венгерским войскам. Подобрали они и Отто Палвица. Он был еще жив.

Солнце уже закатилось. Но долгий день битвы не закончился с наступлением тьмы.

Ночь была озарена пламенем горящей деревни, и тот, кто хотел назвать себя победителем, должен был овладеть ею.

Значит, нужно примкнуть штыки и устремиться вперед! Прямо в бушующее пламя!

Бой длился уже восемь часов, но никто не помышлял об отдыхе.

Изнуренные войска поднялись в новую атаку, Вечерний ветер развевал знамена. Загремело громкое «ура», и солдаты, вырвавшись из темной чащи, устремились с ружьями наперевес в самую середину пожарища. Несколько часов продолжалось сражение на охваченных пламенем улицах. В черной лесной глубине вспышки ружейной стрельбы освещали ночь.

А венгерские солдаты все продолжали рваться вперед. Вот они взобрались на ишасегские высоты, вытеснили, сбросили оттуда противника, и, когда поднялась из-за горизонта луна, ее сияние заиграло на победно развевавшихся над окрестными холмами трехцветных венгерских знаменах.

Но в чаще Королевского леса ожесточенная битва не прекращалась.

Было просто невыносимо разнять дерущихся. Все новые и новые отряды набрасывались в лесном мраке друг на друга, не желая признать, что сражению пришел конец. Казалось, они бились только для того, чтобы сражаться. Они уже не подчинялись ни сигналу отбоя, ни команде, упрямо разыскивали врага и, столкнувшись с ним, продолжали кровавый бой.

Только поздняя ночь заставила их наконец разойтись.

На холмах, за рекой Ракоши, ночную тишину прорезали торжествующие возгласы победителей. Вдалеке, со стороны возвышенностей под Гёдёллэ, раздавался скорбный призыв отступавшего противника. Лесная чаща была наполнена жуткими жалобными стонами и вздохами смертельно раненных воинов. А на лугу возле мельницы, вокруг полевых костров уже звучали скрипки цыган-музыкантов – гусары и гонведы лихо отплясывали венгерские танцы!

И только вдоль луговых канав струились бесчисленные ручейки, от

которых алели воды Ракоша.

Вот что произошло в тот день в Королевском лесу.

Завещание умирающего врага

Было уже темно, когда Рихард Барадлаи очнулся от глубокого забытья. Сначала ему показалось, что на его голову давит какая-то огромная плотная масса. Но, когда он пошевелил рукой, его удивило, что вокруг него – пустота.

Убедившись, что он не лишился дара речи, Рихард громко крикнул:
– Ого-го!..

Словно в ответ отворилась боковая дверь, и сквозь нее проник луч света.

И тут Рихард сообразил, что голова у него в полном порядке и что он может восстановить в памяти происшедшее. Свет падал от гусарского фонаря, а фонарь этот держала чья-то длинная рука. У обладателя этой руки было продолговатое лицо, его звали Маусман.

Рихарду все еще чудилось, будто он лежит на поверхности солнца и голова его весит по меньшей мере тысячу триста центнеров. Вот почему, чтобы встать на ноги с земли, вернее с солнца, ему требуется обладать энергией по меньшей мере в четыреста лошадиных сил.

– А! Проснулся наконец? – весело спросил Маусман.

– Так я, оказывается, жив?

– Цел и невредим. Даже ноготка не лишился. Только погостил малость на том свете!.

– А где я?

– На ракошской мельнице.

– Так, значит, мы победили? – воскликнул Рихард и мгновенно припомнил все.

– Совершенно верно. Ишасег наш. Войска бана-воеводы откатились до самого Гёдёллэ. Победа полная.

Рихарду больше уже не казалось, что голова у него налита свинцом. Можно, пожалуй, подняться со своего ложа и без помощи парового двигателя.

– Вставай, вставай! Становись на ноги, – подбадривал его Маусман – Ты совершенно здоров. Правда, на голове у тебя шишка с кулак да ссадина дюйма в три, но это пустяки.

– Ты что, медик?

– А как же, – с гордым видом ответил Маусман. – Доктор медицины и магистр хирургии, который взял тебя под свое наблюдение. А так как ты

совершенно здоров, если не считать вышеназванной шишки и ссадины – ведь сабля огрела тебя плашмя, – то постараюсь распустить слух, что вылечил тебя именно я!

Рихард пощупал голову. Действительно, под пластырем вздулась здоровенная опухоль, но он даже не обратил на нее внимания:

– Послезавтра от нее не останется и следа. Не стоит тебе дольше со мной возиться, займись-ка лучше другими ранеными. Я обойдусь холодными примочками, а с таким нехитрым делом справится и господин Пал.

– Господин Пал? – переспросил Маусман, вытаращив свои и без того выпуклые глаза.

– Разве его здесь нет?

– Нет. Он лежит под мельничным навесом. Почивает... И будет почивать вечно».

– Убит?

– Ведь бедняга побывал вместе с тобой в тех местах, где умирали на каждом шагу. Когда ты вылетел из седла, добрый малый– прикрыл тебя своим телом; чтобы кони не растоптали тебя. А вышло так, что они растоптали его самого.

– Никак нельзя было его спасти?

– Ему досталось так, что с избытком хватило бы на троих.

– Проводи меня к нему!

– погоди, давай прежде перевяжем голову. Вот так! До чего тебе к лицу эта круговая белая повязка, ты в ней напоминаешь древнего друида. Обопрись на мою руку, у тебя может закружиться голова после такой встряски.

Маусман взял фонарь и повел Рихарда к навесу.

Там лежали солдаты, павшие в сражении у мельницы.

Рихард сразу же увидел своего верного слугу.

Лицо старого воина сохраняло свое обычное спокойное выражение; должно быть, он встретил смерть как нечто вполне естественное. Молодцевато закрученные усы и теперь еще топорщились, как спирали Архимеда. На теле не было заметно ни одной раны.

Рихард опустил перед ним на колени, взял в свои ладони руку старого гусара и принялся его ласково будить:

– Пал, мой славный витязь! Верный старый друг! Очнись, ведь ты только спишь, не притворяйся же мертвым! Слышишь, тебя зовет твой командир! Твой давнишний хозяин обращается к тебе! Почему ты не отвечаешь?

– Причина у него для этого достаточно веская, – промолвил Маусман. – Череп со стороны затылка совершенно раздроблен ударом копыта.

Рихард плакал как ребенок над погибшим старым слугой. Ведь Пал был так ему верен, его привязанность превосходила обычную человеческую привязанность: так могло быть преданно лишь существо, в чьей душе поселился ангел.

– Похорони его в отдельной могиле, – попросил Рихард своего друга. – Чтобы я мог разыскать ее, когда вернусь.

– Завтра ты сможешь присутствовать при погребении павших героев. Убитых врагов мы тоже решили похоронить.

– Кстати... Что с Отто Палвицем?

– Ты жестоко с ним расправился. Он тоже лежит здесь, в доме мельника. Его пользует сам майор медицинской службы. Штабной врач полагает, что Палвиц непременно умрет от полученной раны.

Как раз в эту минуту из дверей вышел штабной врач и, узнав Рихарда, тут же подошел к нему.

– Вы счастливо отделались. А ваш противник дышит на ладан. Сейчас он еще в сознании, но через несколько часов наступит горячка. Гангрена неизбежна.

– Нет надежды на его спасение? – спросил Рихард.

– Никакой. Он уже и сам приготовился к смерти. Едва я вошел к нему, он спросил: «Что с Барадлаи?» Когда я сказал, что вы вне опасности, только оглушены ударом сабли, он попросил, чтобы вы зашли к нему. Он вам хочет что-то сообщить.

– Если таково его желание, я согласен. Впрочем, долг чести обязывает навестить раненого противника. Пошли!

В одной из комнат дома мельника лежал Отто Палвиц. Завидев вошедшего Рихарда, он с усилием поднялся на локте и попросил подложить ему под голову подушку, чтобы он мог сидеть прямо. Потом протянул руку прибывшему.

– Добрый вечер, старина! Как себя чувствуешь? – спросил умирающий своего недавнего противника. – Пустяки, говоришь?... А мне – конец. Но ты не печалься. Доконал меня не твой удар. Нет, голова у меня крепкая, она уже многое вынесла. Но меня сильно потоптали неразумные кони, что-то оборвалось внутри. От этого я и погибну. Не горюй, не ты меня убил. Мы разошлись друг друга по голове, и теперь квиты. Я покончил все свои счета на земле. Остался за мной только один большой долг...

Тут он глубоко вздохнул и смолк, как бы собираясь с силами.

– Попроси этих господ оставить нас на несколько минут вдвоем. Они и так сделали все что могли. Я больше ни в чем не нуждаюсь.

Врач еще раз напомнил Палвицу, что он должен вести себя спокойно, не двигаться, иначе лопнут наложенные на рану швы. Отто Палвиц отвечал, что не пройдет и дня, как он окончательно успокоится.

Едва они остались одни, Палвиц торопливо схватил руку Рихарда и глубоко растроганным голосом произнес:

– Вот что, дружище! У меня есть сын; завтра он станет сиротой.

При этом признании лицо умирающего покрылось багровым румянцем.

– Я все тебе расскажу. Времени у меня в обрез. Я скоро умру и тайну свою могу доверить лишь благородному человеку, который все поймет и сохранит ее. Я был твоим врагом. Но теперь – в ладу со всеми. Даже с червями. Ты – жив и победил. Твой долг принять завещание своего противника.

– Я принимаю его, – сказал Рихард.

– Ни минуты в этом не сомневался. Потому-то и пригласил тебя. Итак, слушай, что я хочу доверить твоим заботам. У меня есть сын. Я его никогда не видел и уже никогда не увижу. Мать его – знатная дама. Кто она, ты узнаешь из документов, которые найдешь в моем бумажнике. Некая красивая дама без сердца. Я познакомился с нею, будучи молодым лейтенантом. Оба мы проявили легкомыслие. Мой отец, он был тогда еще жив, запретил мне вступать в брак, который должен был исправить последствия неосмотрительного поведения забывшейся женщины. Ну, теперь это все равно... Только не следовало ей все же вырывать кусок сердца и швырять его на улицу. Девушка эта, моя жена перед богом и природой, уехала со своей матерью путешествовать. А когда вернулась, снова стала считаться девицей. Мне удалось узнать, что несчастный ребенок, умноживший число лишних существ на этом свете, оказался мальчиком. Но куда он девался, где именно бросили его в чужих краях, было мне неизвестно. Тем временем я добился повышения по службе, а после смерти отца – освободился от его опеки. Клянусь богом, если бы эта женщина призналась, где мой сын, я б немедленно женился на ней. Она осаждала меня письмами, настойчиво торопила нашу встречу, давала различные клятвы. Но я отвечал только одно: «Найдите моего сына». Я был суров с ней. Она могла бы выйти за другого, женихов нашлось бы немало. «Я запрещаю тебе выходить замуж!» – писал я. «Тогда женись на мне сам». – «Найди прежде моего ребенка». Я мучил ее. Но сердце этой женщины было неспособно глубоко чувствовать. Она упорно твердила, что

не знает, куда девался ребенок: ведь она так в свое время старалась замести следы тех крошечных ножек, чтобы ни она сама, ни кто другой не могли их обнаружить.

Но я все же нашел своего сына. Потратил на поиски годы! С трудом находил его следы. В одном месте наткнулся на церковную метрическую запись, в другом – набрел на няню, в третьем – на маленький чепчик, а там встретил и живого свидетеля. Поиски продолжались, пока не был обнаружен последний след. И вот теперь мне приходится остановиться!

Душу мужественного воина терзала нестерпимая боль. Под суровой внешностью этого человека билось отзывчивое сердце. Рихард слушал его рассказ, стараясь запомнить каждое слово.

– Дружище, – проговорил умирающий, – обещаю тебе, что ты дойдешь туда, куда мне уже не добраться.

Рихард протянул своему раненому противнику руку, и тот ее больше не выпускал.

– В бумажнике ты найдешь нужные документы. Они послужат тебе указанием, где надо искать людей, которые поведут тебя дальше. В конце концов мальчик был отдан какой-то пештской торговке, о чем я узнал от одного ветошника. Я не застал эту женщину в Пеште, она переехала в Дебрецен. Кажется, что-то поставляла вашему правительству. В Дебрецен я попасть не мог. Зато я узнал, что эта женщина успела передать ребенка кому-то еще, сдала на руки какой-то кормилице. Спрашивается, кому? Об этом известно только ей одной. Но ее служанка сказала, что деревенская кормилица, которая зарабатывает таким образом себе на пропитание, частенько навещается к ее хозяйке и жалуется, что отпускаемая на содержание мальчика сумма слишком мала, ребенок оборван и голодает.

При утихих словах пальцы умирающего судорожно сжали руку Рихарда.

– Так и говорит: «Ребенок оборван и голодает!» А ведь мальчик очень красив: кормилица несколько раз привозила его к торговке – в доказательство того, что он еще жив.

Глаза Отто Палвица наполнились слезами.

– Чтобы наверняка опознать ребенка, торговка каждый раз осматривала ему грудь: на ней есть родинка, вроде ягоды ежевики. На шее у мальчика висит шнурок, на нем – половина разломанной медной монеты. Вторая половина у матери. Если только она не выбросила ее... Ребенок оборван и голодает! Ему уже три года. Служанка торговки из жалости дает ему кусок черного хлеба, ее хозяйка из милосердия выплачивает ничтожную сумму на его содержание, кормилица из сострадания содержит его, – и все потому, что мать его бросила... Ратный мой товарищ, меня и

под землей будет преследовать плач моего сына!

– Будь спокоен, ему не придется больше плакать.

– Правда? Ты разыщешь его? Деньги, которые ты найдешь в моем кошельке, помести в надежное место. Их должно хватить до тех пор, пока мальчик не вырастет и не сможет сам зарабатывать себе на хлеб. Позаботься, чтобы ему не пришлось умереть с голоду.

– Я отыщу его и возьму на свое попечение.

– Среди моих бумаг ты найдешь свидетельство, предоставляющее ему право носить мое имя. Но пусть он никогда не знает, кем я был на самом деле. Для него – я просто бедный солдат. Обучи его какому-нибудь честному ремеслу, Рихард.

– Будь спокоен, Отто. Обещаю тебе заботиться о нем, так как если бы он был сыном моего родного брата.

На лице Палвица появилось подобие улыбки.

– Ты обещал. И сдержишь свое слово. В таком случае мне уже нечего больше делать на этом свете. Ах, как приятно горит голова...

Неожиданно он запел. Это начался приступ горячки. Она вызывала у него бред, заставляла иступленно распевать модные куплеты и арии из опер. Когда лихорадка на минуту отпустила его, Палвиц снова заговорил разумно:

– Вот видишь, наступает такой момент, когда само страдание начинает казаться приятным.

Рихарду было мучительно смотреть на агонию человека, павшего от его руки. Но оставить его он не мог – Палвиц судорожно держал его руку, и, когда Рихард пытался ее освободить, пальцы умирающего сжимались, как железные тиски, и он с жуткой усмешкой произносил:

– Ага, тебе хотелось бы сейчас улизнуть отсюда? Это зрелище тебе не по душе? Не так ли, дружище? Нет, раз уж ты меня погубил, терпи до конца, смотри, как я умираю! Запоминай – на случай, если тебе тоже придется, как и мне, корчиться и с перекошенным лицом стонать и скрежетать зубами».

Потом он снова запел, да так, что страшно было слушать.

Мучительная лихорадка иногда на минуту оставляла его. В такие мгновенья он тихо говорил:

– У бедняжки на ногах рваные башмачки!

И грудь его снова судорожно вздымалась.

Внезапно он как-то странно притих. Брови опустились, нависли над глазами, лицо перестало подергиваться. Казалось, он пришел в полное сознание и тихим, спокойным голосом обратился к Рихарду:

– Но... помни... тайна, которую я тебе доверил, это – тайна женщины... Поклянись, что ты никогда не выдашь ее. Даже сыну не откроешь имени его матери. Скверная она женщина, но ее тайну я унесу с собой в могилу.

– Клянусь честью.

При этих словах рука, сжимавшая запястье гусара, сжалась еще сильнее. Бледное лицо со сдвинутыми бровями стало необычайно серьезным. Неподвижный взгляд был в упор устремлен на Рихарда. И это продолжалось очень долго. Наконец Рихард понял, что тот, кому он в ответ так же пристально смотрит в глаза и пожимает руку, уже мертв.

Врачам пришлось силой отрывать от запястья Рихарда окоченевшие пальцы его мертвого противника.

Солнечное сияние и лунный свет

Идиллия – в самом разгаре битвы.

Хорошо, что земля не похожа на ту гладкую, ровную и плоскую планету, какой ее изображал на своей географической карте Геродот. Хорошо, что деревья и земля округлы. Как хорошо, что на земле есть места, откуда на горизонте не увидишь дыма охваченных пожаром деревень. Дым пожарищ скрывает выпуклая, дугообразная форма земной поверхности, и только поэтому в те времена на земле еще встречались безмятежно счастливые люди.

Если бы земля была такой плоской, как ее представлял себе Геродот, то, бросив взгляд с Кёрёшского острова на юг, можно было бы увидеть, как горят Старый Арад и Уйвидек, как взлетает на воздух Сент-Тамаш, как занимается пламя в Темешваре. На западе можно было бы различить дымящиеся уже несколько дней развалины Абрудбанья. На востоке взору открылся бы пылающий Будапешт. А на севере глаз поразили бы тысячи костров, разведенных постами сторожевого охранения и свидетельствующих о близости военного лагеря. И по всей плоской необъятной поверхности земли прокатывался бы грохот орудий: австрийская артиллерия обстреливала Арад, Темешвар, Петерварад, Дюлафехервар, Комаром, Буду, Тител, а венгерская артиллерия вела ответный огонь. Стоял несмолкаемый гул непрерывной канонады, который казался еще громче, ибо его многократно повторяло эхо.

Но здесь ничего этого не видно и не слышно, шум боя сюда не доходит, все осталось за горизонтом.

Тополи на Кёрёшском острове в полном цвету, стоит чудесная майская погода. После благодатного, теплого дождя пышная зеленая трава вся в желтых и голубых пятнах от ярких полевых цветов. Из-за деревьев доносится звон косы: уже начался покос.

Весь Кёрёшский остров – это уединенный маленький земной рай, усадьба склонного к поэзии барина, настоящий заповедник, где деревья никогда не касается топор. Их единственное назначение – покрываться листвой, давать тень, служить приютом для птиц. Если даже попадается какое-нибудь дерево-калека с надломленным стволом и скрюченными ветвями, его никто не трогает. Оно уже в отставке, ему дозволено прекратить цветенье. А когда оно засохнет и истлеет, то покроется побегами вьющегося вокруг него дикого хмеля, вечнозеленым плющом.

Старое дерево не жгут.

Древесный кров – это истинный птичий храм. У каждого куста свой обитатель. Перелетные скворцы и соловьи, вновь находя по возвращении оставленные ими осенью гнезда, пеньем и свистом возвещают, что наступила пора тепла, пора любви.

На этом острове никогда не слышно выстрелов.

Там даже вредные насекомые не докучают ни людям, ни деревьям. Все вокруг служит друг другу: люди охраняют деревья и их пернатых обитателей, деревья оберегают людей и птиц от бури и палящего солнца, а птицы защищают деревья и людей от их общих врагов, насекомых. Да, жизнь там устроена мудро!

Остров окружен со всех сторон старой левадой. Вербы, наклонившие густую листву до самой воды, надежно укрывают его от постороннего взора.

Но в одном месте, где перекинут мостик, плотная стена леса расступается. Деревья, наклонив друг к другу кроны, позволяют, как сквозь зеленую арку, заглянуть внутрь острова.

И глазам открывается поистине райский пейзаж.

В безоблачной дали виден освещенный солнцем особняк, построенный в стиле шотландского замка. С северной стороны вся стена до самой крыши увита темно-зеленым плющом, а восточный фасад словно пылает от миллиона алых вьющихся роз, которые сейчас переживают пору буйного цветения. На южной стороне, возле самого особняка, возносит к небу свою листву огромная старая липа; она в два раза выше дома, на белой мраморной террасе которого, распустив до земли свой длинный золотистый хвост, гордо восседает сейчас царственный павлин.

Перед особняком раскинулся обширный пруд. В его лазурном зеркале отражается чарующая картина: белые мраморные парапеты, огненно-красный фасад здания, обвитая темно-зеленым плющом стена, три белоснежных лебедя, которые, распластав крылья, медленно плывут по этой зеркальной глади, оставляя за собой серебристый след.

На берегу пруда нежится в прохладе целое стадо оленей. Молоденькая лань цедит сквозь зубы воду и, видно, любитесь своим изящным отражением в водяном зеркале. Старый вожак стоит неподвижно, запрокинув голову с огромными рогами. Животные до того ручные, что даже не шелохнутся, когда к ним кто-нибудь приближается.

Между пышными газонами к дверям особняка бежит усыпанная галькой дорожка. Дверь ведет на сводчатую веранду. Пронизанные солнечными лучами цветные круглые стекла в готических стрельчатых

окнах бросают пестрые пятна на двухцветные мраморные шашки пола. Одна половина веранды задрапирована тяжелыми гардинами из зеленой камки, они создают тень в утренние часы.

В затененной части веранды подвешена белая колыбель, в ней спит младенец. Щечки у него такие пухлые, что закрывают ротик. Поэтому ребенок во время сна вынужден держать его открытым.

На край колыбельки уселся маленький жаворонок и насвистывает марш Ракоци. До чего смешно и трогательно! Самый воодушевляющий марш в мире, марш, полный боевой тревоги – в исполнении нежнейшего, сладчайшего певца – жаворонка! А случись какой-нибудь назойливой мухе сесть на раздумянившееся личико спящего ребенка: кшш! – и вспорхнувшая птица с такой ловкостью и быстротой проглатывает дерзкую, словно ее никогда и не было! Затем птичка снова занимает свой пост и продолжает выводить похожим на нежную флейту или звук колокольчика голоском: «Смело в бой! Зовет нас свобода!» – пока не появится еще одна муха.

Мать младенца сидит в ногах колыбели в плетеном тростниковом кресле. Ее мечтательный взгляд устремлен куда-то вдаль. На ней обшитый белыми кружевами капот, перехваченный в талии широкой голубой лентой. Волосы небрежно рассыпались по плечам и груди, вперемешку с распустившимися шелковыми завязками кружевного чепчика.

Напротив женщины сидит за мольбертом молодой человек и пишет маслом ее портрет.

В противоположном конце веранды возится с огромным ньюфаундлендом трехлетний мальчуган. Он хочет во что бы то ни стало заставить, добродушного пса служить себе лошадкой.

Женщина и двое детей – это семья Эдена Барадлаи, а юноша – его младший брат Енё Барадлаи.

Молодая женщина, пожалуй, могла бы дойти до умоисступления, не будь рядом с нею Енё.

Вечно, неотступно думать о том, что муж ее ходит рядом со смертью, не иметь о нем неделями никаких вестей. И при этом мысленно рисовать себе грозящие ему на каждом шагу опасности!

Да, великое счастье, что с нею Енё. Он, как никто, умеет успокаивать ее, на любой ее тревожный вопрос у него всегда готов ответ. Он способен даже читать ее не высказанные вслух мысли. Время от времени Енё уезжает в соседний город и привозит оттуда хорошие новости. Только вот достоверны ли они?

Енё недоволен портретом. А ведь он пишет его с таким старанием. У

него незаурядный дар художника. Он непременно поедет в Рим и выучится там искусству живописи. Родные одобряют его планы.

Но портрет невестки ему никак не удастся. Чего-то в нем не хватает. Все черты схвачены как будто верно, а в целом сходства не получилось.

– Бела, племянничек, поди-ка сюда!

Мальчик оставляет собаку и подходит к Енё.

– Взгляни, Белушка, на эту картину и скажи, кто здесь нарисован?

Мальчик пристально уставился большими голубыми глазами на портрет:

– Какая-то красивая тетя.

– Разве ты не узнаешь свою маму?

– Мама совсем не такая.

И мальчик снова возвращается к собаке.

Аранка пытается утешить Енё:

– Портрет хорош. Он прекрасно написан.

– А я знаю, что плохо. И в этом – твоя вина. Когда ты мне позируешь, то думаешь только об одном: какой еще опасности подвергается сейчас Эден! А я не хочу, чтобы это выражение было запечатлено на портрете. Мы ведь собираемся преподнести Эдену сюрприз. Нельзя же тебе выглядеть на этом портрете печальной и озабоченной.

– Но как я могу быть иной?

– Ведь ты знаешь, что с Эденом не случилось никакой беды. А в дальнейшем и подавно ничего не случится. Они победят.

– Это говоришь ты.

– А разве ты мне не веришь?

– Но откуда это тебе известно?

– От матери.

– А матушка откуда знает?

– Ей сообщает Эден.

– Но почему он не пишет мне?

– Уж не собираешься ли ты ревновать его к матушке?

– О, что ты говоришь! Но если бы ты хоть разок показал мне какое-нибудь его письмо...

На сей раз Енё поставлен в тупик.

Помилуй, да что это тебе даст? Ты думаешь, письма, пересылаемые через вражескую территорию, пишутся так, чтобы их мог прочесть всякий кому захочется? Нет, они составляются по условной азбуке.

– Хорошо, допустим. Но если я даже и не смогу разобрать эту тайнопись, я хотя бы посмотрю на дорогой почерк. Жестоко с вашей

стороны даже не показывать мне его письма, раз уж мне не дано понять их смысл.

Эти слова привели Енё в полное замешательство.

– Ха-ха-ха! – рассмеялся он. – Ты, верно, думаешь, что тайнопись состоит из обычных букв и по ним можно узнать почерк? погоди, я сейчас тебя познакомлю с нашей условной азбукой, при помощи которой мы переписываемся между собой, когда держим что-то в секрете. Вся она состоит из прямых черточек в различных сочетаниях.

И он изобразил на обрывке бумаги эту условную азбуку:

I—LГJ7T±VΛ<>=||—+□Г7L+
a b c d e f g h i k l m e o p r s t u z j v

– Кроме того, не воображай, что все это принято изображать на бумаге. Ни в коем случае. Слова, которые мы хотим сообщить друг другу, мы вышиваем крестом на носовом платке. Любой может взять его в руки, но что он там поймет? А знающий секрет с помощью лупы легко прочтает на белом платочке нужное сообщение. Вот и суди, как смогла бы ты по этим прямым палочкам узнать почерк Эдена?

Слова Енё несказанно обрадовали Аранку.

– О, я, не откладывая ни на минуту, начну изучать эту азбуку. И стану потом переписываться с Эденом. Постой-ка!..

Схватив карандаш, она на клочке бумаги тут же принялась составлять сочетания из условных букв.

– Взгляни, сумеешь ты это прочесть?

Енё без труда разобрал придуманный им самим шифр:

– «Дорогой Эден, я люблю тебя».

Убедившись, что Енё разгадал написанное, Аранка расцвела улыбкой. Но ее юное лицо просияло лишь на миг и снова сделалось печальным. То была мимолетная улыбка погруженного в гипнотический сон человека, которому кажется, что он видит кого-то из близких, с кем давно разлучен. Загоревшиеся глаза Аранки все так же были устремлены к горизонту.

Енё отложил в сторону кисть и подумал:

«Нет, эту улыбку я запечатлевать на холсте не стану!»

Но ему по крайней мере удалось заинтересовать молодую женщину своей тайной азбукой, немного отвлечь от горестных мыслей, и она хоть ненадолго перестанет терзаться тревожными мыслями:

«Какие вести от Эдена?»

«Когда он к нам вернется?»

«Что пишут газеты? Ведь опять происходило сражение? Участвовал ли в нем Эден?»

«Не ранен ли он? Не взяли ли его в плен?»

«Отчего не видно нашей матушки?»

«Почему мы не едем туда, где могли бы оказаться ближе к Эдену?»

«Где отец, которого я не видела уже много месяцев?»

На все эти вопросы Енё приходилось придумывать тысячи самых разнообразных ответов: что, мол, весточку с той стороны Тисы получить трудно; что Эден даже близко не подходит к зоне огня; что в скором времени он вернется домой; а газеты нельзя получить потому, что не развостится почта; те же из них, которые все же доходят, доставляются из Дебрецена и в них нет никаких сообщений, кроме как о дебатах в Государственном собрании да о событиях в Калифорнии; что на матушку свалились все заботы по хозяйству, и у нее нет времени сюда приехать.

Сколько ему приходилось прилагать усилий, чтобы убедить во всем этом невестку! Надо было неотступно следить за почтой из Дебрецена, чтобы Аранка не узнала случайно из того или иного письма о какой-нибудь беде.

Как старательно скрывал от нее Енё свою собственную печаль, когда получил весть о ранении Рихарда! И каждый день он с улыбкой рассказывал ей о будто бы одержанных победах, в то время как в его сердце царил беспросветный мрак: мрак неверия и отчаяния.

Все то страшное, что Аранке только еще мерещилось, ему уже было известно. И тем не менее он продолжал подбадривать невестку, уверять ее, что все будет хорошо.

Енё знает, что вся страна охвачена пламенем пожарищ. Он слышит тяжелую поступь приближающегося скопища врагов. Он понимает, чем все это кончится! А маленький жаворонок по-прежнему поет марш Ракоци.

Внезапно еще один голосок привлекает к себе внимание. Пухленькие ручонки начинают шевелиться в колыбельке. Пальчики то растопыриваются, то снова сжимаются. Темно-голубые глазки, едва выглянув из-под длинных ресниц, тут же мгновенно закрываются, жмурясь от яркого света. Зато раскрываются алые, как черешни, губки, и с них срываются звуки, напоминающие те, какими славословят господа его серафимы. Эти звуки одинаковы у детей всех народов. Их нельзя начертать буквами, невозможно уложить в слоги. Но как он выразителен, этот голос ребенка, зовущего мать!

И мать отлично понимает его. Она стремительно подбегает к колыбели, вынимает вместе с подушечкой крохотного человечка. Уголки

рта у ребенка опускаются, будто он собирается заплакать. Мать целует его в губки, и уголки их сразу поднимаются. Ребенок смеется.

Теперь они смеются оба. Находят в глазах друг друга нечто такое, что служит для них источником истинного блаженства.

Мать уже ничего не видит, кроме улыбающегося детского личика.

Она садится и кладет дитя к себе на колени. Одну руку подсовывает ему под головку. Потом расстегивает батистовый лифчик и, обнажив грудь, кормит ребенка. Зрелище, достойное солнца, человека и бога! Им можно залюбоваться.

Этот образ – грудь матери возле уст младенца – по своей красоте, величавости и прелести можно сравнить с чистым небом, озаренным восходящим солнцем, с разлившейся по небосклону утренней зарей.

Енё схватил кисть и принялся писать.

Вон он, истинный лик женщины! Теперь ее легко будет узнать.

Безмолвного блаженства матери ничуть не нарушало то, что кисть художника украдкой запечатлевала ее черты.

Да и зачем ей смущаться перед ним? Ведь он – брат! И чего стыдиться? Ведь она же мать!

А Енё, работая над портретом, смотрел то на ребенка, то на Аранку и думал про себя:

«Разве мог бы я пустить вас по миру!..»

А между тем все, что он рассказывал молодой женщине, не соответствовало действительности. Муж ее постоянно подвергался грозным опасностям. Отец не мог к ней приехать, так как был в походе. Ни свекровь, ни муж писем ей не посылали, и вся история с тайнописью – сплошная выдумка. Сама молодая женщина – узница, заключенная на этом острове, деверь Енё – ее тюремщик, и он неустанно следит, чтобы она не покидала острова и никто к ней не мог приблизиться.

Должно быть, за нее тревожатся?

Да, так оно и есть. Ее тщательно оберегают от смертельного врага, которого тем летом опасались многие тысячи мужей, ушедшие в поход и оставившие дома жен и детей: то была холера!

За пределами острова всюду свирепствовала эпидемия холеры.

Поздняя ночь.

Свет луны струится в окна немешдомбского замка. Когда ее причудливое сияние озаряет висящие на стенах фамильные портреты в натуральную величину, изображенные на них люди кажутся бесчисленными призраками Макбета, которые то появляются, то вновь

исчезают, лишь только лунный луч скользнет в сторону. Самым грозным выглядит здесь большой портрет человека с каменным сердцем.

Глаза с портретов устремлены на расхаживающую по залу женщину в белой одежде. Она кажется мраморной статуей, которая сошла со своего пьедестала, чтобы доказать всем этим призракам, что она еще существует на свете.

Время от времени царящую вокруг тишину нарушает горестный вздох, доносящийся неведомо откуда и слышный по всему замку. Это – стон, сопровождаемый зубовным скрежетом, мучительный вскрик, вырвавшийся сквозь сжатые губы и вновь замерший на устах, приглушенное рыдание, неясная жалоба, внезапный вопль человека, силящегося в бреду освободиться от страшного кошмара, хрип, наводящий ужас...

Что за жуткие голоса поднимаются оттуда, снизу?

В те дни замок Барадлаи превратился в настоящий лазарет, открытый владелицей для раненых борцов за свободу. Сначала она разместила лазарет в комнатах нижнего этажа. Когда они оказались переполненными, отвела под лазарет и часть верхнего этажа. А раненых становилось все больше, и она превратила в палаты и парадные залы. Под конец остались незанятыми только ее личные покои – все другие помещения были битком набиты ранеными.

Это они в ночной тишине вздыхали, стонали, кричали такими жуткими голосами. Нередко то были стоны умирающих.

Госпожа Барадлаи пригласила двух врачей; библиотечный зал был превращен в аптеку, а гербовый зал – в операционную.

Сама хозяйка, вместе с женской прислугой, целый день приготавливала бинты и корпию.

А ночью она прислушивалась к этим крикам – свидетельству адских страданий, от которых содрогнулся бы даже архангел. Решаясь открыть у себя в замке лазарет для раненых воинов, она хорошо знала, что делает.

Прежде всего она позаботилась отправить жену Эдена и двух ее малышек на кёрёшскую виллу. А сыну Енё дала наказ за ними присматривать: они и подозревать не должны, что происходит в родовом замке.

А тут – что ни день, то похороны!

В каждой комнате мечутся в страшных муках тяжелораненые, которым становится легче, когда женщина с добрым лицом два-три раза в сутки обходит обитель их страданий, следит, хорошо ли за ними ухаживают, заботится об их нуждах, утешает ласковым словом, облегчает страдания своим ангельским взором.

У женщины, способной лицезреть такие страдания, сердце, должно быть, из камня! Не из простого камня, а из алмаза – ведь у алмаза есть душа.

Миссия безмерно трудная! Однако госпожа Барадлаи с ней справлялась.

Теперь это была уже не просто женщина, не знатная матрона: то была святая! Умиравшие молились на нее, выздоравливающие возносили ей хвалу. От одного прикосновения ее пальцев нестерпимая боль мучеников стихала.

Но сколько ей пришлось самой выстрадать!

Среди раненых, которыми был битком набит ее дом, внезапно вспыхнула холера.

Смерти, как видно, показалось мало обильной жатвы на поле брани, она ухватилась теперь за свою косу обеими руками и принялась размахивать ею направо и налево. Холера собирала большую дань человеческими жизнями, нежели оружие.

Последний раз в Венгрии холера бушевала в 1831 году. О ней сохранились лишь страшные воспоминания восемнадцатилетней давности. И люди теперь, как и тогда, плохо представляли себе, что это такое. Эпидемия? Мор? Заразная болезнь? А может, болезнь земли? Или недуг, вызываемый заражением воздуха? Бесовское наваждение или божья кара? Не вызывают ли ее крошечные твари, которых мы, сами того не замечая, вдыхаем, или ядовитые грибки, попадающие в желудок? Как и почему кочует она из края в край? В чем причина, что в ином городе она избирает один квартал, одну улицу, иногда даже одну ее сторону, а другую оставляет в покое? Почему один человек ходит среди сотни больных холерой и не заражается, а другому достаточно услышать весть о чьей-нибудь смерти, произнести лишь слово «холера», и он тут же заболевает и умирает?

На все эти жгучие вопросы никто не умел ответить, как и восемнадцать лет назад. Осторожность и еще раз осторожность – таков был единственный совет, который можно было получить от врачей. И счастлив тот, у кого здоровое сердце.

Письма, пересылаемые из одного края в другой, и теперь считалось необходимым окуривать дымом. Но большинство людей не переписывалось вовсе. Потому-то госпожа Барадлаи и сама никогда не посылала писем своим детям, жившим на Кёрёшском острове, и не разрешала пересылать туда письма Эдена к его жене, – холера бушевала и в армии. Потому-то она ни разу не навестила свою невестку и внучат, а им было запрещено посещать ее: дом, где жила госпожа Барадлаи, стал

обителью смерти.

Сама она не покидала замка.

...Удары маятника отсчитывают ночные часы. Полная луна глядит сквозь высокие окна, оживляя призраки в рамах. Хозяйка дома проходит по переполненному вздохами залу и, заложив руки за спину, время от времени останавливается перед самым грозным призраком.

Это – портрет человека с каменным сердцем. И она разговаривает с ним:

– Нет! Ты бессилён прогнать меня отсюда. Я не отступлю... останусь здесь... Я слышу твои упреки. Ты говоришь: «Это дело твоих рук». Не спорю. Все, что предназначено мне судьбой, я совершу. Эти стонущие солдаты не дают уснуть ни мне, ни тебе. Не правда ли?... Я привела их сюда. И я должна их слушать, ведь они взывают ко мне. Если бы молчали их уста, заговорили бы их открытые раны. Каждый раненый вопиял бы: «Я обращаюсь к премудрому господу, я не боюсь предстать перед ним...» А разве я не могу мысленно обратиться к богу? Ты уже на том свете, ты постиг грядущее, проник в тайны бытия и смотришь в глубь столетий. Зачем же ты приходишь упрекать меня? Тебе хорошо известно, что эта кровь должна была пролиться, что эти муки нужно выстрадать до конца. Ты же знаешь: тот кто хочет воскреснуть, должен прежде умереть...

Женщина проходит дальше, по озаренным лунным светом шашкам пола, и опять возвращается к портрету своего мужа.

– Тебе кажется, что я здесь одна и потому боюсь тебя? Да, вокруг меня смерть, но надо мной бог. Мы смотрим друг другу в глаза – я и смерть. Тому, кто с ужасом произносит ее имя, она представляется чудовищем, а человеку, приветствующему ее, кажется ангелом-избавителем. К тому же небо начинается не от звезд, а от стеблей травы, и наши головы всегда касаются неба. Я твердо знаю это.

Она прохаживается из конца в конец по своим покоям и снова останавливается против грозного портрета.

– Ты спрашиваешь, что я сделала с моими детьми? Совсем не то, что ты завещал. Ты твердил, что вернешься, говорил, что будешь шептать мне на ухо этот вопрос... Я его слышу. Я поступила наперекор твоему желанию. Два моих сына на поле боя, один из них уже ранен. В любой день может пробить их смертный час. Третий мой сын – живой труп, бесплотная тень. И все это сделала я! Я послала их туда, где они сейчас находятся. И не жалею об этом! Буду спокойно ждать того, что им предначертано. Моя рука повернула их судьбу. Быть может, все они погибнут... И это возможно. Но насколько лучше пасть, защищая, правое дело, чем идти с врагами родины.

Я дала им жизнь, я вскормила их своим молоком... Да, я знаю, они могут умереть, но зато их воодушевляют те же идеи, что и меня.

И она продолжает ходить по залу, прислушиваясь и вопросам, которые, как ей чудится, слетают с его уст.

Быть может, и он слышит ее слова?

Вот она опять возвращается к портрету и на этот раз говорит с нежной улыбкой:

– О, если бы ты мог взглянуть на двух чудесных малышек Эдена, когда они играют, резвятся и лопочут на коленях у матери!.. Я оберегаю их как святыню. Они укрыты в безопасном месте. Если бы ты их видел, ты не смотрел бы на меня с таким гневом. Они будут жить в более счастливое время! Все мы приносим себя в жертву ради их счастья. Тебе, должно быть, не хотелось, чтобы две эти улыбающиеся головки радовались солнцу. Но я этого хотела. Видишь? Я навлекла на наш род смертельную опасность и страдания, но зато я отвоевала у судьбы право на жизнь и на счастье. Эту жизнь, это счастье я припрятала в надежном месте, где их защитит беспредельное милосердие божье и моя, никогда не смолкающая молитва. Я не оставила их здесь, возле твоего грозного лика. Они будут жить и когда-нибудь исправят вред, причиненный тобой!..

Последние слова госпожа Барадлаи произнесла с такой силой, с какой их могла бы произнести пророчица.

Она задумалась над событиями последних месяцев, и в этих размышлениях сердце ее окрепло, она вновь обрела спокойствие.

Высоко подняв голову, она снова обратилась к портрету:

– То, что мною сделано, сделано правильно... А теперь я хочу, чтобы твой дух удалился на покой. И сама попробую уснуть.

Серебристый луч соскользнул с портрета. Лунное сияние озаряло теперь другую часть стены, и портрет погрузился во мрак.

Женщине, заставившей призрак уйти на покой, удалось забыться мирным сном.

А ведь люди, испытавшие нечто подобное, знают, что всего труднее побороть душевное волнение и заставить себя уснуть.

Мрак

В доме Планкенхорст был один из тех интимных вечеров, на которых обычно присутствовала и сестра Ремигия со своей воспитанницей.

Однако со времени дерзкого побега Эдит монахиня не решалась единолично сопровождать барышню; с нею неотлучно находилась еще одна послушница – уж вдвоем-то они как-нибудь устерегут проказницу!

Эдит услышала на этом вечере столько страшных известий об обстановке в Венгрии, что у нее должна бы пропасть всякая охота выходить замуж за Рихарда. Одни рассказывали о том, сколько раз и как именно громили венгерскую армию, и о том, что она полностью уничтожена. Другие уверяли, будто она зажата в тиски и скоро будет вынуждена сдаться. Третьи, признавая, что ей случалось иногда продвигаться вперед, заранее предвкушали ловушку, куда ее заманят, отрезав пути к отступлению. «Ни одному венгерскому солдату не удастся спастись!» – твердили все наперебой.

В этих рассказах неоднократно упоминалось имя Рихарда Барадлаи. Только благодаря своему резвому коню он дважды сумел спастись от сабли Отто Палвица. Палвиц дал обет изловить Рихарда – живым или мертвым. О чем оставалось теперь молиться Эдит? Ведь ее возлюбленный обречен – либо он погибнет на поле брани, либо будет казнен на лобном месте...

Благодаря обширным и всесторонним связям дамы Планкенхорст уже узнали, что со вчерашнего дня в Королевском лесу идет генеральное сражение.

В последней депеше князь Виндишгрец извещал, что к семи часам вечера атаки венгров отбиты на всех участках, и доблестный бан-воевода собирается нанести вражеским войскам последний, смертельный удар.

Дело действительно так и обстояло вплоть до семи часов вечера. Главнокомандующий мог спокойно отойти ко сну, битва, по его мнению, была выиграна.

Но в семь часов утра доблестный бан-воевода разбудил главнокомандующего и огорошил его сообщением, что он отступил вместе со своим корпусом, оставив поле боя за противником.

Сообщить об этом в Вену отнюдь не спешил ни тот, ни другой, и до вечера следующего дня в столице все пребывали в блаженной уверенности, что над врагом одержана полная победа.

В тот вечер, когда закончилась ишасегская битва, госпожа

Планкенхорст, ее дочь, обе монашенки и Эдит сидели за чаем. Предметом беседы было, разумеется, вчерашнее сражение. Посвященные во все дела дамы знали о нем в подробностях из бюллетеня главнокомандующего.

Четыре женщины находились в необычайно веселом Расположении духа. Только Эдит была погружена в раздумье.

После недавнего опыта сестра Ремигия не проявляет прежней безоговорочной симпатии к ликеру шартрез; она предпочитает вместо него налить себе к чаю рюмочку арака.^[81] Ей кажется, что этот напиток подействует ободряюще на ее чувствительные нервы.

Нынче она особенно словоохотлива.

Дамы беседуют друг с другом о положении на поле боя. И в этом деле лучше всех разбирается монахиня Ремигия.

Они раскладывают на столе хлебные корочки и куски сахара, которые должны изображать противостоящие друг другу войска. Корочки – венгерские полки, куски сахара – австрийские. Таким образом, все получается весьма наглядно и как нельзя более понятно. Допустим, вон тот кусочек сахара продвинется немного вперед и зайдет в тыл хлебным корочкам. В этом случае вражеские войска окажутся в плену! И разве не сущий пустяк преодолеть по скатерти стола такое крохотное расстояние?... Лишь только бригада Раштича своевременно получит приказ обойти неприятеля с фланга, боевые порядки бригады Лихтенштейна будут глубоко эшелонированы, а бригада Коллоредо двинется вверх по шоссе, – ни одному солдату противника, ни одной лошади не спастись от преследования.

Дамы наперебой, очень шумно излагают друг другу свои стратегические выкладки. Каждая щеголяет военной терминологией не хуже любого вновь испеченного младшего лейтенанта.

В разгаре этой оживленной болтовни неожиданно раздался стук в дверь.

– Кто там? Войдите!

Через завешенный ковром тайный вход, известный лишь близким друзьям, вошел господин Ридегвари.

Лицо знатного господина было желто, как пергамент. Углы рта нервно подергивались от плохо скрытого волнения.

Обе дамы Планкенхорст кинулись ему навстречу, вцепились в него и шумно приветствовали веселым смехом. Но когда свет лампы упал на физиономию гостя, они были поражены. Ридегвари походил на мумию.

– Какие вести с поля боя? – спросила у своего друга госпожа Планкенхорст.

Ридегвари не мог даже сразу ответить, горло и язык у него пересохли, голос срывался. Он вынужден был выпить сначала глоток воды.

– Хуже некуда. Мы проиграли сражение.

Ошеломленная госпожа Планкенхорст лишь спустя минуту робко выразила сомнение:

– Быть того не может...

– И тем не менее это сущая правда, – подтвердил Ридегвари.

Тут вмешалась Альфонсина. Ей хотелось показать, что она тверже духом, чем остальные, и потому не принимает близко к сердцу удручающую весть. Однако в этом проявилось скорее присущее ей легкомыслие, нежели сила духа.

– Ах, сударь! Ваша новость еще далеко не достоверный факт. Вы ничего не можете знать наверняка, а между тем сразу поддаетесь панике.

Ридегвари вперил свой колючий, острый взор в ее розовощекое лицо, на котором мелькнула усмешка. Альфонсина старалась скрыть впечатление, произведенное на нее тревожной вестью.

– Все сказанное мною, мадемуазель, вполне достоверно, – проговорил он твердым голосом. – Сообщение привез гонец, который, кстати, видел, как погиб в бою Отто Палвиц...

Усмешка на розовощеком лице разом померкла.

– Отто Палвиц? – заикаясь пробормотала монахиня. Кроме нее, никто не произнес ни слова.

– Совершенно верно. Прибывший гонец самолично присутствовал при схватке Палвица с Рихардом Барадлаи. Они одновременно нанесли друг другу удар в голову и в тот же миг свалились с коней.

Две окаменелых от ужаса, побледневших от горя женщины порывисто обернулись в сторону говорившего. То были Альфонсина и Эдит.

А Ридегвари с жестокой, рассчитанной медлительностью продолжал:

– Барадлаи выжил, Отто Палвиц умер...

Эдит облегченно вздохнула и с блаженной улыбке и, без сил упала в кресло. Она прижала обе руки к груди, словно хотела безмолвно выразить кому-то свою благодарность. Лицо Альфонсины перекосилось от ярости и отчаяния. Она вскочила со стула и дико уставилась на Ридегвари.

Перепуганная мать тоже не отрывала взора, только не от гостя, а от собственной дочери: она боялась, как бы та не выдала тщательно скрываемую тайну!

Но Альфонсине в это мгновение было уже безразлично, видит и слышит ли ее кто-нибудь, или нет. Словно терзаемая адской мукой, она неистово воскликнула.

– Да будет проклят тот, кто его погубил! Проклятие убийце Отто Палвица!

Она с такой силой рухнула на стол, что стоявшая на нем посуда разбилась вдребезги; не помня себя она разразилась громкими рыданиями.

В ту же минуту госпожа Планкенхорст лишилась чувств. Однако причиной ее обморока было не известие о смерти Отто Палвица, а ужас перед тем, что Альфонсина настолько забылась.

Сама же Альфонсина, дав волю своей ярости, совершенно не думала о том, что на нее смотрят и слышат ее вопли.

Ее гнев напоминал извержение вулкана, который опалает огнем грозовые тучи и бросает вызов небу!

Сначала она билась лбом и стучала кулаками по столу. Потом откинулась в кресло, слезы покатались по ее щекам, а растрепанные волосы рассыпались в беспорядке.

– Да будут прокляты небо, земля, люди!

И она извивалась в судорогах, как смертельно раненная тигрица. Затем, в порыве безумия, схватила со стола нож и начала колотить им дверь, издавая хриплые крики:

– Кого мне зарезать?... Я должна кого-нибудь убить!

Но схваченное ею орудие было непригодно ни для убийства, ни для самоубийства. С криком – «Жалкий кусок железа!» – она швырнула нож на пол и начала топтать его ногами.

Но вот, словно что-то вспомнив, Альфонсина припала лицом к стене, шепча сквозь рыдания: «Милый Отто!..» Затем, сползая всем телом вдоль стены, она свалилась на пол.

Некоторое время она лежала, распластавшись, и рыдала. Однако поднимать ее никто не торопился, и ей пришлось встать самой.

Альфонсина оглядела комнату покрасневшими от слез глазами.

Обе монашенки были заняты госпожой Планкенхорст, которую никак не удавалось привести в чувство. Эдит, уже в шляпе и в шали, забилась в угол и, казалось, горела желанием поскорее вырваться отсюда.

Один только Ридегвари во время этой бурной сцены не тронулся с места и стоял с равнодушным видом, спокойно засунув руки в карманы.

– Больную надо уложить в постель. Позовите прислугу! – жестко проговорила Альфонсина. Потом повернулась к Ридегвари.

– Сударь! В этой гостиной, в этом городе, во всем мире нет, кроме нас двоих, человека, в ком жила бы такая сила ненависти, что побеждает всякий страх. Вы все знаете?

– Все!

– Можно ли отомстить?
– Можно.
– Вы отыщете способ мщения?
– Отыщу, если бы даже пришлось искать его в самой преисподней.
– Я вижу, вы меня понимаете.
– Да мы понимаем друг друга.
– Так вот... Если когда-нибудь вам понадобится существо, у которого вы захотите занять смертоносного зелья, когда кончится ваше, вспомните обо мне. Я – ваша должница, я подскажу вам адский замысел.

– Будьте покойны, мадемуазель, час расплаты наступит. Око за око, ничто не пройдет даром. Мы отомстим, если даже весь мир развалится на куски. Мы вызовем в Венгрии такой поток слез, что их не забудут на протяжении трех поколений, а траур там не выйдет из моды десять лет. Я ненавижу мою страну! Вы понимаете, что это значит – ненавидеть свою родину? Ненавижу каждую травинку на ее земле, каждого грудного младенца! Теперь-то вы в силах понять, что я такое. И я отлично знаю, что вы собой представляете. Когда бы мы ни понадобились друг другу, мы встретимся.

С этими словами он взял шляпу и, ни с кем не простившись, удалился.

Альфонсина же села возле опустевшего стола, против зажженной лампы, и, сжав виски ладонями, уставилась на огонь.

– Значит, ты умер? – заговорила она, словно обращаясь к призраку. – Значит, ты мне изменил? Неужели ты покинул меня навсегда? Может, и мне последовать за тобой? Кому я должна мстить?... Всем! Любят ли, ненавидят ли там, куда ты удалился? Я и там не смогу найти себе забвенья. Ох!. Горе той, кого ты покинул! Горе и тебе, кто ушел! Но горе и тому человеку, что отправил тебя на тот свет! Наши души теперь уже не обретут покоя. Тебе не придется мирно почивать в могиле, а мне – безмятежно жить на земле. Мы неустанно будем терзать друг друга и вместе станем преследовать твоего убийцу. Есть одно место, еще более скорбное, еще более проклятое, чем могила, – эшафот! У его подножья мы незримо встретимся, все трое, но я не примирюсь с моим врагом и тогда. Кто в силах заставить примириться со своей судьбой девушку, которой не суждено стать женой? На это не хватит власти даже самого неба с его сонмом ангелов и святых! Я стала исчадием ада, адские силы таятся во мне!

Альфонсина смотрела на круглую лампу, словно та была одушевленным существом, которому понятны ее слова. Быть может, в долгие бессонные ночи она привыкла разговаривать с этим немым

собеседником: обычно она беседовала с ним мысленно, а сейчас, в самозабвении, – делала это вслух.

Произнося эту бессвязную речь, Альфонсина непрерывно подкручивала горящий фитиль, так что из стекла стали вырываться красноватые языки пламени. Но ей все казалось, что лампа горит недостаточно ярко. Наконец раскалившееся стекло с треском лопнуло, и горячие осколки разлетелись во все стороны.

Альфонсина встрепенулась.

Существует примета: лопнувшее стекло – к трауру, значит, тот, о ком она сейчас думала, умер. Какая же мощь таится в человеческой душе, если, покинув свою брентную оболочку, она способна, в последнем усилии, разорвать, стекло!.. «Суеверие», – скажут ученые. Но ведь доказано же, что звуковая волна «f» оставляет на посыпанном порошком стеклянном листе след, напоминающий двойной крест; волна «d» прочеркивает на нем двойной круг, а усиленные вдвое звуковые колебания «с» разбивают вдребезги бутылку. Но едва речь заходит о свойствах бесплотной души, сразу же раздаются возгласы: «Суеверие!»

Обе монахини возвратились из комнаты госпожи Планкенхорст. Корчившуюся, в истерических судорогах даму уложили в постель и вверили заботам прислуги.

По привычке, сестра Ремигия принялась утешать Альфонсину.

– Доверьтесь милосердию господу, он ниспошлет вам утешение.

В ответ Альфонсина лишь вперила в нее дикий блуждающий взор и прошипела:

– Я впредь не намерена обращаться к богу и никогда больше не стану молиться.

– Ради неба и всех святых! – молитвенно сложив руки, пыталась остановить ее благочестивая праведница. – Опомнитесь, баронесса, вы же христианка!

– Я больше не христианка!

– Подумайте, ведь вы женщина!

– Я больше не женщина! Я, как и вы, лишена мирских радостей. И если судьбе угодно, чтобы на земле существовали монахини, которые посвящают свою жизнь молитве, то я хочу посвятить свою жизнь тому, чтобы проклинать и мстить.

Перепуганная сестра Ремигия схватила свою накидку, чтобы бежать от этих греховных речей. Когда их слышишь, они оскорбляют слух, когда им внимаешь, рискуешь погубить свою бессмертную душу.

А между тем она им внимала.

Благочестивая монахиня молча сделала знак Эдит следовать за ней.

Однако Альфонсина порывисто схватила девушку за руки и преградила ей путь.

– Она больше не вернется в монастырь. Останется дома!

Монахиня не посмела прекословить: как, мол, вам угодно. Она радовалась, что может вместе с послушницей целая и невредимая вырваться из удушающего чада, который царил вокруг этой богохульствующей фурии.

Эдит, вся дрожа, развязала ленты шляпы, сняла шаль. Когда все удалились, оставив их вдвоем, Альфонсина подошла вплотную к Эдит и остановилась прямо перед ней.

– Знаешь, почему я задержала тебя здесь?

– Нет, не знаю.

– Погляди мне хорошенько в глаза! Что ты в них видишь?

– Мрак, – ответила Эдит.

И в самом деле, кромешная тьма преисподней не могла бы казаться мрачнее темной бездны красивых синих глаз Альфонсины.

– Да! Но мрак этот живет! Он полон человеческих образов. И среди них – ты. Моего возлюбленного убил тот, кого ты любишь. И я убью его!

Она произнесла эти слова с таким угрожающим жестом, словно держала в своем судорожно сжатом кулаке отравленный кинжал.

– Да, я убью его! Моя рука настигнет его, хотя бы нас разделял целый мир. Я доберусь до него, если даже один из нас будет находиться в царствии небесном, а другой – в геенне огненной. Днем и ночью я неустанно буду думать лишь о том, как его уничтожить. Хочу, чтобы ты стала такой же обездоленной и жалкой, как я. Чтобы ты познала ужас одиночества, чтобы ты мучилась мыслью, когда, в какой день и час предстоит тебе разделить мою участь. На всем белом свете существовал лишь один человек, которого я любила всем сердцем, всей моей страстной и порочной душой. Только он был способен превратить меня в любящую женщину, в кроткого ангела или в неистовую гетеру, – но так или иначе всегда счастливую. И этого человека убил Рихард Барадлаи. Был в мире и другой человек, он хоть и не мог дать мне счастье, но взял бы меня в жены, сделал бы знатной дамой, избавил бы от самой себя. Но и его, в самый день помолвки, отняла у меня женщина из рода Барадлаи, сделав меня предметом злых насмешек. Рихард и его мать нанесли мне вероломный удар, заживо похоронили, обрекли на вечную муку! Я стану злым демоном этой семьи, уничтожу ее всю целиком. Истреблю и мужчин и женщин, не пощажу даже детей. И всех несчастней среди них будет тот, кому я оставлю

жизнь, чтобы он терзался, вспоминая о погибших. Ты увидела мрак в моих глазах. Но, повторяю: мрак этот живет, он полон человеческих образов. Я провижу грядущее, Не думай, что я сошла с ума. Я сдержу свои угрозы, их головы – у меня в руках! Мне вручили смертоносный дар – голову моего возлюбленного; и я, в свою очередь, преподнесу голову твоего милого тебе! У меня уже созрел целый план. Законченный, беспощадный, как сгусток тьмы. Да, я уничтожу их, сделаю несчастными!.. Я удержала тебя дома затем, чтобы каждую ночь, когда ты будешь ложиться спать, и каждое утро, как только ты откроешь глаза, шептать тебе на ухо: «Сживу со света твоего милого...» Мне будет сладостно видеть твои страдания и муки, такие, на которые обрекли меня ты и твой возлюбленный. Я позабочусь, чтобы твое горе не уступало моему. Я хочу, чтобы при одном взгляде на меня ты содрогалась от ужаса. Я не устану терзать тебя до тех пор, пока мы обе окончательно не лишимся разума и не начнем пинать ногами черепа наших возлюбленных, катать их как шары в кегельбане. О милый Отто!..

Альфонсина в исступлении кинулась на оттоманку, уткнулась в нее лицом и замерла в неподвижности.

Эдит, вся дрожа, выслушала этот неистовый бред, напоминавший чудовищные заклинания ведьм, мчащихся с искалеченными телами младенцев в руках на шабаш. Она не только не могла дать отпор, но даже не могла постигнуть этот дьявольский взрыв ярости. Заметив, что Альфонсина затихла и лежит неподвижно, Эдит бесшумно удалилась. Ушла в комнату служанок, и они отвели ее в каморку, где она когда-то жила, и уложили в простую, так хорошо знакомую ей кровать, тепло укрыли периной ноги, чтобы она не озябла, и оставили одну: пусть себе спит.

Во сне Эдит чудилось, что окружающая тьма полна призрачных видений. Они живут, копошатся, движутся в этой тьме. И один из призраков, чье лицо отчетливо вырисовывается в кромешном мраке, склоняется над самым ее ложем и, обдавая ледяным дыханием, зловеще шепчет:

– Я всех их сживу со света...

Адам Минденваро

Человек, о котором пойдет речь ниже, личность историческая. Не стану уточнять, где он живет, его и без того все знают.

Это – одно из допотопных существ, каких уже не встретишь в наши дни. Он даже не продукт той эпохи, когда был в моде культ Вулкана и Нептуна, а скорее представитель времен Бахуса: я имею в виду не вводившего акцизные сборы Баха,^[82] а древнего бога вика и веселья.

Человек этот – воплощение блаженного девиза «Extra Hungariam non est vita: si est vita, non est ita».^[83]

Жилище его расположено в том самом селении, где в конце 1849 года на вопрос: «Побывал ли здесь неприятель?» – отвечали: «Тут нет, а по соседству были все: и немец, и москаль, и мадьяр!»

Родовую усадьбу господина Адама Минденваро построил еще его дед, и с той поры ни один кирпич не был сдвинут с места. Дом – в один этаж, ведь подниматься по лестнице куда как трудно. Кровля на нем из дранки, но сверху крыта еще и камышом. Конечно, не из тех соображений, что так легче сохранить в целости дранку: просто на чердаке с утепленной крышей дольше не портятся зимние запасы винограда и некоторых других фруктов. Под домом имеется погреб с тремя специальными отделениями: для вина, для зелени и ледник. На восточной и западной стороне дома – две веранды с колоннами, там стоят кожаные кресла. Верандами можно пользоваться по выбору в зависимости от того, откуда дует ветер. Самое просторное из домашних помещений – кухня.

Такие кухни уже редко встретишь в наш век, когда берегут топливо. В огромном открытом очаге пылает огонь. В верхней части – варят, в нижней – пекут пироги.

Из пылающих поленьев торчит железный стержень со множеством крючков, он поддерживает конец вертела, на котором сейчас жарится индюк. Вертел медленно вращается, и индюк подрумянивается, кожица его становится хрустящей. Роль вращающего рычага выполняет мальчишка-батрак.

Вокруг огня выстроились в ряд горшки, полуприкрытые глазурованными крышками. В горшках все кипит и булькает.

Чуть поодаль высится железный треножник со стоящей на нем плоской глиняной посудиною. Она плотно закрыта жестяной крышкой, поверх которой насыпаны угли. По всей вероятности, в этом глиняном

противне печется слоеное тесто. Его предварительно растягивают на том вон раздвинутом столе. Две девушки берут с двух концов комок теста величиной с кулак и тянут до тех пор, пока оно не станет шириной в добрую скатерть. В таком виде какая-нибудь римская Мессалина могла бы надеть его вместо тончайшей туники или прозрачного покрывала, а в Лапландии из него соорудили бы окно. Но в Венгрии это тонкое тесто поливают сметаной, посыпают изюмом с миндалем, потом скатывают и медленно, как изоощренные испанские инквизиторы, поджаривают, искрение жалея при этом варваров, которые не вкушают подобных яств.

В это время другие женщины обкладывают горячими углями обмазанную глиной духовку под очагом. В ней пекутся высоко поднявшиеся на дрожжах калачи. Еще однастряпуха рубит кривым ножом в круглой деревянной миске кусок мяса. Другой кусок уже запеленали в капустный лист, и он, громко пыхтя, возмущается тем, как жарко в горшке, в то время как первый еще ждет своего перевоплощения в фарш. Ленивый мальчуган, непригодный для какой-либо другой работы, вяло толчет увесистой колотушкой в огромной чугунной ступе какую-то приправу, должно быть перец, так как он усиленно при этом морщится.

Тощая служанка, орудуя медным прутиком, усердно сбивает в оцинкованной миске яичные белки, которые становятся все белее, пышнее и воздушнее. А сама старшая повариха, поспевая всюду, дирижирует этой симфонией: то так обильно поливает салом поджаривающуюся индюка, что жир стекает в подставленную внизу сковородку, то заправляет слоеное тесто для пирога сначала сухой, потом влажной начинкой; она ежеминутно пробует деревянной кухонной ложкой кипящие кушанья, прикидывает, чего в них недостает, и распоряжается, какую добавить приправу: соль красный или черный перец, или мускатный орех. Приказав открыть дверцу духовки, она проверяет, не испеклись ли калачики, и успевае одновременно присматривать за приготовлением слоеного пирога, протыкать вилкой колбасу, которая шипит на сковородке, отбирать длястряпни мудреные приспособления из меди, жести и дерева, орудовать резцом для пончиков, особым инструментом для вареников, фигурным ножом для резки рубца, вафельницей. Она не оставляет без внимания ни один противень, котел или железную кастрюлю, учит служанку, как шпиговать, заставляет огрызающегося поваренка тереть хрен благосклонно поучает жену гайдука искусству ловко перевертывать пончики. Сверх всего, она еще нарезает длиннющим ножом тонкую, как нить, лапшу для супа. Нож в ее руках работает с быстротой машины – просто удивительно, как она не оттяпает себе пальцы! Время от времени в кухне появляется гайдук. Его обязанность

– приносить вино: красное для подливы к жаркому, белое для соуса. Кроме того он мастер нарезать жаркое.

Как видно, в доме ожидают гостей.

Что ж, возможно, кто-нибудь и явится. И готов биться об заклад, что тогда всем отменным блюдам воздадут должное. Но, даже если никто не приедет, добро даром не пропадет. Господин Минденваро и его супруга обладают превосходным аппетитом. Не жалуется на отсутствие аппетита и его преподобие. Все они воздадут должное столу! Так что в этом доме пируют каждый день.

А почему бы и нет?... Ведь то, что человек съел, это – его, а остальное – одна иллюзия. «Вкусная еда, доброе вино, здоровый сон – вот в чем истинное блаженство!» – гласит мудрая старинная поговорка. Наесться до сыта – это самая большая радость, хороший аппетит – самое чудесное из ощущений, наполненный желудок создает уверенность, что ты совершил доброе дело. Уставленный яствами стол – единственное зрелище, вызывающее зависть у ангелов, ибо они, как известно, не в пример людям, никогда не едят. Тут можно даже и славу себе стяжать. Про человека, у которого хороший стол, кто к тому же гостеприимен и не прочь вместе с друзьями отведать от благ земных, каждый скажет: «Вот славный мальчик, радушный, приветливый и почтенный!»

И господин Минденваро и его супруга – люди дородные, с круглыми лоснящимися физиономиями. Все знают, что их семейная жизнь протекает вполне счастливо; кроме как о самих себе, им заботиться не о ком.

Когда Зебулон Таллероши, бывало, со вздохом сетовал на то, как трудно ему выдать замуж своих многочисленных дочерей, почтенная госпожа Минденваро думала про себя: «Как хорошо, что у меня нет дочерей!» А когда господин Салмаш ругал своего сорванца за то, что тот убежал с уроков, на сияющем лице господина Адама можно было без труда прочесть: «Как чудесно, что у меня нет сына!»

Итак, единственная забота четы Минденваро – вкусно покушать. А для этого в доме имеется все необходимое.

Урожай пшеницы у них богатый. Хлеб молотят на собственной водяной мельнице. У них есть и свой винный погреб, и своя бойня, где забивают скот и птицу; сады и огород в избытке дают фрукты и зелень, ведь земля здесь плодородная и не требует даже поливки. Вино изготавливают из винограда, что растет по склону горы, сливянку делают из собственных слив. У подошвы горы бьет источник кисловатой минеральной воды. Свиное стадо бесплатно кормится в буковом лесу, лес снабжает господ и дичью, конечно, если только не лень поохотиться за

козулей. Козули ведь не принадлежат никому, это – общее достояние, собственность страны. Ежегодный урожай превышает потребности семейства Минденваро. В амбаре еще хранится пшеница с позапрошлого года, а чердаки завалены шерстью, скопленной от настрига овец по меньшей мере за три года. Ведь все это – деньги! Впрочем, зачем им деньги? На что их тратить? На украшения? Но тучная госпожа Минденваро не слишком любит наряжаться, ее фигуре это противопоказано. А господин Адам вообще не выносит иной одежды, кроме домашнего халата, поношенного, как основательно просиженное сиденье кресла. Выезжать супруги не имеют обыкновения: разве найдешь где-нибудь такие удобства и уют, как дома! Господин Адам любит вечерком перекинуться с его преподобием в картишки. Счет, ведется на мелок, к чему выигрывать друг у друга деньги? Да и что с ними делать? Станешь их держать у себя, еще чего доброго ограбят. А так – пусть в любое время пожалует хоть сам бетяр Шобри,^[84] в доме Минденваро двери не запираются. Съестного, выпивки – бери сколько влезет. А денег не сыскать даже при помощи волшебной палочки. Давать кому-нибудь займы тоже не стоит, должник все равно не будет платить процентов, а заведешь с ним тяжбу, только изведешься.

Ни общественные, ни государственные дела, ни дела комитата господина Адама не интересуют.

– Вздор все это! Из-за чего люди лезут из кожи вон? Из-за какой-то ничтожной должностишки! Но разве не больше преуспевает человек, когда он сидит дома и ведет хозяйство? И что за радость жить в городе?

Однако, чего таить – дела господина Адама сводились к пустякам: взглянуть разок-другой на зеленеющие всходы, позднее – на желтые нивы, а если при этом случайно подвернется перепелка, подстрелить ее.

Минденваро всегда претила служба: ему не по душе было кем-либо повелевать, и сам он не переносил, когда им командовали.

Он был безразличен ко всему. Если в уезде исправник был самодур, господин Адам просто не обращался к нему; стоял ли во главе комитата сам генерал-губернатор или заурядный администратор, ему не было дела ни до того, ни до другого.

Страной могло управлять любое правительство – ответственное перед парламентом или сформированное из представителей сословных корпораций – это нисколько не нарушало его благодушного настроения.

Господин Минденваро не любил вступать с кем-либо в споры. Если случалось, что гости, разойдясь во взглядах, начинали за столом полемику, он тут же останавливал их: «Не препирайтесь, любезные господа, жизнь и без того коротка. Давайте лучше выпьем!»

Газет он не выписывал вовсе, утверждая, что всякие щелкоперы пишут в них слишком мудреным стилем – даже немисливо понять что к чему – и вдобавок толкуют о таких вещах, до которых ему и дела нет.

Никаких новшеств он не признавал, ему от них – ни прибыли, ни убытка. Крепостных крестьян у него не было.

Когда разразилась междоусобица, Минденваро рассудил так:

– Не дело это. Для чего нам убивать друг друга, нас и так немного!

Он никак не мог доискаться хотя бы малейшего мотива, ради которого ему стоило бы ввязываться в эту драку. Деревня его была расположена в долине: добраться до нее можно было либо пешком по скверным дорогам, на что уходило полдня, либо через крутые кряжи верхом, по едва проходимым горным тропам. Таким образом, его усадьба никак не могла оказаться на пути передвижения войск той или иной из воюющих сторон, а идти самому к месту их расположения он и вовсе не был намерен. Пусть себе бьют в барабаны да трубят по всей стране, он ничего не станет слушать. Чем кончится борьба, его не заботит. Авось те, что повздорили, рано или поздно помирятся. А не помирятся – их дело. Нельзя же человеку тужить по всякому поводу и портить себе послеобеденный сон. Какой в этом толк!

В один из студеных зимних дней, когда никак нельзя было ждать гостя, в открытые ворота усадьбы господина Минденваро вкатила повозка с клеенчатым верхом, из-под которого чуть не на карачках, спиной вперед, выполз наш друг Зебулон.

Прибывший был старинным знакомым, и хозяин с супругой любезно приняли его. Вот уж поистине желанный гость, к тому же пожаловал в этакую непогоду! Хозяйка прямо не знала куда его посадить, ведь Зебулон приходился ей кумом, она крестила у него всех дочерей.

– Добро пожаловать, дорогой куманек. Чему мы обязаны таким счастьем?

– Да так просто, взял да и прикатил. Захотелось навестить любезную кумушку. Надеюсь, не прогоните.

Столь сердечное признание требовало достойного ответа:

– Б таком случае куму придется прожить здесь до лета.

– Ну, что ж, кумушка, поживу с удовольствием.

– Ловлю вас на слове.

– Пожалуйста.

– По рукам?

– Вот вам моя рука.

– Ну глядите, коли не сдержите слова!

– Даже если гнать будете, в этом году не уеду, как сказал, так и сделаю.
– Хватит шуток, – вмешался господин Адам. – Займись-ка делом поважнее. Кум прозяб с дороги, где сливянка? Да позаботься, чтобы обед вовремя подали.

Хозяйка поспешила на кухню. Не успела она выйти из комнаты, как лицо Зебулона мгновенно изменилось. Он сразу стал серьезным, улыбка сменилась выражением полной растерянности. Опасливо озираясь, Зебулон взял господина Адама за отвороты халата, словно страшась, что его кто-нибудь услышит, и шепотом заговорил:

– Ох, милый друг! Если б только все это было шуткой... Мне не хотелось говорить в присутствии твоей жены, но я действительно пробуду у тебя столько, сколько ты разрешишь.

Однако господина Адама не смутили загадочные слова Зебулона.

– Бедная моя головушка! Лихо мне! – продолжал сетовать Зебулон. – Погиб я.

– Да что такое с тобой стряслось, старина?

Зебулон слегка прикрыл ладонью рот и таинственно прошептал:

– Немец меня травит.

– Только-то? Побольше хладнокровия! А я было решил, что у тебя дом сгорел. Но почему он тебя травит?

– Ох, дружище! Я таких дел наворочал! Руководил армией в сражении под Кошицей. Ну, не на передовой, конечно, а в тылу... И все же меня чуть не подстрелили: целую ночь непрерывно палили вдогонку. Никогда бы в жизни я не поверил, что окажусь на охоте, где сам буду в положении зайца. У меня отобрали шубу, повозку. Удалось спасти только ночные туфли. Я не останавливался до самого дома, даже духа не переводил. Но вот наконец добрался. Чего уж лучше! Ан нет. Только я во двор, выбегает мне навстречу дочь Карика и сразу увлекает меня в сад. «Бога ради, папаша, ты здесь разгуливаешь, а за тобой приехал конный патруль, разыскивают тебя. Поймают, в цепи закуют, убьют. Беги отсюда! Беги скорей!» Меня уговаривать не пришлось – схватил я торбу, перемахнул через забор собственной усадьбы и помчался без оглядки. Пересек лес и спрятался в печи для обжига извести. Просидел там, пока Карика не выслала мне вслед повозку. Свою образину я старательно вымазал сначала известью, а затем сажеей, чтобы меня не опознали. После три дня никак не мог смыть с бороды мел да сажу. Выглядел как леший.

Держась за бока, господин Адам раскатисто хохотал, пока Зебулон рассказывал ему свою печальную историю.

В это время вернулась госпожа Минденваро с выдержанной сливянкой

и свежим калачом. Увидев, как смеется ее муж, она решила, что кум пустился в рискованные разговоры.

– Что у вас за веселье? Поделитесь со мной.

– Это не для женских ушей, – отрезал господин Адам. – Кум Зебулон рассказывает скабрзные анекдоты.

– Эх! Стоит вам, мужчинам, сойтись, и вы тотчас начинаете повесничать и угощать друг дружку всякими непристойностями, – осуждающе заметила целомудренная дама и поспешила вновь оставить их наедине, чтобы ее нежного слуха не коснулось что-нибудь неприличное.

– До чего прискорбный случай, милый ты мой друг! – продолжал Зебулон. – Но послушай, что было дальше...

– Сначала хлебнем-ка нашей доброй сливянки. Она сразу поможет тебе забыть все злоключения. Нет на свете лучшего напитка.

Зебулона не пришлось долго упрашивать. Но; даже набив рот калачом, он не приостановил своего печального повествования.

– Получив повозку, я в ту же ночь подался в соседнюю деревню, к приятелю. Но не успел я даже передохнуть, как на мой след набрел патруль. Приятель спрятал меня в погребе, где я просидел два дня и две ночи в бочке. Пока патруль не убрался, мне подавали еду и питье через боковое отверстие в ней.

Господин Адам чуть не свалился на пол от хохота; он опрокинулся на спинку кушетки, слушая горестные признания своего друга.

Зебулон рассердился:

– В этом нет ничего смешного, мой милый. Подумай только – просидеть двое суток в бочке и с ужасом ожидать, что ее откупорят.

Но если бы господин Адам попытался вызвать в своем воображении эту картину, он бы окончательно потерял способность говорить серьезно.

– Давай закурим, старина. Так и разговор лучше клеится. У меня в ларчике припасено отменное курево.

С этими словами он сунул в рот себе и гостю по мундштуку из гусиного пера. Другой конец мундштука, сделанный из вишни, был прикреплен к глиняной чашечке, в которой и горел табак. В общем, то была самая обыкновенная глиняная трубка.

Господин Зебулон зажал в зубах этот своего рода кларнет, выпускающий вместо звуков дым, зажег от свечи бумажный фитилек, скрутив его предварительно из листка, который он вырвал из затрепанного словаря «Calerinus»,^[85] и закурил. Потом примял горящую бумажку о чубук и, пуская густые клубы дыма, некоторое время следил за ними, высоко вскинув брови. Наконец, тяжело вздохнув, стал продолжать рассказ.

– Сидеть в бочке еще куда ни шло, это – забава. Ведь жил же в бочке Диоген. Но послушай, что стряслось после!.. Как только ушел патруль, приятель мой и говорит: «Друг мой, Зебулон, здесь тебе оставаться больше нельзя, пожалуй, навлечешь на меня беду. Отныне тебе придется скрываться и жить под вымышленным именем». Я и сам предпочитаю инкогнито жизни в бочке *pleno titulo*.^[86] И вот он вырядил меня в батрацкое отрепье, повез к какому-то винокуру-арендатору, живущему в шести милях от тех мест, и подрядил к нему поденщиком. Ну, думаю, здесь и устроюсь, как нельзя (лучше, никто меня не опознает. Ладно, так и быть... С четырех часов утра и до семи вечера я таскал жбан с бардой, кормил предназначенный на убой скот, вывозил на тачке солод и, как свинья, ходил по самое горло в грязи. Под конец мне стало мерещиться, что я и впрямь превратился в борова.

Стараясь сдержать разбиравший его смех, господин Адам искусал весь чубук. Чтобы не обидеть Зебулона, он даже отвернулся в сторону.

– Наконец невтерпеж мне стала жизнь поденщика. Тогда и решил я приехать к тебе. Но вот вопрос: как осуществить такую поездку. Путь не близкий, а всюду шныряют немцы. Однажды к нам заехал почтенный еврей, корчмарь. Старик был с женой, которая кормила грудью уже девятнадцатую дочку. Я открылся корчмарю, посулил ему все, что он захочет, и сверх этого еще пять форинтов, только бы он ухитрился провезти меня через немецкие посты и доставить к тебе. Он заверил меня, что я могу всецело на него положиться, и на другой же день, тщательно спрятав меня в глубине повозки, вывез из злосчастной винокурни. Старик убеждал меня, что опасаться нечего, но я порядочно трусил. Наконец надо мной сжалилась жена еврея: она нарядила меня женщиной, одолжив свое платье. А когда нам встречался патруль, она клала мне на руки свою малышку, и я делал вид, будто кормлю ее грудью. Это для большою правдоподобия. Так я и перехитрил немцев.

Теперь уж никакая земная сила не могла удержать господина Адама от смеха. Трубка выпала из его рта, и он захохотал во все горло. Вылитый бегемот!

– Ох, какой же ты дуралей, Зебулон! Я так и вижу, как ты прижимаешь к своей материнской груди этого младенца! Ха-ха-ха!.. Прекрати свою историю, а то я надорвусь от смеха!

Хозяин дома так развеселился, что заразил своим настроением даже Зебулона.

– Ну, теперь ты в надежном месте, кум, – утешал его господин Адам. – Можешь здесь пробыть хоть до Страшного суда. Я убежден, что тут тебя

никто не разыщет. Ведь деревушка, где я живу, даже на карте не обозначена.

– В самом деле? – обрадовался Зебулон.

– Честное слово. Однажды я даже атлас специально купил и окончательно убедился, что она не известна ни одному картографу.

И господин Адам принялся рыться в куче обреченных па сожжение книг, которые кончают свой век, превращаясь в бумажные фитильки. Он отыскал несколько листов разорванной географической карты. Разложив их рядом на столе, он долго водил по карте пальцем и нашел наконец главный город комитата.

– Видишь? Здесь – город, а там – соседнее село. Вон другая деревня, третья. Эти полоски, вроде мохнатых гусениц, обозначают две наших горы, червеобразная штука – речку. А вот мою деревушку как раз и упустили из виду.

С нескрываемой гордостью господин Адам хлопнул по карте. Как приятно сознавать, что ты живешь в таком населенном пункте, который даже на карте не обозначен!

– Эх, кабы знать, что у немцев точно такой же атлас! – вздохнул Зебулон.

– Именно такой! – заверил его господин Адам, несколько даже негодуя, что простодушный Зебулон может допустить, будто атласы могут быть разными.

Навалившись всей грудью на стол, Зебулон водил пальцем по карте:

– Погляди, вот тут мы стояли биваком. Отсюда я перемахнул сюда. Потом перекинулся аж вон куда. Потом – круто завернул в ту сторону. Здесь сделал большой крюк вверх и таким путем добрался до ваших краев.

Что и говорить, необычайное это было путешествие – сплошные зигзаги.

Вдруг господин Адам проявил неожиданное любопытство:

– Неужели венгерскую армию разгромили?

– Не то чтобы разгромили, но рассеяли. У кого был коняга, тот, конечно, улепетнул. Но пешим худо пришлось. Шлик палил из таких здоровенных пушек, что от их грохота у меня всю тыловую часть сводило, а от разрыва ядер вдребезги разлетелось стекло часов. Уверяю тебя, это не шутка!

– А что будет, если венгерская рать объявится в другом месте и опять возьмет верх? – набив заново трубку, спросил господин Адам.

– Но ведь если войско даже и уцелело, у него пропала всякая охота воевать. Следует извлечь урок из нашего поражения. Ты, мой милый друг,

даже представления не имеешь, какую силищу бросил против нас неприятель. У каждого австрийца конь раза в два выше нашего. Каждый неприятельский солдат с ног до головы закован в броню. Ядра у них летят бог знает куда, а орудийные раскаты слышны, как гром. И «сколько их, этих супостатов! Видимо-невидимо! Мне бы на всю жизнь хватило только тех денег, что, по забывчивости, всего за один день не выдает солдатам их интендант. А какие у них генералы! Тот, что нас побил, смотрит лишь одним глазом, на другом у него повязка. Каково же нам придется, если против нас пошлют полководца с двумя глазами! Ох, пропали мы тогда на веки вечные. Прощай! Сервус! Адье!

Господин Адам только плечами пожал.

– По что можно сделать?... Как-нибудь обойдется.

– Обойдется-то обойдется. Но что ожидает меня?

– Я тебе уже сказал: останешься здесь до дня Страшного суда.

– Вот именно. До того дня, когда меня предадут военному суду!

Господин Адам улыбнулся и, оттопырив губы, спокойно покуривал трубку.

– Пустяки. Ты же ничегошеньки не сделал.

– Разумеется. Но зато я всюду присутствовал.

– Это еще ничего не значит, будешь от всего отпираться. Я выдам тебе свидетельство, что ты все это время находился у меня, лежал тяжелобольной.

– Такое свидетельство гроша ломаного не стоит. Ведь мое назначение опубликовано в официальных ведомостях, у них в руках отчетность, по которой можно установить, что я был totum fac.^[87] И засудят, так, что только держись!

– Подадим апелляцию.

– Кому, дьяволу? У них нет апелляционного суда септемвиров.

– Ну, да ладно. Не вешаться же раньше времени из-за этого.

– Я-то, конечно, ничего такого делать не стану, но опасаюсь, как бы другие не вздумали проделать это со мной. Теперь, мой друг, такие вещи совершают в два счета.

В ответ господин Адам не мог придумать ничего утешительного и лишь уклончиво заметил, что и так, дескать, может случиться.

– Да, но я вовсе не желаю этого, – запротестовал Зебулон. – Если бы еще можно было как-то сторговаться с немцем: я, мол, приму в наказание то-то и то-то. Скажу прямо: отсидеть годика три, ну, понятно, в легких оковах, а то и вовсе без них, я бы еще согласился. Особенно, если бы удалось избежать порки.

Бедняге Зебулону стало так страшно, что он начал думать о тюремном дворе Нейгебзуд^[88] как о некоем прибежище. Узники, находящиеся там, сыты и хоть таскают на себе водовозные бочки, зато уж не страшатся больше никаких преследований.

Его совсем развезло от страха. Тяжело вздохнув, он попросил у кума позволения прибить гвоздями к двери курительной комнаты пресловутую географическую карту; имея ее постоянно перед глазами, он станет изучать направление, куда, если понадобится, можно будет бежать.

Господин Адам вручил ему гвозди и молоток – пусть себе прибивает.

Но не успел Зебулон вбить первый гвоздь, как тут же убедился в своем невезении: лишь только соберется он кого-нибудь ударить, как ему немедленно дают сдачи, даже если он имеет дело с дверью. Ее с силой толкнули снаружи и чуть было не расквасили нос Зебулону.

Но окончательно он перепугался, когда разглядел дошедшего.

Это был господин Салмаш.

Адам Минденваро не считал нужным поставить в известность своего кума, что в доме обитает еще один гость, который также опасается за свою шею.

Почтенный Салмаш прибыл с той стороны горы, где стояли лагерем венгерские войска изобличившие его, как неприятельского агента. Насмерть перепуганный Салмаш, как и Зебулон, тоже рассказал накануне господину Адаму свою историю, уверяя, что пришел конец всему: ряды повстанческих войск множатся, как грибы после дождя, и ему негде голову преклонить, чтобы передохнуть. Если, не дай бог, его схватят, непременно пристрелят на месте. А ведь он не способен и мухи обидеть.

И вот теперь эти два почтенных мужа, два беглеца, неожиданно столкнулись лицом к лицу. Каждый из них подумал, что другой явился сюда, чтобы схватить его.

С момента своей последней встречи они уже поняли, что каждый сделал окончательный выбор, определил свою судьбу. Один пошел направо, другой – налево. Итак, они стали врагами...

Зебулон не сомневался, что удар дверью пришедшийся ему по носу, – не что иное, как покушение из-за угла со стороны Салмаша. А перекошенное от страха лицо Салмаша недвусмысленно выражало уверенность, что Зебулон коварно притаился за дверью, чтобы хорошенько стукнуть его по голове.

Что касается господина Адама, он, казалось, совершенно не желал замечать, как всполошились оба его гостя, и с подчеркнутым дружелюбием пригласил Салмаша отведать сливянки.

– Ну-ка, дружище Салмаш, присоединяйтесь к нацией компании. Выпить в такую погоду крепкой водочки – одно удовольствие.

Салмаш робко, словно крадучись, подошел к столу. Но дотронуться до рюмки с настойкой, пока Зебулон не выпустил из рук молотка, так и не решился. И даже после, уже отпивая по глоточку сливянку, он опасливо следил одним глазом за движениями своего врага.

Зебулон раздумал прибавить карту к двери и предпочел разложить ее на столе. Появление Салмаша внезапно и необъяснимо преобразило его: от страха он неожиданно стал храбрецом.

Делая вид, что не придает никакого значения появлению старого знакомого, он продолжал нить прерванного разговора. Только вместо слезливых жалоб теперь с его уст слетала неудержимая похвальба. Он сочинял, словно какой-нибудь вышедший в отставку солдафон.

– Итак, милый друг, как я уже говорил, обстоятельства сейчас полностью изменились. Сначала нас одолели, но теперь мы снова взяли верх. В Хортобадской степи стоят наготове двести тридцать шесть тысяч девятьсот воинов-богатырей и тридцать три тысячи гусар; кроме того, у нас восемьсот пятьдесят пушек. Когда наше войско выступит, оно мигом сметет с лица земли войска Виндишгреца.

Салмаш сел на лавку возле окна и съезжился. Он не отважился даже подать голоса.

Первый успех окрылил Зебулона:

– Наши уже захватили у противника двадцать шесть тысяч пленных, среди них триста штаб-офицеров, в том числе восемнадцать генералов. Мадыарский главнокомандующий объявил, что если у кого-либо из нас, господ, вроде меня, упадет с головы хоть один-единственный волос, он выщипет за это с неприятеля вдвойне!

Господину Адаму захотелось уточнить эту деталь.

– Как же следует понимать его слова, Зебулон? Значит, за каждый твой волосок он прикажет выдернуть у двух пленных генералов по волоску? Или, может быть, у одного генерала два сразу?

– А понимать это нужно так, – ответил Зебулон, не переставая бросать свирепые взгляды в сторону Салмаша. – Каждый волосок на моей голове застрахован вдвойне. И кто осмелится до него дотронуться, пусть помнит, что все его родичи до седьмого колена будут привязаны к лошадиному хвосту.

– Не хотел бы я в таком случае стать твоим брадобреем! – пошутил господин Адам.

Почтенный Салмаш хранил столь упорное молчание, словно он

онемел.

А Зебулона охватил страх: почему так упорно молчит этот человек? Видимо, он ломает голову над тем, какую каверзу подстроить ему, Зебулону. Ведь все его преднамеренное вранье имело лишь одну цель – вызвать у Салмаша хоть какое-нибудь возражение. Но тот принимал хвастливые речи Зебулона, даже не пытаясь прекословить.

Обращаться прямо к Салмашу Зебулон не хотел, это значило бы, так сказать, *prodit tetum*,^[89] а ведь ему нельзя было даже виду подать, что он опасается этого человека. Кто он таков? Шельма!.. Темная личность!.. Безвестный сельский чиновник!.. Вожак вербовщиков!.. Да в чем, собственно, дело? Раз уж он здесь, пусть себе сидит. Если вздумает поздороваться, можно даже сказать ему «сервус»...

И все-таки Зебулон страшился Салмаша пуще дракона. Однако страх превратил его в истинного стратега. Он то и дело тыкал пальцем в развернутую карту, указывая различные пункты на ней.

– Вот здесь нас собралось тысяч шестьдесят, а тут, пожалуй, и все семьдесят. Сюда двигаются главные силы, там расположилась основная база. Отсюда прорывается авангард, а вот здесь накапливаются резервы. В этом пункте будут сосредоточены войска. Кто окажется в мешке, тому, разумеется, не избежать плена!

Никто его не проверял, и он мог маневрировать на карте, как ему заблагорассудится.

Стратегические рассуждения были прерваны приглашением к обеду.

Но роскошный обед был окончательно испорчен для Зебулона: Салмаша усадили как раз напротив, и ему приходилось все время лицезреть человека, который, как подозревал Зебулон, явился сюда специально, чтобы его изловить.

За обедом Зебулон был великолепен. Он превзошел самого себя, поставив своей задачей, просветить хозяйку дома относительно различных перипетий военной кампании.

– Как я уже толковал куму, мне понадобилось наведаться в здешние края, чтобы закупить для армии десять тысяч лошадей.

Хозяйка дома оказалась настолько доверчивой, что приняла его слова за чистую монету.

– И эти лошади нужны для гусар?

– Нет, для улан. К нам перешло шесть тысяч поляков, все до единого кавалеристы. Но прихватить с собой коней они не могли, их ведь через горы не перетащишь.

– У кума небось целая уйма денег!

Такое предположение показалось Зебулону опасным.

Особенно здесь, в глухомани, где кругом дремучий лес. Он считал необходимым его опровергнуть.

– Денег с собой я не вожу, это не в моих привычках. Все мое богатство – карандаш да бумага. Но этим карандашом я могу ассигновать хоть миллион форинтов, на это мне даны все полномочия. И казна все выплатит. Для человека, получившего бумагу с моей подписью, дорога свободна – поезжай себе хоть до самого Константинополя!

На этот раз Зебулон даже не преувеличивал.

Однако даже эти слова бессильны были развязать язык Салмашу. Когда ему во время еды приходилось что-нибудь откусывать, он тотчас же торопливо смыкал губы, мыча нечто нечленораздельное, словно боялся, как бы Зебулон не заглянул ему в рот.

– Значит, кум заделался важным человеком! – восторженно воскликнула хозяйка дома.

– О! Вы и представить себе не можете, какая я теперь персона! Куда бы я ни явился, мое слово – закон! Губернаторы для меня – что гайдуки, а к министрам я обращаюсь запросто: «Послушай-ка, дружище...» Только я появлюсь, меня повсюду встречают колокольным звоном, одетые во все белое барышни кидают под ноги букеты, чиновники произносят приветственные речи.

Беспредельное и добросердечное гостеприимство господина Адама Минденваро и его непревзойденная беспечность весьма наглядно проявились в следующем факте: несмотря на неумеренное хвастовство Зебулона, он сумел удержаться от каверзного вопроса:

– А кого же тогда кормили через дыру в бочке? И о чем лепетал в дороге грудной ребенок еврея-корчмаря?

Но господин Адам был всецело занят едой и слушал.

Зебулона без единой усмешки.

Хозяйку дома, возможно, задело, что Зебулон, став вдруг такой важной особой, вздумал подшутить над ней, уверяя в своей готовности прогостить у нее до самого лета. Это он-то, великий человек, который в любой час мог понадобиться стране! Вероятно, поэтому она и обронила вскользь замечание:

– А вдруг нашу армию одолеют? Тогда ведь сразу наступит конец вашему могуществу...

– Одолеют? – переспросил Зебулон, обводя взором воздушное пространство, как бы в поисках дерзкого удальца, который отважится это сделать. – Да кто это сумеет нас осилить? Но если бы враг даже одержал

победу, то нам на помощь немедленно поспешат турки, двинув в поход сто шестьдесят тысяч воинов! В устье Дуная стоят англичане со всей своей флотилией. Они пройдут оттуда на плоскодонных судах вверх по реке и закидают наших недругов бомбами. Не хватает их, придут итальянцы. Мало окажется всего этого, – двинется» из Франции сам Ледрю-Роллен,^[90] прихватив с собой триста тысяч человек, и всех раздавит. Весь мир на нашей стороне. Что касается москаля, то он даже высунуться не захочет из своей берлоги, будет рад-радешенек, что мы сами его не задеваем.

К концу обеда Зебулон окончательно успел сколотить европейскую коалицию.

Однако и тут Салмаш не проронил ни слова.

А Зебулон уже начал рассуждать о том, как будет устроен мир.

– Верные патриоты получают награды и высокие чины. Предателям же и задирам, якшавшимся с супостатами и строившим козни, шпионам и доносчикам (говоря все это, он нет-нет да и бросал взгляд, в сторону Салмаша), – всем этим людям тоже воздадут по заслугам. Да так, что им не поздоровится.

Салмаш по-прежнему помалкивал, Адам Минденваро тоже не подавал голоса. Но молчать и не подавать голоса вещи разные. В первом случае – это ехидство, во втором – благодущие. Достаточно привести один пример: соблаговолите сопоставить поведение министра, который молчит, когда к нему обращаются с запросом, и депутата, который не выступает, когда до него доходит очередь говорить с трибуны.

Молчание Салмаша по всей видимости означало: «Только попадись мне в руки!» А то, что Минденваро не подавал голоса, имело примерно такой смысл: «Не к чему, мол, посвящать во все первого встречного».

После обеда, в курительной комнате с коллекцией разных трубок, и вечером – за ужином – Зебулон не переставал хвастливо хорохориться, но так и не заставил своего врага нарушить молчание.

Господина Адама все это сильно забавляло.

После сытного ужина и хозяева и гости отправились почивать. Но, даже выходя из столовой, немного захмелевший Зебулон все еще продолжал грозиться. Гайдук проводил его в отведенную ему комнату, помог стащить сапоги и уже хотел было захватить их с собой, чтобы хорошенько наваксить. Но Зебулон решительно воспротивился этому: сапоги должны остаться при нем. Затем гайдук уложил его в постель и укутал теплым, добротным, подбитым пухом одеялом. Один проезжий, англичанин, впервые столкнувшийся с традиционным мадьярским гостеприимством, увидев такое одеяло, сказал слуге: «Прошу вас,

пришлите поскорее того, другого джентльмена, что будет спать надо мной. А то меня уже сон клонит. Оказывается, он принял пуховик, которым его накрыли, за вторую перину и решил, что ее, верно, постелили еще для одного гостя, который на ней и уляжется. Англичанин подумал, что у нас в Венгрии спят, так сказать, слоями и очутившийся наверху будет занимать бельэтаж.

Только утром обнаружилось, почему Зебулон не позволил гайдуку вынести на ночь свои сапоги.

Завтрак был давно готов. Почтенная хозяйка подтрунивала над своими заспавшимися гостями:

– Ну и сони! Сливки столбенеют от удивления!

Господин Адам тоже ворчал и в порыве нетерпения уплетал уже третий кусок ветчины. Наконец, отчаявшись, супружеская чета послала гайдука разбудить гостей и сказать им, что завтрак уже на столе.

Гайдук вернулся ошалелый от изумления.

– Господ нигде нет.

– Как нет?

– Точно так. Даже постели их не примяты.

Нет, убедиться в таком диве господин Адам должен был сам и при том воочию, на месте! Он направился в комнаты для гостей. Их разделял коридор, они были расположены одна против другой. Первым делом господин Адам вошел в комнату Зебулона.

– Вот те раз! Поглядите только, и окно распахнуто настежь! – заметил гайдук.

Спорить против очевидности не приходилось! А на столе лежало написанное карандашом письмо. Зебулон адресовал его господину Адаму.

Вот что тот прочитал в этом письме:

«Дорогой друг! Я не могу больше здесь оставаться, даже на одну ночь. Этот изверг Салмаш задумал меня предать. Я его знаю, он хочет погубить мою головушку. Поэтому решаюсь уйти через лес. Благослови тебя господь, а также и твою супругу. Я обязан беречь мою жизнь для отчизны, потому и бегу».

Значит, Зебулон все-таки задал тягу]

Потом господин Адам заглянул в комнату напротив. И там окно оказалось раскрытым. На столе виднелись следы какой-то надписи мелом, но ее, видимо, стерли, словно человек спохватился, что не следует оставлять после себя письмо.

Без всякого сомнения, Салмаш, в свою очередь, сбежал через окно, опасаясь Зебулона.

Господин Адам только головой покачал.

– Да, мои гости, видать, друг друга спугнули. А между тем мы так славно повеселились. Ну ничего, обойдется. Авось еще кто-нибудь пожалует...

Никто не избежит своей судьбы

На этом для господина Адама закончилась вся история.

По правде говоря, он и не подумал пускаться по горам и по долам на поиски беглецов. Впрочем, когда было обнаружено их исчезновение, они были уже далеко.

Но нас больше интересует Зебулон, а потому поглядим, куда он бежал.

Глухой, студеной ночью он направил свои стопы прямо в лесную чащу, следуя по течению негромко журчащего горного ручья. Он и прежде бывал в здешних местах и знал, что у истоков этого ручья высится старое узловатое дерево, в дупле которого установлен образок, предмет поклонения благочестивых мирян окрестных селений. По этой причине с противоположного склона горы сюда вела еще одна пешеходная тропинка. Найти ее будет нетрудно.

Зебулону пришлось проявить немалую храбрость, чтобы отправиться в путь глубокой ночью, совершенно одному, без всякого оружия, даже без палки, и разгуливать в темноте по дремучему лесу, в котором, как он знал, волки каждый год загрызали у господина Адама жеребят.

Однако страх придавал Зебулону отваги. Сильный страх подавляет робость: подобно этому боль в уколоте пальце мгновенно проходит, если его сунуть в кипяток.

Зебулон благополучно добрал до родника, зачерпнул шляпой воды и с жадностью напился. Нашел он также и дуплистое дерево с образком, а по этим приметам – и ведущую сюда тропу. Тут он принялся мысленно расхваливать сам себя: какой я, мол, умница, ухитрился так ловко обставить свой побег и избавиться от грозной опасности.

Луна едва освещала дорогу, но это все же помогало ему не наткнуться на деревья.

Перед рассветом Зебулон почувствовал, что тропа пошла круто в гору, и решил, что неплохо бы добыть себе палку. Выбрав стройный побег орешника, он кое-как срезал его перочинным ножом. Взбираться на гору с помощью палки стало легче. А когда он начал осторожно спускаться вниз по косогору, можно было уже обойтись без палки. Подвязав к ней котомку, он вскинул поклажу на плечо.

Занимался день. По мере того как в просветах между деревьями появлялись солнечные лучи, вытеснявшие, лунное сияние, из души Зебулона постепенно испарялась боязнь погони, уступая место иной

тревоге, какую обычно порождает торжественная тишина пустынного леса. Очевидно, в этой бескрайней глухомани обитает множество зверей, а доверяться им небезопасно.

Ему вспомнилась строка из стихотворения Шандора Кишфалуди^[91] о мнимом отшельнике, которому попался навстречу волк:

Волк череп холодный клыками зажал
И быстрой рысцою к горе побежал.

Можно ли вообразить встречу ужасней. А ведь волки все еще занимаются краниологией.^[92]

Если Зебулону не изменяла память, в этом стихотворении говорилось еще о том, что волк от испуга выронил из пасти череп «и тот с громким стуком на землю упал».

Все это никак нельзя было воспринять, как утреннее приветствие.

Хоть бы дорога привела к какой-нибудь лужайке!

Желание Зебулона исполнилось. Спустившись в лощину с горного склона, тропа скрестилась с другой дорогой, которая шла в обход первой и выбегала из соседней долины. На этом перепутье раскинулась небольшая поляна.

Но едва тропа вывела Зебулона на прогалину, как из зарослей кустарника, росшего на опушке, вынырнуло и предстало перед ним страшное видение.

Это был не волк с черепом в пасти, а человек с собственной головой на плечах: то был Салмаш!

Оба одновременно заметили друг друга, хотя на мшистой лужайке не слышно было даже шума шагов.

Зебулон вынужден был признать, что он напрасно силился избежать своей участи. Роковое свершилось: бежать больше некуда, искать убежища негде. Этот человек направился ему в обход, чтобы схватить его. У Зебулона не было даже никакого оружия, кроме перочинного ножа, лезвие которого он к тому же не так давно обломил, пытаясь разрезать солдатский хлеб. А враг наверняка запасся пистолетами. И Таллероши решил, что ему остается только одно – сдаться.

Смирившись со своей судьбой, он снял с плеча палку, взял в руки котомку и с видом отрешившегося от жизни человека подошел к Салмашу, как бы говоря: «Вот моя палка, я сдаюсь».

Но медленно приближаясь к своему врагу, он вдруг заметил, что тот

выглядит как Макбет, увидевший призрак Банко. Салмаш стоял перед ним, вытаращив глаза и разинув рот, всем своим видом выражая смертельный испуг. Его оцепеневшие ноги, казалось, вросли в землю, в руках он тоже держал палку и суму.

И вдруг Зебулон сообразил, что происходит. Обстановка сложилась комичная и, можно сказать, фатальная.

– Ну, Салмаш, хватит. Перестанем дурачить друг друга, Я и не помышляю вас преследовать. И вы не трогайте меня. Вам показалось, будто я задумал вас спаять а я подозревал, что вы готовитесь сделать то же самое Я удирал от вас, вы – от меня, а дорога сыграла с нами шутку и снова свела вместе. Столкнемся, будет больше прока.

Однако Салмаш все еще не был в состоянии произнести ни слова. Должно быть, его насмерть напугали где-то в другом месте. У него только беззвучно двигались челюсти, слово он разговаривал сам с собой.

– Знайте, Салмаш, – примирительно продолжал Зебулон, – все, что я говорил вчера у Адама, было шуткой, вовсе не надо принимать это за чистую монету. Я никого не хочу обижать, лишь бы оставили меня в покое. И зачем нам, добрым старым знакомым, обижать друг друга? Вы славный малый, да и я не злой человек... Лучше всего для нас – жить в дружбе и в согласии. Вы – «у тех», я – «у этих». Если вы попадете в беду «у этих», я сумею вас выручить; если мне будет угрожать какая-либо опасность со стороны «тех», вы придете мне на помощь. Хорошо, когда у человека всюду есть добрые друзья. Бог знает как все еще сложится. Нам совершенно ни к чему вконец разрушать давнишнюю дружбу. И я к этому совсем не стремлюсь. У вас, верно, сохранилось письмо, которое я написал моему другу Ридегвари? Вот и передайте ему это письмо. Скажите, что я просил кланяться. А что касается вчерашней сцены, то нам обоим лучше о ней не вспоминать, а то нас только высмеют. Так что давайте больше не сердиться друг на друга. Ладно, Салмаш? Ну, храни вас господь. А теперь скажите только одно, по какой дороге вы пойдете дальше? Я вас очень люблю, можете мне поверить, ведь я не раз об этом говорил, но мне, знаете ли, все же не хотелось бы идти с вами по одной дороге.

Салмаш продолжал отмалчиваться: то ли его связывал обет, то ли у него от страха отнялся язык, как у невесты Роберта-Дьявола. Узнав, что путь свободен, он только тяжело вздохнул и, свернув на ближайшую тропу, стал спускаться в лощину.

Можно себе представить радость Зебулона, когда он вскоре наткнулся на венгерского солдата!

Это был не патрульный кавалерист, не улан, а гусар» поднимавший на

дороге клубы пыли.

Он оказался простым деревенским парнем, в круглой шляпе с широкой красной лентой вокруг и в расшитой тюльпанами бурке, И все же то был заправский гусар.

На радостях Зебулон чуть не стащил его с коня; он даже в ножки готов был ему поклониться.

– Дружище! Доблестный сын нашего отечества! Спаситель мой! Откуда путь держишь?

– Вон из той деревни, – ответил воин.

– Так там еще остались наши богатыри?

– А как же? Весь отряд.

– Какой отряд?

– Известно какой, – отряд Бендегуза.

– Бендегуза? У меня есть дочка, которую зовут Бендегузелла... Так значит, это партизанская вольница, да? А где же остальные войска?

– Те еще за Тисой, в поход собираются.

– А вы что тут делаете?

– Наша задача – не давать покоя неприятелю и перехватывать императорских прихвостней.

Зебулон оторопел, услышав о неприятеле. Он вовсе не искал встречи со львом, а только хотел напасть на его след.

– Разве поблизости есть неприятель?

– Неприятеля нет. Зато встречаются императорские прихвостни.

«И один из них как раз бежит лесом, по другой дороге», – подумал Зебулон, но указывать коннику след Салмаша все же не стал, Зебулон и в самом деле был человек мягкосердечный.

– Значит, поблизости супостатов нет?

– Нет. На расстоянии двух дней ходу ни одного не найдешь.

– В таком случае я присяду на обочину и передохну. А тебе, дружище, вот от меня форинт. Воротись в деревню и скажи своему начальнику, чтобы он прислал за мной подводу. Теперь мне уже можно назвать себя, Я – правительственный комиссар Зебулон Таллероши, о котором ходили разные слухи; одни говорили, будто он пал в бою под Кошицей, другие – будто враг пленил его. Но я не погиб и не попал в плен. Благополучно пробился сквозь боевые порядки вражеской армии. Только вот ног под собой не чую, много миль пешком прошел. Потому и надо за мной телегу прислать. А я стану дожидаться здесь.

Всадник в расшитой тюльпанами бурке принял и форинт и поручение, а затем ускакал в деревню. Зебулон тем временем отыскал удобную межу,

прилег на мягкой траве и вытянулся в свое удовольствие.

Гонец и в самом деле точно выполнил поручение. Не прошло и часа, как Зебулон вновь увидел его в сопровождении крестьянской подводы.

С горделивым видом, соответствующим его рангу, взобрался Таллероши на задок телеги. Он снова был в том краю, где по его приказу запрягали без промедления!

По дороге он заставил медленно трусившего рядом с подводой всадника рассказать обо всех событиях, разыгравшихся за время его отсутствия. Ох, и радовался же Зебулон безудержной похвальбе своего собеседника! Что и говорить, она показалась ему приятней теплой шубы.

– Ведь мы теперь снова хозяева положения! А что сказал начальник отряда, услышав мое имя?

Всадник еле заметно усмехнулся.

– Господин начальник сказал, что хорошо знает барина. Пожалуйте к нему на квартиру. Он приглашает вас к себе перекусить.

– О, это великая для меня честь!

И Зебулон стал поправлять петли шнуров на своей кое-как застегнутой бекеше. Сапоги его, покрытые лесной грязью всех оттенков, имели весьма неприглядный вид.

На передок телеги была положена солома. Вытащив из-под сиденья небольшой пучок, Зебулон скрутил его и начал старательно очищать сапоги. Одновременно он продолжал разговор со всадником.

– Начальник вашего отряда, конечно, майор или капитан?

– Полагаю.

– Полагаете? А позвольте узнать его уважаемое имя?

– Господин Гергё Бокша.

– Кто? Гергё Бокша? Тот самый, что служил у меня погонщиком волов?

И Зебулон сразу забыл о своих сапогах.

«Вот уж не думал, что мне придется когда-нибудь являться к нему на поклон», – пронеслось в голове Таллероши.

Но по пути верховой порассказал ему такую кучу диковинных вещей о ратных подвигах Гергё Бокши (тут... были и бесчисленные стада крупного рогатого скота, угнанные у неприятеля, и множество отбитых возов с солдатским хлебом, а уж перехваченным вражеским гонцам и вовсе не было счета), что Зебулон был вынужден в конце концов признать: в военное время, как видно, может выслужиться и получить чин любой лихой наездник с увесистыми кулаками, который к тому же не слишком боится порвать свое платье в драке.

Такое заключение заставило его по прибытии в деревню не сразу отправиться в штаб-квартиру Бокши, а заехать сначала во двор к вознице.

«Надо же все-таки почистить сапоги», – рассудил он» Ваксы у хозяина не оказалось, и сапоги смазали салом; так оно лучше! Занимаясь своим туалетом, Зебулон сторговался с возчиком, чтобы тот за тридцать форинтов доставил его в Дебрецен. Итак, цель поездки определилась. Дебрецен теперь центр, столица.

Приведя себя в порядок, Зебулон отправился с визитом к Гергё Бокше.

Этому доблестному вояке было предоставлено право сколотить конный партизанский отряд и присвоить себе любой чин. При желании он мог именовать себя хоть капитаном. Если же кто-либо начал бы ненароком величать его майором, он бы тоже не слишком сердился.

Зебулон нашел, что его старый знакомый сильно изменился. Правда, на нем по-прежнему красовались доломан и кавалерийские рейтузы – униформа, в которой Зебулон видел его еще до памятного бегства; только на локтях появились заплаты, да штаны изрядно потерлись на коленях. Зато воротник и обшлага были расшиты новенькими золотыми галунами шириной в ладонь. Из-под доломана Гергё Бокши выглядывала потертая дерюга, но тоже украшенная золотыми позументами.

При встрече с Зебулоном Гергё держал себя обходительно и в то же время несколько свысока, спесиво и грубовато – все вперемешку. Принял он его радушно, но не проявил особого к нему уважения.

– Ого! Прибыли, наконец, ваше благородие! Рад, что имею честь. Милости прошу пожаловать нынче ко мне на обед, в другом месте все равно ничего не получите. Чувствуйте себя как дома.

За все время приема он даже не вынул трубки изо рта; однако то, что Бокша не протянул в знак приветствия руку, было Зебулону даже приятно.

Гость принял приглашение и уселся прямо на оттоманку. У Гергё Бокши хватило стратегических способностей избрать для своей штаб-квартиры единственную в деревне барскую усадьбу.

Немного спустя Зебулон тоже достал из кармана трубку. Желая напомнить, что он даже теперь более знатная персона, чем Гергё, Таллероши, набив трубку табаком из кисета, обратился к своему хозяину тем же фамильярным тоном, каким разговаривал с ним прежде; в тоне этом явственно сквозило чувство превосходства.

– А ну, милейший братец Гергё, дай-ка мне огонька!!

Предложить человеку с золотыми позументами, что бы он дал огня для трубки, – поступок более чем дерзкий. Ведь подавать фитилек – почти феодальная повинность. Выполнить такое приказание – все равно что

признать свою вассальную зависимость от сюзерена.

Гергё Бокша услужливо вытащил из внутреннего кармана какой-то печатный листок и с самым небрежным видом протянул его Зебулону.

– Вот, ваше благородие! Прочитайте сначала, а потом можете нарвать себе сколько угодно фитильков.

– Это что? Газета?

– Вот именно. «Марциуш»!^[93] Ее теперь печатают в Дебрецене, отсюда и получаем.

– Ах, вот оно что? Bravo! – воскликнул Зебулон. – Давненько не читал я газет. По крайней мере узнаю, что сейчас делается в Дебрецене.

И, снедаемый любопытством, он, вместо того чтобы закурить трубку, принялся жадно читать листок. Но то, что он там вычитал, начисто стерло с его лица сияющее выражение; оно сменилось такой явной растерянностью, что скрыть ее от Бокши было невозможно.

– Что-нибудь неладно, ваше благородие?

– Да вот трубка не курится, – в замешательстве пробурчал Зебулон.

– Так вы же ее еще и не раскурили!

– Ах да, верно, – спохватился Таллероши, пряча трубку в карман.

Уронив на колени газетный листок, Зебулон молча уставился на Гергё и наконец решился задать ему вопрос:

– Милый друг Бокша, не можете ли вы мне растолковать, что это за чрезвычайный закон, о котором здесь написано?

– Как же, могу. По этому закону изменники родины и те, кто якшался с врагом, должны быть преданы суду чрезвычайного трибунала.

– Но кого же причисляют к изменникам родины?

– К примеру, депутатов, не явившихся на дебреценский сейм.

– А если их задержали особые обстоятельства? Как, скажем, меня?

Бокша ответил в весьма ободряющем тоне:

– Но ведь тот, кто не смог прибыть, имеет право дать объяснения. Чрезвычайный трибунал разберется и, коли причина у него уважительная, оправдает его.

– Ах, так! Покорнейше благодарю! Я с тех самых пор был как затравленный заяц, находился в бегах, прятался в погребе, скрывался в известковой печи, сидел в бочке, напяливал на себя чепчик жены корчмаря, работал поденщиком, таскал лоханки с помоями, сносил ради блага отчизны голод и холод, а как только я предстану перед Государственным собранием, меч я тотчас схватят за шиворот и предадут чрезвычайному трибуналу! Хорошенькое дело, нечего сказать.

– А иначе и быть не может, «Марциуш» это очень вразумительно

растолковал. Пора уже строго наказать изменников родины! Тех, кто нынче здесь, а завтра, глядишь переметнется туда.

– Да я-то и часа там не был, – оправдывался Зебулон.

– Тех, кто хоть раз заговорил с врагом...

– Ну, что до меня, я ни словом с ним не обмолвился. Кроме грома пушечных выстрелов, ничего до моего слуха от врага не доходило.

Зебулон оправдывался с такой горячностью, словно уже держал ответ перед трибуналом.

А Бокша продолжал свое:

– Или таких, к примеру, кто написал неприятелю хоть одну строчку.

Как раз именно этот пункт приводил Зебулона в некоторое смущение. Письмецо, посланное им небезызвестному Ридегвари через посредство некоего Салмаша, внушало ему известные опасения. Но ведь Салмаш, должно быть, уже за тридевять земель, и, право же, не стоит тревожиться из-за пустяков.

– В такие суровые времена не приходится щадить людей! – безжалостно продолжал Гергё.

И, набравшись храбрости, он сел на оттоманку рядом с Зебулоном, закинув ногу за ногу и скрестив руки на груди.

– В такую пору я не признаю ни закадычного друга, ни знатного барина, – продолжал Бокша, покуривая трубку и выпуская густые клубы дыма. – Будь он мне родной брат, но коли он предатель, я прикажу его схватить и отправить под конвоем куда следует.

– Куда?

– В Надьварад.

– А что там такое?

– Чрезвычайный трибунал.

– Разве он уже существует?

– А как же! Не только существует, но и действует.

– Действует? Значит, Бокша, если вы кого-нибудь из «этих» поймаете, то отправите туда?

– Как пить дать! Будь он хоть кум королю. Возьмем, к примеру, Салмаша, уж он-то был мне добрым приятелем...

При этом имени кровь начала холодеть в жилах Зебулона.

– И этот пройдоха оказался шпионом. Лишь только я об этом узнал, тотчас пустился за ним в погоню.

– Так вы, значит, гнались за Салмашем?... – сорвалось с языка Зебулона.

Эти неосторожные слова вызвали подозрение Гергё. Искоса взглянув

на собеседника, он спросил:

– Откуда вы, сударь, знаете, что я за ним гнался?

– Да ничего я не знаю, не так сказал, не на том слове ударение сделал.

Я хотел только спросить, неужели вы сами, господин капитан (он так и сказал: «господин капитан!»), гнались за Салмашем? Мне-то что! Гоняйтесь за ним сколько угодно.

– Да я за ним больше не гонюсь.

– Это почему же?

– Да по той простой причине, что я его уже словил.

– Когда?

– Час назад. Прохвост как раз напоролся на меня, когда пытался куда-то улизнуть.

– И что вы с ним сделали?

– Он сидит здесь, в сарае для дров. Очень опасный лазутчик. При нем оказалась уйма бумаг, спрятанных в подкладке куртки и под стельками сапог. Но я их и там обнаружил.

Зебулону показалось, что Бокша пристально поглядывает на его сапоги.

– У него найдены бумаги, компрометирующие разных господ, – продолжал Бокша, многозначительно шевеля бровями.

Всего этого для Зебулона оказалось более чем достаточно: чрезвычайный трибунал, адресованное неприятелю письмо, Дебрецен, Надъварад, Салмаш, Бокша, свист, пуль, запах пороха...

И он сказал Гергё, что с позволения «господина майора» отлучится ненадолго на квартиру, где остановился; ему, мол, надо переобуть сапоги. Эти сильно жмут.

Тесные сапоги были, конечно, чистейшей выдумкой, А вот воротник и вправду показался ему тесен: вокруг шеи Зебулон ощутил внезапно что-то, сильно напоминавшее петлю...

– Вот что, дядя! Заложика немедля лошадей и увези меня отсюда, – сказал он ямщику, сразу же как вошел в дом.

– И куда же требуется барина везти?

– Все равно. Куда угодно. Только не в Дебрецен.

Но ямщику все же хотелось уточнить, в какую именно сторону думает направиться господин: «В ту, вниз, или в эту, вверх?» И еще он спросил, сколько дней им придется пробить в пути.

Зебулон решил ехать «вверх» и не вылезать из повозки, пока будет возможно.

Повсюду его преследуют, покоя нет, деваться некуда Остается одно –

бежать да бежать.

Немец поймает – расстреляет, мадьяр схватит – расстреляет. Там – он мятежник, тут – изменник родины. Кому в руки ни попадись, все одно – смертный приговор. «Я словно разгуливал по аллее виселиц», – говорил он позднее об этом времени.

На ближайшей стоянке, пока ямщик кормил лошадей, Зебулон попросил у корчмаря ножницы и бритву.

Таллероши носил длинную, окладистую бороду, уже несколько выцветшую и местами тронутую сединой. Она была предметом его гордости, символом мужского достоинства. Этакая ни разу не стриженная, не тронутая металлом, даже редко расчесываемая гребешком борода, с которой так приятно смахивать после обеда хлебные крошки. И вот теперь он берется за ножницы и бритву, чтобы остричь эту бороду под самый корень. Ох, люди, не имеющие бороды! Не знаете вы, что значит лишиться ее. Это – как бы похоронить часть самого себя.

Зебулон долго разглядывал зажатые в кулак космы волос, смахнул пару слезинок и, завернув в бумагу сии бранные останки своей красы, наиболее славную часть своего «я», сунул их за пазуху. Пусть хоть спрятанные, они все же навсегда останутся при нем! Потом он посмотрелся в зеркало, показал язык отразившемуся там уроду и решительно повернулся к нему спиной.

А ведь ничего не поделаешь, придется теперь ежедневно лицезреть в зеркале эту обезображенную физиономию. Человек, не носящий бороды, отбывает своего рода повинность: каторжный труд ежедневного бритья!

Когда Зебулон снова предстал перед ямщиком, тот только диву дался, глядя на его помолодевший лик. Пока они сидели в корчме, ямщик молчал, но, выехав на дорогу, он обернулся и сказал Зебулону:

– Видно, барин желает ехать сейчас по безлюдным местам?

– Угадал, – подтвердил Зебулон.

– Понимаю, – отозвался ямщик, – и расспрашивать больше не стану...

Ну, ничего. Я довезу барина так, что с ним ничего не стрясется, Вы, верно, в Польшу хотите податься?

– Туда, – согласился Зебулон. Он и сам хорошо не знал, куда ему податься.

– Одного барина я уже переправил туда. Он за поляками поехал. И вас, сударь, повезу самыми глухими местами, где даже птицы не летают. Доставлю до такого места, откуда дальше вас повезут другие, пока до Польши не доберетесь. А выпытывать у вас я ничего не собираюсь.

Нечего сказать, обрадовал его ямщик! Мало Зебулону того, в чем он

действительно повинен, а теперь того гляди ему припишут дело о тайных сношениях са поляками! Чего доброго, действительно увезут а Краков!

Между тем ямщик, как и обещал, вез его два дня и две ночи по глухим, никогда не выдавшим исправников и жандармов проселкам, по горам и долам, останавливаясь на ночлег в каких-то подозрительных местах.

На третий день Зебулон почувствовал, что сыт па горло этой поездкой. Он ведь не имел ни малейшего желания вербовать польский легион. Заметив при въезде в долину колокольню какого-то селения, он остановил подводу, расплатился с ямщиком и заявил, что тот может повернуть оглобли и воротиться домой. Отсюда, мол, он доберется сам, у него здесь неотложные дела.

Ямщик выразил сожаление: ведь он готов был везти барина до самой Польши.

Зебулону снова пришлось идти пешком, таща на себе котомку. Он никогда не слышал даже названия деревни» в которую решил свернуть. Но ему уж очень приглянулось это селение: в нем было целых две колокольни. Одна из них, поменьше, принадлежала католической церкви, вторая, побольше, крытая железной кровлей, – Лютеранской церкви. Именно она-то и привлекала Таллероши. И он сразу направился в дом лютеранского пастора.

Достопочтенного пастора звали Балинт Шнейдериус, Зебулон представился ему. Священник оказался весьма осведомленным: как же, он, конечно, слышал имя столь известного господина!

Затем Зебулон чистосердечно исповедался перед ним во всем – от начала и до конца. После всего случившегося, сказал он, ему, понятно, не сидится в стране. Он оказался в столь исключительном положении, что всякое ружье, в чьих бы руках оно ни находилось, нацелено ему прямехонько в голову.

Балинт Шнейдериус был человек весьма сообразительный и добросердечный. Он сразу придумал план спасения для достопочтенного господина: Зебулону надо бежать за границу.

Но для бегства нужен был заграничный паспорт, а его мог выдать только правительственный комиссар императорских войск. В данный момент комиссар находился как раз в Элерьеше. Однако для получения заграничного паспорта нужен предлог.

И предлог нашелся.

У Балинта Шнейдериуса учился в Геттингене сын, студент, – Теофил Шнейдериус. Он как раз недавно написал отцу, чтобы тот срочно прислал

ему денег, так как он якобы смертельно болен. Денег старик, разумеется, не выслал: студент ничем не болел, а просто был изрядный кутила. Вот письмо к любящему отцу и была хорошим предлогом для поездки в Геттинген – нужно, мол, навестить хворого сына. Таким образом, Зебулон сможет бежать за границу с паспортом его преподобия Балинта Шнейдериуса.

– Так-то оно так, дорогой пастор, – заметил Зебулон. – Но в этот самый дурацкий паспорт записываются особые приметы. А у меня волосы белобрысые, как конопля, тогда как у вашего преподобия – они темные и жесткие, как у вепря. Ну, волосы еще куда ни шло, их можно перекрасить, Но что прикажете делать с моим горбатым носом? А у вашего преподобия нос как назло приплюснутый.

– Делу помочь нетрудно, – не растерялся и тут пастор. – Поезжайте, сударь, в Элерьеш за моим паспортом сами и пусть запишут туда ваши собственные приметы.

– Чтобы я поехал? Это в вашей рясе? Да и куда девать усы?

– Усы придется сбрить.

При этих словах Зебулон тяжело вздохнул. Пожертвовать своими усами! Ведь у него такие огромные, представительные усы! Со времен позорного случая с «горе-витязями»,^[94] ни с одним мадьяром не приключалось ничего подобного!

Зебулон попросил себе день на размышление. И, подумав, пришел к выводу, что раз уж приходится делать выбор между шеей и усами, предпочтительнее подставить под нож усы. Они-то когда-нибудь снова отрастут, тогда как шея, увы, не вырастет никогда.

Что поделаешь, пришлось упрятать в жилетный карман и отрезанные усы!

Когда общипанный и ободранный, униженный в своем мужском достоинстве Зебулон подошел к зеркалу, он вынужден был признать, что еще никогда не сталкивался с более кротким, смиренным протестантским пастырем-праведником, чем тот, которого лицезрел сейчас пред собой.

Впечатление это лишь усилилось, когда он облачился в одежду пастора. Но никто не смеялся. Дело было. крайне серьезное, игра велась ва-банк, и ставкой в этой игре была человеческая голова.

Балинт Шнейдериус научил Зебулона, как и что отвечать на возможные вопросы. Надо хорошенько запомнить имя пасторского сына и имя самого пастора, которое теперь станет его именем. Пусть он затвердит также и пункт следования – Геттинген, и местожительство пастора: селение Пуккерсдорф. Все это необходимо крепко держать в памяти.

Зебулон выпросил еще один день для освоения своей опасной роли, после чего отправился в Эперьеш, увезя с собой благословение добрейшего Балинта Шнейдериуса, а заодно и его поповское облачение и *lamentabile nuntium*^[95] его отпрыска.

Когда Зебулон въехал в Эперьеш, город кишмя кишел императорскими войсками. Сторожевая охрана у заставы не стала задерживать священника и даже выдала ему обратный пропуск на беспрепятственный выезд из города.

Зебулон приказал вознице ехать прямо к резиденции верховного правительственного комиссара. Когда он поднимался вверх по лестнице, у него от страха чуть сердце не выскочило. Всю дорогу бормотал он про себя: «Шнейдериус Валентин, Шнейдериус Теофил, Геттинген, Пуккерсдорф» – и был уверен, что тотчас забудет все эти имена и названия, едва предстанет перед комиссаром.

Однако отступить уже было поздно, приходилось идти вперед. Его направляли из одной канцелярии в другую, и всюду что-то строчили, копошились в бумагах какие-то чиновники с постными казенными физиономиями. Наконец Зебулон предстал перед самым могущественным императорским сановником.

Страх только содействовал маскировке Зебулона. Голову он втянул в плечи, а переступив порог кабинета верховного комиссара, благоговейно сложил руки на груди, держа в одной из них высоченный цилиндр, а в другой – эпистолярное послание *filius prodigus*.^[96] Глядя на него, никто бы не усомнился, что это – смиренный духовный пастырь, К тому же, поскольку преподобный отец Шнейдериус был низкорослым, Зебулону приходилось сгибать ноги в коленях, чтобы ряса доставала до пят. Он не мог заставить себя поднять глаза и с напускным благочестием пробормотал:

– *Вопум mane граесог, domine perillustrissime!*^[97]

Однако не успел он произнести это немногословное приветствие, как его высокопревосходительство правительственный комиссар с громким смехом воскликнул:

– Сервус, Зебулон!

Порази Зебулона гром, он и тогда не пришел бы в такой ужас, в какой повергли его эти слова. Герой наш, до того перетрусил, что едва не рухнул на пол.

– Что за нечистая сила заставила тебя облачиться в поповское одеяние?

Только тут Зебулон поднял глаза и воззрился на окликнувшего его правительственного комиссара.

Но вельможа, словно не замечая изумления Зебулона, бросился ему навстречу, обнял, стал трясти его руку и даже похвалил:

– Ну, слава богу! Наконец-то ты до меня добрался! Молодец, Зебулон. Я получил твое письмо, посланное через Салмаша. И с тех пор все поджидал тебя. Хорошо сделал, что приехал. Твой маскарад свидетельствует, об опасностях, которым ты подвергал себя. Что ж, воздадим должное твоей верноподданнической преданности.

Обещанный пост я сохранил за тобой. Кроме того, на тебя будет возложена одна высокая миссия. Я сделаю тебя, Зебулон, большим человеком. Да, большим человеком!

Зебулон все еще чувствовал себя так, словно его только что вытащили из воды. Он до того был ошеломлен, что никак не мог прийти в себя.

– А теперь, первым делом, иди сюда и подпиши вот этот лист. Даже не спрашивай, что такое, подмахивай, не читая! Ты же видишь: на нем уже стоят подписи самых знатных и сановных господ.

Зебулон целиком доверился перу, которое как бы само двигалось по бумаге. Так прикорнувший кучер предоставляет лошадям везти его по их собственному усмотрению хорошо знакомой дорогой.

А бумага, на которой он поставил свою подпись, была тем историческим документом, в котором венгерские сановные господа настоятельно молили всероссийского монарха, чтобы он соизволил двинуть им в помощь свою огромную армию и окрасить чистые воды четырех рек их отчизны в алый цвет.

Подмахнув бумагу, Зебулон испросил себе первую милость: разрешение отправиться на боковую.

И спал он беспробудно вплоть до следующего утра, словно опиума накурился.

Только отоспавшись и окончательно придя в себя, стал он думать, что за странные сны снятся ему теперь наяву, и спросил сам себя: как очутился он там, куда не имел ни малейшего желания приезжать, и почему удрал оттуда, где был исполнен решимости остаться? Значит, никто не обнаружил у Салмаша его, Зебулона, письма, ибо оно давным-давно было вручено Ридегвари, И Таллероши решил, что все это – прихоти судьбы, сыгравшей с ним такую шутку!

Словно для полноты картины, когда он, переодевшись; явился к Ридегвари, то нашел там уже и самого Салмаша. Плут в первую же ночь сбежал от Гергё Бокши и спас свою шкуру от возмездия чрезвычайного трибунала. Он как раз потешал его превосходительство рассказом о своей забавной встрече с Зебулоном.

Господин Ридегвари до упаду хохотал над этим комическим происшествием. Да еще потребовал, чтобы позднее, во время обеда, сам Зебулон вторично поведал ему веселую историю о том, как они с Салмашем дурачили друг друга.

Но это предложение не вызвало улыбки на лице Зебулона, Он продолжал оставаться серьезным и лишь продекламировал про себя шестой стих псалма: «На реках вавилонских сидели мы и плакали».

«Пусть лучше у меня язык присохнет к небу!» – решил он.

И от этой мысли он помрачнел еще сильнее, что, в свою очередь, вызвало еще больший смех вельможи.

А между тем в ту годину безвременья было не до смеха.

Одинокий всадник

В Пеште царит мертвая тишина. Уже утро, а пустынные улицы все еще безлюдны. Сейчас пора еженедельной ярмарки, но на базарных площадях не видна ни одной подводы. Стоит чудесная погода, а в городе – никакого движения, не встретишь пешеходов. На обычно оживленных улицах редко-редко попадетсЯ одинокий прохожий: или особые обстоятельства вынудили его выйти из дому, или он просто не подозревает о последних событиях на перекрестках ночью вывесили приказы. Путник, прочитав их, ускоряет шаг, торопясь поскорее пройти. Краткий текст приказов полон зловещих угроз.

А ведь в обычное время у Пешта такой мирный облик! В городе не сохранилось ни ветхих башен, ни крепостных развалин, которые напоминали бы о мрачных временах средневековья; уцелевшая стена последнего бастиона давно застроена зданиями, Нет в городе и древних замков, о которых народная молва обычно складывает жуткие легенды. Нет здесь ни полных тайны монастырей, от чьих стен веет ужасом, и роскошных аристократических дворцов, нет ни Бастилии, ни Тауэра, ни Кремля, ни Лувра, ни одного сколько-нибудь монументального собора, придающего городу торжественный вид. Кажется, будто это своего рода уютный «домашний очаг».

Я рассказываю о том облике, который Пешт имел сорок пять лет назад. В ту пору вокруг него еще не дымились во множестве мрачные фабрично-заводские трубы, что расписывают сияющее небо прозаической копотью. Примыкающие к Национальному музею деловые кварталы в те времена еще не существовали даже в воображении. Вдоль широкой набережной Дуная красовался, стройный ряд трехэтажных построек – вереница нарядных зданий, похожих на ровный ряд зубов, который жемчужной нитью сверкает меж улыбающихся уст молодой красавицы, неодолимо привлекая к ней всякого с первого же взгляда.

Но если намалевать на лице этой молодой красавицы усы, ее не узнают даже постоянные поклонники, а другие люди будут просто шарахаться от нее и убегать прочь.

А ведь усы были нарисованы! Это – густой частокол, извивающийся лентой от новых казарм до береговых устоев Цепного моста; он протянулся по приказу австрийского полководца через весь город.

Частокол проходил через весь центр Пешта. Сооружен он был из заостренных кольев и шел в два ряда, а вдоль берега Дуная – в один. В

промежутках виднелись бойницы. На подступах к Цепному мосту частокол образовывал обширный двор, который простирался до нынешнего здания Ллойда (в ту пору в нем помещалось казино). В том месте, где теперь высится Коронационный холм, к этому двору примыкал бревенчатый бастион с квадратными амбразурами. Из них выглядывали чудовищные орудия, чьи зияющие дула напоминали одновременно и разверстую пасть, и врата в небытие.

Это бревенчатое укрепление превратило дунайскую набережную в наглухо перекрытый посредине тупик, и гражданское население больше через Цепной мост не ходило. А на противоположном берегу, в Буде, где ныне расположен выход из горловины туннеля, поперек всего Цепного моста была установлена заградительная батарея из двенадцати орудий. Они напоминали опрокинутый орган и по одному мановению руки могли смести все, что появилось бы в зоне их действия.

Развешанные в городе на заре приказы объявили населению, что всякий, кто станет шататься по улицам или осмелится глазеть из окон, выходящих на линию частокола, пусть пеняет потом на себя за те беды, что впоследствии за этими поступками.

Тем не менее находились любопытные, которые время от времени из-за опущенных штор пытались разглядеть, что происходит за частоколом» Они увидели нескончаемые ряды штыков, которые словно гигантская змея с игольчатой спиной, извивающаяся в тесном загоне, безостановочно двигались через Цепной мост в Буду. И хотя солдаты шли без барабанного боя, жители Пешта, далее те, кто не решался смотреть вниз и не видел этого грозного и таинственного шествия, – всю ночь слышали непрерывное громыханье, от которого дрожали стены в домах. Оно будило людей, заставляло их вскакивать с постели. То катились по булыжной мостовой тяжелые орудия, А у плашкоутного моста, въезд на который находился против, нынешней улицы Деака, теснилась длинная вереница конных отрядов и обозов, напиравших друг на друга, словно в крайней спешке.

При виде этой картины каждый с невольным трепетом спрашивал:

– Что же происходит?

Как только переправился последний кавалерийский эскадрон, сразу же загорелся упирившийся в берег со стороны Буды конец Плашкоутного моста. Дул западный ветер, на мосту была разбросана просмоленная солома. Через каких-нибудь пять минут все сооружение вспыхнуло, так что пламя распространилось от одного берега до другого. Голубой Дунай казался корчившейся гигантской змеей, опоясанной огненным жгутом.

И тогда только все поняли, что именно происходит: главнокомандующий сжигает мост за своей спиной!

За своей спиной?!

Да! Спесивый аристократ, который почитал за людей лишь тех, кто имел по меньшей мере титул барона, надменный государственный деятель, не соизволивший даже вступить в переговоры с целой нацией, предлагавшей мир, кичливый полководец, еще четыре месяца назад бросивший на стол в королевском дворце в Буде свою фуражку со словами: «Ессосси: finita la commedia!»^[98] – теперь сжигал мост за своей спиной! Убегал от протянутой ему с мирными намерениями руки, которую сам же вынудил схватиться за эфес сабли!

Что же происходило за его спиной?

В тот самый момент, когда огненный пояс пылавшего моста охватил голубую реку, по Керепешскому шоссе галопом въехал в город одинокий всадник.

Один-единственный гусар.

Судя по мундиру, он принадлежал к числу старших офицеров. Мчался он на великолепном чистокровном скакуне, даже не вытащив из ножен сабли. Его пистолеты, покоились под лукой седла.

Один-одинешенек несясь он вскачь по широкой и длинной улице.

Далеко позади за ним следовал рысцой небольшой отряд гусар, которые едва успевали следить глазами за своим отчаянным командиром.

Услышав бешеный стук копыт, из окон начали выглядывать люди, и, как по щучьему велению, весь облик города сразу стал меняться.

Ведь это же первый венгерский гусар несясь по его улицам вскачь! И тут раздался непередаваемый, ликующий возглас! Его снова услышат в небесах лишь тогда, когда труба архангела громко возвестит: «Воскресение!» Когда мириады возродившихся существ сбросят с себя земной покров, под которым проспали кошмарным сном целые века, когда сила слабых возрастет до мощи грома, а власть сильных мира сего развеется в дым, когда оживет каждый ком земли и вся поверхность земного шара станет единой живой массой, которая будет восторженно славословить творца от одного полюса До другого, и гимн этот вознесется до самых звезд!

Именно такой возглас раздался в городе.

Громовые крики «ура», возникнув у Керепешского шоссе, прокатились до станционного здания кокки, вдоль набережной Дуная; они были слышны даже в глубине самых узких закоулков. Крики эти все нарастали, доходя до священного исступления, сотрясавшего небосвод. То был неслыханной

силы стихийный хор стотысячной массы узников, вырвавшихся из заточения! Торжествующий клич поработанных титанов, которым удалось сбросить со своей груди Пелион и Оссу!^[99]

Как в день всеобщего воскресения, когда могилы извергнут из своих недр мертвецов и оживет каждая пылинка, все улицы города вдруг наполнились людскими толпами – неистовствующими, опьяненными радостью, ликующими. Старики и дети, мужчины и женщины, знатные господа и простолюдины, евреи и христиане, знакомые и незнакомые обнимали и целовали друг друга, рыдали, смеялись, снова кричали «ура» и от всего сердца, во весь голос прославляли священное имя родины. Повсюду распахнулись окна, и в них показались сияющие рожицы детей и, залитые слезами радости, счастливые лица женщин. Цветы всех оранжерей были отданы на венки. Эти венки и букеты летели под ноги гусарских коней.

Ведь то были кони венгерских гусар, въезжающих на улицы Пешта!

Воинов забрасывали цветами. Под ними уже не видно было ни всадников, ни лошадей. Знатные дамы, первые красавицы, падали ниц, преклоняли колена перед своими избавителями, как перед святыми. Прекрасные женщины опускались прямо в уличную пыль и целовали загорелые руки простых гусар!

Откуда только взялись на каждом доме трехцветные национальные знамена? Все люди надели чудесные красно-бело-зеленые кокарды с национальным гербом ведь до сих пор их приходилось тщательно скрывать, женщины прятали их на груди, и это было сопряжено со смертельной опасностью. Теперь как из-под земли появились широкие, развевающиеся на ветру знамена и крохотные порхающие флажки; все они колыхались на окнах и балконах, на крышах домов, выглядывали из чердачных слуховых окон, были прикреплены к вышкам. Казалось, какой-то волшебник подарил городу трепещущие крылья бабочек, и Пешт от радости вот-вот взлетит в поднебесье!

Кому могло в то время прийти в голову, что на эту ликующую, охваченную радостным порывом толпу, чья-то зловещая рука уже готовится набросить мрачный покров.

А черная пелена дыма от пылающего плашкоутного моста, как грозное предзнаменование, траурным флером уже застило небосвод над убранной лентами головой возрожденного города, справлявшего свой праздник.

Вырвавшийся вперед одинокий всадник, провожаемый возгласами, ликования и криками: «Слава героям!» – проехал по улице Хатвани и свернул в один из переулков.

Там он сдержал бег своего коня и поехал тихим шагом, разыскивая номер нужного ему дома.

Найдя его, он сошел с лошади и через открытые ворота ввел ее под уздцы во двор.

Услышав цокот копыт и звон шпор, из низкой застекленной двери высунулся какой-то взлохмаченный старик. По-видимому, это был дворник. Да к тому же еще и сапожных дел мастер.

– Добрый день, – поздоровался всадник.

Разглядев гусара, дворник выскочил из распахнутой Двери, кинулся к нему, схватил его руку и стал целовать. Когда же офицер выдернул руку, он поцеловал кисточку на его темляке. Офицер снова остановил восторженного дворника, тогда тот обхватил голову лошади и чмокнул ее в кос, после чего пустился во всю прыть со двора. Он был уже почти на улице, когда гусар, догнав его, схватил за шиворот и остановил. Не будучи в состоянии сдвинуться с места, дворник все же успел криком поднять на ноги всех обитателей дома:

– В городе гусары! Мадыяры пришли!

– Полно, отец, не вопи как шальной! – пытался утихомирить его офицер.

– Да откуда вы?... Ваше благородие! Ваше высочество! Ваше святейшество! Господин генерал! Господин Фельдмаршал! Архангел Михаил! Как сумели вы к нам добратся?

– Ну, уж это я расскажу в другой раз. А сейчас проводи меня к одной особе. Она проживает в этом доме, и мне надо немедленно с ней переговорить.

– Сударь, сперва назовите мне ваше славное, бесценное имя, до смерти хочется знать, кого я узрел собственными глазами не во сне, а наяву.

– Ладно, старик, так и быть, скажу. Меня зовут Рихард Барадлаи. Если это доставит тебе удовольствие, я готов встать на постой в этом доме. Но прежде быстренько покажи, куда мне идти.

– Ах ты боже мой, какой красавец! Какой бравый гусар! А как хорош этот национальный пояс для сабли! Угораздило же мою жену на днях помереть! Так и не дождалась этой счастливой минуты! До чего досадно что нельзя позвать ее, чтобы и она могла вами полюбоваться! Ведь ей так не хотелось помирать, прежде чем она снова не увидит гусара, молодецки гарцующего на коне.

Рихарду пришлось терпеливо переждать, лоха добряк не окончит свои сетования.

Излив душу, дворник дошел наконец и до сути дела:

– Что вам угодно, сударь?

– Я разыскиваю одну даму, которая здесь квартирует. Некую госпожу Байчик.

– А, знаю, она квартирует действительно здесь. Тут, тут ее жилье... Кстати, нельзя ли мне покормить этого славного коня? Попотчевать его калачом?

– Милый земляк, – хватит заботиться о моем коне. Какой же все-таки номер квартиры?

– Двадцать первый, на третьем этаже, пожалуйста... А покамест дозволейте подержать за повод вашего славного коня!

Патриотический восторг старика заставил Рихарда улыбнуться, а так как он и в самом деле не собирался въезжать верхом на третий этаж, он охотно вверил лошадь дворнику.

Едва Рихард скрылся в подъезде в поисках квартиры номер двадцать один, дворник просунул руку в окно своей комнаты и вытащил оттуда недоеденный завтрак; кружку кофе с молоком и сдобную булочку, с превеликим наслаждением обмакивал он кусок за куском в кофе, клал каждый из них на ладонь и запихивал в рот коню. Он не мог нарадоваться, глядя, как лошадь поглощает его угощение.

– Должно быть, госпожи нет дома? – крикнул из коридора третьего этажа Рихард. – Никто не открывает.

Дворник ответил со двора:

– Да, госпожи действительно нет дома.

– А кто-нибудь из прислуги дома?

– Тоже нет.

– Да что это такое, земляк! Не мог ты разве сказать мне об этом внизу, чтобы я зря не тащился наверх?

Старик лукаво усмехнулся. Ведь ему так хотелось покормить этого чудесного коня!

Спустившись снова во двор, Рихард не стал больше попрекать старого чудака. Он никогда не сердился из-за шуток, от кого бы они ни исходили. Лев не пускает в ход свои когти, чтобы почесаться, в отличие от собаки.

– Когда же госпожа возвратится?

– Вот уж, право, не знаю.

– И не можешь сказать, куда она ушла? Где бы я сумел с ней встретиться?

Еще недавно такой веселый, старик погрузился и возвел к небу глаза.

– Ох, ваше высокопревосходительство! Если б вы только могли приоткрыть, или распахнуть ударом сапога, или проломить палицей дверь,

за которой сейчас обитает госпожа!

– Что за чертовщина? Где же она наконец находится?

– В Буде. В каземате.

– А как она там очутилась?

– Да ее туда посадили. Пришли за ней однажды и заявили, будто она якшается с нашими, поставляет им военное снаряжение, осведомляет, мол, о положении дел. Она и правда частенько выезжала в Дебрецен. Потом схватили ее и служанку и увезли обеих в Буду. Я не раз носил ей туда кое-какие вещички, но в камеру к ней меня никогда не допускали. Она сидит в каталажке, в доме номер один, у Фехерварских ворот.

Рихард досадливо ткнул кончиком сабли в землю. Он торопился, стремился в самый центр покинутого врагом города не для того, чтобы стяжать себе славу, и даже не для того, чтобы упиться ликованием только что освобожденного города. Его толкал вперед торжественный обет, данный им воину, сраженному его мечом, храброму противнику.

«Плач твоего ребенка не потревожит твоего сна там, в земле!» – заверил он Палвица в его предсмертный час.

С той самой поры этот обет не давал Рихарду покоя. Все последние дни он водил своих гусар в бой, ежедневно возобновлявшийся на равнине у самого Пешта. Эти атаки носили отвлекающий характер. Они были рассчитаны на то, чтобы замаскировать маневр основных сил армии, спешивших освободить Комаром.

И вот теперь, когда Пешт освобожден и Рихард мог, казалось, выполнить свое обещание, выяснилось, что это не так просто, что для этого надо снова рисковать своей жизнью.

Женщина, которую он разыскивал, от которой должен был узнать о местонахождении сына Отто Палвица, схвачена и увезена в Буду, брошена в темницу.

Эта незадачливая баба словно играет в прятки с судьбой. Когда ее искал Палвиц, она жила в той части страны, которая была занята венгерскими войсками, а когда поисками занялся Барадлаи, ее заточили в крепость австрийцы!

А ведь только она одна знает, где ребенок.

Да оно и понятно: не принято рассказывать всем и каждому о горестной судьбе таких несчастных детей.

Битва громовержцев за крепость

До тех пор, пока на земле будут обитать мадьяры, не перестанет раздаваться упрек: зачем понадобилось осаждать крепость в Буде?

Но разве можно было поступить иначе?

Спросите, зачем женщины Карфагена остригли свои длинные золотистые локоны и смастерили из них тетиву для арбалетов? Зачем в эпоху пунических войн красивые девушки добровольно похоронили себя под развалинами храма Дагона?^[100]

Спросите, почему, находясь среди величайших чудес света – «висячих садов» Семирамиды, – народ Израиля оплакивал руины своего священного города?

Почему в течение полувека два миллиона воинов с крестом на груди и с мечом в руке отправлялись за тысячи миль, через сушу и моря, отвоевывать город Иерусалим?

Как случилось, что фанатический патриотизм русских заставил их поджечь свою захваченную врагом древнюю столицу Москву?

Отчего выпал меч из рук великого Наполеона и корона слетела с его головы, когда он увидел занятый врагом Париж?

И спросите еще, почему вновь и вновь старцы и юноши Италии устремляются со всех концов страны к городу на семи холмах, чтобы умереть или победить? Почему не перестают они нарушать покой целой половины мира своим неистовым криком: «Roma o morte!»^[101]

История ответит на все эти вопросы. Она ответит также и на вопрос: «Зачем понадобилось осаждать крепость в Буде?»

Возможно, ареопаг истории осудит нас, венгров, как и тех, кого мы перечислили. Но суд поэзии оправдает, нас. Слова поэтов, начиная от царя Давида и до Виктора Гюго – «Иначе не могло быть; так должно было случиться!», – подтвердят нашу правоту, А истина, высказанная поэтом, – вечная истина!

Тем же, чем был Карфаген для пунического народа, Иерусалим – для народа Израиля, священная земля – для христиан всего мира, Париж – для французов, Москва – для русских, Рим – для итальянцев, – была для нас крепость в Буде.

То было бьющееся сердце нашей отчизны...

То был зримый лик великой, идеально прекрасной Матери-родины...

То было честное имя отца законнорожденного ребенка...

Можно ли было не слышать лихорадочного биения этого сердца?

Не предаваться горю, видя этот скорбный лик?

Сносить глумление над именем отца?

Мне нередко приходилось слышать от мужчин, – казалось бы самых хладнокровных, спокойных, уравновешенных и благоразумных, которые отчетливо сознавали причины своих поступков, такие слова:

– Если бы кто-нибудь дал мне пощечину, я вызвал бы его на дуэль. И либо я убил бы его, либо он – меня. Окажись мы оба ранеными, едва оправившись, мы бы снова принялись драться на шпагах. Я бы резал своего противника ножом, душил петлей, добивал кулаком; если бы стал тонуть, то и его увлек бы за собой на дно!

Так вот захват врагом крепости в Буде был для венгерской нации такой пощечиной.

Итак, посмотрим: если титанам удастся заполучить в руки гром Юпитера, не окажется ли низвергнутым и сам Юпитер?

Десять дней прошло с тех пор как первый отряд гусар промчался по улицам Пешта. Десять дней танталовых мук! Целая нация ежедневно взирала на каждый камень крепости в Буде: перед ее глазами высилось маленькое, жалкое укрытие врага, который уже не в состоянии себя защитить, но способен еще огрызаться, крушить, мстить. Для военного искусства новой эпохи уничтожить это вражеское гнездо было делом одной ночи. Но если б венгры заняли крепость, они вызвали бы разрушения, которые пришлось бы восстанавливать чуть не зек.

С вершин окружающих гор можно было обозреть закоулки этой крепости. Осаждавший мог видеть ее всю, словно читать раскрытую книгу. Ее оборонительные сооружения представляли собой всего лишь ветхие кирпичные стены, без каких-либо выдвинутых вперед фортов. Крепость была плохо обеспечена водой, единственный акведук был возведен на берегу Дуная, Стоило осаждающим разрушить его, и на другой же день жажда выгнала бы из крепости весь гарнизон.

В чем же тогда заключалась чудодейственная сила сопротивления этой крепости?

Дело в том, что у ее подножья простирался Пешт, В ответ на каждую пулю осаждающих те, что сидели в крепости, осыпали Пешт огнедышащими снарядами.

Замысел, разящий в самое сердце! Осажденный говорит нападающему:

– Если ты обнажишь против меня меч, я не остановлюсь перед тем, чтобы пронзить сердце твоей дочери, твоей жены, твоего спящего в

колыбели ребенка.

Так и поступил враг.

Спустя десять дней после того как неприятель покинул Пешт, в Буду, туда, где расположены источники Визивароша, примчался отряд гусар. На бомбовой площади стояли два австрийских пехотных подразделения о двумя пушками. Оказавшись в зоне досягаемости артиллерийского огня, гусары сразу же были встречены огнем из орудий, осыпавших их картечью. Град осколков дробно застучал по стенам домов. Собравшаяся возле кофейни толпа зевак глазела на смертоносную игру. Снаряды пролетали над их головами. Но вот один из осколков отскочил от мраморного порога кофейни и сразил насмерть сидевшую за кассой восемнадцатилетнюю девушку.

Взвод гусар отошел к источнику Часарфюрдэ, а австрийская пехота вместе с пушками отступила за защитные дамбы водоотводного канала. Только три гусара рысью преследовали врага до самого шлагбаума, сколоченного из тяжелых бревен. Осмотрев под свистом пуль дамбы, гусары не спеша вернулись на исходные позиции. Конь одного из них, поскользнувшись на ровной мостовой, сбросил седока и убежал. Но его поймали стоявшие возле кофейни горожане.

В полдень чудесного солнечного майского дня первое подразделение гонведов атаковало установленные неприятелем в Буде заграждения. Это был десятый пехотный батальон.

Все офицеры шли впереди боевых колонн. С бастионов крепости наступавших обстреливали двенадцатифунтовыми ядрами, а установленные у арсенала мортиры забросали их бомбами. Непрерывная ружейная пальба, встречала из-за оград их появление. Но ничто не могло остановить героев, они рвались вперед.

Внезапно массивные ворота заставы широко распахнулись, и спрятанные там пушки выпустили по стремительно подвигавшемуся вперед батальону убийственный залп картечи.

Этот уничтожающий залп смял колонну атакующих. Часть гонведов бросилась в верхние этажи домов, продолжая из окон стрелять по частоколу. Другие, в поисках спасения, побежали туда, где были расположены резервные силы.

Теперь устремился на штурм крепости тридцать третий батальон.

Его поливали огнем со всех бастионов, но он все продолжал двигаться по направлению к шлагбауму.

Однако у ворот заставы этот батальон ожидала та же участь, что и его предшественников.

Тогда один венгерский артиллерийский офицер смело выдвинулся с двумя орудиями к самому берегу Дуная и с близкого расстояния начал в упор обстреливать заставу.

Увесистые ядра с треском сорвали с крюков тяжелые ворота. Скрытая за ними батарея была демаскирована и осталась без прикрытия на случай фланговой атаки, и оборонявшие заставу части спешно отступили со своими пушками, не выдержав неожиданного перекрестного огня. Д наступавший батальон с громкими криками «ура», с примкнутыми штыками ринулся на приступ частокола. Тем временем и рассеянный десятый батальон успел перестроить свои ряды и внезапно хлынул из переулка. И когда вся линия частокола оказалась атакованной, две выдвинутые вперед батареи стали забрасывать зажигательными снарядами здание водонапорной башни.

Еще бы только четверть часа!

Еще бы только один стремительный бросок!

Если б даже атакующие части не смогли смелым натиском сразу же захватить защитные дамбы водохранилища, им, во всяком случае, удалось бы выиграть время для того, чтобы батарея разрушила виадук. А перестань существовать виадук, будь выведен из строя механизм водонапорной башни, – дальнейшая защита крепости была бы невыполнима.

Но в это время пришел приказ венгерского главнокомандующего – немедленно и повсеместно прекратить боевые действия.

И возможность одержать победу решительным натиском оказалась упущенной.

Но для чего понадобилось приостановить атаку?

Оказывается для того, чтобы два полководца могли обменяться письмами. Для того, чтобы два храбрых солдата доказали, что они плохие дипломаты.

А боевая тактика?... Что греха таить, за два столетия она несколько не улучшилась!

Карл Лотарингский^[102] в свое время совершенно так же уговаривал Абдурахмана,^[103] как ныне Гёргеи^[104] своего противника Хенци.^[105] Если, мол, Хенци не сдаст Буду со всем крепостным гарнизоном, то он, Гёргеи, заставит его склониться перед его саблей».

Абдурахман в ответ на слова Карла Лотарингского приказал выставить на бастионах крепости острые копья с насаженными на них головами ста пленных христиан. Хенци же в ответ на ультиматум Гёргеи. подверг артиллерийскому обстрелу беззащитных жителей Пешта.

Он поступил так, пользуясь своей властью над гарнизоном крепости.

И мог бы в оправдание своих действий заявить:

– Я сделал то, что сделал. И сделал это, потому что ненавижу вас, потому что ваше торжествующее ликование вызывает во мне гнев. Я хотел нанести сердцу вашего народа рану, которая не заживет десятки лет и оставит в священных городах нашей страны кровавые следы, они не высохнут до той поры, пока господь не пошлет к вам ангелов, которые сотрут их своей стопой.

Но ссылаться на то, будто мирные жители Пешта обстреливали Буду!

Это все равно, как если бы Герострат^[106] заявил, будто он поджег храм Дианы^[107] потому, что хотел выкурить оттуда комаров!

Комендант крепости сам не сознавал своего могущества! Он каждодневно дерзал осыпать пощечинами восставшего великана, этого извергающего, огонь чудища из апокалипсиса,^[108] которое наверняка должно было разорвать его на куски. Он осмелился во время осады растоптать валявшееся у него под ногами самое драгоценное сокровище стоявшей против него нации – ее обожаемую юную столицу. И еще позволил себе приводить в оправдание, чтобы снискать сочувствие других, разные жалкие отговорки!

Чем был его поступок – геройским подвигом или злодеянием?

Если это геройский подвиг – незачем оправдываться. Если же злодеяние – оправдания для него нет!

Лавры – неувядаемы. Клеймо позора – несмываемо.

Так или иначе ни то ни другое не спрячешь!

Разве может олимпийская игра не иметь многочисленных зрителей? Пештскую набережную отделяет от набережной в Буда река, едва достигающая пятисот шагов в ширину. Здесь – партер. Там – сцена, турнир, на котором льется человеческая кровь; в нем участвуют настоящие герои и устраивается роскошный фейерверк: горит крепость, падают бомбы.

И как можно допустить, что зрители таких драматических событий останутся немymi свидетелями? Что они способны будут безмолвно созерцать появление новой пушки на горе Геллерт, которая уже через минуту заговорит, а еще через мгновение упавшее на крепостную стену ядро сокрушит ряды вооруженных врагов?

Городские жители облепили берег Дуная вдоль набережной, от острова Маргит до здания Людовицеума,^[109] и в продолжение, всей битвы отовсюду раздавались торжествующие клики.

А потом с крепостной башни вдруг раздался окрик «Молчать!»

Рихард действительно остановился на постой в доме, где его радостно встретил дворник. И тот радушно принимал дорогого гостя.

Четвертого мая, когда раздался первый пушечный' выстрел, сапожник Михай покинул свою дворницкую: пусть кто угодно стережет дом! И он вихрем умчался со двора. В воротах Михай столкнулся с Рихардом, спешившим к своему военному начальству.

– Куда так стремительно бежишь, земляк? – спросил Рихард.

– Поглядеть на штурм крепости.

– Берегись, неровен час, ногу прострелят.

– Пуля не перелетит через реку, – хорохорился сапожник.

– Ну, в этом я не уверен.

– А я уверен. Таков физический закон: «*Vis attractionis*»^[110] Явление это наглядно наблюдается возле воды. Ведь я когда-то учился в школе!

Через два часа Рихард вновь встретился с Михаем. К тому времени улицы были полны спешащими людьми. Сапожник задыхался от бега.

Оказывается, вода не притягивала к себе пули: девять мирных жителей были убиты выстрелами с крепостных стен. После этого зрители очистили партер. Но тут же устроились в ложах. Теперь люди наблюдали за военной игрой из окон. Они наивно думали, что пули не могут пробить стены домов. И продолжали созерцать бой.

И вдруг с крепостной башни снова раздался грозный окрик: «Трепещи!»

И Пешт начали забрасывать с высоты крепостных бастаионов бомбами и ракетами.

Бомбы с огненными хвостами, словно падающие метеоры, сначала описывали дугу в ясном небе, а потом с треском лопались, как бы изрыгая человеческую злобу.

Жители, стоявшие у ворот домов, насчитали триста шестнадцать разрывов, грянувших прямо над их головами.

Но это еще была не кара, не месть, а лишь предостережение.

Бомбы пока ничего не подожгли, а только дали понять людям, что их прежнее представление о небосводе далеко от действительности. Это – вовсе не прочный куполообразный свод, и он несколько не защищает головы смертных. Ни грешников, ни безвинных – ничьи!

Было еще одно преимущество у крепости в Буде. Осаждавшие считали ее более слабой, чем она была на самом деле, и думали, что захватить ее нетрудно, стоит лишь припугнуть осажденных.

И лишь позднее сообразили, что тут надо было применять не

высокопарные речи, а снаряды.

При первом штурме осаждающие войска обстреляли крепость из двадцати восьми орудий, а с бастионов им ответили девяносто два орудия. У осаждающих были легкие шести- и двенадцатифунтовые полевые орудия, крепостной же гарнизон располагал тяжелыми, двадцатичетырехфунтовыми крепостными пушками. Осаждающие посылали из своих гаубиц семифунтовые снаряды, а осажденные метали в ответ шестидесятифунтовые бомбы.

Осаждающим оставалось лишь повторить девиз спартанской матери: «Если твой меч короток, удлини его на один шаг!»

Они должны были приблизиться к своему противнику настолько, чтобы снаряды из маломощных пушек могли достигнуть врага.

И вот этими небольшими снарядами осаждающие заставили неприятеля убрать с холма «Малая Швабская гора» батареи, оборонявшие четвертую цитадель – ротонду, и вынудили пехоту, защищавшую шанцы на горе Кальвария, вернуться в казармы; после этого они установили пушки на горе Геллерт, подпалили и сожгли дотла головной сторожевой пост и пакгаузы Надора.

Вот это и вызвало восторженные возгласы и всеобщее ликование на пештской набережной Дуная, повлекшие за собой месть врага, который подверг город двухчасовой бомбардировке.

Против такой карательной меры не было защиты. Она оказалась первой пощечиной. Осаждающие, почувствовав вызов, лишь скрежетали зубами. Они не располагали ни одним осадным орудием.

Созванный на следующий день военный совет вынужден был признать, что крепость в Буде – не просто вражеское гнездо, но сильно укрепленный бастион, захват которого требует осады, штурма и боевых операций по всем правилам военного искусства. Было решено доставить из Комарома осадные орудия, А пока они прибудут – по ночам сооружать штурмовые плацдармы и для маскировки устраивать ежедневные отвлекающие вылазки!

Ложная атака – самое суровое испытание для солдата: ведь надо совершать вылазку только для того, чтобы потом отступить, сражаться только затем, чтобы сбить с толку противника.

В один из этих тягостных дней Рихард обратился к сапожнику Михаю:

– Послушай, земляк, не хочешь ли заработать двести форинтов?

– Почему бы нет, если дело стоящее! – мудро, ответил сапожник.

– Услуга будет состоять вот в чем: надо проникнуть в крепость и разобратся в тамошней обстановке. Ты ведь говорил, что нередко там

бывал.

– Пожалуй, сумею, – согласился Михай. – Но двести форинтов мне не нужны, я и так окажу вам услугу.

Рихард пожал протянутую ему руку.

– Но как ты туда проникнешь? Все это надо сделать с умом.

– А очень просто. Переоденусь в зипун и, по случаю ярмарки, проникну в крепость со знакомыми крестьянами из Хидегкута. Они каждую среду и субботу возят туда яйца, масло, зелень – с ними как-нибудь и проберусь.

– Отлично. Главное, необходимо выяснить, какое настроение царит в крепости, среди солдат гарнизона.

– Будьте уверены, все разведую.

– Ты понимаешь по-итальянски?

– Никак нет. Даже мой дед, и тот не понимал. Но я все равно проведаю все, что надо.

– И еще... Хорошо бы пробраться к той женщине, которую они держат взаперти, и узнать у нее, где и у кого находится ребенок, доверенный ее попечению. Зовут его Карл, на шее у него – в виде особой приметы – висит на цепочке половинка разломанного медяка.

– Ах, вот оно что! Значит, и ваша милость разыскивает этого мальчика. Однажды одетый в латы офицер из вражьего стана тоже осведомлялся о нем. Не знаю, жив ли еще этот офицер.

– Я как раз потому и ищу ребенка, что тот офицер погиб.

– Хорошо, сударь, дознаюсь. Тот офицер сулил мне тысячу форинтов за то, чтобы я съездил в Дебрецен к госпоже Байчик и разузнал, где находится мальчонка. Но я за это не взялся. А для вашей милости все сделаю. Непременно разыщу в каземате эту женщину.

Переодевшись швабским бедняком, Михай несколько дней спустя проник к крепость. Вскоре он благополучно вернулся оттуда.

Рихард ждал его с нетерпением; увидев смельчака, он обнял его.

– Я всюду побывал. Все видел. Первым делом начнем с того, что происходит в крепости. Нужды там нет, все стоит дешево. Горожане уходить из крепости пока не собираются. Артиллеристы всего охотней покупают всякие там лакомства и хорошо за них платят. Крепостные ворота обложены мешками с песком, за исключением ворот виадука. На Рыбацком бастионе для егерей вырыты траншеи.

– Как настроены артиллеристы?

– Держат себя гордо.

– А немецкие солдаты-пехотинцы?

– Веселятся.

– Хорваты?

– Эти – сердитые.

– Ну, а итальянцы?

– Не поймешь.

– Может быть, они пришли в уныние и хотят перейти на нашу сторону?

– Нет.

– Каким же образом удалось тебе, земляк, выведать настроение итальянских солдат?

– Представьте, я это сделал довольно просто. Покупая на базаре лук и картофель, они завязывают их в носовой платок. Так вот, платки у всех – пестрые.

– Но при чем тут носовые платки?

– А при том, что, задумай они сдать крепость, каждый таскал бы при себе белый носовой платок. Пожалуй, коли им придется очень туго и наступит их смертный час, тогда на них и можно будет рассчитывать, но пока до этого далеко. Только когда наши штурмовые лестницы окажутся у самой крепостной стены, они протянут нам руки и помогут на нее взобраться. А до той поры – будут продолжать по нас стрелять, О, я хорошо знаю этот народ. Итальянец – пылкий любовник, но довольно равнодушный друг.

– Ну, а насчет госпожи Байчик? Сумел ты с ней переговорить?

– Не удалось мне к ней пробраться. Из тюрьмы ее увезли, так как она захворала, переправили вместе со служанкой в лазарет. Та тоже больна.

– Что у нее за болезнь?

– Тиф.

Рихард нахмурился. Болезнь эта быстро расправляется со своими жертвами.

– Два врага – тиф и холера – осаждают гарнизон крепости изнутри. Мертвецов складывают в нишах бастиона, так как их негде хоронить.

– Значит, ты так и не сумел повидаться с этой женщиной?

– Кое-что я сделал. Я написал ей и уверен, что мою записку она наверняка получила. Но ответа я так и не дождался, хотя долго околачивался у дверей лазарета. А потом всех крестьян из крепости выставили, и мне тоже пришлось убраться восвояси. В следующий базарный день, на той неделе, я схожу еще раз и разузнаю побольше.

Людам со шпорами, лихим кавалеристам, осадившим крепость, по самой природе своей, вероятно, весьма мучительно стоять целыми днями, а

то и неделями перед дурацкой стеной, с которой противник, издеваясь, показывает им язык.

Уже на третий день девять десятых осаждающих стали терять терпение. Солдаты жаждали ринуться на приступ. Лица их горели от стыда, сердца кипели от гнева. Возбуждение царило и на военном совете.

– На штурм! – торопили офицеры своего командующего.

Разыгрывались бурные сцены. Самые закадычные друзья не могли столкнуться между собой: одних обвиняли в медлительности, других – в отсутствии выдержки.

Так именно столкнулись на военном совете братья Барадлаи, державшиеся противоположных мнений. Эден, разумеется, принадлежал к партии «осторожных», Рихард – к партии «горячих голов».

Когда на четвертый день осады был созван военный совет, они так бурно спорили, словно были исконными врагами. Казалось, каждый из них избрал другого мишенью для всевозможных нападок.

Их споры, как в зеркале, отражали создавшуюся в стране обстановку: брат против брата. О чем шла речь? О том, кто больше любит родину, кто отважнее, кто нашел более верный путь! Именно из-за этого они так сильно сокрушались, так резко обвиняли друг друга.

– Мы обязаны скорее завершить осаду! – заключил Рихард после того, как мнения их окончательно разошлись и ни один из них не сумел убедить другого.

– А я говорю, нам нужно ее только еще начинать, – возразил Эден.

– Мы должны начать решительный штурм, напасть со всех четырех сторон.

– Но ведь путь для штурма открыт всего лишь с трех сторон, путь со стороны Пешта отрезан.

– Есть возможность напасть и со стороны Пешта. Наши батареи разрушат виадук через Дунай, и мы расчистим путь для атаки на Визиварош.

– А тем временем крепостные пушки превратят Пешт в развалины.

– Ну и что же? Одиннадцать лет назад наводнение разрушило город и затопило его! А затем его отстроили заново. Ныне он сторит дотла, лет через десять станет еще краше прежнего.

Выигранная сейчас неделя, это – целая вечность, а Пешт – лишь атом во вселенной. Потратив целый месяц на планомерную осаду, мы проиграем всю кампанию. Пусть пропадет на пятьдесят миллионов форинтов имущества, пусть даже погибнет пять тысяч наших людей, но мы должны любой ценой взять Буду в течение сорока восьми часов!

– А что мы выиграем, потеряв пятьдесят миллионов форинтов и принеся в жертву пять тысяч человек?

– Получим возможность штурмовать крепость с востока.

– Карабкаясь по крутизне?

– Да, по крутизне! Я уже представил свои соображения Военному совету. Они основаны на данных, которые мне удалось добыть. Против королевского дворца смеется подземный ход, сооруженный еще при турках. Он ведет от крепости до самого Дуная, Во время штурма по этому ходу может пройти целый отряд – прямо к дворцу Шандора. Между Венскими воротами и воротами виадукса есть крытая лестница. Отборный отряд должен прорваться по ней до малых ворот и проломить их одной петардой. Дом садовника у южного бастиона можно незаметно захватить под прикрытием деревьев парка. Под крепостной стеной между четвертым и пятым бастионом есть два грота. Их можно углубить и, заполнив порохом, взорвать вместе с возвышающейся над ними стеной. Тем временем при помощи штурмовых лестниц мы сможем со всех сторон начать атаку бастионов.

Когда мы доберемся до итальянского полка, он, поняв, что дело серьезное, не окажет сопротивления.

Эден возразил ему:

– Все эти возможности я тоже взвесил и отверг, ибо мне известно, что выход из подземного хода наглухо завален, а все ворота, до самых арок, заложены мешками с песком. Из крытой лестницы вынута восемьдесят шесть ступеней. Чтобы добраться до бастиона в крепостном саду, надо преодолеть три бруствера. Гроты, о которых ты говоришь, расположены в десяти сажнях от крепостных стен и, чтобы их удлинить, пришлось бы пробурить пещеру в скале из сиенита по меньшей мере сажень в пятнадцать... Все это нельзя сделать в два дня. Ну, а что до переполоха по вражеском стане, то при разработке стратегического плана такие обстоятельства в расчет не принимают.

Глаза Рихарда сверкали. Он испытывал неодолимую потребность разрядить свой гнев.

Он вскочил с места и спросил брата:

– А отвагу наших венгерских войск ты тоже в расчет не принимаешь?

Эден с подчеркнутым спокойствием ответил:

– Когда речь идет о точных математических расчетах, от которых зависит успех осады крепости, – не принимаю.

Тогда, не помня себя от возмущения, уязвленный в самое сердце, Рихард крикнул:

– Значит, ты такой же трус, как и все штатские!

Он тут же пожалел, что не сдержался, но ничем этого не обнаружил.

Эден побледнел. Устремив на младшего брата горящий взгляд, он негромко, но твердо сказал:

– Такого оскорбления мне еще никто в жизни не наносил. И вам это безнаказанно не пройдет.

Разыгравшаяся сцена была прервана неожиданным происшествием.

Двенадцатифунтовое ядро, пробив стену усадьбы Ласловского, пролетело над головами участников Военного совета, а затем вышло через противоположную стену.

Вскоре в здание ударило еще одно ядро и снесло крышу.

За этим последовала бомба, которая разорвалась во дворе усадьбы.

– Измена! – воскликнули, вскакивая со своих мест, члены Военного совета. – Должно быть, кто-то выдал неприятелю местонахождение нашей штаб-квартиры, навел огонь всех вражеских батарей на эту усадьбу.

– Мы не можем здесь больше оставаться, – заявил главнокомандующий. – Рихард Барадлаи, отправляйтесь и прикажите кавалерии с конной батареей двинуться в рощу Зуглигет.

Рихард взглянул на брата.

Эден один продолжал сидеть за столом, держа перо в руке. Он даже не шелохнулся, когда ядра ударили в дом и пробили его стены.

Рихарда охватило мучительное сожаление. Сначала в хладнокровии брата ему почудилась какая-то наигранная, показная отвага, но затем он ощутил прилив теплого чувства.

– Ладно, старина, – примирительно сказал он, подойдя к столу. – Признаю, ты человек смелый. И все же не следует сидеть за столом, раз уж мы все уходим отсюда.

– Я остался здесь потому, – холодно ответил Эден, – что мне поручено вести протокол совещания. Я хочу узнать решение совета и занести его в этот протокол.

– Он прав! – слышались голоса, – Прежде чем закрывать совещание, надо принять решение.

– Итак, проголосуем!

– Предпринимать ли нам штурм еще сегодня, или в крайнем случае завтра?

– Да или нет?

– Извольте сесть на свои места и ответить на вопрос вставанием.

Все уселись за стол.

Пока члены Военного совета, один за другим, подавали голоса,

крепостные пушки успели вдоль и поперек изрешетить крышу и стены усадьбы.

На поставленный вопрос все дали утвердительный ответ, в том числе и Эден; затем члены Военного совета поспешили покинуть обстреливаемый дом.

Только Эден задержался, чтобы занести в протокол принятое решение. Рихард не оставлял его, пока тот не закончил работу.

– Пора наконец уходить отсюда, – уговаривал он брата. – Ведь всем известно, что ты молодчина. И я признаю: ты не трус.

Эден, сохраняя неприступный вид, продолжал собирать свои бумаги.

– Мы еще поговорим об этом, – холодно проговорил он и выдернул руку, которую держал Рихард.

– Уж не собираешься ли ты биться со мной на шпагах?

– Увидишь.

И Эден резко отвернулся от брата.

Штурм был назначен на третий день.

План был таков: напасть из Пешта на противника, засевшего в Визивароше, районе Буды. Возведенный неприятелем частокол был удобным прикрытием для атакующих батарей, но всего лишь на какую-нибудь минуту. Однако долго удерживать эти позиции против установленных на крепостной возвышенности тяжелых орудий было невозможно. Три улицы пештского Липотвароша,^[111] которые могли бы служить коммуникационной линией, по вертикали совпадали с расположением крепости, поэтому каждый залп с бастионов мог их начисто смести. Значит, в Пеште следовало использовать не пушечные, а лишь ракетные батареи. Их легче было установить, а затем переносить через проходные дворы, расположенные на набережной Дуная.

Для защиты этих батарей соорудили траншеи и заграждения из мешков с песком. Пятьсот добровольцев из числа жителей вызвались в нужный момент перетаскать эти мешки в любое место, куда понадобится.

Ночью девятого мая все размещенные в Буде батареи, а вместе с ними и три пештских ракетных батареи открыли одновременно огонь по крепости. В то же время два батальона атаковали крепостной парк, а два других повели наступление на защитные дамбы водохранилища. Остальные армейские части приступили к штурму Фехерварских и Венских ворот.

Основной удар должна была нанести бригада, атаковавших и крепостной парк.

Накануне выступления сапожник Михай, снова переодевшись швабским крестьянином, обошел всю Буду и проник в крепость. Вернулся он к Рихарду удрученный.

– В городе завелся предатель, – сказал он. – Все наши планы заранее становятся известными во вражеском стане.

– С чего ты взял это, старик?

Оглядевшись с опаской, Михай шепотом сообщил Рихарду:

– В крепости я повстречал Салмаша.

– Кто это такой?

– Отъявленный шпион.

– Сдается, я уже слышал это имя.

– Весьма возможно. Его прогнали из Немешдомба, где он служил секретарем сельской управы.

– Ах, да, теперь припоминаю.

– Это коварный человек. Всю зиму он только и делал, что перебегал из одного стана в другой. Частенько бывал в Пеште. Я знал, что он лазутчик, и однажды шел за ним следом до самого Цибакхаза, чтобы сообщить о нем партизанскому отряду. Его тогда схватили, но он сбежал в ту ночь и теперь вот снова вынырнул на поверхность. Я сразу его узнал, когда встретил в крепости, хотя он коротко подстриг усы и щеголяет в модном фраке; видно, прикидывается барином. Меня даже в дрожь бросило, когда он проходил мимо: боялся, вдруг он меня узнает. Тогда пропала бы моя головушка. Был случай – в кофейне я его схватил однажды за глотку, мы хорошо знаем друг друга. Пробираться в Буду я больше не рискну. Но он, без всякого сомнения, наведается сюда. Тут уж я его непременно поймаю. И тогда не сносить ему головы! Вы, господа военные, глядите теперь в оба, только бы этот проныра не сбежал, обманув сторожевые посты. Один этот человек может расстроить все дело.

Рихард только усмехнулся, слушая наивные опасения своего простодушного соотечественника. А между тем тот ничего не преувеличивал.

Под вечер Рихард переехал верхом по плашкоутному мосту в Буду. Мост был переброшен через реку у северной оконечности острова Чепель.

Своего дворника он застал уже там, старик братался с гонведами. Его знал каждый солдат, он прославился среди них своим красноречием.

Когда стемнело, Михай разыскал Рихарда.

– Пойдемте на берег, я вам кое-что покажу.

Рихард отправился за стариком.

– Видите вон те дома на набережной Дуная? Различаете там одно

трехэтажное здание с пятью чердачными слуховыми окнами? И в каждом из них горит по свече.

– Вижу.

– А теперь с четверть часа последите за свечами. То одна гаснет, то другая, потом снова загорается. А в ином окне вспыхивают сразу две. Как вы думаете, что это значит?

– Только то, что в этих мансардах проживает множество людей, и они сейчас все дома.

– Это – тайный телеграф! А свечи – условные знаки, при помощи которых передаются сведения в крепость, неприятелю.

Тут уж Рихард громко расхохотался.

Между тем его соотечественник и на этот раз был прав.

Лишь только часы на башне Буды и Пешта пробили десять раз, с трех сторон начался штурм. Батальоны гонведов дошли до самых крепостных стен. Гаубичные батареи стали забрасывать крепость зажигательными снарядами. Через час Барская улица запылала в двух местах. Солдаты-пожарники, стоявшие на охваченных огнем крышах, казались на фоне этого зарева черными гномами. Нападение со стороны Пешта было решено начать в полночь.

В это время с крепостной стены, обращенной к Пешту, ударил бомбомет-мортира. Первая бомба упала на Театральной площади, где были установлены ракетные батареи. Разорвавшийся снаряд всполошил обоз с боеприпасами, и все повозки, ища спасения, устремились по улице Вацы, откатываясь до самой Сенной площади.

Вторая бомба упала на площади Йожефа. Как раз в это время пятьсот добровольцев наполняли мешки песком. Все они разбежались.

Третья бомба разорвалась на Новой площади, где были сложены мешки с шерстью для устройства заграждений. Она подожгла весь заготовленный запас.

Снаряды ложились удивительно метко, именно в те места, где шли приготовления к штурму. Казалось, их направляли туда не случайно.

Так оно и было. Весь план наступления оказался известен врагу.

Противник показал, на что он способен и что, не колеблясь, осуществил. Венгерская столица до утра подвергалась бомбардировке. Снаряды, падавшие в различных кварталах города, произвели большие разрушения и вызвали пожары. Пятьсот бомб и зажигательных снарядов подняли с постелей жителей столицы и опустошили ее улицы. Теперь все убедились, что в городе нет убежища, и ушли в пригородные леса, взирая оттуда на неотвратимую гибель и разрушение своей столицы.

Для тех, кто был против штурма, бомбардировка явилась страшным подтверждением их правоты. А лагерь горячих голов смолк, капитулировал, был вынужден признать, что осада еще только начинается. Теперь решено было доставить осадные орудия из Комарома и обложить крепость по всем правилам военной науки. Воодушевление уступило место трезвому расчету.

Сапожник Михай все же донес властям о своих наблюдениях над освещенными в ту роковую ночь мансардами. Было произведено расследование, но выводы оказались самыми невинными. В пяти мансардах обитали пять веселых барышень, только и всего. Этим легкомысленным особам не стоило большого труда придумать правдоподобное объяснение и отвести все подозрения относительно загоравшихся, а затем гаснувших свечей. Загадка казалась разгаданной.

На третьи сутки прибыли осадные орудия. Их было только девять – против девяноста шести!

Но понадобилось еще несколько дней, чтобы эти тяжелые орудия установить. Приходилось по ночам выдалбливать на скалистых косогорах площадки для батарей, а чтобы противник не услышал шума, его внимание во время этих ночных работ отвлекали ложными атаками.

Едва наступала ночь, возобновлялись и штурм, и артиллерийский обстрел, и атаки. А саперы тем временем втихомолку выдолбили в горных склонах ярусы для пушек.

Тринадцатого мая граната ударила в башню порохового погреба, рядом со зданием камергерской палаты на Рыбацкой площади в Буде. Подобно извержению вулкана взметнулось в небо пламя, отбрасывая до самых звезд горящие, искрящиеся обломки, головни и разодранные на куски человеческие тела. Стоящие вокруг дома с треском рушились. Взрывной волной снесло кровлю собора.

Этот грозный, взметнувшийся к небу вихрь вызвал восторженные крики и ликование тех, кто вел осаду.

Но комендант крепости жестоко отплатил за эту радость:

– Разнести в щепы, испепелить весь Пешт!

Приказ его был выполнен быстро и беспощадно. С вечера до полуночи пушки изрыгали тысячи зажигательных снарядов, обрушивая их на беззащитный город. В течение четырех часов в воздухе безостановочно гремели раскаты грома. А когда эта адская музыка наконец смолкла, красавец город весь утонул в море бушующего пламени. На прекрасной набережной Дуная, напоминавшей своей радостной панорамой улыбающееся лицо молодой красавицы, одновременно горели тридцать два

дворца и среди них дворец «Веселья» и знаменитое историческое здание Государственного собрания. Его крытая галерея с колоннами была низвергнута, аркада и своды разрушены. Потолок тронного зала развалился, кресла министров, скамьи депутатов были охвачены огнем.

Кровь застыла в жилах осаждающих. Смолкло все – и пушки и люди. Но в глазах, устремленных в ту ночь, к багряному пурпурному небу, грозно сверкал обет, более грозный, чем любая присяга, любое проклятие.

То было безмолвие разгневанного бога, лик которого оскорбили пощечиной.

Кроме шипения бушующего огня, треска балок, грохота рушащихся стен, в огромной столице не слышно было никаких звуков. Город был пуст, все живое разбежалось. Военские части, и вооруженные дружины тоже покинули его.

Опустели целые улицы и кварталы. Ворота, двери – все было распахнуто. Любой человек – добрый друг, просто любопытный или грабитель, если бы захотел, мог исходить каждый дом вдоль и поперек, облазить его с подвала и до чердака, мог беспрепятственно слоняться по открытым настежь квартирам, отбирая все, что ему приглянулось из наиболее ценных вещей. Бежавшие жители оставили свои дома открытыми, чтобы в случае пожара их соседи, друзья, а, на худой конец, и воры, могли проникнуть в них без особых хлопот.

Только теперь уже не осталось никого – ни друзей, ни соседей, ни воров.

Клубы дыма от пылающих дворцов образовали кроваво-красный купол над этой мертвой грудой камней, столь же пустынных, как раскопки Помпеи.

Между тем посреди охваченных огнем дворцов на набережной осталось одно нетронутое здание, и в пяти его мансардах все еще светились пять зажженных свечей. То одна, то другая на минуту гасла, потом зажигалась снова. Дом этот пощадили все снаряды, хотя его двухэтажный сосед был превращен в руины: бомбы, пробили в нем все перекрытия до самого подвала, и из окон вырывались языки бушевавшего пламени.

В уцелевшем доме три этажа. Жильцы его разбежались кто куда, оставив двери открытыми. Разве мог кто-нибудь из них предполагать, что дом этот не заденет ни один снаряд.

Но кто же в таком случае зажигал свечи?

Впрочем, ни заниматься этим вопросом, ни проследить за окнами в тот роковой час было некому.

И все же один человек нашелся. Он не переставал наблюдать за мигавшими в мансардах огоньками. Его не в силах были прогнать ни бомбы, ни зажигательные снаряды. Он стоял, прислонившись спиной к береговой опоре старого моста, и не спускал глаз с зажженных свечей. Конечно, читатель уже догадался: то был дворник, сапожных дел мастер Михай.

Старик с болью видел последствия разрушительной бомбардировки, он испытывал адские муки во время разгула этого неистового пожара, когда свирепый демон войны разрушал в несколько мгновений то, что было воздвигнуто гением созидания за столетия.

Отличавшийся природным умом, сапожных дел мастер задал сам себе несколько крамольных вопросов:

«Говорят, когда гремит гром, гневается бог. А кто сердится, когда громяхают бомбы? Короли?»

«Ученые уже придумали способ, как взять в полон гнев небесный – молнию. А вот земной гнев, бомбы, они полонить не могут?»

«Как можем мы уповать на бога, коли он сам – владыка королей?»

«Разве хозяин этого дома обижал когда-нибудь артиллериста, выпустившего вон тот снаряд, который одним махом пробил все четыре этажа, взорвался в подвале и поджег все здание?»

«Если чья-нибудь левая рука стукнет по правой, а правая даст сдачи левой, – разве нет у такого человека причины охать вдвойне?»

«Если мне, ничему не имеющему в этом городе, причиняет столь острую боль его разрушение, то как же. должно быть велико при виде этого зрелища злорадство того, кто все это учинил?»

Но едва смолкло громоханье пушек, философское умонастроение сапожника уступило место более обыденному ходу мыслей:

«Кто же все-таки выставил в окнах этого дома зажженные свечи? Ну конечно же предатель!»

Эту догадку ничем нельзя было выбить из головы сапожника. Он должен наконец выяснить все до конца.

Нигде не видно было живой души; в зоне огня крепостных орудий нечего было и думать о том, чтобы тушить пожары. Не колеблясь, Михай двинулся в путь, решив в одиночку захватить тайного сигнальщика.

Пощаженный снарядами дом оказался таким же покинутым, как и прочие здания. Двери были распахнуты. Ни привратника, ни жильцов – входи в любую квартиру! Кругом валялась разбросанная по полу одежда и столовое серебро: спасаясь бегством, владельцы не могли их захватить с собой и оставили на божье попечение, доверились людской честности.

Сапожник приоткрывал одну дверь за другой, ища кого бы порасспросить из оставшихся в доме, кого позвать на подмогу, взять в понятые. Но во всех трех этажах не видно было ни одного человека. Только в какой-то запертой кухне отчаянно выла забытая собачонка.

Ему пришлось в одиночестве взбираться на мансарду, где якобы обитали пять веселых барышень.

Михай приоткрыл первую дверь и не нашел никого. Распахнутые шкафы с пустыми вешалками свидетельствовали, что отсюда все заблаговременно убрали. Но на подоконнике горела свеча.

Он обошел все пять комнат и не встретил ни души. Комнаты были пусты, но на окнах стояли зажженные свечи. Подсвечниками им служили картофельные клубни. На одном из ветхих столов старик нашел разложенный лист бумаги. На нем был начертан своеобразный алфавит: пять горящих свечей были обозначены пятью точками, а потушенные помечены черточками. Ну, прямо шифрованный код для связи одного города с другим!

Ошеломленный старик озираясь вокруг. Узнать бы, чья это работа? Кто здесь орудует?

В пятой комнате он увидел потайную дверь и приоткрыл ее. Дверь вела в темное помещение, – то был проход, упирившийся в нежилой чердак.

Михай пробирался в потемках. Свет пылающих вокруг домов заслоняли дощатые перегородки.

В одном месте он снова заметил свет, проникавший сквозь высокое окно брандмауэра, из которого был виден соседний дом.

На выступе этого окна сидел какой-то человек, используя карниз брандмауэра смежного дома как скамеечку для ног. Далеко внизу бушевала адская пучина, сплошное море огня; пламя казалось пенистой волной, горячие угли – илом, а над поверхностью этого моря, гонимый ветром, расстилался легкий сизый дымок. Время от времени высоко вздымался столб горящих искр. Дно огненной пропасти было похоже на блестящее озерцо, посреди которого kloкотал какой-то быстрый золотой родник. Это бушевал на дне подвала расплавленный металл – владелец дома торговал скобяными изделиями. Сапожник бесшумно, на цыпочках, прокрался к окну и раскрыл глаза от удивления. Но поразило его не грозное зрелище пожара, а человек, который восседал на выступе чердачного окна.

Лицо этого субъекта дышало дьявольской радостью. То было наслаждение, с каким в геенне огненной черт Бехерик раздувает пламя для обреченных на вечные муки страдальцев, издевательство, с каким черт

Азазиель вновь сталкивает ногой в пропасть несчастных, тщетно пытающихся из нее выкарабкаться, злорадство, с каким Астарта рукоплещет терзаниям тех, что были принесены ей в жертву. Человек этот уселся на окно со специальной целью полюбоваться гибелью города. Он уперся локтями в колени и поддерживал подбородок кулаком, время от времени сплевывая вниз, в огонь. Один раз он даже громко расхохотался, подняв глаза к раскаленному докрасна небосводу.

А потом стал потягиваться, словно всласть упился, пресытился сладострастным наслаждением. Казалось, он испытывает удовольствие, ощущая на своем лице жар, пышущий снизу.

Вдруг кто-то крепко схватил его сзади за руки. Человек вздрогнул и оглянулся.

– Доброе утро, сударь! – проскрежетал ему в самое ухо сапожник. – Свечки-то пора бы и погасить!

Обомлевший от испуга негодяй сделал отчаянное усилие, пытаясь втиснуться обратно на чердак. По тут карниз смежного брандмауэра, в который упирались его ноги, рухнул, а сапожник между тем сжимал его руки, как клещами.

– Изволите ли вы еще помнить меня? – спросил сапожник, вперив налитые кровью глаза в лицо повернувшего голову человека.

В ту страшную минуту застигнутого врасплох предателя осенила спасительная, как ему показалось, мысль:

– У меня есть десять тысяч форинтов! – прохрипел он.

– Ах, так вот какова цена свечей! – бешено заорал сапожник и сбросил негодяя вниз.

Там, в пучине огня, пенившееся озерцо всего на несколько мгновений подернулось темно-бурым дымом, а затем снова закипело, словно расплавленное золото.

Кто был этот исчезнувший человек, подававший тайные сигналы врагу? Никто никогда этого не узнал. Но жена Салмаша напрасно ожидала возвращения своего исчезнувшего супруга.

Мертвая тишина стояла три дня. Начальнику гарнизона крепости в Буде уже начало казаться, что противник готовится спешно ретироваться, спасаясь от войск, спешивших на выручку к осажденным. Он даже надумал было отрезать венграм путь к отступлению через плашкоутный мост: пустил по течению реки суда с взрывателями и груженые камнем баржи. Но две из них наскочили на опоры Цепного моста и затонули, остальные были перехвачены и потоплены.

Но вот росистым, солнечным утром неожиданно загремели осадные

орудия. Их установили за несколько ночей венгерские войска.

Скалистая гора, на которой стояла крепость, вздрагивала до самого основания, казалось, возвещая засевшему за стенами гарнизону, что на этот раз в ворота ломится сам Энкеладос, ^[112] некогда крушивший Олимп.

Прямо против продольного бастиона грохотали чудовища, пробивавшие бреши в стене, с фланга действовала истребительная батарея. От грома орудий рушились крепостные стены, ураганный огонь подавлял батареи крепости.

Вот оно наконец возмездие – гром за гром! Один колосс встал против другого!

Упираясь плечом в плечо, напрягая все силы, борются два сказочных духа, два джина из волшебного мира, срывающие с неба горящие звезды и мечущие метеоры друг в друга. От топота ног гудит земля, в тысячах их рук оглушительно лязгает оружие. Они стараются повалить один другого на землю и в страшном бою разрывают тучи, выворачивают камни, крушат скалы, извергают огонь – и все это до тех пор, пока один из них не будет повержен во прах, раздавлен, разбит.

И по длительности их поединок подобен поединку великанов. Он продолжается не минуты, как обычная дуэль, а тянется долгие четыре дня и четыре ночи, безостановочно, непрерывно. В одном гиганте слились четыре тысячи душ, и для его гибели нужны четыре тысячи смертоносных ударов; его сопротивление будет не менее грозным.

Четыре дня и четыре ночи звучит эта страшная несмолкаемая музыка; каждый аккорд подобен раскату грома, каждый звук этого небесного концерта достигает соседних планет. Гремят сто пятьдесят орудий. Их музыка начинается с высокого звука, словно рожденного столкновением молний, и спускается все ниже и ниже по октаве до самого нижнего регистра, переходя в ужасающий грохот, напоминающий гул землетрясения и рев вулкана. В крепости горит все, что только может гореть. Выше всего пламя поднимается над крепостным замком – дворцом короля Матьяша. Скорбная месть за сожженный Пешт: один спалил святыню, другой сжигает алтарь!

Все обороняющие крепость батареи на бастионах уничтожены. В главной крепостной стене зияет брешь на менее десяти сажений в длину. Атакующие, захватив соседние здания, вплотную приблизились к ротондам. И все же неприятель не сдается. Он продолжает сопротивление, на огонь отвечает огнем, осыпает осаждающих металлом; ночью он заделывает бреши, пробитые днем, и не считает павших.

Оба противника видят над своей головой сияющий триумфальный

венец из звезд, и каждый силится поднять голову выше другого, победить в поединке за этот венец.

Честь и слава героям обеих воюющих сторон: в этой великой битве и те и другие снискали себе славу.

Когда люди сражаются одним и тем же оружием, историк и поэт сохраняют справедливость и к друзьям и к врагам, они воспевают героев.

Но вот противники уже друг против друга. Разверстые пасти пушек почти сомкнулись. Началась борьба за овладение проломом в стене.

Начальники генеральных штабов бросили свои перья, подзорные трубы, угломеры и, выхватив из ножен сабли, сами ведут войска в решительный бой.

– За мной! – восклицает начальник штаба венгерских войск Клейнхейнц, и сам ведет штурмовые части к пролому в крепостной стене. Три выстрела грянули разом и сразили его у рухнувшей стены.

– За мной! – раздается команда начальника штаба австрийского гарнизона Поллини, и он подает пример самым отважным из защитников крепости; тогда они, обвязав себя канатом, спускаются к пролому и под грохот орудий пытаются расчистить бреши в стене, заложить их бочками, наполненными песком. Но уже летит двадцатичетырехфунтовое ядро и разрывает пополам австрийского военачальника.

Итак, начальники обоих штабов погибли. Они завершили свою борьбу.

Крепостные стены, батареи уже в руинах, противники теперь стоят друг от друга на расстоянии штыкового удара.

Пора решающего штурма назрела. Грядущий день будет последним.

Одному из борющихся исполинов не суждено дожить до следующего рассвета!

Апогей боя

Итак завтра!

Ему, этому грядущему дню, суждено стать той знаменательной датой, когда меч Аттилы достанет до неба и пронзит звездную корону.

Уже дан приказ приступить к штурму.

В полночь двадцать четвертого мая будет произведена ложная атака на бастионы, после чего все штурмовые отряды отступят. И когда враг решит, что выигран еще один день, на заре грянет условный пушечный выстрел. По этому сигналу начнется штыковая атака, и венгры по осадным лестницам ринутся на каждый бастион, на все ворота.

Тяжелее всех придется тем, кому предстоит карабкаться вверх по обломкам рухнувшей стены, и тем, кто должен будет взбираться по лестницам на главный бастион, а также воинам, которые по спинам друг друга полезут на каменную ограду крепостного парка.

Для участия в этих наиболее опасных операциях отобрали самые доблестные, проверенные в огне батальоны, а затем обратились к храбрейшим воинам всей армии с призывом добровольно присоединиться к этим атакующим отрядам.

Большая честь – идти в первых рядах, принять на себя град вражеских пуль, грудью защищая идущих позади, притупить острие вражеских штыков и заполнить своими телами рвы!

Многие тысячи добровольцев просили удостоить их этой чести. Артиллеристы, меньше других утомленные боями последних дней, гусары, нетерпеливо рвущиеся вперед, – и те и другие умоляли своих начальников разрешить им принять участие в штурме. Даже национальные гвардейцы, над которыми всегда подтрунивали солдаты, даже тоскующие по дому отцы семейств и ополченцы, на которых привыкли смотреть свысока, – все устремлялись вперед, выражая желание идти в первых рядах атакующих.

Уже никто не вспоминал о былых разногласиях, все старались забыть о расхождениях в политических взглядах. Люди в киверах с белыми и красными перьями соревновались лишь в том, кто из них раньше взберется на вершину бастиона.

Накануне вечером Эден Барадлаи посетил брата, который находился в кавалерийском лагере у подножья горы Геллерт. Со времени недавней ссоры они не встречались, какая-то натянутость все еще оставалась между ними. Приход брата очень обрадовал Рихарда.

«Эден все же разумнее меня, пришел ко мне первый», – подумал он и постарался как можно радушной принять брата. А Эден держался как всегда.

Только одет он был в национальный гвардейский мундир, видимо по той причине, что солдаты весьма неодобрительно посматривали на людей в гражданской одежде. По их мнению, всякий, кто не носил в то время саблю, не мог считаться настоящим мужчиной.

– Итак, завтра утром – на решительный штурм, – сказал Эден.

– Знаю, Эден. В полночь – ложная атака, на рассвета – штурм.

– Часы у тебя идут правильно? – спросил Эден.

– А я и не гляжу на них, – пренебрежительно заметил Рихард. – Раздастся орудийный выстрел, и я буду знать, что начинается бой.

– Ты плохо осведомлен. Отряды добровольцев должны выступить уже за полчаса до первого пушечного выстрела. Им нужно с места расположения третьего корпуса атаковать большую ротонду, а с позиций второго корпуса – крепостной парк. Поэтому будет очень хорошо, если ты поставишь свои часы по моим; я сверил их с часами главнокомандующего.

– Ладно, ладно, так я и сделаю.

Рихард все еще немного хорохорился – людям с его характером трудно отказаться от некоторой бравады. Солдаты при всем своем уважении к штатским смотрят на них несколько свысока: никогда, мол, не нюхали пороха. Что касается Эдена, то он, напротив, сохранял обычное для него спокойствие.

– А теперь послушай, что я тебе скажу, – обратился он к Рихарду. – Несколько дней назад ты мне бросил слово, которое я не хочу повторять даже про себя.

– Эх! Неужели ты так злопамятен, что все еще помнишь об этом?

– Такие слова не смеет безнаказанно говорить Барадлаи ни один человек, даже родной брат. И нанесенное оскорбление не так просто стереть.

– Чего ты, собственно, хочешь? Не драться же нам на дуэли!

– Да! Между нами произойдет самый настоящий поединок, но такой, какой единственно возможен между братьями; я по-прежнему люблю тебя, но не могу простить оскорбления. Ты добился, чтобы тебя зачислили в добровольцы, которые со штыками наперевес станут атаковать бастионы крепостного сада. А я попросил зачислить меня в ряды добровольцев, которые будут по штурмовым лестницам атаковать ротонду. Как только ты услышишь пушечный выстрел, в тот самый миг и начнется наш поединок. Я двинусь по осадным лестницам, ты – через сад, а барьером нам послужит

траншея. Победителем окажется тот из нас, кто первым достигнет верхушки крепостной стены.

Рихард в ужасе схватил его за руку.

– Брат! Ты шутишь. Просто хочешь напугать меня! Чтобы ты, у кого в мизинце больше ума, чем в башке даже такого бывалого вояки, как я, подвергал себя подобному риску! Чтобы твою голову разможил прикладом австрийский солдафон! Тебе лезть вместе с гонведами по осадным лестницам! Да ведь если даже кто-нибудь и захочет тебя там спасти, он не сможет этого сделать! Карабкаться по лестнице, где идущие впереди обречены на верную смерть? Ты, гордость нашей семьи, опора нашей матери, надежда кашей родины, хочешь броситься на штыки! Ох, ты придумал для меня слишком жестокое наказание. Никто не собирается подвергать подобному испытанию твою храбрость. Ратные дела не для тебя, а для таких грубых воинов как я, ни к чему другому не пригодных. Ты – душа кашей армии, а мы, солдаты, – ее руки. Мы уважаем ум даже тогда, когда кичимся своей отвагой. Не стремись же мстить тому, кто тебя любит, кто случайно обронил необдуманное слово. Если ты оскорблен, сделай со мной что хочешь, хоть заставь всунуть голову в жерло пушки, и я сделаю это. Только тебя не возьму с собой. Скажи, что ты лишь хотел проучить меня, что ты не совершишь такого безрассудства.

– Как я сказал, так и сделаю. А ты поступай как знаешь, – твердо проговорил Эден и повернулся, собираясь уйти.

Рихард преградил ему дорогу, пытаясь убедить его:

– Эден, брат мой! Умоляю тебя ради самого господа бога, прости меня! Подумай о матери, о своей жене, о детях!

Эден лишь взглянул на него, но остался непреклонен.

– Я думаю о нашей родной матери, оставаясь здесь, – и он топнул ногой по земле, – а любовь к моим детям и жене ведет меня туда, – и он указал на стены бастиона.

Рихард отошел в сторону и отвернулся. Против таких доводов ему нечего было возразить. Эден направился к выходу.

Увидев, что брат уходит, Рихард почувствовал, как на глаза его навернулись слезы. Провожая Эдена взглядом, он простер к нему руки.

Как хотелось ему в этот грозный час обнять брата!

Но Эдена не тронул его порыв – ведь дуэлянты перед поединком не обмениваются рукопожатием.

– Мы это сделаем потом, когда встретимся там, наверху, – сказал он младшему брату. – Когда достигнешь вершины крепостной стены, не забудь засечь на своих часах время.

С этими словами он удалился.

Эден, гордый как Азраил, ^[113] никому не прощал обиды, даже родному брату.

Три часа!

Занимался день.

Артиллеристы, с часами в руках, застыли возле орудий. Кругом царит глубокая, ничем не нарушаемая тишина. Только из рощи на Швабской горе доносится предрассветная трель соловья.

Едва стрелка часов дошла до условленной черты, сразу заговорили пятьдесят девять пушек. Их залпы сопровождались громкими раздававшимися со всех сторон возгласами:

– Да здравствует родина!

И сразу же начался повсеместный штурм крепости.

Солнце еще не взошло, но все кругом было озарено отблесками огня, который открыли защитники крепости, разбуженные гулом канонады.

С главного командного пункта, расположенного на Швабской горе, видно было, как, преодолевая развалины возле пролома в стене, карабкается вверх, похожий на муравейник, отряд добровольцев – гонведов из тридцать четвертого батальона. С крепостных стен его встретили градом картечи. Гонведы откатились, затем снова устремились вперед, взбираясь на брустверы. И вот уже штык борется против штыка. Противнику удалось отбить атаку и оттеснить гонведов от пролома, но дорогой ценой: все офицеры, защищавшие этот пролом, пали возле самой крепостной стены.

Теперь два других батальона – девятнадцатый и сорок седьмой – взбираются вверх по осадным лестницам. И с ними – добровольцы. Храбрецов обстреливают отовсюду – из башенных щелей, из бойниц ротонды. Но все напрасно: лестницы уже приставлены к стене, и боевая колонна неудержимо взбирается по ступеням. Отбросить атакующих уже невозможно, их можно только истребить.

По одной из лестниц, держа обнаженную саблю в правой руке, поднимается и Эден Барадлаи. И на этой лестнице он – первый, никто не смог опередить его.

Крепостные стены в этом месте защищал итальянский батальон. И защищал стойко.

Чтобы приставить к стене осадные лестницы, гонведам пришлось попирать тела убитых товарищей, а когда смельчаки устремились вверх, на них валились подстреленные воины, которые то и дело с воплями падали с высоты. Нередко этих несчастных вновь пронзали оцетинившиеся штыки их товарищей по оружию.

Эден поднимался с таким невозмутимым видом, словно на пари взбирался по ступенькам египетской пирамиды с единственной целью доказать, что у него не кружится голова.

Взглянув наверх, он заметил на выступе стены вскинувшего ружье солдата, наполовину скрытого бруствером. То был враг, с которым ему сейчас предстояло сразиться.

Эден уже добрался до середины лестницы, когда снизу донесся чей-то знакомый голос;

– Дорогой покровитель! Я тоже здесь!

Эден узнал Маусмана.

Смелый гимнаст двигался вверх по другой стороне лестницы, лицом к своим товарищам, и обогнал Эдена. Он карабкался, как кошка, и вскоре, оказавшись впереди Эдена, перелез на наружную сторону лестницы, откуда, смеясь, крикнул:

– Негоже вам, сударь, обгонять меня. Ведь я капитан, а вы только рядовой.

Однако Эден снова попытался опередить Маусмана: в нем проснулся дух соперничества! Но обогнавший его студент мягко надавил руками на его плечи:

– Позвольте мне идти первым, господин Барадлаи, Ведь у меня никого нет на белом свете.

И с этими словами он быстро поднялся еще на три ступеньки.

Вражеский солдат на карнизе крепостной стены поднял ружье и прицелился.

Заметив это, Маусман воскликнул с задором:

– Эй, ты, макаронщик! Целься хорошенько, не то, чего доброго, еще попадешь в меня!

И сразу же грянул выстрел. Руки Маусмана выпустили перекладину лестницы. Повернув голову, он крикнул шедшему за ним Эдену:

– Берегись! Aufg'schaut!^[114]

– Что случилось? – громко спросил Эден.

– То, чего со мной никогда еще не случалось, Я умираю.

И, пролетев над головой Эдена, Маусман свалился вниз.

Эден продолжал подниматься с удвоенной энергией.

Солдат, находившийся от него на расстоянии всего лишь нескольких саженей, снова зарядил свое ружье и навел его прямо на Эдена. Теперь противников разделяло уже не больше сажени. Эден мог бы даже заглянуть в дуло. Но солдат внезапно опустил ружье к ноге, полез за пазуху и, достав белый носовой платок, привязал его К концу штыка.

С противоположной стороны крепости, от парка, на штурм ринулся шестьдесят первый батальон.

Атакующие проломили стену дома Гроса и через эту брешь проникли в крепостной парк.

Королевский парк в Буде славится вековыми деревьями; самшитовые кусты окаймляют его дорожки. Южная сторона парка представляет собою отлогий склон, по крутому спуску восточной стороны расположены уступами три террасы. В благодатное мирное время они были прикрыты с боков виноградными лозами и густо растущими фиговыми деревьями.

Но в тот день здесь уже не было ни тенистых виноградных беседок, ни живой изгороди из деревьев.

Штурмующие лезли на стены, становясь на плечи друг другу. Некоторые втыкали в трещины стен штыки, и их товарищи карабкались вверх, цепляясь за эти железные выступы.

Между деревьев, среди декоративного кустарника, мужи дрались против мужей. Нападающие уже заняли вторую террасу и оттуда, по каменным ступенькам, продвинулись выше. Австрийцы отступили на третью террасу.

Гонведы собрались было снова идти на приступ, как вдруг навстречу им по извилистой боковой тропе спустился новый отряд противника.

Он состоял из самых доблестных неприятельских солдат: то были четыре взвода полка Вильгельма.

Они подошли от водозащитных дамб, где осаждающие уже пробились сквозь частокол. Прекратив сопротивление на подступах, неприятельские части укрылись за стенами крепости, чтобы собравшись с силами, выбить оттуда венгров, которым удалось проникнуть в нее.

На второй террасе парка и встретились два отряда, двигавшиеся навстречу друг другу.

Они столкнулись на лужайке, отделенной от крепостного парка двумя наклонными стенами. Место это напоминало квадратный двор-зверинец древних владык, куда для потехи выпускали из клеток диких зверей – льва, тигра, пантеру, быка, носорога. Звери яростно терзали друг друга, и в конце концов погибали, ибо в этом тесном квадратном дворе не было убежища, в котором можно было бы укрыться.

Вот в такой именно клетке и очутились два враждебных отряда.

Солдаты заметили друг друга среди кустов лишь тогда, когда одновременно спрыгнули с крутых стен, с двух противоположных концов площадки, не имевшей выхода. Их разделяло не больше тридцати шагов.

– Сдавайтесь! – крикнул майор гонведов.

– Огонь! Примкнуть штыки! – ответил на это австрийский капитан.

И оба отряда одновременно открыли стрельбу. Когда отгремели залпы, оказалось, что у австрийцев убиты капитан и лейтенант, а у венгров – ранен майор и еще один офицер. Ни австрийцы, ни венгры не обратили на это внимания.

Выхватив у падающего гонведа ружье с примкнутым штыком, Рихард кинулся вперед по средней дорожке.

Тропинка эта была так узка, что позволяла вести штыковой бой только двум сражающимся. Она вилась вдоль крутого, поросшего травой скользкого обрыва, на котором нельзя было сохранить равновесие. И два отряда должны были драться на сжатом пространстве, драться насмерть, как запертые в клетку звери, потому что из обнесенной стенами ямы спастись нельзя.

Рихард остановился среди самшитовых кустов. Он отлично владел штыком и твердо решил дорого отдать свою жизнь.

Но пожертвовать ею все же придется. Ведь если даже он заколет одного за другим десять человек, одиннадцатый в конце концов одолеет его самого.

Невозможно представить себе, что одному человеку под силу уничтожить целый отряд, и самому при этом остаться в живых.

Когда Рихард столкнулся с подходившим к нему врагом, в его сознании молнией промелькнула мысль: «Придется умереть!» Охваченный этой мыслью, он в тысячную долю минуты простился со всем тем, чем была полна его душа: с прекрасной отчизной, с томившейся в монастыре любимой невестой, с тенью Отто Палвица, которому он дал клятвенное обещание и теперь уже не сможет сдержать его.

Да, тут и суждено ему умереть...

Первого австрийца Рихард столкнул штыком с крутого склона вниз. Второго – ранил и отбросил назад, к его соратникам. Но третий внезапно отпрянул сам, указывая штыком на террасу над их головой.

Там уже сверкало множество штыков. К львиной клетке приближался новый отряд.

Против кого направлен этот лес штыков, тот и погибнет. Но кому они принадлежат?...

Взошедшее солнце рассеяло мучительную неизвестность.

Едва, на востоке лучи его проникли сквозь разрывы облаков, они осветили взвившееся над лесом штыков трехцветное национальное знамя.

– Да здравствует родина! – загремели с террасы ликующие крики.

Свежий отряд гонведов перескочил через бруствер и, скользя по крутому склону, лавиной обрушился на голову противника. Смешавшись с вражескими солдатами, венгры в один миг столкнули их к нижней ограде, и там, окруженный со всех сторон, смятый, подавленный австрийский отряд сдался.

Человек в мундире василькового цвета, словно ангел спаситель, летел к Рихарду по крутому склону. Это был Эден.

Братья кинулись друг к другу в объятия.

– Очень сержусь на тебя! – с горячностью воскликнул Рихард и в пылу восторга еще крепче прижал к себе брата.

Какую радость испытал он, увидев брата смеющимся! Ведь это так редко случалось.

– Как ты попал сюда?

– Через крепость.

– Разве мы овладели ею?

– Полностью.

– А комендант?

– Погиб.

– Эх! Вы сорвали все листья для лавровых венков! Нам не осталось ничего!

– Осталось! Отбейте Цепной мост.

– Верно! Вперед, боевые друзья, к Цепкому мосту!

– Желаю удачи. Позже встретимся. Я спешу к Венским воротам, там еще сопротивляется какой-то упорный отряд, его необходимо разоружить. Вы преградите ему путь к Цепному мосту.

Мост этот – гордость Венгрии – подлинный шедевр строительного искусства, мировое чудо; он упоминается в одном ряду с Колоссом родосским. И это сооружение теперь в опасности!

Комендант заявил представителям населения Буды, что в случае падения крепости он взорвет чудесный мост. Эти зловещие слова еще и теперь можно прочесть в протоколе городского магистрата.

Угроза была нешуточной. И лишь четыре лота свинца, прикончившие коменданта возле главного сторожевого поста, помешали ему самому совершить это кощунственное деяние.

Но его совершил полковник Альнох, командир части, оборонявшей защитные дамбы.

В течение целого дня Альнох держал оборону у частокола, а когда увидел на крепостных башнях трехцветные венгерские знамена, приказал заклепать пушки.

Беженцы из крепости сообщили ему, что комендант погиб. Тогда-то он решил, что час пробил, и поспешил к Цепному мосту.

Альнох явился туда на несколько секунд раньше, чем подоспели со стороны крепостного сада гонведы. Он мчался, далеко опередив своих солдат.

Его настигал Рихард Барадлаи. Они бежали один вслед за другим: так волк гонится за козулей, и каждый знал, зачем бежит другой.

Но Альнох достиг цели раньше. У берега со стороны Буды в середину мостового устоя был до половины вклинен большой ящик. Полковник вскочил на него. Ящик служил отверстием минного погреба, который был наполнен четырьмя центнерами пороха, достаточными для взрыва громадной мостовой опоры.

Возле минного погреба стоял уже наготове сапер с горящим фитилем.

– Боевой товарищ! – крикнул Рихард полковнику.

– Я тебе не товарищ.

– Сдавайся!

– Приблизься и возьми меня.

– Вы уже побеждены!

– Я еще не сдался!

– Если пойдешь со мной, я гарантирую тебе жизнь.

– А я гарантирую тебе смерть, если ты подойдешь ко мне ближе. Подо мной мина.

Рихард не проронил больше ни слова и пододвинулся еще на несколько шагов.

Тогда полковник коротко приказал стоявшему по близости саперу:

– Зажигай мину!

Но сапер швырнул фитиль в Дунай и убежал.

Рихард сделал еще один шаг в сторону противника.

Альнох вытащил из-за пояса пистолет и направил его в отверстие минного погреба, не сводя глаз с подходившего человека.

В следующее мгновение Рихарду показалось, будто восходящее солнце, сверкнув тысячью зигзагообразных молний, сорвалось с небес, будто вся вселенная распалась, превратилась в огненно-красную массу и обрушилась ему на грудь, разом оглушив, ослепив и раздавив его.

Когда, спустя много времени, Рихард почувствовал себя в силах вздохнуть и открыть глаза, он увидел, что зажат между перилами и колонной Цепного моста. Гигантская туча дыма заволокла небо над его головой. Дым поднимался все выше и выше, расстилаясь в виде кроны необъятной пальмы. Весь мир перед глазами Рихарда все еще был окрашен

в багровый цвет, а из его рта и носа медленно струилась кровь.

Рихард посмотрел вокруг: устои Цепного моста стояли целые и невредимые, но под мостовым сводом лежала бесформенная черная масса. Когда-то она имела форму человеческой фигуры, но теперь то был лишь обуглившийся до неузнаваемости обрубок без рук и головы.

На мост с обоих концов хлынула толпа гонимых.

Рихард удивился, что не слышит их голосов.

Было шесть часов утра. На верхушках всех башен крепости в Буда развевались трехцветные венгерские флаги. На всех улицах Пешта раздавались радостные, ликующие крики!

Заброшенное существо

Все канавы Буды окрашены кровью. Повсюду лежат убитые – вдоль и поперек улиц, нередко друг на друге – венгры, немцы, итальянцы, хорваты. Мертвые тела повисли на карнизах крепостных стен, на верхушках бастионов; они разбросаны на дорожках среди зарослей крепостного сада, на площади Дьердь, перед манежем, у арсенала, возле главного караульного поста, на Парадном плацу, у трех ворот, возле башни Йожеф, на Барской улице и Парламентской площади. Местами, как, например, около бреша в крепостной стене, где велась самая упорная, ожесточенная борьба, они высятся целыми грудами.

Королевский замок – дворец Матьяша – все еще пылает, руины разрушенных раньше зданий уже только дымятся. Улицы завалены обломками и рухнувшими балками. Стены домов насквозь пробиты тяжелыми ядрами, крыши разворочены, во всех окнах выбиты стекла, мостовые перепаханы бомбами. Среди разбросанных шанцевых корзин, возле разбитых пушек – трупы сраженных артиллеристов. И надо всем нависло тяжелое облако порохового дыма и густой копоти.

В полдень по этим скорбным улицам шел Рихард Барадлаи.

Освежающая холодная ванна и солдатский завтрак заставили его позабыть, что еще нынче утром он столько раз был на волосок от смерти. Он спасся просто чудом. Хотел бумажным листом прикрыть Везувий перед самым его извержением! Бумага сгорела, но руки уцелели. Невидимый шлем уберег его голову, – она не разбилась вдребезги о колонну Цепного моста лишь потому, что взрывная волна от лопнувшей мины ударила книзу и в сторону, и ему посчастливилось остаться в живых. Но контуженная голова все еще гудела.

Тем не менее он сразу же вспомнил, что в лазарете лежит женщина, которая может направить его на след ребенка Палвица.

Опорожнив еще одну чарку «растопчина»,^[115] чтобы окончательно прийти в себя, – по его мнению, это было отличным средством против головокружения, – Рихард поспешил в крепость.

Чтобы добраться до лазарета, ему не раз приходилось перешагивать через трупы, перелезать через разбитые пушки, нагромождения балок и груды черепицы. Не так-то легко ориентироваться в городе после семнадцатидневной бомбардировки. Даже хорошо знакомые дома порою невозможно разыскать, на их месте лишь груды развалин.

Рихард знал, что над лазаретами развеваются черные флаги. Здания, на которых вывешены такие флаги, противник не обстреливает.

Наконец он разыскал нужный ему лазарет, однако его не захотели впустить. Стоявшие на часах гонведы заявили, что вход туда запрещен всем без исключения.

– Кто отдал такой приказ? – возмутился Рихард.

– Комендант.

Рихард настойчиво требовал от коменданта объяснить причину, по которой ему не разрешают посетить больницу.

– В лазарете вспыхнула эпидемия, – убеждал его комендант.

– Мне все равно, Пусть там свирепствует даже черная оспа или чума, я должен туда проникнуть.

– Но ведь угодишь черту в лапы.

– Как бы не так! Я нынче побывал в дымоходной трубе ада, и все-таки дьяволу не удалось меня одолеть, Не испугаюсь я и заразы.

– Какое, однако, у тебя там дело?

– Дело чести.

– В таком случае иди. Только смотри – помрешь. не оставляй на мое попечение сирот.

Рихард снова пошел в лазарет, но уже с пропуском от коменданта. Он не нашел там ни одного врача; все они были возле постели смертельно раненного коменданта крепости. Ему удалось поговорить лишь со старой сиделкой.

– Есть тут у вас особа по имени Байчик?

– Да.

– Где находится женское отделение?

– Вон там.

– Проводите меня к этой особе.

Старуха раскрывала перед ним одну за другой двери палат. Воздух здесь был такой тяжелый и спертый, что Рихард невольно подумал: «Если отверстие минного погреба показалось мне дымоходной трубой ада, то эти смрадные палаты – поистине очаг ада. Здесь царит смерть».

Сиделка подвела Рихарда к кровати, которая была скрыта занавеской, и отдернула ее. Его взгляду предстало жалкое подобие человека с посиневшим лицом и коротко остриженными волосами.

– Вот она.

– Спит? – спросил Рихард.

– Скончалась, – кратко ответила сиделка.

– Когда?

- Нынче утром.
- А ее служанка?
- Та померла еще ночью.

Рихард задумчиво смотрел на усопшую – словно старался проникнуть в скрытую от него теперь уже навсегда тайну.

Наклонившись над умершей от тифа женщиной, он вдруг разглядел на стене возле кровати какие-то нацарапанные слова. Ему с трудом удалось разобрать эти каракули:

«Половинка медяка. – Монор – Каса – 73».

Именно это и нужно было узнать Рихарду.

Опустив занавес над кроватью, он дал сиделке золотой и поспешил покинуть обителище смерти.

Выйдя из лазарета, он с наслаждением вдохнул наполненный пороховым дымом и гарью, но все-таки свежий воздух улицы.

На Парадном плацу ему повстречался Эден, радостно устремившийся к брату.

– Остановись! – крикнул Рихард – Я только что из тифозного барака. Пусть те, кого я люблю, сегодня не подходят ко мне ближе, чем на шесть шагов.

И убежал прочь.

Наняв извозчицью пролетку, Рихард велел везти себя в Монор. Покинув Пешт, который праздновал только что одержанную победу, молодой офицер лишил себя по меньшей мере миллиона приветствий и многих тысяч поцелуев.

Он отправился разыскивать место, куда сплавляют нежданных и нежеланных младенцев.

Что же это за «заведение»?

Сейчас вы все узнаете.

В Китае, как поведал нам в своих «ученых трудах» Христофор Вагнер, существовал якобы один давний обычай. В этой стране девочек рождалось примерно на десять процентов больше, чем мальчиков, и такое нарушение соответствия со стороны природы искусственно устраняли. В назначенный день новорожденных малюток, которых считали лишними, отвозили на остров Лилеу-Пин, благословляли их, а затем кидали в «Желтую реку». Восточный берег этой реки заболочен, среди зарослей бамбука водится тьма пресмыкающихся, которые высовывают из воды свои стозубые пасти. Некоторое время детские головки еще виднелись над водой, но едва малыши достигали болота, их поглощали крокодилы.

После окончания церемонии мандарин возносил благодарность

сторукому богу Вишну за то, что он ниспослал в этом году Небесной империи столь великое множество новорожденных мужского и женского пола. И смиренно молил божество принять излишек младенцев, Так в древнем Китае устанавливали равновесие в природе.

В нашем обществе это назвали бы детоубийством, которое карается пятью годами тюрьмы. Мы поступаем проще и вместе с тем гораздо хитроумнее.

Китайцы с жестокой откровенностью заявляли несчастным крошкам:

– Послушай ты, плаксивый младенец! Твое рождение никому не нужно; к тому же ты еще не ведаешь, что значит – быть или не быть. Ты совершил непоправимую ошибку, ведь твое появление здесь нежеланно. Ты должен был родиться на другой планете. Тут ты никому не нужен. Отец о тебе не печется, матери твоей – некогда. Быть может, она пошла в услужение к чужим людям, или она просто легкомысленная женщина, для которой твоя колыбель лишь обуза и помеха. А может быть, это несчастная, кому твое появление на свет божий принесло только стыд и позор; наконец она, возможно, бережливая хозяйка, которая считает, что на тебя, пока ты подрастешь, уйдет слишком много денег. Возвращайся же поскорее туда, откуда пришел! Крохотная, оброненная пылинка, божественная искра, зародыш души в беспомощном тельце, ты, возникший из ничего и ставший никем, – спустишься на дно вод, вознесись в небеса и скажи Вишну, что побывал на земле и исчез.

Вместо всего этого у нас придумали иной выход: отдавать безродных младенцев на воспитание кормилице.

Это и есть то самое «заведение», с помощью которого избавляются от постылых детей. У нас, правда, не топят этих бескрылых ангелочков, но зато «сплавляют».

Деревни вокруг Пешта кишат такими несчастными созданиями, и никому не ведомо их число.

Вырастет ли хоть кто-нибудь из них? Ответить на этот вопрос довольно трудно.

Рихард нашел дом номер которого был указан на стене возле больничной койки. Открыв дверь и пройдя через кухню, он вошел в комнату и с трудом удержался, чтобы не выбежать оттуда. Все существо его возмутилось. В нос ударила невыносимая вонь, которая застаивается в помещении с глиняным полом, помещении, всегда набитом людьми и никогда не проветриваемом. То был удушающий запах, смешение миазм, плесени, грязи! Смертоносные испарения тифозной больницы померкли перед этим зловонием. Комната была пропитана такой сыростью, от

которой у здорового человека по коже невольно пробегает нервный озноб – своего рода предчувствие подкрадывающейся болезни. Прокисший, тошнотворный воздух, казалось, проникал во все поры тела.

В этом смрадном затхлом логове помещались четыре койки и люлька, и в них барахтались, пищали, визжали на все голоса младенцы. И только голый малыш выглядел не так ужасно, хотя бы потому, что на нем не было позорных отрепьев.

На каждом ложе теснилось по трое ребятишек; эти беспомощные, всеми забытые малыши кувыркались, ползали, дрались, хотя от роду им было не больше одного – двух лет. Старший из этих тринадцати заброшенных детишек, достигший уже двух с половиной лет, держал в одной руке вареную картофелину и жадно ел ее, а другой рукою качал ребенка в люльке, под голову которого не в пример остальным, была подложена подушечка с лентами. Младенец в люльке не плакал, во рту у него торчала большая соска, заменявшая ему материнскую грудь.

На лежанке корчился двухлетний мальчуган; грязные повязки на его ножках едва прикрывали язвы, от которых мучился бедный ребенок.

Рихард с ужасом озирает эту берлогу, силясь угадать, кто из этих несчастных детей – сын Отто Палвица. Один был хуже другого.

У него было достаточно времени для созерцания этой страшной картины, так как ему не скоро удалось разыскать хозяйку заведения. Она оказалась в саду и была занята посадкой чеснока. Не сторожить же ей с утра до вечера этих ублюдков в такой конуре! С нее хватает и того, что приходится трижды в день их кормить.

Каса была крупная, ширококостная женщина. Черты ее тупого лица не выражали ни доброты, ни злобы. Она смотрела на свой промысел как на неизбежное зло; ведь не сама же она его измыслила!

Визиты посторонних для нее были привычны. Правда, мужчины редко посещали дом Касы, но и это случалось.

– Ах, барин, выходите скорее из этого вонючего закута, пожалуйста ко мне в горницу.

– Говоря по правде, тетушка, у вас тут смрадная берлога. Но давайте все-таки останемся здесь.

– Не могу же я за восемь форинтов в месяц держать их в хоромашках! – огрызнулась в ответ сварливая баба.

– Неужели вам так мало платят? – спросил изумленный Рихард.

– Да, сударь мой. А сколько хлопот и всякой возни из-за этих грошей! И куда легче получить пять форинтов от иной бедной служанки, которой ежемесячно платят жалованье, чем от какой-нибудь барыньки. Боже упаси

иметь с ними дело! А ведь не думайте, тут есть и барчуки! Вот, например, тот младенец в люльке. Почему не качаешь его, висельник ты этакий?... Это – ребенок одной богатой купчихи. У нее солидный муж, богатый дом, она разъезжает в карете, шелком улицу подметает, но не желает, видите ли, чтобы ей досаждала кормилица. Кормилица в господском доме – важная птица, голубчик. Ну, купчиха и предпочла, чтобы ребенка пестовала я. Барынька, правда, платит двенадцать форинтов в месяц, но зато я должна содержать малыша в чистоте и раз в месяц отвозить его в город, ей напоказ.

– Но почему вы для этого ребенка не наймете няню?

– Ну, здесь ни одна не выдержит! Да и на какие шиши? Из двенадцати форинтов?

– Чем же вы его кормите?

– Ну ему-то неплохо живется! Он даже кашку получает. И смоченную в молоке жвачку.

– А из чего жвачка?

– Из добротного черного хлеба. Он лучше всего очищает кровь. Ах, голубчик ну рассудите сами, вон за того младенца платят всего три форинта, не могу же я пичкать их бисквитами!

– Всего три форинта! Кто ж этот бессердечный человек, дающий всего три форинта в месяц на содержание ребенка?

– Эх, сударь мой, деньги дает магистрат. Когда безродного младенца подбирают на улице, полиция созывает всех нас таких что присматривают за детьми, и ребенка отдают той, которая дешевле берет. А уж меньше взять никаких нельзя. Кроме того, многих детишек забывают здесь, бросают! Даже не знаешь, где искать таких родителей. Вон тот щенок, что орет на лежанке, как раз из таких. Эй, ты, заткнись!.. Помилуйте, сударь, ведь уж одиннадцать месяцев прошло, как я за него не получаю ни гроша.

– А что с ним такое?

– Несносный мальчишка сам во всем виноват. Варила я им суп по случаю воскресного дня, а этот паршивец опрокинул на себя горшок; ну и ошпарил обе ноги, так что они теперь все в болячках».

– А вы обвязали несчастному обожженные ножки ситцевой тряпкой! Он же, наверно, страшно мучится.

– Да что с ним станется! Все равно не выйдет из него человека, грыжа у него от неумного крика – так или иначе помрет. Родители тужить не станут. Отец – кучер, они – бедняки. Да и живут далеко.

У Рихарда отлегло от сердца: значит – это не сын Палвица.

– Сударыня, я ищу у вас одного мальчика, за которого тоже давно не платили. Его передала вам госпожа Байчик, зовут его Карл, на шее у него

привязана половинка медяка, а на груди – синеватая родинка.

– Ну, голубчик, вы сделаете доброе дело, если заплатите за маленького Карла.

– Покажите же мне его!

– Ах, нет, нет, он не здесь. Он – в отдельном помещении.

– В отдельном помещении?

Рихард почувствовал, что его мнение о Касе меняется к лучшему.

– Сейчас я его принесу, пожалуйста пока в горницу.

– Я хочу пойти вместе с вами. Я заберу этого ребенка с собой.

– С собой? Ну. тогда другое дело. Только вам с ним будет, пожалуй, хлопотливо. Бедняжка сильно хворает.

– Что с ним/

– Глаза болят. Потому-то я и поместила его отдельно – боюсь, как бы не заразил остальных. Ведь он сам тоже заразился – от того, что помер на прошлой неделе.

– Но почему же вы их не лечите?

– Да уж пробовали, даже купорос вдувала ему в глаза – ничего не помогает. Известку бы из рачьих потрохов ему достать или вот семян болотной травки.

А если и это не поможет, тогда уж нет средств.

Без умолку болтая, Каса провела Рихарда через грязный двор до хлева, рядом с которым помещался вход в темный дровяной сарай. Там, в тесной клетушке, Рихард увидел полуголого ребенка, прикрытого обтрепанной сермягой; мальчик лежал с закрытыми глазами.

Услышав шум приближавшихся шагов, ребенок принялся стонать.

– Водички, пить хочется!..

– Я, сударь мой, устроила его в местечко потемнее, чтобы свет глазам не вредил.

– Подите и принесите воды.

– Ох, сударь мой любезный, нехорошо давать больному воду. Я никогда не пою их, если они хворают, от этого один только вред.

Но тут Рихард так прикрикнул на болтливую бабу, что у нее с перепугу подкосились ноги.

– Немедленно принесите воды!

Касе пришлось выполнить его приказание. Она сходила к колодцу и принесла в глиняном кувшине воды.

Рихард приподнял голову ребенка и поднес сосуд, к его губам. Несчастный малыш жадно выпил чуть не половину кувшина. Тогда, смочив свою ладонь, Рихард осторожно вытер лицо мальчика. На губах больного

появилась слабая улыбка. Вынув из кармана белый платок, Рихард завязал большие глаза ребенка, поднял его с опилок, на которых тот лежал, и завернул в свою шинель.

«У бедняжки на ногах рваные башмачки...» – вспомнил Рихард слова Отто Палвица.

Когда он вынес мальчика на свет и увидел, в каком он состоянии, то понял, почему Палвиц не захотел жениться на той, которая могла допустить, чтобы ее дитя попало в такие руки. Если бы кирасир мог увидеть сейчас своего сына, он, верно, убил бы бездушную женщину, носившую на пальце его обручальное кольцо.

Рихард до самой пролетки нес мальчика на руках. Каса не отставала от него. Ведь надо было довести дело до конца, надо было выяснить, кто же заплатит ей за содержание ребенка?

Усадив маленького Карла в экипаж, Рихард вынул кошелек и отсыпал женщине кучу монет.

– В награду за хороший уход!..

Каса увидев, что полученная сумма вдвое превышала ту, что ей причиталась, рассыпалась в изъявлениях благодарности. Однако Рихард резко оборвал ее:

– Вот что, Каса! Сейчас я сожалею лишь об одном – что мы не живем в те времена, когда сжигали ведьм. Если бы вас жгли на костре, я охотно пришел бы полюбоваться этим зрелищем.

Так любезно распрощался Рихард с бездушной женщиной.

Проезжая околицей деревни, он внимательно разглядывал расположенный несколько поодаль погост. Там виднелись длинные ряды крошечных могил, обозначенных белыми и сине-зелеными крестиками. И ему почудилось, что низенькие, торчащие из земли кресты, – это головы кайманов, ^[116] угрожающе высунувших свои пасти из мутных вод. Только ту страшную казнь, которую кайманы совершают за минуту, здешние чудовища затягивают на несколько лет.

Добравшись до Пешта, Рихард приказал везти себя прямо в детскую больницу.

Однако не подумайте, что это – государственное заведение. Отнюдь нет. Больница создана на пожертвования добросердечных граждан, а забота казны направлена на то, чтобы изымать из этой суммы несколько тысяч форинтов в виде налога, иначе говоря, обирать несчастных и обездоленных, нуждающихся в сострадании, потому что они дети, и больные дети. Но ведь «Астарта голодает» – и государственный бюджет не гнушается даже детской кашкой!

Рихард нашел самое подходящее место для ребенка Отто Палвица; здесь ему спасут жизнь.

Он внес в банк значительную сумму денег, так что одних процентов с них должно было хватить на содержание и обучение мальчика; кроме того, он зарегистрировался в городском магистрате, как попечитель ребенка. Теперь Отто Палвиц мог спокойно спать в земле.

На другой день в Будапеште состоялись грандиозные торжества.

Погибших в битве героев хоронили с торжественной пышностью, как и подобает делать победоносной нации. Грудь доблестных воинов, отличившихся при штурме крепости, украсили орденами, а благодарные жители Пешта устроили в их честь великолепное пиршество.

Рихард с нетерпением ждал окончания празднества, Он спешил в детскую больницу; не стало ли лучше маленькому Карлу?

Эфиальт^[117]

Ненавижу свое отечество!

Есть ли на свете слова более позорные и кощунственные, вызывающие содрогание у людей?

Неужели кто-либо способен испытывать столь чудовищное чувство?

Неужели существует человек, способный действовать под влиянием подобных чувств?

Истории известны великие люди, произносившие столь кощунственные слова, но все они сами изнемогали затем под их тяжестью.

Изгнанный из Рима Кориолан^[118] с ненавистью захлопнул ворота родного города, но когда наступил час мести, он, плача как ребенок, повернул вспять.

Шаламон,^[119] лишенный народом короны, разразился проклятиями и убежал с поля брани, но все же кающимся отшельником вернулся в родные места, чтобы благословить отчизну на пороге фехерварского храма!

Велизарий^[120] трижды проникался ненавистью к неблагодарному отечеству, но когда враг подходил к его рубежам, он трижды спасал родину от грозной опасности. Последнее горькое разочарование его подкосило.

Престарелый Фоскари,^[121] возненавидевший отчизну, умер от разрыва сердца.

Боливар,^[122] исполнившись вражды к родной стране, швырнул ей корону, но сражаться против нее не стал.

Пал Бельди^[123] предпочел погибнуть в темнице, но не принял чужеземной помощи, которая сделала бы его владыкой отечества, против которого он восстал.

А распятый на кресте Христос изрек: «Отче, прости им», – испрашивая тем самым прощение своим соотечественникам, сынам Иудеи, которых всего три дня назад он столь гневно предавал анафеме.

Одна мысль о ненависти к родине способна надломить и лишить сил всякого, будь то простой смертный, демон или даже бог, ибо душа каждого неотделима от родной земли, которую он вздумал ненавидеть!

Ненавидеть родину нельзя, ни у одного человека не достанет душевных сил для этого. Но продать ее можно, – нужно только вовсе не иметь души.

Эфиальт не испытывал ненависти к Элладе, но он продал ее.

Мы далеки от того, чтобы возводить на пьедестал пигмеев, изображая их какими-то демонами. Эфиальт вовсе не был демоном. Вероятно, Паусаниас^[124] обошел его при распределении должностей, или он был побежден в олимпийских играх каким-нибудь фиванцем, или, может, он хотел жениться на богатой вдовушке, а та отвергла его руку; или же, подобно поклонникам Эпикура, не располагая достаточными средствами, он сильно страдал от кредитов, а архонты не заступились за него, между тем Ксеркс обнадежил Эфиальта, что после захвата Эллады поставит его сатрапом над Фессалией. Должно быть, так и было. И, соблазненный посулами, Эфиальт объявил, что ненавидит свою отчизну. Но он говорил неправду, – ему лишь хотелось пожить на ее счет.

Радостное ликование, царившее в стенах Будапешта, породило эхо. Это долетевшее от вершин Карпатских гор эхо – было русским гимном.

Победное ликование в Будапеште провозглашало!

– Да здравствует всемирная свобода!

А эхо Карпат гудело в ответ!

– Царь всемогущ!

На вершине одной из карпатских гор, на высоте трех тысяч шестисот футов над уровнем моря, кутила веселая компания: лилось вино, звучала музыка.

С высоты открывалась чудесная панорама раскинувшегося внизу края. Темные хвойные леса обрамляли с двух сторон этот пейзаж. Вдали чернела уходящая грозная туча. На ее сумрачном фоне заходящее солнце причудливо раскинуло двойную дугу радуги. Преломляясь сквозь внутренний, более яркий ее полукруг, ландшафт приобретал волшебную, многоцветную окраску, все в природе принимало цвета и оттенки радуги: золотисто-румяные леса и позолоченные зеленоватые башни и колокольни, лиловатое, со стальным отливом озеро. Внутри этого сказочного, райского круга можно было насчитать двадцать две разбросанные по долине деревушки. Из глубины лесной чащи повсюду пробивались многочисленные ручьи. От их блеска все вокруг, казалось, усыпано тысячью зеркальных осколков. Благодатный край, одетый зеленым бархатом всходов! Его первобытную красу умножил человеческий труд; он украсил его проезжими дорогами, городами, в которых высились башни и колокольни. Доносившийся снизу стук сукновальных колотушек и удары кувалд возвещали о том, что в округе процветают промыслы.

Солнце клонилось все ниже к закату, радуга все выше поднималась в

небо, туча уходила все дальше и дальше, а пейзаж ширился и раздвигался. На горизонте уже стали видны очертания вулканической горы, склоны которой усыпаны виноградниками; это – родина самого знаменитого в мире вина.

Панорама напоминала ту, которую на мгновение показал Моисею бог, когда разрешил ему взглянуть с вершины горы Нэбо на обетованную землю – страну Ханаанскую!

Это была Венгрия!

Веселившаяся на макушке горы компания зачарованно взидала на эту панораму.

Здесь были только мужчины, только воины, – офицеры оренбургского полка, русская лейб-гвардия, знатные черкесские и мусульманские воины. И среди этого иноземного войска находились лишь двое штатских, два венгра. Один из них – Бенце Ридегвари, другой – Зебулон Таллероши.

Беседа велась на немецком языке. Среди русских офицеров немецкий язык был так же распространен, как французский среди пруссаков.

– Вот поглядите, – воскликнул Бенце Ридегвари, после того как перечислил названия городов и деревень, разбросанных в глубине долины, – эта дорога ведет в Константинополь!

Его слова были встречены громким криком:

– Ура! Да здравствует царь!

Зазвенели бокалы, и все обнажив головы, запели царский гимн.

Ридегвари пел вместе с другими гимн по-русски.

– Почему ты не поешь, Зебулон? – спросил он у задумавшегося старика.

– Голос у меня, как у павлина, – ответил опечаленный муж.

Слетая с горной кручи, гимн далеко разносился по окрестностям. Внизу, по длинной столбовой дороге, нескончаемой вереницей шли конные полки самодержца российского. Солдаты подхватывали долетавший до их слуха гимн. Можно было не знать и не понимать его слов, но мелодия, тревожная и мистическая, то полная угрозы, то исполненная скорби, не оставляла сомнения в том, что эта песня всероссийского самодержца обращена к отважным народам, которые пока еще гордятся тем, что свободны. То звучала из-за скал песня Гога и Магога.^[125]

– Взгляни, – сказал Ридегвари, притянув поближе к себе Зебулона, – по дороге, что лежит под нами, сейчас проходят четыре кавалерийских полка. Один – великой княгини Ольги Николаевны, другой, гусарский, – цесаревича, третий, уланский, – Ольвиопольский, а четвертый – это мусульманская конница. В каждом полку все лошади одной масти: в полку

Ольги Николаевны – серые, в полку цесаревича – каурые, кони уланского полка – вороные, а мусульманские кони – гнедые. Дальше едут донские казаки и Вознесенские уланы; за ними следуют артиллерия, пехотные полки и, наконец, обоз. А еще дальше – второй, третий корпуса. Ведь это восьмидесятитысячное войско!

Ридегвари сжал руку Зебулона.

– Уже близки дни нашего торжества! Теперь-то мы раздавим своих врагов! Этот жалкий сброд не устоит, рассыплется перед такой громадной силой.

Лицо его сияло. Чтобы лучше насладиться этим зрелищем, он встал у самого края отвесной стены, вздымавшейся из глубины соснового леса на сто футов и покрытой сверху густым ковром травы.

Зебулон Таллероши заглянул с кручи в раскрывшуюся бездну, и у него на мгновение мелькнула мысль: а что, если ему схватить своего милого друга и, как сделал Титус Дугович^[126] с турком, ринуться вместе с Ридегвари в эту пропасть?!

– Да поможет мне бог! Только бы пять моих дочерей не засиделись в девках!

Солнце уже закатилось за горизонт. Огненный шар, еще пылавший на краю неба, был уже не дневным светилом, а лишь его отражением, оптическим обманом. Радуга еще стояла в небе, но была уже не семицветной, а сплошь огненно-красной.

На дорогах в долине по-прежнему звучал царский гимн. Русская кавалерия входила в город.

Зебулону Таллероши сложившаяся ситуация была совсем не по душе. Поначалу, когда вместе с Ридегвари ему почти все время приходилось проводить в разъездах, знакомиться с иностранными сановниками, получать высокие награды, он воображал, что выполняет серьезную роль в высокой политике; это льстило его самолюбию и тешило его. Ему казалось, что эта высокая политика мирно уладит положение.

Зебулон надеялся, что царская дипломатия выступит посредником между воюющими сторонами, и те проявят уступчивость, последуют доброму совету.

Прежде всего ему хотелось, чтобы были отменены дебrecенские чрезвычайные законы. Потом, думалось ему, в крайнем случае, нынешнему кабинету министров придется сложить полномочия, генерал-губернаторы будут смещены, а на их место назначат новым. Он надеялся, что Государственному собранию нового созыва предложат признать долг казны

в двести миллионов. А некоторым крупным деятелям, возможно, дадут и паспорт на выезд в Америку.

Но теперь, смекнув, что назревает большая беда, Таллероши сразу потерял всякую охоту заниматься «высокой политикой», – не так он все это себе представлял.

Конечно, он не стал бы возражать, если бы образумили Гергё Бокшу и подобных ему удальцов. Но постоянно держать над пламенем свечи карту Венгрии, родины, из которой Бокша со своими молодцами прогнал его, Зебулона, и взирать, как она сгорает дотла, – нет, этого не могла вынести его чувствительная душа!

После веселого пикника, во время которого Таллероши пировал в блестящей компании знатных иностранцев, он вместе с Ридегвари возвращался в коляске в город, расположенный в долине.

По дороге Зебулон разоткровенничался.

– Увы, силища у них действительно громадная. Не знаю, как сумеют устоять против нее те, внутри нашей страны!

– Fuimus Troes!.. Ruet Ilium et ingens gloria Parthenopes!^[127] – иронически изрек Ридегвари.

– А что станет с побежденными?

– Vae victis!^[128] – последовал жесткий ответ.

– Но ведь они же не станут так жестоко...

Зебулон не посмел выговорить слова, уже готовые сорваться у него с языка.

– Ense reeidendum immedicabile vulnus,^[129] – снова произнес Ридегвари.

«Черт бы тебя побрал с твоими латинскими изречениями! – подумал Зебулон. – Говори со мной по-мадьярски!» И в упор спросил Ридегвари:

– Ну, как, например, поступят с человеком вроде Эдена Барадлаи, которого любили и уважали не только мы, но вся страна, чей отец был нашим добрым другом, чьей матери мы дали обещание всегда заступаться за ее детей? Ведь то, что Эден совершил – пусть нам это и не нравилось, – он совершил не из корысти, а из любви к родине. Это – большой ум и талант, он еще когда-нибудь сможет принести стране много пользы, стать столпом государства... Что ты на это скажешь?

Вместо ответа Ридегвари порадовал Зебулона новым изречением, но на этот раз не латинским, а немецким:

– Mitgefangen, mitgehangen.^[130]

После чего Зебулон за всю дорогу не перемолвился с ним ни единым

словом.

Когда в тот же вечер Бенце Ридегвари, открыл ящик своего письменного стола, где хранились паспортные бланки, он неожиданно обнаружил, что одного из них не хватает – того, что лежал сверху».

Между тем это был английский паспорт, снабженный всеми нужными подписями и скрепленный печатью посольств транзитных стран. В нем оставалось лишь проставить имя владельца да описание его примет. Такие незаполненные паспорта держались наготове для эмигрантов, отправляемых с секретной миссией.

«Бланк некому было выкрасть, кроме Зебулона. Для кого же он ему понадобился?» – недоумевал Ридегвари.

Но лишь улыбнулся своему открытию.

Он всегда разъезжал в одной коляске с Зебулоном, спал с ним в одной комнате, словно опасался, что тот от него сбежит. На чем же была основана эта неразрывная дружба его превосходительства и Таллероши?

Объяснение было простое: Ридегвари почти не знал языка населения того края, который имел большое значение для его замыслов. Зебулон являлся для населения этих мест прямо-таки непогрешимым оракулом: его любили, считали своим добрым гением. Когда Ридегвари приходилось беседовать с людьми, Зебулон служил для него тем, чем Аарон – для Моисея. Нужно было только натолкнуть его на мысль, и он превращал ее в целую речь. Для такого важного путешествия, которое совершал Ридегвари, Таллероши был незаменим. Возмущенных жителей селений, через которые проходила русская армия, необходимо было убедить, что вооруженных пришельцев надо считать не врагами, а добрыми друзьями, единокровными братьями. В этом и состояла миссия Зебулона.

Но он уже разгадал, в какое дело его задумали втравить, и никак не мог примириться с этой мыслью!

Ридегвари не зря принимал меры предосторожности и укладывал на ночь этого новоявленного Аарона у себя в комнате. Не будь он столь предусмотрителен, Зебулон давно бы удрал от него.

Таллероши тщетно ломал себе голову, как бы расстаться со своим вельможным покровителем, но пока это было неосуществимо. Ридегвари выказывал к нему такую привязанность, что как ни пытался Зебулон затеять ссору, из этого ничего не выходило. К тому же сам он не умел сердиться по-настоящему, да и Ридегвари обращался с ним так любезно, что находиться с ним в состоянии вражды было просто невозможно.

Но после их последнего разговора Зебулон серьезно решил избавиться от своего милого друга.

«Раз ты не позволяешь мне покинуть тебя, я заставлю тебя самого сбежать», – решил он.

Зебулон уже давно вынашивал некий план. Он зародился в его голове еще тогда, когда он увидел первого казака, уплетавшего желтый огурец. Казак поглощал сорванный на огороде огурец, смакуя его как лакомство. Идея Зебулона созревала по мере того, как он наблюдал за кулинарными манипуляциями гастрономов из военного лагеря. Нарезав обыкновенную тыкву и кормовую свеклу, они перемешивали все это с черной мукой и заливали горячей водою. Сама по себе эта мешанина была не слишком съедобна, но вот кто-то догадался окунуть в горячее варево пачку сальных свечей. Правда, свечи стали тоньше, но были по-прежнему пригодными для освещения, зато бульон сделался очень вкусным.

Задуманный Зебулоном план созрел окончательно, когда в русской армии вспыхнула эпидемия холеры; вскоре она приняла такие размеры, что число жертв превышало количество погибших после крупного сражения. Прежде чем войска успели принять участие в боях, умерло более двух тысяч человек, и каждый новый привал отмечался новым кладбищем и госпиталем на тысячу коек.

Холера, как тень, омрачала настроение Ридегвари, Он страшился ее, но был вынужден оставаться в опасной зоне, хотя вовсе не был уверен, что орден святого Владимира может уберечь его от злой напасти.

Страх заставлял его прибегать ко всяким предохранительным средствам. На грудь он повесил мешочек с камфарой, поясницу постоянно обматывал шарфом, в сапоги насыпал серный цвет, а комнату всегда опрыскивал хлорной известью; кроме того, он по вечерам пил красное вино, по утрам – арак, а среди дня – грыз кедровые орехи. Всем окружающим было запрещено упоминать при нем о числе умерших от холеры, а в городах, где он останавливался, не разрешалось звонить в колокола по усопшим, и похороны совершались только ночью.

Таким образом, Зебулон разгадал уязвимое место вельможи.

Вечером после веселого пикника он зашел в аптеку и попросил дать ему tartarus emeticus.^[131] Аптекарь попробовал было отказать, но Зебулон властно заявил:

– Теперь повелеваю я! Положение исключительное. Раз сказано «надо» – значит надо!

Аптекарь струсил: положение и в самом деле было исключительное! Казаки выпили до последней капли весь имевшийся в аптеке купорос, будто это был какой-то деликатес; кто знает, может, желудок этого казацкого атамана тоже требует подобного средства? Так или иначе

аптекарь беспрепятственно выдал требуемое слабительное, предварительно разделив его на небольшие дозы.

Зебулон спрятал снадобье под своей фланелевой курткой, а ночью, когда они с господином Ридегвари улеглись в одной комнате, незаметно принял двойную дозу лекарства.

Господа! Ehre, dem Ehre gebührt,^[132] – каждый человек по-своему отважен. Со стороны Зебулона такой поступок был геройством: подумать только – во время эпидемии холеры искусственно вызвать у себя расстройство желудка!

Замысел удался как нельзя лучше. Наступившая вслед за принятием двойной дозы слабительного катастрофа сразу же разбудила спавшего глубоким сном господина Ридегвари. Он вскочил с постели и выбежал на середину комнаты с громким воплем: «Холера!» Затем бросился в коридор.

Он оставил в спальне всю снятую перед сном одежду и распорядился, чтобы ему дали другую, а бумаги и поклажу, находившиеся в спальне, велел окурить. Затем приказал заложить карету и темной ночью укатил прочь из города; со страху он ехал без остановки до соседней деревни. До такой степени испугала его болезнь Зебулона!

А Зебулон, едва окончилось действие слабительного, преспокойно заснул и храпел до самого рассвета. Возможно, он проспал бы еще дольше, но под утро кто-то открыл дверь и проскользнул к нему в комнату.

Вошедший был приземистый, невзрачный старичок с косматой, взъерошенной шевелюрой, в рубашке с закатанными рукавами, в синем фартуке и шлепанцах. Остатки шеллака на его ногтях выдавали столяра.

Зебулон из-под ресниц следил за незнакомцем, пытаясь догадаться, зачем пришел этот странный человек. Ведь ему так хочется спать.

Между тем плюгавый старикашка тихонько приблизился к кровати и вытащил из-под фартука складную линейку. Зебулон лежал вытянувшись, его ноги торчали из-под слишком короткого одеяла. Столяр наклонился и начал обмер: от кончика пальцев до колен – два фута, от колен до середины груди – еще два фута. Он уже собирался измерить, сколько еще дюймов до затылка, но Зебулон не стал ждать. Как только дюймовая линейка оказалась около его носа, он обеими руками вцепился в лохмы старика и стал немилосердно встряхивать всю его жалкую, приплюснутую фигурку, и делал он это с таким усердием, что тот замер от страха. Как только Зебулон отпустил его чуб, человек упал на колени и, неистово колотя себя обеими руками в грудь, залепетал:

– Иисус-Мария, святая Анна!..

А Зебулон уселся на краю постели, подбоченился и рывкнул:

– Эй ты, висельник! Чего ради тебе вздумалось измерять мою фигуру?

– Ай, ай, ай! Господи, владыка вселенной, не оставь меня! – ошалело бормотал столяр, у которого с перепугу зуб на зуб не попадал.

– Вот я тебе задам сейчас вселенскую трепку, шалопай ты этакий! – вскричал Зебулон, вскакивая на ноги. – Говори, какого лешего понадобилось тебе измерять меня?

Заметив, что Зебулон ищет возле кровати свою трость плюгавый старичок понял, что перед ним не призрак, а реальный человек, который угрожает ему вполне реальными побоями; и он поспешно стал оправдываться:

– Помилуйте, сударь! Прийти сюда мне велел его высокопревосходительство, что недавно уехал: он сказал, что, мол, тут скончался некий господин и требуется сколотить гроб. Он мне даже уплатил вперед.

Зебулону стало неловко за свою горячность.

– Ну, ладно, в таком случае все в порядке. Коли его высокопревосходительство позаботился обо мне, – это великая милость с его стороны. Подумать только – гроб мне заказал! Однако я им не воспользуюсь. Но, раз уж за него заплачено, можешь выпить за мое здоровье. Только о том, что здесь произошло, – никому ни слова! Иначе нас обоих поднимут на смех. Лучше уж посмеемся сами.

Бедняга столяр был окончательно сбит с толку: он не знал, плакать ему или смеяться!

– Уж очень я напугался, все кишки свело от страха, Не случилось бы со мной беды. Я думал – вы покойник, а вы вцепились мне в волосы!

– Вон там в бутылке арак, потяни из нее разочек. Ну, легче стало? Как тебя зовут?

– Мартон Струпка.

– Ну ладно! Хлебни-ка еще разок, да вот тебе форинт от меня. Раздобудь мне подводу, только, понятно, не погребальную колесницу, в ней я пока не собираюсь путешествовать. Мне нужна подстава до Пуккерсдорфа, я хочу туда съездить к тамошнему пастору, мы с ним друзья-приятели.

Узнав, что Зебулон лютеранин, Мартон Струпка тотчас успокоился. Страх его как рукой сняло: он принял от Таллероши форинт, поблагодарил и даже к ручке приложился.

– Я мигом возвращусь с одним хорошо знакомым ямщиком. Сам с вами поеду, чтобы показать дорогу. Ведь я тоже отлично знаю его преподобие, целых три года служил у него церковным сторожем.

Зебулон очень обрадовался.

Было бы неестественно, если бы Мартон Струпка тут же не сообщил Зебулону, что он тоже – «nostros», земляк.

Вот благодаря какой ловкой проделке удалось Зебулону скрыться с горизонта Ридегвари.

А новый Эфиальт тем временем вел «бессмертную ар» мню» дальше – через новые Фермопилы...

И не нашлось на него Амфиктионии!.. [\[133\]](#)

Перигелий ^[134]

Если кому-нибудь попадется в руки комплект венгерских газет за тысяча восемьсот сорок девятый год – их выпускали тогда немного, да и те, что выходили, нередко уничтожались, – он отыщет в них краткое сообщение о том, что утром двадцатого июня, между десятью и двенадцатью часами, можно было наблюдать на небе ослепительный солнечный венец. Найдутся, пожалуй, и очевидцы, которые еще помнят этот день.

Действительно, то было одно из самых великолепных небесных явлений, которые когда-либо доводилось наблюдать: были видны и солнечная корона, и гало, ^[135] и ложное солнце, – всё вместе.

Корона даже при полном солнечном затмении наблюдается редко – может быть лишь один раз на протяжении жизни целого поколения; гало – можно наблюдать даже не каждое столетие, а то и другое вместе с ложным солнцем – это уже зловещее небесное предзнаменование и такое чудо, о котором в мирные времена ученые пишут целые тома.

В Венгрии же, в июне тысяча восемьсот сорок девятого года, не нашлось астрономов, которые описали бы это редкостное явление.

Мы, мадьяры, тогда попросту не заметили этого «двойного солнца»: для нас в ту пору стояла «двойная ночь»!

Двухсотсорокатысячная царская армия приближалась к Венгрии. Армия отдохнувшая, подготовленная, закаленная в боях.

Было от чего впасть в отчаяние.

Однако находились люди, которым необузданное воображение помогало еще надеяться на победу.

Да, находились!

И таких среди венгров оказалось немало. Они говорили:

– Если на нас идет войско в двести сорок тысяч, мы должны выставить против них полмиллиона!

Каждый, кто способен стоять на ногах, владеть руками, кто достоин называться мужчиной, – должен вступить в ряды сражающихся! Любое орудие из металла, с лезвием и с острием, должно стать грозным оружием. Ведь умирают всего лишь раз! Не собираетесь же вы жить вечно!

Против вторгшегося неприятеля был объявлен своего рода крестовый поход. Священники произносили с амвона патриотические проповеди, призывая на венгерское воинство благословение господне.

Красноречивой и знаменательной приметой тех грозных дней был «красный крест». Его приколоты себе на грудь и кальвинисты, и лютеране, и католики. Сделали это даже иудеи. Такова была единая воля нации.

Каждый видел в этом кресте не религиозную эмблему, а протест всей Венгрии против вторжения могущественной иноземной державы. Перед лицом грозной опасности исчезло всякое различие в вероисповедании, какая бы то ни было приверженность к религиозным догмам, Берталан Ланги, протестантский священник, сам нес перед восставшим народом знамя с красным крестом. Правительство объявило крестовый поход, и протестантские священники не стали против этого спорить, как спорили в свое время против «oilioque»^[136] константинопольские раскольники при осаде города; священники брали пример с Петра Амьенского.^[137] И многие из них поплатились за это жизнью.

Берталан Ланги успел собрать громадное войско, целый стан народного ополчения, вооруженный косами, пиками, топорами; он сам возглавил его. Да и нужна ли тут военная наука? Наброситься на врагов и, не думая о смерти, рубить их до тех пор, пока всех не уничтожишь! Для этого вполне достаточно воли, отваги, ожесточения.

Не допустить переправы через Тису – в этом состояла главная задача народного ополчения.

Священная Тиса! Ее течение, даже когда оно сковано льдом, составляло пограничную линию между землями, населенными венграми, и землями, где жили другие народы. На левый берег этой реки не должен ступить враг!

Двадцатого июня тысячи народных ополченцев заполнили степи Притисья.

День выдался жаркий, земля накалилась, небо казалось белесым.

В полдень на тусклом небе начались невиданные явления. Солнечный диск померк, и вокруг него стало заметно нечто напоминавшее спицы, расположенные под тупым углом к светилу. Так обозначилась корона. Затем на большом расстоянии от солнца показался венец; с внутренней стороны по всей окружности он был бледно-розовый, а с наружной – нежно-зеленый, как радуга. Это появилось гало. И наконец на восточной стороне венца стало просвечивать еще одно солнце. Оба солнца имели рваные края и были одинаково окрашены, так что трудно было различить, какое из них настоящее, а какое ложное.

Люди содрогнулись при виде этого явления. Никогда еще не созерцали они ничего подобного. Даже образованные люди, знавшие о нем из книг,

ощутили смятение, увидав своими глазами явление, происходящее раз в столетие.

– Небо грозит нам гибелью, – шептали суеверные.

Берталан Ланги отлично понимал, что народ воспринял это как роковое предзнаменование. Но небесные знаки человеческими руками стереть нельзя. Их необходима истолковать. И воскликнуть, как сделал Константин Великий^[138] в разгар боя: «In hoc signo vinces!» – «Сим победиши!»

Схватив ополченский стяг с крестом, седой священник поднялся на кунский курган и, отбросив прочь свою шляпу, обратился к богу:

– Ты, что послал нам знамение с небес! Что предвещает оно: победу или поражение? Хочешь ли ты ободрить нас, показывая, что и у солнца, которое поддерживает в небе твоя всемогущая рука, – тоже есть соперник? Мы знаем – ты волен погасить солнце! Какое же из этих двух светил ты погасишь? О, ты, верно, оставишь нам то благодатное солнце, что светит и согревает, то что остановилось, послушное тебе, над долиной Гаваона,^[139] ожидая, пока твой народ одержит победу, то солнце, что померкло и облилось кровью, когда твой святой сын был распят на кресте! Ты оставишь солнце нашей отчизны, солнце, возвещающее твое величие. Конечно, ты сохранишь нам его! Душа моя преисполнена веры, что это небесное явление знаменует торжество нашего солнца!

Весь день священник неустанно воодушевлял народ. Он говорил с такой страстью, что жилы вздулись у него на висках, а одухотворенное лицо сияло.

Люди, обнажив голову, проникновенно внимали этой беседе с богом.

– ...Если же ниспосланное тобою знамение – не залог торжества нашего солнца, тогда, о господи, пусть я больше не увижу света и покину эту землю, которую больше не смогу называть своей отчизной! Пусть умру я там, где выроню из рук это знамя!

И внезапно, на вершине кунского кургана, священник выронил из рук знамя с красным крестом, огляделся вокруг и умер.

Бог, должно быть, услышал его молитву и выполнил его желание. И оказал ему этим немалую услугу – ведь царские сатрапы уже вынесли Берталану Ланги приговор: пятьсот ударов плетью и ссылка в Сибирь. Итак, господь внял мольбе своего слуги и взял его на небо.

По существу, в этом случае нет ничего чудесного или невероятного, все объясняется очень просто: стояла страшная жара, священник сильно волновался, к тому же старик был предрасположен к апоплексии.

Но ополченцев это происшествие потрясло, и они разбежались. Народ разошелся по домам.

Священник выронил крест, но ведь у венгров оставался еще один крест – эфес сабли. Но и он им не помог.

Из двух светил июньского перигелия в небе осталось не прежнее солнце, а совсем иное.

Этого не заметили даже астрономы, Но мы это хорошо знаем.

Добрые старые друзья

Ночь тринадцатого августа.

Эден Барадлаи смотрел из окна барской усадьбы в Вилагоше^[140] на поток падающих звезд.

Это – извечная загадка: почему именно тринадцатого августа многие тысячи звезд низвергаются с небес, почему именно в эту ночь происходит волшебный фейерверк из метеоров.

Но теперь Эден уже знал, почему в эту ночь так густо падают звезды. Разглядывая их, он мог про каждую сказать, «кем» она была и «что» собою значила.

Он долгое время размышлял над этим.

Не каждый из астероидов, пролетающих по небу, чертя огненные линии среди недвижных созвездий, должен упасть на землю. Многие лишь загораются вследствие сильного трения о земную атмосферу, но затем мчатся дальше. Они имеют свои орбиты.

Любопытно было бы узнать, сколько среди стремительно пронесившихся той ночью звезд таких, которые не упадут на землю или в море, а будут двигаться дальше своим путем? И когда-нибудь вновь появятся над землей?

Свою собственную звезду Эден к ним не причислял – она свой путь уже завершила. Когда человек становится бесполезен, ему легко уйти.

В тот день венгерская армия сложила оружие. Эден не принадлежал к числу людей, склонных к самообольщению, и не верил в миражи. Он знал: пришел конец всему.

Отныне будет существовать только идея.

Его поколение сыграло свою роль. И с честью сойдет с арены. Идея же сохранится и будет жить дальше.

А тем, кто сражался за нее, придется умереть. Они умрут, потому что ничего другого сделать уже не могут.

Такова судьба всех апостолов. Терновый венец – их корона, а голгофа – коронационный холм, где венчают идею.

Эден написал прощальные письма матери и жене, в которых сообщал, что спокойно ждет своей судьбы, как ожидали ее старцы Рима, сидя в своих креслах на колесах и не помышляя о бегстве. Столько жертв уже принесено, что не подобает теперь горевать об участи отдельных людей. Наступит время, подрастут те, кто сейчас еще в колыбели, и страна снова

обретет величие.

Эден с мудрым спокойствием мирился со всем, не в пример многим своим соратникам, которые поспешили спрятаться, судорожно ища путь к спасению. Он даже не хотел думать о том, что можно заблаговременно обеспечить себя заграничным паспортом. Он вспомнил о браминах – ведь они никогда не помышляют о бегстве. Бежать – дело париев, а порой и кшариев. [\[141\]](#)

В то время, когда Эден пытался угадать имена падающих звезд, под его окном возникла какая-то незнакомая фигура.

– Могу ли я видеть господина Эдена Барадлаи? – спросил пришедший.

– Это я. А вы кто такой?

– Мое имя – Балинт Шнейдериус. Я – лютеранский священник из Пуккерсдорфа, привез вам письмо.

– Заходите.

– Не могу, тороплюсь. Не хотелось бы здесь задерживаться. Пока русские войска еще не подошли сюда, дороги свободны, потом уже будет поздно. Вот письмо. Прощайте, да хранит вас бог.

Священник протянул письмо и удалился. Эден подошел к письменному столу, на котором горела свеча. На конверте он узнал почерк Таллероши. Молодой человек разорвал конверт, и оттуда выпал внушительный печатный бланк. Эден прочел письмо:

«Дорогой друг!

Никогда не забуду добрых услуг, которые ты мне оказал. Я обязан тебе даже жизнью: не оставь ты меня в тылу, я бы наверняка пропал. И твоему покойному отцу я был другом. Но, главное, не могу я спокойно взирать на гибель такого отважного патриота. Будь это в мои силы, я бы помог и остальным... Посылаю тебе английский паспорт, с которым ты сможешь выехать за границу. Паспорт снабжен визой и всем необходимым, а также точным описанием твоих примет. Все совпадает, черточка в черточку: мне бы не хотелось, чтобы ради спасения своей головы тебе бы пришлось сбрить усы и бороду. Как это горестно, знаю по собственному опыту. Ты волен вписать в паспорт любую фамилию, по своему выбору. А письмо это сожги.

Твой старый друг.

Мое имя ты, верно, угадал?»

Дальше следовала приписка:

«Если решишься бежать, направляйся в сторону Польши, там ты никому не известен. В другой стране тебя кто-нибудь может узнать; однако москаль никогда тебя не видел, и ему можно сказать, что ты (Элджернон Смит. Ему и не догадаться об обмане».

Была и еще одна приписка:

«Подумай хорошенько! Оказавшись за границей, ты еще сможешь принести пользу нашей родине».

Эден взял в руки паспорт. Он был без изъяна и снабжен необходимыми подписями и печатями. Последняя подпись принадлежала русскому главнокомандующему. Кто-то позаботился даже о том, чтобы паспорт выглядел несколько потрепанным.

Эден бросил паспорт на стол. Бежать?... Ему стало стыдно при этой мысли. Бежать с помощью того, кого он меньше всего уважал, считал самым нелепым человеком на свете и у кого меньше всего был склонен одолжаться. И такому человеку быть обязанным спасением своей жизни!

Да и какой жизни! Стоит ли она того, чтобы из-за нее поступаться совестью?

Однако он напрасно пытался ожесточить свое сердце.

Открывшаяся возможность спасения изменила его настроение, смягчила душу. Только сознание безысходности помогало Эдену сохранять твердость. А теперь он думал о тех, кому нужна его жизнь, кого он еще может сделать счастливыми. Мать, жена, двое детей – разве не обязан он жить ради них?

А тут еще эта последняя приписка в письме Таллероши. Зебулон проявил немалый дар психологического воздействия, написав эти слова. Они оказались самым сильным доводом. А что, если он и в самом деле сумеет еще принести пользу своей родине?

Теперь в сознании Эдена возродились те самые иллюзии, которые были свойственны оптимистам и которые он высмеивал. А вдруг они окажутся осуществимыми?

Искушение было велико. Он не нашел в себе сил воспротивиться ему.

Эден снова стал разглядывать паспорт, подписи и тут наткнулся на фамилию, которая заставила его содрогнуться. То была подпись Ридегвари.

Нет, он не допустит, чтобы этот человек восторжествовал над ним! Нет, ему не придется злорадно шептать на ухо Эдену:

«Вот она, последняя ступенька к той вершине!»

Эта мысль заставила Эдена решительно схватить письмо Зебулона и сжечь его в камине вместе с письмами к матери и жене. Затем он позвал слугу и приказал ему немедленно отправиться домой, в Немешдомб. Он велел сообщить матери, что эмигрирует за границу и станет посылать оттуда вести на имя Енё.

Покончив с этим, Эден сжег все документы, которые не должны были попасть в чужие руки, и спешно уложил свой скромный багаж – лишь самое необходимое. В паспорте, как посоветовал ему Зебулон, он проставил имя Олджернона Смита и спрятал документ в бумажник. Потом распорядился запрячь коляску и под покровом темной ночи покинул Вилагош.

Он радовался ночной тьме; она помогла ему скрыть свой мучительный стыд.

Первая встреча с противником сошла благополучно. Начальник аванпоста проверил паспорт, нашел, что все в порядке, и завизировал его. Можно было продолжать путь.

Следующим пунктом, где снова требовалось предъявить паспорт, был Дьяпью. Оттуда Эден намеревался проследовать прямо в Варад, затем двигаясь в направлении Сигета, ехать в Галицию.

В Дьяпью его отвели в штаб командира полка. Эден спокойно вошел в зал и спросил, кому надо предъявить паспорт.

В приемной было много народу, и ему предложили обождать, пока выйдет командир полка.

Спокойствие не покидало Эдена Барадлаи.

Один из адъютантов просмотрел его паспорт, сверил описание примет и сообщил, что все в порядке – господин полковник не замедлит проставить визу. Вот он уже идет.

Когда Эден увидел входившего полковника, ему показалось, будто по его телу пробежал электрический ток. Им одновременно овладели радость и испуг.

Полковник оказался Леонидом Рамировым.

За эти годы Леонид сильно возмужал. Куда девалось его легкомысленное выражение лица? Теперь на нем лежала печать властолюбия. То было лицо сурового воина.

Адъютант доложил полковнику о том, что мистер Олджернон Смит предъявил свой паспорт, который желает завизировать. Паспорт – в полном порядке.

Леонид поставил свою подпись и, взяв в руки паспорт, уже собрался

было вручить его владельцу.

Когда глаза Эдена встретились с испытующим, колючим и пронзительным взглядом Леонида, он почувствовал, как кровь стынет в его жилах. Леонид остановился на некотором расстоянии от него и надменным, резким голосом произнес по-английски;

– But you are not You Algernon Smith! mister are Sir Edmund Baradlay.
[\[142\]](#)

Эдену почудилось, что земля разверзлась у него под ногами.

– Как? – сказал он тоже по-английски. – Неужели ты способен выдать меня?

– Я прикажу вас немедленно арестовать!

– Ты? Леонид Рамиров? Тот, кто жил со мной душа в душу, сопровождал меня через заснеженные поля, спасал от волков, кто бросился за мной в прорубь и, рискуя собственной жизнью, вытащил из ледяной воды?

– Тогда я был всего лейтенант лейб-гвардии, – холодно ответил Леонид.

– А теперь ты выдашь меня заклятому врагу? Обречешь на жалкую и позорную гибель? Подвергнешь осмеянию торжествующего победу противника?

– Да, потому что теперь я полковник лейб-гвардии уланского полка!

С этими словами Рамиров разорвал паспорт пополам и швырнул его в корзину.

– Уведите этого человека! Возьмите его под стражу!

Адъютант подхватил Эдена под руку и вывел из зала.

Весь дом, каждая комната были битком набиты офицерами и их денщиками. Для пленного не нашлось другого помещения, кроме дровяного сарая, иными словами – дощатой клетки, пристроенной к конюшне.

Пленника заперли там, а перед дверью поставили улана с карабином.

Только теперь почувствовал Эден, что значит «быть, уничтоженным».

Даже окончательно растоптанный и раздавленный, но не позволивший надругаться над собой человек все еще «что-то» значит. Утверждают, будто лицо Шарлотты Кордэ побагровело от гнева, когда палач, уже отрубив ей голову, ударил ее по щеке. Даже отрубленная голова – еще сохраняет человеческое достоинство. Но попавший в западню беглец – уже ничто!

Эден вышел за пределы того заповедного круга, внутри которого он хотя бы в одном оставался неуязвимым: он никогда не терял уважения к себе. Теперь же он лишился и этого. Он уже не сможет взойти на эшафот с

гордо поднятой головой, потому что пытался бежать от палача. Хотел бежать и, как глупый перепел, дал заманить себя в ловушку. О, какое страшное наказание, какое унижение за минутную слабость! Какое жестокое возмездие! Он схвачен и посажен в грязную дощатую клеть, словно презренный дезертир!

Какой завидной казалась теперь та «вершина», от которой он отказался, решившись на побег. Если б вернуться назад! Если б можно было вычеркнуть из своей жизни то смятение, что толкнуло его на бегство!

Ах, каким величавым представлялось ему лицо седовласого воина, его боевого соратника, который с открытым лицом встанет перед врагом, гордо назовет свое имя и скажет: «Я не жалею о содеянном! *Victrix causa ducit, sed victa Catoni*». ^[143]

И протянет руки, чтобы на них надели кандалы.

А он, Эден, проглотив язык, сидит тут в позорной клетке, уличенный в малодушии!

Апостол Петр тоже плакал, когда вторично прокричал петух. А ведь ему говорили: «*Tu es petra*», – «ты гранитная скала»! И он дрогнул раньше всех.

Самым тяжким было то, что он утратил веру в человека, в бога. После встречи с Рамировым он лишился этой веры. В руках истерзанного мученика остается шелковая нить, поднимающая, его в заоблачную высь: вера в бессмертие своей души, вера в вечного бога, надежда на то, что на том свете правосудие восторжествует. В руках Эдена эта нить порвалась. Если близкий друг мог так хладнокровно, так кощунственно предать его, значит душа, загробный мир, бог – все это лишь выдумки. Роковая обреченность существует только на этом свете, в первую голову – для праведников.

День клонился к вечеру. Никто не приходил к Эдену, лишь каждые три часа сменялись часовые. Узник явственно слышал сквозь дверь – ведь он понимал по-русски – приказание разводящего:

– При попытке к бегству – стрелять!

Вечером, около девяти часов, разразилась гроза. Как раз в это время сменили часового.

Шел проливной дождь, сверкала молния. При ее вспышке Эден видел сквозь щели в дощатой стене, что неподвижный часовой, прячась от дождя, повернулся лицом к двери сарая и взял ружье на изготовку. Вода ручьем стекала с одежды солдата, он стоял по щиколотку в грязи, не смея даже приподнять ногу. Так он будет стоять, пока его не сменят.

Гроза постепенно затихала, молния блеснула уже где-то вдалеке,

наступила крошечная тьма. Часы на колокольне пробили одиннадцать раз. В конюшне храпели конюхи, а под соседним навесом били копытами казачьи кони. Все это отчетливо слышал Эден.

Вдруг ему почудилось, будто его шепотом окликнули:

– Барин, Барадлаи!

– Кто это?

– Я.

Сомнений не было – то был голос часового.

– Откуда ты меня знаешь?

– Помнишь, барин, ямщика, который вез тебя по могилевским дорогам? Меня еще тогда чуть не сожрали волки, но ты не бросил меня в беде. А теперь я тебя не оставлю. В задней стене сарая есть одна доска, четвертая, которую можно сдвинуть и через щель выбраться, на волю. Под навесом стоят на привязи казачьи кони. Там найдешь моего коня, на нем кадеты поводыря, его легко узнать по белому хвосту. Это резвый скакун, садись на него. Позади навеса – сад, дальше – степь. Скачи в ту сторону, куда ушла гроза. Она надежный проводник, поведет по верному пути. За меня не тревожься. Я буду стрелять тебе вдогонку – ничего не поделаешь, обязан. Приказ я выполню, а за стены я не отвечаю, вина не моя. Вот еще что: когда вскочишь на коня, сожми коленями его бока, только не подстегивай, и тогда он понесется вскачь. Если ударишь, он тотчас станет, хлеще будешь бить, он и вовсе не пойдет. Немало конокрадов на этом попались. Лошадь мою зови Любушкой, она знает это имя. Скажи только: «Любушка, ура!» – и она сразу помчится вперед.

Эден ощутил как снова оживает его сердце.

Уж если ему не суждена смерть, достойная свободного человека стоящего лицом к лицу с врагом с гордо поднятой головой, то он может теперь избрать участь вольного веря, которого могут убить во время преследования. По крайней мере он не уподобится раздавленной в капкане крысе.

Торопясь воспользоваться советом ямщика, он нащупал державшуюся на одном гвозде доску, вынул ее, с трудом протиснулся в образовавшуюся щель и очутился под навесом. Все казаки спали глубоким, беспробудным сном возле своих коней. Эден разыскал лошадь с белым хвостом, около нее никого не было.

Беглец вскочил на лошадь, повернул ее и сжав коленями бока животного, шепнул в самое ухо:

– Любушка, ура!

Лошадь прынула и во весь опор помчалась через сад.

На конский топот выскочил часовой. Приложив ружье к плечу, он пробормотал про себя: «Храни тебя святой Георгий» – и выстрелил вслед беглецу.

Звук выстрела разбудил казаков, они вскочили на ноги.

– Что стряслось?

– Пленный сбежал.

– В погоню!

Человек десять вскочили на коней и пустились за Эденом, стреляя наугад в непроглядной тьме. При вспышках молнии перед ними раз-другой мелькнул силуэт летевшего по степи всадника, и казаки поскакали, в том же направлении;

Великолепный волынский жеребец догонял грозу, ведь она надежный попутчик. Гроза постепенно скрыла беглеца под плащом своего ливня, громом заглушила крики и улюлюканье преследователей, топот скачущих коней.

Гроза стала защитой беглецу. Его не догнали.

Если кто-нибудь хоть однажды пустился в бегство, его непременно захватит жажда безостановочного скитанья. Эта страсть овладевает человеком, как вихрь, как водоворот, и с головокружительной быстротой увлекает за собой в безудержном стремлении.

Утренняя заря застала Эдена в степи, в самом центре плоской, безлюдной равнины.

Кругом лежала пустынная земля, а над головой раскинулось чистое, безоблачное небо.

В поднебесье кружил одинокий степной орел, по равнине трусил рысцой одинокий всадник.

Дорог в степи нет, куда ни глянь – всюду однообразное голое пространство. Только где-то вдали смутно виднеется силуэт двух повернутых друг к другу колодезных журавлей, которые как бы образуют большую букву «М». Кто знает, быть может она напоминает «Memento mori!». ^[145]

Эден направил коня к журавлям. Животное тоже томилось жаждой и ускорило бег.

Подъехав к колодцу, Эден зачерпнул ведро воды, напоил Любушку и, кинув ей на шею поводья, отпустил: пусть поищет себе какой-нибудь корм.

Однако степь оказалась малогостеприимной.

Горячее летнее солнце иссушило землю, и ее поверхность превратилась в сплошную, покрытую трещинами кору. В иное время года места вокруг колодца, видимо, были заболочены, об этом свидетельствовали глубокие вмятины от копыт. Но пробившаяся здесь весной лапчатка напрасно вверилась паводку и поспешила распустить свои серебристые листья. До самого горизонта раскинулась обширная солончаковая степь, где ничего не растет, кроме высохшей солянки да непритязательного, способного всюду выжить молочая. Но пышные заросли этого растения с ядовитым млечным соком не могут служить пищей ни одному животному.

Никакой дороги нет в помине, не видно даже следа колесной колеи.

Времени в распоряжении Эдена было достаточно. Он присел на низкий колодезный сруб и мог сколько угодно любоваться далью, ожидая, пока передохнет лошадь, которая бродила по мертвой равнине в тщетных поисках сочной травы.

Посреди этой бескрайней степи Эден ощущал себя затерянной пылинкой, которой дано мыслить, чувствовать и вспоминать.

Вспоминать, что еще вчера она была частицей могучего великана! Но великан рухнул, рассыпался во прах. И теперь каждую пылинку уносит ветер, и она сознает, что ее ждет гибель, хотя все еще продолжает жить.

На горизонте, рождая марево, колышется раскаленный воздух. Чудится, будто где-то вдали возникает холм, похожий на плавающий в воздухе остров – тенистый и изумрудный, высящийся посреди голубого моря. Но это – лишь призрачное видение. Ведь природа – затейливая выдумщица.

А та героическая борьба, что закончилась поражением! Неужели и это был лишь мираж? А великая битва с ее историческими победами?... Прощумела и замерла?...

И теперь надо отказаться от всего, забыть, уверять, что ничего, мол, такого не было?

При этой мысли Эдена охватило неудержимое желание скрыться, исчезнуть из этого мира: мчаться, лететь во весь опор, не переводя дыхания, нигде не останавливаясь. Бежать от самого себя.

Он погрузился в глубокое раздумье и очнулся, лишь заслышав конское ржание.

Эден оглянулся. Чуткая казацкая лошадь, заметив какого-то всадника, сразу приблизилась к своему седоку, словно предлагая умчать его от опасности.

Облокотясь на седло, Эден поджидал незнакомого всадника. Это не мог быть враг – неприятель не ездит в одиночку. Скорее путник, должно быть такой же скиталец, как и он, который пытается уйти от возмездия.

Всадник направился к колодцу; ведь колодцы – «маяки степей».

Уже на расстоянии тысячи шагов можно было определить по его внешнему облику, что это – отбившийся от какого-нибудь партизанского отряда молодец. На его круглой шляпе алела красная лента.

Он подъехал ближе, и Эден сразу его узнал. То был Гергё Бокша.

Появление его почти обрадовало Эдена, все-таки как-никак – знакомый человек.

Правда, Эден испытывал к таким людям мало расположения. Но теперь, когда его так безжалостно предал самый лучший друг, приятно было встретить даже этого удальца!

Эден приветливо окликнул Бокшу. Но как обрадовался тот, когда увидел Эдена!

– Ох! Ваше высокоблагородие! Ну какая же удача, что я встретил вас

здесь! Благослови вас господь! До чего ж вы правильно сделали, что ускользнули оттуда! Плохие дела там, за степью. Я и сам едва ноги унес.

С этими словами Бокша прыгнул с коня и похлопал его по шее.

– Если бы не мой белолобый, я, как пить дать, достался бы на съедение псам. Вы только послушайте, ваше высокоблагородие! Увидав, что всему пришел конец и наши складывают оружие, я подумал: неужели супостатам задаром достанется гурт волов? Как бы не так, решил я, и ночью погнал их через беленьешские леса прямо к Варадуге. Спорил я с доломана золотые галуны, спрятал в лесу саблю и пистолет и ввалился к москалю. «Я, мол, говорю, продаю сто голов скотины, не купите ли?» Незадачливый каптенармус сразу попался на удочку, договорился со мной, даже торговаться не стал, и дал мне расписку. А за деньгами послал к господину Ридегвари.

– Разве Ридегвари в Надьвараде? – торопливо спросил Барадлаи.

– А как же! Ну за деньгами я к нему, конечно, не пошел. Вскочил на коня и дал тягу. Только пыль столбом поднялась! Эх, до чего жаль... А то почтеннейший Ридегвари всыпал бы мне звонкой монетой!

Эден облегченно вздохнул, будто с плеч его свалилась большая тяжесть.

Раз Ридегвари находился в Надьвараде, значит Эден своим спасением все-таки вновь обязан Леониду Рамирову. Не возникни на его пути Рамиров, он, Эден, прямехонько угодил бы в логово своего смертельного врага! Быть может, Леонид подстроил это нарочно? Что, если и побег – тоже его рук дело? Вероятно, сам Леонид поручил ямщику помочь ему бежать! Может быть, именно теперь он проявил себя самым верным другом! Да, вероятно, так оно и было – он поступил на российский манер, но как благородно!

А может быть, дело обстояло совсем иначе. Но Эден упорно придерживался такой версии. Она возвращала ему веру в бога, в человека, в вечную справедливость и в силу дружбы. Такое истолкование своего удивительного спасения заставило Эдена усмотреть в этом предначертание судьбы: каждому человеку предопределен свой путь, есть люди, которым она повелевает жить. Кто знает, для какой цели она их приберегает?

– Я вам очень благодарен, что вы сообщили мне о местопребывании. Ридегвари, – сказал он Бокше. – Это единственный человек на свете, которого я избегаю и кому ни за что не сдамся.

– А что вы думаете делать дальше?

– Явлюсь к первому встретившемуся на пути австрийскому генералу и открою ему, кто я таков. Скажу: «Я готов расплатиться сполна!»

Не по душе пришлось Бокше такое намерение.

– Ну, ваше высокоблагородие, такую мысль не назовешь разумной. Нет, нет! На что уж я прост, а под этим не подпишусь. Сейчас остервенелый враг пришел в раж и не успел еще остыть, он искромсает первого, кто попадется ему в руки. К чему такая спешка?

– Не скрываться же мне годами в камышах? Или, может, превратиться в бегляка и скитаться по степи, чтобы на меня устраивали облаву, гнали из одного края в другой?

– Я вовсе не говорю, что вы должны так поступить, хотя самому мне, может быть, придется пойти именно на это. Но, по моему скромному разумению, благородный барин, вроде вас, может по крайней мере никуда не ходить, пока его не пригласят.

– А что же мне делать до того времени? Прятаться в кукурузе?

– И этого я не говорю. Зачем вам прятаться в кукурузе? Вы, барин, у вас отличная барская усадьба. Вернитесь к себе домой, и там, живя, как приличествует вашему рангу, дожидайтесь, пока за вами не пришлют.

– Чтобы самому отравить секиру, которая отсечет мне голову? Ежедневно видеть мать, жену, детей, истерзать свою душу несколькими днями счастья, а потом дать себя схватить, слыша отчаянные вопли близких, которых я люблю больше всего на свете? Нет, такой изощренной пытки не сумел бы придумать для меня даже враг!

– Сколько времени вы уже не видели свою семью?

– Прошло четыре месяца с тех пор как я в последний раз побывал в Немешдомбе.

– Значит, еще перед великими битвами?

' – Да, с тех пор я не был дома.

– А на Кёрёшском острове вы разве не были?

– Никогда. Ведь это – загородный дом, который отец приобрел во время моей поездки за границу, А после моего возвращения на родину мне еще ни разу не удавалось проводить лето на лоне природы.

– Ну, теперь я полностью во всем разобрался и даже уразумел, что такой знатный барин, как вы, должен обдумать кому и как ему сдать. Вы не хотите, чтобы вас застали врасплох и под улюлюканье врагов, под конвоем, со связанными за спиной руками повели в тюрьму. Однако дозволейте предложить вам кое-что, как мне сдается, подходящее. Я поведу вас через степь и болота так, что нам не встретится ни одна живая душа, и доставлю в дом моего хорошего знакомого. Он стоит как раз в стороне от дороги. Там вы и напишите письмо в адрес самого австрийского главнокомандующего: нахожусь, мол, там-то и там-то, ожидаю дальнейших

указаний. Коли понадобится, он, разумеется, вас вызовет. Ну, а вдруг не вызовет? Ведь может произойти еще много всяких событий, зачем торопиться навстречу гибели? Выждите, пока она сама не явится к вам. А покамест будьте начеку, следите, чтобы трубка ваша не потухла. Будь я барином, честное слово, поступил бы именно так.

– Принимаю ваш совет, Бокша, и поступлю так, как вы говорите. Свое разумение я теперь ни во что не ставлю. Так и быть, ведите меня куда знаете.

Эден следил глазами за перекасти-поле. Ветер гнал шар через всю равнину. Каким жалким становится это растение, будучи оторвано от корня! Налетевшая буря гонит его к югу, ветер, дохнувший с другой стороны, перехватывает и мчит на восток. А ведь оно было таким жестким, непокорным, так угрожало своими колючками, пока сохраняло крепкую связь с почвой!

Прошло всего два дня, а уже третий по счету человек выбивал Эдена Барадлаи из колеи. Незначительные люди, к мнению которых в другое время он и прислушиваться бы не стал – Таллероши, ямщик, Бокша, – сейчас гонят его по голой степи, как встречный ветер гонит перекасти-поле.

Вот одна из трагедий, которые выпадают на долю выдающейся личности: в то время, как сама она в роковых обстоятельствах становится ничем, маленькие люди остаются теми же, чем были раньше. Эден имел все основания кое в чем завидовать гуртовщику – ведь тот по-прежнему оставался Гергё Бокшей.

– Ну, давайте взнуздаем коней и двинемся помаленьку вперед.

Мираж в тот день был как-то особенно красив, он раскидывал по небу целые пальмовые леса. А между тем вокруг простирались одни болота. Но для тех, кто блуждает под жарким летним небом по бесплодной пустыне, и болото – желанное прибежище.

Когда около полудня путники вплотную приблизились к болотам, мираж исчез. Все пространство к югу, до самого горизонта, представляло собой бескрайнюю темно-зеленую равнину.

Как ласкала она глаз после однообразной голой степи, покрытой соляной порошей, которую весенние воды вымыли из солончаковой почвы. На ней произрастал лишь ситник, даже в пору цветения кажущийся совершенно высохшим, да редкой щетиной торчала мертвая красноватая трава.

Но дальше, где была вода, картина менялась!

Громадная степь полна неведомой нам жизни. Шуршат непроходимые заросли камыша. Их метелки, как чудовищные усы, шевелятся на ветру.

Море бесплодных колосьев, не приносящих зерен!

В дебрях этих зарослей царит таинственная тишь, прерываемая еле уловимым, дремотным шепотом. Он исходит от шелестящего в камышах ветра. Сонной дремой наполнен день, который для обитателей болот заменяет ночь.

Каждый, дерзнувший проникнуть в это сонное царство и решивший пробираться сквозь его неведомые тайники, должен иметь голову на плечах и обладать мужественным сердцем.

Бокша знал все броды через топь, болото было ему знакомо, как родной дом. Он не раз бывал здесь и знал каждое топкое место, где можно укрыть скотину; он легко находил просветы в камышах, по которым можно обойти провалы и бездонные, тинистые омуты, безошибочно угадывал, какие из шатких мостков в состоянии выдержать тяжесть лошади и седока. Ведь стоит сделать один неверный шаг в коварной топи, и трясина поглотит человека, его не спасет никакая наука, кровожадные пиявки и раки начисто сожрут его тело. Знал Бокша и спрятавшееся среди болот место для привала – возвышавшуюся над трясинной площадку. Там было и пастбище для коней, и тростниковая хижина для всадников.

– Тому, кто двигается здесь следом за мной, опасаться нечего!

Гергё Бокша изрек это с такой гордостью, будто был полным хозяином этой земли. Тут начиналось царство, которое никому не подвластно, оно никогда и никем не было завоевано. Любой царский полководец волея-неволей должен был бы остановиться на его границах. А вот он, Бокша, чувствует себя здесь как дома.

При переходе вброд лошади кое-где погружались в воду по самую грудь, в одном месте пришлось даже переправляться вплавь. Никаких проторенных троп не было и в помине. Находить места, где болотное дно крепче, бетяру помогала лишь хилая листва чахлых растений, а разыскивать в монотонном однообразии дикой природы признаки заросших, петлявших в зарослях кустарника тропинок ему позволяло необыкновенное чутье.

Местами лошадь так уверенно находила издавна знакомую дорогу, что ему не надо было следить за ней.

В такие минуты Бокша оборачивался назад и вел со своим спутником беседу.

– Поверьте, это отнюдь еще не конец! – уверял он.

В голове у него вертелся целый калейдоскоп пестрых и несбыточных мечтаний, которые он, неуставая, нанизывал друг на друга.

Комаромская крепость еще не пала и может обороняться хоть целых

три года. Она будет держаться! А дело тем временем обернется к лучшему.

В худшем случае, если крепость все же сдадут, непременно условием при этом поставят всеобщую амнистию.

Более чем вероятно, что русский царь уже обещал, что после победы никого из нас не станут преследовать и восстановят прежнюю конституцию.

Скорей всего русские и австрийцы теперь передерутся между собой, об этом поговаривают даже сами русские офицеры, А это опять-таки может дать новый оборот делу.

К тому же есть немало людей, которые не сложили оружия. Они ушли в леса, в болота и будут вести там партизанскую войну.

Вожаки доберутся до Турции, как во времена Тёкёли,^[146] призовут на помощь турок, те не захотят спасовать перед русскими и будут вынуждены прийти нам на подмогу.

За спиной турок стоят Англия и Франция, они тоже нападут на Россию.

Венгерскую корону могут предложить младшему сыну английской королевы, и он согласится ее принять.

В Азии еще осталось семь мадьярских племен, живущих на древней прародине. За ними поехал старик Мэсарош, он приведет их сюда, в страну. В каждом племени – по тридцать тысяч воинов.

Бокша рассказывал все это Эдену с убежденностью фанатика, твердо верившего в реальность своих иллюзий.

Эден не возражал. Только думал про себя:

«Неужели и я стану когда-нибудь таким вот одержимым?»

Да, это было неизбежно.

Не было в то время ни одного человека, который не вынашивал бы в сердце своем самых невероятных, самых фантастических планов, который не надеялся бы на чудо Мы занимались даже столовращением, вызывали духов и выстукиванием вопрошали их: «Что будет с нами?»

Мы предавались мечтам. Кто это – «мы?»

Да все жители тогдашней Венгрии!

Разница заключалась лишь в том, что одни умели скрывать свой недуг, другие не считали это нужным.

Так смертельно больная нация предавалась безудержным мечтам.

О, как долго не наступало ее выздоровление!..

Был уже полдень, когда путники добрались до небольшого островка среди болот, служившего привалом на этом безлюдном пути.

Островок представлял собой круглую площадку на более пяти-шести

саженей в поперечнике, окаймленную вереском и кустами дрока. В центре этой лужайки стоял ветхий шалаш, сложенный из связок тростника, перетянутых рогожей.

– Здесь, сударь, мы и передохнем, – сказал Гергё Бокша, спрыгивая с коня. – Лошадей нужно беречь.

Лужайку покрывала пышная трава с примесью желтой люцерны – прекрасное пастбище для коней.

– Вы ничего не чувствуете? – спросил Бокша.

– Ничего, – ответил Эден, не поняв вопроса.

– Даже голода?

– Его я могу, долго сносить.

– Сейчас мы что-нибудь разыщем, в воде всегда что-нибудь водится.

Бокша снял сапоги и, подвернув штаны, залез в воду у самого края островка. Через несколько минут он вернулся со шляпой, полной раков.

– Они особенно вкусны в те месяцы, в которых нет буквы «р».

Бросив раков в вырытую яму, он соорудил над ней костер из суховейника и камыша и с помощью трута зажег сухую траву. Раки, когда с них была соскоблена зола, оказались красными и отлично испеклись.

Гергё вытащил их из костра, разложил на траве перед Эденом и, подавая ему пример, принялся ими лакомиться.

Эден даже не притронулся к угощению, хотя Бокша на все лады расхваливал раков.

Покончив с едой, он сказал Эдену:

– Нет, так не годится. Предстоит ехать еще целые сутки, пока мы доберемся до места, о котором я говорил, Вы ведь со вчерашнего дня ничего не ели и в дороге выбьетесь из сил. Мне это привычно, я могу питаться дней пять лишь сырыми улитками да болотными орехами. Слов нет, все это малопригодно для желудка знатного человека. Ну, да ничего, я постараюсь помочь беде. К северу, в двух часах ходьбы отсюда, находится Комади. Я проберусь туда, а вы оставайтесь пока здесь и ждите меня. Можете за это время хорошенько выспаться, только подкиньте в костер хворосту, чтобы отогнать комаров. Вы поди уж много ночей не спали? Я раздобуду провизии и вернусь еще до сумерек. А ночью, при лунном свете, тронемся в путь. Согласны?

Эден кивнул головой. Со времени страшного поражения он лишился всякой воли, им владело какое-то безразличие.

Бокша, торопливо взнуздав коня, направился к северу и скрылся в зарослях камыша.

Только с этого момента почувствовал Эден всю тяжесть одиночества.

Он был словно за пределами мира. Один-одинешенек на заброшенном островке размером в двадцать квадратных саженей.

Даже дикая растительность этого островка, как бы изгнанная из цивилизованного мира и отягощенная дурной славой, казалось, избегала людных мест и уединилась в глуши.

Тут собрались и ядовитая цикута, и собачья петрушка с синими листьями, и кусты кроваво-красных волчьих ягод, и водяной поручейник с едким, дурманящим запахом, и даже вонючие бешеные огурцы и зловещая черная черемица. Они походили на свору разбойников и тайных убийц, на избегающую человеческого общества банду, преследующую все живое.

А вокруг – замкнутое кольцо необъятных болот.

Плававшие на поверхности воды кожистые, большие листья водяных лилий и их тюльпанообразные цветы говорили о том, что глубина здесь больше сажени. Желтые цветки кувшинок напоминали, что под ними глубокая тина.

Этот заброшенный уголок с одичалой природой казался Эдену Барадлаи тюрьмой, он был здесь так изолирован, словно его заточили в келью со свинцовой кровлей. Если проводник его не вернется, если он заблудится или его схватят, Эден неминуемо погибнет: собственными силами ему из этой трясины не выбраться.

Но чего, в сущности, было ему страшиться? Вскоре солнце начало клониться к закату, и мертвая степь ожила, наполнилась звуками. В воздухе что-то зашуршало – это перелетные цапли пронеслись над головой Эдена, блистая на солнце белым оперением. Где-то вдали послышалось тоскливое, похожее на рев, уханье выпи. Возле своей норы завывала водяная собака. Мириады квакающих лягушек примешивали свой хор к криканию диких уток и галстушников. Ко всему этому присоединялось доносившееся с левады волчье завывание.

Если бы услышать колокольный звон! Но, видимо, ближайшее селение находилось очень далеко.

Тем не менее Эдену казалось, что сквозь дикий галдеж обитателей водяного царства порою прорывается какое-то громыханье, от которого гудит земля, как от далекой артиллерийской канонады. Вот оно снова повторяется, еще и еще.

Эден невольно вспомнил все, что говорил Бокша.

Уже три дня как последняя боеспособная венгерская часть сложила оружие и прекратила сопротивление. Кто же ведет артиллерийскую стрельбу.

Может быть, действительно союзники обстреливают друг друга!

И, глубоко погрузившись в размышления, Эден, сам того не сознавая, предался безумным мечтам. Лишь с трудом удалось ему очнуться от этих призрачных видений.

«Вот до чего можно дойти! – подумал он. – Неужели человеку так легко сойти с ума от одиночества?»

Наконец он полностью пришел в себя.

Солнце почти закатилось. Эден ощутил голод и озноб – в болотах по вечерам довольно прохладно.

А Бокша все не возвращался.

Что, если он вдруг пропал? Или намеренно бросил здесь своего спутника? Ведь его однажды на глазах у Эдена наказали, выпороли по приказанию Рихарда. Теперь он может жестоко отомстить за это. Стоит ему лишь позабыть среди трясины об Эдене, и тому конец.

Теперь солнце уже совсем зашло. Над противоположным краем болота показался широкий лик луны.

Взглянув на лунный диск, Эден неожиданно заметил в его лучах очертания двигавшейся головы. Кто-то приближался.

То был ворон пророка Ильи, несший своему хозяину хлеб! Среди болота послышался свист. Это Гергё Бокша насвистывал знакомую мелодию: «Эх, только и осталась, что боевая песня!»

Эден разжег посильнее костер, чтобы гуртовщику легче было заметить привал.

Бокша вернулся с туго набитой переметной сумой, в ней было столько провизии, что ее должно была хватить до конца их похода.

– Малость задержался, – стал оправдываться Гергё, еще не успев соскочить с коня. – Но со мной чуть не приключилась беда.

Он тут же снял с лошади сумку, развязал ее и выложил на разостланную сермягу привезенное добро: мягкий хлеб, сыр, ветчину и полную флягу. Из другого отделения сумки он вытащил шерстяную бурку и накинул ее на плечи Эдена.

– В дороге пригодится. А то, как я заметил, теплой одежды у вас нет.

– Благодарю.

– Не за что. Все даром досталось, – заметил Бокша и засмеялся.

– Каким образом?

– Потом расскажу. Давайте сначала перекусим, я ведь и сам еще ни крошки не съел. Только не думайте, я ничего не стащил, ей-богу все приобретено честным путем.

Бокша улегся на траве животом вниз возле разостланной бурки, и по тому, с какой жадностью он набросился на еду, было件ятно, что он и в

самом деле еще ничего не отведал из раздобытых яств. Он поглощал пищу такими кусками, что едва не подавился.

Но как ни был он поглощен едой, его неудержимо разбирал смех.

– Вот теперь можно и разговаривать, – начал гуртовщик, хлебнув из фляги и передавая ее Эдену. – Ну как не порадоваться, что у меня хватило ума съездить в Комади! Правда, эта вылазка чуть не кончилась провалом. Въехал я в Комади, и, представьте себе, сударь, никто меня не остановил, и я без помех добрался до самой городской управы. Только поравнявшись с рынком, заметил я, что весь город кишмя кишит казаками, комар их забодает! Они выскакивали то из одного, то из другого дома, а городская управа оказалась их штаб-квартирой. Бежать было поздно, – путь повсюду отрезан. Ну, думаю, Гергё, не дай теперь маху, не оплошай. Либо ты их прижмешь, либо они тебя.

– И что же вышло?

– А вышло то, что я их все-таки облапошил. Не спеша подъезжаю прямо к дверям городской управы и прошу одного из казаков поддержать поводья моего коня, пока, мол, не вернусь. Потом спрашиваю у караульного, где генерал. По правде сказать, не знаю, был их начальник в самом деле генералом, или нет, но я направился прямо к нему. Я решил, что если он засел в тылу, так далеко от главных сил армии, значит – заготавливает провиант. Я прямо и набросился на него со своей вчерашней распиской. «Сударь, говорю, я продал вам волов, вот расписка. Расплачивайтесь!» Ну, он прямо остолбенел. Сумма огромная. Генерал стал упорно отказываться от уплаты, ссылаясь на то, что главная касса у них в Надьвараде. и посылал меня туда. Но я настойчиво твердил, что деньги мне нужны сейчас, что я не могу забираться в такую даль, что я даже не знаю, где находится этот город да к тому же мне, мол, надо расплатиться с остальными гуртовщиками. В конце концов он все-таки попался на удочку, и мы сошлись на том, что я сброшу с причитающейся суммы треть; он так обрадовался уступке, что даже обнял меня. Остальные деньги он тут же уплатил, вот они, у меня здесь, в кармане. Вот видите, никого я не обманул: я продал стадо, потому что они все равно бы его захватили, а так они получили его за деньги. Да и генерал прикарманил треть суммы, которая, видно, пришлась ему очень кстати. Человек, он, должно быть, семейный, имеет, верно, детишек. Да благословит его бог!

С этими словами Бокша снова отрезал себе изрядный ломоть хлеба и ветчины.

Эден позавидовал этому человеку, не терявшему чувства юмора даже в самом катастрофическом положении.

– А теперь – в путь!

Полная луна сопутствовала скитальцам. Среди болот нередко попадались почти сухие лужайки, где можно было ехать быстрее. Удавалось и лошадей покормить – всюду росла сочная трава, темнели заросли ежевики и папоротника.

Под утро они приблизились к берегу какой-то реки. Здесь Гергё Бокша и его спутник передохнули в хижине знакомого рыбака, который сварил для них уху с паприкой. Бокша приготовил к ней крампампули.^[147] Позавтракав, Эден почувствовал, что после непрерывной скачки в течение трех ночей его неодолимо клонит ко сну. Растянувшись на тростниковой циновке, он сразу заснул и спал очень долго. Когда он проснулся, Бокша сидел возле хижины.

– Сколько времени? – спросил Эден.

– Поглядите, уже смеркается.

– Неужели я так долго спал? Почему вы не разбудили меня?

– Ну, это было бы непростительным грехом. Во сне вы побывали дома и говорили со своим сынком.

При этих словах Эден сразу помрачнел. Сон его отгадать было нетрудно!

Теперь дорога все время шла вдоль извилистой реки. Берега ее на всем протяжении были пологими. После половодья прибрежные левады стояли с весны и до самой осени в воде, передвигаться по ним можно было либо в лодке, либо верхом. Река текла среди густых дубовых и ольховых лесов, и острова на ней казались как бы их продолжением. Местами огромные деревья, росшие по берегам реки и на островах, припадали друг к другу кронами, и вода струилась под их сводом.

День был уже на исходе, когда путники приблизились к какому-то большому острову. Северный берег, по которому они ехали, соединился с этим островом мостом.

– Прибыли, сударь, – сказал Бокша. – Здесь находится жилище моего знакомого, к которому я обещал вас доставить.

– А как его зовут?

– Потом узнаете.

– А не буду я ему в тягость?

– Ну, нет!

Они медленно перебрались через мост. И, как только расступился перелесок у предместья, склоненные друг к другу деревья словно образовали зеленую арку, давая возможность путникам заглянуть в глубь острова. Там их взору предстала освещенная луной барская усадьба, стены

которой были укрыты плющом и вьющимися розами – как раз стояла пора вторичного цветенья! Возле дома высилась гигантская липа, а напротив раскинулся широкий лазурный пруд, в котором, как в зеркале, отражался дом.

Эден подумал, что он где-то видел все это, может быть ему вспомнился какой-то пейзаж, нарисованный художником.

На веранде дома уже горел фонарь. Падавший из освещенных окон свет дрожал на волнистой поверхности.

Всадники неслышно подъехали к усадьбе по усыпанной гравием дороге. Перед верандой они спрыгнули с коней. Конюх принял от них поводья, и пришельцы поднялись по мраморной лестнице.

Стоя на пороге веранды, Эден Барадлаи бросил взгляд сквозь освещенное окно внутрь дома и увидел там, возле стола, одетую в траур юную женщину со спящим на коленях младенцем. Другая женщина, с белым как мрамор лицом, читала раскрытую библию с застешками. Молодой человек, держа на коленях мальчика, выводил для него на большой черной доске какие-то буквы.

Эден вдруг понял, что ему отлично знакомы все эти лица.

В углу лежала большая собака, ньюфаундленд. Она быстро вскинула голову, весело оскалила зубы и побежала к дверям. Казалось, это улыбается большой добродушный человек: ведь собаке нельзя лаять – малютка уже уснул.

Услыхав возню собаки, все выжидающе уставились на стеклянную дверь. Они не могли разглядеть в темноте, что происходит снаружи.

– Где я? – срывающимся от волнения голосом спросил своего проводника Эден.

– Дома!

Письмо, которое не было показано

Эден и раньше знал, что его пребывание в семье будет горьким счастьем. И действительно, его жизнь превратилась в каждодневную агонию.

Сразу же по прибытии он известил письмом облеченного неограниченной властью австрийского главнокомандующего о месте своего пребывания и предоставил себя в его полное распоряжение. Он сообщил ему, что будет ждать его приказаний.

– А пока постараемся быть счастливыми.

Но как это сделать, если каждый их поцелуй напоминал о прощанье, каждое объятие вызывало из мрака колодную тень; она вставала между ними и шептала: «Может быть, завтра?»

Аранка страдала и томилась, как обреченный на вечные муки ангел.

– Не оставайся здесь, – шептала она мужу, – уходи, спасайся, скройся! На что мне твоя гордость, величие? Пусть ты будешь унижен, уязвлен в своем достоинстве, лишь бы остался жив. Беги, пока не поздно. Ты дал им честное слово? Ну так что же, нарушь его сто раз. и я в сто раз больше буду тебя обожать! Уезжай за границу, я последую за тобой. А хочешь, – останусь дома скорбящей вдовой. Я согласна ходить в трауре, лишь бы ты был жив. Избавь своих детей от страшного кошмара, не купай в кровавой купели своих сыновей! Станем ходить по миру нищими, лишь бы вместе. Что нужно мне, кроме тебя и двух моих крошек? Что мне до вашего громкого фамильного имени? Откажись от него, и я буду любить тебя, какое бы имя ты ни носил. Моей родиной станет та земля, где будешь ты. Поедем в Америку. Я буду твоей служанкой, поденщицей, батрачкой! А не то – убей меня сначала, и тогда можешь подражать гордым римлянам!

Эден не поддавался на ее уговоры, он решил ждать своей судьбы.

Было невыносимо изо дня в день видеть мучительную тревогу молодой женщины. Она вздрагивала при каждом скрипе открываемой двери, ее охватывал трепет, едва раздавался в передней чей-нибудь незнакомый голос – не вызывают ли мужа?

А ночью, когда все засыпали, она бодрствовала и, считая минуты, обходила с ночным фонарем в руках все комнаты, прислушиваясь к каждому шороху, любой звук принимала за бряцание оружия.

Енё каждую ночь встречал свою бродившую, как приведение, невестку. Судорожно запахивая на груди халат, с широко раскрытыми

невидящими глазами она неслышно скользила с веранды на веранду, словно одержимая, словно лунатик. Енё иногда удавалось рассеять ее тревогу, ненадолго успокоить ее, уговорить молодую женщину вернуться к себе в спальню. Он убеждал ее, что кругом все тихо, спокойно, не слышно никаких звуков...

А что было, когда приходила почта, с какой тревогой вся семья хваталась за письма. Кому письмо? Что в нем? Может быть, это ответ на то послание, что отправил Эден?

Однажды среди доставленной на кёрёшскую виллу вечерней почты оказался конверт с. адресом, написанным по-немецки:

«Herrn Eugen von Baradlay».

Эуген – по-венгерски значит Енё. И письмо вручили Енё.

Он вскрыл конверт, прочитал письмо и сунул его в карман. Это произошло в присутствии всех домашних.

Мать спросила Енё, от кого письмо и что в нем содержится.

– Мне необходимо уехать, – кратко ответил Ене.

– Куда и зачем? – осведомилась мать.

Набравшись храбрости, Енё разом выпалил:

– Не могу я больше спокойно смотреть на все это. Дом Барадлаи разваливается и грозит обрушиться на голову нашей семьи. Все потеряно, и вы уже не в силах ничему помочь, Ваши надежды не осуществились, ваши усилия принесли только вред, ваши принципы растоптаны. Я не в состоянии больше смотреть на ваши муки. Об одном брате мне ничего не известно, другой – со дня на день ждет ареста. От матери целыми днями не услышишь ни слова. Невестка близка к помешательству. Меня убивает такая жизнь. Вы делали все, но теперь ничего не можете предпринять в наших интересах. Теперь настал мой черед действовать.

– Как? – холодно спросила мать.

– Я знаю как.

– Но у меня тоже есть право это знать. Никто из вас не может что-либо предпринять ради нашей семьи, пока я не скажу: «Быть по сему!»

– Ты узнаешь, когда все совершится.

– А если я скажу тогда: «Этому не бывать?!»

– Тебе уж не изменить того, что произойдет.

– В таком случае я заранее запрещаю это.

– Напрасно, Я больше не подчиняюсь тебе. Я – мужчина и волен в своих действиях.

– Но ты в то же время сын и брат, – вмешался Эден.

Енё печально посмотрел на него и с тихим вздохом ответил:

– Потом все поймешь!

Мать взяла Енё за руку.

– Ты думаешь о спасении нашей семьи?

– Думаю и хочу действовать.

– Хочешь я отгадаю твои мысли?

– Оставь, не пытайся.

– Я умею читать в твоём сердце. Ведь я изучала тебя с младенческих лет. Ты был книгой, каждую главу которой я знаю наизусть. Ты думаешь в эту минуту о том, чтобы покинуть нас, вернуться в Вену, возобновить старые связи и восстановить былое влияние у наших врагов...

– И потом захватить конфискованное имущество своих старших братьев, не так ли? – с горечью прервал ее Енё.

Матери стало жаль его.

– Нет, сын мой, я укоряю тебя не в жестокосердии. Как раз напротив – в том, что ты слишком сильно нас любишь и потому задумал пожертвовать своей честью ради нашего спасения. Но такая жертва горше гибели.

– Может быть, сперва будет горько, но потом вы свыкнетесь.

– С чем?

– Я ничего не сказал. Ты сама знаешь.

– Знаю! Ты вернешься к Планкенхорстам!

Енё грустно улыбнулся.

– Ты прочла это в моем сердце?

– Ты решил взять в жены эту девицу и, используя всемогущие связи ее семьи, выволить из беды своих братьев!

– Ты так думаешь?

– Ты собираешься жениться на девице, которая принесет тебе в приданное мою ненависть, которую прокляла твоя родина и которая навлечет на тебя божью кару!

Аранка припала к груди свекрови.

– Не говори так о ней, матушка, ведь он, может быть, любит ее!

Эден отвел жену на прежнее место.

– Не вмешивайся, любовь моя. Речь идет о вещах, о которых не ведаешь твоя чистая душа. Если бы дошло до того, что кому-нибудь из нас пришлось бы босым, с пеньковой веревкой на шее идти каяться и вымаливать прощение грехов, я сказал бы: «Так надо!» Ведь нечто подобное случилось когда-то с одним королем.^[148] Если бы нам заявили, что кому-то из нас нужно отправиться в храм и перед всем народом

отречься от того, во что он до сих пор верил, я ответил бы: «Что ж, может случиться и так». С одним мудрецом произошел подобный случай, ^[149] Но покупать жизнь и счастье, клянясь в любви к женщине, по дьявольскому наущению которой нашу отчизну подвергали стольким бедствиям, к женщине, что разжигала ненависть между народами, была доносчицей, шпионкой, наговорщицей, которая сперва подстрекала людей к мятежу против трона, а потом выдавала палачам этих бунтарей! Эта женщина вынашивала в своей дьявольской груди адские планы, и две страны, приняв их, будут горько расплачиваться за это, никогда не избавятся от их пагубных последствий! И Енё хочет привести в отцовский дом эту свирепую фурию! Нет, этого не может сделать никто из рода Барадлаи. А если сможет, то найдется другой, кто откажется от жизни, купленной такой ценою.

Мать с рыданием кинулась на шею старшего сына. То был голос ее собственной гордой души.

Енё на это ничего не ответил, только снова печально улыбнулся и приготовился уйти. Аранка с немым состраданием смотрела на него.

– Ты тоже меня осуждаешь? – шепнул ей Енё на прощанье.

– Поступай так, как подсказывает тебе сердце, – со вздохом промолвила молодая женщина.

– Клянусь небом, я поступлю именно так!

Но мать снова преградила ему дорогу. Она встал перед ним на колени.

– Сын мой, заклинаю тебя, не уходи. Пусть постигнут нас страшные муки, смерть, нищета, мы терпеливо, безропотно перенесем все. Ведь десятки тысяч патриотов погибли за идею. Но мы не позволим убить наши души. Все мы переносим адские муки, но разве ты слышал когда-нибудь, что бы мы богохульствовали? Не закрывай перед нами дорогу в небеса.

– Мать, прошу тебя, встань.

– Нет! Если ты уйдешь, мое место в грязи. И это ты столкнешь меня туда.

– Ты не понимаешь меня! Да я и не хочу, чтобы ты поняла.

– Как? – радостно воскликнула мать. – Значит, ты не совершите того, от чего я хочу тебя предостеречь?

– Я ничего не отвечу на это.

– Только одно слово, – вмешался в разговор Эден. – Если хочешь нас успокоить, покажи полученное тобою письмо.

Енё испуганно схватился за грудь, словно опасаясь, что у него отнимут письмо, и, не будучи в силах скрыть смущение, проговорил:

– Нет, я не могу его показать!

Но затем лицо его вспыхнуло.

– Эден Барадлаи! Письмо адресовано Эугену Барадлаи, а это – я!

И он гордо отвернулся от брата.

– Увы! Значит, предположения нашей матери правильны, – сказал Эден.

Мать поднялась с пола. Из глаз ее струились слезы, но лицо сохраняло гордое выражение.

– Хорошо, ступай! Иди, куда влечет тебя твое упрямое сердце. Что ж, покинь меня в отчаянии и слезах. Но знай: хотя над головами двух моих сыновей занесен топор палача, ч оплакиваю не тех, кто погибнет, а тебя, который останется жить.

Услыхав это, Енё с мягкой улыбкой посмотрел на нее.

– Мать! Вспомни когда-нибудь, что последние мои слова к тебе перед уходом были: «Люблю тебя». Прощай. – И он поспешно вышел.

Никто не обнял его на прощание. И лишь маленький племянник, игравший на траве перед домом, поцеловал Енё и спросил:

– Когда ж ты вернешься, дядя?

Письмо, полученное в тот день, гласило:

«Господин правительственный комиссар Эуген Барадлаи.
Вам надлежит немедленно явиться в пештский военный
трибунал: Новое здание, второй корпус».

Внизу стояла подпись военного судьи.

Произошла небольшая ошибка: имя «Эден» перевели на немецкий как «Эуген». Такие случаи в Венгрии в те времена иногда происходили,

Оказывается, мы не знали этого человека

Енё Барадлаи явился к военному судье во второй корпус Нового здания точно в назначенное время.

Доказать требовалось лишь то, что он действительно Эуген Барадлаи и что именно Эуген Барадлаи вызван в суд. Все остальное произошло просто: его взяли под стражу. Он должен был, сидя в тюрьме, ожидать, когда дойдет до него черед.

Ждать пришлось недолго, его имя в списке значилось одним из первых.

Но как могла произойти такая ошибка?

В те времена все было возможно. Весь социальный порядок был перевернут вверх дном: общественной жизни не существовало, печати и гласности не было и в помине. Разладилась и личная жизнь людей. Все жили замкнуто. Ведь почти в каждой семье кого-нибудь недоставало: кто скрывался, кто спасался бегством или томился в плену, а кто погиб в боях за родину.

Множество женщин отправилось на поиски своих мужей, и бывало так, что проходили годы, пока становилось известно, что они давно уже вдовы. Иные, облекшись в траур по без вести пропавшим супругам и отдав дань их памяти, вступали в новый брак, а потом, спустя некоторое время, узнавали, что их мужья живы.

Все питали друг к другу недоверие, страшились любого представителя власти, испытывали смутную боязнь перед будущим.

Многие разбрелись кто куда и проживали вдалеке от насиженных мест. Тысячи людей, скрываясь под чужим именем, бродили по стране.

Вся нация была объявлена вне закона! И в процессе над сотнями тысяч венгров судьей была чужеземная коллегия, члены которой никого не знали и не желали знать в этой стране.

А обвинителями выступали Эвмениды.^[150] Они жаждали крови. Все равно чьей, лишь бы это была горячая человеческая кровь.

И среди знатных дам не нашлось в ту пору ни одной очаровательной женщины, которая попыталась бы вымолить пощаду побежденным и уменьшить потоки крови. Случалось погибал не тот, кто возглавлял борьбу или совершил больше других, а тот, кто первым попадал в руки властей, кто обидел кого-нибудь из тех, что стали его обвинителями.

Бывало, кара обрушивалась на фанфарона, похвалявшегося мнимым

подвигом, которого он никогда не совершал, и лишь из кичливости, из простого хвастовства приписывал себе то, что сделали другие; а иному удавалось избежать казни благодаря смелому утверждению, что лицо, которому предъявлено обвинение, это вовсе не он, а проживающий в другом месте однофамилец. Пока разыскивали указанного им человека, гроза проносилась мимо, а задержанного выпускали на свободу.

А бывало и так, что освобожденного забирали вторично и вершили над ним суд.

Один осужденный лично присутствовал при том, как прибывали к позорному столбу его имя, и никто не знал, что он находится в толпе.

Были случаи, когда из двух человек со сходными фамилиями спасался от преследования обвиняемый, а его ни в чем не повинный однофамилец погибал.

Сотни ныне здравствующих людей уцелели и не слышат шелеста кладбищенской травы лишь чудом, лишь в силу превратностей судьбы.

Ни государственные обвинители, ни один из судей никогда не видели ни Эдена, ни Енё Барадлаи, а в те времена еще не существовало агентств, обменивающихся фотографиями знаменитых людей!

Два созвучных имени, переведенных с венгерского языка на немецкий, нередко совпадали, да и теперь еще немало людей, услышав имена Эден и Енё, не сумеют, определить, кто же из них Эдмунд, а кто Эуген. Эту путаницу подтверждают официальные документы, причем случалось, что она происходила даже по вине не немецкого, а венгерского переводчика.

Главные подсудимые содержались в строгой изоляции. Подобный тюремный режим не давал обвиняемым случая опознать личность друг друга. Все это вместе взятое помогло Енё убедить судей, что он и есть тот правительственный комиссар Барадлаи, против которого, собственно, и было выдвинуто обвинение.

Таким образом, соответствующую графу в списке заполнили, а оставшийся дома Эден напрасно искал в объявлениях официального вестника среди вызываемых в суд лиц свое имя.

Через несколько недель Енё вызвали на допрос. Все материалы обвинения были уже собраны.

Следователи, которые занимались делом Барадлаи, оказались весьма усердными и наблюдательными людьми, они не забыли отметить ни одно его деяние, ни один шаг, а любой его поступок расценивался в то время как страшное преступление, караемое смертью. Они не упустили из виду ни малейшего факта, бросавшего свет на его деятельность. Теперь этот свет озарял усыпальницу.

Собранное ими жизнеописание как бы образовало стройную лестницу, и каждая ступенька неминуемо вела к роковому возвышению – к эшафоту.

– Вы Эуген Барадлаи? – задал вопрос военный судья.

– Да, я.

– Женаты? Имеете детей?

– Женат, имею двух сыновей.

– Были правительственным комиссаром при мятежной армии?

– Был им до самого конца.

– Вы тот самый Эуген Барадлаи, который силой принудил администратора своего комитата покинуть председательский пост?

– Тот самый.

– Вы во время мартовских революционных событий прибыли во главе мадьярской делегации в Вену и произнесли там подстрекательскую речь перед народом?

– Не отрицаю.

– Подтверждаете ли вы, что именно эти слова были вами сказаны тогда?

И военный судья протянул Енё вырванный из блокнота, исписанный карандашом листок.

Как ему было не помнить этих слов? Ведь их в тот памятный день под балконом записывала сама Альфонсина, когда они вместе слушали выступление брата. Положив свою записную книжку на его плечо, она старательно запечатлела эти знаменательные слова якобы для своего альбома. Енё содрогнулся тогда, словно от предчувствия. Сердце подсказывало ему: придет время, и кто-то расплатится за сияние этого дня.

И вот он стоит теперь здесь, перед судом.

Тот балкон был второй ступенькой к обещанной вершине. Сейчас Енё поднялся уже на последнюю.

Он хладнокровно возвратил прочитанный листок.

– Верно, все, что здесь записано, было мною произнесено.

Судьи удивленно покачали головами: «Признаваться в этом ему не было никакой необходимости, ведь обвинение располагало всего лишь одним свидетелем».

Допрос продолжался.

– Один из ваших братьев служил в гвардии, позже в гусарском полку. Вы уговорили его вместе со своим отрядом покинуть армию?

«Слава богу» судьи не знают, кто в действительности это сделал, – подумал Енё. – А может, кто-то намеренно взваливает тяжкое для всей семьи бремя на плечи одного, чтобы тем вернее пустить его ко дну и

заставить мать оплакивать своего сына».

– Да, это сделал я, – торопливо подтвердил Енё.

Он так спешил с ответами, что возбудил подозрение у судьи.

– У вас есть еще один брат, Эдмунд... или Енё?

– Есть. По-венгерски – Енё, по-немецки – Эдмунд.

– А не наоборот: может быть, Енё – это Эуген, а Эден – это Эдмунд? Я слышал споры по этому по поводу.

– Нам, венграм, это лучше известно. Правильно так, как я сказал.

– Ваш брат, о котором я спрашиваю, исчез из Вены одновременно с другим. Какая тому причина?

– Думается, вот какая: с закрытием придворной канцелярии прекратилась и его служба. Что ж ему было оставаться в Вене без дела?

– Куда же делся ваш младший брат?

– В продолжение всей кампании он находился дома, ни в каком освободительном движении участия не принимал, следил за хозяйством, занимался живописью, обучал музыке моего сынишку. Он и сейчас живет дома.

– А вы тем временем снаряжали на свой счет регулярные войска?

– Да. Мой отряд состоял из двухсот конников и трехсот пехотинцев. В битве под Капольной я сам командовал конницей.

– Вы опережаете мои вопросы... На дебреценском сейме вы не присутствовали?

– Нет, поскольку не мог одновременно находиться в двух местах.

– Это верно. Зато вы действовали в качестве правительственного комиссара при армии?

– От начала до конца.

– После форройской битвы вы с большим рвением помогали собирать разгромленные остатки мятежных войск?

– Именно так.

– И проявили при этом кипучую энергию. Как вам удалось в течение нескольких недель экипировать целых три батальона новобранцев? Не соизволите ли вы дать разъяснение по этому делу?

Енё испытал горькое удовлетворение от того, что и в этом вопросе он был достаточно осведомлен.

– Узнав, что вниз по реке идет караван судов с сукном для хорватских пограничников, я перехватил его в пути. Мы использовали это коричневое сукно на венгерки для наших гонимых.

Ответы Енё обличали его больше, чем можно было ожидать. Они говорили не только о его спокойствии и хладнокровии, но выдавали также

утомление жизнью, глубокую апатию. У военного судьи, должно быть, возникли какие-то подозрения. Он решил подвергнуть обвиняемого некоторому испытанию.

Порывшись в отложенных в сторону материалах, судья выбрал один документ.

– Тут сказано, что во время баньяварошского похода вы конфисковали весь запас благородных металлов из казны монетного двора и присвоили его себе.

При этих словах молодой человек вспыхнул, лицо его залила краска гнева.

– Это неправда! – запальчиво воскликнул он. – Гнусная клевета! Так не поступит ни один Барадлаи!

Этот взрыв негодования оказался решающим, он свидетельствовал о том, что суд не введен в заблуждение. Так может негодовать только человек благородный, не способный на низкий поступок, другими словами – только сам Эден Барадлаи.

Затем Енё еще долго допрашивали. Он сумел ответить даже на самые незначительные вопросы – из писем Эдена к матери Енё хорошо знал, какую роль играл его старший брат.

Были и такие вопросы, ответы на которые могли изобличить других лиц. Отвечать на них Енё отказался.

– О том, что сделал сам, расскажу, но давать показания против кого бы то ни было – не стану.

Он боялся лишь одного – очной ставки с кем-нибудь из обвиняемых; тогда сразу могли установить его личность. Енё прилагал все старания, чтобы судьи покончили с ним как можно быстрее. И достиг цели.

В то время суд творил быструю расправу.

Под конец ему был предъявлен еще один, последний пункт обвинения:

– При штурме крепости в Буде вы поссорились со своим братом Рихардом и между вами произошел поединок.

– Между нами? – встрепенулся побледневший Енё.

В письмах к матери оба брата хранили об этом глубокое молчание.

– Да, так называемый «революционный поединок». Во времена французской революции существовал такой обычай: если возникали разногласия между единомышленниками, спор разрешался так: оба, во главе своих отрядов, устремлялись на штурм крепостной стены или вели наступление на противника и победителем в споре считался тот, кто выходил победителем в бою. Вы и на осадных лестницах опередили брата. Это правда?

У Енё тяжело сжалась грудь. Какая же буря промчалась в их стране, если она могла поднять такие волны? Чтоб два брата решились на такую дуэль! Как ответить на вопрос судьи? Может, все это неправда?

– Не в привычках Барадлаи предаваться похвальбе!

Ответ оказался удачным, он вполне удовлетворил судью.

– Что вы скажете в свое оправдание?

– Наши дела послужат нам оправданием» Судить о них будут потомки. Молодой человек гордо отвечал за всех.

Военный судья отыскал в книге текст присяги. Члены военного трибунала встали и вслед за председательствующим повторили ее в присутствии подсудимого.

Затем Енё удалили из зала.

В состав трибунала входили: полковник, майор, капитан, старший и младший лейтенанты, вахмистр, младший фельдфебель и рядовой. Голосование началось с рядового, дальше высказывали свое мнение офицеры, начиная с младшего по чину.

Через четверть часа подсудимого снова вызвали в зал. Военный судья прочитал ему приговор.

Все его действия были взвешены, судья признал обвинение доказанным. Отклоненные подсудимым обвинения в приговоре не упоминались, улики и без того было достаточно, А кара за такие деяния – смерть.

Енё молча кивнул головой.

– Итак – завтра утром.

Осужденный глубоко вздохнул, он достиг своей цели. И попросил лишь одного: чтобы ему позволили написать последние письма – жене, матери и брату.

Разрешение было дано, он поблагодарил и кротко улыбнулся своим судьям. На ресницах его не блеснуло, ни единой слезинки.

Зато слезы блестели на глазах судей. Ведь не они были причиной того, что Эвмениды жаждали крови, что Диракам^[151] нужны были жертвы,

С того света

Наступили ненастные осенние дни. Семья Барадлаи вернулась с кёрёшской виллы в Немешдомбский замок.

Лазарет перевели в другое место. Государство могло теперь позаботиться о раненых, и барская усадьба приняла свой обычный вид.

Но все вокруг было живым олицетворением меланхолии.

Двор усыпан опавшими с платанов желтыми листьями, деревья в парке покрылись багрянцем, листья на них пожухли и поблекли. Большая часть замка была необитаема, окна плотно закрыты ставнями. Во дворе нельзя было заметить даже следа проехавшего экипажа – гости сюда не навещались, а домашние не выходили из своих комнат. Созерцание природы приносило горечь, и даже вольный воздух тяжело давил. Нет, куда приятнее было сидеть в четырех стенах.

Прислуга ходила в трауре – его надели после смерти отца молодой барыни. Внук покойного тоже был в черном. Жестоко одевать так ребенка и приобщать его к скорби взрослых. Младший сынишка Эдена плакал с утра до ночи. Он хворал, а дети в таком возрасте тяжело переносят болезнь; она причиняет им жестокие страдания.

Семья проводила дни в узком кругу, в одной комнате. Проходят, бывало, часы, а никто не проронит ни слова, а потом обе женщины заговорят разом, причем всегда об одном и том же, словно их думы прикованы к одному предмету, витают в одной сфере.

Пожалуй, единственный друг в такое время – книга, ее молчаливо беседующие с тобою строки.

Есть такие слова, в которых сокрыт и вопль, и небесный гром, и похоронный звон колоколов, слова, похожие на приглушенный бой барабанов, затянутых сукном, чтобы притушить звук.

В осенние месяцы того памятного года такие слова нетрудно было обнаружить в газетных столбцах. Прочитав их, Аранка, дрожа всем телом, кидалась Эдену на грудь и безмолвно обвивала его руками, словно надеясь, что это поможет ей защитить мужа.

А как бледны были их лица!

Однажды мальчик робко спросил у матери:

– Может быть отец наш онемел?

Однажды, в поздний вечерний час, вся семья молча коротала время. Притихший ньюфаундленд Джаянт вдруг неожиданно вскочил и с

яростным лаем кинулся к дверям. В соседней комнате слышались тяжелые шаги.

Джаянт совершенно вышел из повиновения, выл; лаял, кидался на дверь. Такое поведение никак не вязалось ни со степенным нравом собак его породы, ни с его хорошим воспитанием.

Эдену пришлось за ошейник оттащить пса от дверей и применить угрозы, которые принудили собаку улечься на место.

Дверь открылась, и без доклада вошел посетитель. То был гость, который не привык докладывать о своем приходе. Он имел право входить куда вздумается: в святилище и в женскую спальню, днем и ночью, когда люди обедают, спят, молятся; имел право входить, не спрашивая разрешения и не обнажая шловы. Это был жандарм.

На голове у него красовалась остроконечная медная каска русского лейб-гвардейца, производившая на венгров сильнейшее впечатление. Повидимому, такому сильному впечатлению мы и обязаны тем, что каски эти были приняты в качестве головного убора для нынешних жандармов; вот почему народный юмор и дал им кличку: «Москаль оставил».

Жандарм отдал честь, приложив руку к козырьку каски, и заговорил бесстрастным голосом:

– Виноват, что явился в столь поздний час. Я принес почту из Пешта – Новое здание, второй корпус. Письмо господину Эдмунду Барадлаи.

Итак, беда нагрянула. Эден взял со стола свечу.

– Это мне. Извольте пройти в мою комнату.

– Простите, но я принес «акже письма для обеих дам. Для госпожи Казимир Барадлаи и госпожи Эдмунд Барадлаи.

«Итак – все трое! Значит – все вместе!»

Улыбка появилась на устах обеих женщин. Но только на мгновение. Охваченная страхом, Аранка припала к своему грудному младенцу, а госпожа Казимир Барадлаи испуганно схватила руками голову старшего внука, припавшего к ее коленям.

«Что будет с детьми? На кого останутся дети, если заберут их мать?»

Но что до этого Фемиде!

Жандарм вытащил из-за пазухи красный кожаный бумажник, достал оттуда письма и подал каждой из женщин адресованное ей письмо.

– Буду ждать ваших распоряжений тут, в передней.

Он вторично отдал честь, повернулся на каблуках и вышел.

Все трое, побледнев, изучали адреса и печати на врученных им конвертах. Люди всегда, прежде чем решиться вскрыть такие зловещие письма, долго и с содроганием рассматривают их.

На круглой печати было начертано наименование военного трибунала. Адреса на конвертах были выведены каллиграфическим, канцелярским почерком, надпись: «ex offio» – служебное – дважды подчеркнута.

Аранка отнесла лежавшего у нее на коленях младенца в колыбель. Затем каждый вскрыл письмо. Тем же каллиграфическим канцелярским почерком всем адресатам сообщалось одно и то же:

«Считаю своим долгом переслать вам прилагаемый при сем проверенный и допущенный к отправке документ».

Внизу стояла чья-то неразборчивая подпись.

Приложенными документами оказались письма от Енё.

Письмо адресованное Эдену, гласило:

«Дорогой Эдмунд!

Сегодня я завершу то, ради чего жил, – умру за свои убеждения.

Оставляю здесь свое благословение и уношу с собой веру.

Пролитая нами кровь оросит благодатную почву, и она принесет когда-нибудь свои плоды: счастье для нашей родины и для всего человечества.

Вы спокойно восстановите развалины, рухнувшие нам на голову. Кормило корабля снова перейдет в ваши руки. Рано или поздно, но это неминуемо произойдет.

Наши надгробные камни послужат знаком, указывающим и я подводные рифы, куда не следует вести корабль.

Я умираю, примирившись со своей судьбой. Мне есть на кого оставить свою верную жену и двух маленьких сыновей. Имея такого хорошего брата, как ты, я не тревожусь за них.

Отри слезы Аранки, поцелуй за меня маленького Бела и крошку Элэмера. А если дети когда-нибудь спросят, где я, скажи, что в твоём сердце! Скажи, что я теперь дома, в обители моей матери – в могиле родины.

А ты будь мужчиной и не сокрушайся. Живи ради нашей семьи, которую, надеюсь, еще долго будет хранить всевышний, и для родины, которую, верю, он сбережет на вечные времена.

Твой брат Эуген».

В письме на имя молодой женщины было написано:

«Моя дорогая, любимая Аранка!

В душе моей все еще звучат твои милые слова: «Следуй велению своего сердца». Я следую ему.

Прости меня за то, что умираю. Желая, чтобы скорбь обо мне стала твоим утешением.

Не пугай своим печальным лицом твоих маленьких детишек, ты ведь знаешь, как им становится жутко при виде твоего горя. Слишком рано лишать радости эти нежные сердца!

Будь добра к моей матери и братьям, а они позаботятся о вас.

Портрет-миниатюру укрой вуалью, не следует, чтобы он слишком часто напоминал тебе минувшие дни.

Не стану долго терзать тебя своими строками, хотелось бы уйти из жизни так, чтобы не причинить тебе боли.

Посылаю прощальный воздушный поцелуй. Он долетит до тебя сквозь небеса!

Пусть тебя вечно хранит господь!

Любящий тебя и в могиле твой Эуген».

Молодая женщина подняла лицо к небу, и, если летящие духи способны проникать сквозь воздух, она, должно быть, почувствовала этот поцелуй.

То было посланное с того света признание в любви, чистой эфирной и звездной любви, какая свойственна лишь возвышенным натурам, душевно связанным друг с другом.

Матери Енё писал:

«Моя дорогая, обожаемая, добрая мать!

С какими словами я ушел от тебя, с теми же и возвращаюсь: «Люблю тебя!» Ты знаешь, что я всегда был любящим, преданным тебе сыном.

Детям Аранки не придется пойти по миру, не так ли? Судьба устроила все прекрасно и мудро. Тому, кто умирает, умереть легко.

У тебя – мужественное сердце и возвышенная душа, ты не нуждаешься в моих утешениях, у тебя достанет сил снести это горе.

Ведь на колени матери братьев Гракхов^[152] тоже положили головы ее убитых сыновей, но она не лила слез.

«Тех, кто доблестно умер, матери не оплакивают», – это твои слова. А потому – не оплакивай меня. Будь христианкой, скажи: «Господи, на все – твоя воля». И прости людям мою гибель.

Прости также и той, что своими обвинениями ускорила мой путь к могиле. Дай ей когда-нибудь знать, что поступок ее был тяжким, но она сотворила им благое дело, облегчила мне смерть. Поблагодари ее за это!

Я уйду из жизни, примирившись со всеми, и верю, что меня все простят.

Через час я уже буду вместе с отцом, там, на небе. Вы двое больше всех меня любили. Еще совсем ребенком, когда у вас возникали отчаянные споры, я старался вас примирить. И теперь я снова постараюсь примирить вас.

Мать, меня зовут, Прощай!

Любящий тебя сын Эуген».

Обмениваясь письмами, все трое приглушенно рыдали. Громко плакать было нельзя. Ведь в соседней комнате находился посторонний, он мог их услышать.

Однако нужно спросить у него, чего он ждет.

Но кто это может сделать? У кого достанет сил разговаривать в такую минуту? Как трудно сейчас заставить себя что-то совершить!

Эден сидел неподвижно, опустив голову на стол. Аранка рыдала, припав к ногам свекрови, пряча лицо у нее в коленях. Старший мальчик, еще не знавший жизненных невзгод, испуганно наклонился к колыбели братишки и ласково увещевал его, шепча, что сейчас даже пискнуть нельзя.

Раньше всех взяла себя в руки и поборолла душевное волнение мать Енё. Она вытерла слезы, встала.

– Перестаньте рыдать. Сидите спокойно на своих местах.

И, подавая пример другим, она придала спокойное выражение своему лицу, подошла к двери, открыла ее и обратилась к ожидавшему в передней жандарму:

– Сударь, вы можете войти.

Жандарм вошел с каской на голове, держа левую руку на эфесе сабли.

– Вы имеете нам сообщить что-нибудь еще?

– Да, имею.

Он снова сунул руку за пазуху и вытащил оттуда небольшой сверток.

– Вот это.

Госпожа Барадлаи развернула сверток, В нем оказался голубой

шелковый жилет, расшитый ландышами и анютиными глазками. Когда-то его вышила Аранка. Среди цветов зияли три отверстия с опаленными, окровавленными краями – то были следы пуль. Вышивка не оставляла сомнения в том, кто его прислал, а три отверстия досказали остальное.

Жандарм не произнес ни слова. Только снял на минуту каску, пока женщина разворачивала пакет.

Госпожа Барадлаи усилием воли подавила сердечное волнение. Еще не наступило время дать волю своим чувствам!

Твердой, решительной походкой подошла она к комоду, открыла ящик и, вынув оттуда что-то, завернутое в бумагу, передала это жандарму. То была сотня золотых.

– Благодарю вас, – сказала она.

В ответ жандарм пробормотал какие-то слова о боге (что ему было до бога!), вновь отдал честь и покинул покои.

Теперь можно было дать волю скорби!

Перед человеком с каменным сердцем

Да, теперь уже можно.

Можно обезумевшей от горя, потерявшей голову матери бежать с окровавленной одеждой сына через анфиладу зал, бежать к портрету своего мужа, человека с каменным сердцем, и там повалиться на пол. С рыданием показывая ему эту одежду!

– Смотри!.. Смотри!.. Смотри!..

Теперь уже можно покрывать поцелуями, обливать слезами эту дорогую одежду.

«Ведь он был самым любимым моим сыном!»

Можно в исступлении звать к портрету:

– Зачем ты отнял его? Ведь это ты отнял его у меня! Разве он хоть раз обидел кого-нибудь на земле? Он был невинен, как дитя, как отрок. Никто никогда не любил меня так, как он! Он находился при мне, пока был ребенком, и откликнулся на мой зов, став взрослым! покинул свою любимую, отказался от чинов и славы, чтобы идти со мной. Кому нужно было, чтобы он умер? Кому понадобилось разорвать его сердце? Ведь он был кроток, как голубь, и лишь мягко улыбался, если кто-нибудь его обижал! Никогда злоба не гнездилась в этой душе. Разве я послала его на смерть? Неправда! Я не обрекала его на гибель, Пусть при нашем расставанье мною были произнесены горькие слова: «Я оплакиваю не тех моих сыновей, которые обречены на гибель, а тебя, кто останется жив!» Но все же не следовало ему столь жестоко мстить мне! Такая чудовищная мысль не могла зародиться в его душе, это ты подсказал ее! Она так похожа на помыслы, рождавшиеся в твоём жестоком сердце! Ты решил низринуть меня, – ну что ж, вот я и лежу здесь, распростершись ниц! Тебе хотелось попать меня ногами, и ты попираешь меня! Ты задумал принудить меня признать, что и после смерти волен своей рукой поразить меня, – я чувствую это и корчусь от боли. Мне незачем лгать перед тобой, притворяясь, будто я обладаю сверхчеловеческой силой. Мне выпала горькая доля, я несчастна, как только может быть несчастна мать, хоронящая любимого сына. А ты, ты безжалостен! Ты – отец, призывающий сыновей следовать за собою на тот свет! О, будь милосерден ко мне. Я не стану с тобой бороться, я покорюсь, только не забирай остальных! Другой мой сын стоит на краю могилы. Не толкай же туда своей грозной рукой второго сына, не зови его, не отбирай у меня их всех

по одному. И не посещай меня, как поклялся в свой смертный час. Господь свидетель, я хотела лишь добра. Не знала, что все это принесет такую боль.

Женщина лежала теперь в беспмятстве, распростерлись перед портретом. Никто ей не мешал.

Но портрет не дал никакого ответа. Он по-прежнему хранил молчание.

Роковая судьба свершилась. Неотвратимая судьба, в которой уже ничего изменить было нельзя. Не мог же теперь Эден объявить во всеуслышание:

– Эуген Барадлаи – это я, а не тот, другой!

Такой жест был бы не только бессмыслен и бесполезен, но и жесток по отношению к семье, для которой он сделался теперь единственной опорой. Оставалось лишь, скорбя и благоговей, преклониться перед светлой памятью принесшего себя в жертву брата.

«Среди нас он один оказался истинным героем!»

Верные слова. Ведь умереть за дело, которому поклоняешься и в которое веришь, побуждает человека честолюбие. А умереть за дело, которому поклоняешься, но в которое не веришь – жертва, превышающая силы обычного человека. Эден и Рихард были просто славные борцы, но подлинным героем стал Енё.

Разъяснилась ли когда-нибудь эта роковая, кровавая ошибка?

Вполне возможно. Обе стороны имели так много тайн, столько обстоятельств этой трагедии приходилось тщательно скрывать, что ни та, ни другая ни разу не рискнула предать что-либо огласке. А к тому времени, когда этот священный обман мог обнаружиться, осуждающий голос всего мира с таким единодушием заклеил бы столь печальный факт, что власти предпочитали предать забвению все, что было связано с этим делом. Кроме того, ведь за деяния одного человека другой расплатился жизнью. Долг был оплачен.

Эден был теперь уже «bene lateb – надежно укрыт!

В один миг роли переменились: Енё достался героический конец, уделом Эдена стала мирная работа, созерцательная, молчаливая жизнь и упование на лучшие времена.

Но оставался еще Рихард!

Тюремный телеграф

Но разве Енё не послал Рихарду весточку?

Конечно, да. Ведь он был узником в той же темнице, что и Рихард.

В тюрьме имелся надежный, безостановочно работавший телеграф. Он обслуживал все камеры, ему невозможно было помешать, никакая сила не отняла бы его у заключенных.

Таким телеграфом служили стены. Нет такой толстой стены через которую нельзя услышать перестукивание.

Когда в соседней камере стукнут по стене один раз, это означает букву «А», два быстро следующих друг за другом удара – «Б», три коротких стука – «В» и так Далее. Подобным способом передавался весь алфавит. (Да простит мне терпеливый читатель, что я докучаю ему азбукой – этой великой школой жизни.)

Помешать такого рода связи было немислимо, она обходила все здание. Понимали перестук все, выучивались его несложной мудрости в первый же день, и немой разговор велся непрерывно. Любой запрос, возникший в одном из флигелей тюрьмы, шел дальше, передавался из камеры в камеру и наконец доходил туда, где на него давали ответ; и ответ тем же порядком совершал обратный путь до спрашивавшего.

В день, когда Енё суждено было в последний раз увидеть закат солнца, лишь один вопрос выстукивали все стены тюрьмы:

- Чем закончился суд?
- Смертным приговором.
- Кому?
- Барадлаи.
- Которому?
- Старику.

Криптограмма эта прошла через камеру Рихарда. Он запросил вторично.

Стена повторила еще раз:

- Старику.

Рихард, по привычке молодых людей награждать друг друга прозвищами, издавна называл младшего брата «стариком». В этой ласковой кличке заключались и нежность, и шутка, и определение серьезного характера Енё.

Если бы все, о чем некогда поведали друг другу тюремные стены,

оставило на них свой след в виде барельефа, на этих изображениях археологи могли бы прочитать куда больше, чем на стенах Ниневии!

Первый удар кинжала

Торжествующая Альфонсина Планкенхорст с упоением утоленной страсти в глазах швырнула Эдит газету с извещением.

– Вот тебе, читай!

Бедная девушка, как очутившийся перед тигром ягненок, не пыталась защищаться: она даже не дрожала, лишь понурила голову.

Газета сообщала о казни бывшего правительственного комиссара Эугена Барадлаи. То было вполне достоверное официальное сообщение.

Эдит не знала Эугена. Того, настоящего. И все же почувствовала острую сердечную боль за него: ведь то был один из братьев Барадлаи.

Но плакать о нем она не посмела. Такие слезы считались преступлением, в законе существовали параграфы, запрещающие выражать хотя бы малейшее сочувствие крамольникам.

Обворожительная фурия, широко раскрыв огромные сверкающие глаза, раздвинув в улы'бке пунцовые губы над рядом прекрасных белоснежных зубов, прошипела своей родственнице прямо в ухо:

– Одного я уже сжила со свету!

И так ударила по воздуху стиснутым кулаком, словно сжимала в нем невидимый кинжал, отравленное острие которого способно настичь жертву на любом расстоянии.

– Этот уже мертв. Я убила его! – воскликнула она и, не разжимая кулака, ударила себя в грудь, в прекрасную грудь, которая могла бы стать вместилищем всех блаженств рая.

Потом схватила Эдит за плечи и, впившись ей в глаза сверкающим от злобного торжества взором, воскликнула:

– Дочь священника овдовела, очередь, за следующим! Теперь это будет твой возлюбленный!

В довершение жестокости она преподнесла Эдит сверток с отрезом черного крепа.

– Вот, возьми себе! Это – для твоего траурного платья.

И Эдит поблагодарила ее за подарок.

...Если бы Альфонсина только знала, кого она сжила со света! Человека, которого осыпала в былые дни поцелуями, кто любил ее больше всех и продолжал любить до смертного часа, кто простил ей даже тогда, когда знакомый почерк подсказал ему, чья рука уготовила ему могилу.

В день разыгравшейся мигрени

Облеченный неограниченной властью наместник был подвержен приступам сильной головной боли. Этот недуг поразил его во время осады Брешии.^[153] Когда он вступал в захваченный город, какой-то монах дважды выстрелил из окна ему в голову» Но промахнулся.

В отместку генерал приказал казнить самых почетных граждан Брешии, соорудив из их трупов настоящую гекатомбу.

Однако с головой у него, видимо, не все обстояло благополучно. С этого дня его постоянно мучила ужасающая мигрень. Пульсирующая боль была так сильна, что казалось, будто все предназначенные им для чужих голов пули жалили его собственную.

В такие часы к этому влиятельному мужу было страшно подходить. Неистовая боль заставляла его злиться даже на самых приближенных людей, даже на любимцев. Он у каждого находил недостатки, всех в чем-то подозревал, никого не щадил.

Ведь не щадит же неведомый демон его собственную голову, подвергая могущественного вельможу мучительной пытке! Демон этот обручем стягивает ему лоб, словно навинчивая на него «испанскую диадему», молотками стучит в висках, погружает его голову в раскаленное адское пекло, окрашивает огнем лежащий перед его глазами мир.

Тщетно в такую пору обивают люди пороги его канцелярии, моля о помиловании, напрасно пытаюсь объяснить ему истину. Разве его собственный мучитель щадит? Разве существует радикальное средство, чтобы исцелить его самого от нестерпимых мук?

И вот от такого изверга зависели человеческие судьбы; он чинил расправу над побежденной нацией!

Однажды поздним вечером, во время очередного приступа мигрени, измученный вельможа сидел в одиночестве в своем кабинете и в десятый раз швырял на пол еще одно бесполезное лекарство.

Заходить к нему в такую пору никто не смел. Он выгонял даже врачей, виновных в том, что они не в силах были излечить его недуг.

Лечь в постель было невозможно: в лежачем положении боль становилась и вовсе невыносимой. Поэтому он или сидел, или расхаживал взад и вперед по комнате.

Однако камердинер все же отважился войти на цыпочках в кабинет.

– В чем дело? – с яростью потревоженного тигра рявкнул на него

могущественный сановник.

– Там желают поговорить с вашим высокопревосходительством.

– Гони в шею!

– Какая-то женщина...

– К черту всех женщин с их воплями! Я не желаю сегодня видеть их плаксивых физиономий! Вышвырни всех, кто лезет ко мне кланчить. Не приму ни одной бабы.

– Но эта дама – баронесса Альфонсина Планкенхорст, – осмелился заметить камердинер.

– Ну и сидела бы себе в преисподней! Ночь – не время, для приема посетителей. Как видно, баронесса Альфонсина привыкла к ночным визитам.

– У нее, как она говорит. неотложное дело к вашему высокопревосходительству. Она заявила, что если вы даже едва дышите, все равно ей надо срочно побеседовать с вами.

– Дама с норовом, что и говорить. Хорошо,пусти ее! Ведь это не женщина, а сущий дьявол.

Вельможа, с обвязанной платком головой, опустился в кресло и в таком виде стал ждать посетительницу.

Вошла одетая в дорожный костюм Альфонсина и плотно притворила за собой дверь.

– Прошу вас, баронесса, изложите покороче то, что вы имеете сообщить: голова у меня просто раскаляется.

– Скажу в двух словах, господин фельдмаршал. Сегодня я узнала, что вас смещают с поста наместника Венгрии.

– Ах!..

Для больного человека известие это прозвучало как пушечный выстрел. Оно пронзило ему мозг.

– Смещают? Почему?

– Хотят положить конец строгостям, которые вы до сих пор применяли, разъяснить миру, что суровые репрессии – вовсе не следствие ошибочной политики правительства, а лишь результат излишнего усердия определенного лица.

Больной прижал ладони к вискам, словно голова его разрывалась.

– Послезавтра будет введен новый режим, к правлению призовут других деятелей. Смертная казнь отменяется, подсудимых станут подвергать только лишению свободы.

– Крайне признателен вам за это известие, баронесса. Весьма благодарен!

– Я поспешила к вам, чтобы заблаговременно вас оповестить. Завтра утром вы получите уведомление об освобождении от занимаемого поста. Но еще остается целая ночь, когда вы можете действовать.

– Не премину это сделать. Клянусь!

– Ведь вы знаете, какой обет связывает нас обоих. Это – обет мщения! Мы должны увидеть униженными, раздавленными тех людей, что напали на нас, подняли на смех, устроили заговор с целью нас разорить. Нужно беспощадно истреблять это отродье! Оставшись в живых» они снова поднимут голову, снова начнут огрызаться. Мы отомстим за благородную кровь, пролившуюся на этой проклятой земле. Я обожаю вас за то, что вы творили суд и расправу и воздали им полной мерой!

– Да, но и вы оказали мне немалое содействие. Лучшего сыска не имел ни один министр. Какой великолепной осведомительницей вы были для меня! Ухитрялись собирать любые сведения, добывали все направленные против властей сатирические песенки» а они – самый великий грех, исключаящий всякое прощение. Мы еще можем простить нанесенную рану, но пасквиль – никогда. Вы необыкновенно искусно разжигали страсти! Воистину просто необходимо, чтобы вокруг солнца вращались существа, подобные вам! Заслоняя солнечный свет и бросая на землю тень, они льют яд на раны и вынашивают такие планы мщения, которые никогда не смогут зародиться в мозгу мужчины! Женщины, в которых вселился сам бес!

– Вы льстите мне, фельдмаршал. Я горжусь те, что сама вынашивала замыслы мести.

– И хорошо, что существует полупомешанный человек, терзаемый адскими приступами мигрени, который, когда в голове его кипит вся кровь мозг плавится, как в огненном котле, способен отдать приказ пристрелить собственного брата! Хорошо, что имеется такой человек приводивший в исполнение ваши планы. Сейчас он именно в таком состоянии духа. Все вокруг него плавают в море крови. И пылающая голова жаждет этого кровавого моря. К утру пытка может пройти, и к утру кончится его неограниченная власть. Что же я должен предпринять в оставшееся время, прекрасная дама, ангел красоты?

– Решительные меры! В настоящий момент у стоголовой гидры – одна шея. Она зажата у вас в руке. Стоит вам стиснуть руку, и все будет кончено. Пусть летит тогда с оливковой ветвью голубь божьей благодати, у вампира – крылья быстрее.

– Стало быть, надо торопиться? Использовать оставшееся время? Так оно и будет. Сейчас десять часов вечера, курьер раньше десяти утра не

прибудет. В нашем распоряжении полдня. Вернее, не полдня, а целая ночь. Для многих это будет последняя ночь, не так ли, мадемуазель?

Наместник позвонил.

– Пришлите моего адъютанта.

Вызванный явился.

– Немедленно отправляйтесь к полковнику, к главному военному судье. Передайте ему мой приказ: сегодня к полуночи, никак не позже, все военные трибуналы должны подготовить находящиеся у них в производстве дела. Пусть тотчас же приступят к их рассмотрению. К трем часам утра все приговоры должны быть у меня, а к пяти часам все подсудимые должны быть собраны, чтобы выслушать эти приговоры. Гарнизону – находиться под ружьем. Выполняй приказ.

Когда адъютант удалился, всемогущий сановник обратился к Альфонсине:

– Довольны вы такой быстротой?

Но она в ответ спросила:

– Есть ли среди обвиняемых Рихард Барадлаи?

– Конечно.

– Не забудьте, фельдмаршал, этот человек нанес нам больше урона, чем тысяча других. Как демон-истребитель стоял он по колена в крови наших лучших героев, Дерзнул смеяться в глаза судьям военного трибунала, разговаривал с ними столь же надменно, как Кориолан с войсками. Это – наш самый ожесточенный враг, и пока он жив – он готов все начать сначала.

– Мне, баронесса, известно о нем все. В списках он – в числе первых.

Альфонсина испытала истинное наслаждение, своими глазами прочитав в длинном списке имя Рихарда Барадлаи, дважды подчеркнутое красными чернилами. Пусть же алая кровь подчеркнет его в третий раз!

– А теперь, мадемуазель, позвольте поблагодарить вас за принесенную вовремя весть. Весьма, весьма признателен! Когда вы пришли, голова моя разрывалась на части. Теперь же у меня такое чувство, словно она оказалась между земным шаром и кометой в минуту столкновения. Поэтому прошу оставить меня одного. Сейчас я готов разорвать в клочья все, что попадет мне под руку, и в такое время находиться поблизости от меня не рекомендуется.

– Спокойной ночи.

– Ха-ха-ха... Что и говорить, дьявольски спокойная ждет меня ночь! Счастливого пути.

– Мой путь всегда таков.

Дама удалилась.

Человек, страдавший мигренью, действительно отыскал нечто, что он мог разорвать в клочья. В те дни распространился слух об одном маловероятном происшествии. Говорили, будто в его резиденцию проникли грабители и похитили все кисточки от темляков. Ничего другого они не взяли.

Сановник всю ночь ходил взад и вперед по своим покоям.

Даже сквозь закрытые двери слышались его громкое кряхтение, стоны и проклятия.

Альфонсина тоже всю ночь не смыкала глаз. Безмерное злорадство и неукротимое бесовское возбуждение гнали сон от ее ложа. Кроме того, она спозаранку, с первым утренним поездом решила ехать в Вену. Ведь то что она теперь испытывала, было лишь предвестием настоящего торжества. Дома ее ожидало куда более острое наслаждение – зрелище отчаяния другой девушки. Она бодрствовала, считая минуты.

Сейчас полночь... Заседают военные трибуналы. Вот читают подсудимому обвинение» пункт за пунктом... Спрашивают: «Можешь ли ты хоть что-нибудь сказать в свое оправдание?» – «Нет...» Теперь его снова отвода в тюрьму.

Час ночи... Совещаются, решают его судьбу. Нет ни кого, кто произнес бы хоть слово в его защиту. Голосуют...

Два часа... Судьи строчат приговор. Торопливо несут его к всевластному наместнику.

Три часа... Человек, терзаемый головной болью, ставит под всеми приговорами свою подпись. Перед глазами у него пламя, и он выводит на огненном листе кровавые слова.

Четыре часа утра... Все кончено! Будят тех, кто еще был в состоянии спать. Им предлагают в последний раз взглянуть на то, как прекрасен мир. Утренняя заря, гаснущие звезды... Один только взгляд, и ничего больше.

Альфонсина была уже не в силах оставаться в четырех стенах. Наемный экипаж всю ночь ожидал ее во дворе гостиницы. Она приказала снести вниз свой багаж и поехала прямо на квартиру к главному судье. Полковник также был ей хорошо знаком. Так знакомы могильщикам все те, кто перевозит покойников.

Альфонсина не сомневалась, что застанет судью дома, бодрствующим. Ее впустили. Все боялись этой женщины, как вампира.

Судья был весьма серьезный, уравновешенный, немногословный человек.

– Окончена ночная работа? – спросила Альфонсина.

- Окончена.
- Какой вынесен приговор?
- Смертный.
- Всем?
- Всем без исключения.
- И Рихарду Барадлаи?
- Наравне с другими.
- Значит, его приговорили?...
- К смерти.

Альфонсина пожала полковнику руку.

- Покойной ночи.

Холодная рука не ответила на ее пожатие. Судья только заметил:

- Уже утро.

Но прощальное приветствие и судорожное пожатие горячей руки относились не к нему.

Альфонсина поспешила к поезду. Он отходил рано, она услышала колокольный звон к заутрене уже будучи на вокзале. Но он прозвучал как заупокойный звон.

Сейчас читают приговор... Вот он поворачивает лицо навстречу утренней заре, приветливо заглядывающей в решетчатые окна, и просит у нее займы немного румянца... Приговор приводят в исполнение. «Господи, помилуй!»

Можешь расправить свои крылья, вампир! Лети!

Солнечный диск уже показался над горизонтом. Пассажиры сновали взад и вперед по платформе, занимали места в вагонах, беседовали о том, какое холодное выдалось утро.

Но Альфонсина не чувствовала холода. Ей было жарко, она сняла даже шаль. Она села спиной к солнцу и кинула взгляд на уходивший в туманную даль город, быть может ожидая, что оттуда появится такой же туманный, нарисованный мглистыми облаками образ и ей удастся напоследок еще раз засмеяться ему в лицо.

Поезд мчался вперед.

Было пять часов сорок минут утра.

Конец кинжала отломан

Нельзя сказать, что паровоз мчался слишком быстро, А между тем Альфонсине хотелось лететь со скоростью молнии. За то время, что поезд совершил путь один раз, крылья вампира успели проделать его не менее десяти.

Альфонсину мучило нетерпение. Она жаждала поскорее очутиться дома, всей душой рвалась туда.

Ей было приятно, что в купе не оказалось ни одного спутника, – она ехала в первом классе. Никто не отвлекал ее праздными разговорами, можно было без помехи наслаждаться собственными мыслями. В Вене ее уже ждал возле вокзала экипаж, она поспешила протиснуться сквозь толпу, чтобы выбраться на улицу первой. дорогой то и дело понукала кучера.

Приехав домой, Альфонсина стремительно поднялась вверх по лестнице, пробежала по анфиладе комнат, пока не наткнулась на Эдит. Девушка шила себе траурное платье.

Подлетев к ней и хохоча от чувства удовлетворенной мести, Альфонсина бросила в лицо Эдит страшные слова: – Я сжила его со свету!

Получив этот смертельный удар в сердце, девушка подняла к небу затуманенный взор, и ее одухотворенное лицо, казалось, озарилось нимбом, который окружает непорочную деву, когда та обращает глаза к распятию.

Потом, глубоко вздохнув, она опустила голову на грудь, уронила руки на колени. Но не заплакала, не разразилась проклятиями.

– Я умертвила твоего милого!

Узнав о приезде дочери, в комнату поспешно явилась госпожа Планкенхорст.

Альфонсина обстоятельно рассказала ей обо всем: где побывала, что делала, о чем говорила. Не упустила ни одной подробности, ни единого слова. Она сообщила о том, какая поднялась спешка, с какой быстротой был одержан успех. Полный успех! Чаша мщенья была теперь полна до краев.

Обе дамы без умолку хохотали и ликовали по этому поводу, обнимались, целовались, обменивались комплиментами. Так поступают только люди, добившиеся великих и радостных побед, так поступают мать и дочь, радующиеся удаче и счастьем друг друга.

Захлебываясь от избытка счастья, они, казалось, забыли о той, третьей.

Но разве их жертва не корчилась в судорогах?

– Чего ж ты не плачешь?

Черепаша продолжает жить, даже если у нее удаляют мозг. Неужели девичье сердце еще живучее? Или она ничего не поняла?

– Твой Рихард покинул этот мир!

Девушка не ответила ни словом. Сложив руки на груди, она молча смотрела на свое траурное платье, но не плакала. Боль была слишком остра для слез. Охваченная невыразимым ужасом, она не была в силах даже шелохнуться.

– До чего же ты бестолкова! Неужели не понимаешь? Твой возлюбленный убит. Убит, как и мой. Теперь ты – вдова. Дошла ли наконец до тебя боль утраты? Знаешь, кто каждую ночь делит со мною ложе? На моей подушке покоится голова окровавленного призрака. Теперь такая голова будет мерещиться и тебе.

Эдит не дрогнула от этих слов, ее уже приучили к этим страшным картинам. Ведь одно и то же наваждение преследовало ее каждый вечер и каждое утро.

Такое упорное молчание привело Альфонсину в бешенство. Ей казалось, что это бессловесное страдание лишает ее самого сладостного наслаждения своим торжеством. Разве не затем она так спешила домой, чтобы полюбоваться, как Эдит будет биться в истерике на полу, проклинать бога и людей, искать отточенный нож, чтобы вонзить его себе в грудь. Ведь именно так вела себя сама Альфонсина у нее на глазах!

А попранная ею девушка не корчится в судорогах, не беснуется, не рыдает. Это выводило из себя бестию с крылами вампира.

– Ты только пойми, жалкое создание! Ведь он погиб позорной смертью, о которой стыдно даже упоминать. Сейчас там уже роют яму, куда его бесславно бросят. Даже землю притопчут над его головой, даже молитвы никто не произнесет над его прахом. Тебе и могилы его никогда не найти!

Девушка лишь тихо вздохнула, мысленно ответив на эту злую речь: «Господь взял его к себе, а я буду вечно о нем скорбеть». Произнести эту фразу вслух она была не в состоянии. Ее безмерная боль не вмещалась в слова.

– Плачь же! – в злобном исступлении, сжав кулаки, орала обольстительная мегера, топая ногами. Локоны разметались вокруг ее пылавшего злобой лица.

– Ну, плачь же! Плачь!..

В это мгновение дверь приоткрылась, и лакей доложил:

– Пожаловал господин Рихард Барадлаи!

Дверь широко распахнулась. На пороге стоял одетый в штатское Рихард.

Не будь это исторически достоверным фактом, читатель мог бы сказать, что автор допустил неуклюжее преувеличение. А между тем события действительно происходили именно так.

Человек, страдавший мигренью, использовал последние двенадцать часов своей власти на то, чтобы дать ход делам ста двадцати главных обвиняемых и приказал вынести по ним решение. Все, подсудимые были приговорены к смертной казни. Но он неожиданно всех помиловал, использовав свою неограниченную власть. И не то, чтобы он уменьшил меру наказания или смягчил их участь! Нет, он просто взял и отменил наказание, амнистировал всех осужденных, отпустил их на свободу.

В этот мучительный для него час человек, терзаемый головной болью, действительно мстил. Но не потерпевшим поражение, которых он попирал ногой, а министру, который собирался наступить на его собственную голову.

Он пачками подписывал указы о полной амнистии осужденным, над которыми тяготели наиболее тяжкие обвинения. И пусть теперь господин министр сам сообразовит продолжать игру дальше!

Таков был его ответ на полученное от мадемуазель Планкенхорст известие.

Альфонсина недостаточно разбиралась в психологии, плохо знала людей и, самое главное, не изучила до конца действие различных ядов!

После того как Рихарду сообщили о совершенно неожиданном для него помиловании, главный судья вызвал его к себе.

– Хотя вы амнистированы и вновь обрели свободу, – сказал он Рихарду, – все же вам некоторое время нельзя будет проживать на территории Венгрии. Вам определяют местом жительства какой-нибудь другой, входящий в состав империи город. Скажем, Вену.

– Все равно. Готов ехать, куда угодно.

– Итак, условимся: вы поселитесь в Вене. Помиловавший вас сегодня господин фельдмаршал велел вам передать, чтобы вы по прибытии туда первым делом посетили госпожу Альфонсину Планкенхорст и поблагодарили ее за любезное ходатайство о вашем освобождении. Без содействия этой дамы вам никогда бы не удалось получить свободу. Следовательно, поблагодарите ее!

– Почту своим долгом.

– Еще одно. Ваш брат Эуген, он же Эден, казнен.

– Я уже слышал об этом. Не знаю только, совпадают ли немецкое и венгерское имя...

Судья резко прервал его:

– Во-первых, слышать что-либо в тюрьме вам не полагалось. Вы были заключенным, сообщать же арестантам какие бы то ни было сведения – запрещено. Далее: я вовсе не прошу вас обучать меня филологии, а предлагаю выслушать меня.

С этими словами он вытащил из ящика стола небольшой бумажный футляр.

– Ваш брат оставил вам отрезанный им у себя локон. Держите.

Рихард открыл футляр и изумленно воскликнул:

– Но ведь это...

Судья снова прервал его:

– Наш разговор окончен. До свидания.

И вытолкал его за дверь.

Рихард едва не проговорился, что врученный ему локон – белокурый, тогда как волосы Эдена были черные.

Выполняя полученный приказ, он поспешил в Вену, Он прибыл на вокзал как раз к утреннему поезду и ехал одновременно с Альфонсиной. Только она ехала в первом классе, а он, бедный, только что выпущенный из заключения узник, – в третьем.

И пока, упоенная мщением, Альфонсина наслаждалась своим торжеством, уцелевший объект ее мести находился всего в нескольких саженях от нее и ломал голову над тремя загадками.

Первая: «Что означает этот белокурый локон? Как понять отождествление имен Эуген и Эден?»

Вторая: «Как могло получиться, что он обязан своим освобождением Альфонсине Планкенхорст?»

Третья: «Где найдет он Эдит? И что будет после того, как он ее отыщет?»

Ни одной из этих загадок он так и не разрешил,

Человек с каменным сердцем отвечает

Проходит день за днем, а убитая горем, потерявшая сына вдова падает ниц перед портретом человека с каменным сердцем. Каждый день снова и снова осаждает она его одной вечной мольбой:

– Не забирай у меня другого сына!

Эта борьба с портретом стала ее навязчивой идеей. А лицо на портрете все так же бессердечно, так же безмолвно. И газеты все еще полны раздирающими сердце строками. В них слышится и траурный колокольный звон, и барабанная дробь, – словно нисходят с хмурого неба все новые и новые вести.

Однажды вечером, после прохладного и дождливого летнего дня, вся семья вновь собралась вместе. Необычные для июля холода наступили на венгерской равнине, и в комнате затопили камин. Вдруг в передней снова послышались размеренные шаги, какими ходят военные, заставившие Джаянта вскочить со своей подстилки. В комнате, как и в первый раз, появился гость, который не стучит в дверь и не спрашивает разрешения войти.

Это был тот же самый жандарм, что принес им недавно письма Енё.

У него – все то же деревянное, ничего не выражающее лицо солдафона, и не видно на нем ни следа каких-либо эмоций.

– Вот письмо для госпожи Казимир Барадлаи. Новое здание, второй корпус.

Все вздрогнули и встали. Этот жандарм – зловещий вестник смерти.

Женщина, к которой он обращался, пошатнулась и, почти безумев, приблизилась к нему, протянула трясущиеся руки за письмом. Потом подняла их к лицу, словно желая прикрыть его, чтобы не видеть то, что он ей протягивал.

– Прочти! – обратилась она к Аранке, подавая ей письмо, а сама бессильно упала в кресло.

Аранка словно приобрела печальную привилегию на оглашение страшных писем.

Она взломала сургучную печать, вскрыла конверт, вытащила из него письмо. И наконец прочитала:

«Мать, я свободен!
Рихард».

Мать не поверила услышанному. Ей надо было самой увидеть эти строки.

Выхватив листок из рук невестки, она поднесла его к глазам.

Да, это его почерк! Его письмо!.. Он жив, жив! Он пишет! Он свободен! Явь это или сон?

И, не выпуская из рук письма, она кинулась в свои покои. Присев на кушетку, над которой висел портрет мужа, она, рыдая, вновь и вновь перечитывала лаконические строки. Потом подняла письмо к портрету, всегда смотревшему на нее в упор, как бы требуя, чтобы и он прочитал послание Рихарда. И в заключение поцеловала руку на портрете. Ту, что простила, ту, что больше не карала.

Ходатай, который еще ребенком столько раз ходил от отца к матери, когда между ними возникали споры, и умолял их примириться, теперь там, наверху. И он вновь примирил их!.

Жених

Совершенно спокойно, с веселым видом человека, пришедшего навестить старых знакомых, вошел Рихард в гостиную дворца Планкенхорст.

Он не заметил появившегося на лицах обеих дам выражения величайшего испуга, словно перед ними предстало привидение. Он видел лишь радость, с какой кинулась к нему доведенная до отчаяния Эдит. Самозабвенно, с неземным упоением упала она к нему на грудь, обхватила руками шею Рихарда, изо всех сил порывисто прижала к себе его голову, повторяя задыхающимся от счастья голосом:

– Рихард, милый Рихард!

Теперь она уже была в состоянии заплакать.

Понадобилось некоторое время, пока все присутствующие пришли в себя от столь бурного взрыва чувств, пока руки Эдит освободили шею возлюбленного, а Альфонсина окончательно убедилась, что стоящий перед ней человек – не призрак, а живое существо из плоти и крови.

Но даже перестав прижиматься к груди Рихарда, Эдит уже не отходила от него и крепко держала обеими руками его правую руку, казалось, преисполненная решимости никогда ее больше не выпускать.

Рихард находил это совершенно естественным. Девушка – его невеста, а он, ее жених, как бы воскрес из мертвых. Вполне законная причина для необыкновенной радости и самого бурного ее проявления.

Рихард полагал, что ему известно, отчего так побледнела Альфонсина. Но, право же, совесть его была чиста, ее не отягощала гибель Палвица: ведь между ними произошел честный поединок. Кроме того, Палвиц уже давно не имел никакого отношения к этому дому – корабль и якорь оторвались друг от друга.

Баронесса Планкенхорст раньше других обрела дар речи и поспешила сделать замечание молодой девушке:

– Мадемуазель Эдит! Мне непонятно, как вы могли до такой степени забыться и проявить столь бурный восторг в отношении постороннего мужчины!

Затем она надменно обратилась к Рихарду:

– Что вам угодно, сударь?

Эдит покраснела, села на свое место и с непередаваемым выражением уставилась на сшитое ею траурное платье. А Рихард сделал шаг вперед и с

искренней, непритворной сердечностью обратился к Альфонсине:

– Прежде всего меня привел сюда долг благодарности. Сегодня на рассвете меня приговорили к смерти, и в тот же час я получил помилование. Даровавший мне свободу наместник просил меня выразить благодарность за это освобождение в первую очередь вам. Если бы не ваше заступничество, мне грозило по меньшей мере заключение на пятнадцать лет. Примите же мою искреннюю признательность!

Его слова были подобны удару каблука по голове гадюки!

Он благодарит за свое освобождение ее, Альфонсину Планкенхост! Ей приходится выслушивать слова признательности от человека, чьей гибели, она так жаждала, мы позволили бы ей ожидать вас в течение пятнадцати лет? Нет, о ней уже позаботились, а вас предали забвению. К счастью, Эдит повезло: она обещана другому.

Пораженный Рихард устремил вопрошающий взгляд на Эдит. В ответ на его немой вопрос лицо девушки выразило удивление и растерянность.

– Кто же тот, другой, кому она обещана?

– Вы слишком любопытны. Но я не стану делать из этого тайны. Вы, конечно, помните молодого секретаря, с которым довольно часто встречались на наших прошлогодних вечерах. Теперь он важная персона, губернатор комитата. Для Эдит – это прекрасная партия.

– И Эдит дала свое согласие?

– Не кажется ли вам, сударь, что вы допускаете вольность, называя ее по имени! Для вас она – мадемуазель Лиденвалл! Мадемуазель Лиденвалл отдаст свою руку тому, кого рекомендую ей я.

Тут наконец Эдит потеряла терпение и, вскочив с места, воскликнула:

– Эдит Лиденвалл отдаст свою руку только тому человеку, которого она любит!

Госпожа Планкенхорст прилагала все усилия, чтобы сохранить хладнокровие.

– Оставьте театральные эффекты, мадемуазель Эдит! Ваша запальчивость неуместна. Вы – моя приемная дочь, и закон предоставляет мне право опекать вас.

Но Эдит не хотела больше молчать. Она решила дать отпор, бороться за свое счастье.

– Я больше не желаю находиться под вашей опекой! Лучше уйти в прислуги, тем более, что в вашем доме меня приучили к этому! Но, как работница, как служанка, я вправе сама располагать собою и выйду замуж за того, за кого хочу.

– Поздно, мы уже позаботились, моя милая, чтобы у вас не было

возможности предпринять подобный шаг. Поверьте, вы состоите под весьма надежным попечительством. Все произойдет своим чередом и вполне корректно, вплоть до момента, когда вам придется опуститься на колени перед алтарем. Даже, если вы вздумаете плакать, когда священник будет произносить брачные обеты, – ваши слезы воспримут как обычное состояние невесты во время свадебного обряда.

– Но я не собираюсь плакать! – воскликнула девушка, порывисто выступая вперед. – Я сделаю нечто другое! Если и в самом деле сыщется человек, который вопреки влечению моего сердца, наперекор моей воле, захочет жениться на мне по вашему приказу, я еще накануне свадьбы расскажу ему, что однажды тайком покинула монастырь, темной ночью убежала в военный лагерь к своему милому и половину ночи провела в палатке моего возлюбленного! Меня видели и солдаты на биваке, и маркитантка с улицы Зингер. О моем бегстве к Рихарду знают все монашки обитатели святой Бригитты, знает и сестра Ремигия. Меня подвергли за это жестокому избиению. Вот они, следы плетей на моем плече!

И, отдернув ворот платья, она обнажила плечо. На белоснежной бархатной коже явственно выделялись две розовых полосы – следы ударов плетью.

– Уж не хотите ли вы, сударыня, чтобы эти следы истязаний увидел еще кто-нибудь, кроме человека, из-за которого меня истязали?

Госпожа Планкенхорст онемела от ужаса.

А Эдит продолжала:

– И если после такого открытия все-таки найдется дрянной ничтожный человек, который согласится повести меня к алтарю, я громогласно заявлю всем присутствующим: «Взгляните на этого труса! Ему известно, что, будучи послушницей, его невеста провела целую ночь в палатке своего любовника, и тем не менее он намерен на ней жениться!» А потом, тут же перед алтарем, награжу его такой пощечиной, что он навсегда потеряет охоту лгать в глаза господе богу и его святым.

В своем страстном порыве девушка была необыкновенно хороша. Каждая ее черта дышала негодованием, молнии вспыхивали в ее глазах при каждом слове и жесте. Рихард с восхищением смотрел на это дивное существо.

Как самоотверженно возводит она хулу на себя, навлекает на свою голову позор! Но ведь Рихард отлично знает, что это одни лишь выдумки. И хоть тут есть крохи истины, в целом – все это вымысел. Да, девушка и в самом деле была у него в лагере, но не одна, а с его матерью, и не ради любовных утех, а движимая отчаянием, желая спасти ему жизнь. За это ее

и били, хлестали плетью! Истязали родное хрупкое тело! Кто же на всем мы позволили бы ей ожидать вас в течение пятнадцати лет? Нет, о ней уже позаботились, а вас предали забвению. К счастью, Эдит повезло: она обещана другому.

Пораженный Рихард устремил вопрошающий взгляд на Эдит. В ответ на его немой вопрос лицо девушки выразило удивление и растерянность.

– Кто же тот, другой, кому она обещана?

– Вы слишком любопытны. Но я не стану делать из этого тайны. Вы, конечно, помните молодого секретаря, с которым довольно часто встречались на наших прошлогодних вечерах. Теперь он важная персона, губернатор комитата. Для Эдит – это прекрасная партия.

– И Эдит дала свое согласие?

– Не кажется ли вам, сударь, что вы допускаете вольность, называя ее по имени! Для вас она – мадемуазель Лиденвалл! Мадемуазель Лиденвалл отдаст свою руку тому, кого рекомендую ей я.

Тут наконец Эдит потеряла терпение и, вскочив с места, воскликнула:

– Эдит Лиденвалл отдаст свою руку только тому человеку, которого она любит!

Госпожа Планкенхорст прилагала все усилия, чтобы сохранить хладнокровие.

– Оставьте театральные эффекты, мадемуазель Эдит! Ваша запальчивость неуместна. Вы – моя приемная дочь, и закон предоставляет мне право опекать вас.

Но Эдит не хотела больше молчать. Она решилась дать отпор, бороться за свое счастье.

– Я больше не желаю находиться под вашей опекой! Лучше уйти в прислуги, тем более, что в вашем доме меня приучили к этому! Но, как работница, как служанка, я вправе сама располагать собою и выйду замуж за того, за кого хочу.

– Поздно, мы уже позаботились, моя милая, чтобы у вас не было возможности предпринять подобный шаг. Поверьте, вы состоите под весьма надежным попечительством. Все произойдет своим чередом и вполне корректно, вплоть до момента, когда вам придется опуститься на колени перед алтарем. Даже, если вы вздумаете плакать, когда священник будет произносить брачные обеты, – ваши слезы воспримут как обычное состояние невесты во время свадебного обряда.

– Но я не собираюсь плакать! – воскликнула девушка, порывисто выступая вперед. – Я сделаю нечто другое! Если и в самом деле сыщется человек, который вопреки влечению моего сердца, наперекор моей воле,

захочет жениться на мне по вашему приказу, я еще накануне свадьбы расскажу ему, что однажды тайком покинула монастырь, темной ночью убежала в военный лагерь к своему милому и половину ночи провела в палатке моего возлюбленного! Меня видели и солдаты на биваке, и маркитантка с улицы Зингер. О моем бегстве к Рихарду знают все монашки обители святой Бригитты, знает и сестра Ремигия. Меня подвергли за это жестокому избиению. Вот они, следы плетей на моем плече!

И, отдернув ворот платья, она обнажила плечо. На белоснежной бархатной коже явственно выделялись две розовых полосы – следы ударов плетью.

– Уж не хотите ли вы, сударыня, чтобы эти следы истязаний увидел еще кто-нибудь, кроме человека, из-за которого меня истязали?

Госпожа Планкенхорст онемела от ужаса.

А Эдит продолжала:

– И если после такого открытия все-таки найдется дрянной ничтожный человек, который согласится повести меня к алтарю, я громогласно заявлю всем присутствующим: «Взгляните на этого труса! Ему известно, что, будучи послушницей, его невеста провела целую ночь в палатке своего любовника, и тем не менее он намерен на ней жениться!» А потом, тут же перед алтарем, награжу его такой пощечиной, что он навсегда потеряет охоту лгать в глаза господу богу и его святым.

В своем страстном порыве девушка была необыкновенно хороша. Каждая ее черта дышала негодованием, молнии вспыхивали в ее глазах при каждом слове и жесте. Рихард с восхищением смотрел на это дивное существо.

Как самоотверженно возводит она хулу на себя, навлекает на свою голову позор! Но ведь Рихард отлично знает, что это одни лишь выдумки. И хоть тут есть крохи истины, в целом – все это вымысел. Да, девушка и в самом деле была у него в лагере, но не одна, а с его матерью, и не ради любовных утех, а движимая отчаянием, желая спасти ему жизнь. За это ее и били, хлестали плетью! Истязали родное хрупкое тело! Кто же на всем свете имеет больше прав разгладить поцелуями эти шрамы, как не тот, из-за кого они получены?

У баронессы Планкенхорст от испуга перехватило дыхание, она буквально окаменела, охваченная неистовой злобой. Все это было так неожиданно, так неслыханно, что казалось непостижимым, превосходило всякое воображение, обрушилось на нее невероятной тяжестью, Которая вконец надломилась ее душевные силы, гордыню и волю.

Она поняла, что сладить с этой девушкой ей не удастся, Эдит сильнее

всех их вместе взятых. Они – лишь демоны, тогда как она воплощение сонма ангелов!

И все же баронесса предприняла еще одну попытку повернуть вспять неотвратимую судьбу. Теперь она напала уже не на Рихарда, а на Эдит.

– Несчастное создание! – завопила она, складывая руки и возводя сверкающие очи горе. – Как могла ты до такой степени забыть! Да известно ли тебе, какому ветреному соблазнителю отдаешь ты себя в жертву? Ты воображаешь, что этот человек принадлежит лишь тебе, а у него имеется дама сердца, которой он обязан отдать свое имя у нее перед тобой есть законное преимущество, и она прогонит тебя, посмеется над тобой.

– Вы говорите обо мне, сударыня? – спросил пораженный Рихард.

– Да! Неужели вы посмеете отрицать, что содержите в Пеште ребенка, заботитесь о нем, ухаживаете за ним, любите и лечите его? Вы постоянно о нем справляетесь и опекаете его. Попробуйте отрицать это, если у вас хватит смелости!

Госпоже Планкенхорст казалось, что этим ударом она уничтожила, наголову разбила Рихарда. Она торжествовала победу, как трус, одержавший верх над противником, благодаря своему коварству.

– И вы хотите, сударыня, вмешать в наш тяжкий спор даже невинное дитя? – незлобиво и горестно промолвил Рихард.

– Дитя-то невинно, но его родители виновны, – изрекла баронесса, указывая пальцем на Рихарда.

– Хорошо, сударыня, – заговорил он, – я расскажу вам печальную историю этого несчастного ребенка. Однажды в бою я смертельно ранил доблестного противника. Воин, которого постигла роковая судьба от удара моей сабли, призвал меня в свой смертный час и поведал, что у него есть сын, которого он давно разыскивал и наконец напал на след. Мальчика бросила его собственная мать. Воин завещал мне разыскать ребенка. Я дал ему клятву, что сделаю это и позабочусь о мальчике, как если бы он был сыном моего родного брата. Я долго искал его и нашел в крайней нужде, среди ужасающей нищеты. Участь его была горше, чем участь бездомной собаки. О, если бы его мать видала в каких условиях находился ее ребенок, как он там мучится!

Альфонсина Планкенхорст остановившимся взором смотрела на говорившего.

– Я нашел ребенка в темной конуре без окон, почти ослепшим, смертельно больным. Он лежал совершенно голый, на грязном ложе, прикрытый каким-то рубищем.

Альфонсина вся дрожала как в лихорадке.

– Я забрал несчастного сироту с собой и заменил ему родного отца, чье имя – Отто Палвиц.

Альфонсина кинулась на софу и зарылась лицом в подушки. Обезумев от страха, госпожа Планкенхорст попятилась назад, к дочери, стараясь прикрыть ее собой.

Она побледнела и не отрывала от Рихарда полных ужаса глаз.

А он, не меняя тона, продолжал:

– Все бумаги, удостоверяющие происхождение ребенка, находятся в моих руках. У меня же – метрическое свидетельство и все письма его матери. Я могу немедленно предъявить эти документы тому, кто ими заинтересуется.

Госпожа Планкенхорст дрожала с ног до головы, у нее подгибались колени, словно под тяжестью непосильной ноши.

– ...Но, – и Рихард гордо вскинул голову, – я обещал своему погибшему противнику, что, став отцом для ребенка, никогда и никому не открою имени его матери. Я дал слово дворянина. А так как продолжаю им быть в собственных глазах и поныне, то не назову этого имени и вам.

Вздых облегчения вырвался из груди госпожи Планкенхорст: сдавившая ее горло рука разжалась.

А Эдит подошла к Рихарду и с ангельской кротостью – Чей бы ни был этот ребенок, раз вы дали слово стать для него отцом, я буду ему матерью!

С этими словами она склонила голову на плечо Рихарда и крепко прижалась к его груди.

Потерпевшая крушение, поверженная во прах, баронесса высоко подняла над головой руки, как бы предавая их обоих проклятию, и дрожащим от негодования голосом прохрипела:

– Так забирай же ее с собой во имя владыки ада – сатаны и всех его присных!

.....

А Эдит и Рихард испытывали между тем райское блаженство.

Comedy of errors [\[154\]](#)

– Ну, а теперь куда?

Этот вопрос задал Рихарду поджидавший внизу извозчик, когда молодой человек под руку с Эдит торопливо спустился на улицу.

Вот он, самый трудный вопрос: куда же теперь?

– Здесь ни у меня, ни у тебя нет никого из знакомых или родных, к кому бы я мог отвезти тебя до дня нашей свадьбы. А отлучаться из Вены мне нельзя.

– В таком случае вези меня к себе, – сказала девушка. – Разве я не была уже с тобой в лагере? День станем проводить вместе, а вечерами будем говорить друг другу: «Спокойной ночи».

– И меч принца Сейф Аль-мулука будет лежать между нами.

Названный герой одной из сказок Шехерезады, везя домой невесту, оказался о ней вдвоем на плоту; когда приходило время ложиться спать, он клал между собой и девушкой вынутый из ножен меч.

В жизни все происходит далеко не так, как на сцене, где достаточно чету влюбленных благословить или про» клясть, толкнуть молодых людей друг другу в объятия или соединить их руки, и дело копчено.

В жизни, однако, не обойтись без священника.

После драмы приходит черед комедии в трех актах, – comedy of errors, комедии ошибок.

Казалось бы, для будущих супругов, для жениха и невесты, на вопрос «Куда теперь?» проще всего отве» тить: «Прямехонько к священнику». Но легко сказать «прямехонько», ведь к нему так просто не пойдешь!

Прежде всего предстояло снять две смежные комна» ты в гостинице «Венгерский король» – одну для Эдит, другую для Рихарда. Затем еще много дней надо было произносить через закрытую дверь ласковые слова, называть друг друга милым, единственным дружкойм, посылать через ту же дощатую дверь воздушные поцелуи. И все это время между ними лежал меч принца Сейф Аль-мулука.

Ибо обряду бракосочетания предшествует множество формальностей.

Сначала венский священник должен три раза подряд огласить в церкви имена жениха и невесты, которые задумали вступить в брак. И не в будничные дни, не подряд, а непременно в воскресенье. Только в воскресный день принято делать оглашение.

Затем понадобится справка от немешдомбского священника, что им

также произведено трехкратное оглашение.

Кроме того, немешдомбский священник должен выдать еще и свидетельство, разрешающее члену его паствы вступить в брак в Вене, потому что, с одной стороны, там проживает невеста, а с другой – жениху не дозволено оттуда выезжать.

Однако настоящего священника в Немешдомбе нет: прежний умер, и его заменяет теперь капеллан. А разрешение, выданное капелланом, считается действительным лишь в том случае, если его уполномочил на это викарий. Следовательно, надо обратиться к викарию.

А вдруг викарий сочтет свое согласие излишним, не предусмотренным каноническим законом, и, желая показать, что венский священник – ему не указ, возьмет, да и вовсе не даст капеллану нужных полномочий!

В итоге, Рихард придет к такому заключению: хотя обряд бракосочетания и установлен господом бегом, но самый ритуал его выдумал не иначе, как сам черт!..

А между тем всем перечисленным дело далеко не исчерпывается.

Закон еще захочет знать, что думают по поводу предполагаемого брака родители и опекуны. И, надо сказать, что в этом вопросе возможно множество осложнений. Для вступающего в брак католика согласие опекуна не имеет существенного значения, ибо опекун или родители не обязаны непременно выдать девушку замуж. Протестанты, те обязаны это сделать, а потому требуется получить их разрешение.

И все это нужно подтвердить священнику справками, заявлениями, свидетельствами и прочими мудреными документами.

Но, быть может, это все, и любящие сердца затем уже могут соединиться?

Куда там!

Только тут и начинаются бесконечные споры. Спорят о том, имеет ли право священник допускать в церковь венчать двух молодых людей, если жених, веруя в святую троицу, молится богу в церкви с Брестом на шпигеле колокольни, а невеста – в церкви со звездой на макушке. Венский священник утверждает, что это – недопустимо, а гражданский кодекс – что это дозволено.

Венский священник соглашается венчать их только в том случае, если жених официально откажется от своих законных прав, в силу которых одна половина его будущих потомков сможет ходить молиться в одну церковь, а вторая половина – в другую, и даст обязательство, что все они, сколько бы их не появилось на свет, будут принадлежать к одному вероисповеданию.

Наконец жених приходит в ярость и принимает решение немедленно

отправиться к развину, чтобы вместе с невестой перейти в иудейскую веру.

Тогда священник говорит ему:

– Ладно, черт с вами, приходите, я вас обвенчаю. Только благословлять все же не стану.

И где-нибудь на квартире, держа трубку во рту, он протараторит установленную формулу.

– Ну вот, теперь вы – муж и жена. Можете идти.

А не проще ли было начать прямо с этого?!

Сразу же после своего освобождения Рихард написал письмо матери, сообщив ей все. Письмо содержало небезынтересный рассказ о том знаменательном дне: утром – смертный приговор, вечером – встреча с невестой, а в промежутке – помилование и предание анафеме.

Прошло не меньше недели, пока пришел ответ, – письма в ту пору подвергались тщательной цензуре.

Письмо было очень коротким; в нем выражали радость по поводу освобождения, одобряли женитьбу и сообщали о том, что в самые ближайшие дни в Вену приедет управляющий именем, который лично передаст все остальное.

Рихард с нетерпением ожидал этого приезда.

К его величайшей радости, управляющий явился в сопровождении супруги и сразу же заявил, что намерен поселить жену вместе с мадемуазель Эдит до дня бракосочетания. Ведь бедняжку некому было даже одеть в подвенечное платье. И, конечно же, еще будучи в Пеште, управляющий приобрел и подвенечное платье, что было весьма кстати, так как, покидая дом Планкенхорст, Эдит не взяла с собой никаких вещей. Затем славный старик передал Рихарду обо всем, что за это время произошло дома, о роковой ошибке, случившейся в результате путаницы имен. Наконец Рихард понял, что означал белокурый локон. Бедный юноша! Живой, он не был так дорог брату, как стали дороги теперь ему эти несколько его волосков. «Он выдал себя за старшего брата!»

Управляющий сообщил также о домашних новостях. Госпожа Барадлаи сама собиралась приехать в Вену, чтобы присутствовать на свадьбе Рихарда. Но когда она возбудила ходатайство о выдаче ей паспорта, – ведь сейчас требуется паспорт даже для поездки в соседнее село, – ей ответили, что она интернирована в Немешдомбе И выезжать ей оттуда не разрешается. Тогда решила ехать на свадьбу молодая госпожа, но у нее заболел сынишка, и его нельзя оставить. Что касается господина Эдена, то у того достаточно веские причины не показываться в Вене. Вот

как вышло, что приехали лишь управляющий в качестве шафера и его жена в качестве подружки невесты.

Но Рихард несказанно обрадовался и этому.

Управляющий сообщил также, что власти наложили арест на все их имущество. Правда, это незаконно: они имеют право лишь на то, что принадлежит двум сыновьям, а долю третьего обязаны освободить от конфискации. Но правды добиться нелегко, и пока все доходы, откуда бы они ни поступали, приходится вносить в казну, а она уж выделяет кое-какие средства на содержание семьи, выдавая их ежемесячно под квитанцию. Так что молодому барину придется жить экономно, сообразуясь с обстоятельствами.

Рихард нашел, что это еще не самое страшное. Ведь власти сохранили ему жизнь, и не приходится жаловаться на то, что они отняли у него состояние. На все божья воля... По крайней мере так учат в школе.

Главное, что он все-таки разыскал в конце концов хвою любимую.

Вам следует знать, что чета брачующихся – это два злоумышленника. Сначала родители и опекуны держат молодых людей под строгим полицейским надзором. Затем их хватают, терзают, связывают, допрашивают и, наконец, венчают. В заключение – церковь приговаривает их к смерти, дабы они вернее заслужили рай.

Так или иначе, пройдя все эти мытарства, Рихард обрел настоящий рай.

Ключ к разгадке их страданий

Обретя рай, Рихард нашел, однако, что надо же когда-нибудь спуститься на землю, и принялся посвящать свою юную жену в земные дела.

– Известно ли тебе, моя милая женушка, что мы о тобой – очень бедные люди?

Но Эдит лишь посмеивалась над его словами:

– Какие же мы бедные, раз я владею тобой, а ты – мной!

– Это, конечно, не меньше двух миллионов! Только без процентов. Нам придется сократить свои расходы. Знаешь ли ты, в какой сумме выражается наш ежемесячный доход? Сто форинтов – это все, что я могу получить от матери. Теперь она и сама терпит нужду.

– Даже не представляю себе, на что можно истратить такую сумму! Это же уйма денег!

– Должен откровенно тебе признаться еще в одном: даже и они не принадлежат нам целиком. Здесь в городе у меня есть кое-какие давние долги чести. Правда, мелкие, – то, что я задолжал разным честным мастерам и поставщикам. В прежние благодатные времена это было бы сущим пустяком, не идущим даже в счет. Но сейчас и они для нас – тяжелое бремя. Я не могу причинить ущерб бедным людям и намерен расплатиться с ними, выделив для этого половину нашего месячного содержания.

– С твоей стороны, это будет очень хорошо. На пять-, десять форинтов можно жить по-царски. Я буду готовить сама и ограничусь двумя блюдами. Увидишь, какая я отличная повариха! Придется держать только приходящую служанку для мытья посуды. Таким образом, мы отлично будем сводить концы с концами.

– Все это ненадолго. Я не стану зря терять времени, поищу себе место где-нибудь на железной дороге или в какой-нибудь канцелярии и заработаю недостающую сумму.

– Знаешь что! Давай ограничимся одним блюдом Г И служанки мне не надо, помою посуду и сама. Зато ты сможешь оставаться дома, со мной. Не ищи себе никакой службы!

Рихард расцеловал свою милую жену и передал ей пятьдесят форинтов. Пусть попробует вести хозяйство на эти деньги.

Взяв бумагу и карандаш, юная хозяйка начала подсчитывать стоимость продуктов, после чего обнаружилось, что у нее будет еще оставаться

каждый месяц по пятнадцать форинтов – в уплату за жилье и на прочие покупки.

– Чудесно! Однако подыскать работу мне все-таки придется. Ведь нас пока двое, но впоследствии непременно прибавится третий.

– Да будет тебе! Ты все шутишь...

– А тебе вовсе не обязательно краснеть, нас ведь и теперь уже трое. Должны же мы взять к себе сына Отто Палвица.

– Ты прав. В таком случае ищи должность. Я тоже могу кое-что заработать шитьем.

– Ну нет, этого я не допущу. Моя жена портнихой не будет. Лучше я возьму еще работу.

– Ни за что! Чтобы ты уходил на целый день! Давай лучше оба трудиться.

И они решили поделить все тяготы жизни, как делят ее радости.

Рихард испросил у жены разрешение отлучиться на несколько часов для поисков работы. Эдит предоставила ему этот отпуск, но с условием, что он непременно возвратится к часу дня: она будет ждать его с обедом.

Для стряпни в ее распоряжении имелась всего одна кастрюля, а плитой служила находившаяся тут же, в комнате, шведская печь. В этой посуде Эдит сварила сначала суп. Перелив его в миску и поставив возле огня, чтобы суп не остыл, она приготовила подливку к мясу. Чашка с перелитым в нее соусом тоже стояла в сторонке. Затем в кастрюле было поставлено тесто.

Все получилось на славу – просто и вкусно. Когда, ровно в час, Рихард вернулся, он нашел обед очень вкусным и уничтожил его с волчьим аппетитом.

– Лучше никогда не обедал и сам император!

Поговорка эта, бытовавшая в народе, вовсе не говорила о недостаточном почтении к династии. Она служила похвалой стряпне красавицы.

И до чего же радуются женщины такой похвале! Начисто вытертая корочкой тарелка – лавровый венок для стряпухи.

– Разве не превосходный получился обед! И обошелся всего в тридцать пять крайцаров!

– Так вкусно есть мне доводилось не каждый день даже в те времена, когда меня величали «его высокоблагородием»! Особенно при поварских ухищрениях господина Пала, царствие ему небесное.

Рихард вполне заслужил свой вкусный обед. Его поиски увенчались успехом. Он нашел себе службу на машиностроительном заводе с окладом

пятьдесят форинтов в месяц, а это в его положении было немало.

Русский царь Петр I, нанявшись однажды поденным рабочим, купил на заработанные деньги головку сыра и, отнеся его царице Екатерине, с величайшей гордостью заявил:

– Вот видишь, я смог бы тебя прокормить, если бы даже не был царем!

Заходил Рихард и в другие места. Между прочим, побывал он и у антиквара Соломона с улицы Порцеллан и попросил этого добряка уладить его денежные дела: взять их в свои руки и договориться с кредиторами. Правда, его долги составляли несколько тысяч форинтов, но, быть может, кредиторы все же согласятся на их погашение частями. Им будет уплачено все до последнего филлера.

Старый Соломон обещал прийти к Рихарду между часом и двумя: в это время он обычно запирает свою лавку.

Старик оказался весьма точным. В половине второго у дверей послышались его шаркающие шаги.

Эдит вытирала вымытую после обеда посуду. Окна были распахнуты настежь, чтобы можно было как следует проветрить единственную комнату, одновременно служившую и кухней.

– Ах вы, моя красавица! – отвечивая глубокие поклоны, рассыпался в комплиментах старый лавочник. – Разрешите поцеловать ваши прекрасные ручки. Очень приятно приложиться к таким старательным ручкам. Мне это куда милее, чем целовать пальчики, которые только помахивают веером. О, вы живете тут совсем недурно. Чуть тесновато, зато друг возле друга. Сдается, вам еще не наскучило такое уединение, по крайней мере секреты между вами невозможны! Тесное жилье имеет свои преимущества, здесь не приходится долго искать своего милого дружка. И потом, как говорится, в тесноте, да не в обиде! Ниспошли вам господь свое благословение... Итак, господин подполковник... Виноват, для меня вы всегда останетесь господином подполковником, а моих слов никто посторонний не услышит. Если разрешите, приступим к делу, ради которого вы приказали мне явиться. Займемся-ка нашими выкладками. Если в доме только один стул, пожалуй, я могу и постоять.

Однако нашелся и второй стул. Его использовали в качестве буфета. Для двоих молодоженов было вполне достаточно одного сиденья: Рихард сидел на стуле, а Эдит устраивалась у него на коленях! Изобретение, право же, достойное подражания!

– Итак, господин подполковник, начнем с начала. Уверен, что хозяйюшке разговор наш не покажется скучным, ведь вы живете с ней душа в душу.

Лавочник вытащил из кармана завернутый в бумагу мел.

– Прежде всего, будьте так добры, соизвольте продиктовать мне, кому вы задолжали.

На подобные вещи у Рихарда была отличная память. Он помнил всех своих кредиторов, свой самый ничтожный долг. А Соломон чертил мелом по столу, записывал одну цифру за другой.

– Сумма внушительная, деньги немалые, – проговорил он, приподняв брови и сдвигая при этом свою круглую шапочку на затылок. – Слишком даже большая сумма! Гм, гм...

Взяв и понюхав щепотку табаку, он протянул черную табакерку Эдит. Та поблагодарила, но отказалась. Она не употребляла табак.

– Ничего, привыкнете, если муженька часто не будет дома. Все хорошие жены привыкают к табаку, что доказывает их верность мужьям. Но это в будущем... Так вот, господин подполковник. Как я полагаю, вы наделали эти долги, когда были еще несовершеннолетним.

– Но я всегда был честным человеком!

– О, это уже достаточно веский довод, его следует принять во внимание: «Моя честь, дескать, никогда не была малолетней!» Видите, сударыня, какой человек ваш супруг? Расточительный малый. Ценит свою честь дороже двух тысяч форинтов. Не стоит любить его!

Эдит только рассмеялась в ответ и поцеловала Рихарда.

– Ну хорошо, господин подполковник. Однако существует еще и распространенный, так сказать, общепринятый обычай. Он называется «Vergleichsverfahren» – что означает «заключить сделку с кредиторами». Человек договаривается с ними об уплате определенного процента долга. Кредиторы идут на уступки, довольные, что им возместят хотя бы часть денег, которые они считали окончательно потерянными. Это – вполне порядочная сделка.

– Но я на нее не пойду. Только форинт за форинт: отдам столько, сколько мне давали. Я не вправе отнять ни гроша у бедных людей, положившихся на мою честность, поверивших моему слову. Из своей чести я не уступлю ни процента! Лучше буду терпеть лишения.

– Неисправимый человек. А между тем сами рассудите – ведь у вас семья, вам должны приходиться в голову более практичные мысли... Ну хорошо, так и быть, считайте, что я ничего не сказал. Будь у вас сейчас на боку сабля, воображаю, как бы вы ею бряцали! В таком случае извольте теперь изложить, как мы будем все это выплачивать? Из каких источников станем погашать долги?

Соломон начертил мелом на столе две графы. Над заполненной уже

графой он написал «Soll»^[155] над пустой – «Haben».^[156]

– Во-первых, я буду получать от матери сто форинтов в месяц и половину из них обращаю на погашение долгов.

– Половину? А сударыня согласна?

– О да! – поспешила ответить Эдит.

Соломон внес указанную сумму в рубрику «Haben».

– Во-вторых, мне будут ежемесячно платить пятьдесят форинтов за работу на машиностроительном заводе. Из них одна половина тоже пойдет на долги, другая – моей жене для покупки одежды.

– К чему мне эти деньги? – поспешила вмешаться Эдит. – Наша добрая матушка подарила мне столько платьев, что их никогда не сносить. Обратите на погашение долгов всю сумму целиком.

Она упорно настаивала на своем до тех пор, пока Соломон не записал все пятьдесят форинтов в графу «Haben».

Но тут старый антиквар засучил до локтей рукава, словно собирался заняться чем-то очень важным, и изрек:

– Прибавим сюда также приданое мадемуазель Эдит Лиденвалл. Триста тысяч форинтов серебром.

И он жирно вывел: 300 000 форинтов.

Молодожены с изумлением уставились на него, не понимая, к чему такие шутки.

Тогда старик поднялся с места и взял молодых людей за руки.

– Сударыня! И вы, сударь! Желаю вам взаимного счастья, вы достойны друг друга! То, что я сейчас сказал, – Я сказал совершенно серьезно. А теперь узнайте наконец всю тайну злоключений, которые вам пришлось до сих пор пережить. Прощу вас сесть рядом со мной.

На один стул, как вы обычно делаете. Мне приятно любоваться вами.

– То, что вам пришлось пережить, – продолжал Соломон, – было не случайно. Вопрос шел о большой ставке, о целом капитале! Не верьте, что кто-то поступает дурно только потому, что ему это нравится. Чаще всего поступают так потому, что это может принести крупные проценты. Очень многие люди придерживаются таких взглядов. Я лично противник этого. По-моему, выгоднее быть честным. Сейчас я это докажу вам, только позвольте мне рассказать все по порядку. У вас, сударыня, был дядюшка Альфред Планкенхорст, богатый старый холостяк. Человек своеобразный и очень гордый. Я хорошо его знал, так как был его банкиром, ведал его доходами и был посвящен во все семейные дела. Старый барин еще при жизни составил завещание, по которому все состояние, венский дворец и деньги переходили к его племяннице, госпоже Планкенхорст, и к ее дочери.

Но барон прожил очень долгую жизнь. Люди обычно живут до глубокой старости, если они богаты. За это время молодая девица настолько преуспела в своих любовных делах, что оказалась не в ладу с приличиями; произошло недоразумение – на языке адвокатов это называется: «начать процесс прямо с исполнения». Именно это с ней и произошло. Такие истории случаются довольно часто. Ну, а престарелые бароны к подобным вещам относятся весьма щепетильно. Во-первых, потому, что они люди старые и старомодные, а во-вторых, потому, что они бароны. Альфред Планкенхорст написал новое завещание. Разыскал сироту, дочь одного из своих дальних родственников, мадемуазель Эдит Лиденвалл, и поручил ее воспитание Планкенхорстам. А в новом завещании было сказано:

«Если Альфонсина Планкенхорст вступит в законный брак и подобающим ее положению благочестием заставит всех позабыть о содеянном ею греховном проступке, она получит половину денежного капитала. А Эдит Лиденвалл, выйдя замуж за честного человека, получит другую его половину. В случае, если Эдит Лиденвалл вступит в брак первой, весь капитал будет принадлежать ей. Если же она останется незамужней, уйдет в монастырь или совершит непростительный, противоречащий добрым нравам проступок, весь капитал достанется обители святой Бригитты, а дамы Планкенхорст могут лишь пожизненно довольствоваться процентами с него».

Об этом завещании никто не должен был знать, кроме меня, человека, которого он уполномочил выполнить его волю. Однако писавший завещание личный секретарь барона выболтал тайну дамам Планкенхорст, и они все знали. Теперь оглянитесь назад и обдумайте с начала до конца все происшедшие с вами события, от первой вашей встречи до недавнего изгнания. Все станет вам ясно. Вспомните, как вас заперли одних в покинутой квартире. Как хотели убить Рихарда Барадлаи, считавшегося женихом мадемуазель Лиденвалл. Как пытались довести до отчаяния Эдит, чтобы заставить ее надеть вуаль монастырских девственниц. Как натравили разъяренную, взбунтовавшуюся чернь на монастырь, где находилась мадемуазель Лиденвалл. Как наточили топор палача для жениха Эдит. Ради чего все это предпринималось? Исключительно ради денег! Дьявол прилагает старания только тогда, когда уверен в стопроцентном барыше!.. Все это я видел, знал, внимательным оком наблюдал за происходящим. О, мы – простые, незаметные люди – обладаем хорошим чутьем. Проникаем

нашим взором всюду – и в дома и в сердца. Даже в карманы! А ведь карман – орган едва ли не самый чувствительный. Ему служит каждая жилка, каждый нерв. Мое открытие должно укрепить вашу веру в человечность. Люди не бывают скверными просто так, ради пристрастия к злу. Говорят, будто у сатаны – злобная душа; нет, она у него – просто алчная. Не рассчитывай он извлечь для себя пользу, он не творил бы ничего дурного, а просто лежал бы себе в преисподней, предаваясь праздности и лени. Его первым дурным движением был корыстный расчет. Заставляя нашу прародительницу отведать от запретного плода, он прикидывал в уме: если на свете будут существовать только два человека, мне от этого будет мало пользы, придется прозябать в бедности. А вот если их народятся тысячи и миллионы, тогда и мне перепадет кое-что. Я все-таки сужу о дьяволе иначе, чем другие, он тоже имеет право на жизнь: *Leben und leben lassen*.^[157] Но раз так – пусть довольствуется своей рентой! Жилье у него просторное, топливо имеется в избытке, а это уже немало!.. Дамам Планкенхорст остается дом в центре города – весьма приличное владение. Впрочем, судя по всему, они лет за десять окончательно промотают свое состояние. Но, господи, такие ли нынче времена, чтобы еще думать о будущем! Те, кто срывает цветы жизни и содержит балерин, позаботятся об Альфонсине. Не станем завидовать ее счастью. С нас достаточно и своего собственного; ведь его столько в нашей душе, что оно не уместится даже в этом огромном зале!.. Ну как, господин подполковник и госпожа подполковница, довольны ли вы положением ваших дел?.

Через двадцать лет

Наше повествование подходит к концу. Остается лишь подвести итоги, рассказать – кто погиб, кто выжил.

Рихард Барадлаи воспитывал сына Отто Палвица как собственного ребенка.

Маленький Карл был смышленным, восприимчивым мальчуганом. Правда, несколько своенравным и упрямым, но такие черты можно надлежащим воспитанием смягчить и направить в нужную сторону.

– Я и сам в его годы был таким же своевольным сорванцом, – не раз оправдывал его Рихард.

Со временем у Карла появились братья и сестры, но никто никогда не делал в семье Рихарда разницы между родными детьми и приемышем.

Мальчик часто болел; он долго не мог оправиться после бедствий первых трех своих младенческих лет, и Эдит приходилось ночи напролет просиживать у его кровати. Карл очень полюбил своих приемных родителей.

Однако, когда ему исполнилось двенадцать лет, его поведение неожиданно и резко изменилось к худшему.

Он не желал больше учиться и постоянно досаждал своему наставнику, проявлял жестокость в отношении остальных ребятишек, не упускал случая что-нибудь сломать в доме, все делал наперекор старшим.

Рихард уверял, что это – обычное явление для отроческого возраста, что каждый малыш в определенном возрасте становится несносным постреленком. Это – такой же кризис, как в период прорезывания зубов. Не выбрасывать же младенца в окошко только потому, что он целый день капризничает, когда у него режутся зубки!

Но Карла и не пришлось выбрасывать в окно, он сбежал сам. Причем прихватил с собой на расходы кое-какие попавшиеся ему под руку серебряные вещицы.

Рихард отправился на розыски и обнаружил подростка в каком-то притоне. При нем уже не было ни серебра, ни взятого с собой платья. Теперь на мальчике мешком висела какая-то рваная и грязная одежонка. Карл уверял, что другую, более приличную, у него украли.

Рихард привез его домой, мягко и терпеливо поговорил с ним, не тронув даже пальцем, не отпугнув от себя ни одним бранным словом. Только запер в шкаф лохмотья, в которых его нашел. При каждой новой

опасности повторения прежних поступков он вытаскивал на свет эти отрепья, показывал их Карлу и говорил:

– Вот все, что ты приобрел в результате своевольного поведения!

Примерно год мальчик вел себя хорошо, но под его внешним смирением смутно угадывалось какое-то коварство. Он явно прикидывался и только до поры до времени выжидал.

В один прекрасный день, когда Рихарду пришлось отправиться в дальний путь, Карл снова исчез. На этот раз он ничего с собой не унес, но в замочной скважине комода, где была спрятана его рваная одежда, торчал обломок ключа. Видимо, мальчик пытался отпереть комод, но ключ не подошел, сломался, и бородка застряла в замке.

Что ж, однако, собирался он делать с этими лохмотьями? Почему по-воровски пытался ими завладеть? Что могло в них скрываться?

Только после этого побега Рихард обратил внимание на спрятанные им отрепья. Обшарив их, он нашел зашитое в подкладке пальто письмоце:

«Твой опекун убил и ограбил твоего родного отца и теперь содержит тебя лишь потому, что его мучат угрызения совести. Твой отец имел крупный чин, был полковником. Его звали Отто Палвиц. Твоя мать – знатная дама из Вены. Тебе надлежало бы сейчас быть настоящим баринком, а не лобызать руку убийцы твоего отца».

Рихард без труда догадался, кто написал это письмо. Лишь одноединственное существо на свете способно было так дьявольски мстить ему через сына Отто Палвица. Именно это письмо нарушило безмятежный душевный покой Карла.

Рихард снова отправился на розыски, надеясь привезти мальчика назад и открыть ему глаза, объяснив, что в этой тайне – правда и что – ложь.

Он продолжал поиски до тех пор, пока не выяснилось, что мальчик сбежал к своей матери.

Как же он к ней добрался? Недаром поговорка гласит: тайна, известная троим, – уже не тайна. Вот почему Карлу Палвицу удалось отыскать путь к матери.

Встретили его там радушно, но длилось это недолго. Мать повела себя так, как можно было от нее ожидать, и определила его юнгой на корабль. Через год Рихард получил от него письмо, полное раскаяния и жалоб. Мальчик рассказывал, как дурно ему теперь живется, последний слуга в доме Рихарда – барин в сравнении с ним. Все над ним измываются, его

бьет каждый, кому не лень. К тому же он еще и голодает. Карл осыпал упреками свою мать, отправившую его в плавание. Пятнадцатилетний мальчик-подросток уже строго судил эту светскую даму, в роскошных апартаментах которой не нашлось места для отрока-сына. Бессердечная Альфонсина выжила из дому даже собственную мамашу. Она уверила всех, будто та лишилась рассудка, и поместила ее в сумасшедший дом! Как же может такая мать обходиться с сыном! Она заморочила ему голову, обещала сделать гардемаринком, сулила ему большое жалование, а на самом деле определила юнгой, простым матросом. Письмо заканчивалось мольбой к Рихарду выволить его из этой адской обстановки, выкупить с корабля. Дальше следовали горячие уверения, что он будет самым послушным сыном и верным слугой Рихарда.

Как говорится: «Окажись в море, и молиться научишься!»

Рихард тут же отправился за Карлом, вырвал его из кабалы, но домой уже не привез. Он поместил его в один из пользовавшихся хорошей репутацией пансионатов и аккуратно вносил за него изрядную сумму.

Однако, как и следовало ожидать, подросток переходил из одного пансиона в другой, и нигде его не могли вытерпеть более полугода. После долгих размышлений Рихард решил опять забрать Карла домой и приложить все силы, чтобы сделать из него достойного человека.

С этого дня он постоянно держал его рядом, у себя в комнате, повсюду брал с собой, делился с ним своими воззрениями и взглядами и старался привить ему свободомыслие и широкий кругозор, надеясь возвысить этим его душу.

И что же! Все попытки привели лишь к тому, что юноша написал на своего приемного отца и опекуна донос, как на опасного врага и предводителя смутьянов.

Как раз в ту пору для борцов за свободу настали скверные времена. Вместе с другими Рихард был привлечен к ответственности. Его арестовали и целых полтора года подвергали всевозможным допросам. Затем все же выпустили, но посоветовали быть поразборчивее в отношении людей, с которыми ему вздумается рассуждать о политике: ведь атмосфера вокруг такая неустойчивая!

Даже после этого Рихард не мог заставить себя осудить своего приемыша, он лишь проклинал текущую в его жилах «материнскую кровь».

Тщетно ломал он голову над тем, как устроить будущее Карла, но тот избавил его от этой заботы: он записался в волонтеры. Наспех наберенный полк именовался добровольческим; туда принимали

всякого, кто хотел.

Из полка Карл снова прислал Рихарду жалостное покаянное письмо; жизнь там пришлась ему не по душе. На этот раз Рихард за ним не поехал. Только послал выкуп – сумму, которую казна взимает с граждан за освобождение от обязанности защищать отечество. Затем Рихард предоставил Карлу возможность самому избрать для себя какой-нибудь честный жизненный путь, пообещав, что за какое бы дело тот ни взялся, он может рассчитывать на его, Рихарда, поддержку.

Юноша выбрал себе карьеру и притом самую достойную! Он получил должность фискала.^[158] Теперь он чувствовал себя превосходно.

Рихард, со своей стороны, постарался получше устроить его судьбу; используя свои связи среди влиятельных особ «конституционной эпохи», он добивался продвижения по службе своего подопечного. И достиг цели. Карл Палвиц проник в сословие чиновников, и видимо, прочно там утвердился.

Правда, у него нередко случались мелкие неприятности денежного характера, но опекун обычно улаживал их, раньше чем дело доходило до скандала.

Так продолжалось до тех пор, пока Карл Палвиц не достиг совершеннолетия.

Однажды утром, когда в длинном зале, именуемом бюро, он вместе со своими коллегами усердно перемножал ряды цифр, вошел столоначальник.

– Послушай, – обратился он к Карлу, – там в передней тебя ожидает какая-то женщина.

– Молодая?

– Не знаю. Твоя область – спирт, возьми спиртометр да измерь.

– Элегантная?

– *Tertia qualitaet*.^[159]

Палвиц вышел к ожидавшей его посетительнице. То была женщина уже не первой молодости. Одетая она была довольно скромно, но с претензией на элегантность.

При появлении Палвица дама неожиданно кинулась ему на шею и расплакалась.

– Полноте, полноте, сударыня, успокойтесь. Надеюсь, я не тот, кого вы разыскиваете.

– Вы Карл Палвиц?

– Да, я.

– Мой сын!

– Черт побери, сударыня! Когда я имел честь видеть вас впервые, у вас был не такой потрепанный вид. Чем могу служить?

– Ах, я очень несчастна.

– Я так и подумал. Но куда девалось ваше счастье?

– Я стала нищей.

– Недурное ремесло, только заниматься им надо умело. Даже подоходным налогом не облагается! А куда же исчез ваш особняк?

– Его забрали злые люди. Кредиторы.

– Проклятые кредиторы! Не надо было заводить с ними знакомства. Но я видел в твоём доме и графов и баронов, – правда недолго, пока ты не отослала меня в море, – что ж, разве и их отняли кредиторы?

– О, стоит очутиться в беде, и никто тебя знать не хочет.

– Вот видишь, сколь мудрым становится человек под конец жизни.

– Мне негде теперь голову приклонить. Вся моя надежда – только на тебя.

– Вот напасть! Для полноты счастья только не хватает, чтобы ты повисла у меня на шее.

– Сын мой! Милый сыночек!

– Пока ты была богата и дела твои шли хорошо, тебе и в голову не приходило говорить мне «сын мой, милый сыночек». Имей в виду, я сам еле свожу концы с концами и не в состоянии дать тебе ни гроша. Насчет того, чтобы ты попрошайничала «in thesi»^[160] я не имею ничего против, но не вздумай клянчить у меня – заранее тебя предупреждаю!

– Не говори со мной так жестоко, ведь я все же твоя мать.

' – Но я не могу отплатить тебе даже тем, чем ты отплатила своей собственной матери, запрятав ее на старости лет в сумасшедший дом! Я не пользуюсь столь большим влиянием.

– Карл, сын мой! Я буду твоей служанкой, стану стирать, стирать, убирать за тобой! Позволь мне только приютиться под твоей кровлей.

– Вот еще! Именно об этом я всегда мечтал! Не дай бог, все эти куруцы пронюхают, что ты – моя мать, а меня и без того здесь не слишком любят. Ты же знаешь, какая у тебя в этой стране репутация? Каждому ребенку известно, что ты натворила. В конце концов и австрийские власти тебя возненавидели. Когда иссякли поводы для ябед, ты принялась измышлять заговоры сама и строчить ложные доносы. Вот тебя и выгнали отовсюду. Теперь же, когда все над тобой потешаются и ненавидят тебя, ты решила заявиться сюда в надежде, что я соглашусь таскать тебя на своей спине! Нет, мне такая обуза ни к чему. Если кто-либо смекнет, с кем я здесь любезничаю, мне конец. Если я дам тебе хотя бы грош, меня сочтут за

легкомысленного мота, и я не смогу претендовать даже на получение пособия на дороговизну. Поэтому я и говорю: поищи себе более состоятельного сына.

Находившийся в то время в передней старый канцелярский служитель не мог смолчать, слыша столь бессердечные речи:

– Эх, сударь! Не следовало бы вам все же разговаривать с матерью таким образом!

Карл Палвиц трусливо покосился на старика. Он был не храброго десятка и не решался дать отпор ни одному настоящему мужчине, кем бы тот ни был.

– Ну хорошо, хорошо. Не к чему нам вести разговор при посторонних. Приходи к двум часам дня ко мне на квартиру, там и потолкуем. Вот тебе адрес.

И, сунув матери свою визитную карточку, он поспешил в канцелярию.

– Кто к тебе приходил? – любопытствовали коллеги.

– Можете себе представить – мамаша!

– И что ты с ней намерен делать?

– В няньки пристрою.

Вскоре в канцелярии опять появился столоначальник.

– Послушай, Палвиц, тебе здорово нынче везет. Тебя искал твой приемный отец.

– Почему же он не вошел?

– Не хотел мешать твоим занятиям.

– А что он принес?

– Деньги.

– Много?

– Целую уйму.

– С такого простака станет. Но сколько все же?

– Около пяти тысяч форинтов. Вот они, держи.

Удивленный Палвиц взял конверт. В нем лежали деньги и записка в несколько строк:

«Карл Палвиц! Вы достигли совершеннолетия, и тем самым пришел конец моему опекунству. В час своей кончины Ваш отец вручил мне все свои наличные деньги. Какова была общая сумма, Вы увидите из расписки принявших их военного командира. Отец Ваш пожелал, чтобы по достижении Вами совершеннолетия я вручил эти деньги Вам. С момента их получения они лежали в банке, и на них нарастали проценты. Теперь я передаю Вам всю

эту сумму. Используйте ее на полезные цели.
Рихард Барадлаи».

– Ого! – воскликнул Палвиц. – Quinterna!^[161] Умер дядюшка из Бразилии! Друзья, обедаем нынче в ресторане Фронера. Будет шампанское и устрицы. Приходите к трем часам угощая всех.

– Даже родную мать? – шепнул ему старый конторский служащий.

– Разумеется!

Захлопнув испещренные множеством цифр книги, Карл схватил шляпу и выбежал из помещения. Никто его не удерживал.

Однако Палвиц, вовсе не собиравшись потчевать своих коллег и свою мамашу шампанским и устрицами. Он помчался прямо домой, уложил чемодан и устремился затем на станцию железной дороги. В это время как раз уходил поезд, направляющийся в Триест. Палвиц, не задумываясь, сел в вагон и ни разу даже не оглянулся.

А одетая в Поношенное платье женщина ровно в два часа явилась на квартиру к сыну, но нашла ее запертой. Человек, у которого Карл снимал комнату, подал ей оставленную для нее визитную карточку. Вот что на ней было написано:

«Сударыня!

Я уезжаю в Америку. Надеюсь, вы туда за мной не потащитесь!

Адье!»

Карточка не была даже вложена в конверт.

Прочитав ее, несчастная женщина тут же у порога рухнула на землю. Душевное и физическое истощение надломили ее силы.

Последнее пристанище эта несчастная нашла в приюте Общественного призрения, организованном «венгерскими патриотками». Несколько самоотверженных женщин, перенесших немало невзгод, решили отплатить судьбе тем, что старались облегчить страдания других.

Мать Карла Палвица попала в это заведение.

Ее доставили сюда в беспамятстве, а когда она пришла в себя, ее начала бить лихорадка. Как раз в это-время в палате появились в сопровождении врача дежурные дамы-патронессы, совершавшие обход приюта.

Врач сообщил им, что вновь поступившая больная страдает тяжелым недугом. Болезнь ее – затяжного характера и может продлиться годы, а

вакантного места за счет общего фонда для нее нет. Что с ней дальше делать, неизвестно. Видимо, придется перевезти ее в городскую лечебницу.

Одна из дам-патронесс отличалась благородной, гордой осанкой. Прекрасное, матово-бледное лицо этой женщины можно было бы назвать моложавым, если бы ее брови, ресницы и волосы не были подернуты серебром. Зато глаза еще и теперь были полны сияния, света и душевной доброты. В шестьдесят лет она являла собою подлинный идеал красоты.

При виде приближавшейся благородной женщины больная вспыхнула, на щеках ее зажглись два огненных пятна. Она узнала госпожу Барадлаи.

– Как зовут больную? – осведомилась у врача дама-патронесса.

Тот шепотом назвал имя. Удивленно взглядевшись в лицо больной, госпожа Барадлаи с сомнением покачала головой и сказала по-французски:

– Этого быть не может. Я очень хорошо знала ту даму. Она была необыкновенно красива.

Женщина, о которой это было сказано, понимала по-французски. Слова госпожи Барадлаи заставили ее побледнеть.

Значит, она до такой степени подурнела, что люди не узнают ее! Такой острой боли не могла бы ей причинить ни одна самая мучительная пытка.

Высокая седоволосая дама подошла к ее постели и, взяв ее за руку, с невыразимой кротостью спросила:

– Давно вы страдаете?

Женщина, к которой был обращен вопрос, не ответила. Только сомкнула веки, словно желая скрыть свою душу, чтобы в нее не проникла другая душа.

– Будьте спокойны, не тревожьтесь за свою судьбу.

Затем госпожа Барадлаи повернулась к врачу.

– Господин доктор! В память о сегодняшнем дне я учреждаю тут новую койку, и пусть за мой счет бедной страдальце будет предоставлен необходимый уход.

Доктор осведомился, почему госпожа считает для себя нынешний день знаменательным.

– В этот день я перенесла прах моего сына Енё с керепешского кладбища в семейную усыпальницу, – произнесла госпожа Барадлаи мягким, спокойным, проникновенным голосом.

– Енё? – удивленно переспросил врач. – Значит мученической смертью погиб не Эден?

– Произошла роковая путаница имен, и Енё поспешил явиться вместо Эдена. Он, самый любимый мой сын, принес себя в жертву ради семьи брата!

Слова о смерти сына уже не источали у нее слез. Теперь эта скорбь наполняла ее гордостью.

– От него осталась лишь горсточка праха да несколько опознанных нами платиновых пуговиц от рубашки, подтвердивших, что это действительно его прах. Тут же оказались и три свинцовые пули.

Госпожа Барадлаи показала одну из них. Она носила ее на черной цепочке на груди. Ее величавое лицо при этом просветлело. И она не плакала.

Зато другая женщина, та, это лежала на больничной койке, во время этого короткого разговора испытала все кошмары и муки ада. Значит, нет надежды, что хотя бы смерть принесет ей желанный отдых, что иной мир станет для нее тихим прибежищем. Даже беспредельное милосердие божие не в силах ей помочь. Потому что, если всевышний и отпустит ее грехи, она сама никогда не сможет простить себе все содеянное!

Седоволосая дама продолжала обход палат. А та, другая, осталась в теперешней своей келье, наедине с никогда не исчезающими призрачными видениями своей больной души.

Эпилог

С той эпохи великой борьбы прошло немало времени. Двадцать лет – пятая часть века, целая молодость!

Молодая поросль – эта весна, юность человечества. Каждая встреча с нею заставляет нас почувствовать то, с чем нам так трудно примириться, чему не хочется верить: что мы состарились.

В крепостном саду Буды пышно зеленеет трава. Она залита ярким солнцем. А на зеленой траве ребенок с улыбающимся личиком играет с белым ягненком. Он надевает веночек из голубых и белых полевых цветов на белую шею ягненка.

Бог милосерд... Он посылает пропитанной кровью земле зеленую траву, зеленеющей траве – белого ягненка, товарищем игр ягненку – кроткого, невинного ребенка. А многострадальному венгерскому народу он дарует целительный бальзам забвения для его глубокой раны и надежду на светлое будущее.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

notes

Примечания

1

Дюри Йожи – полулегендарная личность, венгерский дворянин, известный своими скандальными проделками и проказами. *(Здесь и далее примечания переводчиков.)*

2

Не все умрет (*лат.*)

Искусство метрического стихосложения

Крестьянин-повстанец, участник национально-освободительной борьбы в Венгрии конца XVII – начала XVIII века.

Придворный венгерский проповедник XVIII века, резко критиковавший пороки своего общества.

6

Венгерский протестантский пастырь, один из руководителей крестьянской войны 1514 года.

7

Сорт венгерского вина

Допрос с пристрастием в высших судебных инстанциях (*лат.*)

Австрийская крепость, тюрьма.

10

Хорошо (франц.)

«Дон Жуан в Серале» (франц.).

«Живые картины» (франц.).

«Баядерки хана Алмоллаха» (франц.).

«Битва амазонок» (франц.)

«Сон Ариадны» (франц.).

«Королева Амалагунта», «Дьяволица», «Падающая звезда», «Баядерка», «Торжествующая нимфа», «Диана, охотящаяся на Актеопа», «Мазепа» (*франц.*).

Все, как и у нас (*франц.*).

Курьер (франц.).

Любовное послание (*франц.*)

Некстати (франц.).

21

Счет (нем.)

Уже заплачено (нем.).

Мужского и женского рода (*лат.*).

Дружеское приветствие, распространенное в Венгрии; предполагает обращение на «ты».

В натуре (*лат.*).

Прощай (франц.).

По библейской легенде, братья Иосифа продали Потифара в рабство в Египет. Супруга его хозяина пыталась соблазнить его; спасаясь от нее, Иосиф бежал, оставив свой плащ.

Редкость (нем.).

«Моей обожаемой матери» (франц.)

Венгерское название Львова

Это истинно (*лат.*).

Исторический факт (*лат.*).

Опера итальянского композитора Беллини.

Палацкий Франтишек (1798–1867) – чешский либерально-буржуазный историк и политический деятель. В период революции 1848 года занял контрреволюционную австрофильскую позицию.

Имеется в виду Бендегуз, соратник вождя венгерских племен Арпада.

Имеется в виду зеленый стол комитатского сословного собрания.

Фелициан Зач (Зах), согласно преданию, дворянин; из Нограда, поднявший меч на короля, мстя ему за поругание чести дочери, соблазненной родственником короля

«За» и «против» (*лат.*).

Последний аргумент (*лат.*)

Сатмарский мирный договор был заключен в 1711 году после Поражения национально-освободительного движения, руководимого Ракоци II (1676–1735).

В разгар борьбы венгерского народа за независимость, возглавленной Ференцем Ракоци II, в селе Онод собрался сейм, который после бурных дебатов принял акт о лишении династии Габсбургов венгерского престола и провозгласил независимость Венгрии.

Театральный эффект (*франц.*).

Организация венской студенческой молодежи, принимавшей участие в революции.

Спасайся, кто может (*франц.*)

Домашние боги у древних римлян (*лат.*)

Да погибнут! (*лат.*)

Национальное немецкое знамя сменило на улицах революционной Вены белое знамя Габсбургов

Ныне город Братислава; Братислава, как и вся Словакия, до 1918 года входила в состав Венгрии.

По греческой мифологии, горящая река в потустороннем мире.

Бог принес (*венгерск.*)

В описываемое время, в октябре 1848 года, в результате свершившейся 15 марта 1848 года революции власть в Венгрии принадлежала революционному правительству, возглавляемому Лайошем Кошутом

Здесь: несправимая, грубиянка (*франц.*)

В греческой мифологии – змея, убивавшая одним взглядом.

Виват, да здравствуе*т* (*венгерск.*).

По библейскому преданию, Лоту и его семье было разрешено уйти из Содома с условием, что они ни разу не оглянутся. Жена его все же не выдержала и оглянулась назад, за что бог превратил ее в соляной столб.

По преданию, в египетском городе Саисе хранится волшебный занавес, отдернув который, каждый может узнать свое будущее, но навеки лишится радости.

Да здравствует свобода! (франц.)

Имеется в виду партия чешских легитимистов – сторонников провозглашения Чехии самостоятельным королевством, независимым от Габсбургской династии

По греческой мифологии, река забвения, за которой находится потусторонний мир

Имеются в виду остатки римских поселений, сохранившихся на территории Венгрии.

61

Здесь – эмблема реформатской кальвинистской церкви.

Речь идет о Шандоре Петефи (1823–1849), погибшем в одном из последних сражений национально-освободительной войны

Венгерская мелкая монета

Болинброк Генри Сент-Джон (1678–1751), – английский государственный деятель и политический писатель

Генерал австрийской императорской армии.

Брат (*нем.*).

Шуточная студенческая песня (нем.)

Кто там идет с горы? (нем.)

Военным министром Венгрии в 1840–1849 годах был Лазар Месарош

Кто там идет с горы?
Кто там идет с горы?
Кто идет с мрачной той горы?
Да, с мрачной той горы,
Кто там идет с горы? (нем.).

Ведь это Виндишгрец!
Ведь это – мрачный Виндишгрец!
Грозит нам Виндишгрец!
Грозит нам мрачный Виндишгрец!
Он шуткой нам грозит,
Он мрачной шуткой нам грозит! *(нем.)*.

Виндишгрец Альфред (1787–1862) – австрийский фельдмаршал.

Намек на эпизод из «Гамлета». Шекспира

Популярное прозвище военного министра Месароша, любимым словечком которого было «кофиц», то есть «старина».

Бетярами назывались в старой Венгрии разбойники, а также дезертировавшие из австрийской армии солдаты или бежавшие от гнета помещиков-феодалов бедняки крестьяне, которые совершали набеги на богатые усадьбы.

Кусок собачьей шкуры на одежде служил в феодально-помещичьей Венгрии знаком принадлежности к дворянскому сословию

Здесь; между своими (*лат.*).

Окен Лоренц (1779–1851) – немецкий натуралист; Кювье (1769–1832) – французский естествоиспытатель.

Елачич Иосиф (1801–1859) – реакционный австрийский государственный деятель, наместник Хорватии, подготовивший интервенцию против венгерской революции 1848–1849 годов и потерпевший ряд крупных поражений в боях против венгерской революционной армии.

Аулич Лайош (1792–1849) – генерал венгерской национально-освободительной армии и последний военный министр периода революции 1848–1849 годов.

Героя «Илиады», Ахиллеса, его мать, морская богиня Фетида, окунула в воды подземной реки Стикс, желая сделать его неуязвимым. Герой «Песни о Нибелунгах», Зигфрид, сам выкупался в крови убитого им дракона.

Алкольный напиток, приготавливаемый из сока кокосовой пальмы, риса и патоки

Бах Александр (1813–1898) – австрийский государственный деятель крайне реакционного направления, правитель Венгрии после поражения революции 1848–1849 годов, установивший в стране режим жестокого террора.

«Вне Венгрии нет жизни, а если и есть, то не такая» (*лат.*).

Знаменитый разбойник.

Старинный толковый словарь на многих языках

Со всеми титулами (*лат.*).

В переносном смысле – «правая рука», важная персона (*лат.*)

Казармы и военная тюрьма в Пеште, местопребывание военного трибунала»

Обнаружить свой страх (*лат.*).

Ледрю-Роллен Александр-Огюст (1808–1874) – французский мелкобуржуазный политический деятель; принимал активное участие в подавлении июньского восстания парижского пролетариата в 1848 году.

Кишфалуди Шандор (1772–1844) – венгерский поэт, видный представитель дворянской поэзии.

Отрасль науки, изучающая черепа людей и животных

«Марциуш Тизенэтэдике» («15 марта») – газета, издававшаяся в Венгрии во время революции 1848–1849 годов

Имеется в виду легенда о венгерских воинах, потерпевших в 955 году поражение в Аугсбургской битве с германскими рыцарями. В знак позора уцелевшим венграм были срезаны усы.

Слезливое послание (*лат.*)

Блудный сын (*лат.*).

Доброе утро, многоуважаемый господин *(лат.)*.

«Вот и все: комедия окончена!» (*итал.*)

В греческой мифологии титаны – это боги-великаны, олицетворение сил природы в период сотворения мира. Олимпийские боги загнали их к горам и обрушили на них горы Пелион и Оссу. Титаны сумели вырваться из подземелья и пытались добраться до вершины Олимпа, чтобы низвергнуть Зевса и других олимпийских богов.

Бог древних филистимлян, населявших восточное побережье Средиземного моря.

«Рим или смерть!» (*лат.*)

Карл Лотарингский – главнокомандующий союзных войск, освободивших в 1686 году крепость Буды от турецких захватчиков.

Абдурахман – последний турецкий паша в Буде, Погиб при защите осажденной крепости в 1686 году.

Гёргеи Артур (1818–1916) – главнокомандующий венгерской армии, а затем и военный министр во время венгерской революции 1848–1849 годов. Бессмысленной и длительной осадой (3 – 21 мая 1849 года) Буды дал возможность австрийским войскам подготовиться к контрнаступлению... 13 августа 1849 года изменнически капитулировал

Хенци – командир австрийского гарнизона осажденной крепости в Буде.

Герострат – грек, который, чтобы прославиться сжег в 356 году до н. э. выдающееся произведение искусства – храм богини Артемиды в Эфесе.

Диана – в римской мифологии богиня луны и охоты, сестра Аполлона, бога искусства, отождествляется с древнегреческой богиней Артемидой

Апокалипсис – мистическое пророчество о конце мира в одной из книг «Нового завета» памятника ранней христианской литературы.

Первая военная академия в Венгрии

110

Сила притяжения (*лат.*)

111

Один из центральных районов Пешта.

Один из титанов, штурмовавших обителище богов – Олимп.

Ангел смрти у магометан.

Гляди вверх (нем.).

115

Крепкая водка особого приготовления

Пресмыкающиеся из отряда крокодилов

В эпоху греко-персидских войн указал тайную дорогу войскам персидского царя Ксеркса, и они, обойдя с тыла, разбили отряд спартанского царя Леонида, прославившего себя стойкой защитой Фермопильского ущелья в 480 году до н. э.

По древнеримской легенде, патриций, изменивший своей родине; во главе вражеских войск он осадил Рим, но снял осаду по просьбе матери.

Венгерский король (1064–1074), опиравшийся на поддержку иноземных сил, чтобы вернуть себе утраченный трон.

Выдающийся полководец (VI век). Оклеветанный врагами и завистниками, был отстранен византийским императором Юстинианом I.

Дож венецианской республики (XV век).

Боливар Симон (1783–1830) – один из руководителей борьбы за независимость испанских колоний в Америке, стремившийся превратить всю Южную Америку в единую феодальную республику и возглавить ее.

Сподвижник трансильванских князей Дьердя Ракоци II и Михая Апафи (XVII век.). Обвиненный в заговоре с целью захвата княжеской власти, был заточен в тюрьму сначала в Трансильвании, затем в Турции.

Полководец древнегреческого государства Спарты (V в. до н. э.)

Согласно предсказанию библейского пророка Иезекиила, народ Магог под предводительством короля Гога должен был вторгнуться в Израиль и там погибнуть.

Легендарный герой Венгрии. В 1456 году, во время штурма крепости в Нандорфехерваре, он сбросил в пропасть турка, пытавшегося водрузить на башне турецкое знамя, и погиб вместе с ним. Его имя стало для венгров символом геройства и любви к родине.

Мы были троянцы!.. Погибнет Илион и великая слава Паргенопа
(лат.).

Горе побежденным (*лат.*).

Неизлечимую рану иссекают мечом (*лат.*).

Вместе поймали, вместе повесят (*нем.*)

131

Слабительное, рвотный камень (*лат.*)

Уважение тому, кто его заслуживает (*нем.*)

Союз племен и городов-государств в древней Греции, призванный охранять святилища, а также разрешать конфликты между членами союза. В случае нарушения принципов союза одним из членов остальные применяли к нарушителю санкции.

Ближайшая к солнцу точка орбиты какой-либо планеты

Радужные круги вокруг солнечного диска

Намек на известный церковный спор в IV веке относительно святой троицы; единосущен ли бог-сын богу-отцу, или только подобен ему

Монах, один из видных участников первого крестового похода (XI век.).

Римский император (306–337), в целях укрепления власти превративший христианскую церковь в свою опору.

Легенда из Ветхого завета. Когда евреи сражались с пятью королями Ханаана в долине Гаваона и солнце уже готово было закатиться, их предводитель Иисус Навин воскликнул: «Стой, солнце, над Гаваоном!» И Иегова якобы остановил солнце, пока евреи не одержали полную победу.

Населенный пункт (на территории нынешней Румынии), где венгерская революционная армия в 1849 году принуждена была сложить оружие и где была подписана капитуляция

Каста военных.

Однако вы не мистер Олджернон Смит! Вы – сэр Эден Барадлаи
(англ.).

Боги принимают сторону победителя, Катон остается на стороне побежденного (*лат.*)

Точка небесной сферы, ниже горизонта, противоположная зениту.

Помни о смерти! (*лат.*).

Тёкёли Имре (1656–1705) – вождь венгерского освободительного восстания 1678 года, направленного против Габсбургов. В своей борьбе против Австрии опирался на Турцию, куда впоследствии эмигрировал

Горячий спиртной напиток со специями

Генрих IV, германский император (XI век), шел в таком виде в Каноссу к папе Григорию VII вымаливать у него прощение.

Имеется в виду итальянский ученый Галилей (1564–1642), вынужденный под давлением церковников отречься от своего учения о том, что земля обращается вокруг солнца.

В Греческой мифологии – богиня мщения

Богини-мстительницы.

Древнеримские политические деятели (II в, до н. э.).

Наместник этот – Юлиус Гэйнау (1786–1853), австрийский фельдмаршал, за кровавое подавление восстания итальянцев в Ферраре и Брешии в 1848–1849 годах получил кличку «гиена Брешии». Будучи главнокомандующим австрийских войск в Венгрии, проявил зверскую жестокость при подавлении национально-освободительной борьбы венгерского народа.

Комедия ошибок (*англ.*)

Расход (нем.).

156

Приход (кем.)

Живи и жить давай другим *(нем.)*

Чиновник, надзирающий за деятельностью ведомств, учреждений, главным образом, в финансовой области

159

Третий сорт (*лат.*).

В принципе (*лат.*).

Главный выигрыш (*лат.*)